

№ 2

Факт

Приключение

Детектив

Факт. Приключение. Детектив.

Выпуск второй (неофициальный)

Предисловие

На задней обложке сборника «Факт. Приключение. Детектив.» («В зоне риска») № 1 был анонсирован примерный состав сборника № 2:

1. Николай Николаевич Крамной — «Четвёртый раунд».

Произведение нашлось в сборнике «Заповедник убийц», переработанная повесть «Таблицы Рошарха», из которой убраны упоминания об этих самых таблицах, но добавлено другое.

2. Х. Лайпак — Операция «Волчье лыко».

Тут возникла пара вопросов. Возможно, Герта Лайпак, автор детективов? По названию, вроде бы подходит «Коегакоопlane» («Чудовище с собачьей мордой»), однако публикация 1993 года, на два года позже анонса на обложке сборника.

3. Нодар Владимирович Думбадзе — «Кукарача».

Произведение оказалось в библиотеке «Флибуста».

4. Рауль Мирсаидович Мир-Хайдаров — «Двойник китайского императора».

Произведение оказалось в библиотеке «Флибуста».

5. Виктор Петрович Астафьев — «Людочка»;

Произведение оказалось в библиотеке «Флибуста».

6. В. Гойтан — «Эхо ночных выстрелов»;

Не нашлось упоминаний ни об авторе, ни о произведении.

7. Н. Булгаков — «Подвиг патриарха»;

На форуме библиотеки «Флибуста» подсказали, что это произведение Николая Булгакова публиковалось в журнале «Москва», №12 за 1990 год, предоставив оцифрованную копию соответствующего номера.

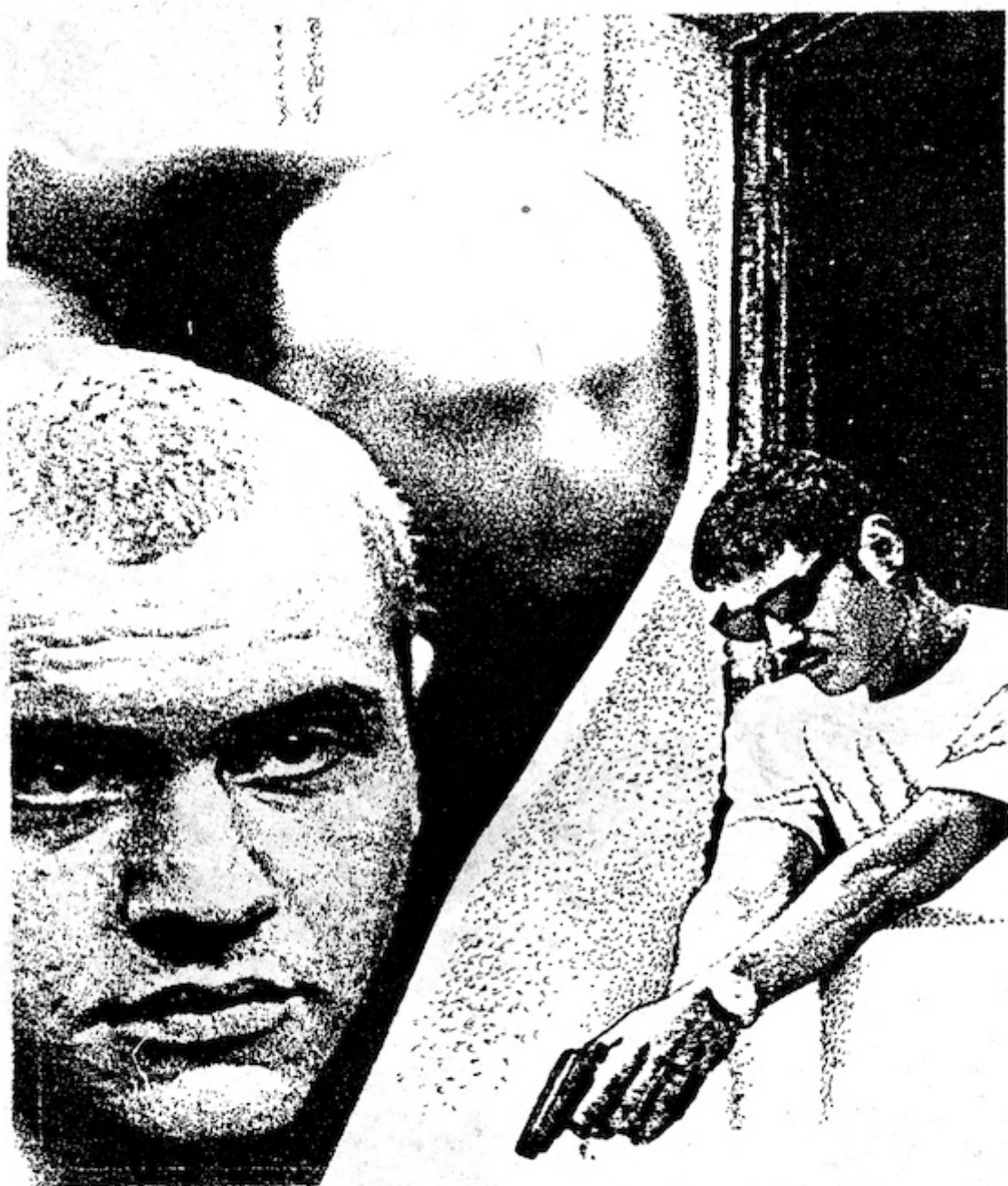
8. Александр Иванович Гуров, Владимир Николаевич Рябинин — неназванные эссе.

Вдвоём они опубликовали «Исповедь «вора в законе»», которую едва ли можно отнести к эссе; а вот действительно эссе «Профессиональная преступность» первый опубликовал самостоятельно (причём дата публикации неизвестна).

9. Другие неназванные произведения.

Ввиду изложенного, выпуск сборника № 2 производится в доступной комплектации. С надеждой на перспективу дополнения упомянутыми, но пока недоступными произведениями.

Евгений Роменович Сова.



Четвертый раунд

Повесть

Николай Николаевич Крамной

Четвёртый раунд

Дилетанты...

Машины остановили сразу за поворотом, в начале тенистой улицы, не доезжая нескольких десятков метров до старой кирпичной арки, нависшей над сумрачным проездом между домами.

— Приехали... — равнодушно сообщил сидевший за рулём парень двум своим спутникам. — Ближе подъезжать не буду, — предупредил он возможную просьбу, — номера могут засечь.

Мельком глянув в зеркальце заднего вида, он пригладил тёмный ершик короткой спортивной причёски и, обращаясь к своим молчащим компаньонам, начал то ли последний инструктаж, то ли ободряющее напутствие:

— Главное — не дрейфьте! Они сами всех боятся. Тебе, Витёк, так вообще опасаться нечего: стой себе на тротуаре возле арки и покуривай, будто девку какую-то ждешь.

— Может, мне лучше с ним пойти? — спросил худощавый мускулистый паренёк, сидевший сзади. — Надёжней будет...

— Не надо... — слегка поморщился шофер. — Зачем всем сразу светиться? Они не дураки и поймут, что человек пришёл не один. Твоё дело на подхвате стоять. Может, какая заварушка поднимется. Ну... до этого, наверное, не дойдёт. В милицию звякнуть с перепугу — это они могут. Или откажут с первого раза... А в драку лезть им не с руки: сами законом еле-еле прикрыты. Как только выйдешь от них, — обратился он к сидевшему рядом, — иди прямо по улице, на машину не оглядывайся. Витёк подождет, пока ты отойдёшь подальше, и пойдёт за тобой следом. А я постою ещё немного, посмотрю, может, кто-нибудь из них следить вздумает. Потом догоню вас... Ну, Саня, ни пуха... Не мандражишь?

— Да нормально всё, — раздражённо ответил молчавший до сих пор третий спутник, — чего ты крутишься? Сто раз уже всё обговорили. Тоже мне... психолог: успокаивать вздумал.

И, щёлкнув замком дверцы, выбрался наружу. От машины он уходил неторопливым, уверенным шагом человека, который точно знает, куда ему идти, и у которого еще есть в запасе немного времени.

— Я бы и сам пошёл, — словно оправдываясь, проговорил водитель, глядя вслед удалявшемуся товарищу, — да нельзя. Ты же знаешь, что я у гончих на учёте. Влетел, дурак, по пьянке...

— Брось ты бубнить, Таран, — с досадой отозвался оставшийся в машине Витёк. — Никто ж тебе ничего не говорит... Надо будет — пойдёшь. А пока и сами обойдемся.

— Это точно! — обрадовался такой поддержке сидевший за рулём. — Надо будет — пойду. За чужие спины я никогда не прятался.

Посидели молча, думая каждый о своём, проследили, как их товарищ неторопливо нырнул под кирпичную арку, в узкий проход между домами. Общим был только страх, запрятанный под внешним безразличием. Страх перед неизвестностью и непредсказуемостью событий, которые могли произойти во дворе, находившемся за аркой. Двор этот — тесный и гулкий, как колодец — оба оставшихся прекрасно изучили заранее. Неухоженный, со штабелями старых, потемневших от времени ящиков, с разрушенными приямками окон полуподвального этажа и распахнутыми настежь дверьми в подъездах. В таких дворах любят собираться

группками угрюмые мужички с запухшими лицами, покрытыми многодневной щетиной. А чуть поодаль от них устраиваются две-три бездомные кошки, терпеливо ожидающие случайной подачи от мрачно крякающих мужичков. В подвальных этажах таких домов обычно располагаются котельные или какие-то склады, а маршем выше — конторы мелких мастерских и захудалых учреждений. В одном из подъездов нашлось место и конторе кооперативного магазина «Восток».

Сам магазин располагался на соседней улице, проходящей параллельно этой, и занимал небольшой зал на первом этаже. Запасный выход из него, с тяжёлой металлической дверью, вёл во двор через полутёмный коридор, где находилась и контора. Несколько минут назад туда направился их третий товарищ.

— Ну, пошёл и я, — открыл дверцу «жигулей» Витёк и выскользнул на тротуар.

— Давай... — отозвался наставник.

Оставшись один, он достал из панельного ящичка сигарету, закурил и расслабленно откинулся на спинку сиденья. Теперь оставалось только ждать результатов. Сколько — неизвестно. Он скосил взгляд на руку, лежавшую в проёме опущенного стекла, и машинально засёк время.

* * *

— А от кого вы нас будете охранять? — насмешливо спросил директор магазина, выслушав предложение посетителя. — И мне непонятно, кто это — «мы»?

— Не надо, шеф, глупеньким прикидываться, — поморщился незнакомец. — Я же русским языком объяснил: вы нам платите деньги, мы вас — охраняем от всех неприятностей. У вас свой кооператив, у нас свой. Охранный... Каждый зарабатывает свой хлеб, как может.

— Понятно... — бесцельно потарабанил пальцами по крышке стола хозяин кабинета. — И сколько же мы должны выделять в месяц за ваши услуги?

— Триста тысяч, — не раздумывая, назвал сумму посетитель.

— Это для начала? А потом, наверно, у вас расходы на охрану увеличатся?

— Если у вас увеличатся доходы... — вставил гость.

— И попутно ещё один вопрос: а если завтра придут деятели из какого-нибудь другого «охранного кооператива»? Как тогда быть?

— Это не проблема, — успокоил его пришедший. — В конце каждого дня наш человек будет проверять, всё ли у вас в порядке. Да кроме нас и не придёт никто... У каждого свой участок.

Директор магазина откинулся на спинку стула и задумался. Хотя думать, собственно, было не над чем: к такому визиту и он, и его компаньоны были давно готовы. Все возможные варианты вымогательства были предусмотрены, и для каждого отдельного случая выработана определённая линия поведения. В данной ситуации всё обстояло проще простого: перед ним сидел дилетант, ещё не обмятый как следует жизнью, а потому и беспечно уверенный в себе. «Лет двадцать пять, не больше, — размышлял он, разглядывая посетителя. — Институт, наверное, только что окончил, ехать по распределению в какую-нибудь дыру не хочется, а жизнь полна соблазнов. Да и бабу содержать на что-то надо... А может, из бывших спортсменов... Сошёл с круга, а теперь не приспособится никак. Но на шпану не похож, те обычно руки в карманах держат и слова сквозь зубы цедят.

Пришёл он, конечно, не сам, где-то поблизости — на подстраховке — находятся его друзья. Скорее всего сидят в каком-нибудь обшарпанном «жигулёнке» и ёрзают от нетерпения на сиденьях, обтянутых засаленными чехлами. Ждут результатов. Да и сам посланец, судя по всему, чувствует себя не очень уютно: беспричинно хмурится, стараясь напустить на себя серьёзность, шарит взглядом по углам кабинета, да и, садясь к столу, развернул стул так, чтобы видеть дверь. Нервишки не в порядке... А может, не привык ещё к таким делам.

Значит, и люди, пославшие его сюда, тоже солидностью не отличаются и серьёзных связей у них нет и быть не может.»

Больше он не колебался и нажал коленом кнопку сигнализации, закреплённую на тумбе письменного стола. Теперь надо было только ждать и, чтоб не вызывать подозрений у пришедшего вымогателя, вести себя как можно спокойнее.

— Ну что ж... — потянулся директор к телефону. — Сейчас вызову старшего продавца и всё решим. Только деньги будете получать по частям: три раза в месяц, — предупредил он. — Подекадно... Всё сразу платить не могу. Да и не хочу, — откровенно признался он. — Деньги надо заработать. Прошли десять дней без неприятностей — получи, что положено. Нет — разбирайся, кто виноват. Работа есть работа... Даже такая. Сейчас даром только птички поют, — усмехнулся он, — да и то только в хорошую погоду.

К такому повороту событий посетитель был не готов. Предусмотрели, кажется, всё: возможный отказ, скандал с ответными угрозами, вмешательство вышибалы, даже вероятность звонка в милицию. Это не страшило... Вышибала тоже живой человек и понимает, что ему рано или поздно нужно будет идти домой, а по дороге к дому его могут всегда ждать неприятности. А с милицией и того проще: да, пришёл наниматься на работу охранником, вот и паспорт с собой в кармане; да, запросил высокий оклад. Откуда ему знать, какие тут ставки и нужен ли вообще охранник? Это же не госучреждение... Люди говорят, что кооператоры гребут дурные деньги, почему бы и ему не заработать?

Предусмотрели, кажется, всё... А вот такого быстрого согласия — без сопротивления, без торга — не ожидали. И эта выдача денег по частям... Что-то тут не так! Может, это ловушка, и сидящий перед ним мужчина в дорогом сером костюме только делает вид, что согласен со всеми требованиями?

— Ну так как? Вас что-то смущает? — заметил сомнения посетителя хозяин кабинета. Руку он уже положил на телефонный аппарат, но трубку не поднимал.

— Ладно... Пусть будет по частям, — ответил парень.

Он уже понял, что его смущало: деньги. Не сумма, предлагаемая директором, а сам факт их передачи. Сейчас, прямо вот здесь! Этого, оказывается, они тоже не учли: где брать деньги и как, по частям или настаивать на передаче сразу всей суммы? Вдруг возьмёшь деньги, а на выходе уже милиция будет ждать? Что в карманах? Деньги? Свои? Поедем проверим. Хотя проверять в этом случае — только даром время тратить. И так ясно, что все кредитки мечены, и номера их заранее на отдельной бумажке выписаны. Но и отказываться от денег, если их дают, тоже нельзя. Иначе зачем он сюда приходил?

Директор, сняв трубку, стал набирать номер. Номер был многозначный, и это пришедшего успокоило.

— Анатолий! — оживился директор магазина. — Я тут охранника на работу принимаю, — сообщил он, бесцельно катая пёстрый карандашик по полировке стола. — Да-а... Просит три. Да чёрт с ним! Я ему пока третью часть даю. Да, в виде аванса. Неси ноль три. Ну, жду... Сейчас принесут, — заверил он посетителя, кладя трубку.

Взяв из пачки, лежавшей на столе, длинную сигарету, с удовольствием закурил, как человек, закончивший наконец трудную, но необходимую работу. Посетителю закурить не предложил.

— Маху я дал немного, — задумчиво сказал директор, как бы рассуждая с самим собой. — Надо было сразу нанять несколько крепких ребят, теперь бы никаких забот не знал. И дешевле вышло бы...

— И теперь никаких забот не будет, — успокоил его посетитель. — А насчёт «дешевле» — это еще неизвестно.

— Вообще-то, да... — вяло согласился с ним хозяин кабинета. — Тут не знаешь, где найдёшь, где потеряешь... Только попрошу так: чтоб за деньгами приходил один и тот же человек, а то под эту лавочку можно кормить кого угодно! Тут не богадельня: бесплатных обедов не дают.

— Я сам буду приходить. А деньги — первый и последний раз тут получу.

— Боишься? — насмешливо спросил директор.

— Да нет... Это тебе бояться надо, если что не так, — внезапно обнаглел посетитель. — Просто от соблазна тебя берегу. Где и как получать, я каждый раз предупреждать буду. — И с явным нетерпением грубо спросил: — Ну, где твой бухгалтер? А то мне пора, я и так засиделся тут.

— Сейчас потороплю... — потянулся к телефону хозяин кабинета.

Но позвонить не успел: щёлкнул дверной замок, и в кабинет, один за другим, — как два близнеца, — шагнули двое мужчин. Оба в белых халатах, с засученными до локтей рукавами, в белых накрахмаленных колпаках, с чисто выбритыми не улыбающимися лицами. Следом за ними протиснулся третий — в милицейской форме, с погонами старшего лейтенанта.

— Кто это? — ошарашенно спросил кандидат в «охранники», приоткрыв от удивления рот.

— Кассиры, — равнодушно пояснил директор магазина, туша сигарету в пепельнице. — Сейчас они тебе аванс выдадут.

Пришедшие своё дело знали отлично и действовали на редкость слаженно. Один из них шагнул вперед и, не давая посетителю встать со стула, коротко, но сильно ударил его в челюсть. Затем зашёл за спинку стула и отработанным движением заломил рэкетире руки назад. Второй, щёлкнув замочками поставленного на стол чемоданчика, вытащил заранее наполненный шприц и прямо через штанину ввел иглу в ягодицу сидящему незнакомцу.

Директор встал из-за стола и закрыл дверь на ключ. Затем подошёл к санитарам и с интересом стал наблюдать за сидящим. Тот медленно приходил в себя после удара. Взгляд был бессмысленным, мышцы лица расслаблены.

— Сейчас я ему ещё укол в вену сделаю, — пряча пустой шприц в чемоданчик, сказал санитар, — и поедем спокойненько. — И, словно предупреждая возможный вопрос, пояснил: — Сразу в вену нельзя: вдруг дёргаться начнёт или сопротивляться. А так он сейчас послушный будет, как грудной младенец. Отпусти его, Миша, — обратился он к своему напарнику, — теперь он не шелохнется. И рукав ему закатай. Та-а-ак... Ну что, малыш, примем дозу? — ласково спросил он у сидящего, подходя к нему с полным шприцем.

Шприц на этот раз был маленьким и в огромных волосатых лапах санитарка казался игрушечным.

— Подлюка! Ты ещё пожалеешь об этом, — еле ворочая языком, сказал пришедший в себя рэкетир, с ненавистью глядя на стоящего перед ним хозяина кабинета.

— Давай-давай, выговаривайся, — насмешливо подбодрил его санитар, вводя иглу в вену. — Или трудновато? У него язык сейчас, как замороженный, — пояснил он стоявшим рядом сообщникам. — Но крепкий, видать, мужик: некоторые после укола даже губ разжать не могут. Или алкаш... Тех медленнее берёт. Ничего- о... Сейчас он размякнет и всё в порядке будет.

— А потом? — обеспокоенно спросил директор.

— Потом? — задумчиво откликнулся санитар, приводя содержимое своего чемоданчика в порядок. — Это шеф решит. А вообще-то... Отвезём, поспит, а когда проснётся, у него в голове каша будет. Так, обрывки воспоминаний.

— И надолго?

— Если ещё немного подлечить — навсегда. Спасибо отечественной медицине: лечить нечем, а калечить — пожалуйста, — коротко хохотнул санитар. — Ну вот, кажется, готов, — пристально посмотрел он в зрачок сидящему. — Ну что, малыш, потопали? Помоги ему подняться, Миша. Так... Стой ровненько, — ласково приговаривал санитар, — сейчас карманы осмотрим и поедем.

В карманах оказалась серебряная мелочь, пачка сигарет и паспорт.

— Новичка подпустили, — высказал догадку санитар, разглядывая паспорт. — На случай, если милиция заметёт... На, это по твоей части, — протянул он паспорт старшему лейтенанту. — Пошли! Запомните на всякий случай, — обратился он к директору магазина, — взят в коридоре во время приступа буйного помешательства.

Когда ожидаешь чего-нибудь в одиночестве, кажется, что время, если не остановилось, то, во всяком случае, сильно замедлило свой размеренный бег. Минутная стрелка нехотя переползала с одного деления на другое, а короткая — часовая — будто приклеилась к циферблату. Таран докуривал уже вторую сигарету, а посланный к кооператорам Сашка всё ещё не появлялся. За это время несколько человек вошли в тесный проход между домами, ведущий во двор, двое вышли оттуда, а Витёк, бесцельно топтавшийся возле кирпичной арки, не выказывал ни тревоги, ни радостного оживления. А ведь ему — с того места, где он стоял — виден подъезд, в который вошёл Сашка, и часть двора. Значит, пока всё тихо. «Что он там, чай с ними сел пить, что ли?» — раздражённо подумал Таран. Двор глухой, другого выхода не имеет, и любые неожиданные варианты исключены.

С противоположного конца улицы показалась машина «скорой». Ехала быстро, но без блеска мигалки и нагасадного визга сирены. Да и не нужны они были здесь, в полусонной дремоте тенистой улицы, с редкими встречными машинами и немногочисленными прохожими. Почти не сбавляя скорости и лишь в последний момент включив сигнал поворота, свернула под арку и въехала во двор.

Не ожидавший этого Витёк едва успел отскочить в сторону. «Стоит, мух хохоталом ловит!» — мысленно выругался Таран и тут только ясно осознал, что брать с собой третьего человека вообще не нужно было. Такие дела делаются вдвоём и без всякой машины. Чем она им тут поможет? Удирать они на ней не собираются, увозить что-нибудь громоздкое — тоже нечего. И идти к этим торгашам нужно было вдвоём, без всяких подстраховок. А так... Третий человек — лишний пай, лишний свидетель. Правда, куда ты его денешь, Витька? Столько лет знакомы друг с другом! На десятках соревнований побывали вместе... Это с виду только Витёк такой невзрачный: худой и жилистый. А силы и упорства у него хватит с избытком на двоих.

Таран вспомнил, как на крупных соревнованиях, проходивших в Польше, в одном из четвертьфинальных боев, Витёк отбивался от соперника-негра, такого же худого и жилистого, как он сам. Эти темнокожие вообще всё делают в спорте без дураков, а в боксе особенно сильны. В каждом бою они выкладываются до конца, так, словно дерутся последний раз в жизни. Так было и в том бою. Тощий негр выложил на карту всё, что имел: силу, выносливость, мастерство, желание победить. И всё это сдобрил приличной порцией спортивной злости.

Первый раунд Витёк провёл на равных, во втором каким-то чудом ушёл от поражения, а в третьем, собрав остатки сил, сумел так прижать негра, что тот ушёл в глухую защиту и до конца боя чесал спину о канаты ограждения. Только белки глаз поблескивали из-под поднятых вверх перчаток. Как у беса...

Нет, отшивать Витьку от компании не стоит. Такой парень ещё пригодится. Куда ж ему теперь податься? К хоккеистам? Некоторые из них, оставшись не у дел, организовали какую-то дикую бригаду без всяких прав и руют на кладбище могилы. Половину дохода себе, половину — директору этого мрачного предприятия. Некоторые уже спились начисто... Да это и неудивительно: каждый день траурные марши вокруг и поминки. Чем так жить, лучше побираться или воровать идти.

«А мы что делаем?» — усмехнулся Таран, вспомнив, зачем он сюда с товарищами приехал. Вымогательство — это не воровство? Да ещё с угрозами! Правда, не к старушке в карман лезешь за пенсионным рублём, но и не премиальные в кассе получаешь.

Прошла молодость, так, ни себе ни людям. К двадцати восьми годам нажил старенького «жигулёнка», купленного с рук, перебитый нос и постоянное желание выпить. Квартира матери, специальности никакой. Плюс ко всему два привода в милицию за пьяные драки. Кантуешься грузчиком в гастрономе: двенадцать часов работаешь — сутки дома. И Сашка с Витьком рядом. А куда денешься? Тренером идти — образования нет. Об этом надо было думать, пока в фаворе был. А теперь — когда вышли в тираж — устраивайся, как сумеешь. Вот и устроились... Таран вспомнил, как всё это начиналось.

Как-то утром, сразу после открытия магазина, — продавщицы ещё не успели поделить между собой последними сплетнями — в гастроном заскочил Тушканчик. Вызвал Тарана из подсобки и заговорщически зашептал:

— Слушай, будь другом, устрой пару бутылок «Посольской» или «Охотничьей». Вот так надо! — провёл ребром ладони по горлу Тушканчик и, не ожидая согласия на свою просьбу, стал совать ему в руку несколько мятых десяток.

— Ты же не квасишь, — заметил Таран, — зачем тебе с утра водка?

Деньги он брать не торопился, даже руки демонстративно спрятал в карманы синего рабочего халата.

— Да это не мне, — поморщился Тушканчик, — одного друга «смазать» надо. — И, считая, что этот вопрос они уже решили, обратился со следующей просьбой: — А конфетами приличными я у тебя не разживусь? А то в витринах у вас одна дрянь развесная.

— Тоже пару коробок? — насмешливо спросил Таран.

— Да нет, хватит одной.

— Орехи с мёдом в шоколаде подойдут?

— Спрашиваешь! — обрадованно закрутил тощим задом посетитель, приплясывая на месте. И тут же озабоченно осведомился: — А сколько они стоят?

Парня, пришедшего в этот ранний час с просьбой отоварить его дефицитом, Таран знал несколько лет. Боксёром Тушканчик был так себе, громких побед за ним не числилось, и «на плаву» он держался в основном за счёт того, что выступал в категории легчайшего веса. Охотников выступать в весе «пера» всегда не хватало, а без них комплектация любой команды считалась неполной, и тренеры довольствовались тем, кого бог послал. Он и кличку-то свою получил за то, что на ринге не столько дрался, сколько выплясывал перед противником, легко отскакивая вбок и назад.

— Как только поступят, я тебе сообщу, — пообещал Таран и, не прощаясь, ушёл в подсобку, зло хлопнув на прощание переключателем прилавка.

До обеденного перерыва он молча разгружал со своими товарищами машины с поступавшим товаром, с какой-то непонятной для них злостью громоздя пирамиды мешков и ящиков в складском помещении. А перед самым обедом пошёл к заведующей бакалейным отделом и попросил в долг бутылку водки.

— Ты что, Толя, до шабаша потерпеть не можешь? — удивилась заведующая. Но бутылку дала, даже не оговорив срока отдачи денег. С грузчиками лучше жить в мире.

— Не ресторан, конечно, — усмехнулся Таран, раскладывая на пустом ящике нехитрую закуску, — зато цены со скидкой. И к столику никто чужой не подсядет.

— От ресторанов теперь отвыкать надо, — заметил Санька, устраиваясь поудобнее возле ящика. — Прошли времена... А чего это ты разгулялся? — запоздало спросил он у Тарана, загодя очищая себе кусок колбасы.

— Идею одну с вами обсудить хочу, — пояснил Таран и первым, на правах устроителя, причастился из граненого стакана. — Фф-уу! — крутнул он головой. — Ну и пакость!

— Во чудик! — рассмеялся Витёк, принимая по эстафете освободившийся стакан. — Зачем же брал, если не идёт?

Себе он налил меньше полагавшейся ему доли и, предвидя упрёки товарищей, виноватым тоном сказал:

— Вы же знаете, что пью только ради вас. За компанию...

— Ничего, Санёк остаток осилит, — успокоил его Таран.

— Так какая идея? — вернулся к первоначальной теме разговора Санька, без труда прикончив остатки спиртного.

— Хочу жить, как человек, — перестал закусывать Таран.

— А сейчас ты как живешь? — спросил его Витек.

— Сейчас? Как раб! — убеждённо сказал бригадир. — Ходишь весь день, согнувшись под мешками. Мне иногда кажется, что у меня начал горб расти.

Товарищи по работе молча слушали. У них тоже временами возникало такое чувство, будто на спине постоянно лежит какой-то груз, не дающий им возможности ходить, как в былые времена, с гордо поднятой головой.

— Иной раз тащишь мешок на загривке, а тут, как назло, кто-нибудь из знакомых ребят стоит и таращится на тебя. Ничего не говорит, правда, но наверняка думает: «Амбал ты, и цена тебе, как амбалу», — продолжал свои рассуждения Таран.

— Всё правильно... — зло заметил Санька. — А как к нам ещё относиться? Каждому — по его труду? Пока боксом занимались, нас за людей считали, и друзей крутилось вокруг чёрт-те сколько! А теперь... Мы даже выпивать стали по каким-то углам.

— Ничего... — ободряюще сказал Таран, — в последний раз так собираемся. Скоро по-другому всё пойдет. Если, конечно, вы согласитесь...

— Слушай: ты или рассказывай, зачем позвал, или давай закругляться — скоро перерыв закончится, — угрюмо предложил Санька, бесцельно катая по крышке ящика пустую бутылку. Ему явно хотелось ещё выпить, но идти просить ещё водки не имело смысла: всё равно не дадут. Если бы это было по шабашу, тогда другое дело...

— Ладно, сейчас расскажу... Ко мне вчера один тип приходил. Григорием Петровичем назвался. Он нам кое-какую работу предлагает... По специальности, — улыбнулся Таран.

— Домой, что ли, приходил? — уточнил Санька.

— Нет... Я в гараже с «жигулёнком» возился, а он зашёл. Знает, что мы из бокса ушли и в магазине работаем. «Не надоело, говорит, за сто сорок гнутья?»

— А какая работа? — заинтересовался Витек.

— Деньги выколачивать... — криво усмехнулся Таран. — Из кооператоров. Он нам будет адреса давать и говорить, сколько с кого требовать. Вот такая работа, — облегчённо вздохнул он, закончив своё сообщение.

— Так они тебя и ждут с раскрытыми кошельками! — презрительно заметил Санька. — Некуда им больше деньги девать. Схлопочешь года три-четыре и не заметишь как... Тогда будет время подумать, где работать. Да и там без дела сидеть не дадут!

— Я ему то же самое сказал...

— А он?

— Прочёл мне целую лекцию, как это делается. И... я ему поверил. Для самой грязной работы у него другие люди есть. Наше дело — сходить и сказать, сколько они должны платить. Ну... и собирать потом деньги. А если откажутся — тогда ими другие займутся. Так он объяснил... Вот я и решил вас пригласить в это дело. Одному там не справиться. Не согласитесь — других найду. Страшного там ничего нет... — Видя, что ему не удалось полностью убедить своих товарищей, Таран, возбуждённо жестикулируя, продолжил: — Если я кому-нибудь на ринге бил морду, то мне за это платили деньги. И чем крепче бил, тем больше платили. А когда стали бить мне — вышвырнули без копейки. Как хочешь, так и живи. Ну вот я и выбрал... как жить. А вы, — поднялся на ноги Таран, — до конца дня подумайте, а потом скажете. Мне к тому другу с ответом сегодня идти надо.

И, направившись по тесному проходу к выходу из складского помещения, распорядился:

— Витек! Убери там с ящика всё.

Санька с Витьком молча глядели вслед уходящему бригадиру. Идея, предложенная им для обдумывания, была заманчива в своей простоте и одновременно пугала непредсказуемостью возможных последствий.

В конце дня, разгрузив очередную машину с товаром, все трое присели ненадолго отдохнуть. Санька вытер со лба тыльной стороной ладони бисеринки пота, достал сигарету и, разминая её в дрожащих от усталости пальцах, спросил:

— А сколько он платить обещает?

— Кто? — не понял Таран.

— Ну, этот... друг твой... Григорий Петрович.

— А-а-а... Вот пойдём после работы вместе к нему и договоримся, — ответил Таран.

* * *

Внезапно Таран прервал свои размышления и подался на сиденье вперёд. Там, во дворе, что-то произошло: Витёк перестал бесцельно топтаться у бровки проезда, весь хищно вытянулся и напрягся, вглядываясь в глубину двора. Из-под арки вынырнула «скорая помощь» и, сразу после поворота набрав скорость, прошелестела мимо «жигулей». «Назад поехали не в ту сторону, откуда прибыли», — машинально отметил Таран. И ещё ему показалось, что шофёр «скорой» и сидевший рядом с ним верзила в белом халате слишком уж внимательно оглядели «жигули» и его самого. А может, просто нервы взвинчены и ему это только показалось?

Но вот то, что Витёк уходит от арки, — это не кажется. И уходит не медленно, как было условлено, а торопливо. Да ещё и оглядывается изредка, дурак. Почему он уходит? Ведь Сашка ещё не вышел из двора... И вдруг ясно понял, что он и не выйдет, и Витёк об этом знает. И не только знает, но и напуган, иначе бы он не стал так поспешно уходить со своего места.

Таран завёл двигатель и плавно тронул «жигулёнка», догоняя своего уходящего по улице товарища. В машину он его взял, когда тот завернул за угол.

— Что там случилось? — спросил он, разглядывая в зеркало растерянное лицо приятеля.

— Саньку «скорая» забрала, — коротко пояснил Витек.

Таран до того опешил, что чуть не врезался в багажник притормозившего впереди «москвича».

— Как... «скорая»? Он что: ранен или избит?

— Да вроде нет... Лицо в порядке, одежда тоже. Только вот... — замаялся Витек, — шёл он к машине как-то...

— Как? — поторопил его с ответом Таран.

— Как будто выпил крепко. Санитары его под руки поддерживали. И глаза такие... ну... как в нокауте.

— Номер заметил? — спросил Таран.

— Чей? «Скорой», что ли?

— Ну а чей же еще?

— Нет... А зачем?

— Зачем, зачем... Сколько в городе отделений? Где его теперь искать? Стоял как болван там! — раздражённо бросил через плечо Таран.

— А сам? Они же мимо тебя проезжали! — обиженно огрызнулся Витёк.

...И профессионалы

Человек слеп в этом суматошном мире и, отрывая по утрам очередной листок календаря, даже не предполагает, что принесёт ему наступающий день. А прожив этот день, неожиданно для себя обнаруживает, что, вместо ожидаемого счастья, держит в руках грязный хвост беды. Причём приходит она всегда с той стороны, откуда её не ожидаешь.

Ужинал Валерий Борисович обычно в одном из загородных ресторанов. Посетители там были солидные, не то что в центре города, где всякая шушера старается похвастать тем, что у неё в кармане завелась лишняя четвертная. Это им так кажется, а Валерий Борисович по собственному опыту знал, что лишних денег не бывает, даже если их очень много.

«Спроси любого человека, — думал он, сидя за столиком в ожидании официанта, — сколько ему денег надо — не скажет. Начнёт какую-нибудь муру нести насчёт костюмов, магнитофона... Или первым долгом про машину вспомнит. Это в лучшем случае. И редко кому придет в голову мысль, что деньги нужны для маленьких, но дорогих радостей: оплатить ежедневный ужин в хорошем ресторане, сделать приличный подарок любимой женщине, в бархатный сезон укатить с ней на юг, а приехав, купить, не торгуясь, у «жучков» стопку книжных новинок и смаковать по вечерам каждую страницу...

Тот, кто ведёт такой образ жизни, не хвастает мятыми кредитками в шумной тесноте городских ресторанов. Таким людям нужна тишина и пристойность. А найти их можно только за городом, в таком вот, например, ресторане со скромным названием «Уют», куда проезд на такси в один конец стоит дороже самого ужина. Но столь мелочными подсчётами Валерий Борисович никогда не занимался. Беспокоило другое... По его мнению, жизнь для таких людей, как он, устроена несправедливо: в молодости не хватает денег, к старости — времени, чтобы их с толком потратить. Пятьдесят два года — возраст приличный. Настолько, что можно ждать от судьбы любой пакости, и тут уж не до рассуждений, сколько можно ухлопать на свои капризы. Пока есть желания — человек жив, и чем их больше, тем полнее жизнь. Если, конечно, эти желания удовлетворять... Где этот чёртов официант? — очнулся от минорных мыслей Валерий Борисович. — Народа ещё не так много, не мог он меня не заметить.»

Вместо официанта к столику подошёл неизвестно откуда взявшийся мужчина в тёмном вечернем костюме, явно сшитом не в общедоступном ателье. И над причёской работал мастер не из привокзальной парикмахерской. На вид лет сорока... Приличного роста и отлично сложен. Минутой раньше Валерий Борисович не видел его в зале, хотя с того места, где он сидел, просматривались почти все столики и эстрада с оркестром.

— У вас не занято, Валерий Борисович? — располагающе улыбнулся незнакомец, берясь за спинку стула.

Столик был на двоих, и надо было сказать банальную в таких случаях фразу: «Я жду женщину». Но это обращение по имени-отчеству было несколько неожиданным, и, пока Валерий Борисович старался вспомнить, где он встречался с этим человеком, незнакомец отодвинул стул и удобно устроился на нем. Настроение у Валерия Борисовича окончательно испортилось. К тому же в этот момент он увидел, что к их столику спешит официант. «Наверняка ждал, подлец, пока этот тип ко мне подсядет, — с досадой подумал он. — Стоял за портьерой и ждал...» Но чувства тревоги не было. Так, лёгкое недовольство.

— Коньяку грамм триста, — начал первым делать заказ незнакомец, — и осетринки. Ну... можно икры немного.

— Чёрной? — уточнил официант.

— Да нет, гемоглобин у меня пока в порядке, — жизнерадостно сообщил незнакомец. — Красной, конечно... Коньяк «Арабат» или «Двин».

— Я уже записал, — кивнул официант.

«Как же ты мог записать, — подумал Валерий Борисович, — если он только что сказал? Значит, он клиент постоянный и привычки его тебе известны.»

Валерий Борисович внутренне насторожился и начал всерьёз подумывать о том, чтобы встать и уйти, не делая заказа. Времени ещё не так много, можно взять такси и проехать куда-нибудь в другое место. Но какой-то беспротиворечия разуму, играя на чувстве самолюбия, заставил его остаться. «Подумают, что я чего-то испугался. Нет, надо сидеть... Встать и уйти всегда успею.»

— И мне «Арабат», — сказал Валерий Борисович. — Бутылку... Распечатаете здесь. А из закусок — то же самое. Для начала... А там видно будет.

Коньяк непрощеный сосед пил умело: не торопясь и небольшими порциями.

— У меня к вам, Валерий Борисович, несколько вопросов есть, — начал незнакомец после недолгого молчания. — Вы ведь, наверное, догадываетесь, что я к вам за столик не случайно сел?

— Предположим, догадываюсь... Хотя не могу вспомнить, где мы с вами встречались.

— А нигде, — слегка улыбнулся незнакомец. — Я в этом ресторане впервые. Ехал мимо, решил остановиться и закусить слегка. А ужинаю я обычно дома. Строгий домашний режим... Жена ревнивая, — пояснил он, — по вечерам одного не отпускает. Ну, жертва с моей стороны не очень-то большая...

«Ври больше! — неприязненно подумал Валерий Борисович. — «Строгий домашний режим...» А костюм вечерний зачем в дорогу надел? И если ты за рулём — зачем пьёшь? Да и наплевать тебе на жену: по всему видно, ты хват такой, что сладкий кусок и днём не упустишь.»

— Никто, значит, вам тут не знаком? — с какой-то весёлой злостью вступил Валерий Борисович в игру.

— Абсолютно! — подтвердил компаньон по столику.

— А я? Причём вы наверняка знали, что найдёте меня здесь.

— Ну кто же вас не знает, Валерий Борисович? — укоризненно протянул сосед по столику. — Директор такого сказочного магазина... Таких и в Москве немного. У нас только и того, что названия экзотические: «Бухара», «Таджикистан», «Армения». А торгуют какими-то халатами, пиалами, заплесневевшими орехами... На худой конец — импортной копчёной колбасой. Бледная тень вашей торговой точки. У вас — другое дело. «Восток»! — со вкусом произнёс гость. — Интересно, из какой республики товары?

— Это и есть ваш вопрос? — наполнил свою рюмку Валерий Борисович.

— Попутный, — ответил собеседник, принимаясь за осетрину.

«ОБХС или КГБ? — лихорадочно соображал директор магазина, смакуя коньяк. — Те тоже в последнее время экономикой заниматься начали.»

— Зовут вас, конечно, Иван Иванович, — пустил он пробный шар. — А сведения эти вам нужны для расширения общего кругозора. Так?

— Примерно... — невозмутимо ответил собеседник. — Но зовут меня Игорь Сергеевич. Камуфляж мне ни к чему...

— Допустим, — согласился с такой версией Валерий Борисович. — Не пойму только одного: почему я должен отвечать на ваши вопросы? Если, конечно, это просто вопросы... Я же не спрашиваю вас, откуда вы едете и почему пьёте за рулем?

— А я не за рулём! — живо откликнулся Игорь Сергеевич. — Я очень редко сам вожу машину. Утомляет...

«КГБ! — пришёл к окончательному выводу директор магазина. — Эмвэдешники не будут приходить в вечернем костюме пить «Арабат». Не те ресурсы! Только, что ему надо? У меня в магазине всё в порядке.»

— Ну ладно, — прервал его мысли Игорь Сергеевич, — не хотите отвечать на этот вопрос, ответьте на другой.

— И, не ожидая согласия, спросил: — Как, по-вашему, триста тысяч — это большие деньги?

В серых глазах гостя плясали озорные чёртики, хотя на смуглом худощавом лице было выражение полнейшего безразличия к тому, уклонится собеседник опять от ответа или нет.

— Смотри для кого, — неопределённо пожал плечами Валерий Борисович и тут же понял, что совершил ошибку. Отвечать, — если уж он решил вести эту беседу, — нужно было так, чтобы исключить возможность следующего вопроса, логично вытекающего из первого.

— Для вас, — воспользовался промахом Игорь Сергеевич.

— А вам не кажется, что вы несколько... бесцеремонны?

— Отчасти — да! — согласился собеседник. — Но я вынужден так поступать, иначе мы не скоро доберемся до основного вопроса. И эта бесцельная беседа надоела уже не только вам, но и мне.

Игорь Сергеевич достал платок, слегка промокнул им губы и долил свою рюмку. Бумажными салфетками, уложенными в стаканчике полукруглым веером, он ни разу за всё время ужина не воспользовался. Коньяка отпил самую малость, откинулся на спинку стула и о чём-то задумался, скучающим взглядом рассматривая зал. В какой-то момент он остановил его на официанте, бесшумно скользившем по паркету, и тот, повинувшись безмолвному приказу, подошёл к их столику.

— Оркестр у вас что, бастует сегодня? — недовольно спросил Игорь Сергеевич. — Или затруднения с репертуаром?

Официант заспешил к эстраде. Валерий Борисович, чувствуя, что сейчас будет задан тот самый вопрос, ради которого незнакомец и подсел к нему, тоже откинулся на спинку стула в нарочито безмятежной позе, хотя внутренне весь сжался, как перед прыжком через яму, длина которой внушает сомнения в своих собственных силах.

— Куда вы дели того парня, который хотел устроиться к вам охранником? — перегнувшись через столик, приглушённо спросил Игорь Сергеевич.

— Какого... парня? — растерянно спросил Валерий Борисович, чувствуя, что этой воображаемой ямы ему не перескочить. Ещё немного он подержится в полёте, но следующий вопрос собьёт его с траектории, и тогда — неизбежно — придётся падать вниз. И как глубоко — неизвестно.

— Того, что приходил к вам позавчера, — спокойно уточнил Игорь Сергеевич. — И попросил он за свой труд триста тысяч в месяц. Я же вас спрашивал: большие ли это деньги в наше время? Лично я думаю, что за охрану такого магазина эта сумма — сущая мелочь. Вам никогда не приходило в голову, какой убыток потерпит кооператив, если однажды ночью в магазине случится пожар? А пожарные, к тому же, приедут с большим опозданием? Но о деньгах мы поговорим позже, — пообещал он, и в этом обещании прозвучали явные нотки угрозы. — А сейчас мне хочется знать другое: куда его увезла «скорая помощь»?

На эстраде тихонько звякнула оркестровая тарелка, вслед за нею негромко ухнул барабан и, разбуженный этим звуком, горько зарыдал саксофон. Высокий цыганистый аккордеонист небрежно бросил пальцы на клавиши и легко вплёлся в общую мелодию.

«К мысу ль радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц, всюду, где б мы с тобой ни причалили, не поднять нам усталых ресниц», — затосковала певица.

— Да... действительно: приходил какой-то парень, — словно только сейчас вспомнил Валерий Борисович. — Но ни о каких деньгах он не говорил! — горячо заверил своего собеседника директор магазина. — Он даже не дошёл до моего кабинета: сцепился с кем-то в коридоре, шум подняли дикий... Мы вначале подумали, что он пьян. Там такой двор, знаете, вечно полно всякого отребья...

— Я хорошо знаком с этим двором, — не дал ему уклониться в сторону Игорь Сергеевич.

— Да... ну потом видят, что человек не в себе... Что-то вроде припадка. Наверное, кто-то позвонил в «скорую».

— А почему они приезжали с милицией?

— Разве? — удивился директор магазина. — Возможно, и с милицией... Я не заметил. Не стал ждать финала этой сцены. Кругом крики, какие-то люди, ругань... Ушёл в кабинет и как его забирали, я вам сказать не могу. А он что, ваш родственник или знакомый? — сочувствующе спросил директор, сделав вид, что не понимает, о чём на самом деле идет речь.

— Валерий Борисович, — как-то устало произнёс незнакомец, — хотите, я вам скажу кое-что откровенно? Только без обиды! — предупредил он,

— Пожалуйста! Я же не девушка — постараюсь не обидеться.

— Так вот... Возможно, вы в своих собственных глазах и кажетесь фигурой значительной, но я обычно такими людьми, как вы, не занимаюсь. Не мой это уровень... Есть дела поважнее. Но тут исключительный случай — пострадал мой человек и я должен прийти ему на помощь. Иначе мои люди не будут верить мне! — отчеканил Игорь Сергеевич. — Тот парень не был пьян, и он не болеет эпилепсией! Эту сказку вы можете рассказать кому-нибудь из посетителей вашего магазина. А мне нужно знать, где он?

— Я откровенно вам говорю: не знаю! — постарался придать своему голосу как можно больше искренности Валерий Борисович. — Но попытаюсь узнать. Где я смогу вас найти... или связаться с вами?

— Не надо меня искать, — поднялся с места Игорь Сергеевич. — Я сам вас найду, если будет нужно. А тому парню, если с ним всё в порядке, вы теперь должны пятьсот тысяч рублей. Запомните эту сумму! А если с ним что-нибудь случилось, то... я не завидую вам.

Гость пошёл к выходу, не прощаясь и не оставив денег за свой ужин. Стоявший невдалеке официант сделал вид, что не замечает ухода своего клиента, но, как только тот скрылся за входной портьерой, поспешил привести столик в порядок. Теперь, если бы его кто-нибудь к спросил, официант твёрдо ответил бы, что здесь весь вечер сидел один человек. В этом Валерий Борисович был более чем уверен.

* * *

Случилось что-то непонятное: на площадке возле ресторана выстроилась целая вереница машин, но ни один таксист не соглашался везти в город. А ведь многие знали его не только в лицо, но и по имени-отчеству и возили по этому маршруту не один раз. Шофёры стояли несколькими небольшими группками, негромко беседовали о чём-то своем, беззаботно поигрывая ключами и заученно отвечали: «Не могу, занят... Жду клиента». К нескольким частным машинам, стоявшим особняком, Валерий Борисович не стал подходить: по опыту знал, что сидящие в них шофёры даже не станут с ним разговаривать. Они работали у таких людей, что никогда не рискнули бы заняться частным извозом.

Валерий Борисович тоскливо посмотрел на дорогу, уходящую вдаль через сосновый перелесок. Там, в недостижимой для него дали, разливалось в полнеба зарево ночного города, раскинувшегося вдоль спокойной широкой реки. Ему даже показалось, что он видит сияние куполов древних храмов, стоящих на обрывистом берегу уже несколько столетий. Но это только показалось... Их и днём-то в хорошую погоду не всегда можно было различить с этого расстояния. Откуда-то с низа живота, неторопливо, но цепко, к груди начал ползти страх. Он повернулся и медленно, стараясь сохранить невозмутимый вид, пошёл опять в ресторан.

В холле, возле туалетных комнат, остановился у телефона-автомата и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, дрожащим пальцем стал набирать номер. Набрав, некоторое время с тревожным ожиданием слушал далёкие гудки и наконец облегчённо вздохнул: абонент оказался на месте.

— Виктор! — приглушённо выдохнул Валерий Борисович. — Я влип... Меня загнали в угол. Ни один таксист не соглашается везти в город. Долго рассказывать... — нетерпеливо поморщился директор магазина, настороженно озираясь вокруг. — Тебе там легко так говорить! — разозлился он. — А я здесь себя совсем по-другому чувствую... Ладно. Только скорей! — попросил он. — «Это и дураку понятно, — раздражённо думал Валерий Борисович, направляясь опять в зал, — что надо на людях находиться. Умник нашёлся...» Но страх начал отступать и на душе стало намного спокойнее.

— А я уже с вашего столика всё убрал, — растерянно сказал официант, увидев вошедшего в зал Валерия Борисовича. — Вы же не сказали, что вернётесь... И расплатились.

— Это не беда! — успокоил его директор магазина. — Я ненадолго... Принеси мне ещё коньяка и... — задумался он, — лимона, что ли...

— Опять бутылку?

— Зачем? Хватит грамм двести... Только той же марки.

— Там как раз примерно столько и осталось. В вашей бутылке, — напомнил официант.

— Делай, как знаешь, — отмахнулся от него Валерий Борисович, прошёл к столику, на котором стояла табличка «Служебный», с наглой уверенностью сел на мягкий стул и с наслаждением прислушался к привычному ресторанному гулу. Жизнь опять была хороша и катилась по знакомой колее.

* * *

Со стороны города, из-за поворота, выскользнула чёрная «Волга» с притушенными огнями, развернулась, не доезжая до стоянки, и замерла на обочине дороги, уставив на таксистов два красных глаза задних габаритных огней. Хлопнула дверца, и мимо шофёров, властно оглядев каждого из них, к ресторану прошёл милиционер. На плечах — офицерские погоны. Войдя в зал, он остановился у входа и бегом стал осматривать столики. Найдя взглядом того, кто ему был нужен, неторопливо подошёл и сказал:

— Я за вами, Валерий Борисович... От Виктора.

* * *

— Пугают! — пренебрежительно сказал Виктор Георгиевич, выслушав сбивчивый рассказ своего товарища. — Попугают и бросят... Они сами по теневой стороне улицы ходят. Лишний раз на свет боятся показаться... А вообще-то я тебя предупреждал насчёт ресторанов. Что за блажь? У тебя что, дома нечего выпить? Или хорошую девку к себе не можешь пригласить? Я понимаю: аромат не тот... Но такие вещи надо позволять себе в отпуске. Там, где тебя никто не знает. Ладно, забудем... — смягчился он, видя, что его товарищ мрачнеет всё больше и больше. — Ну, а с твоим незнакомцем... Придётся его огорчить. Если им сейчас уступить, сядут на шею и будут погонять до конца жизни. Но в одном я им пойду навстречу, — как-то нехорошо усмехнулся Виктор Георгиевич.

— В чём? — спросил Валерий Борисович, чувствующий себя не столь бодро, как его друг.

— Тот тип обещал тебя найти сам? — вместо ответа спросил хозяин квартиры.

— Да...

— Значит, он знал, что ты благополучно доберёшься домой. А ты уже и в штаны наложил! — снисходительно сказал Виктор Георгиевич. — Это он в тебя лишнего страха накачивал. Или... им нужно было узнать, куда и с кем ты поедешь из ресторана. Основное — куда... Ты ничего не заметил? — обратился он к старшему лейтенанту милиции, молча сидевшему на диване.

— На «хвост» они мне не сели, это точно, — ответил тот. — От ресторана за мной никто не увязался, а перед самым городом я свернул на просёлок и въехал со стороны вокзала. Здесь тоже следил... Нет, всё чисто, — убеждённо сказал старший лейтенант.

— А таксисты номер не посмотрели, пока ты в ресторан ходил?

— Да откуда они знали, что я за ним приехал? И машину я оставил, не доезжая до стоянки. А если посмотрели — на здоровье: я их дважды в день меняю, если машина в работе, — беззаботно ответил старший лейтенант.

— Ладно... — успокоился Виктор Георгиевич. — Домой тебя отвезут и проводят до самой двери, — обратился он к Валерию Борисовичу. — Сейчас я тебе запишу номерок телефона, — прошёл хозяин квартиры к письменному столу, — и если тебе позвонят, сообщишь им его.

— Что за номерок? — недоверчиво спросил Валерий Борисович.

— По которому надо искать их пропавшего друга, — ответил Виктор Георгиевич, не вдаваясь в подробности.
— Пусть забирают его...

— А насчёт денег что им говорить? — спросил Валерий Борисович, пряча в нагрудный кармашек пиджака белый бумажный квадратик с телефонным номером.

— Насчёт денег? — задумчиво спросил Виктор Георгиевич, покачиваясь на носках мягких домашних туфель перед креслом, в котором сидел его друг. Руки он сложил за спиной и о чём-то раздумывал. Загорелая лысина матово поблескивала под светом люстры. — Насчёт денег... — повторил он. — Я думаю, когда ты им сообщишь этот номер, они уже не будут требовать денег. Но... на всякий случай... Скажи им, что деньги они могут получить там же... По тому же адресу, где находится их товарищ. В любое время! Да, вот ещё что, — спохватился хозяин. — Завтра тебя отвезут на работу и целый день там будет мой человек. А ты постарайся за это время сдать все дела Шуртову.

— Зачем?

— На время... — пояснил Виктор Георгиевич. — Пока я до конца разберусь с этими деятелями. Можешь, если хочешь, катануть на юг. Билет я тебе обеспечу. И проводят тебя... А хочешь — поезжай в Среднюю Азию. Всё равно человека туда посылать надо: завалили, сволочи, каракулем, уже и не знаешь, куда девать его. Заодно посмотришь, как там твои друзья-мусульмане живут. Да не забудь привет от меня передать! — шутливо погрозил он.

Сказано это было таким тоном, словно Валерий Борисович уже сидел в купе спального вагона, а дежурный по станции объявил об отходе поезда.

— Короче: встряхнись, — закончил беседу хозяин дома. — И ни о чём не думай... Я всё без тебя улажу. Ну, до завтра, — подал он руку вставшему с места товарищу.

* * *

Звонок раздался почти сразу после того, как Валерий Борисович закрыл за собой дверь квартиры и включил в кабинете свет. «Значит, откуда-то неподалёку следили за окнами», — машинально отметил он. Внутри опять пополз противный холодок страха. Он задёрнул на окнах плотные шторы и прошёл к непрерывно звонившему телефону.

— Валерий Борисович? — уточнил незнакомый голос с дальнего конца провода.

— Да...

— Игорь Сергеевич попросил меня узнать насчёт одного человека. Вам напомнить, о ком идёт речь?

— Не надо, — достал директор магазина из кармашка квадратик бумаги. — Запишите номер телефона... Записали? Он находится там.

— А как насчёт денег? — вкрадчиво спросил далёкий баритон.

— Получите там же...

— Когда?

— В любое время... Когда вам будет нужно.

Валерий Борисович зачем-то дунул на прощание в трубку, положил её на аппарат и пошёл в другую комнату проверить импортный «Зауэр». Свет больше нигде зажигать не стал. Хоть и третий этаж, но... Погладив в полутьме полированные стволы ружья, висевшего на ковре у дивана, сел сбоку от окна в кресло и почувствовал, что от излишне выпитого коньяка и приступов страха его сейчас будет тошнить.

— Что он сказал? — нетерпеливо спросил Игорь Сергеевич плотного пожилого мужчину, когда тот закончил телефонный разговор.

— Дал номер телефона... Сказал, что Санька там. И деньги можно получить по этому адресу.

— По какому адресу? — вскипел Игорь Сергеевич. — А ну, дай сюда бумажку! — властно сказал он.

Номер был самый заурядный, из трёх групп цифр, без таинственности многочисленных нулей.

— Где ты увидел тут адрес? Какой-то ты несобранный стал, Фомич... А ну, звони! — приказал он пожилому. — Да смотри: если услышишь щелчок, сразу клади трубку.

— Сам знаю, не дурак, — огрызнулся тот.

Глядя на бумажку, он задумчиво почесал седую щёточку усов, прокашлялся и начал накручивать номерной диск. Помолчал, ожидая отзыва, и внезапно оживился:

— Алло! Это 27-39-41?

— Да, — спокойно ответил далёкий собеседник.

— У вас там нету Любченко? Александра... — добавил он.

— Сейчас посмотрю... Подождите минутку.

— Жду, жду, — заверил Фомич и обнадёживающе подмигнул Игорю Сергеевичу, стоявшему рядом.

— Есть, — сообщил через некоторое время далёкий голос.

— Позовите его к телефону! — обрадованно заорал Фомич.

— К телефону? — удивлённо протянул далёкий собеседник. И нервно хохотнул. — Здесь, кроме меня, никто к телефону подойти не может, — пояснил он. И опять хохотнул нехорошим смешком. — Ты хоть знаешь, куда звонишь, чудик? — окончательно развеселился неизвестный собеседник.

— Куда? — спросил Фомич, интуитивно чувствуя, что за весёлостью собеседника кроется какая-то пакость.

Выслушав ответ, Фомич как-то уж очень осторожно положил телефонную трубку и ошарашенно сообщил:

— Это городской морг!

— Та-а-ак... — после долгого молчания протянул Игорь Сергеевич. — Весёленькое местечко! Тоже, видно, парни битые... Почему же мы до сих пор ничего о них не слышали, а, Фомич?

— Не знаю... — прошёл тот на ослабевших ногах к столу и грузно повалился на стул. — Значит, на разных дорожках работаем, — сделал он вывод, — а теперь вот встретились... На перекрёстке. И как-то надо расходиться. Что будем делать, Игорь Сергеевич?

— Звони Клавке, пусть едет в морг!

— Сейчас? — изумился Фомич. — Ты посмотри, сколько времени. Кто её туда пустит?

— Посмотрел, не беспокойся. Там сейчас, кроме дежурного, никого нет. Пусть возьмёт бутылку и катит. Скажет, что пропал брат, муж, кто угодно! Да что мне, учить тебя надо, что ли? — взорвался Игорь Сергеевич. — Давай шевелись! И пусть потом позвонит сюда...

Фомич покорно встал со стула и вновь направился к телефону.

...Клавка позвонила через полчаса с небольшим.

— Это он... — сообщила она тихим голосом взявшему трубку Игорю Сергеевичу. — Я больше не нужна?

— Нет, отдыхай, — разрешил он. — Ты тоже на сегодня свободен, — мимоходом бросил он Фомичу, направляясь к двери. — А я ещё поработаю... До утра времени много: кучу дел проверить можно! Не люблю, когда за мной долги остаются.

* * *

В свой кабинет Валерий Борисович вошёл утром бодрый и хорошо выспавшийся. Выпитый сверх обычной нормы коньяк подействовал не хуже снотворного. А с наступлением утра исчезли и ночные страхи. Вошедшему вместе с ним спутнику он предложил располагаться там, где ему будет удобней.

— Хочешь — на диване, хочешь — у стола. Я думаю, мы к обеду управимся. Сейчас кое-какие бабки подобью, сдадим дела Шуртову и — фью-уу! — весело присвистнул он.

Пришедший с директором магазина мужчина устроился у стола, лицом к двери, подвинул ближе к себе пепельницу, закурил и углубился в свежую газету. Валерий Борисович шелестел бумагами, еле слышно чертыхался и тоже жадно курил.

Дверь в кабинет распахнулась мягко и почти без щелчка, но из полутёмного коридора никто не вошёл. Валерий Борисович вдруг с удивлением увидел, что его компаньон дёрнулся назад и тут же ткнулся головой в полировку стола, подмяв под себя газету. И только потом услышал мягкий хлопок. Как будто лопнула перегоревшая лампочка. Второго хлопка Валерий Борисович уже не услышал.

Степная, 71

— Ну, наконец-то! — облегчённо вздохнул капитан Кириков, увидев входящего следователя прокуратуры Друяна. — Я уж хотел ещё раз звонить.

— В «пробку» попали, — извиняющимся тоном объяснил своё опоздание Сергей Викторович. — Какой-то лихач в троллейбус врезался. Движение и перекрыли... А ты давно здесь?

— Да уже с полчаса. Ребята работают, — кивнул он в сторону фотографа и судмедэксперта, — а я пока предварительно помещения осмотрел, здесь и в коридоре.

— Что-нибудь интересное обнаружил?

— Ничего... Их, судя по всему, застали врасплох. И предисловия никакого не было: ни следов борьбы, ни беспорядка... Один даже газету из рук выпустить не успел. А вот гильз я нигде не нашёл, — виновато сообщил капитан.

— А сколько выстрелов было? — спросил Друян.

— Два, — уверенно ответил Кириков. — По одному на каждого.

— Ты судишь по количеству ран у потерпевших? Но выстрелов могло быть и больше. Надо внимательно осмотреть ещё раз стены.

— Исключено! — твёрдо отрезал капитан. — Тому, кто стрелял, лишние выстрелы были не нужны. Директор магазина убит выстрелом в висок, а этот... — замялся сотрудник уголовного розыска, — посетитель, что ли... получил пулю в лоб. Долго не мучались... Осмотрим, конечно, ещё раз стены.

— А с жителями дома не разговаривал?

— Разговаривал с некоторыми. С теми, что среди зевак возле крыльца стоят. Глухо. Никто ничего не слышал. В этом подъезде ведь не живут, — пояснил он Друяну. — Дальше по коридору запасный вход в магазин. Там на двери замок амбарный висит. Маршем ниже — вход в подвал. Тоже дверь железная и перемет с замком. Я осмотрел обе двери... А на верхние этажи вообще хода нет: потолочное перекрытие. Ну, как обычно в таких зданиях, где на первых этажах магазины или учреждения находятся.

— Ясно. А кто второй, ты ещё не выяснил? — кивнул Сергей Викторович в сторону стола.

— Да нет. Тебя ждал.

Друян еще раз обвёл внимательным взглядом кабинет и всех находящихся в нём, стараясь получше, по резке запомнить мельчайшие детали обстановки. Он по опыту знал, что через несколько минут этот порядок вещей будет нарушен, и больше его уже не удастся воссоздать, даже имея под рукой кипу фотографий, с каким бы мастерством они ни были сделаны. Ему нужен был свой, объёмный снимок, который бы он при надобности всегда смог извлечь из архива памяти. А то, что такой снимок потребуется в дальнейшем — и не один раз! — проверено практикой. Сергей Викторович задержался взглядом на оперативнике, еле заметно улыбнувшись, спросил:

— А тебя откуда выдернули, Денис? На теннисный корт собирался?

— Да я сегодня думал с бумагами поработать, — смущённо отозвался капитан Кириков, — скопилось их чёрт-те сколько... Жара стоит, вот и оделся полегче. Когда она только кончится? Последние дни августа, а печёт, как в июле.

Одет капитан был в светлый полуспортивный костюм с короткими рукавами и лёгкую чёрную рубашку с расстёгнутым воротом.

— Я тебя так редко вижу в форме, что даже и не знаю толком, в каком ты теперь звании, — пошутил Сергей Викторович.

— Всё в том же, можешь не вытягиваться, — в тон ему ответил Денис Николаевич. — Выше капитанского звания мне, наверное, не прыгнуть.

— Почему?

— Напарника талантливый нет, — с притворным сожалением сказал капитан, — а каждое дело на себе тянуть — надорвёшься.

— Понятно. Что ж сделаешь: я не виноват, что лишён искры божьей. Ну ладно, — посерьёзnel Друян, — понятые где?

— В коридоре ждут. Там с ними участковый.

— Приглашай их сюда, да будем приступать. Вы уже закончили? — спросил следователь фотографа.

— Здесь — да. Теперь перейду в коридор.

* * *

Осмотр кабинета и костюмов пострадавших не объяснил мотивов убийства и не помог установить личности мужчины, уткнувшегося головой в смятый газетный лист. Никаких документов или записной книжки при нём не оказалось. Пачка сигарет «Кэмэл», газовая зажигалка, носовой платок. Денег самая малость... Зато во внутреннем кармане пиджака лежал компактный тупорылый пистолет незнакомой системы, которым он не успел воспользоваться.

— Знал, очевидно, что может пригодиться, — заметил капитан, выкладывая пистолет на стол. — Только кто-то проворней оказался... А штучка хорошая! — с завистью профессионала добавил он, — И хозяин вроде знаком... Только вот не могу вспомнить, где я с ним встречался. Если бы ему лицо в порядок привести, — с сожалением сказал Кириков, — тогда, наверное, вспомнил бы. А так... всё кровью залито.

Зато у директора магазина карманы пиджака оказались набитыми сверх меры: несколько пачек денег крупными купюрами в банковской упаковке, паспорт и аккредитив. В карманах брюк несколько ключей на кольце и носовой платок. В нагрудном кармашке пиджака смятый клочок бумаги с группой цифр: 27-39-41. Оружия не было.

— Всё! — сообщил Кириков, закончив осмотр костюма. Версия о возможном ограблении, если она у кого и возникла, в данном случае была несостоятельной.

— Чей-то телефон, — сказал Друян, пряча бумажку в папку. — Чей — потом выясним. А кто первым обнаружил, что они убиты? — запоздало спросил он у капитана.

— Продавец их магазина, Шуртов. Он и позвонил, — ответил Денис Николаевич.

— Какого магазина? «Восток»?

— Да... По-моему, он у них один.

— А где этот продавец?

— Тоже в коридоре... Пригласить?

— Давай...

Продавец, хоть и был явно испуган, старался этого не показать, а очки с затенёнными стеклами мешали разглядеть выражение глаз. Одет он был неброско, но дорого. «А какие же он костюмы после работы надевает? — подумал Друян, разглядывая тощую фигуру Шуртова, его хорошо выбритое лицо с запавшими щеками и аккуратный зачёс светлых волос. — Хотя... Не в продуктовом же магазине человек работает, — постарался он погасить в себе необоснованную неприязнь к Шуртову. — Что ж ему, в грязном халате ходить?»

— Как вас зовут? — задал ему первый вопрос Друян.

— Анатолий Иванович, — с готовностью ответил Шуртов.

— Вы работаете продавцом?

— Старшим, — уточнил работник прилавка.

— А сколько же вас всего там? — удивился Друян, заходивший как-то мимоходом в этот магазин. Торговали там хоть и уникальным товаром, но площадь, отведённая под торговый зал, была небольшой.

— Двое. Я и ещё один товарищ. Магазин кооперативный и лишний штат нам ни к чему. А старшим я считаюсь потому, что несую полную материальную ответственность.

— А директор магазина? — покосился Сергей Викторович в сторону Валерия Борисовича.

— Он отвечал за всю бухгалтерию и за получение товара.

— А товар к вам откуда поступает?

— Из Средней Азии. Контейнерами. Там и правление кооператива. У нас ведь магазин не только в этом городе. Есть и другие. Только с иным профилем. Продуктовые.

— Понятно... А теперь, Анатолий Иванович, садитесь и расскажите нам всё по порядку: как вы обнаружили убитых, почему сюда пришли, во сколько. Нет, нет, не к столу, — предупредил следовательно, — там мой коллега будет протокол вести. А что это стульев здесь так много? — только сейчас обратил на это внимание Друян. — Да ещё и диван... Вас же всего трое сотрудников. Или много посетителей бывает?

— Я не хозяин этого кабинета, — сухо ответил Шуртов, устраиваясь на стуле возле окна.

— Ладно, рассказывайте, — приготовился слушать Сергей Викторович. Сам он садиться не стал, а облокотился на спинку стула, за спиной капитана Кирикова.

Директор магазина, по словам старшего продавца, собирался в деловую поездку — в Самарканд. С утра он приводил в порядок все финансовые документы, а перед обедом должен был передать дела Шуртову.

— Чем он собирался ехать, поездом?

— Мы — кооператоры, — с обидой ответил Шуртов. — Разве умный человек будет тратить четверо суток на деловую поездку? Когда же работать? Самолётом, конечно. До Ташкента, а там рукой подать.

— Билета мы не обнаружили. Может, был заказан?

— Наверное. Какая тут проблема: билет на самолёт. Не за границу же он собирался.

«Уверенно держится, — отметил про себя Друян. — Даже нагловатое.»

— Продолжайте, — предложил он Шуртову.

— Время к часу подошло, надо на перерыв закрывать, а от него, — кивнул продавец в сторону Валерия Борисовича, — звонка нет. Ну, я взял и позвонил сам. Молчит... А телефон не занят. Подождал, ещё позвонил. Молчит... Оставил помощника одного и пошёл сюда.

— А как вы шли? — оживился Сергей Викторович. — Через запасный выход?

— Нет, — покачал головой Анатолий Иванович. — Та дверь постоянно закрыта с обеих сторон. Мы её открываем только когда товар получаем. От замка с той стороны ключ у меня, с этой — у Валерия Борисовича. Так что идти пришлось вокруг дома.

— А к чему такие сложности? Вы что: не доверяли друг другу? — удивился Друян.

— Почему? — даже обиделся Шуртов. — Простая предосторожность. Одного могут заставить отдать ключ. С двумя сразу это потруднее сделать.

— Логично. Ну, дальше.

— Захожу в коридор, — продолжил свой рассказ продавец, — смотрю — дверь приоткрыта.

— Намного?

— Да не очень. Но щель порядочная. Я её потянул и... вот... Позвонил в милицию.

— Даже не заходили в кабинет? — недоверчиво спросил Друян.

— А чего ж заходить? — ослабил узел галстука Шуртов. — И так всё ясно.

— А звонили откуда?

— А во дворе, через подъезд отсюда, контора какая-то. Он них и звонил. Можете проверить.

— Проверим, конечно. Так. Давайте, Анатолий Иванович, подойдём с вами поближе к этим... э-э-э... потерпевшим, — предложил Сергей Викторович. — Вам знаком этот мужчина? Поднимите ему голову повыше, — приказал он судмедэксперту.

— Нет, — твёрдо сказал Шуртов. — Ни разу не видел.

— Не торопитесь, — попросил следователь. — Подумайте. Может, он когда-нибудь заходил в магазин? Или случайно в какой-нибудь компании встречались.

— Нигде я с ним не встречался.

— Интересно... А ведь, судя по всему, чувствовал он себя здесь свободно: газету читал, курил... Да и дела вам директор, очевидно, при нём собирался сдавать. Кстати, у вас охраны неофициальной нет? Телохранителей, так сказать?

— Не возникало необходимости приглашать таких людей, — сухо ответил Шуртов. — А магазин поставлен под охранную сигнализацию. И... разрешите мне выйти в коридор. Мне нехорошо.

— Да-да, — торопливо разрешил Друян. — Только далеко не уходите. Вы ещё нам понадобятся.

* * *

В коридоре смотреть особенно было нечего: через площадку от кабинета — железная дверь, ведущая в магазин. Отсюда же — два коротких марша ступеней. Один во двор, второй — вниз, к подвальной двери. Тоже железной, закрытой на висячий замок. Друян повертел в руках кольцо с ключами, найденными у директора магазина, выбрал один из них и сунул в гнездо замка. Ключ свободно вошёл туда и без усилий повернулся.

— Ясно, — закрыл опять замок следователь. — Пошли вниз, — предложил он сопровождавшим его.

К замку подвальной двери ни один из четырёх ключей не подходил. Сергей Викторович сделал несколько безуспешных попыток вставить хоть какой-нибудь из них в фигурную прорезь замка и вдруг с удивлением обнаружил, что в этом не было надобности: замок был открыт.

— Ты трогал его? — спросил он у капитана.

— Подходил, смотрел, но без тебя не трогал, — ответил Денис Николаевич. — Да ты его сам-то сколько крутил, прежде чем обнаружил, что он открыт? — с оттенком лёгкой обиды сказал капитан.

— Да-а-а... Дужка плотно сидит, — согласился с ним следователь. — Давай сюда фотографа с его оптикой. Понятые, вы всё видели?

— Видели... — тоскливым дуэтом отозвались понятые.

Замок сняли и стали осторожно открывать дверь. Шла она легко и без скрипа. За ней — тревожная темнота, пахнущая сухой пылью. Друян и Кириков переглянулись, понимая друг друга без слов. У обоих мелькнула одна и та же мысль: а не сидел ли здесь неизвестный, выжидая подходящий момент для того, чтобы свести счёты с

директором магазина и его посетителем? А выждав, вышел в безлюдный коридор, закрыл за собой дверь в подвал и...

— Надо вызвать электрика из домоуправления и проводника с собакой, — предложил капитан. — А так... шарить в темноте выключатели... Может, там все лампочки побиты. И если есть какие следы, то затопчешь и не заметишь.

— Вызывай! — согласился с ним Друян.

* * *

— Не везёт этому подъезду: два дня назад одного отсюда увезли на «скорой», а сегодня сразу двоих, — заметил из толпы зевак какой-то мужичок, когда санитары стали заталкивать носилки в машину.

Стоявший невдалеке Друян внимательно посмотрел на него. Низенький, с припухшим лицом, заросшим многодневной щетиной, он был явно навеселе и, не стесняясь своего поношенного барахла, старался держаться в первых рядах праздной толпы, поближе к подъезду.

— А кого ещё увозили? — равнодушно спросил Друян.

— Да парня какого-то, — не поворачивая головы ответил тот. — Правда, к машине он сам шёл. Санитары так только... Поддерживали с боков. Того в «психушку» повезли. А этих... насовсем, значит, — почесал мужичок лохматый загривок.

— А откуда вы знаете, куда его отвезли? — задал новый вопрос Сергей Викторович.

— Как — откуда? —дохнул мужичок на следователя густым перегаром. — Я тех громил в белых халатах как облупленных знаю! На всю жизнь запомнил: меня самого туда два раза забирали... С белой горячкой. Туда без милиции не забирают. И парня того, когда вели к «скорой», легавый провожал. Вот на него похожий! — оживился мужичок, показывая пальцем на стоящего напротив мужчину среднего роста в сером костюме. — Точь-в-точь! И лицо такое же, и глаза.

Мужчина в сером костюме снисходительно улыбнулся.

— Форму одеть — и точно тот легавый! — не унимался мужичок. — Слушай, а у тебя братья не служат там? — серьёзно спросил он.

— Ты что, хмырь, лишнего поддал сегодня? — разозлился мужчина. — Или опять приступ горячки? Так я тебя быстро вылечу! — пообещал он. — Без психушки.

— А что я сказал? — перетрусил мужичок. — Ну, похож. Бывает. Мало кто на кого... — начал он задом ввинчиваться в толпу.

— Подождите! — остановил его Друян. — А вы зачем сюда приходили в тот день, когда парня забирали?

— Как — зачем? — изумился мужичок. — Живу я здесь. В четвёртом подъезде. А днём я всё время во дворе. До самого вечера. Лето... А чего ещё на пенсии делать? А так в домино сгоняешь или знакомого какого встретишь.

— Как же из этого подъезда могли парня уводить, если там никто не живет? — спросил следователь. — Вы не перепутали?

— Точно! Ведь там никто не живёт, — растерянно сказал мужичок. — А я даже не подумал! Но выводили его оттуда.

— А чем вы обычно ещё занимаетесь, кроме домино?

— Бутылки он собирает, — насмешливо подсказал кто-то из толпы. — Или цыганит по углам у алкашей глоток-два... Вот его занятие.

— Ну и собираю! — с вызовом ответил мужичок. — Попробуй сам проживи на «минимальную». Быстро лапы вытянешь! Собираешь... А чего ж деньгам под ногами валяться? — И укоризненно добавил: — Я в тот день, когда его забирали, как раз ни грамма и не выпил! Вечером — да, а с утра как стёклышко был.

— А кто ещё с вами видел это? — не отставал от мужичка следователь.

— А хрен его знает, — стал раздражаться мужичок, которому явно надоел этот допрос. — Что я, специально замечал? Ведут — ну и пусть ведут. Санитаров-то я сразу узнал. Такие морды век не забудешь!

— А сегодня не видели: кто-нибудь из подъезда выходил?

— Не-а... Я в другом конце двора был. С товарищами... Проведать приходили. Смотрю — опять «скорая» стоит. Ну, я и подошёл. Поинтересоваться: что и как...

Когда Друян вернулся к подъезду, мужчины в сером костюме там уже не было. Да и остальные зеваки расходились в разные стороны: «скорая» выезжала со двора, и смотреть больше было не на что.

* * *

Розыскная собака, присланная в помощь следствию, покрутившись в подвале и возле железной двери, остановилась вскоре возле капитана Кирикова и уставилась на него жёлтыми немигающими глазами. Затем, злобно облаив Друяна, протасила проводника по коридору, выскочила наружу и успокоилась у ствола старого каштана, росшего во дворе.

— Простора ей тут оперативного нет, — смущённо сказал проводник. — Хлама кругом сколько. И людей без дела топталось. А на природе она — без осечки!

— Конечн-е-чно... — ядовито согласился с ним капитан, — в чистом поле ей работать легче. Да ещё если и преступник виден!

И, потеряв всякий интерес к шумно дышащему псу, направился к одному из подъездов: надо было проверить, звонил ли Шуртов из конторы, на которую указал? Друян в это время печатывал магазин «Восток».

— Зачем? — пробовал протестовать старший продавец. — Здесь же ничего не произошло.

— День-два отдохнёте, пока снимут остатки. Больше времени для этого не потребуется. Не универмаг же... Да и не до работы вам с помощником будет в эти дни. Так я думаю, — закончил Сергей Викторович, наклеивая на дверь узкие бумажные ярлычки со своей росписью.

Шуртов посмотрел на них, потом на упрямый вихрастый затылок следователя, покорно вздохнул и смирился.

— Надеюсь, эти дни вам не засчитают как прогул, — насмешливо прищурил сероватые глаза Друян. — А если возникнет необходимость, выдам вам официальную справку — пошлете её руководству кооператива.

Шуртов шутки не принял и ушёл от дверей магазина не прощаясь.

— Ну что, — спросил Сергей Викторович капитана, когда они уже сели в машину, — от них он звонил?

— От них, — подтвердил Денис Николаевич. — Но он звонил не только в милицию. Девчата в конторе говорят, что он набирал ещё какой-то номер и сказал: «Виктор! Валеру прикончили!» А потом добавил: «Обоих!»

— Может, какому-нибудь родственнику или знакомому сообщил, — задумчиво сказал Друян.

— И как ты додумался? — с наигранным удивлением спросил Денис. — Мне бы этой задачи надолго хватило. Зато я догадался о другом.

— О чём?

— Этот неизвестный Виктор знал, что директор магазина должен быть не один. Уверен в этом был! Потому и спросил о втором. А Шуртов ему ответил: «Обоих!»

— Верно, — согласился следователь. — Значит, он нам врал, что не знает второго?

— Чёрт его знает... Наверное — врал. И ещё я одну новость узнал, — продолжал Кириков. — Мелочь, конечно. Может, и не нужная. Два дня назад действительно какого-то парня «скорая» забирала. И именно из того подъезда. Так что тот забулдыга правду говорил. Я тоже вначале подумал: заливают старик. Ходит всё время под парами. Мог и перепутать кое-чего. Спросил женщин в этой конторе. Так, на всякий случай. А одна из них в тот день выходила во двор в это время. Куда-то идти собиралась. Ну, и видела, как его забирали. Всё так и было, как этот алкаш рассказывал: и санитары были, и милиционер с ними.

— Чёрт! — выругался Друян. — А я даже не узнал, в какой квартире этот мужичок живёт. И фамилию не спросил...

— Не беда, — успокоил следателя Денис Николаевич. — Нужно будет — найдём. Его в этом дворе все знать должны. А вообще-то: какое отношение к нашему делу тот парень имеет?

— Да вроде бы никакого, — ответил Друян. — Тут только одно смущает: забирали его из подъезда, где контора магазина, а через два дня — директора убили. Словно в отместку...

* * *

Капитан Кириков обзвонил все ближайшие отделения милиции и больницы. Ответ был везде одинаков: из указанного дома никто из них не забирал молодого мужчину. Не только в тот промежуток времени, который ориентировочно указывал капитан, но и много раньше. В более дальние отделения Денис Николаевич звонить не стал: в этом огромном городе у каждого райотдела своей работы достаточно, и вмешиваться без нужды в дела соседей никто не будет. Если их об этом не попросят. А это был явно не тот случай, когда просят помощи у коллег по профессии. Не банду же обезвреживали, а какого-то парня забирали. «И чего мы вообще над этим голову ломаем? — подумал капитан. — Ну забрали и забрали... Значит, были основания. Никто же нам не подавал ни жалобы, ни заявления о розыске...»

Зато сообщили новость, которой Кириков и не ждал. Позвонил майор Ишков из криминологической лаборатории и поинтересовался:

— Голова не болит?

— От чего? — удивился капитан.

— От дум: что, как и почему?

— Дело привычное. Да и рано ещё ей болеть: расследование только начали.

— Жаль. А я тебе хотел таблетку успокоительную дать. Знаешь, кто тот неизвестный, которого вместе с директором магазина убили?

— Кто? — загорелся любопытством капитан.

— Монах! Он у нас последний раз по делу об ограблении ювелирного проходил. Только взять его тогда не удалось. И с тех пор он в розыске числится...

— Не может быть! Как же я его не узнал? У меня же фотография есть, десятки раз смотрел, — сокрушённо сказал капитан.

— Ну... фотография дело ненадёжное, — пренебрежительно пророкотал майор в трубку. — Да и не вчера же она сделана. У меня другие методы. Особые приметы на теле. Да и отпечатки совпали полностью. Так что, моё мнение: он при кооператоре в «няньках» состоял. Но это — моё мнение, — подчеркнул майор. — У вас свои соображения могут быть.

«Похоже, что так, — подумал Денис Николаевич, закончив телефонный разговор. — Директор магазина собирался, по словам Шуртова, куда-то ехать. Да и денег при нём изрядно было. Вот тузы: личную охрану

завели! Значит, есть основания кого-то бояться. А как же они им платят? Фактически-то у них в штате три человека числилось. И если Монах на них постоянно работал, то Шуртов, конечно, его знал. Только сказать об этом нельзя было: и не оформлен он у них, и биография такая, что лучше помалкивать. Потому и не сказал на опознании, что знает этого человека. И не бояться с такими людьми связываться!»

Общаться с такими людьми хоть и не бояться, но живут всё же с опаской. Когда они с Друянном приехали осматривать квартиру директора магазина, дверь пришлось открывать тремя ключами из общей связки на кольце. А изнутри она имела еще и засов, явно сработанный по индивидуальному заказу, хотя ценных вещей в квартире оказалось не так уж и много: японский телевизор, двустволка «Зауэр» на ковре возле дивана, да ещё небольшая, но со вкусом подобранная библиотека, размещившаяся на стеллаже во всю стену. Так что меры предосторожности были продиктованы не только заботой о сохранности имущества.

— Умеют люди жить! — слегка позавидовал Друян, рассматривая корешки книжных переплётов. — Издания почти все подписные, а нигде ни одной квитанции. И чистота кругом... Он же холостяк? — обратился следователь за подтверждением к капитану. — Если судить по документам...

— Официально — да, — подтвердил Денис Николаевич. — Но вообще-то в таком возрасте мужчине без женщины трудновато. Пятьдесят два года — это ещё не старость. Значит, кто-то опекал его, — улыбнулся капитан.

— Ходил к нему кто-нибудь из женщин? — обратился Друян к понятным.

Понятые — мужчина и женщина из числа соседей, проживающих на этой же площадке, — смущённо затоптались на месте.

— Да иногда приезжали вместе с ним, — решился наконец на откровенность мужчина-пенсионер. — Но на уборщиц не похожи, — убеждённо сказал он. — Такие скорее сами убирать заставят.

— А почему вы решили, что он приезжал с ними, а не приходил?

— Так я сам сколько раз видел. Сидишь во дворе, а он подкатывает с кем-нибудь... Бывало, и с мужчинами приезжал.

— Машины частные или такси? — спросил Друян.

— Да и те и другие были.

Друян, слушая понятного, перелистывал телефонный справочник, лежавший на столе. Некоторые номера в нем были отмечены точками или птичками. «Надо забрать с собой, — подумал он, — и внимательно просмотреть. Не мешает узнать круг его знакомств и служебных интересов...» И тут же вспомнил о бумажке с группой цифр, найденной в кармашке пиджака Валерия Борисовича. Хотел достать её из папки и заняться поисками загадочного номера, но вовремя остановился: номера в телефонном справочнике давались не по порядку и работа эта была не на один час. К тому же номер мог быть иногородним. А действовать упрощённым методом — набрать номер и спросить, куда он попал, — не стоило. Возможно, этот номер — одна из ниточек в предстоящем следствии, и дергать её необдуманно раньше времени не было необходимости.

Этот номер Друян обнаружил после долгих поисков уже дома, терпеливо просматривая справочник лист за листом. А обнаружив — надолго задумался: зачем директору такого магазина понадобился этот номер? Это же не торговая точка и не склад какой-нибудь. Из задумчивости его вывел резкий телефонный звонок.

— Ты еще не лёг? — осведомился Кириков. — И не хотел беспокоить, да пришлось: Барков убит.

— Какой Барков?

— Тот алкаш, который тебе про «скорую» рассказывал. Ты ещё жалел, что не узнал, кто он такой. Так вот: Барков его фамилия. Владимир Владимирович... Его патруль при обходе обнаружил.

— А где?

— Тут же, в этом дворе. Бутылкой убили. Первое впечатление: пьяная драка. Машину я за тобой выслал.

— У меня для тебя тоже новость есть. Знаешь, чей номер был записан на бумажке, которую мы в пиджаке нашли?

— Какой-нибудь холостячки? — предположил капитан.

— Мимо... Номер городского morga!

* * *

Уходя из дома по таким вот внезапным вызовам, Друян всегда испытывал чувство вины перед женой. Мало того, что он редко приходил со службы домой вовремя, так ещё и эта вечная напряжённость в ожидании звонка, после которого обычно надо было быстро собраться и ехать неизвестно куда и насколько. И раздавались эти звонки, подчинённые какому-то неведомому закону подлости, если не глубокой ночью, то обязательно в выходной день, когда семья только что позавтракала и с ленивой расслабленностью рассуждает, где ей лучше провести свободное время.

К тому же женщина, если ей двадцать пять лет, каждый час, проведённый без мужа, расценивает как кражу её личного достояния в особо крупных размерах. И вполне справедливо полагает, что эту потерю ей уже не возместит никто и никогда.

— Серёжа! Утром хоть заедешь позавтракать? — спросила жена, когда Друян уже собирался выходить.

Вот это было самым трудным, и привыкнуть к этому он никак не мог: робкий вопрос жены и покорная фигурка в домашнем застиранном халатике, прислонившаяся к косяку двери.

— Да, может, я ещё и раньше вернусь, — отвёл Сергей Викторович взгляд в сторону.

— Не надо, — попросила жена. — Это я вначале глупенькой была: каждому твоему обещанию верила. Ты хоть помнишь, что у тебя есть сын?

— А как же! — серьёзно ответил Друян. — Иметь трёхлетнего сына и не помнить?

— Ладно, езжай. Ему уже четыре скоро будет. Тоже мне... отец называется.

— Потерпи немного, Зоя, — ласково потрепал он рукой жену по щеке. — Скоро в отпуск пойду, закатимся куда-нибудь.

— На какие шиши? — горько улыбнулась жена. — Зима идёт, а ещё столько купить надо. Кирилл из всего уже вырос. А у меня отпускные — нищим возле церкви за день больше подадут.

Против такого довода возразить было трудно: работала Зоя в мужском зале парикмахером, и на её отпускные — если, их даже приплюсовать к его окладу — далеко не уедешь.

— Значит, будем на городском пляже у реки отдыхать, — шутиливо сказал он. — Тоже вещь! Ну, закрывайся...

* * *

Таким они себе и представляли это заведение: длинное, одноэтажное здание, утопающее в зелени, тишина, нарушаемая только птицами, и воздух. Такой чистый, что хоть горстями пей! После бессонной ночи, проведённой в захламленном городском дворе, было особенно приятно умыться этой прохладной лесной чистотой и послушать весёлую птичью разноголосицу. Для птиц не существует запретных зон, кроме тех, из которых они, повинаясь инстинкту, улетают сами.

И даже забор, уходящий в обе стороны от ажурных железных ворот, оказался не глухим и высоким, а воздушно-лёгким, сваренным из тонких проволочных колец и изящных завитушек, закреплённых в редкие

кирпичные столбики. Внутри огороженной территории виднелись многочисленные асфальтированные дорожки, веером расходящиеся от главного подъезда и теряющиеся вдаль, за рыжими стволами сосен.

— Ну что, Денис, пошли? — стряхнул с себя расслабленность Друян. — А то, если ещё постоим, на стихи потянет.

— Пошли, — согласился капитан и первым зашагал от машины к ажурным воротам. Шедший сзади Друян решил немного продлить неожиданный праздник и, сойдя с дорожки, пошёл по пружинящей под ногами травяной подстилке леса.

— Сегодня не приёмный день, — вырос в проёме узкой калитки плечистый санитар в белом халате. Взгляд у санитара был не просто спокойный, а с оттенком безразличия.

— Ну, нас-то, наверное, примут, — сказал капитан, доставая из кармана светлого пиджака удостоверение.

— Сейчас, позвоню главврачу, — бесстрастно сказал санитар, ознакомившись с удостоверением.

— Звони, — согласился капитан. — А мы пока покурим.

Курил Денис Николаевич один: Друян так и не смог привыкнуть к этому занятию, хотя не раз слышал от товарищей по работе, что сигарета помогает расслабиться и отвлечься от ненужных мыслей.

— Кто не знает, может подумать, что здесь дом отдыха, — шутливо сказал Сергей Викторович своему товарищу, когда они шли от ворот к подъезду. — Только музыки не слышно. — И тут же погасил на лице улыбку: из окон, забранных изнутри частой решёткой, выглядывали такие лица, что Друян почувствовал себя неуютно.

Главврач встретил их в вестибюле. Высокий, с сухим не улыбающимся лицом, затянутый в официальность белого халата. Но без медицинской шапочки на загорелой, обширной лысине. Поздоровался главврач холодно, назвав свою фамилию — Патов, — хотя и Друян и капитан полностью представились ему, и молча повёл приехавших следователей по светлому длинному коридору к своему кабинету. «Заведение такое, что не до радушия, — мельком подумал Друян, шагая рядом с врачом по солнечным квадратам, разбросанным на зелёном линолеуме. — И у этой лицо такое, будто она от всего мира отрешилась, — отметил он, поздоровавшись с шедшей им навстречу женщиной в белом халате и накрахмаленном колпаке. — Ну и работа... Даже имени нам своего не назвал. Хорошо хоть заранее узнали.»

— Зачем вы с ней поздоровались? — спросил главврач Друяна, отпирая дверь своего кабинета и пропуская гостей вперед. При этом спросил об этом с каким-то странным смешком.

Сергей Викторович посмотрел на него с недоумением: как же он мог не поздороваться, встретив в чужом доме женщину? К тому же, очевидно, врача...

— Это сумасшедшая, — пояснил главврач, садясь на своё место за письменным столом. — С двадцатилетним стажем.

— А почему же она... — смутился Друян, садясь возле маленького столика, стоявшего торцом к письменному. Капитан устроился на диване.

— Одеты как медперсонал? — помог главврач найти точную формулировку.

— Да.

— Ну, тут особый случай, — потёр он пальцами сидящую оторочку волос вокруг лысины. — Эта женщина задушила своих детей. Двух близнецов. Полагая, что сможет вернуть после этого бросившего её любовника. Отсюда и пунктик: представление о чистоте как очищение от вины. Моется в душе по несколько раз в день. И каждый раз после этой процедуры требует чистый халат. Даём. У нас в основу лечения положен принцип: максимальное удовлетворение разумных желаний. Чтобы не вызывать отрицательных эмоций. Хотя дичь, конечно: в этом доме — и разумные желания? — безнадежно махнул рукой главврач. — Извините, заговорил вас, — скупой улыбнулся он. — Работа такая: каждому свежему человеку рад. Иногда сам на себя с опаской в зеркало смотришь. Так-то.

— Виктор Георгиевич, — обратился к нему Друян. — Помогите нам прояснить один вопрос.

— Затруднения с подследственным? Надо провести экспертизу? — предупредительно улыбнулся главврач.

— Да нет... Нужно выяснить: не поступал ли к вам несколько дней назад молодой человек. Фамилии его мы, к сожалению, не знаем, — виновато сказал Друян.

— А откуда он должен был поступить?

— Из дома семьдесят один, улица Степная. Есть сведения, что его забирали ваши сотрудники. У вас есть машина «скорой помощи»?

— Ну а как же! И не одна... Но вообще-то мы очень редко берём больного сами. К нам они поступают после предварительного заключения районного психиатра или невропатолога. Это обычный путь. Но бывают и исключения. Мы выезжаем по сигналам родных или милиции к тем больным, которые уже лечились у нас и состоят на учёте. Медлить в таких случаях нельзя! А с этим больным, которым вы интересуетесь... Я помню этот случай: его при мне привезли. Как вы называли улицу?

— Степная, семьдесят один, — напомнил Друян.

— Есть тут такой адрес, — после недолгого шуршания страницами журнала заявил Виктор Георгиевич. — Вызов сделан работником милиции. Больной Александр Павлович Любченко. Шестьдесят третьего года рождения, прописан в общежитии № 7, улица Прибрежная. Диагноз: приступ буйного помешательства.

— Данные о себе он вам сам сообщил? — пряча улыбку, поинтересовался капитан.

— У него с собой был паспорт, — серьёзно ответил врач. — Работник милиции сдал нам его.

— А кем конкретно был сделан вызов? — спросил капитан.

— Старшим лейтенантом Живгиным... Так тут записано. Да он и сопровождал сюда больного.

— А у него документы вы смотрели? — не унимался Кириков.

— Зачем? — удивился главврач. — Он же в форме был. У вас же я их не проверяю. Да и вызов не ложным оказался. Но больного вы, к сожалению, увидеть не сможете.

— В плохом состоянии? — спросил Друян.

— Хуже некуда. Вот запись в журнале: убит в палате.

— Как — убит? — воскликнул капитан. — Кем?

— Сейчас я вам покажу — кем, — сухо ответил главврач и щёлкнул тумблером на пульте, вмонтированном в крышку стола.

На экране телевизора, стоявшего в углу кабинета, появилось изображение просторной палаты. Больные, находившиеся в ней, сидели или стояли с отрешённым видом, прижавшись спинами к стене. А двое, прохаживавшихся по середине палаты, часто оглядывались назад и при сближении обходили друг друга стороной.

— Вот, одним из них... Здесь, в основном, находятся бывшие афганцы и... несколько ваших коллег, — посмотрел Патов на капитана.

— Мои коллеги?

— Да. Бывшие сотрудники милиции и внутренних войск. Диагноз: посттравматический стрессовый синдром. Страшного ничего нет: болезнь легко излечимая, но приятного мало. А чему вы так удивляетесь? Привыкли видеть своих товарищей по работе всегда здоровыми? А между тем люди вашей профессии в этом отношении относятся к группе повышенного риска. И объясняется это всё очень просто: постоянная боязнь нападения сзади, трудность с опознанием действительного противника. Например, в толпе... Вот нервишки и сдают. А для афганцев к тому же развенчание целей войны и озлобление на то, что ты подвергался опасности, в то время как твои сверстники жили полнокровной жизнью. Кроме того, все эти люди имели постоянный и свободный

доступ к оружию. А обладание оружием, кроме чувства превосходства над окружающими, вызывает иногда непреодолимое желание применить его. Против воображаемого врага, разумеется... С медицинской точки зрения здесь всё ясно, — выключил телевизор главврач. — Теперь вам понятно, кто убил?

— А зачем же вы его поместили в такую палату? — задал нелепый вопрос Друян.

— А вы полагаете, что у меня есть другие, более безопасные? — сузил серые глаза Патов. — Могу провести по всем помещениям, убедитесь сами, как обстоят дела, — предложил главврач.

— Нет, я не в этом смысле, — поспешил исправить свой промах Друян. — Я к тому, что не заметил в палате санитар...

— ...следящего за порядком? — насмешливо закончил его мысль Виктор Георгиевич. — А откуда же у меня такие штаты? Раньше, когда больница была ведомственной, у меня было меньше больных и больше обслуживающего персонала, — с сожалением сказал главврач. — А теперь — хозяин Минздрав... На его ассигнованиях далеко не уедешь. Да и не согласится никто постоянно в одном помещении с больным сидеть. Чем же он тогда от него отличаться будет? Спасибо хоть за то, что от прежних времён вот эта аппаратура осталась, — кивнул Виктор Георгиевич в сторону пульта. — При нужде можно спокойно посмотреть и послушать, чем они занимаются.

— А к какому ведомству вы раньше относились? — спросил Кириков.

— Да это не так важно... — ушёл от ответа Патов. — Это была спецбольница. Тогда к ней было иное внимание! И снабжение. О штатах и говорить нечего. А теперь у меня даже охранников нет.

— И кто же в этой больнице раньше... лечился? — задал вопрос Сергей Викторович. Он хотел сказать «сидел», но в последний момент воздержался.

— Те же, кто и сейчас: бывшие военнослужащие, иногда — гражданские лица, направленные сюда правоохранительными органами для обследования. В основном по направлению КГБ. Сейчас-то это общая больница.

— И каждый раз выяснялось, что направляемый на обследование болен? — спросил Кириков.

— Как правило! — несколько не смущаясь, ответил главврач. — Но произвола никакого не было! — поспешил он заверить своих гостей. — Вам как работникам спецорганов, — употребил он устаревший термин, — должно быть известно, что больные этой категории стремятся в первую очередь заверить окружающих в том, что они абсолютно здоровы.

Виктор Георгиевич побарабанил тонкими нервными пальцами по крышке стола, затем, неожиданно встав с места, сухо сказал:

— Извините, но мне нужно идти на обход. Если ещё есть вопросы — пожалуйста! Только недолго...

— Вопросов два, — тоже поднялся Друян с места. — Есть ли акт о смерти и где сейчас этот парень?

— Которого убили?

— Да.

— В городском морге. Нам труп не нужен. Захоронениями мы не занимаемся. А акт о смерти у старшей медсестры. Кроме того, мы сообщили об этом случае в прокуратуру, и её представитель у нас здесь был. Всё сделано по закону. Идёмте, я провожу вас к старшей медсестре. Вся документация подобного рода — у неё. И корешки больничных листов на выписавшихся.

— А отсюда выписываются? — удивился Денис Николаевич.

— Большая часть! — с укоризной посмотрел главврач на капитана. — Наша задача — вылечить человека, а не посадить сюда здорового, как... некоторые думают. Кстати, там вы сможете и с санитарями поговорить, которые того парня забирали. Сестра их к вам вызовет. Ну, — подал он худую, но сильную руку, — желаю успеха... коллеги. — Поймав вопросительный взгляд гостей, пояснил: — Вы же тоже в своём роде врачи... По профилактике общества.

* * *

— О чём ты задумался? — спросил Друян у капитана на обратном пути в город.

— Когда мы у медсестры в кабинете сидели, я в окно «скорую» увидел. Как раз из гаража собиралась выезжать.

— Я тоже видел. Ну и что?

— А в кабину к шофёру сел какой-то мужчина. И знаешь на кого похож?

— На кого?

— На того неизвестного, которого Барков с милиционером спутал. Правда, до гаража далековато было — мог и ошибиться.

— Вполне, — успокаивающе заметил Друян. — Тем более, ты всё время про него думал.

У следователя была своя забота: в кабинете главврача его внимание привлёк письменный прибор, изготовленный из орехового капа. Вещь неординарная и дорогая. Точно такой прибор, если ему не изменяла память, он видел в магазине «Восток». И рядом с этой мыслью, — не отступая на задний план, — крутилась другая: зачем директору магазина понадобился телефонный номер морга? Какая связь между этим номером, убитым парнем и письменным прибором?

Встреча старых друзей

Виктор Георгиевич после ухода следователей погрузился в привычную сутолоку больничных дел: обход палат, назначение лечебных процедур, хозяйственные распоряжения. Знакомый до мелочей распорядок дня. Однообразный и мучительно длинный. А в последнее время ещё и насыщенный тревожным ожиданием неведомой беды, подкравшейся к самому порогу и терпеливо ждущей удобного момента, чтобы всей тяжестью обрушиться на него и раздавить. И чувство это не было ложным самовнушением, лишённым оснований, и не являлось отголоском мрачно-тревожной больничной обстановки. Нет, к этому он за долгие годы работы привык, и то, что происходило в палатах для больных, его давно не волновало. Все человеческие трагедии, случавшиеся в стенах этой больницы, Виктор Георгиевич старался пропустить не через себя, не через личные переживания, а мимо, оставаясь как бы сторонним наблюдателем, видевшим только сам факт, дающий пищу для научных размышлений и выводов. И факт этот был важнее людских страданий. Равнодушие стало привычкой, а затем, потеснившись, уступило место рядом с собой жестокости.

Всё это было давно знакомо и не могло вызывать никаких иных чувств, кроме профессионального любопытства к неизвестному до этого симптому или загадочному поведению больного, который не должен был себя так вести. На этот раз всё было по-другому... Теперь, после визита следователей, чувство это трансформировалось в твёрдое убеждение: беда уже неслышно переступила порог.

— Кажется, мы с тобой влипли... — сказал Виктор Георгиевич вызванному в кабинет Жогину. — Слишком много событий в одном дворе. Теперь они будут рыть и рыть... Не понимаю, зачем ты дал команду ухлопать того алкаша? Чем он тебе мешал?

— Так он же опознал меня! — стал оправдываться Жогин. — Одень, говорит, на него форму, и точно тот легавый.

— Ну и что из этого? Алкоголик, два раза лечился от белой горячки... Кто ему поверил бы? Мало ли что ему на похмелье могло примерещиться? В конце концов мог он тебя раньше где-нибудь в форме видеть? Когда ты ещё служил...

— А санитары? Я, говорит, эти морды на всю жизнь запомнил!

— Ду-у-рак! Потому тебя и из милиции выгнали. — И с холодным бешенством продолжил: — Да при чём тут санитары? У меня же этот выезд зарегистрирован! Гнать машину в город, забирать человека среди бела дня и не сделать записи в журнале? Что ж я, по-твоему, совсем без ума? Ну, опознал бы он их, а дальше что? Никто же не отказывается от этого факта! Всё равно с ними следователи сегодня беседовали... Э-эх! Трус ты последний, а ещё за безопасность дела отвечаешь! Да и я дурак, что тем людям поверил, которые тебя рекомендовали.

Патов встал из-за стола и задёрнул на окне голубую плотную штору, погасив на полированной столешнице солнечные блики. Затем достал из холодильника бутылку без этикетки, плеснул в стакан чуть меньше половины бесцветной жидкости и залпом выпил. Жогина, сидевшего на диване, угощать не стал.

«Спиртиком побаловался, — подумал Жогин, постаравшись придать своему лицу безразличное выражение. — Здоров ещё, собака, даже водой не запивает! Может, отойдёт теперь немного. Надо помалкивать пока: пусть выговорится, потом сам скажет, что делать дальше...»

— Ну ладно. Испугался ты того старика, я тебя вполне понимаю, — продолжил после некоторого молчания разговор Патов.

«Как врач...» — мысленно подсказал Жогин следующую фразу.

— Как врач... Но зачем было торопиться? Днём человек сказал, что видел «скорую» из психиатрички, а вечером его убивают. Да тут у любого следователя, если он даже будет глупей тебя, подозрения возникнут. А ведь можно было напоить его где-нибудь в другом месте и забрать без шума сюда.

— Да, тут я маху дал, — покорно согласился со своим шефом Жогин, стараясь придать своему взгляду покаянное выражение.

— Маху он дал! — возмутился главврач. — Ещё неизвестно, во что это всё выльется. Вот ты в милиции служил.

— В ГАИ, — поправил его Жогин.

— Один чёрт! — махнул рукой Виктор Георгиевич. — Вот скажи мне: куда они теперь, по-твоему, направятся?

— В общежитие, проверить, где тот парень работал, кто друзья.

— А ты, Юрий, не совсем безнадёжен, — съязвил шеф. — А потом?

— Наверное, милиционера искать, который «скорую» сопровождал, — предположил Жогин.

— Совсем хорошо! — продолжал издеваться Патов. — Даже удивительно, до чего здраво смыслишь! Только с большим запозданием. Ну, а отсюда вывод... тебе надо исчезнуть, — спокойно сказал Виктор Георгиевич. Увидев, что в маленьких бесцветных глазках бывшего сотрудника дорожного контроля заметался страх, снисходительно заметил: — Рано пугаешься... Я же не сказал «насовсем». Квартиру немедленно брось! О том, чтобы тебя выписали сегодняшним числом, я позабочусь сам. Причём прямо сейчас. Только не забудь в паспорт штамп поставить. Ну, жены у тебя нет, плакать некому. Вещи вывезут из квартиры без тебя, сколько успеют. Поедешь в Самарканд, а там тебе скажут, что дальше делать. Но ехать туда будешь через Минск или Одессу. Не знаю ещё. Это зависит от того, куда билеты свободные будут. А уж там пересядешь. Хотел Валерий Борисович ехать, да не пришлось. Эх, вот голова была! — с искренним сожалением сказал главврач. — Не уберегли. А, между прочим, твой человек к нему приставлен был! Такой же, видно, дурак, как и ты, — начал вновь распаляться Патов. — Сам погиб и помощника моего с собой потащил. Ищите хоть, кто к этому руку приложил?

— Вышли на ресторан «Уют» — доложил Жогин. — Там несколько дней Володька Филиппов с друзьями гулял. Бывший чемпион по спортивной стрельбе. Из спорта ушёл. Хвастался по пьянке, что ему теперь за каждый выстрел платят больше, чем за чемпионские медали. Стреляли, наверное, из пистолета с глушителем, потому что во дворе никто выстрелов не слышал.

— Какая разница, из чего ухлопали? — с досадой поморщился Патов. — Нам же от этого не легче.

— Не легче, — согласился Жогин. — Но разница есть. Кустарным способом глушитель изготовить не так просто. Значит, кто-то снабдил их спецпистолетом или наставкой.

— Ладно. Иди готовься, — разрешил шеф. — В конце дня зайдёшь, получишь адреса, деньги, билеты.

— А надолго ехать, Виктор Георгиевич? — осведомился Жогин.

— Я сообщу, когда можно будет приехать. И жильём новым обеспечу. Ты насчёт этого не беспокойся. Тебя там приютят и чем нужно помогут. Отдохни немного в тёплых краях.

Жогин поднялся с дивана и направился к двери. В этот момент в кабинет без стука вошла старшая медсестра Лариса. Не ответив на приветствие Жогина, она прошла вглубь кабинета к маленькому столику, примыкающему торцом к письменному.

«Не хочешь здороваться, не надо, чёрт с тобой! — раздражённо подумал Жогин, выходя из кабинета. — Тоже мне, фифа!» Вышел он с чувством облегчения. В последнее время он начал не на шутку побаиваться своего шефа. И дело было даже не в том, что он совершал иногда досадные промахи. Это поправимо. А вот то, что он постепенно и незаметно стал обладателем многих тайн, тщательно оберегаемых Виктором Георгиевичем от внешнего мира, сделало его ценным и в то же время опасным компаньоном. И, если возникнет угроза его собственному благополучию, Виктор Георгиевич долго раздумывать не будет.»

«Вызовет санитаров, — с дрожью в душе думал Юрий Семёнович, — сделают пару уколов, и будешь всю жизнь пузыри изо рта пускать. И собственное имя забудешь...» На этот счёт он никаких иллюзий себе не строил и давно решил, что, если возникнет такая ситуация, будет отбиваться до последнего. «Пусть лучше убьют! Но я тоже успею кого-нибудь уложить!»

Оружие Жогин носил при себе всегда. Хоть и рискованно, но спокойнее на душе.

* * *

— Что с тобой? — спросил Патов Ларису, когда за Жогиним закрылась дверь. — Вы что, поссорились с ним?

— Нет, — ответила Лариса. — А что мне с ним делить? Просто он мне неприятен как человек. И в последнее время стал вести себя нагло. Ходит по больнице с таким видом, словно он твой заместитель. Ты что, в чём-то зависишь от него? И вообще я не пойму, чем он здесь занимается?

— А зачем тебе это понимать? — нахмурился Патов. — У тебя свои обязанности, у него — свои.

— Обязанности! — иронично сказала Лариса. — Он же у нас никем не числится! Его фамилии и в платёжной ведомости нет!

— Пока — да, — согласился с ней Патов. — У меня нет свободных мест в штатном расписании. А терять человека не хочется. Хороший специалист по автомашинам. И любую запчасть к ним достать может. В наше время это немало.

— А как же ты ему платишь? — заинтересовалась Лариса.

— А это уж не твоя забота, — начал сердиться Патов. — Надеюсь, ты сюда шла не затем, чтобы спросить об этом?

— Не затем, — согласилась Лариса. — Я... пришла тебе сказать... что я опять беременна.

Патов закусил губу и молча стал ждать продолжения разговора.

— Ну... вот пришла спросить... как мне быть? — негромко продолжила Лариса. Немного помолчав, попросила: — Витя! Можно я его оставляю? Мне скоро сорок. Четвёртый раз... Я не хочу больше делать аборт. — И, не выдержав, заплакала: — Я боюсь, что могу вообще остаться без детей! Ты сколько раз обещал...

Виктор Георгиевич встал из-за стола и, подойдя к двери, запер её на ключ. Затем подошёл к Ларисе и стал успокаивать:

— Потерпи немного. Скоро в отпуск пойдём. Съездим к морю. Вот только кое-какие дела закончу и поедем.

— А потом? — с надеждой спросила Лариса. — Распишемся? Мне надоело скрывать всё от людей! Что я — ворую?

— Не скрывай, — разрешил Патов. — Разве я тебе говорил, чтоб ты скрывала? Вернёмся из отпуска и распишемся.

— А как быть с ним? — положила Лариса руку себе на живот. — Мне так хочется ребёнка, Витя!

— Решай сама, — глядя в сторону, сказал Виктор Георгиевич. — Вообще-то как-то неудобно, если к свадьбе всё это слишком заметно будет. Могут подумать, что я на тебе вынужденно женюсь. Решай сама... — повторил Патов, отходя от Ларисы.

* * *

После ухода Ларисы Виктор Георгиевич облегчённо вздохнул. Сев к столу, мысленно похвалил сам себя за принятое решение отослать отсюда Жогина подальше. Если уж он привлёк внимание Ларисы... «Глуп, конечно, но предан и пока нужен, — размышлял он, оставшись в кабинете наедине со своими мыслями. — Да и знает многое, не нужно растолковывать, что к чему... Пусть пока побудет в Самарканде, а потом посмотрим, что с ним дальше будет. Убрать мы его всегда успеем...»

Патов вспомнил, как много лет назад к нему, жившему тогда в однокомнатной квартире, поздним вечером явились два гостя. Были они смуглолицы, по-русски говорили хорошо, но с заметным акцентом и чувствовали себя в незнакомой квартире весьма уверенно. К делу, за которым они пришли, незнакомцы приступили сразу, не тратя время на ненужные околичности. Дело было серьёзным и рискованным. Их земляк, находясь здесь по торговым делам, допустил оплошность, за которую ему теперь предстояло расплатиться собственной свободой. И срок ему, судя по всему, должны были дать немалый.

— Я не адвокат, — сказал Виктор Георгиевич, — вы меня с кем-то перепутали.

Оказывается, посланцы из далёкой среднеазиатской республики ничего не путали. Адвокат у них уже есть и неплохой, а теперь им нужен врач. И не просто психиатр, а такой, которого бы знали в суде и прокуратуре.

— Ты ведь заведешь больницу МВД? — спросил один из них.

— Недавно, — скромно ответил Патов.

— Это неважно. Кого попало туда не назначат. К тебе привезут нашего друга, и ты дашь заключение, что он болен.

— Чем?

— Головой! — простодушно ответили смуглолицые гости.

— Да ведь психических заболеваний десятки! — развеселился хозяин квартиры.

— Выбирай любую, — разрешили друзья пострадавшего, — только чтоб он не попал в тюрьму.

— Ну так в сумасшедшем доме сидеть будет! Это что, лучше тюрьмы?

— Лучше! — с глубокой убеждёностью ответили гости. И далее повели разговор так, словно уже всё было решено: — Дашь ему отдельную палату, посидит человек, подумает, а потом, через год-полтора, ты его выпишешь по просьбе родственников. Уедет он домой, тут и знать об этом никто не будет. Так адвокат сказал. Он нам и адрес твой дал.

— А адвокат подумал, в каком помещении потом буду сидеть я: в отдельном или общем?

— Ты будешь сидеть в своём кабинете, — негромко, но внушительно сказал один из них. — Как ты думаешь, почему именно к тебе направят нашего товарища? Разве мало в этом городе других врачей?

И тут до Патова дошло, что прежде, чем идти к нему, эти друзья уже уладили и обговорили все детали с теми людьми, от которых зависел благополучный исход дела. Он — последняя ступенька, поднявшись на которую, они откроют через время своему другу дверь на свободу. И если он им сейчас не уступит... Может, его предшественника и сняли с должности главврача за его излишнюю принципиальность? Чтобы проверить свои сомнения, Патов спросил:

— А если я не соглашусь?

— Ну что ж, — пожали плечами гости. — Наш товарищ всё равно будет в больнице. В другой. Этого хотим не только мы. Но в этой больнице ему было бы лучше. И другим спокойнее. — И тут же объяснили: — К тебе и этой больнице больше доверия.

— Если я даже соглашусь, — после некоторого раздумья сказал Виктор Георгиевич, — мне его придётся сделать действительно больным на некоторое время.

— А это не опасно? Он потом выздоровеет? — забеспокоились южане.

— Полностью! — заверил он их. — Но не сразу. У него будет ретроградная амнезия. Он потеряет память... Забудет обо всём. Этот диагноз подтвердит любой психиатр, который будет участвовать в консилиуме. И пусть его тогда допрашивают о чём хотят. Он всё равно ничего не скажет. Если б даже и захотел...

Вся эта медицинская терминология была для гостей пустым звуком, но они верили ему и потребовали, чтобы Патов сразу же назвал фамилии тех врачей, которых бы он хотел видеть в составе консилиума.

— Мы сами позаботимся о том, чтобы их туда включили, — заверили гости хозяина квартиры. — Теперь скажи: сколько стоит твой труд?

На этот вопрос Патов ответить не смог. Уж слишком необычен был предмет торга, да и определённой рыночной цены он не имел. Южане сами предложили цену, и была она так велика, что он только согласно кивнул и коротко сказал:

— Пусть направляют. Сделаю, что смогу.

С тех пор прошло много лет. Виктор Георгиевич давно защитил кандидатскую, квартира у него теперь трёхкомнатная, хоть и живёт он в ней один, а за городом, в сосновом бору, затаилась небольшая, двухэтажная дачка. Отличное место для встреч с друзьями. Некоторые из тех, кто судил когда-то его подопечного, взлетели по служебной лестнице очень высоко, но это не мешает им иногда заглядывать к нему на дачу в гости. И, хоть времена с тех пор несколько изменились, это никого из них не беспокоит. Времена меняются, а связи остаются.

А с друзьями из Средней Азии они настолько окрепли, что рвать их — если только в этом возникнет необходимость — придётся с кровью. Спецхранилище для лекарств имеет в одном месте двойные глухие стены, промежуток между которыми заполнен кипами первосортных каракулевых шкур, которые идут на шапки и воротники в кооперативных мастерских во всех концах республики. И вход в этот тайник знают только несколько человек, а принадлежит он его бывшему пациенту, страдавшему потерей памяти.

Магазин «Восток» только прикрытие: надо же где-то встречаться всем этим кооператорам, договариваться о получении следующей партии каракуля, делить без помех прибыль и намечать планы на будущее. Да и подарки нужным людям удобнее делать через магазин. Его бывший клиент не забывал своих благодетелей и время от времени присылал дорогие вещи. Так, на всякий случай. Ведь здесь находился филиал его обширного дела. Вот и недавно прислал три шкуры снежного барса по накладной, в которой они числились как «шкуры дикой кошки». Хороши кошки! Тысяч на пятьсот, наверное, потянут. Как раз хватит на женскую шубку. Но у той женщины, которая её будет носить, никто не спросит, где она её купила и сколько она стоит. Не осмелятся спросить. А для тех немногих, кто может задать этот вопрос, есть в магазине накладная и в ней проставлена цена: тридцать тысяч рублей штука. Никто сейчас не хочет рисковать: даже люди с высоким служебным положением.

Мало кто знал, что Валерий Борисович был в этом магазине второстепенным лицом, ширмой, связующим звеном между Патовым и кооператорами. А фактически его главой был старший продавец Анатолий Иванович Шуртов. Это он через подставных лиц закупал на огромные суммы ювелирные изделия, золото, антиквариат и отправлял всё это в Среднюю Азию. Только для скупки валюты у иностранных туристов специально держал в Крыму несколько человек. Так что перемещать Шуртова с этого места на должность директора магазина было неразумно.

* * *

Человека этого Степан Фомич заметил ещё на остановке пригородного автобуса. Высокий, с короткой, выгоревшей на солнце стрижкой, светлая рубашка «в арифметику» туго обтягивала литые мускулы. Держался он всё время в стороне от толпы ожидающих. Часто курил, ещё чаще без нужды посматривал на часы. «А вот рукава напрасно закатал, — подумал Степан Фомич, — сейчас картинки не в моде. Выставил, дурак, вся биография на виду: и как зовут, и когда родился.» Но держался мужчина спокойно и даже уверенно. Значит, гулял по чистой и «засветиться» не боялся. Сел он в один автобус со Степаном Фомичом и вышел вместе с ним у грунтовой развилки дорог, ведущих в два села.

«Чего он ко мне прилип? — думал Фомич, не спеша шагая по обочине грунтовой. — Может, послали рассчитаться за что-нибудь? Так у меня, вроде бы, долгов перед кодлой нету. Вести его к себе или переговорить тут? Пойду напрямик, через лес, — решил Фомич. — Увяжется, — придётся поговорить, а сразу к себе вести нельзя.»

Степан Фомич прошёл ещё несколько десятков метров и решительно свернул с грунтовки на узенькую тропинку, протоптанную грибниками. Пользовались этой тропинкой и рыбаки, пробирающиеся росными, туманными утрами к берегам протоков и рукавов огромной реки, протекавшей через город. Свернул, и боковым зрением успел заметить, что мужчина, шедший до этого сзади небольшой группы селян, в растерянности затоптался на месте и стал в очередной раз закуривать.

«А-а, притормозил! — насмешливо подумал Фомич и резко прибавил ходу. — Пстой, пошевели мозгами. Это тебе не по дороге идти, в затылок дышать. Да и людей вокруг сколько. А в лесу — один бог свидетель.» Степан Фомич наддал ещё и на одном из поворотов оглянулся. Ни на тропинке, ни между стволов сосен не было видно светлой рубашки. «Побоялся? Или хитрит? Проверим...» Ещё раз внимательно оглядев лес, Фомич пустился тяжёлой рысцей, стараясь бежать без шума, на одних носках. Вскоре стало не хватать дыхания и неприятно закололо в боку. Высмотрев в стороне небольшую заросль лещинных кустов, он свернул с тропинки и залёг в её гуще. «Полежу, отдохну, торопиться некуда.»

Вскоре появился и навязчивый попутчик. Шёл он быстро, явно стараясь нагнать исчезнувшего неизвестно куда Фомича и не забывая при этом по сторонам настороженным взглядом. Степан Фомич выждал, пока тот пройдёт заросли лесного орешника, и только тогда, не выходя из кустов, окликнул:

— Стой, Дуплет! Куда шагаешь?

— К тебе. Нужен ты мне, Дед! — явно обрадовался мужчина. — Ты не стерегись: я без зла. И пустой, — провёл он руками по карманам брюк.

— А я и не стерегусь, — слукавил Фомич, выходя из кустов. — Проверить только хотел, один ты идёшь или ещё кого за собой тащишь. Я ведь тебя давно приметил, на остановке ещё... Только виду не подал. Может, думаю, в бегах.

— На остановке... — пренебрежительно сказал Дуплет. — Я за тобой полдня ходил! Как только засёк — сразу прилип. Стареешь, Дед, чутьё потерял.

— Да оно мне теперь ни к чему, чутьё-то, — подошёл Фомич вплотную к своему недавнему преследователю, — нового за мной ничего не числится, а за старое мы с властью в расчёте. Ну, здорово! Говори, зачем я тебе понадобился?

* * *

После выпитой водки и хорошей закуски Дуплет разморился, отяжелел, но разговаривал много и без устали. Фомич выпил мало, лишь бы не обижать гостя, и предпочитал больше слушать, чем рассказывать о себе.

— Ну, и куда ж ты теперь думаешь податься? — спросил он Дуплета, выбрав паузу в разговоре. — В городе не пропишут — и думать нечего.

— Пока у тётки двоюродной остановился. На несколько дней. Осмотрюсь... Может, завалюху какую-нибудь куплю на окраине. Я кой-чего привёз оттуда с собой. За девять лет собрал.

— Бесполезно! — убеждённо сказал Фомич.

— Что — бесполезно? — не понял Дуплет.

— Думать об этом бесполезно. И купить не дадут, и денег у тебя не хватит. Все завалюхи на учёте и стоят больше, чем иная квартира. Они ж под снос идут! — Заметив непонимающий взгляд товарища, сочувственно добавил: — И вообще. Трудно тебе будет, Дуплет. Времена не те пошли. Такие, как мы с тобой, — сегодня не в цене.

— Ты же устроился? — неожиданно разозлился Дуплет. — Ещё и как классно: два этажа... цветы... Один живёшь?

— Я же не вчера устраивался. Да и не мой это дом, Дуплет. В этом районе так, с ходу, не каждого и пропишут. Ты не смотри, что это село. Кругом дачи, и не чьи-нибудь... — начал Фомич просвещать своего гостя и осёкся, глядя куда-то за спину Дуплета.

— Чего ты? — встревожился тот и, оглянувшись через плечо, увидел, что от резной добротной калитки к веранде, на которой они так уютно расположились с Фомичом, идёт мужчина лет сорока. Одет вроде бы просто, но дорого, подтянут не по годам, а главное — это Дуплет отметил сразу — чувствует себя здесь хозяином. Проходя по выложенной кирпичом дорожке, остановился у клумбы с розами, поправил какой-то стебель. Сквозь прорези штакетного забора виднелась чёрная машина, подъехавшая к дому так тихо, что они ничего не услышали. Но больше всего Дуплета поразила мгновенная перемена в облике Фомича. Лицо его приняло выражение какой-то не то покорности, не то явного желания услужить. И сам он весь как-то подобрался, готовый в любой момент вскочить из-за стола и выполнить то, что ему прикажут. Он даже рюмку, из которой недавно пил водку, успел отодвинуть от себя подальше, и весь его вид говорил о том, что к этому бражничанью среди белого дня он никакого отношения не имеет.

— Чего ты? — с ещё большим недоумением спросил Дуплет.

— Тиш-ше! — прошипел Фомич, вставая из-за стола навстречу входившему на веранду мужчине.

— Гуляешь, Фомич? — добродушно осведомился пришедший, проходя к столу и ни с кем не здороваясь.

— Да вот... кореша бывшего встретил, — заторопился с ответом Степан Фомич. — Отметить решили немного...

— Оттуда? — спросил мужчина, разглядывая многочисленные татуировки на оголённых руках Дуплета.

— Оттуда, — подтвердил Фомич. — Пришёл совета просить, что ему дальше делать.

— Ну и как: дал ты ему совет? — поинтересовался пришедший, продолжая стоять у столика. Взял со стола початую бутылку водки, повертел её в руках и поставил обратно на стол.

— Да ведь так сразу, Игорь Сергеевич, такие дела не делаются. Подумать надо, — ответил Степан Фомич.

— Ну думайте, думайте, — разрешил незнакомец, направляясь в дом. — А водку, между прочим, надо холодной пить, — заметил он уже в дверях. — Ничего ты, Фомич, я вижу, не усваиваешь. А ещё другим собираешься советы давать, как жить.

— Это что за фрайер? — изумлённо спросил Дуплет, когда шаги мужчины затихли где-то в глубине дома. — Ты ж в законе, Дед, кассу когда-то воровскую держал, толковища вёл! А вьёшься, как шестёрка.

— Тише, ты, дурак! — с неожиданной яростью набросился на него Фомич, с опаской поглядывая на открытую в дом дверь. — «В законе... кассу держал...» — передразнил он Дуплета. — Кому он сейчас нужен, твой закон? Касса... — с нескрываемым презрением опять повторил он. — Это там, в зоне, такие, как мы — люди. А здесь — дерьмо! Здесь свои законы... И пожёстче, чем у нас с тобой были. И те шестьсот тысяч, которые я для корешей берёг, для него, — кивнул он в сторону двери, — тьфу! Закрой свой музей! — окончательно вышел из себя Фомич. — Распахнулся. Кому тут нужны твои купола с колоколами? Думаешь, кто-нибудь понимает, что они означают?

Дуплет обиженно засопел, но пуговицы на рубашке застегнул, кроме одной, самой верхней, закрыв на мощной груди густую татуировку. Фомич, наполнив рюмку, опрокинул её в себя одним махом, отдышался и спокойно сказал:

— А ведь прав, как всегда: пойло тёплое, а не водка. Эх, Лёша, Лёша, — неожиданно подобрел Фомич, — если б мне сейчас заново жизнь начать. Я бы её прожил по-другому! Как люди живут. Как вот этот... фрайер, — горько усмехнулся он. — Да ты знаешь, кто это?

— Кто? — проникся невольным уважением к незнакомцу Дуплет.

— Кто, кто... Ему только мигнуть стоит, и нас с тобой живьём в асфальт закатают! Вот кто! И милиция рядом будет стоять, смотреть, как тебя, дурака, закатывают!

— Заливай! — не поверил Дуплет.

— Ладно, — решил не вдаваться в дальнейшие подробности Фомич. — Покрутишься на воле немного, может, и поймёшь что-нибудь. А нет — придётся опять в те края возвращаться. Таким людям, как мы с тобой, трудно всё заново начинать. Ну, я-то намного раньше тебя вышел и сразу в хорошие лапы попал. Потому и живу до сих пор по чистой. И денег больше имею, чем раньше. А этого дерьма, — показал он пальцем на недопитую бутылку, — хоть...

— Фомич! — раздался голос из глубины дома. — Зайди на минуту!

К столу Степан Фомич вернулся каким-то строго-торжественным и заметно протрезвевшим.

— Идём со мной, — обратился он к задумавшемуся Дуплету. — Сам зовёт... Смотри, — предупредил он, — понравишься — будешь жить, как король! Нет — придётся из города сматываться и побыстрее. Свободных конкурентов он не любит! Лишнего не болтай, — подтолкнул его Фомич в спину, — а слушай больше.

* * *

Игорь Сергеевич сидел без пиджака в кресле возле низенького столика и пил из запотевшего стакана минералку. Но галстук не снял, а лишь ослабил узел и расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке. «Значит, отдыхать ложиться не будет, — мысленно отметил Фомич, знавший привычки своего шефа. — Куда-то ещё собирается ехать. Или ждёт кого-то...» Вошедшим в комнату Фомичу и Дуплету он садиться не предложил, хотя рядом стояли два свободных кресла, а тахта возле стены была таких размеров, что там вполне разместилась бы приличная компания.

Дуплет попробовал выдержать спокойный, изучающий взгляд хозяина комнаты и — не смог: серые глаза Игоря Сергеевича стали наливаться холодной синевой, а тонкие губы сжались в узкую полоску. «Ну его к гадам, — подумал Дуплет, отводя взгляд в сторону, — а то и допить не дадут.»

— Как тебя зовут? — спросил Игорь Сергеевич, поставив стакан на поднос.

— Лёшкой, — буркнул Дуплет, недовольный исходом немой дуэли.

— Ну-у... это несолидно, — поморщился хозяин. — В таком возрасте... Ты же не мальчик.

— Можно Дуплетом звать.

— А это уж совсем никуда не годится. Ты же не в зоне. Так что все клички оставь в прежней жизни, если, конечно, хочешь новую начать, — посоветовал Игорь Сергеевич. — А если назад туда вернуться собираешься, то нам с тобой говорить не о чем. Как, Степан Фомич?

— Вы, Игорь Сергеевич, не обращайте внимания на эти мелочи. Одичал он немного. За девять лет и собственное имя забудешь. А так он парень надёжный, не подведёт.

— Подведёт — с тебя первого шкуру снимут, — жёстко сказал хозяин дома Фомичу. — За твою рекомендацию.

Помолчал, допил пузырящуюся воду из стакана и задал Дуплету очередной вопрос:

— Что делать умеешь?

— Всё! — с готовностью ответил тот. И не врал. За многие годы, проведённые в различных колониях, приходилось Дуплету осваивать десятки профессий, и не как-нибудь, а основательно: за невыполненную норму полной лагерной пайки не выдавали.

Игорь Сергеевич придерживался на этот счёт иного мнения.

— Всё — значит, ничего! — убеждённо сказал он. — Но это даже и к лучшему. У меня ты будешь дворником. Фомич тоже с этого начинал.

— Метлой махать? — обиженно спросил Дуплет, собираясь обложить этого фрайера отборным матом. — Так для этого «шестёрки» есть.

— Да нет, — встал Игорь Сергеевич из кресла. — Метлой у меня есть кому махать. Это ещё заслужить нужно. А дворник должен убирать то, что мне мешает иногда в жизни. Дошло?

— Я ему втолкую, Игорь Сергеевич, — поспешил на помощь своему другу Фомич. — Он парень такой, что с полуслова всё понимает.

— Что-то не заметил этого качества. Ну ладно. А работать ты будешь пока в ресторане, — подошёл хозяин дачи вплотную к Дуплету. — Кем — скажут.

— У меня прописки нет, — мрачно сказал Дуплет. — И вообще никаких документов, кроме справки об освобождении.

— Это не твоя забота, — отмахнулся от такой мелочи Игорь Сергеевич. — Отдай свою справку Фомичу, я ему потом скажу, что дальше делать. Будет у тебя паспорт с пропиской. И чтоб я больше не видел тебя с закатанными рукавами! Мне лишняя реклама ни к чему. Степан Фомич! Возле дома стоит машина, скажи шофёру, пусть отвезет вас в город, в магазин. Ты знаешь, в какой... Одень и обуй его там поприличней, — кивнул хозяин дома в сторону Дуплета. — И галстук — обязательно! Дашь ему тысяч пятьдесят пока...

— У меня есть деньги, — хвастливо сказал Дуплет, раскатывая рукава рубашки.

— ...на мелкие расходы, — не обратил внимания на это заявление Игорь Сергеевич, — и отвезёшь потом в Вишенки к Васильевне. Пусть пока там поживёт. Так как тебя зовут? — в очередной раз спросил он Дуплета.

— Алексей Дмитриевич, — неуверенно ответил тот.

— Хорошо! — одобрил Игорь Сергеевич. — Со временем привыкнешь, ещё и обижаться будешь, если тебя Лёшкой назовут. Ну, и последний совет: будешь пить — придётся распрощаться. Сразу со всем... А будет у тебя многое, это ты сам увидишь. Не сразу, но будет. Всё, идите, ко мне скоро должны прийти.

«Вот тебе и фрайер! — восхищённо думал Дуплет, выходя из комнаты. — Почтище любого «пахана» будет: и ксивы даёт, и жильё, и деньги...» Вспомнив, как он сам распределял в зоне лучшие места на нарах среди приближённых, брезгливо поморщился: «Мелочь!» Проходя через веранду, покосился на оставшуюся закуску и выпивку, но предлагать Фомичу задержаться возле стола не стал: совет хозяина дома ещё звучал в ушах.

* * *

— Нет у нас в городе старшего лейтенанта с такой фамилией, — сказал Кирикову начальник отдела кадров, тщательно просмотрев картотеку. — Я и без картотеки это знал, — с едва проскальзывающей ноткой хвастовства сказал подполковник. — И смотрел больше так... чтоб сомнений у тебя не вызывать. А то бы ты прямо от меня к начальнику управления с жалобой пошёл. Так ведь?

— Наверное, — неопределённо протянул капитан.

— Ну, чтобы ты окончательно успокоился, посмотрим ещё в одном месте.

Подполковник выдвинул из стеллажа ещё один узкий ящичек. Карточек в нем было намного меньше, чем в первом.

— Здесь у меня те, кто ушёл из органов по разным причинам, — пояснил подполковник. — Так... Жимко... Этот по инвалидности. Жогин есть. Уволен два года назад. А может, тебе фамилию неправильно назвали?

— Да вроде бы правильно. В журнале у них так записано.

— В журнале, — презрительно сказал подполковник. — У нас, бывает, в паспорте такое напишут, что потом сами до истерики хохочут. И метрика перед глазами лежит!

— А адрес этого... Жогина, у вас есть? — спросил капитан.

— Адрес? Есть, конечно. Да ведь неизвестно, живёт он теперь там или нет. На бумагу, запиши на всякий случай.

— А за что его уволили? — спросил капитан, пряча в карман бумажку с адресом.

— За то, что служил не так, как положено, — недовольно ответил подполковник. — А за что конкретно — тебе знать не надо. Если прикажут, могу и личное дело дать ознакомиться.

— Фотографию хоть покажите, товарищ подполковник, — взмолился капитан.

— Это пожалуйста: на, смотри, — вынул начальник отдела кадров фотографию из бумажного кармашка на обложке папки.

На капитана смотрел симпатичный мужчина в форме, но без головного убора. Волосы зачёсаны назад и, видно, были очень густыми. Глаза вот только подвели: маленькие и настороженные.

— Ну что, похож на того, кого ты ищешь?

Капитан мысленно сравнил изображение на фотографии с неизвестным в сером костюме, на которого указывал Барков, затем с мелькнувшим в дальнем конце больничного двора у «скорой» мужчиной и уверенно сказал:

— Похож... И очень!

* * *

Магазин «Восток» открылся через два дня. Наличие товара точно сошлось с учётными данными в документах, хранившихся в кабинете директора.

— Нам жульничать ни к чему, — с оттенком лёгкой обиды сказал Шуртов, открывая в присутствии Дрюяна магазин. — У кого ж мы воровать будем? Сами у себя? В госторговле, там — да! Сумел — значит твоё. А здесь — можешь уносить домой хоть всё. Пожалуйста, воруй! Самому же и платить придётся. Коллективная ответственность! Прошу! — картинно распахнул старший продавец дверь. — Посмотрите, может, выберете себе какой-нибудь сувенир.

Выбор в магазине был богатый. Внимание Дрюяна привлёк шахматный столик. Он давно мечтал приобрести где-нибудь по случаю хорошие шахматы. Те, что продавались в магазинах культоваров, его не интересовали. Стандартные штамповки из дешёвой пластмассы или, в лучшем случае, аляповатые поделки из сосны, покрытые мутным лаком. Сейчас он видел перед собой шахматы своей мечты.

Изящный низенький столик, инкрустированный различными породами дерева, был покрыт светлым лаком и имел два выдвижных ящичка для фигур. Это было настоящее произведение искусства неизвестного мастера. Чёрные и красные фигурки ручной работы в безмолвии выстроились друг против друга в ожидании сигнала к атаке. Величественный король благосклонно выслушивал последние советы своей молодой супруги; кони, горделиво поджав свои породистые морды, напряглись перед первым прыжком, а офицеры с осиными талиями уже взяли за рукоятки шпаг и готовы были отправить свою пешечную гвардию в бой.

— Сколько стоит эта безделушка? — небрежным тоном поинтересовался следователь.

Старший продавец так же небрежно назвал цену. Она была фантастически огромной, и Сергей Викторович невольно стал подсчитывать в уме, сколько ему нужно работать, отказывая семье в самом необходимом, чтобы приобрести эти шахматы.

— И находятся покупатели на такие вещи? — спросил он у Шуртова.

— Этот столик практически продан, — ответил тот. — Его обещал забрать один профессор, даже задаток давал, но мы не взяли. Должен зайти на днях. Гонорар какой-то ждёт, что ли...

— Да-а... Цены у вас... как из сказок Шехерезады, — пошутил следователь.

— Так ведь и вещи оттуда же! — откликнулся продавец. — Возьмите любую из них: хоть ковёр, хоть мебель — только ручная работа. Ведь им через несколько лет вообще цены не будет. Зачислят в антиквариат. Вот, пожалуйста, занавеска декоративная на дверь. Чепуха, казалось бы, а сделана из игл дикобраза. Экзотика! И берут за милую душу! Я вам так скажу, — доверительно перегнулся Шуртов через прилавок, — кооператор всегда будет обгонять государственную торговлю.

— Ну, не всегда, — не согласился Друян, — и не во всём.

— Нет-нет, не спорьте, — загорячился Шуртов. — Кооператорам не нужны согласования с различными главками, утверждения смет и планов, и прочая бумажная канитель. Пришла хорошая идея в голову, обсудили быстренько между собой и — будь здоров! — товар уже на прилавке. Пошла вещь, — поставят на конвейер, нет — снизят цену. Оперативность нужна! — назидательно поднял Шуртов указательный палец вверх.

— А вы товары только из Средней Азии получаете? — спросил Сергей Викторович.

— Только оттуда! — подтвердил Шуртов. — Хотели еще с кубачинцами договор заключить на кувшины, кубки, подносы, браслеты — не разрешили.

— Почему? — удивился Друян.

— Они работают с драгметаллами, — пояснил старший продавец. — А это монополия государства. Всю продукцию обязаны сдавать в сеть ювелирторгов. Пойди завари кофе! — приказал он своему помощнику, который явно не знал, чем заняться, и томился, опёршись о прилавок. Тот с явным облегчением ушёл в подсобку.

— Из местных изделий, — продолжил разговор Шуртов, — нам брать для продажи тоже нечего: какие-то рушнички предлагают, глиняные игрушки, горшки расписные. Вы возьмёте такие вещи в современную квартиру? То-то же! — не дождавшись ответа от следователя, сказал Шуртов. — А всё дело знаете в чём?

— В чём?

— В терпении! У славян его нет, не было и не будет! Возьмите вот хоть этот ковер, — подошел Шуртов к стене. — Ведь тут на квадратном сантиметре сотня узелков завязана, — отогнул он край висящего ковра и показал его обратную сторону. — Это ж какое терпение надо иметь? Какую любовь к своему делу! А главное — уверенность, что твой труд не пропадет даром, он кому-то нужен, где-то эту вещь ждут. А мы привыкли так: взял бревно, топор, тук-тук — и получай! А что?

— Что? — невольно заразился его возбуждением Друян.

— Дрова, вот что, — раздраженно ответил Шуртов. — А кого сейчас дрова интересуют? Сейчас век электричества. Да, цены у нас приличные! — с вызовом сказал Шуртов. — Но ведь ни одна вещь не залёживается!

— А у вас там что: специальные мастерские? — спросил Друян.

— Нет. Местные умельцы выполняют наши заказы по договорным ценам. Бывает, и чисто случайно на какой-нибудь шедевр наш человек натолкнётся. Как вот, например, на этот шахматный столик. Он ведь кооперативу тоже не даром достался. Там, на рынках, не дураки торгуют, и торопиться им некуда. Ему на базаре сидеть — одно удовольствие.

И тут Друян увидел на прилавке письменный прибор из орехового капа. Почти точную копию того, который он видел на письменном столе у главврача в психиатрической больнице.

— А вот этот прибор у вас один или ещё был такой же? — спросил Сергей Викторович.

— Нет, больше не было. Особенностью нашего магазина является и то, что все продаваемые вещи изготовлены в единственном экземпляре. У-ни-ку-мы! Вы не найдёте здесь двух ковров с одинаковым узором или двух подносов с похожим рисунком чеканки. Тут простой расчёт: единственный экземпляр всегда стоит дороже, чем серийный. Просто — и эффективно!

— А вот я видел у вас в документах накладную: «Шкуры диких кошек». Три штуки. Они-то должны были быть похожими.

— Только на первый взгляд! — живо возразил продавец. — Количество полос или пятен никогда не совпадает. Да и их расположение...

— А цена одинаковая... — задумчиво сказал Друян. — И продали вы их почему-то не по ценам вашего магазина: по тридцать тысяч рублей за шкурку. Вы не помните, каким кошкам, конкретно, принадлежали шкурки? Я имею в виду... ну... породу, что ли.

— Я не специалист по мехам, — смутился Шуртов. — Наверное, камышовый кот или тугайный. Никогда не был в Азии и точно сказать не могу.

— А цвет шкурок какой?

— Ну, такой, знаете, бурый, с крапинками.

— С крапинками, значит? — насмешливо спросил Друян. И тут же огорошил старшего продавца: — Зато я был в Азии! И не один год. Камышовый или тугайный кот — это одно и то же! И шкуру его никто не купит: слишком вид невзрачный. Модницам он не нужен — да и не слышали они об этих котах! — а в виде декоративного украшения — ростом они не вышли. Так что вы подумайте, какие шкуры были. Может, вспомните, когда встретимся в следующий раз. Заодно, может быть вспомните, кому вы их продали. Случайные покупатели сюда ведь редко заглядывают: зарплата не позволяет. И ещё один вопрос: этот профессор, который хочет купить шахматный столик, он в морге не подрабатывает?

— Почему... в морге? — окончательно растерялся Шуртов.

— Просто я подумал: может, он патологоанатом? Ну, и... в свободное время. Сейчас это даже модным стало — унижать себя не престижными формами труда. В газете вон писали недавно: одному дипломату надоели бесконечные международные переговоры, плюнул он на эту канитель и организовал кооператив.

— Не знаю. Не спрашивал, — сухо сказал пришедший в себя Шуртов. — Но если вам это так интересно, — язвительно добавил он, — я постараюсь узнать.

— Если не трудно — узнайте, — направился Друян к выходу. — А я попробую это уточнить по своим каналам...

— А кофе? — растерянно сказал Шуртов вдогонку.

Поиски и находки

— Мы с тобой, Денис, зашли в тупик, — пришёл к неутешительному для них выводу Друян. — Не совсем, правда, но стоим у входа в него. И самое паршивое, что мы не знаем, в какую сторону свернуть, чтобы не попасть туда.

— Да, — согласился с ним Кириков, — с такой наглостью и продуманностью со стороны преступников мне давно не приходилось встречаться. Всё расписано, как по нотам. До минуты! И, главное, ни за что толком не зацепишься. Дураку ясно, что все четыре убийства связаны между собой теснее некуда, а первопричину не найдёшь.

Сидели они на скамье, в сквере, возле длинного шестиэтажного дома, куда приезжали в надежде застать Жогина, бывшего старшего лейтенанта милиции, адрес которого капитану дали в управлении кадров. Служебную машину Кириков отпустил.

— Может, мне подождать вас? — спросил на всякий случай шофёр.

— Не надо, езжай, — легкомысленно махнул рукой капитан. — Мы тут долго будем.

— А почему ты решил, что долго? — спросил его Друян, когда они в лифте поднимались на четвёртый этаж.

— Если застанем, хочу с ним в неофициальной обстановке сначала поговорить. Посмотрю, что он петть мне будет. А если его дома не окажется, буду ждать, пока не придет. Хоть до утра.

Ждать до утра не пришлось. Дверь квартиры открыли сразу, после первого же звонка, и встретившая их немолодая, симпатичная женщина обрадовалась приходу следователей как родным братьям, которых не видела долгое время.

— Вот молодцы! — радостно пропела она, не дав им сказать ни слова. — Аркадий! — закричала она в гулкую пустоту квартиры. — Маляры пришли обои наклеивать! Проходите, проходите, — радушно пригласила она капитана и Друяна. — А мы сомневались, что вы вовремя придёте. Да ещё соседи наговорили про вашу фирму. А вы точно: шесть часов — и тут! Как военные!

— Правильно, наверное, вам наговорили, — пришел наконец в себя капитан. — Мы хоть отчасти и военные, но не маляры.

— А кто? — угрюмо спросил появившийся из комнаты Аркадий. Одет он был в старые пижамные брюки и выцветшую майку. Питанием, судя по всему, жена его не обижала.

— Я — из уголовного розыска, — ответил капитан. — А он — следователь прокуратуры.

— А что случилось? — приглушённо спросила женщина. — С ордером у нас всё в порядке, а...

— Жогин Юрий Семёнович здесь живёт? — перебил её капитан.

— Это, наверное, тот товарищ, который здесь жил раньше? — спросил Аркадий. — Ну да, — припомнил он, — так мне говорили. Но теперь его тут нет. Выехал.

— Когда же он успел? — растерялся Денис Николаевич.

— Да вы проходите в комнату, — догадалась наконец пригласить их хозяйка. — Правда, у нас беспорядок везде. Вчера вечером только въехали. Ещё и вещи не все перевезли. Так... Самое необходимое. Мужу позвонили на работу, давай, говорят, въезжай немедленно, если хочешь квартиру получить. Хамство какое: восемь лет ждали, ещё и погоняют. Даже квартиру не дали осмотреть. Сейчас я из кухни табуретки принесу. От прежнего жильца остались.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что уезжал Жогин, видимо, в спешке, так как даже часть мебели бросил на произвол судьбы.

— Мы тоже не знаем, как быть, — жаловалась хозяйка, — мебель теперь такая, что, если со старой квартиры сюда везти, рассыпаться может. Да ещё по этажам тащить. Может, продать на месте за сколько дадут, а новую купить? Так и купить негде, — загоревала раньше времени хозяйка.

— А куда он выехал? — спросил Друян, не разделяя её забот.

— Соседи говорили, что у него родственник где-то умер и дом ему оставил. Ну, он квартиру бросил и уехал.

— В хороших краях, очевидно, дом оставили ему, если он решил в таком городе квартиру бросить, — зло заметил капитан.

Он подозревал, что никакого умершего родственника скорее всего не было, а спешный отъезд Жогина вызван другими, более важными причинами. Наследство можно принять не ранее чем через шесть месяцев, а для того, чтобы похоронить близкого человека, не обязательно бросать квартиру. То же самое думал и Друян.

— Значит, не знаете, куда он уехал... — в раздумье проговорил капитан.

— Не знаем, — слаженным дуэтом отозвались супруги. — Может, он кому-нибудь из соседей говорил, а мы его даже не видели. А что он натворил? — с нездоровым любопытством спросила хозяйка.

— От алиментов скрывается... — равнодушно пояснил капитан, поднимаясь с шаткого табурета.

Соседи, опрошенные в некоторых квартирах, ничего нового не добавили. Видели, что человек уезжает, а куда — неизвестно.

— В Молдавию он покати! — уверенно сказала одна старушка из тех, что постоянно сидят возле подъездов и все знают.

— А вы откуда знаете? — спросил её Сергей Викторович. — Разговаривали с ним?

— А зачем мне с ним разговаривать? — пренебрежительно сказала старушка. — Я через стенку от него живу и всё слышу. Он, как выпьет, сейчас берёт гитару и одну и ту же песню поет: «Что за ветер в степи молдаванской...» Значит, тосковал человек по тем краям. А это уж, видно, припекло: бросил всё и уехал.

— Ну спасибо, — унылым голосом поблагодарил капитан всезнающую старушку.

Теперь вот они сидели с Друяном в скверике, под густой каштановой кроной, накрывшей тенью не только их скамейку, но ещё и порядочный кусок зеленого газона. Обоим было ясно, что их опередили на несколько ходов и отыгрываться теперь будет нелегко. И виноваты в этом временном проигрыше они сами. Этот эпизод со старшим лейтенантом, сопровождавшим «скорую», был оттеснен на задний план более важными, на их взгляд, событиями, и они не торопились им заняться. Более того, они сомневались в целесообразности поиска этого неведомого милиционера, против которого и обвинений-то никаких конкретных нет, — так, одни подозрения. Теперь эти сомнения полностью рассеялись. Человек, не чувствующий за собой никакой вины, не будет столь поспешно уезжать из города, бросив квартиру, которую в наше время получить не так-то просто.

— Ошибку он допустил, — прервал молчание Друян. — Не надо было ему уезжать. Если он даже и сопровождал Любченко в «скорой», то теперь этого никто не докажет. Свидетелей-то нет! Один был, и того убрали. И искать, где он работал, бесполезно, если даже и найдем, это ничего не даст. Ключ лежит не там.

— А где? — спросил Денис Николаевич.

— Нужно точно знать, за что убили Любченко. Кому он мешал, и почему там оказался. Тогда всё встанет на свои места, — ответил следователь.

— Вообще-то я знаю, где работал Жогин, — спокойно сказал капитан. — И искать особенно не надо. Может, под другой фамилией или не был там оформлен. Ну, это выяснить не трудно.

— Где? — удивлённо посмотрел на товарища Друян.

— В психиатричке... Это его я видел возле «скорой» во дворе больницы. Далековато, правда, было, как следует я тогда его не рассмотрел, а теперь точно знаю: и тот человек, и неизвестный, на которого указывал Барков, и этот бывший старший лейтенант Жогин — одно и то же лицо. Интересно, что их связывать может? —

задумчиво спросил сам себя капитан. — Патов — главврач, кандидат наук, а этот бывший гаишник, к тому же чем-то замаранный... В отделе кадров мне, правда, не сказали, за что его уволили. Но за хорошие дела со службы не попросят.

— А я, Денис, думаю вот о чём: какое отношение главврач этой больницы имеет к магазину «Восток»? Я у него видел на столе письменный прибор из капа. Ему цена многие тысячи рублей. Конечно, он себе может позволить купить такую вещь. Да ещё если за счёт больницы. Но дело не в этом: точно такой прибор стоит в магазине для продажи. Может, в мелочах чем-то и отличается. А Шуртов утверждает, что второго такого прибора у них не было. Почему? Не хочет, чтобы мы знали о его знакомстве с Патовым? Если боится, то чего?

— А что такое кап? — спросил капитан.

— Сразу видно, что ты бесплатное образование получил, — улыбнулся Друян. — Это нарост или наплыв на стволе дерева. У него на срезе фактура очень красивая. Да ещё если он с ценной породы дерева взят... Так вот, у главврача прибор из орехового капа изготовлен. Я в Средней Азии жил и кое-какие поделки из такого материала видел. Ореховый кап ни с каким другим не перепутаешь.

— Может, и он там бывал, мы же его не спрашивали, — обронил капитан. — Какое отношение прибор имеет к этому делу?

— А вот какое: Любченко забрали в психушку из конторы магазина. Теперь уж сомнений нет, что оттуда. Но почему забрали? Что он там делал? Кто позвонил в больницу, чтоб за ним приехали? И почему так поспешно убили? Я, конечно, не отрицаю, что сумасшедшие на всё способны. Но почему именно его? Ведь до этого у них таких случаев не было! А в кармашке пиджака у директора магазина почему-то номер телефона городского морга оказался. Зачем он ему понадобился? Не мог же он предвидеть своей смерти и заранее место там себе заказать? — мрачно пошутил Друян. — Теперь этот спешный отъезд Жогина. Куда он поехал — это не секрет. Я смотрел в магазине накладные на товар. Кооператив у них в Самарканде. Можно, конечно, дать телеграмму и встретить его там, но мы этого делать не будем: никаких серьёзных обвинений мы ему пока предъявить не можем. Только всполошим всех компаньонов.

— А почему ты решил, что он поездом поехал? — спросил капитан. — Мог и самолётом, только по другим документам.

— Мог, — согласился Друян. — Но они попусту рисковать не будут. И так наследили достаточно. Они чувствуют, что мы напали на след, потому и отправили его отсюда. Мы вот что сделаем: у меня там друг работает в уголовном розыске... Майор Усманов. Мы с ним несколько дел вместе раскручивали. Позвоним ему, сообщим всё, что нам известно, и, если там Жогин появится, он с него глаз не спустит. А здесь пока что наблюдение организуем.

— За кем? — спросил капитан.

— За Шуртовым и за больницей. Ну... и надо искать тех, кто директора магазина убил. Это люди из другой компании. Что-то они не поделили между собой.

— Опять к начальству с просьбой идти, — поморщился капитан, — начнёт ныть: «И так сотрудников не хватает. Я в твои годы. На твоём месте.»

* * *

Заведующая гастрономом при встрече с Друяном не выказала ни наигранной приветливости, ни особого волнения. Припрятанного дефицита на складе магазина не было, товара без накладных — тоже. Да и продукты в последнее время получали такие, что прятать их для знакомых и своих сотрудников не имело смысла: мороженая рыба и колбаса дешёвых сортов. Иногда — масло в пачках. А узнав, что именно интересует следователя, совсем успокоилась и пригласила Друяна для разговора в свой кабинет.

— Ребята попались хорошие, — рассказывала она Сергею Викторовичу. — Работают безотказно, не пьют, а главное — на руку чисты.

— Совсем не пьют или только на работе? — спросил Друян.

— После работы не знаю, а в магазине я их выпившими не видела. Для нашего дела это главное. Мы им вначале разные проверки устраивали, — призналась заведующая. — Склад ведь у нас большой, закоулков много, за всем не уследишь. Бери, что хочешь, и выноси под халатом на улицу.

— Ну и как, прошли они проверку? — улыбнулся Друян.

— Полностью! Я их уговаривала в заочный институт поступить. Или хотя бы в техникум. Кое-какие знакомства у меня есть, — скромно сказала заведующая, — помогли бы ребятам. Не хотят!

— А почему, не спрашивали?

— Спрашивала. Стыдно, говорят, торговать. А мешки и ящики таскать на плечах не стыдно? — с искренним удивлением спросила она следователя, ища у него поддержки.

— А Любченко у вас давно на работу не выходит? — перебил Сергей Викторович словоохотливую заведующую.

В тёмных глазах завмага мелькнула растерянность, но тут же пропала, уступив место наигранной озабоченности.

— Вы знаете, с ним что-то непонятное. Я вначале думала, что он болен, позвонила в общежитие, а комендант говорит, что его там уже несколько дней не видели. Спросила ребят, которые с ним в одной бригаде работают, плечами пожимают и всё. В торг я пока ничего сообщать не стала.

— Почему?

— Ну... у нас такое положение... за прогул премию со всего коллектива снимают. Подожду ещё немного, может, появится. Тогда отработает.

И запоздало сообразив, что следователь прокуратуры не будет приходить в магазин без веской причины, спросила:

— Что-нибудь серьёзное случилось? Может, мне собрание коллектива провести? Осудить поступок или на поруки взять. Как вы посоветуете?

— А ребята из той бригады сейчас здесь? — вместо совета спросил Друян.

— Да, сегодня их смена. Позвать сюда?

— Не надо. Я, пожалуй, поговорю с ними где-нибудь в другом месте. А то и мы вам будем мешать работать, и они себя будут чувствовать скованно. Помогите мне их только найти.

— Пойдёмте, — с готовностью поднялась заведующая с места и, проведя следователя в складское помещение, легко понесла свои пышные формы между штабелями ящиков и пирамидами мешков.

* * *

Известие о том, что с ними хочет поговорить следователь, оба грузчика встретили внешне безразлично. И именно это наигранное безразличие наводило на мысль о том, что бывшие боксёры ждали такого визита, внутренне подготовились к нему и согласовали между собой нужные им показания. Люди, не чувствующие за собой никакой вины, будут вести себя иначе. Их, в первую очередь, заинтересует, зачем они понадобились следователю. Эти — ни плотный, с покатыми плечами Толя Таран, ни сухощавый, жилистый Витёк Галей — не спросили ни о чём.

Побеседовать решили во дворе.

— Там и покурить можно и мешать никто не будет, — сказал бригадир грузчиков Таран.

— Давайте во дворе, — согласился Друян.

Устроились на пустых ящиках, сложенных у стены, с тыльной стороны магазина. Но откровенного разговора не получилось: товарищи Любченко сдержанно отвечали на вопросы следователя, курили сигарету за сигаретой и терпеливо ждали окончания явно тяготившей их беседы. Чувствовалось, что парни чего-то боятся и, чтобы ненароком не проговориться, на все вопросы неизменно отвечали: «Не знаем...» И только к концу беседы настороженность у ребят понемногу уступила место спокойствию, но до полной откровенности было ещё далеко. Они охотно рассказали Друяну свои спортивные биографии, с обидой поведали о том, что как только они перестали добиваться блестящих результатов на ринге, с ними сразу же без сожаления распрощались и забыли об их существовании. Вот и пришлось идти работать грузчиками.

— А почему вы не учились, когда... ну... славой пользовались? — спросил их Сергей Викторович.

— Почему, — хмыкнул Таран, — Самим подготовиться некогда было: то сборы, то соревнования, то чемпионаты, и так всё время колесом. А тренера сколько ни просили, чтобы помог поступить, одни отговорки слышали.

— На лапу не дали, потому и не поступили, — зло сказал второй член бригады, худощавый Галей. — Те, кто дал, давно уже дипломы имеют.

После этой невесёлой реплики ребята опять замкнулись.

— Ну а что ж всё-таки с вашим другом случилось? — решил Друян не ходить больше вокруг да около. — Почему его на работе столько дней нет? А вы даже в общежитие не сходили узнать, что с ним. Как же так, — укоризненно сказал Друян, — друзья всё же, столько лет вместе боксом занимались, да и тут в одной бригаде работали.

— Думали, приболел или «загудел», — ответил Таран. — Он в последнее время после работы часто закладывал. А бокс тут ни при чём: там каждый сам за себя отвечает. Это в футболе мяч толпой катают.

— Да и здесь тоже: каждый свой мешок на собственном загривке тащит, — поддержал товарища сухощавый Витёк. — Невмоготу — сбрасывай и отдыхай, твой мешок никто нести не будет. Зарплата-то одинаковая, значит, и труд поровну делить надо.

— Тоже верно, — согласился с ним Сергей Викторович, — но я бы к товарищу ходил. А не пошли вы к нему по одной причине... — выжидающе замолк Друян.

— По какой? — не выдержал этого молчаливого ожидания Таран.

— Вы знали, что его в общежитии нет, — спокойно сказал следователь.

— Откуда мы знали? — вяло возразил Таран, стараясь не встречаться взглядом с Друяном.

— Я смотрел табель выходов у заведующей. На выходной вы ушли втроём, а после этого Любченко уже в магазин не пришёл. Если вы провели выходной не вместе, то обязательно зашли бы после работы в общежитие. Или хотя бы позвонили туда. Вы этого не сделали, значит, были уверены, что его там нет, — сказал Сергей Викторович. — Теперь у меня к вам вопрос: что вы делали в свой выходной день? Смотрите на меня и отвечайте быстро! — приказал Друян.

— Я... это... «жигулёнок» свой ремонтировал, — запинаясь ответил Таран. — А Витёк мне помогал. Целый день провозились. А вечером пошли пивка попили.

— Кто видел, что вы ремонтировали машину?

— А чёрт его знает! — нахально ответил Таран. — Знали бы, что вы об этом спрашивать будете, — запомнили бы. А так...

— Ну хорошо. Я вам скажу, что случилось с вашим товарищем. Он убит.

— Как — убит? — испуганно посмотрели на следователя друзья.

— А вот так. Жил человек — и нету. Вы можете на него посмотреть в морге. Собственно, я обязан отвезти вас туда. Подтвердите, что это он. То, что при нём оказался паспорт, ещё ни о чем не говорит.

— А кем убит? — спросил Витек.

— Кем и за что, этого я пока не знаю. А вы мне помочь в этом не хотите. Вот и тащим каждый свой мешок, как вы говорите.

Таран и Витек промолчали.

* * *

После долгих колебаний и размышлений Виктор Георгиевич принял наконец решение, которое ему казалось единственно правильным: директором магазина «Восток» нужно всё-таки назначить Шуртова. Правда, работы тогда у него заметно прибавится: распределение партий каракуля среди кооператоров требовало и времени, и умения ладить с людьми, а ведь нужно было ещё заниматься скупкой золота и валюты. Многовато для одного человека, но иного выхода не было, посвящать лишних людей во все тайны своего дела Патов не хотел. Кроме того, он подозревал, что теперь и за ним самим, и за магазином «Восток» будет установлено наблюдение. Вряд ли приезжавшие к нему следователи остались удовлетворёнными его объяснениями. Не такие уж они простаки! И появление любого нового человека в штате магазина, несомненно, вызовет у них массу вопросов: кто он? откуда появился? по чьей рекомендации? И на все эти вопросы следователи, разумеется, захотят иметь исчерпывающие ответы. Нет, лишних козырей в руки им давать нельзя, пусть довольствуются тем, что имеют.

И ещё один вопрос беспокоил Патова: охрана. Его самого, Шуртова, денег и ювелирных ценностей, поступающих в магазин. Здесь, на территории больницы, можно было никого не опасаться. Про тайник с каракулем знали всего несколько человек, а золото и валюта хранились в одной из палат в изолированном крыле здания, которое обслуживали доверенные лица. Вряд ли найдётся охотник заглянуть туда, даже в сопровождении дюжих санитаров. Да и сам Виктор Георгиевич, если ему нужно было положить или изъять ценности, приказывал своим помощникам вывести больных на прогулку или — если не позволяла погода — временно перевести их в резервную палату.

То, что санитары, обслуживающие это крыло здания, все до одного имели уголовное прошлое, его не тревожило. На работу они были приняты по рекомендации лиц, поручительству которых Патов доверял. И если у кого-нибудь мог возникнуть вопрос, почему люди с такими биографиями работают в этой больнице, наготове было простое и убедительное объяснение: здесь не секретный завод и приём на работу ведётся без проверки биографий. Кроме того, желающих здесь трудиться — несмотря на солидную надбавку — всегда было очень мало.

Отправка золота и валюты тоже была хорошо организована: в назначенные сроки из Средней Азии в город приезжали доверенные люди и приходили в больницу под видом родственников, навещающих больных. Приходили днём, не таясь и ничем не рискуя. Забрав партию ценностей, так же открыто покидали территорию больницы. А что с ними случится дальше — Патова не интересовало. Это уже была забота других людей.

А вот об охране Шуртова и себя нужно было побеспокоиться. В городе начала действовать какая-то неизвестная группа, которая, судя по всему, догадывается, что люди, работающие в магазине «Восток», имеют доход не только от продажи сувениров. Иначе бы они не прислали человека с требованием ежемесячной выплаты солидной дани. И поручили это скользкое дело явно новичку, не желая подвергать опасности своих людей.

Виктор Георгиевич понимал, что эта группа, кроме уверенности в своих силах, доходящей до наглости, к тому же ещё и хорошо организована. Поздно вечером Валерий Борисович сообщил им по телефону, где находится их незадачливый посланец, а утром следующего дня сам был убит в своём кабинете вместе с охранником и отправился по тому же адресу — в морг. И ниточку, тянущуюся от тех событий сюда, в больницу, они, несомненно, нащупали.

Да, с такими людьми, хочешь не хочешь, а придётся считаться. Но кто они? Где их искать? А если даже нападёшь на след, это мало что даст. Взаимное устранение второстепенных исполнителей только испортит всё дело: следователи прокуратуры и милиции рано или поздно выйдут на главных лиц, в том числе и на него самого. И тогда уже можно будет потерять всё: деньги, власть над людьми, свободу. Нет, взаимная вражда с этой группой желаемого результата не даст. Ему, Патову, нужен мир, но прежде чем его заключить, нужно войти в контакт с главарями этой группы.

Валерий Борисович столкнулся с одним из них в ресторане «Уют». Может, попробовать ему самому проехать в этот загородный ресторан и посмотреть поближе на его посетителей? Здравый смысл подсказывал, что ничего плохого с ним там не случится: никто не ожидает его появления в ресторане и, кроме того, не надо отказывать своему противнику в умении правильно оценить обстановку. И если «Уют» является для них своего рода резиденцией, то они не заинтересованы привлекать к нему внимание милиции. Приняв это решение, Виктор Георгиевич вызвал к себе в кабинет шофёра.

— Машина хорошо подготовлена? — спросил Патов застывшего у двери шофёра.

— Как всегда, Виктор Георгиевич, — ответил тот.

— Подъезжай к воротам, я сейчас выйду, — распорядился Патов. — Поедем сначала в город, а потом я скажу куда...

Сосновый бор, почти вплотную подступавший к городу, проскочили быстро, и машина покатила мимо пригородных особняков, утопавших в зелени вишнёвых и грушевых садов. Дома в этом районе строили в основном отставники в крупных чинах, работники различных фирм и совместных предприятий: свой дом в тихом зелёном районе намного лучше любой, даже престижной квартиры.

— Поезжай по улице Хмельницкого, — приказал главврач шофёру, — там надо будет одного человека взять.

* * *

— Товарищ капитан! Шуртов сел на углу Хмельницкого в чёрную «волгу». Едут в сторону монастыря, — доложили по рации.

— А кто ещё в машине? — спросил Кириков.

— Не знаю, стёкла в машине затемнённые. А номер запишите.

— Продолжайте наблюдение, со связи не уходите, — распорядился капитан, сознавая, что самому ему уже не успеть к месту событий. «А машина главврача! — с каким-то непонятным для самого себя удовлетворением подумал Денис Николаевич. — Интересно будет узнать, куда они направились?»

«Волга» проехала мимо мужского монастыря, расположенного на обрывистом берегу реки, попетляла по кольцам дорожной развязки и мягко вкатилась под ажурную арку металлического моста.

— Направляются за город, — доложили капитану Кирикову.

Но вскоре Денис Николаевич получил сообщение, которое его не только огорчило, но и вывело из себя: вырвавшись на загородное шоссе, чёрная «волга» главврача сумела намного оторваться от наблюдателей, а после одного из поворотов они её вообще не увидели.

— Свернули на какой-то просёлок, — виновато докладывал капитану его сотрудник. — Тут их десятки по каждую сторону дороги: то в сёла, то в дачные посёлки. И лес кругом, ничего не просматривается.

— Растяпы! — не сдержался капитан.

— У них, наверное, двигатель с форсажем, — нисколько не обиделся докладывающий. — Мы шли за ними на скорости сто тридцать, а разрыв всё время увеличивался. Может, встать за поворотом и подождать, пока они будут возвращаться?

— А потом проводить их до города? — язвительно спросил капитан, — Покатались и хватит...

Окончив разговор, Кириков подошёл к карте области, висевшей в простенке между двумя окнами: может, всё-таки удастся вычислить, куда так торопился главврач со своим спутником.

Новые знакомства

Ресторанов Виктор Георгиевич не любил и бывал в них редко. Исключение составлял «Театральный», находившийся на одной из главных улиц города, где можно было спокойно посидеть, не опасаясь нарваться на хамство, а то и явный скандал со стороны подвыпивших лохматых юнцов. Дежуривший в дверях «Театрального» величественный швейцар, одетый в форму маршала неизвестного рода войск, наметанным взглядом безошибочно определял, кого можно беспрепятственно пропустить в уютную полутьму ресторанного зала, а кому холодно сказать:

— Свободных мест нет, все столики заказаны.

И если уж эта фраза была произнесена, то никакие уговоры, мольбы и даже сование смятых кредиток в широкую ладонь швейцара не могли заставить его изменить своё решение.

В «Уют» Патов приехал впервые и причин для недовольства пока не находил: столики были расставлены друг от друга на приличном расстоянии, так что можно было вести негромкую беседу, не опасаясь быть услышанным со стороны. Сразу было видно, что здесь дорожили не площадью, а клиентом. Посредине зала, в чаше коричневого мрамора, — небольшой фонтанчик. Вокруг чаши — площадка для танцев. «Если ещё и музыка окажется приличной, — подумал Виктор Георгиевич, — совсем хорошо.» Нравилось и отсутствие обязательных для такого места пальм и фикусов в громоздких ящиках, расставленных по углам зала. Вместо этого неперменного атрибута — на каждом столике два-три цветка в вазе,

— Ну что ж, — удовлетворённо сказал Патов, просмотрев меню, — выбор небогатый, но по нашим временам вполне сносный. Ты тут бывал раньше, Анатолий?

— Несколько раз с Валерием заглядывал, — ответил Шуртов. — В меню у них не всё внесено, — уверенно сказал он, — Для постоянных клиентов они такие деликатесы держат, что и в «Интуристе» не всегда увидишь.

— Что-то «пингины» не торопятся, — заметил Виктор Георгиевич, имея в виду официантов.

— Да нам, собственно, тоже спешить некуда, — усмехнулся Анатолий Иванович, протирая свои дымчатые очки носовым платком. — А ты зачем меня сюда привёз? Если просто поужинать — далековато забрались, пока назад доедешь, снова есть захочется.

— Сейчас заказ сделаем — расскажу, — пообещал Патов, заметив приближающегося официанта.

Шуртов на правах постоянного клиента обратился к официанту с фамильярной снисходительностью:

— Принеси нам, Миша, чего-нибудь на свой вкус. Желательно из рыбного. Ну, и салатиков каких-нибудь. А к ним — холодной водочки. А дальше — видно будет.

Заказ официант выполнил быстро и расставил на столике перед приятелями столько закусок, что Патов вначале растерялся, с какой из них начинать ужин. А ведь был в таких делах далеко не новичок и удивить его чем-либо было трудно.

— Последний раз ты, Анатолий, здесь ужинаешь, — сказал своему компаньону Виктор Георгиевич, закусывая крабовым салатом.

— Почему? — удивился тот. — Финансовый крах мне пока не грозит.

— Зато грозит другое, с завтрашнего дня придётся тебе занять кабинет Валерия.

— Я ожидал этого, — спокойно сказал Шуртов. — И понимаю, что тебе туда больше некого ставить. Но... я этого не заслужил, Виктор. Мне ведь тоже хочется жить. Неужели ты ничего не можешь сделать, чтобы нас оставили в покое?

— Давай не будем подсчитывать, у кого больше заслуг, — холодно сказал Патов. — Тем более, что каждый получил за своё участие нужную долю. И риск постараемся разделить пополам. А вот насчёт покоя. Потому я и

приехал сюда с тобой. Людей для охраны у меня не хватает, да и не дело это — всюду за собой охранников таскать.

— А чем заняты твои «гаврилы» в белых халатах? — насмешливо спросил Шуртов.

— У них своя работа. Нельзя заставлять людей делать, что попало. Толку от этого будет мало. Обожглись с тем парнем и хватит. Жогина я отослал в Самарканд, пусть посидит пока на виноградной диете, а там видно будет... Так что у меня, Анатолий, выход один: найти того, кто ломится к нам в дверь, и попробовать с ним договориться.

— И ты думаешь его найти здесь?

— К Валерию они обратились тут. Почему бы и мне не попытать счастья за ресторанным столиком? — усмехнулся Патов. — Прикрыть дело и отойти в сторону мы не можем, ты это хорошо знаешь. Нам этого не разрешат. Мы даже и завещание не успеем написать!

— Нам его и не надо писать, — мрачно сказал Шуртов, — У нас с тобой ни долгов, ни наследников.

— Правильно, — согласился с ним Патов, — но мы ещё не очень стары, и жизнь может повернуться таким боком, что успеешь наделать и того, и другого. Плывёт твой друг к нам.

— Кто?

— Миша-пингвин, — рассмеялся Патов. — Но ничего не несёт.

Друзья не подозревали, что официант несколько минут назад позвонил в подсобке по телефону и приглушённым голосом сообщил:

— Игорь Сергеевич! Шуртов ужинать приехал с кем-то. Какой из себя? Высокий, красивый такой. Да, с лысинкой. Алексею показать? А кто это? А-а-а, понял, понял! — заторопился официант. — Да они ещё не скоро уйдут, — успокоил он далёкого собеседника. — Только ужинать начали. Ладно, сейчас подожду.

Закончив разговор, официант разыскал в подсобных помещениях скучающего Дуплета и, подведя его к тёмно-вишневой портъере, приказал:

— Сейчас я подойду к двум клиентам, а ты их хорошенько рассмотри и на всю жизнь запомни.

— Зачем? — глуповато спросил Дуплет.

— А это нам с тобой знать не нужно, — сухо ответил официант. — Приказано запомнить — и запоминай. А потом пройди коридором за сцену и позови сюда Клаву. Только быстро!

Придав лицу профессиональное выражение полнейшего безразличия, официант нырнул в прорезь между портъерами и неслышно заскользил между столиками.

— Анатолий Иванович, — обратился он к Шуртову, подойдя к столику. — Прошу извинить... я понимаю, что не положено, но случай такой.

— Кто тебя так испугал, Миша? — улыбаясь спросил Шуртов.

— Клава просит разрешения подойти к вашему столику. Ей нужно что-то вам сказать, — объяснил своё смущение официант,

Шуртов вопросительно посмотрел на своего компаньона.

— Мы просили хорошей закуски, — едко заметил Патов, — но не такой уж пикантной.

— Она не из тех, что вы думаете, — обиженно заметил официант. — Это наша эстрадная солистка. Ей скоро выступать, и она боится, что вы уйдёте, а она не поговорит с вами.

— Ну пусть подходит, — разрешил Шуртов, — Только не надолго, у нас деловой разговор.

— Пара минут! — заверил их обрадованный официант.

Клава, вопреки ожиданиям Патова, оказалась не из тех женщин, образ которой он себе мысленно представлял. Во всяком случае, первое впечатление было в её пользу. Смуглая, высокая, в длинном вечернем платье, она извинилась и присела на предложенный стул. От сухого вина отказалась: «Я на работе», — и сразу перешла к делу, ради которого она прервала друзьям ужин.

«Если проститутка, то высокого класса, — думал Патов, оглядев незнакомку с наигранным равнодушием. — Держится с достоинством и одета со вкусом.» Отметил также, что у солистки, кроме небольшого перстенька, нет никаких украшений. Зато уж перстень с прозрачным камушком тянул не на одну тысячу. В драгоценностях Виктор Георгиевич разбирался не хуже, чем профессиональный ювелир, и, увидев маленькую радугу, сверкнувшую над кистью Клавиной руки, уверенно определил: «Два карата, не меньше... Причём чистой воды.» И тут же мысленно повысил статус незнакомки до экстра-класса.

— Я, Анатолий Иванович, скоро должна получить кооперативную квартиру, — сообщила Клава новость.

— Очень рад за вас и заранее поздравляю! В наше время это неплохое приобретение, — улыбнулся Шуртов. — Жаль, что я не принадлежу к числу ваших близких знакомых и не смогу попасть на новоселье. А очень бы хотелось! — поблёскивал дымчатыми стёклами очков Шуртов.

— Я как раз и хотела поговорить о новоселье. Дело в том, что у меня квартиру обставить нечем. Не повезу же я на новую квартиру ту рухлядь, которая у меня сейчас стоит.

— Ну-у, это беда поправимая, — успокоил её Шуртов. — При ваших-то связях!

— Связи есть, — подтвердила Клава, — но нет того, чего я хочу.

Солистка убрала со лба тёмный завиток волос, скользнула по лицам мужчин взглядом шальных, зеленоватых глаз и капризно сказала:

— Хочется чего-нибудь неординарного. Мне нужны в первую очередь столики. Туалетный, пара журнальных. Ореховые, конечно, — дополнила она. — А гарнитуры к вам не поступают?

— Мы никогда заранее не знаем, какой товар к нам поступит с очередной партией, — с нотками сожаления сказал Шуртов. — У меня есть журнальные столики, даже один шахматный. А туалетные разобрали. Но чтобы полный гарнитур... Такой объём работы для фабрики, а не для частника. Если его даже и заказать, то на это уйдет уйма времени. Да и цена на индивидуальный заказ...

— Вы опасаетесь, что мне это будет не по карману? — насмешливо спросила солистка.

«Тебе — наверняка! — подумал Виктор Георгиевич. — А вот тому, кто за тобой стоит, такие расходы по плечу.» Он начал подозревать, что солистка подошла к ним не по собственному почину и все эти разговоры о мебели не более чем ширма. И если это так, то тому, кто её к ним послал, нужно установить контакт с ним и Шуртовым.

— Нет, мой друг думает о другом: стоит ли вкладывать такие деньги в мебель? — вмешался в разговор Патов.

— Ну... у каждого свои капризы, — сказала Клава. — Вы, наверное, тоже не спите на татами? Да и железная односпалка вряд ли вас удовлетворит.

Виктор Георгиевич рассмеялся. Эта женщина, так бесцеремонно подсевшая к их столику, начинала ему нравиться. Немного худовата, правда, а так — хороша! Одни только глаза чего стоят: большие, зеленоватые, заглядывающие собеседнику прямо в душу. И смуглая шейка как выточенная. И Патов, чтоб не рвать едва намечавшуюся связь с людьми, которые осторожничают не меньше его, сказал:

— Я думаю, мой друг сможет сделать запрос и через некоторое время ответить вам. Как, Анатолий Иванович?

— Да, это единственное, что я сейчас смогу пообещать, — согласился с таким вариантом Шуртов.

— Мне наведываться в магазин, или вы у нас не последний раз в гостях? — поднялась с места Клава.

— Ну, зачем вы будете себя утруждать? — поспешил с ответом Виктор Георгиевич. — Попробуем наскрести в карманах ещё на один ужин. Раз уж вы идёте на такие расходы, то нам сам бог велел. Может, они со временем и окупятся, — многозначительно заметил Патов.

— Буду ждать, — улыбнулась солистка и прямо от столика подала знак оркестру.

«Плесните колдовства в хрустальный мрак бокала», — предложила солистка всем сидящим в зале. Присев на край мраморной чаши фонтана, тряхнула рассыпанными по плечам волосами и, повернувшись в сторону Патова, пропела для него одного:

«В расплавленных свечах мерцают зеркала...»

* * *

С наступлением осени у Тарана в душе всегда возникало чувство щемящей тоски и какой-то неясной тревоги. И было оно настолько сильным, что иногда хотелось бросить всё и, снявшись в одночасье с насиженного места, сесть в поезд и катить вслед за уходящим летом. Почему это с ним происходило именно осенью, он и сам себе не мог объяснить. Да и не пытался. Знал только, что все обиды, нанесенные ему жизнью, приходились почему-то на осеннее время.

Осенью — когда ему было шесть лет — умер отец. Следующей осенью в доме появился отчим и, не откладывая дела в долгий ящик, принялся за воспитание приёмного сына, жестоко избивая его за любую мальчишескую шалость. В десять лет Таран удрал из дома, напросившись в компанию к весёлым, полупьяным матросам-речникам, сопровождавшим баржу с арбузами, шедшую из Херсона вверх по Днепру. Дни, проведённые в их обществе, Толик вспоминал потом долгие годы, считая их самыми счастливыми в своей жизни. Жаль только, что цепочка этих дней оказалась слишком короткой: баржа вскоре прибыла в пункт назначения и временная должность кашевара, на которую его определили весёлые матросы, упразднилась сама собой. Домой он добирался попутными товарняками, ёжась на тормозных площадках от пронизывающего осеннего ветра. А потом всю зиму видел сны с рваными клочьями тумана, плывущими над утренней рекой, или россыпью огней ночного города, раскинувшегося на берегу. Обиды — осенние и повседневные — копились и постепенно перерастали в чувство озлобления, а оно, в свою очередь, вызывало желание платить людям за всё равноценной монетой. Таран стал заниматься боксом.

В шестнадцать лет он решил, что валюты — в виде мускульной силы — накоплено достаточно, и при первом удобном случае решил выдать отчиму аванс, после которого тот отходил два дня. Следующей зарплаты отчим ждать не стал и, придя к выводу, что ему одному будет жить спокойнее, собрал свои нехитрые пожитки и ушёл из дома.

Сейчас ему уже под тридцать, и он давно не беззащитный мальчик, но по-прежнему с наступлением осени снятся тревожные сны, и кажется, что из-за ближайшего паркового куста вот-вот появится худая цыганка в расхристанном разноцветном барахле и, не спрашивая разрешения, начнёт пророчить беду. В такие дни Таран приезжал на своём стареньком «жигуленке» к реке и подолгу сидел на обрывистом берегу, слушая печальный звон колоколов прославленного храма. Иногда приезжал один, чаще — со своим другом Витьком, которому сладкий кусок тоже не часто выпадал в жизни. Где-то здесь, на одном из крутых спусков, тысячу лет назад принимала первое крещение дремучая Русь, полагавшая в своей святой простоте, что после этого нехитрого обряда её внуки и правнуки будут жить чисто и безгрешно. Кто-то, возможно, так и жил... Лично ему казалось, что он проводит незапланированный четвёртый раунд, который длится бесконечно долго, и судья, следящий за временем, почему-то не торопится бить в гонг, чтобы остановить наконец этот изнуряющий бой.

— В монастырь, что ли, уйти, к едрёной матери? — спросил тихо Таран своего друга, слушая печально-тягучий перезвон колоколов, плывущий над вечерней рекой.

— Я уже думал... — безучастно отозвался сидевший рядом Витёк.

— Ну и что?

— Ничего... Ну побудешь месяц-два, а потом или сбежишь, или повесишься. Тоже мне занятие, — презрительно сплюнул Витёк на жухлую траву, — каждый день лазаря тяни.

Встал, расправил затёкшие мускулы и спросил:

— Пиво доставать?

— Давай, — согласился Таран. — Выпьем да поедим, а то этого звона заслушаешься...

Галей пошёл к машине за пивом, а когда вернулся к товарищу, с удивлением увидел, что возле Тарана пристроился какой-то долговязый мужик с бутылкой «Пшеничной» в руках. Но одет прилично и на алкаша не похож.

— Дай ему стакан, Витёк, — распорядился Таран, с завистью поглядывая на красочную этикетку семисотграммовой бутылки.

Полный стакан водки незнакомец опрокинул в себя без видимых усилий. Не спрашивая разрешения, открыл зубами пиво и прямо из горлышка отпил несколько глотков.

— А это — вам, — кивнул он на остаток водки.

— Да мы пивка немного попьем и поедим, — стал отказываться Таран. — Я за рулём. И денег мы с собой не захватили.

— Обижаешь, кореш. Кому ж её оставлять? — спросил долговязый. — У меня доза — стакан. Больше не пью.

— Если доза — зачем такую бутылку брал? — вмешался в разговор Витёк.

— В другой таре не продавали, — пояснил незнакомец. И, протянув водку, попросил: — Пейте! За знакомство. Лёхой меня зовут.

Выпили за знакомство. Звон колоколов стал мягче и не таким тягостным.

— Ну что, «кум» вас мотает до сих пор? — равнодушно спросил Лёха, дымя сигаретой.

— Какой кум? — не понял Таран.

— Да следователь... — лениво пояснил тот.

— А-а-а... А ты откуда знаешь? — насторожился Таран.

— Пахан поручил присмотреть за вами, вот и знаю.

— Григорий Петрович, что ли? — догадался Толик.

— Он самый, — пустил струйку дыма долговязый.

— Поручил присмотреть, — зло повторил Таран. — Скажи ему, если я его встречу, голову за Саньку оторву! — пообещал Таран.

— Зря, — спокойно сказал Лёха. — В нашем деле всякое случается. Он не виноват, что так вышло. И посчитался за это. Двух за одного. А поговорить с вами он не мог, потому что слежки опасался. Чего ж самому в капкан лезть и вас тащить? А вы молодцы, не раскололись! — похвалил их Лёха.

— Подписку с нас взяли... о невыезде, — уныло сообщил Витёк.

— Это ерунда! — ободрил их новый друг. — Я их в жизни столько давал, что и считать перестал. Или ты хотел к бабушке в деревню съездить? — насмешливо спросил долговязый.

Вытащив из внутреннего кармана пиджака тугой бумажный свёрток, он положил его на землю рядом с Тараном и сказал:

— Это вам велели передать. Там триста «кусков». Столько, сколько вы должны были взять в магазине. Только не шикуйте! — строго предупредил Лёха. — Иначе враз сгорите! Ну, я пошёл, — поднялся он с жухлой травы. — Как-нибудь встретимся ещё. Не навек же он к вам прилип! — сказал Лёха, имея в виду следователя.

Небрежно отряхнул брюки от прилипших травинки, огляделся по сторонам и на прощание посоветовал:

— Если ещё будут приставать, держитесь старой сказки. Надоест слушать — и отстанут.

Лёха подцепил носком туфли пустую бутылку, отшвырнул ее далеко в сторону и, пока друзья смотрели, как она, кувыркаясь и поблёскивая в лучах вечернего солнца, катится по откосу вниз, исчез за ближайшими кустами.

* * *

Своему доверенному человеку, поставленному проследить за рестораном «Уют», Патов назначил встречу у себя дома. В больнице тот не работал, слежка за ним наверняка не велась, и к кому из жителей этого подъезда он пришел в гости, сразу не определишь: девять этажей вверх и на каждом четыре квартиры. Поэтому и дверь на условный звонок открыл сразу и без опасений. Гостя усадил к окну, возле письменного стола, а сам расположился в углу комнаты возле журнального столика.

— Домой после закрытия ресторана всегда уезжает одна, — докладывал Патову его доверенный о солистке Клаве. — Иногда на такси, иногда чья-то «волга» её забирает. Номер я записал. Живёт в городе, вот адрес, — положил он на стол листок из блокнота. — Там и номер машины. Квартира однокомнатная. Фамилия её Стайко. На ночь с ней никто не остаётся.

— Это всё? — разочарованно спросил Патов.

— Про неё — да.

— А про кого ещё что есть? — встал с места Виктор Георгиевич и подошёл к столу.

— Ещё я заметил, что у них там много людей крутится, которые никогда ни торговлей, ни кормёжкой людей не занимались.

— Ты их знаешь?

— Ну... друзьями мы никогда не были, — замялся пришедший. — Но кое-что друг о друге слышали. Вот, Дуплет, например. Или Дед. Их специальность — крупные грабежи. Между делом и пристукнуть могут, долго думать не будут. А теперь почему-то туда прилипли. И по всему видно, что они там свои. А этот Дуплет только недавно из зоны возвратился. Ему-то уж точно после его сроков и в городе, и возле него запрещено жить. А ходит открыто, не опасается, значит, какая-то отмазка есть.

— Ну что ж. Пусть крутятся, — спокойно сказал главврач. — И много их там?

— Четверых я знаю, а остальные — не поймёшь, с ними они или просто случайно заехали?

— Ладно. Больше там не появляйся. Они тебя тоже, наверное, приметили, только вида не подают. Хватит с нас неприятностей! — решил Патов.

Оставшись один, Виктор Георгиевич сел за стол и надолго задумался. Думать было о чём: все дела пришлось временно приостановить. В тайнике уже почти не оставалось места для кип каракулевых шкурок, а по срокам вот-вот должны были поступить новые партии товара. И разгрузиться нельзя: слишком велик риск. Придётся сообщить друзьям-азиатам, чтоб прекратили на время завоз товара. Заодно и распорядиться насчёт Жогина: здесь он ему не нужен. Даже опасен. За Шуртовым и магазином «Восток» ведётся постоянное наблюдение, и все связи с кооператорами пришлось прекратить. Чьи люди следят — неизвестно, да это и не имеет значения. Причём следят то ли намеренно нагло, то ли неумело, но в любом случае это действует на нервы. В тот день, когда они поехали с Шуртовым за город в «Уют», за ними сразу же увязался голубой «жигулёнок». Правда, ненадолго, им на «волге» удалось намного оторваться от непрошенных попутчиков, а затем, свернув на просёлок, кружным путём приехать в ресторан без «хвоста».

За больницей как будто наблюдение не установлено. А там, чёрт его знает. Кругом сосновый лес, ходи вокруг с корзиной, будто грибы собираешь, и посматривай по сторонам. И за домом, в котором он живет, наверняка наблюдают. Обложили! Но это ещё можно перетерпеть... А вот как быть с теми неизвестными, которые окопались в «Уюте»? Судя по тому, что он услышал от своего человека, компания там собралась серьёзная. А ведь это только верхушка, те, кого группа выставляет напоказ, чтобы знали, с кем придётся иметь дело, если

Патов вздумает сопротивляться. А может, блефуют, и эти уголовники с их дурацкими кличками больше никого за своей спиной не имеют? Если даже и так, то справиться с ними будет непросто. Они не будут себя вести, как тот новичок, пришедший к Валерию Борисовичу с требованием денег. Хотя... Сами по себе уголовники, если ими не руководит умный человек, способны только на наглый налёт или бессмысленное убийство. Придётся появиться в ресторане ещё раз, взвесить всё на месте, а уж потом принимать окончательное решение.

«Интересно, есть у этой солистки домашний телефон? — подумал Виктор Георгиевич, взяв со стола справочник. — Если она из той компании — обязательно.» Долго искать не пришлось: в алфавитном указателе против фамилии Клавы был указан номер телефона. Патов посмотрел на часы. Судя по времени, она ещё должна быть дома: в дневные часы эстрада не работала.

Клава ответила сразу, как будто давно ждала этого звонка и, забросив все домашние дела, дежурила возле телефона.

— Вы ещё не передумали насчёт мебели из ореха? — спросил Виктор Георгиевич.

— А-а-а, это вы... Нет, не передумала. А что, появилась возможность достать что-нибудь хорошее?

— Не сегодня, конечно, — уклонился от прямого ответа Патов. — И надо бы ещё уточнить с вами кое-какие детали. Цену, в частности. Но это не телефонный разговор.

— Понятно... Встретиться с вами где-нибудь мы уже не успеем: мне скоро надо ехать на работу. А вы где сегодня ужинаете? — спросила Клава. — Может, найдёте время завернуть к нам?

— Твёрдо не обещаю, — ответил Патов, — но, может, подъеду.

«Поеду сам, — решил он, кладя трубку, — без Шуртова. Помощи от него всё равно никакой. Только надо отправить туда заранее двух своих. На всякий случай. А самому приехать позже. Сегодня надо решить всё!»

* * *

Таким он себе и представлял этого человека: подтянутым, ухоженным, уверенным в себе, одетым без крикливой броскости, но достаточно дорого. К столику, за которым сидел Патов, он подсел незаметно и естественно, без излишних церемоний, словно выходил куда-то на несколько минут, а теперь вот вернулся на своё место и ждёт официанта, чтобы сделать заказ.

— Клава просила передать, что она подойдёт позже, — сказал незнакомец, просматривая меню. И, снисходительно улыбнувшись, добавил: — Ничего не поделаешь — артистка. А эта публика не без капризов. Но вы можете предварительно поговорить о её заботах со мной. Или... о своих. Зовут меня Игорь Сергеевич.

«С Валерием в тот вечер говорил он! — понял Патов. — И не скрывает этого, иначе бы назвал другое имя. Да, собственно, зачем ему скрывать?»

Но это и к лучшему: он тоже понимает, что эта встреча должна быть решающей, после которой они либо станут друзьями, объединёнными общим делом, либо врагами, готовыми идти до конца и на всё. Собственно, они и были до этого врагами, но по векселям приходилось платить другим, а они, оставаясь в стороне, только подписывали их. Теперь, зная друг друга в лицо и сопоставив потенциальные возможности собеседника со своими, они должны были — каждый для себя — сделать окончательный вывод, что выгодней: заключить союз или продолжать вражду.

— Вы сказали Клаве по телефону, что возникли какие-то трудности с приобретением мебели, — начал разговор Игорь Сергеевич. — Может, я в чём-то смогу помочь? На женщин в таких случаях рассчитывать нечего: они не любят трудностей. И неудачников, — добавил он.

— Давайте, наверное, вначале закажем ужин, — предложил Виктор Георгиевич, — а уж потом поговорим.

— А ужин уже заказан, — улыбнулся Игорь Сергеевич. И, поймав удивлённо-вопросительный взгляд своего собеседника, пояснил: — Сегодня вы мой гость, и я заранее обо всём позаботился. Учёл даже и то, что вы не любите коньяк. Хотя я, признаться, не понимаю, как можно водку предпочитать коньяку?

— Это объясняется просто: достаток ко мне пришёл слишком поздно, а потом я уже не захотел менять свои привычки. И потом, мне кажется, безразлично, чем туманить себе мозги. Но вы можете не обращать на меня внимания и пить то, что вам больше по душе.

— Да нет, — возразил Игорь Сергеевич, — надо уважать вкусы гостя. Тем более, что и жертва с моей стороны не так уж велика.

Мишка-пингвин, очевидно, заметил какой-то поданный ему знак, и за два приёма уставил столик закусками.

— Одна из немногих вещей, которые на Руси умеют делать на уровне мировых стандартов, — ядовито заметил Игорь Сергеевич, разливая водку в рюмки.

Выпили молча, без тостов, каждый за своё.

— Меня обложили со всех сторон, — начал жаловаться Виктор Георгиевич, принимаясь за закуску. — Всё парализовано, и думать сейчас о какой-то мебели...

— А кто обложил? — живо заинтересовался собеседник. — Мои люди в последнее время вас не тревожили.

— Обложили следователи. Причём не очень-то и скрывают это. Очевидно, специально так делают, чтобы оказать психологическое давление. Приятного мало. И мешает.

— Расскажите подробней, если можно, — попросил Игорь Сергеевич. — Вот, например, сегодня, когда ехали сюда, вы заметили что-нибудь?

— Конечно! Но добрался я без помех, и то лишь потому, что заранее продумал всё до мелочей. Они, наверное, до сих пор мотаются по городу за моей машиной. А вот прошлый раз уйти удалось с трудом. Но это не основное. Главное — парализован Шуртов.

Игорь Сергеевич слушал своего собеседника очень внимательно, стараясь не пропустить в рассказе ни одной мелочи и не забывая изредка подливать в рюмки. Выслушав, помолчал, то ли обдумывая, что посоветовать, то ли ожидая дополнений к рассказу. Затем, приняв какое-то решение, сказал:

— А что если мы поступим так...

И в этом «мы поступим», Виктор Георгиевич уловил не только готовность помочь ему, но и явное желание собеседника после устранения всех временных трудностей взять на себя часть забот по дальнейшему ведению дел, включив в них своих людей, финансы и опыт.

— Как? — с надеждой спросил Виктор Георгиевич.

— Прежде всего надо выключить из дела следователей.

— Вы... имеете в виду...

— Нет, нет... Совсем не то, что вы подумали, — успокоил Патова собеседник.

Лицензия на убийство

Азией Жогин пресытился быстро: от жирного плова и бараньей шурпы постоянно мучила изжога, в ушах стоял неумолчный рёв бесчисленных ишаков и перезвон бубенцов верблюжьих караванов, а по ночам снились купола древних мечетей, с чьих минаретов несколько раз в день раздавался заунывный голос муэдзина, призывающий верующих совершить молитву. И ко всему этому изматывающая, сухая жара днём и плотная — почти осязаемая на ощупь — духота ночью. Облегчение наступало только под утро, когда от протекавшей через город бурной горной реки начинало веять прохладой, а в садах, окутанных предрассветной туманной дымкой, затихали страстные призывы перепелов.

Но эти часы, наполненные утренней свежестью и первозданной тишиной, были слишком коротки, и для того, чтобы полностью отдохнуть и почувствовать себя свежим, Жогину их явно не хватало. День начинался с томного воркования горлинок, облюбовавших почему-то для своих объяснений перила балкона, на котором спал Жогин. Деревянный балкон проходил по всему фасаду дома на уровне второго этажа, и горлинок, разбившихся на влюблённые пары, усаживалось на отполированные перила не менее дюжины. Затем откуда-то из поднебесья доносился протяжный крик, напоминающий мусульманам об их долге. В такие минуты Жогин едва сдерживал себя от того, чтобы не достать из-под подушки пистолет и перестрелять как можно больше горлинок. Но приходилось терпеть.

После такой своеобразной побудки он уже не мог уснуть и, свесив ноги с широкой деревянной тахты, выкуривал натошак несколько сигарет, обдумывая, что ему предпринять, чтобы поскорей избавиться от этой дремотной скуки. Окурки и обгоревшие спички он с каким-то непонятным злорадством швырял прямо вниз, в гущу цветущих петуний, мяты и еще каких-то неизвестных ему цветов, пахнувших тревожно и остро.

Вскоре из лабиринта многочисленных комнат появлялся заспанный хозяин дома, присаживался рядом со своим гостем на тахте и, блаженно почесывая через вырез белой рубахи могучую волосатую грудь, произносил ритуальную фразу:

— Сейчас будем чай пить... Зелёный.

Откашлявшись после сна, хозяин плевал через перила в собственный цветник и знакомил гостя с планами на день:

— Потом манты покушаем и поедем к одному мастеру. Покажу тебе, как медные кувшины делают.

«Чтоб ты провалился вместе со своими мантами и кувшинами! — мысленно желал ему Жогин. — На хрена мне это знать? То к ковровщикам возил, то какие-то брёвна ореховые показывал...»

— А может, просто чаю с фруктами выпьем? — предлагал Жогин, у которого после обильного ужина только под утро утихла изжога.

— Э-э-э... — шутливо грозил толстым пальцем хозяин, — а потом поедешь к Виктору и будешь жаловаться, что голодным был? — И, вспомнив своего многолетнего друга, благодаря которому он и гуляет-то до сих пор на свободе, восхищённо добавлял: — Вот военный мужик! Такому своего ребёнка можно отдать воспитывать.

По-русски Расул-ака разговаривал почти без акцента, только иногда прерывал свою речь в самом неожиданном месте, подыскивая в памяти необходимое слово, или, в крайнем случае, подходящую замену ему. Был невысок, чёрен, любил хорошо и много поесть, но своё полное тело носил легко и на жару не жаловался.

«Привык, дикарь! — неприязненно думал о нём Жогин. — Живёт в этой духовке всю жизнь, и другой ему не надо...»

— Мне, Расул-ака, каким-то делом заняться надо, — намекнул он как-то утром хозяину дома. — А то я только целыми днями виноград ем да на экскурсии хожу по мастерским. Жиреть уже начал, — похлопал он себя для большей убедительности по тугому животу.

— Какую я тебе работу дам? — сердился Расул-ака. — Виктор передал, чтобы ты отдыхал. Вот и отдыхай. А работа... Людей наших не знаешь, город тебе незнаком. Если тебя и пошлешь куда-нибудь, на каком языке разговаривать будешь?

Всё сказанное хозяином дома было правдой: и местного языка он не знал, и с городом был незнаком. О людях — и говорить нечего. И получалось, что Патов, отправляя его сюда, заранее обрекал его на бездействие.

«Действительно, военный мужик, — думал он, валяясь на широкой тахте после сытного обеда. — Продумал всё. Уехал человек, и ищите, кому нужно. Дел за мной никаких не числится, а подозрения... Их ещё обосновать надо и свидетелей найти! А они все в раю уже! Он бы меня, наверное, убрал и там, да не хотел лишний раз внимание к больнице привлекать. Интересно, вызовет он меня назад, или мне тут и доживать придётся на окраине этого Вавилона? Хотя, кому я тут нужен? Своих забот хватает. Трахнут когда-нибудь ночью, вывезут за город и поминоков справлять не будут. Рвануть отсюда, что ли, пока не поздно? Деньги на первый случай есть... А куда? Жить где? Э-эх!»

Этих полуденных часов раздумий Жогин особенно не любил. Деревянный навес над балконом хоть и защищал от солнца, но прохлады не давал. Воздух был раскалён настолько, что вершины далёких гор колебались в знойном мареве, шумный город обессиленно затихал на некоторое время, погружаясь в полуденную дремоту, и лишь неустойчивые коршуны выписывали неторопливые круги в белесом, выжженном солнцем небе. И мысли у Жогина в эти часы были ленивые, липкие и неохотно уступали место одна другой.

Как-то за ужином хозяин дома, неторопливо прожевав кусок баранины, спросил:

— На охоту хочешь поехать? В заповедник. Мои люди нашли такое место, где ирбис живет.

— Логово? — догадался Жогин.

— Да, — важно кивнул Расул-ака. — Охота опасная, надо высоко в горы лезть. Зато денег много можно получить. Одна шкура ирбиса больше стоит, чем сотня каракулевых.

— А разве в заповеднике можно охотиться?

— У моих людей бумага будет. Разрешение на охоту.

— Лицензия, — подсказал Жогин.

— Да, лицензия. Только в ней будет написано, что можно горного барана бить. Поедешь?

— Мне один чёрт кого бить, барана или ирбиса. Конечно, поеду, — согласился Жогин.

* * *

Дуплет часто задумывался, зачем он понадобился Игорю Сергеевичу? То, что он делал сейчас, нельзя было назвать работой. К трём часам дня он приезжал к загородному ресторану «Уют» и торчал там до его закрытия, слоняясь без дела по многочисленным подсобным помещениям, а в полночь его и ещё нескольких человек какая-нибудь машина развозила по домам. Иногда кто-то неизвестный, распоряжавшийся этими перевозками, забывал прислать машину, или её у него под рукой не оказывалось. В таких случаях вся компания оставалась ночевать в ресторане, не поднимая лишнего шума и никому на это не жалуясь. Но такое случалось очень редко. Едой и выпивкой его не обижали, иногда Фомич привозил сотню-другую на карманные расходы, и Дуплет поспывал в две дырочки, понимая, что его держат для каких-то будущих дел. А с недавнего времени ему приказали неотлучно находиться возле швейцара и запоминать всех приезжающих в ресторан.

— Вы что, совсем уже надломились? — выразительно повертел Дуплет пальцем у виска, выслушав эту новость от Фомича. — Там народа каждый день сотни две бывает! А иной раз сразу на двух автобусах приезжают... И в каждом — иностранцы.

— Иностранцами без тебя есть кому заниматься, — спокойно сказал Фомич, переждав вспышку раздражения своего приятеля. — Нам с тобой эти дяди не по зубам. Там надо все валюты знать, что почем. И болтать по-

ихнему уметь. А мы и по-русски толком не выучились. Да и рожей не вышли, — добавил Фомич. — А у тебя, кроме того, еще и кракли с метками. Только подойдёшь к иностранцам, сразу «караул!» кричать начнут.

Дуплет и сам теперь частенько подумывал над тем, как ему избавиться от татуировки на кистях рук. Молод был, глуп, наделал себе меток по всему телу, а теперь бы и рад избавиться, да поздно! Бабка, к которой его определили жить, застав как-то утром Дуплета в кухне в одних трусах, выронила от неожиданности из рук тарелку и перекрестилась на маковки церковных куполов, синеющих на могучей дуплетовой груди.

— За веру пострадал, сынок? — сочувствующе спросила она своего постояльца.

— За веру... — хмуро ответил Дуплет.

Затем ахнул на похмелье кружку холодной воды и молча пошёл из кухни, показав хозяйке на спине ещё один этюд: весёлого негра в объятиях русалки.

Знать бы раньше, что можно вот так в жизни устроиться: не работать и деньги получать, разве он лез бы на рожон из-за нескольких тысяч рублей? А потом после каждого года отсидки докалывал на груди очередной церковный купол с колоколом или крестом. Теперь, чтобы избавиться от этой пакости, надо с себя шкуру целиком снять. Интересно, как бы повела себя бабка, если ей показать, какие у него наколки под трусами находятся? На ка- кое бы место тогда крестилась? Подумав об этом, Дуплет невольно улыбнулся.

— Чего ты скалишься? — обиделся Фомич, почему-то решивший, что приятель смеётся над ним.

— Да так, мелочь. Ну ладно, запомню я кого-нибудь, а дальше что?

— Скажут, что дальше. Тебе какая разница, чем заниматься? Прописан, паспорт получил, деньги имеешь. Живи! А то, я смотрю, ты борзеть начал.

— Ладно, Фомич, не бухти, — примирительно попросил Дуплет. — А стоять там как? Тоже форму надрючивать? — спросил он, мысленно представив себя с нашитыми со всех сторон галунами и лампасами.

— Зачем? Стой в костюме на крыльце, будто покурить вышел, или ждёшь кого-то... Всего-то и делов, — презрительно закончил Фомич. — А ты шум поднимаешь.

Как-то под вечер к ресторанному крыльцу подкатила «волга» Игоря Сергеевича, и шофёр, не выходя из кабины, поманил к себе из-за стекла Дуплета пальцем. Тот, видя, что шофёр один, шёл к машине не торопясь, стараясь хоть внешне сохранить чувство собственного достоинства. После часа хорошей езды приехали к тому дому, где Фомич впервые представил его своему шефу. Ничего с тех пор здесь не изменилось, только одуряющий аромат многочисленных цветников, смешанный с горьковатым смолистым запахом соснового леса, стал в прозрачном осеннем воздухе ещё гуще и резче. «Кем они все работают, что такие домины себе отгрохали? — с завистью думал Дуплет, рассматривая роскошные двухэтажные особняки, спрятавшиеся за добротными заборами с ажурными железными или резными деревянными воротами. — И, наверное, машина в каждом дворе. Конечно, пешком в город не ходят и автобус на обочине не ждут.»

Хозяин дома встретил Дуплета, сидя в кресле у низенького столика. Руки при встрече не подал, но был приветлив и предложил гостю сесть в кресло напротив. Дуплет опрокинулся в непривычно низкую чашу кресла и смущённо заёрзал по полу длинными ногами, не зная, куда их деть.

— Ну, как работается? — спросил хозяин дома, внимательно разглядывая Дуплета серыми глазами.

— Хорошо, — неуверенно ответил тот. И, спохватившись, добавил: — Спасибо вам. Человеком сделали.

— Ну, до этого ещё далеко, — улыбнулся уголками губ Игорь Сергеевич, — но постараюсь сделать. Денег хватает?

— Хватает, — уже уверенней ответил Дуплет, — а куда мне их тратить?

— Деньги всегда есть куда потратить, — заметил хозяин. — И жалеть их не нужно. Для того они и созданы, чтобы их тратить. Хозяйка нравится?

— Какая? Где живу, что ли? — уточнил Дуплет.

— Да.

— Ничего старушка, смирная. Лишнего не спрашивает.

— А о чём же спрашивать, — опять улыбнулся Игорь Сергеевич, — ей за тебя платят хорошо. Но ты иногда привози ей из ресторана что-нибудь... такое... — неопределённо покрутил пальцами Игорь Сергеевич. — Ну, фруктов хороших или конфет. Старики внимание любят. Ты же у неё прописан как опекун по уходу за престарелой. Вот и заботься... Человеку иногда и ласки хочется. Не всё же деньгами мерить. Она на твоё имя и завещание на дом составила. Большого пока сделать не могу: биография у тебя слишком громкая. Поживи немного там, со временем о тебе реже вспоминать будут, тогда, может быть, и к городу ближе переберёшься. Если, конечно, работать будешь как следует, — многозначительно закончил он.

— Я понимаю, — сказал Дуплет, — такие дела сразу не делаются. Да мне и там неплохо. Ездить только далеко.

Игорь Сергеевич подвинул к Дуплету лежавший на столике конверт из плотной чёрной бумаги и попросил:

— Посмотри фотографии. Только внимательно. Если знакомые лица встретятся — откладывай в отдельную стопку.

Занятие оказалось не таким уж и лёгким, как подумал вначале Дуплет. Снимки были сделаны в самых неожиданных местах и не всегда качественно: на улице, возле подъездов домов, на стоянках автомашин, даже за ресторанными столиками. Но всё же после некоторых сомнений и колебаний он отложил в сторону небольшую стопку фотографий. Оставшиеся — сложил в конверт.

— Вот этих людей точно видел несколько раз, — уверенно сказал Дуплет, отдавая Игорю Сергеевичу.

— Где? — равнодушно спросил тот.

— В ресторане. Не один раз приезжали.

— А те, значит, — показал хозяин дома на конверт, — не приезжали?

— Может, и были, — заколебался Дуплет, — но точно сказать не могу. Или — без меня приезжали.

— Так-так... — задумчиво сказал Игорь Сергеевич, подравнивая края фотографий в стопочке. — А должны были бы приезжать. Ладно, проверим по другим точкам. Некоторые из этих людей, Лёша, работают мало, а денег — по нашим сведениям — получают очень много. Очень! И поэтому шиковать едут в загородный ресторан, а не в городской. Там и любопытных глаз поменьше, и девочку хорошую свободно выбрать можно. А с некоторыми — картина другая: они нормально трудятся, у них в руках большая власть, а денег — пшик! Голая зарплата... Здорово не разгонишься. Но им тоже хочется обедать и ужинать в таком ресторане, как «Уют». И с красивой девочкой они посидеть не против... Чем они хуже других? Да и не с руки им в общую столовую идти, положение не позволяет. Вот такая задача, положение есть — денег нет. А где их взять?

На этот счёт у Дуплета было определённое мнение: облюбовать «кота» пожирнее, выбрать время, когда он находится на работе или ужинает в ресторане и наведаться к нему в дом. Незванным гостем.

— А если он в это время вернётся домой? — спросил Игорь Сергеевич. — Или там будет кто-то из его семьи?

— Ну что ж. Не возвращаться же с пустыми руками, — отвёл взгляд в сторону Дуплет.

— Дур-рак! — беззлобно сказал Игорь Сергеевич, выслушав его соображения. — Потому ты и сидел столько лет. Не-е-ет. Надо заставить этих людей самих поделиться своими излишками! А потом часть отдать тем, кто имеет власть, но не имеет денег, а часть оставить себе. И все будут с куском хлеба в зубах. Делиться нужно заставить многих. А ты один! И у тебя будет не просто кусок хлеба, а с маслом! Ты, наверное, думал, что я тебя пустым делом заставил заниматься?

— Вообще-то сомнение было, — честно признался Дуплет.

— Молодец, что сознаёшься, — похвалил Игорь Сергеевич. — Теперь сомнения отбрось и запоминай всех, кто туда ездит. И получше запоминай! Ладно, — прервал свои поучения хозяин дома. — Я тебя пригласил сюда не только за этим, — перешёл к основному вопросу Игорь Сергеевич. — Неприятности наклёвываются у меня. Вот ты мне скажи: как у вас поступают там... где ты был... с теми, кто дело предаёт?

— Да просто: кормят досыта землёй, — не задумываясь, ответил Дуплет.

— А если это друг или бывший поделщик?

— Какая разница. Друг один, а дело общее. Тут и выбирать нечего, — убеждённо сказал Дуплет. — Прикажет пахан, и отправит, хоть друга, хоть брата.

— Здесь тоже по этим законам живут, — задумчиво сказал Игорь Сергеевич. — У меня, Лёша, «стукач» завелся, — поведал он о своей беде гостю. — И кто, ты думаешь?

— Кто?

— Приятель твой новый... Таран. Которому ты деньги передал.

— Не может быть! — привстал в кресле Дуплет. — Я же с ним разговаривал, предупредил.

— Сядь! — приказал хозяин дома. — Всё может быть. Люди на всё способны.

— Да зачем ему это? — всё ещё не верил этой новости Дуплет.

— Этого я спрашивать не стал. Но что настучал он — это проверено. Причем тем людям, с которыми я куском хлеба делюсь, — кивнул он в сторону стопки фотографий. Теперь ты понял, зачем я тебя вызвал?

— Понял. Я пойду, — покорно сказал Дуплет. — Жаль только, погулял мало... Заметут меня. На виду я... И встречался с ним. А второй, друг его, Витькой, что ли, зовут. С ним как?

— Тем другие займутся, — ответил Игорь Сергеевич. — Хватит с тебя одного. Но убрать их надо, иначе через этих боксёров милиция на Фомича выйдет, а потом...

— Ясно, — крупно сглотнул враз пересохшим ртом Дуплет.

— Ты не бойся! — ободрил его Игорь Сергеевич. — Всё подготовим так, что тебя никто ни о чём не спросит. Лишние хлопоты мне тоже ни к чему.

* * *

Старшая медсестра вошла в кабинет без стука. Вошла не как ближайший помощник, а как женщина, имеющая на мужчину, занимающего этот кабинет, определённые права и от которой у него нет никаких секретов. Села за письменный столик, стоявший вплотную к большому, за которым сидел Патов, и нервно затарабанила длинными ухоженными пальцами по полировке стола.

— Что случилось? — удивлённо спросил её Патов.

— Это я у тебя должна спросить, что случилось, — глухо ответила медсестра.

— У меня? Как будто всё в порядке.

— Ты собираешься в отпуск? — спросила она.

— Да... А что?

— А про меня ты забыл? — с обидой спросила медсестра.

— Тебе, Лариса, в этом году придётся пойти в отпуск позже. Когда я вернусь. Путёвку я тебе достану. А пока кому-то надо остаться приглядывать за всем.

— А твой заместитель? Он что, не справится?

— А-а-а, это не то... Ты же знаешь, что я имею в виду.

— Та-а-ак... Теперь ты, значит, решил возложить на меня ещё и обязанности сторожа? Недурно придумано! И из какого расчёта: полставки или тридцать процентов за совместительство? Или просто — благодарность в приказе?

— Лариса! Я тебя прошу, только без шутовства, — поморщился Патов. — Ты же знаешь, в каком положении я сейчас...

— А я в каком? Держал как наложницу несколько лет, столько аборт из-за тебя сделала, а теперь не нужна?

— Ну зачем ты так? Кто тебе сказал, что ты не нужна?

— А зачем мне говорить? Я не девочка и сама всё прекрасно понимаю. Ты уже второй месяц не приходишь ко мне, на работе стараешься не оставаться наедине со мной и не отвечаешь на телефонные звонки.

— Сейчас же мы вдвоём, — попробовал отшутиться Патов. — А если откровенно, замotalся я в последнее время — дальше некуда. Да и не хочу тебя ни во что вмешивать. На всякий случай.

— Скажите, какая забота! — язвительно заметила Лариса. — Виктор! Тебе с ней будет хуже, чем со мной, — неожиданно заплакала она.

— С кем?

— С той проституткой, которую ты берёшь с собой на курорт. Это — временно. Она не будет терпеть от тебя всё то, что терпела я. И если ты попадёшь в беду, она сразу тебя бросит.

— Ни с кем я не еду, и перестань плакать. Люди могут войти.

— Люди... А кого ты здесь считаешь за людей? Тех, что сидят в палатах, или тех, кто за ними присматривает? Я же знаю: для тебя они все одинаковы.

— Перестань! Я же сказал, что еду один. Мне надо отдохнуть от этого бедлама. Одному...

— Не ври... зачем унижать себя? Ты едешь с проституткой из ресторана. С певицей... Я знаю.

— Кто тебе это сказал?

— Какая тебе разница? — устало ответила Лариса, вытирая слёзы. — Не думай, что только один ты всё знаешь про окружающих. Ты уже до того зарвался, что потерял всякую осторожность.

— Лариса! — мягко сказал Виктор Георгиевич, встав со стула. — Давай поговорим, как умные люди, не оскорбляя друг друга и не устраивая сцен.

— Давай, — согласилась она.

— Прежде всего разберёмся в наших отношениях, — прошёлся по кабинету Патов. — Все эти годы я делал для тебя только хорошее. Мы упустили время, а теперь, мне кажется, я для тебя несколько стар.

— В сорок лет — стар? А для неё, значит, — нет? Лучше уж скажи прямо, что я старуха!

Тёмные глаза её опять стали наполняться слезами обиды отвергнутой женщины, модная чёлочка, спускающаяся на лоб, едва заметно подрагивала, а синеватая жилка на шее пульсировала часто и тревожно.

— Так мы ни о чём не договоримся, — раздражённо сказал Патов, возвращаясь к своему месту. Но садиться не стал, а опёрся о спинку стула и о чём-то задумался.

— Я и не пришла договариваться, — покусывая губы, сказала Лариса, — я пришла требовать!

— Требовать? — удивился Патов. — Что? Если тебе нужны деньги, ты могла об этом сказать без скандала. Я тебе дам... Помогу купить дачу, если нужно — машину. Обеспечу полностью. Я же понимаю: ты уже не девочка, и для того, чтобы начать новую жизнь, тебе нужно достаточное обеспечение. Всё у тебя будет...

— Я пришла требовать тебя! Одного тебя! Если ты уедешь с той певицей, то вернёшься уже не сюда! — встала Лариса со стула. — Я об этом позабочусь!

— А о себе ты подумала? — с наигранным спокойствием спросил Виктор Георгиевич.

— А-а-а, мне всё равно, — беспечно махнула она рукой. — Не нужны мне ни деньги, ни твоя дача, ни машина... Катись оно всё к чертям! — пошла она к двери. — Я ещё зайду к тебе к концу дня, — пообещала она, — а ты подумай, с кем тебе будет лучше. И спокойнее...

Патов принял решение гораздо раньше назначенного срока. Над чем тут было так долго думать? Жаль, конечно, Ларису, но ничего не поделаешь... Уступить её желаниям он не мог: это значило бы попасть к ней в вечную зависимость, жить под угрозой постоянного шантажа. Да и не пара она ему... Красива, конечно, ничего не скажешь, но этого мало. Нет той раскованности, что у Клавы, умения держать себя в обществе независимо, с какой-то колдовской загадкой в глазах. К тому же он не испытывал к Ларисе чувства любви. Был просто чисто физиологический интерес здорового мужчины к красивой, влекущей к себе женщине. Да и тот уже со временем стал не таким жгучим. Было и ещё одно соображение: договорённость с Игорем Сергеевичем о их дальнейших совместных действиях. Он просто обязан забрать с собой Клаву на курорт, играя роль влюблённого. Как уж там дальше будут развиваться между ними отношения — неизвестно, но ехать нужно с ней. Это для окружающих объяснит его частые посещения ресторана «Уют». А с Ларисой... Угроза с её стороны не пустой звук, она знает, если и не всё, то многое, и без долгих раздумий выложит это, где нужно. А сама на свободе останется, скажет, что делала всё по принуждению. Под страхом. Ну, в крайнем случае, получит год-два условно. Больше Патов не колебался и нажал кнопку вызова дежурных санитаров.

Явившиеся подручные выслушали приказ своего шефа молча и без всякого удивления. Один из них только коротко спросил:

— А где она?

— У себя должна быть. Если нет, найдите и попросите что-нибудь такое... ну... чтоб она к себе в кабинет вошла.

— Понятно, — угрюмо буркнул санитар. И тяжело вздохнув, добавил: — Жалко... Всё-таки свой человек.

— Ты себя жалеешь! — зло бросил Патов и, открыв сейф, стал наполнять шприц из ампулы. Наполнив, подал его одному из санитаров и достал ещё одну ампулу. — А это — внутривенно! — приказал он.

— А потом её куда? — подавленно спросил санитар. — В общую палату?

— Нет... Не надо... Отведите её пока в изолятор.

После ухода санитаров Патов выпил чистого спирта, отдышался и обессиленно сел за стол.

— Вик-то-ор! — донёсся из конца коридора женский крик.

Было в нем столько ужаса, мольбы и надежды, что Патов обхватил голову руками, зажав уши. Но крик не повторился. Посидел так некоторое время, затем, опустив руки, прислушался. Привычную больничную тишину нарушало только жужжание осы, бившейся между двойными рамами окна. Виктор Георгиевич набрал номер и, дождавшись ответа, спокойно сказал:

— Андрей Васильевич! У меня неприятность: старшая медсестра... словом, я вынужден был поместить её в изолятор. Да... Конечно, могу и сам установить, но свой сотрудник всё-таки. Непривычно как-то. Будет лучше, если диагноз установит кто-нибудь, не связанный с больницей. Да, я очень прошу... Завтра с утра. Пустая формальность... Я позвоню ещё Сыртову.

Виктор Георгиевич облегчённо вздохнул, закурил сигарету и набрал очередной номер:

— Коллега! Это Патов... У меня неприятность: старшая медсестра...

* * *

На охоту почему-то выехали глубокой ночью, когда на смену липкой духоте вот-вот должна была прийти предрассветная прохлада, а вместе с ней несколько часов освежающего сна. Жогин, мысленно проклиная тот день и час, когда он согласился приехать в этот край диких обычаев и традиций, быстро собрался и,

позёвывая, спустился с веранды в тёмный колодец двора. В переулке, у задних ворот, тихонько позвякивали удилами лошади.

Хозяин дома за ворота выходить не стал, попрощался со своим гостем во дворе. Крепко пожав руку Жогину, покровительственно похлопал его по спине и пожелал счастливой охоты.

— Тоже хочется поехать, — признался Расул-ака. — Давно в горах не был. — И, сожалеюще вздохнув, добавил: — Нельзя. Дела. Всю жизнь как верблюду работаю.

«Оно и видно! — с иронией подумал Жогин, глядя на пухлые щёки хозяина дома и выпирающий из-под халата живот. — Заработался, бедняга... Тебе, если на охоту ехать, медведя нужно взнуздывать — лошадь такую тушу долго не пронесет.»

— А где же ружья? — недоумённо спросил своих спутников Жогин, когда низкорослые, мохнатые лошади вынесли их из тесного переулкa на широкую грунтовую дорогу, ведущую за город.

— Уже там, — успокоил его один из спутников. — Наш товарищ вперёд поехал. В заповеднике охотиться нельзя. Это так... по знакомству мы едем. Сейчас люди, знаешь, какие? Увидят, что с ружьями поехали, сразу разговоры пойдут. Кому это надо?

«Какой дурак сейчас будет следить, с чем мы едем? — подумал Жогин. — И если прятаться — зачем тогда лицензия? А если они боятся, что нас кто-то сейчас увидит с ружьями, то как же их товарищ вёз днем сразу несколько штук? Они, наверное, меня за придурка считают... Ладно, посмотрим, кто кого вокруг пальца обведёт.»

Спутников было двое. Оба молодые, крепкие, в сёдлах сидели, как влитые. Ехали всё время рядом с Жогиним, сжав его с двух сторон. Выехав в степь, пустили лошадей лёгкой рысью.

— Ночью хорошо ехать, не жарко, — рассуждал один из сопровождающих. — К утру уже в горах будем, а там всегда прохладно. Хоть бы ирбиса удалось убить, — мечтательно сказал он. — Расул много денег дал бы за шкуру...

— Убьёшь! — заверил его второй. — Куда он денется?

Жогин ехал молча, не поддерживая разговора. Возникшие у него в начале поездки подозрения крепили и, наконец, перешли в уверенность — едут они к той незримой черте, за которой для него наступит небытие. Это нужно было предвидеть с того дня, когда он поселился в просторном доме у Расула. Его и поселили-то на краю города затем, чтобы поменьше бывал на людях, а возможная слежка за ним легко бы обнаружилась. Жогин оглянулся назад: огни города были видны далёкой мелкой россыпью, зато по сторонам начали смутно вырисовываться очертания холмов. Рассвет был недалёк. «До вечера они со мной цацкаться не будут, — подумал Жогин. — Не в их интересах... За день меня могут в их компании чёрт-те сколько людей увидеть.»

Сунув руку во внутренний карман пиджака, Жогин снял пистолет с предохранителя и натянул поводья. Не ожидавшие этого спутники проскочили мимо него и остановили своих лошадей в нескольких метрах впереди. Выстрелы были не очень гулкими: наступавший с гор предрассветный туман приглушил звуки.

«Я вам покажу ирбисов, сволочи! — мысленно выругался Жогин, разворачивая лошадь. — Подбирай вот их теперь! Надо стороной выехать к вокзалу, — подумал он. — А там сесть на любой ближайший поезд и катить... Можно сначала в сторону Сибири двинуть, а потом где-нибудь пересечь. Пока кинутся, то да сё... А вообще-то бояться нечего, Расул не скажет, кто его людей уложил. А вот Виктору обязательно сообщит. Ну, там я как-нибудь управлюсь, только бы целым добраться. Растрясу, гада, на тройку миллионов, а то и больше, и документы заставлю выписать на чужую фамилию, будто я в психушке лечился. Вот тогда можно будет и нору искать...»

Предостережение

Друян любил этот сквер в центре города, с его широкими тенистыми аллеями, по которым молоденькие мамы катали нарядные детские коляски. Расположен он был рядом с прокуратурой, и после трудового дня было приятно посидеть где-нибудь в укромном уголке наедине со своими мыслями. После душных кабинетов и прокуренных коридоров, наполненных сдержанным гомоном многочисленных посетителей, чистый воздух сквера и его тишина воспринимались как заслуженный подарок в конце дня.

Сергей Викторович облюбовал пустующую скамью у поворота аллеи и, откинувшись на спинку, расслабился. Уже сентябрь... Солнце в полуденные часы ещё по-летнему жаркое, но по ночам уже довольно прохладно, а росными утрами в низинах и густых кустах подолгу стоят грибные осенние туманы. Изредка, с шорохом прорезая листву крон, на асфальтовые дорожки сквера падали созревшие дикие яблоки.

Сегодня насладиться тишиной и одиночеством не удалось. Не успел Друян развернуть свежую газету, как из-за голубых елей, росших возле декоративной груды валунов, появился мужчина и направился к скамье, на которой сидел следователь. Одет он был небрежно: и коричневая рубашка без галстука под серым костюмом, и лёгкие замшевые туфли кофейного цвета были далеко не первой носки. Но эта продуманная небрежность шла скорее от приличного достатка, чем от бедности. «Как будто специально ждал, — с досадой подумал Сергей Викторович. — Мог бы минутой раньше себе место выбрать.» Других скамеек поблизости не было, и то, что мужчина сядет рядом с ним, не вызывало сомнений.

Незнакомец поздоровался с Друяном, как с давним знакомым, назвав его по имени-отчеству, и, сев на скамью, сразу приступил к деловому разговору:

— Меня, Сергей Викторович, попросили поговорить с вами об одном деле...

— ...выгодном для меня и наверняка противозаконном. Так? — с усмешкой закончил фразу Друян.

— Почему вы так думаете? — несколько растерялся незнакомец.

— Потому что вы решили поговорить об этом со мной в неофициальной обстановке. Кроме того, в отличие от вас, я не знаю, с кем говорю.

— Извините. Меня зовут Игорь Сергеевич. По профессии я юрист, если это вам интересно. А насчёт противозаконности, то вы даже ещё не слышали, о чем я хотел поговорить.

«Встать и уйти? — подумал Друян. — Это ничего не даст, если уж кто-то решил побеседовать со мной наедине, то он всё равно рано или поздно выберет для этого удобный момент и подходящее место. И еще неизвестно, кто тогда окажется в более выгодном положении.»

— Дело касается взятки? — напрямик спросил Друян.

— Не совсем, — усмехнулся пришедший. — Скорее речь идёт о подарке. И потом, вы уж слишком прямолинейны, Сергей Викторович. Такую роскошь — называть вещи своими именами — можно позволить себе в том случае, если уже достиг в жизни определённых высот. Стоишь на одной из верхних площадок, так сказать.

— Очевидно, я уже стою несколько выше ваших друзей, — язвительно заметил Друян. — С просьбой-то обращаюсь не я.

— Меня предупредили, — признался Игорь Сергеевич, — что мне придётся иметь дело с умным человеком. Это и привлекает, и создаёт определенные трудности. Умный человек опасен, он способен к аналитическому мышлению и зачастую консервативен в нравственном отношении. Склонен к идеализму, если хотите. Ничего, если я закурю? Я знаю, что вы не курите, поэтому...

— Курите, — перебил его Друян. — И предупреждаю, у меня не более десяти свободных минут. Так что вам лучше сразу перейти к конкретным предложениям.

— Хорошо! — подвинулся ближе Игорь Сергеевич. — Вы как-то интересовались в магазине «Восток» шахматным столиком...

— Я просто поинтересовался ценой. Но после того, как мне её назвали, у меня к этой дорогой безделушке пропал всякий интерес. А разве его ещё не забрали? Мне сказали, что какой-то профессор...

— Нет, — пыхнул сигаретным дымком Игорь Сергеевич, — покупка не состоялась. В последний момент кооператив повысил цену на эту вещь, и профессор остался без шахматного столика. По-человечески жаль его, конечно, но... магазин живёт по законам коммерции. Государственных дотаций кооператив не получает.

— А почему вы решили, что у меня доходы выше профессорских? — спросил Друян. — С тех пор, как я интересовался столиком, оклад у меня не изменился.

— Правильно, оклад остался прежним, — согласился с ним собеседник. — Но зато заметно возросли ваши акции в деловом мире. Просто вы этого не замечаете или... не хотите замечать.

— Интересно! И на каких же условиях вы хотите продать мне этот столик?

— Не я, — слегка поморщился Игорь Сергеевич. — Я вообще к этому делу причастен лишь в качестве посредника. А условия весьма заманчивые. Вы получаете столик. Нет, не бесплатно, конечно! — заторопился он, заметив недовольство следователя. — Вам даже дадут кассовую квитанцию об уплате денег. Цена, конечно, там будет указана божеская, чтобы не вызывать у обывателей нездорового любопытства. А то, знаете, есть такая категория людей, которые вечно интересуются, откуда он такие деньги взял?

— А чем это вызвано? — спросил Сергей Викторович. — Так ведь недолго и проторговаться.

— Ну, магазин закрылся на ремонт, а хранить такую дорогую вещь в ремонтной сутолоке весьма рискованно. Могут повредить. Кому он тогда будет нужен? Сейчас они под склад думают подвал оборудовать. Есть и разрешение райисполкома. А остальную мебель они уже распродали.

— А что я должен сделать в качестве компенсации за те убытки, которые понесёт магазин при продаже столика?

— Да ничего особенного, — равнодушно сказал Игорь Сергеевич. — Прошёл почти месяц с того дня, как произошли те неприятные события в магазине. Ну, и мои друзья хотели бы, чтобы об этом деле постепенно забыли. Знаете, все эти допросы, слежки, подозрения. Они как-то не стимулируют желания работать с полной отдачей. Тем более доказательств чьей-либо вины у вас нет. Так, ничем не подкреплённые подозрения. Всплески следственной фантазии. Мои друзья хотели обратиться с жалобой в соответствующие органы.

— С жалобой — на что? — живо спросил Друян.

— Что им мешают работать. Но я им посоветовал пока этого не делать.

— Как это у вас всё гладко выглядит! — задумчиво похлопал Друян по скамейке свёрнутой в трубку газетой. — Четыре человека убиты и — закрой дело! Да кто мне позволит?

— Позволят, — уверенно протянул собеседник. — Да от вас только и ждут этого! Ну получите для порядка устное замечание, может быть, — выговор. Так ведь в кармане его не носить? Процент нераскрытых преступлений у нас в стране пока ещё достаточно высок. Почему это дело должно быть исключением? Вас кто-нибудь торопил с расследованием? Устанавливал какие-нибудь жёсткие сроки? — спросил Игорь Сергеевич. И, видя, что следователь молчит, продолжил: — Вам, собственно, нужно только найти, кто убил директора магазина и его посетителя. Всё остальное легко объяснимо: дурака-боксёра отправили на тот свет сумасшедшие, и об этом есть акт, а прокуратура своевременно поставлена в известность. А старика Баркова убили в пьяной драке такие же алкаши, как и он сам.

— Сомневаюсь и в том и в другом случае, — сказал Друян. — И откуда у вас такие полные сведения?

— Я, кажется, предупредил, что по профессии я юрист. И прежде, чем браться посредничать, постарался изучить все доступные материалы дела. А насчёт сомнений... Вы их отбросьте! Они вам только мешают. Жаль, конечно, людей, — нахмурился Игорь Сергеевич. — Но, если трезво рассудить, там, кроме директора, полноценных членов общества и не было. Днём раньше, днём позже, но их примерно такая участь и ждала. А

вот того, кто убил директора и его посетителя, вы, наверное, на днях найдёте. Тогда у вас вообще все козыри на руках будут.

— Где найдём? — чуть не вскочил со скамейки Друян.

— Ну... этого я вам заранее сказать не могу. Но что найдёте — точно! Предчувствие у меня такое. Ну так... Я, пожалуй, пойду, — поднялся со скамьи юрист. — Да, забыл вам сказать об одной мелочи, если вы помните, в столике есть два ящичка для фигур. Так вот, в каждом из них будет лежать по двести пятьдесят тысяч рублей. Для покупки шахматной литературы, — улыбнулся посредник. — Обдумайте хорошенько это предложение, — сказал он на прощание. — Я полагаю, что не каждый день можно сделать такое выгодное приобретение. Двух-трёх дней вам хватит? Или вы хотели бы подумать над этим не торопясь?

— Вы упустили один существенный момент, — заметил Друян.

— Какой? — обеспокоенно спросил Игорь Сергеевич.

— Я веду дело не один, а вместе...

— ...с капитаном Кириковым, — закончил фразу собеседник. — Нет, мои знакомые не забыли об этом. Ему тоже будет сделано интересное предложение. А может, уже и сделано.

— А если я откажусь? — спросил следователь.

— Напрасно, — с укоризной сказал Игорь Сергеевич. — Вы можете пожалеть. Мои друзья обратятся за помощью к кому-нибудь другому. Повыше. Мы с вами живём в такое жестокое время, когда каждый думает только о себе. А у вас, к тому же, растёт сын. — В голосе Игоря Сергеевича прозвучали явные нотки угрозы.

Уходил юрист от скамьи не торопясь и ни разу не оглянувшись.

«Уверен в своей неуязвимости, — думал Друян, глядя ему вслед. — А чего, ему, собственно, бояться? Свидетелей разговора нет, и доказать его связь с преступниками ничем нельзя. Пока нельзя!» — мысленно поправил себя Сергей Викторович.

* * *

Этот посредник, спокойно и нагло предложивший ему в сквере взятку, говорил правду: магазин «Восток» действительно был закрыт на ремонт. Друян убедился в этом, сделав по пути домой немалый крюк и проехав на трамвае к магазину. Остановка была на соседней улице, и оставшуюся часть пути он проделал пешком, зайдя заодно в злополучный двор.

Никаких изменений он тут не нашёл; всё те же опухшие, небритые мужички, толпящиеся в углах двора и за штабелями разбитых ящиков, всё те же неухоженные кошки, терпеливо ждущие подачки от остатков скудной закуски, и те же неубранные подъезды с распахнутыми настежь дверями. Кроме одного, в подъезде, где находилась контора магазина, была вставлена новая дверь, сваренная из листового железа и плотно подогнанная к коробке из стального уголка. Правда, ещё не окрашенная, с пятнами ржавчины, но уже с внутренними замками. Сергей Викторович попробовал дёрнуть за массивную ручку, но дверь даже не вздрогнула.

«Капитально сработали, не то что в серийном строительстве, — с каким-то непонятным удовлетворением подумал Друян. — И подвал, похоже, заберут под склад, теперь, кроме них, туда никто не пройдёт.» Ремонт, видимо, был ещё не окончен: возле подъезда высился холмик жёлтого песка, рядом стояли два ящика для приготовления раствора и валялись обрывки мешков из-под цемента. Сергей Викторович вышел со двора, постоял под аркой и, обойдя дом, вышел на параллельную улицу. Дверь магазина была заперта, а изнутри к большому витринному стеклу был прикреплён лист бумаги с объявлением: «Магазин «Восток» закрыт на ремонт».

— А у нас гость! — обрадовала Друяна жена, едва он вошёл в квартиру. — Заждался уже тебя, — с укоризной сказала она. — У вас что, очередное совещание проходило или опять нельзя было отложить допрос?

— И то и другое, — отшутился Сергей Викторович, проходя в комнату.

Гостем, как он и ожидал, оказался капитан Кириков. Но сидел он не за столом, а на полу в углу комнаты, строя вместе с его сыном крепость из фигурных кубиков.

— Занятный у тебя парень растёт, — сообщил он Друяну вместо приветствия. — Другой бы наложил кубики как попало, лишь бы держались, а он — нет! — только чтоб точно вырез к вырезу подходил. Упорный малыш! — похвалил капитан, вставая с пола.

— А я тебе позвонил из города и не застал, — сказал Сергей Викторович. — Куча новостей, и не с кем поделиться. Хорошо что зашёл.

— Я за городом был, — неопределённо сообщил Кириков. — Хорошие новости?

— Хорошего мало, — оглянулся на дверь Друян, — но проясняют они многое. Давай сядем на диван, поговорим, пока жена там на стол собирает. Нет, нет, — мягко отстранил Друян сына, попытавшегося взобраться к нему на колени, — ты, Кирилл, поиграй пока сам или иди маме помоги, а мы с дядей поговорим. — И заметив, что сын обиженно надулся и готовится заплакать, утешил его: — Потом я тебе сказку прочитаю.

Денис, не перебивая, выслушал рассказ своего друга о том, как ему в сквере предложили взятку. Предложили, в сущности, ни за что: не нужно было никого освобождать из предварительного заключения или прекращать против кого-либо начатое следствие, а просто имеющиеся подозрения и выводы по делу убийств во дворе магазина, оставить при себе. Только и всего...

— Вот теперь скажи, — обратился Сергей Викторович к капитану, — чем объяснить их беспокойство? Ведь мы сейчас конкретно ни в чём никого обвинить не можем.

— Боятся, наверное, что мы рано или поздно нащупаем нужную нить и распутаем весь клубок, — задумчиво ответил капитан. — А может, уже и нащупали, да сами об этом не догадываемся.

— Возможно, — согласился с ним Друян. — Есть ещё один вариант, они нас хотят заодно купить на будущее. Иметь своих, оплаченных авансом людей в уголовном розыске и прокуратуре.

— Только вот авансы они предлагают неодинаковые, — усмехнулся капитан.

— Как — неодинаковые? — с недоумением спросил Сергей Викторович. И тут же догадался: — Так они к тебе уже обращались?

— Уже. Прямо на большой дороге. А чего ж стесняться?

— И ты молчишь? — удивился Друян.

— Тебя слушал.

— Вы ужинать думаете сегодня или нет? — заглянула в комнату Зоя. — Вареники с картошкой стынут на столе, а они сидят бубнят. Поешьте, а потом разговаривайте, хоть до утра.

— Сейчас идём, подожди минуту, — пообещал Друян. И тут же заторопил капитана: — Ну давай, давай, рассказывай.

— Да я к ним сам, собственно, в лапы полез, — удручённо начал капитан. — Помнишь, когда мы установили наблюдение за главврачом и Шуртовым, им в первые же дни удалось уйти от моих ребят? Я тогда над картой долго голову морочил: по какому просёлку они уехали, в какой дачный посёлок? Их же вокруг города чёрт знает сколько! Потом уж Патов сам стал ездить, но всё равно мне никак не удавалось проследить — куда именно.

— А он чувствовал, что за ним следят? — перебил товарища Друян.

— По-моему, да, — ответил Денис Николаевич. — Иначе с чего бы стал машины менять? На своей в город приедет, пройдёт через какой-нибудь проходной двор, а там уже его такси или другая машина ждёт. Но раз моим ребятам всё же удалось проследить, куда он ездит.

— Куда?

— Оказывается, и гадать нечего было, в ресторан «Уют». Это в сторону аэропорта. Там у них и валютное обслуживание для иностранцев налажено. Шантрапы никакой, кругом лес, тишина. Я, знаешь, почему так долго гадал, куда он ездит? — с обидой спросил капитан. — Потому что я отталкивался от возможностей своего кармана. Мне и в голову не могло прийти, что врач может каждый день ездить ужинать в дорогой ресторан почти за полсотни километров. Вот я и вычислял его по дачным посёлкам, а он в это время спокойно сидел там и музыку слушал.

Кириков помолчал немного, гася обиду, и продолжил:

— Дальше ещё хуже пошло: он каждый день в ресторан, а мне где деньги брать на эту роскошь? Не будет же мой сотрудник сидеть там весь вечер и смаковать бутылку минеральной воды? И официанту не скажешь: «Мне ничего не надо, я тут слежу за одним другом». А пару дней назад подходит к моим ребятам какой-то тип и говорит: «Передайте своему шефу, чтобы сюда вас больше не присылал. Тот, за кем вы следите, уехал в отпуск.» Представляешь? Во наглецы! Я, значит, за ними слежу, а они за мной! И виду не подают. Да-а... Навёл справки, точно, уехал в отпуск, а куда — никто не знает.

— Как же вы его упустили? — с недоумением спросил Друян.

— Вот так и упустили, — зло ответил Денис Николаевич. — Не могу же я людей держать в нескольких местах: возле больницы, его дома, магазина «Восток» и в ресторане. Откуда у нас такие штаты? Кстати, Шуртов тоже в отпуск укатил. Этот в Домбай подался. Вот так. А потом, мне ещё несколько дней назад посоветовали снять наблюдение.

— Кто? — удивился Друян.

— Начальство. Мотивировка — необоснованность слежки. Всё верно, никаких улик против Патова нет. Одни подозрения. А их к делу не подошьёшь! У меня создалось такое впечатление, что на моё начальство тоже кто-то сверху нажал, — с горечью сказал Денис Николаевич. — Может, я ошибаюсь. Хотя обычно в таких случаях разговор идёт в другой тональности, приказывают — и всё. А тут, вроде бы уговаривали. Ну, после этого разговора, я решил в ресторан съездить, пройти по всем службам не таясь, посмотреть, кто там работает, и вообще... с закоулками ознакомиться.

— В открытую сыграть решил? — оживился Сергей Викторович.

— А чего таиться? Всё равно они моих ребят засекли.

— Ну, и что из этого вышло?

— А ничего, — равнодушно ответил капитан. — У них на дверях табличка висит: «Ресторан закрыт. Санитарный день. Просим нас извинить.» Такие вот воспитанные.

— Надо было со служебного входа войти! — досадуя на недогадливость своего товарища, воскликнул Друян.

— Догадался я об этом, — язвительно сказал капитан, — не один ты умный. Закрыто со всех сторон, и ни души вокруг. Таксист там какой-то по пути из аэропорта заехал, думал клиентов подцепить, так он мне сказал, что эта табличка уже два дня висит.

— А кому этот ресторан подчинён? — спросил Друян.

— «Интуристу». Да какая разница, раз закрыли, значит, согласовали со своим руководством.

— Странная у тебя манера рассказывать, — иронично заметил Друян. — Начал с того, что тебе взятку предложили, а рассказал какой-то общепитовский анекдот.

— А-а-а, — улыбнулся Денис Николаевич. — Ну, едем назад, до города километров двадцать осталось, и тут нашу машину две «волги» в коробочку взяли: одна вперёд заехала, а вторая сбоку к бровке поджигает. Пришлось встать. Пока дверцу открыл и вышел, а два человека уже рядом стоят и улыбаются. И в салонах ещё человека четыре сидят. Я толком не разглядел. Спрашиваю, в чём дело? Хотим с вами поговорить, отвечают. Отошли немного в сторону, и тут они мне всё выложили. Ну примерно то же, что и тебе, только в другом варианте.

— А что ж именно?

— Выплаченный пай на кооперативную квартиру и триста пятьдесят тысяч на обзаведение.

— А взамен?

— Те же условия: прекратить наблюдение, официально доложить, что расследование зашло в тупик. Больше ничего. Ну, срок такой же — три-четыре дня. Тут, главное, знаешь, что обидно, Сергей? — возбудился Кириков.

— Ты — представитель власти — должен выслушивать всякую мразь и бессилён что-либо сделать.

— Ты в форме был? — спросил его Друян.

— Нет. И напарник в гражданском. Мы на его личной машине ездили. А если бы и в форме, что это меняло? Если и задержишь, то потом сам в дураках окажешься. Кому и что доказывать? Свидетелей-то нет.

— Номера машин хоть запомнил?

— Запомнил, — усмехнулся Кириков. — Приехал в город, позвонил в ГАИ, чтобы узнать, кому машины принадлежат, а мне отвечают — облсовету.

— Что-о? — удивленно поднял брови Друян.

— Вот тебе и что. По-моему, это или фальшивые номера, или... не знаю! — обречённо махнул рукой капитан. — Такие вещи у меня в голове не укладываются. Не привык я людей под такими вывесками подозревать. Вот такие дела. Да, ещё одна новость. Майор Усманов телефонограмму передал: Жогин из Самарканда исчез в неизвестном направлении. За городом найдены двое убитых. Оба местные жители и были связаны с кооперативом «Восток». Они подозревают Жогина, но прямых доказательств против него у них нет. Мой шеф сказал: «Объявят розыск, сам буду искать, нет — на черта он мне нужен. Своих дел хватает... Может, это и не он мусульман пристукнул. Государство-то другое.» Как ты думаешь, Сергей, не вернётся он сюда?

— Вообще-то ехать ему больше некуда... А может, его специально и посылали за этим. Если он и вернётся, то прямо в больницу, к Патову под крылышко.

— Я тоже так подумал, — согласился с таким выводом капитан. — И хочешь не хочешь, а на всякий случай ждать его там надо. Если он даже кружным путём поехал, всё равно вот-вот здесь должен быть.

Друзья замолчали, обдумывая услышанные друг от друга новости. Жена Друяна, воспользовавшись паузой в разговоре, вошла в комнату и сердито сказала:

— Или идите сейчас же кушать, или я убираю всё со стола. Дня им не хватает: всё обсуждают и обсуждают... И главное — что бесит: ведь вы искренне думаете, что полезное дело делаете?

— А по-твоему — нет? — возмутился Друян.

— Если вы его действительно делаете, почему преступность растёт? — спросила Зоя, глядя на друзей невинным взглядом.

Наблюдая, как мужчины с аппетитом расправляются с варениками, она спросила у Кирикова:

— Денис, а тебе не кажется, что пора жениться? Не надоело ещё в общежитии жить?

— Ещё и как надоело, Зоя. Шестой год уже там толкусь... Как после училища поселился, так и застрял.

— Так в чём дело? Девушку не подыщешь или ждёшь, пока майорскую звезду получишь?

— Ни то, ни другое, — подцепил на вилку очередной вареник капитан. — Тут проблема другая: для того, чтобы жениться, — квартира нужна, а чтоб квартиру получить — надо семью иметь. Вот такая шарада! — зло закончил он.

— Ну, теперь ты её можешь решить за три дня, — подмигнул ему Друян. — Было бы желание...

— Это будет зависеть от того, купишь ты себе шахматный столик или нет, — огрызнулся капитан.

— Какой столик? — спросила Зоя, с недоумением поглядывая то на мужа, то на гостя.

— Не обращай внимания, — улыбнулся Сергей Викторович, — он шутит.

— Шутки у вас какие-то... — обиженно сказала Зоя, понимая, что от неё что-то скрывают.

— Милицейские! — расхохотался Денис Николаевич.

* * *

Три дня не такой уж и большой срок, если даже с нетерпением ждёшь его окончания. Сергей Викторович теперь не заходил после работы в сквер, хотя и понимал, что это не более чем наивная попытка избежать нежелательной встречи с посланцами преступной группы. Если у них возникнет нужда, то они, без сомнения, сумеют так выбрать удобное место и время, что от разговора невозможно будет уйти. Смогли же они среди белого дня остановить на оживлённой магистрали машину капитана Кирикова и сказать ему всё, что им было нужно. Версия о том, что они его заранее поджидали там, отпадает: никто не знал, поедет он в тот день к ресторану или нет. Да и сам ресторан был закрыт, а на стоянке возле него только одно случайно завернувшее туда такси.

«Случайное ли? — подумал Друян. — Шофёр же сам проговорился, что табличка на дверях висит не первый день. Значит, его кто-то нанял постоянно там дежурить! — пришёл он к выводу. — Таксист и «волги» вызвал по рации, когда Кириков туда приехал. Вот только навряд ли они из гаража облсовета, — усомнился Сергей Викторович. — И по времени они не успели бы туда доехать от города. Значит, были где-то неподалёку. А номера скорее всего фальшивые... А может, кто-нибудь из этой группы работает в облсовете? Там же отделов уйма... а с рацией... Может, и не таксист вызывал, а кто-нибудь из этой компании заперся изнутри и наблюдал. Дожили, бандиты с рациями работают!»

И ещё одолевали тревожные мысли о семье. Зловещая фраза незнакомца, сказавшего ему в сквере: «А у вас, к тому же, растёт сын...» — не давала покоя ни днём ни ночью. Отправить Зою с Кириллом куда-нибудь подальше от города к своим или её родным, прежде чем истекут отпущенные ему три дня, он уже не успеет. Можно, конечно, нажать, чтобы ей без обычных проволочек дали отпуск, но тогда она сама, встревоженная этой поспешностью, взбунтуется и никуда не поедет. Тут и думать нечего. Единственное, что Друян смог сделать, — это уходить несколько раньше с работы и торопливо, пересаживаясь с трамвая на трамвай, успевать в детсадик к концу рабочего дня, когда родители начинали приходить за детьми. Он забирал сразу обоих — сына и жену — благо парикмахерская, в которой работала Зоя, находилась невдалеке от детсада. Но жену всё же предупредил, чтобы она брала отпуск. «Я должен вот-вот освободиться, — врал он ей, не смотря в лицо, — всё уже согласовано. Кое-какие мелочи подчищу, и — всё.»

А в глубине души надеялся на то, что возможная беда пройдёт где-то стороной, не затронув его семью своим чёрным крылом. Не могут же они сразу, вот так, причинить зло невинному человеку? Тем более — ребёнку! Но здравый смысл подсказывал: «Могут!» Оставалось надеяться на то, что к нему обратятся ещё раз, назначат новый срок, а тем временем Зоя и Кирилл уже будут далеко.

Рабочий день перевалил на вторую половину, когда какой-то незнакомый голос сообщил Друяну по телефону, что возле монастыря найден труп молодого мужчины.

— Вы ошиблись номером, это не мой район, — спокойно ответил Сергей Викторович. — И анонимные звонки...

— Правильно, район не ваш, — согласился с ним неизвестный собеседник, — но убитый интересует именно вас. Особенно его пистолет.

— Какой пистолет? — спросил Друян, но незнакомец уже повесил трубку. Сергей Викторович тут же набрал номер капитана Кирикова.

— Я уже знаю эту новость, — ответил Денис Николаевич, выслушав следователя. — Несколько минут назад и мне об этом сообщили. Я сейчас подъеду к тебе и проскочим на моей машине туда. Наш район, не наш, всё равно нужно посмотреть, что за сюрприз они нам приготовили. Ты выходи к подъезду, я быстро.

Убитый лежал на спине рядом с глухой монастырской стеной. Одет он был в простенький поношенный костюм коричневого цвета. Ворот клетчатой рубашки — расстёгнут. Голова, с упрямым ёжиком волос, неестественно откинута вбок, почти касаясь плеча. Никаких видимых следов борьбы ни на одежде убитого, ни вокруг него не было. Пострадавший, очевидно, не ожидал нападения, и смерть застала его внезапно. В десятке метров от стены начинался крутой спуск к реке, заросший густым кустарником и одиночными деревьями. Невдалеке стояла милицейская машина и «скорая помощь». Чуть дальше — выдавший виды «жигулёнок». Обе передние дверцы полуприкрыты.

— А вы сюда какими судьбами? — удивлённо спросил Друяна молодой рыжеватый следователь. — Это же не ваш район.

— Нам уже об этом говорили, — огрызнулся Сергей Викторович. — Пистолет у него был? — кивнул он в сторону убитого.

— Ещё не обыскивали, — ответил рыжеватый. — Пока что судмедэксперт колдует...

— Если есть, то в нём не хватает двух патронов, — уверенно предсказал Сергей Викторович.

— Может, вы нам заодно подскажите, кто это такой? — язвительно спросил следователь.

— Подскажем, — спокойно ответил Кириков, успевший хорошенько рассмотреть пострадавшего. — Это бывший боксёр Анатолий Таран. Последнее время работал грузчиком в гастрономе на Короленко. Только вот почему он один? — задумчиво сказал капитан. — Обычно он всегда с товарищем вместе был...

К группе беседующих подошёл судмедэксперт. С трудом стаскивая с рук прилипшие медицинские перчатки, будничным голосом доложил:

— Ножевых или огнестрельных ранений нет. Признаков удушения — тоже. Смерть наступила вследствие перелома шейных позвонков после удара тупым продолговатым предметом. Предположительно железным прутом. Окончательный диагноз — после вскрытия. Можете им заниматься, я закончил. Фотограф, кажется, тоже.

— А-а-а... Старые знакомые, — злорадно протянул капитан Кириков, увидев, как из подъехавшей машины, вслед за старшим лейтенантом, выпрыгнул сержант с розыскной собакой. — Пёсика на прогулку привёз? Правильно сделал, погода хорошая, пусть разомнётся.

— Вам бы всё шутить, товарищ капитан, — сердито проворчал проводник. — Собака не виновата, приедешь на место, а там всегда всё затоптано.

— Да и жульё какое-то несознательное пошло, — сочувствующим тоном поддержал его капитан. — Нет, чтобы записку оставить, где живёт и когда дома будет.

— Ладно, пошли... — пригласил коллег молодой следователь. — Посмотрим, что там у вашего знакомого в карманах. А ты, сержант, проверь со своим псом кустарник на склоне, может, найдешь, чем этого боксёра уложили. Искать надо, предположительно, железный прут. Или монтировку... — посмотрел следователь на полуприкрытые дверцы «жигулёнка».

Сержант подвёл собаку вначале к потрёпанным «жигулям» и, открыв полностью дверцы, приказал ей обнюхать сиденья. Затем пёс сделал несколько небольших кругов возле лежащего Тарана, и, повизгивая от нетерпения, зигзагами пошёл вниз по склону. Рыжеватый следователь присел возле пострадавшего на корточки и стал

тщательно осматривать его одежду. Начал с брюк. Когда очередь дошла до пиджака, то в одном из его внутренних карманов следователь обнаружил пистолет.

— Ну вот! — удовлетворённо сказал Друян. — Когда в лаборатории вынут магазин, там будет не хватать двух патронов. Пари никто не желает?

— Оружие у него могло быть, но вот насчёт того, что он снайпер... — задумчиво сказал капитан, понимая, какие два патрона имеет в виду Друян. — Сергей! — обратился он к нему. — Ты, наверное, оставайся здесь до конца, а я поехал.

— Куда?

— На Короленко... В гастроном, — ответил капитан, направляясь к машине.

Уже захлопывая за собой дверцу, Кириков увидел, как розыскной пёс, осерев зубы, вытаскивает из куртины кустов отполированную до блеска монтировку. И ещё заметил еле сдерживаемую торжествующую улыбку на лице сержанта-проводника.

* * *

Сейчас Денис Николаевич больше всего боялся опоздать. Ему казалось, что шофёр ведёт машину недостаточно быстро, а светофоры на перекрёстках улиц, как назло, встречают их злорадно подмигивающим красным глазом. Уже двое из трёх товарищей-боксёров не выдержали своего последнего раунда — самого жестокого и длинного. И раундом этим оказалась сама жизнь, к схватке с которой их не готовил ни один тренер. И только въехав во двор гастронома, Кириков облегчённо вздохнул: у задней двери магазина Витёк Галей спокойно разгружал машину с продуктами. «Повезло парню! — подумал капитан. — А может, они его не здесь наметили... Теперь уж дудки, не дам!»

— Где Таран? — спросил капитан Галей, отведя его в сторону от машины с продуктами. — Только не виляй, Витёк, — предупредил он его, — времени у меня мало.

— Уехал в перерыв и до сих пор нету.

— Куда?

— Какой-то мальчишка перед обедом прибежал, сказал, что его на улице ждут. Ну, он пошёл. Потом вернулся, завел своего «жигулёнка» и поехал. Сказал, что ненадолго.

— А кто его ждал?

— Не говорил пацан. Сказал только, что ждут.

— Одного его?

— Одного... А что?

— Отправили твоего друга вслед за Санькой, вот что! — зло сказал капитан. — А если бы вы прошлый раз не финтили со следователем, а рассказали честно всё, что знаете, жив был бы.

— Опять надо в морг ехать? — спросил побледневший Витёк.

— Не надо пока никуда ездить, — делая большие затяжки, ответил капитан. — Мы уже без тебя съездили. А теперь вот что: сейчас ты мне честно расскажешь всё, что знаешь. С самого начала! Если не захочешь, я упрашивать не буду, развернусь и уеду. Но помни: очередь твоя! — жёстко предупредил Кириков. — Можешь сегодня и домой не дойти. Даже наверняка. Так как?

— Можно, я сяду где-нибудь? — попросил Витёк.

— Давай присядем, — согласился Денис Николаевич. Лучше всего в моей машине, — предложил он. — А шофёр пусть пока погуляет.

— А с чего начинать? — спросил Галей, когда они с Кириковым остались в машине вдвоём.

— Начинай с того, почему Саньку «скорая» забрала, — посоветовал Денис Николаевич.

— Ну... один мужик... подзаработать предложил, — с трудом выдавливая слова, начал Галей.

— Как его зовут?

— Григорием Петровичем... Так он Толику сказал. Только я думаю, что врал. Когда мы в последний раз с ним разговаривали, Таран назвал его так, а он стоит, смотрит в сторону, как будто и не к нему обращаются.

— Ладно. С этим потом разберёмся, — решил капитан. — Дальше.

Рассказывал Галей трудно и долго, явно принуждая себя говорить только правду. Денис Николаевич больше его не перебивал, решив задать необходимые вопросы после того, как Витёк расскажет всё, что знал.

— А как тот парень выглядел, который к вам возле монастыря с водкой подсел? — спросил Кириков, когда Витёк окончил свой рассказ.

— Лёха, что ли? — уточнил Галей.

— А его Лёхой звали?

— Так он сказал. Ну как выглядел... Длинный такой... волос светлый. И руки все в наколках.

— А вот милиционера, который с санитаром Саньку забирал, ты мог бы узнать?

— Запросто! — не задумываясь, ответил Витёк. — Он мне даже приснился как-то.

— Ты же под аркой стоял, а оттуда до крыльца подъезда... — усомнился капитан.

— Отлично запомнил, — вновь заверил его Галей. — Зрение у меня хорошее. Память тоже.

— А деньги, которые вам этот Лёха дал, вы поделили?

— Не-а... Они у Толика в гараже спрятаны. Он говорил: «Узнаем, где Саньку похоронили, поставим памятник дорогой, ограду...» Он хотел, чтоб его из камня высекли. В боксёрской стойке...

— А пистолет у Тарана был?

— Пистолет-ет? — округлил глаза Витёк. — А зачем он ему? Мы, если что, — сжал жилистый кулак Галей, — и так сдачи любому могли дать.

— Могли... а не дали, — укоризненно сказал капитан. — Ну ладно. Позже подробнее поговорим. А сейчас поедem.

— В тюрьму? — упавшим голосом спросил Витёк.

— Да нет. Ты туда не торопись, — невесело улыбнулся капитан. — Туда всегда успеть можно. Труднее — оттуда. Найду я куда тебя поместить пока. Не номер «люкс», правда, но спать будешь спокойно и один.

— У меня к вам просьба есть, — сказал Галей, когда Кириков приоткрыл дверцу машины, чтобы позвать шофёра.

— Какая?

— Позвоните матери на работу... чтоб она меня к ужину не ждала. Она на почте работает.

— А ты сам позвони, — посоветовал капитан.

— А что ей сказать?

— Ну, скажи, что уезжаешь в командировку за продуктами в другой город, дня на три-четыре. В этом духе. А я пока заведующую предупрежу, если её кто-нибудь спрашивать будет, чтоб она то же самое говорила. Дома тебе, Витёк, нельзя быть, — доверительно сказал капитан, — они тебя и там найдут.

— Вы не бойтесь, я не убегу через другой выход, — заверил Галей капитана, выходя из машины. — Или давайте вместе пойдём.

— Зачем? Я верю тебе. Ты куришь?

— Да.

— На сигарету, покури сначала, успокойся, а потом звони матери, — посоветовал Денис Николаевич.

* * *

Такое чувство обиды Друян испытывал только в детстве, когда в его присутствии кто-нибудь из взрослых нагло врал, и все окружающие знали, что он говорит неправду, но делали вид, что верят ему, так как не могли уличить его во лжи. Или не хотели. И горечь от сознания того, что тебя заведомо считают человеком, которому можно и даже нужно лгать, вызывала в душе у Друяна злость на самого себя, на своё собственное бессилие, а затем эта злость, круто замешанная на обиде, перерастала в ненависть к тому, кто считал его глупее себя.

В данной ситуации всё обстояло именно так: и он и Денис были уверены в том, что Патов, Шуртов и Жогин причастны к убийству бывшего боксёра Любченко и алкоголика Баркова. Но уверенность не доказательство, и, основываясь только на ней, никто ордера на арест не подпишет. Нужно что-то более весомое... Косвенным доказательством их правоты служил тот факт, что им предлагали взятку. Но на него никто не хотел обращать внимания. Кто конкретно предлагал? И где свидетели? О том, чтобы произвести обыск в больнице и допросить Патова, лучше не заикаться. Был уже разговор на эту тему.

— Вы что, с ума сошли со своим другом? — возмутился прокурор. — Человек с такими связями. На виду у всего города. Это ж вам не бомжа какого-нибудь забирать. Вот вернётся человек из отпуска, я сам побеседую с ним. Уверен, что он ни к чему грязному не причастен. Его такие люди знают.

С тем Друян и ушёл. А события разворачивались не в их с Денисом пользу. Убийство Тарана, у которого в кармане обнаружили пистолет, играло на руку тем неизвестным, которые хотели поскорее закрыть дело о гибели директора магазина. Ведь в пистолете действительно не хватало двух патронов, а баллистическая экспертиза подтвердила, что Валерий Борисович и его телохранитель убиты именно из этого оружия. Кого же ещё искать, если предполагаемый убийца сам мёртв? И версия готова: Таран убил директора магазина, мстя за своего товарища Любченко, а затем и сам был убит. Кем — это уже другой вопрос. «Чисто всё-таки работают! — мысленно отметил Друян. — Здесь нам уже зацепиться за что-нибудь трудно, а дело с гибелью Тарана они как-нибудь постараются направить в нужное для себя русло. Это уже не в нашем районе. Ну что ж. Пойти к начальству, что ли, изложить ещё раз свои соображения, а там что хотят, то пусть и делают, — подумал Сергей Викторович. — Может, вообще уйду из прокуратуры.»

— Вы напрасно всё так близко принимаете к сердцу, Сергей Викторович, — укоризненно заметил районный прокурор, выслушав Друяна. — Мы уже беседуем с вами на эту тему не в первый раз. Зачем вы стараетесь взять на себя какую-то несуществующую вину? В чём она? Следствие вы вели профессионально грамотно, отрабатывали несколько версий, выходили на нужных людей, но... — улыбнулся прокурор, — судьба обошла вас по кривой. Чем-то вы ей не угодили. Шучу, конечно, — посерьёзnel он, — но судите сами: вы приезжаете в психиатрическую больницу, а бывшего боксёра уже нет в живых. Ночью убивают в пьяной драке Баркова, хотя я лично в ценности этого свидетеля сильно сомневаюсь. И уж совсем как насмешка — убийство Тарана, у которого находят злополучный пистолет. Ну, тут всё понятно, блатные сводили между собой счёты.

— А почему же они не забрали у него оружие? — мрачно спросил Друян. — Для блатного пистолет дороже денег.

— Торопились, наверное, — равнодушно пожал плечами прокурор. — Или помешал кто-нибудь. Может, тот, кто звонил вам. Это уж пусть товарищи из другого района выясняют. А у нас с вами и других забот хватает. Буду я ещё голову над этим ломать. Есть на пистолете отпечатки пальцев Тарана?

— Есть, — неохотно подтвердил Друян.

— Из этого пистолета убит директор и его посетитель? — продолжал наседавать прокурор.

— Из этого. Только вот...

— Только — что? — сузил зрачки хозяин кабинета.

— Существуют ещё данные трассологической экспертизы. А согласно им, Тарану следовало бы быть чуть ли не на полметра выше его роста. Вот так-то! — торжествующе закончил Друян.

— Че-пу-ха! — отмахнулся прокурор от этого факта. — Где гарантия, что их выводы безошибочны? Тут достаточно ошибки при замере входного пулевого отверстия на миллиметр, и все расчёты можно послать к чертям! Мы после убийства Тарана можем в этом деле поставить точку. Так что передайте все документы по этому делу стажёру... как его...

— Игнатенко, — подсказал Сергей Викторович.

— Передай ему дело, — перешёл на дружеский тон прокурор, — он всё доведёт до ума. Я ему подскажу, что надо сделать. Для него это будет хорошая практика. А сам иди спокойно в отпуск, — добродушно улыбнулся прокурор, — а то Зоя Александровна, наверное, уже проклинает меня за то, что не даю её мужу отдохнуть.

— Понятно. А вы, Андрей Иванович, в шахматы не играете? Не любитель? — задал вдруг Друян неожиданный вопрос.

— А что? — прищурился прокурор.

— Просто спросил.

— Да нет. Просто ты не спрашиваешь. Я с тобой не первый год работаю. И тебе бы тоже привычки своего начальства пора знать. Но раз спросил, отвечу — с умным партнёром всегда рад партию разыграть. С ним не проиграешь, в крайнем случае он постарается свести партию вничью. Чтобы никому не было обидно. А вообще... Я вижу, вы с Кириковым лезете напролом. Благоразумные люди так не поступают! — неожиданно взорвался прокурор. — Сами в беду лезете, и меня тащите! И раз уж речь пошла о шахматах, придётся вам один этюд показать.

Прокурор поднял трубку телефона и стал набирать номер. По его обращению Друян понял, что он разговаривает с капитаном Кириковым.

— Да, подъезжайте ко мне, я вам с вашим другом хочу кое-что показать. Новости есть? Ну вот и расскажешь потом, — предложил прокурор. — А может, после этого и не захочешь рассказывать. У вас с Друяном что ни день, то новости, — положил трубку Андрей Иванович.

Посидел молча, бездумно глядя на лежавшие перед ним бумаги, потёр ладонью большой красивый лоб и, устало махнув рукой, сказал:

— Иди, Сергей Викторович, встречай своего приятеля, а я скоро освобожусь, и поедем в одно место.

* * *

Капитан Кириков приехал неожиданно быстро. Вид у него был возбуждённо-радостный, движения порывистые. Левое ухо рассечено и сильно опухло, на лбу — ссадина.

— Что это у тебя вид такой, — удивился Друян, — будто ты водки стакана два врезал?

— Ещё не врезал, но в конце дня обязательно причащусь! — пообещал капитан. — Придётся опять к тебе в гости идти: у меня в общежитии такой праздник грех отмечать. — И, уже не в силах сдерживать себя, сообщил: — Жогина я взял, Сергей!

— Врёшь! — привстал со стула Друян.

— Взял... Ещё бы немного и снял засаду. А он сегодня к утру пришёл, голубчик. В логово потянуло. Отстреливаться хотел, гад! Но не успел. Нервничал, наверное, а может, просто испугался. Не ожидал нас там увидеть. Мы его возле гаража взяли. Я так рассудил: всю территорию больницы оцепить, у меня людей не хватит. А он может в любом месте ограду перелезть. Кругом лес, откуда удобнее, оттуда и подходи. Сразу в больницу, думаю, он не пойдёт, осмотрится сначала. Да и закрыто всё ночью, стучать он не будет. А гараж ему, как родной угол, он ведь всё время с машиной был занят. Ну, на всякий случай, сержанта с его Алтаем взял...

— А кто это? — не понял Друян.

— Да пёс его, который монтировку нашёл.

— А-а-а...

— Ну ты знаешь, он здорово помог, а так бы он кого-нибудь из нас продырявить успел бы. Ухо вот рассадил, подлец, — пожаловался капитан. — Ну хрен с ним — заживёт.

— Допрашивал ты его?

— А, как же? — даже удивился такому вопросу Денис Николаевич. — Сразу, по-горячему... Молчал долго. Потом попросил: дай, говорит, отдохнуть. Дудки, думаю, — «отдохнуть». А я отдыхал всё это время? Переодел его в форму старшего лейтенанта, посадил рядом с ним ещё трёх в форме и погоны им такие же. А потом пригласил понятых и приказал привести Галея.

— А где ты его прячешь? — усмехнулся Друян.

— Да там у нас каморка отдельная есть. Отсыпается. Да-а... Галей как вошёл, на остальных даже не взглянул, а сразу на Жогина указал: «Вот этот, говорит, Саньку с санитарями забирал.» А тот ему в ответ: «Жалко, говорит, что и тебя вместе с ним не прихватил. Сейчас бы ты уже не вякал.» Ну, а после этого он обмяк как-то и говорит: «Я — пешка. Делал, что приказывали, но чужих «мокрух» брать на себя не буду! Тут я чист. Патов постарается всё свалить на других. Ему, конечно, веры больше. И голыми руками, капитан, ты его не возьмёшь. А я рядом с ним к стенке становиться не хочу. Его в последний момент в сторону отведут, а меня шлёпнут. У него где-то в больнице тайники есть с каракулем и валютой. Найдёшь — припрешь его, как горбатого, к стене, а нет — вывернется он у тебя. Связи у него те ещё!»

— А санитаров ты тоже задержал? — спросил Друян.

— Нет... Хочу их взять вместе с Патовым, они же ещё не знают, что я Жогина задержал, так что накрою я их внезапно. Оставил там в лесу на всякий случай пару человек...

— А Патов приехал?

— В больнице и дома не появлялся. А должен уже приехать, завтра у него отпуск кончается. Я и ребят уже своих сюда прихватил, — сообщил Денис. — Сидят в машине, ждут. Прямо отсюда поеду в больницу и возле его дома людей оставляю. Пусть попробует теперь твой шеф отказать мне в ордере! — зло сказал Кириков, имея в виду прокурора района. — Помнишь, сотрудница из конторы артели говорила, что Шуртов звонил какому-то Виктору? Это он Патову звонил. Вот, и того друга надо брать разом. Куда ты звонишь? — спросил он Друяна, увидев, что тот снял трубку телефона.

— Зое хочу позвонить, — ответил следователь. — Предупредить, что задержусь, наверное.

— А-а-а... — облегчённо вздохнул Денис. — Я думал, своему шефу. Пока ему ничего не говори, узнаем, что он нам хочет показать, а потом...

* * *

Машина прокурора вырвалась из сутолоки огромного города, пронеслась по мосту через реку и стала набирать скорость на широкой ленте загородного шоссе. Следом за ней, в некотором отдалении, катил тёмно-зелёный «уазик».

— Догадываетесь, куда я вас везу на экскурсию? — обернулся к Друяну и Кирикову с переднего сиденья прокурор.

— Нет, — ответил капитан.

— А ты бы должен был догадаться, — с укоризной сказал прокурор, — не раз по этой дороге ездил.

— В ресторан «Уют»? — высказал предположение Денис Николаевич. — А откуда вы знаете, что я туда ездил?

— Кто-то говорил между делом, — ушёл от прямого ответа Андрей Иванович.

— Мы без денег, — шутливо сказал капитан. — Придется вам платить за всех. В кредит, по-моему, там не отпускают.

— Платить не придётся никому, — успокоил их прокурор. — Все столики будут заняты.

— В будний день и в это время? — усомнился капитан.

— Для кого будни, а кому-то праздник, — загадочно ответил Андрей Иванович.

Машину остановили, не доезжая до автостоянки, хотя там и было ещё несколько свободных мест. «Уазик» остановился рядом.

— А это чья машина? — раздражённо спросил прокурор.

— Моя, — с наигранным равнодушием ответил Кириков.

— Зачем?

— Так... Ребят своих прихватил на всякий случай. Чтобы взятку без свидетелей не предложили.

Андрей Иванович помолчал, гася раздражение, а затем предупредил:

— Мы здесь долго не будем... Покажу вам кое-что и поедем.

Из машины было видно, что на дверях ресторана висит какая-то табличка, а за зеркальными стёклами неподвижно застыли две фигуры.

— Что у них: опять санитарный день или комиссия Минздрава? — с недоумением спросил капитан, мельком посмотрев на многочисленные машины.

— А ты пройди, узнай, — с какой-то нехорошей усмешкой посоветовал прокурор.

— Раз уж приехали, придётся узнать, — открыл дверцу машины Денис Николаевич.

«Ресторан закрыт на спецобслуживание», — прочёл капитан надпись на табличке, когда подошёл к дверям. На этот раз администрация ресторана извинений не просила. Он перевёл взгляд на тех, что стояли за зеркальным стеклом, и не смог сдержать удивления: рядом с осанистым швейцаром, лениво разглядывая капитана, стоял... рецидивист Дуплет. Но не тот уголовник с развязными манерами, которого он видел после выхода из колонии, а чисто выбритый, в дорогом костюме в тонкую полоску и с модным галстуком в воротнике голубой рубашки. Кириков потянул на себя дверь и вошёл в холл ресторана.

— А ты здесь какими судьбами, Дуплет? — спросил он рецидивиста.

— Кого это вы спрашиваете? — спокойно осведомился тот и даже огляделся вокруг с наигранным недоумением.

— Тебя, голубчик, тебя, — с издёвкой уточнил капитан.

— Был Дуплет, да весь вышел, — холодно ответил напарник швейцара. — Умер Дуплет. Остался Алексей Дмитриевич. С паспортом и пропиской! Понял, начальник? А вот что ты здесь делаешь? — нагло спросил он у капитана. — Если есть пригласительный — проходи, а нет — отваливай. Там, — кивнул он в сторону зала, — такие тузы сидят, что разговаривать с тобой, как я, не будут. Ну, есть пригласительный?

Из-за плотно закрытых дверей слышалась приглушённая музыка и неясный гул многочисленных голосов. Кириков скользнул взглядом по татуированным кистям рук Дуплета и, сдерживая себя, молча вышел. «Лёха, что ли? — вспомнил он рассказ Галея. — Ну как выглядел... Длинный такой... волос светлый. И руки все в наколках. Сейчас я тебе принесу пригласительный!» — зло думал капитан, шагая к машине.

В машину он вернулся нахмуренным и дверцей хлопнул сильнее, чем это требовалось.

— Ну, узнал? — насмешливо спросил его прокурор. И, не ожидая ответа, пояснил: — Свадьбу сегодня здесь празднуют. Ваш хороший знакомый женится... Главврач Патов. На солистке ресторана. Вот так-то! — почему-то вздохнул прокурор.

— А когда же он приехал? — удивился Друян.

— Несколько дней тому назад. За городом жил. На её даче.

— И вы молчали? — с нотками враждебности удивлённо спросил Друян.

— Да я и сам только сегодня утром об этом узнал, — пояснил прокурор.

— А вас случайно сюда не пригласили? — злорадно спросил капитан. — Откуда вы узнали об этом торжестве?

— Зря злишься, Денис, — спокойно ответил прокурор. — Вы с Сергеем, наверное, думаете, что я, кроме служебных бумаг, ничем не интересуюсь? Или... что я куплен на корню, — с горечью продолжил он. — Рангом я не вышел, чтобы меня сюда приглашали. Ты хоть и в уголовном розыске работаешь, а главного не заметил. Посмотри на стоянку внимательнее.

Друян и Кириков дружно повернули головы в сторону автостоянки и только сейчас заметили, что многие машины имеют номера с многозначительными нулями. Среди них были и те две «волги», которые несколько дней назад блокировали капитана на загородном шоссе.

— Ну что, насмотрелись? — повернулся к ним прокурор. И, глядя им поочерёдно в глаза, жёстко спросил: — Так как, нужна вам санкция на чей-нибудь арест? — Не ожидая ответа, продолжил: — А рангом для этого веселья я не вышел потому, что смолodu был таким же горячим, как вы...

— Я понимаю вас, Андрей Иванович, — глухо сказал Кириков, открывая дверцу машины, — но... возвращайтесь в город сами. Там и поговорим об ордерах. Мы ведь тоже вам кое о чём не сказали. Жогина я сегодня взял! И он уже дал показания против Патова. Про Самарканд я ещё его не спрашивал. Некогда было. Так что... Мне сейчас нужно задержать несколько человек. Иначе я их потом буду ловить по всей стране.

Из-за тонкой обшивки стоявшего рядом «уазика» слышалось нетерпеливое повизгивание Алтая.

— Ты остаёшься? — капитан решительно распахнул дверцу машины, резко повернулся к Сергею. — Или со мной?..

Нодар Думбадзе
КУКАРАЦА



Нодар Владимирович Думбадзе

Перевод с грузинского: Зураб Ахвледиани

Кукарача

Маленький двухэтажный, окружённый тутовыми, персиковыми, вишнёвыми деревьями домик тёти Марты стоял на краю Варазисхеви.

С наступлением лета детвора нашего квартала, словно стая воробьёв, осаждала деревья, и дворик оглашался нескончаемыми проклятиями и угрозами тёти Марты:

- Сойди с дерева, чтоб ты сдох!
- Жри, чтоб ты подавился, зачем же ветки ломаешь?!
- Ослепни, негодяй! Зелёные ведь совсем вишни!
- Жора, неси ружьё с солью!
- Воришки проклятые, бродяги, жульё, мерзавцы!
- Слезайте сейчас же, пока я не позвала Кукарачу!
- Куда только смотрят ваши родители? Что, ни отцов у вас, ни матерей?! Господи, напусти на этих грабителей рези в животе и понос!

Тётя Марта, с кизиловым прутиком в руке, бегала от одного дерева к другому, потом, выбившись из сил, усаживалась посередине дворика и приступала к увещаниям:

- Натела, девочка, ты ведь дочь учительницы! Что же это получается: твоя мама всё Ваке обучает грамматике и «Витязю в тигровой шкуре», а родную дочь не сумела научить различать своё и чужое?!
- Ай, ай, ай, ай! Дуду головастик! Твой папаша инженер, полгорода отстроил, а тебя вырастил таки разорителем чужих домов?!
- А ты чего ржёшь, недоносок Гуриели! Тебе бы родиться сыном не секретаря райкома, а хищника, да мыть требуху в Вере. Иди сюда, негодяй, накормлю тебя мацони! Сойди, говорю, с дерева, бездельник, упадёшь, чего доброго, мне же придётся отвечать за тебя!
- А-а-а, и ты здесь, Бродзели? Конечно, где же тебе быть, бандиту и мошеннику!.. Сегодня вишни украл, завтра квартиру чужую взломал, послезавтра поезд ограбил, а там, глядишь, и пароход в море захватишь...
- А это кого я вижу?! Кучико?! Тебя-то как сюда занесло?! У, чтоб пропала башка твоя непутёвая!
- Эй ты, Костя-грек! Вы для чего сюда пожаловали, чтобы семью мою разорять, да? Мало в Греции было вишни и туты, да?
- А ты куда ты смотришь, Кукарача?! Языком чесать ты мастер! Я то, да я сё! Участковый инспектор! Гроза воров и мошенников! Воспитатель молодёжи! Трепач ты, вот кто! Тоже мне нашёлся воспитатель! Сам небось в приюте вырос! Герой!

Участковый инспектор милиции нашего района Кукарача был человек правдивый, чуткий, отзывчивый и потому всеми любимый. Укусы кого-нибудь блоха он тотчас шёл с жалобой к Кукараче. Дела поважнее так те и издавна не решались без участия Кукарачи.

Вернувшись с финской войны с орденом Красного Знамени на груди, Кукарача в тот же день пришёл, оказывается, в райком партии и потребовал работу. «А что ты умеешь делать?» - спросил его секретарь райкома. «Умею стрелять и убивать наших врагов», ответил Кукарача. Улыбнувшись, секретарь направил его в райотдел милиции. Вот и вся известная нам биография нашего инспектора. Ходили слухи, что на фронте он дрался геройски. Более того, говорили, что орден Красного Знамени снял со своей груди сам Ворошилов и собственноручно прикрепил его к гимнастёрке Кукарачи. И при этом похлопал, мол, его по плечу и сказал:

- Молодец, Кукарача, дзалиан карги бичи хар! *

* Ты очень хороший парень (груз.).

Откуда вы знаете грузинский язык, товарищ Климент Ефремович?! - удивился Кукарача.

А Ворошилов, мол, улыбнулся наивности Кукарачи и ответил:

- Иосиф Виссарионович научил.

Когда Кукарачу спрашивали действительно ли всё так было, он дипломатично уходил от ответа, не подтверждая и не отрицая ничего.

- Да что там... А вот расскажу я вам, за что я орден получил... И рассказывал в сотый раз.

...Случилось так, что Кукарача со своим танком провалился в противотанковый ров. Как ни старался, не сумел ни выкарабкаться из ямы, ни сообщить своим. Измученный, уставший, Кукарача заснул. Вдруг слышит возня вокруг танка, голоса. Припал к щели, вот тебе и на! Пригнали финны два лёгких танка, подцепили Кукарачин танк буксирными тросами и давай тянуть! Прикусил Кукарача язык и молчит. Вытащили финны танк из рва и повезли к своим позициям. «Э нет, подумал Кукарача, так дело не пойдёт!.. Эдак, гляди, и в плену очутиться недолго!..» Завёл он свою машину, развернулся круто, газанул сильно... и пока финны очухались, поволок их лёгкие танки за собой... Так и добрался благополучно до своих. Правда, финны повыскакивали из своих танков и убежали, да бог с ними! Два неприятельских танка в целости и сохранности достались Кукараче.

Здесь Кукарача обрывал свой рассказ. Содержание разговора с Климентом Ворошиловым так и осталось в тайне.

Продавцы мацони, с рассветом спускавшиеся в Тбилиси из Цхнети, оставляли своих ослов во дворе тёти Марты, а сами, взвалив на плечи хурджины с банками мацони, растекались по городу, оглашая улицы и дворы привычным «Мацо-о-они, мала-а-ко!»

После полудня, распродав свой товар, они вновь собирались во дворе, усаживались вокруг длинного деревянного стола и не спеша распивали по бутылке кахетинского, а между заздравными тостами делились друг с другом услышанными за день новостями и сплетнями.

Мы называли двор тёти Марты «ослиным гаражом».

Бывало, цхнетские мацонщики здесь устраивали скачки своих длинноухих скакунов. Старт у ворот двора, финиш у задней ограды, расстояние 25-30 метров. Жокеями нанимали нас, детей. Победитель получал банку мацони, побеждённые осыпались насмешками и подзатыльниками.

Каждый осёл, естественно, имел собственное имя, но мы называли их по именам хозяев.

...В тот день подвыпившие мацонщики тоже решили позабавиться скачками. Была установлена ставка пять рублей.

Я восседал на Китесе, Натела на Аршаке, Дуду на Шакро, Ирача на Имедо, Костя-грек на Халвате. Были и другие ослы, но они в первом туре не участвовали, количество состязавшихся ограничивалось шириной беговой дорожки. В роли судей выступали тётя Марта и хозяева ослов, не принимавших участия в скачках.

Тётя Марта сосчитала до трёх, и скачки начались. Смешно шевеля ушами и цокая копытами, ослы двинулись к финишу Хозяева, войдя в азарт, громкими возгласами подбадривали нас и ослов:

- Давай, жми, даром, что ли, я кормлю тебя ячменем?!

- Слышь, бичо, садись ему на круп, быстрее побежит!

- Гляди-ка! Вот и впрямь осёл! Стал и не двигается! Пришпорь, пришпорь его!

- Вот молодчина! Ай да девка!

- Эх вы, бедолаги! Обскакала вас девчонка!

Нателе досталась банка мацони, Аршаку пять рублей, мне подзатыльник... Только приготовились ко второму гуру, как во двор ворвался бледный как полотно наш приятель Зевера, замахал руками и испустил душераздирающий вопль:

- Кукарачу убили!

От наступившей вдруг во дворе необычной тишины вздрогнули даже воробьи на деревьях.

Зевера повторил уже спокойнее:

- Люди, Кукарачу убили... - и облизал пересохшие губы.

- Кто? - спросила после долгого молчания тётя Марта.

- Не знаю, пожал плечами Зевера.

- Где? спросила опять тетя Марта.

- На Кобулетском подъёме, показал рукой Зевера.

- В доме Инги?!

Зевера кивнул головой. Тётя Марта сняла с головы шаль и вышла со двора.

Спустя десять минут весь наш квартал собрался у дома Инги.

Санитары и двое милиционеров вынесли на носилках Кукарачу. Он был без сознания. Из простреленной в двух местах груди Кукарачи ещё сочилась кровь. Рядом с носилками шла Инга с перекошенным лицом, исцарапанными щеками. Она то и дело нагибалась к носилкам, с расширенными от ужаса глазами всматривалась в пропитанную кровью марлевую повязку и шептала:

- Не умирай, Кукарача, не губи меня... Заклинаю тебя матерью, Кукарача, не умирай... Кто поверит, что я не виновата... Кукарача, дорогой мой, не умирай, прошу тебя...

Когда носилки укладывали в машину «скорой помощи», Кукарача очнулся.

- Кукарача, дорогой, не умирай... Инга опустилась на колени перед носилками.

Кукарача обвёл собравшихся вокруг него людей туманным взглядом.

- Не умирай, не умирай, Кукарача, прошу тебя... - повторяла Инга. - Погибну я, Кукарача, не поверят мне...

- Молчи... - прошептал Кукарача, - уходи отсюда... Тебя здесь не было... Слышишь? Уходи...

- Кукарача! Инга припала губами к руке Кукарачи. Дорогой мой...

Кукарача уже не слушал её, он глазами искал кого-то и наконец нашёл его:

- Давид!

Из толпы вышел начальник районного отдела милиции.

- Давид, ты знаешь, эта женщина моя жена... И она чиста, как слеза на её щеке... Знаешь ведь?

Давид кивнул головой. Запёкшиеся губы Кукарача тронула спокойная улыбка.

- Инга, - проговорил он, кругом туман... розовый туман... Я не вижу тебя... Ух, Муртало, подло ты пришел меня, сволочь грязная... - Кукарача с сожалением покачал головой, потом поднял глаза на Ингу и протянул руку к её лицу. Рука на миг застыла в воздухе и упала, словно отрубленная.

Без единого стога, без единого слова, с улыбкой на лице, красиво умер Кукарача - лейтенант милиции Георгий Тушурашвили...

Первым нашим гостем на новой квартире (мы переехали с Анастасьевской на улицу имени академика Марра) был высокий, смуглый, красивый лейтенант милиции. Как только мама открыла дверь, он без приглашения вошёл, направился прямо на кухню и уселся на табуретку.

- Кто вы я что вам нужно? - спросила оторопевшая от наглости незнакомца мать.

- Я, уважаемая... - Лейтенант запнулся.

- Анико! - резко подсказала мама.

- Я, уважаемая Анико, есть участковый инспектор Орджоникидзевого райотдела милиции города Тбилиси Народного Комиссариата внутренних дел Грузинской ССР Георгий Тушурашвили по прозвищу Кукарача! - выпалил лейтенант без передышки.

- Удачное прозвище, - рассмеялась мама.

- Да... Смуглостью бог меня не обидел.

- Точно.

- Можете так и называть меня - Кукарача!

- И вы пожаловали к нам за тем, чтобы сообщить об этом?

- Нет, конечно! Я беру на учёт всех подростков, поселившихся в нашем районе, так как мне поручено следить за их жизнью и поведением вне школы и семьи. - Кукарача извлёк из планшета общую тетрадь и карандаш.

- Уважаемый... э э э... Кукарача, вы случайно не ошиблись адресом? - спросила мама.

Не поняв иронии, лейтенант ответил серьёзно:

- Нет, что вы! Улица Марра, дом № 2, первый подъезд, четвёртый этаж, квартира № 8, Владимир Иванович Гуриели. Я ошибаюсь?

- И даже очень! Мой супруг первый секретарь райкома партии, ничего общего с милицией у нашей семьи нет и быть не может, я сама пока ещё жива и в ничьей помощи в воспитании своего сына не нуждаюсь!.. - Лицо у мамы покрылось красными пятнами. И вам бы посоветовала, чем ходить по порядочным семьям, занялись бы лучше хулиганами и ворами. Да!

- Не скажите, уважаемая Анико! - ответил спокойно Кукарача и закрыл тетрадь.

- Я знаю, что говорю! Моему мальчику ещё нет двенадцати! О каком милицейском учёте идет речь?

- Не скажите, уважаемая Анико! - повторил лейтенант.

- Да что вы зарядили «не скажите», «не скажите»! Попрошу вас больше подобными делами не утруждать себя! - Мама встала. Встал и лейтенант.

- Дай бог, чтобы вам никогда не пришлось обращаться ко мне... А так, скажу вам откровенно, в возрасте вашего сына я покуривал втихомолку, и в картишки был не прочь перекинуться с ребятами нашего квартала, и даже татуировкой руку мне разукрасили. Вот! - Кукарача засучил рукав.

- Не беспокойтесь! Оно и видно по всему! - отбрила его мама.

- Зачем же вы так, уважаемая Анико? Я пришёл к вам не ссориться...
- Вот и отлично. Прощайте! - сказала мама.
- До свидания! - Кукарача направился к двери. Я стоял в коридоре и слышал весь их разговор. Такой сердитой и грубой я маму не видел никогда. Проходя мимо, Кукарача остановился и погладил меня по щеке.
- Как тебя звать?
- Тамаз! - огрызнулся я и резко отодвинулся.
- Спасибо, что не отгрыз мне руку! - сказал с улыбкой Кукарача и вышел, прикрыв за собой дверь.
- Хам! - послала ему вдогонку мама.

Описанный ниже случай произошел спустя месяц после появления Кукарачи в нашем доме.

По Варазисхеви мы спустились к речке Вере, перелезли через ограду зоопарка и очутились под огромным ореховым деревом.

- Давайте! - приказал шёпотом Кучико, подставляя спину. - По одной пазухе!

Я взобрался к нему на спину, ухватился за нижнюю ветку, повис в воздухе, потом подтянулся на руках, вскарабкался на ветку и осторожно полез вверх. За мной последовали Дуду, Костя-грек, Ирача и, наконец, сам Кучико.

Работали быстро, молча. Спустя пятнадцать минут наши пазухи были полны молодыми орехами.

- Хватит! Вниз! распорядился Кучико.

Мы спустились с дерева, с трудом преодолели ограду и гуськом потянулись вверх по течению Вере.

- Стой! Здесь! - раздалась команда Кучико.

Мы остановились у небольшой запруды.

- Высыпайте!

Все опорожнили пазухи. На земле выросла горка зелёных орехов.

- Начали!

Мы вооружились каждый двумя голышами и стали изо всех сил давить и расплющивать орехи. Летели брызги орехового сока. Вскоре наши руки и лица покрылись чёрными пятнами.

- Хватит! Давайте орехи в воду! - приказал Кучико.

Мы собрали кашеобразную ореховую массу, сбросили её в запруду и застыли в томительном ожидании.

Прошла минута... Другая... Пятая... И вот на поверхность воды всплыла брюшком вверх первая отравленная рыба. Затем ещё и ещё. Спустя несколько минут вся запруда белела рыбьими брюшками. Эффект был неожиданным. Забыв про осторожность, мы бросились в воду и, визжа и хохоча, стали вылавливать полуживую рыбу.

- Держи, держи!

- Эта моя!

- За пазуху её!

- Вот молодец, Кучико!

- Кто тебя научил?

- Сам придумал!

- Зверь!

С полчаса продолжались наши дикие крики. Наконец вся рыба была выловлена, и мы, уставшие и промокшие с ног до головы, повалились на берегу. Потом Кучико разделил рыбу поровну и предупредил: если кто спросит - откуда, мол, рыба? - отвечать: поймали на удочку!

Гордые и довольные, мы разошлись по домам.

Увидев меня с чёрными пятнами на лице и руках, мокрого и грязного, с рыбой за пазухой, мать оторопела.

- Что... что это такое?.. На кого ты похож?.. Откуда рыба?..

- Удили в реке... Это всё мой улов!

Мать хотела выбросить рыбу, но потом вняла моим мольбам, почистила её, вываляла в муке, поджарила на подсолнечном масле, попробовала сама и, проговорив удивлённо: «Смотри ты! Вкусно!» - поставила тарелку передо мной.

- Ешь!

Я доедал последнюю рыбёшку, когда раздался звонок. Мама открыла дверь. Широко улыбаясь, в комнату вошёл Кукарача с бамбуковой удочкой в руке.

- Здравствуйте, уважаемая Анико! Можно к вам? - спросил он почтительно.

- Пожалуйста! - ответила мама на сей раз довольно мирно и села у круглого столика.

Кукарача прислонил удочку к стенке, достал из планшета небольшую книжку в красном переплёте и уселся напротив мамы.

- Чем могу служить, уважаемый Кукарача? И что это за бамбук? - спросила мама.

- Сейчас всё объясню... Бамбук этот обыкновенная удочка, а вот эта книжка – Уголовный кодекс.

- Да, но что... какая связь между моим домом и этими предметами?

- С помощью удочки, как известно, ловят рыбу, а с помощью Уголовного кодекса человека...

- Слушайте, лейтенант, перестаньте, пожалуйста, говорить загадками!.. Скажите прямо - что вам нужно? - В голосе мамы чувствовалось раздражение. Но Кукарача невозмутимо продолжал листать книжку. Найдя нужное место, он взглянул на маму.

- Вот, извольте, послушаем, что написано в этой благословенной книге... Садитесь, пожалуйста, молодой человек! - обратился он вдруг ко мне. Неприятное предчувствие вкралось в моё сердце, но я всё же сел. А Кукарача продолжал: Об умышленном уничтожении государственного имущества, выразившемся в варварском истреблении несозревших зелёных орехов, я пока умолчу. Начнём с менее тяжких преступлений... Так... Статья 175... «Незаконное занятие рыбным и другими добывающими промыслами». Так... Так... Вот! «С применением взрывчатых или отравляющих веществ... Наказывается лишением свободы сроком до четырёх лет»...

Кукарача закрыл книгу и посмотрел на меня.

Я понял всё и покрылся холодной испариной. Вот, оказывается, почему Кучико предупреждал нас держать язык за зубами. Я-то, дурак, думал из-за рыбки! Пропади она пропадом, рыбка, кому она нужна, мелюзга паршивая! Главное, оказывается, в том, как её поймает, рыбку-то! «Отравляющие вещества»...

Я взглянул на маму. Она сидела бледная как мел и не сводила с меня глаз. Я не выдержал и опустил голову.

- Ну, так что мне прикажете делать? - заговорил Кукарача. Конфисковать рыбу не удастся, это видно по губам преступника...

Мама быстро встала, схватила тарелку, на которой лежала одна единственная уцелевшая рыбёшка, и поставила её перед Кукарачей.

- Вот, пожалуйста! Надеюсь, до конфискации мебели и пианино дело не дойдёт... Что касается орехов, возьму вам очищенными... Вообще-то не думала я, что в Советском Союзе лов таких головастика карается по закону!

- Ни в коем случае, уважаемая Анико! Карается лов рыбы с применением взрывчатых или отравляющих веществ! А ежели удочкой пожалуйста, ловите себе на здоровье!

- Чем же вы ловили? - спросила меня мама. Я промолчал.

- Они истребили рыбу с помощью раздавленных зелёных орехов.

Мама подошла ко мне, взяла за подбородок.

- Это правда?

Я кивнул. Она схватила меня за ухо и вывернула его так, что мне захотелось выть, но я постеснялся Кукарачи и молча перенёс наказание.

- Конечно правда! - подтвердил Кукарача. Я же всё видел собственными глазами!

- Что же это вы! - обиделась мама. - Видели да молчали? И теперь пожаловали сюда читать нам мораль?

- Клянусь вам, Анна Ивановна, мне впервые довелось увидеть такое - глушить рыбу зелёными орехами! Засмотрелся я! А потом было уже поздно... Но что совсем уж плохо - ниже по течению погибла уйма мальков! Так что во всей этой истории я виновен не меньше вашего сына. Тяните меня за ухо! И он подставил маме голову.

- Чудак! - улыбнулась мама и вышла на кухню.

- Ну, ты понял всё? - обратился Кукарача ко мне. Я принёс тебе удочку. В следующий раз, когда соберётесь на рыбалку, возьмите меня с собой. А хочешь, сходим мы с тобой, вдвоем. Червяков найдём там же, под оградой зоопарка, там их полно, в навозе зебр. Вообще то эта рыба клюёт больше на муху. Вот так!.. Он встал, спрятал книжку и позвал маму: Анна Ивановна, конфисковывать оставшуюся рыбу не стоит, лучше уж я съем её! А если к тому же угостите меня стаканчиком вина, будет ещё лучше. Всё равно я уже сам прохожу по этому делу в качестве соучастника!

Мама тотчас же вынесла бутылку с вином, стакан и пригласила Кукарачу к столу. Сама уселась перед ним и опёрлась подбородком на сложенные руки.

- А хлеба?

- Спасибо, не нужно... Кукарача взял рыбку за хвост и отправил её целиком в рот. Замечательная рыба! Потом он налил себе в стакан вина, отпил, зажмурился от удовольствия, встал и произнес тост, который я запомнил на всю жизнь: Дорогая Анна Ивановна, когда вы вошли с вином и улыбнулись, вы так были похожи на мою маму... Спасибо вам за то, что вы напомнили мою мать!..

- Сколько тебе лет, Кукарача? - спросила мама.

- Двадцать два!

Значит, я старше тебя всего на восемь лет, чудак ты такой! - сказала мама и провела рукой по своим седым волосам.

- Извините меня... - смутился Кукарача и поцеловал маме руку. Мать вспыхнула и, неловко улыбнувшись, вышла из комнаты.

Растерянный Кукарача с минуту постоял, потом повернулся и быстро ушёл.

Кукарачу вызвал начальник милиции. Спустя пять минут лейтенант сидел за приставным столом в кабинете Давида Сабашвили.

- Ну, пришёл я. В чем дело?

- Слушай, когда ты научишься порядку? Что за «ну, пришёл»?! Как положено рапортовать начальству? «Товарищ майор! Лейтенант Тушурашвили по вашему приказанию явился!» Понял? - сказал Давид недовольно и отложил папку в сторону.

Кукарача вскочил, вытянулся, приложил руку к виску и начал:

- Товарищ майор...

- Да ладно уж, сиди!

Лейтенант сел.

- Станный ты человек, - проговорил он обиженно, - при посторонних я тебя чуть ли не генералом величаю... Хоть наедине-то могу поговорить с тобой по-человечески, как друг с другом?

- Дружба дружбой... Дома, на улице, в ресторане... Пожалуйста... А здесь, брат, служба!.. И так что ни день, то анонимка на меня в наркомате – Сабашвили-де окружает себя дружками да товарищами...

Давид закурил, протянул папиросу Кукараче.

- Не курю!

- С каких это пор?

- Со вчерашнего дня...

- Хочешь умереть здоровым? - улыбнулся Давид и погасил в пепельнице зажжённую только что папироску.

- Кто же на тебя жалуется?

- Да сволочь всякая, кому не лень и кто писать умеет!

- А ты бы сказал им: Что же вы, сволочи, хотите, чтобы я привёл в милицию да ещё вооружил незнакомых, чужих людей?!

- Легко тебе говорить, - махнул рукой Сабашвили, - ни забот, ни ума... На вот, прочти... Коллективное заявление... Проверь... Вызови девчонку... Поговори с ней...

Кукарача взял заявление.

«Начальнику Орджоникидзевской раймилиции г. Тбилиси т. Д. Сабашвили.

Жильцов дома № 137 по Кобулетскому подъему.

Коллективное заявление.

Сообщаем, что наша соседка Инга Лалиашвили ведёт распутный образ жизни. Курит. Из её комнаты в два, три, четыре часа ночи доносятся звон стаканов, похабные слова и песни. Она состоит в интимной связи с неоднократно судившимся неким Муртало (подлинные фамилия и имя неизвестны). Нам, конечно, неудобно, но интересы дела вынуждают повторить похабные слова и песни, которые мы слышим из этого гнезда разврата.

Слова: проститутка, падла, атанда, барыга, сука, шмон, хаза, мусор, дура (в смысле огнестрельного оружия) и т. д.

Песни: Гон, стоп, Зоя...

Судья сволочь, аферист,

Чтоб ты подавился!

За что срок мне припаял?

В чём я провинился?

и т. д.

Просим вас, пощадите если уж не нас, хотя бы наше будущее (в смысле детей), спасите от разврата и разложения.»

Под заявлением стояло восемь подписей одна из них красным карандашом. «Он и писал!» - подумал Кукарача и рассмеялся.

- Чего ржёшь?

- Да так...

- Не вижу ничего смешного! Эта самая Инга мне известна. Путается она с одним подонком. Ты знаешь его – Муртало *. Да вот никак не удаётся взять его с поличным, хитёр, мерзавец...

Разрешите идти, товарищ майор! - встал Кукарача.

- Иди... Ты тоже фрукт порядочный... буркнул Сабашвили и уткнулся в бумаги.

* М у р т а л о - воровская кличка. Дословно: подонок, грязный человек.

Инга дежурила. Около двенадцати часов ночи в аптеку вошёл среднего роста, ладно скроенный молодой мужчина с желтовато-землистым цветом и наглым, насмешливым выражением лица.

При первом же взгляде Инга прониклась антипатией к незнакомцу, однако, ничем не выдавая своего чувства, продолжала раскладывать пузырьки с лекарствами.

- Здравствуйте, девушка! - сказал незнакомец и опёрся локтём на полочку перед окошком выдачи готовых лекарств.

- Здравствуйте! - ответила Инга, не поднимая головы.

- Можно вас на минутку? - улыбнулся посетитель.

- Слушаю! - Инга подошла к окошку.

- Ты одна?

- Нет. Заведующий здесь. И главный провизор, - солгала Инга.

- Позови обоих! Это было сказано тоном приказа.

Если вы желаете готовое лекарство, я его отпущу сама, а если у вас рецепт оставьте, пожалуйста.

- Делай, что тебе говорят!

У Инги ёкнуло сердце. «И откуда его принесло на мою голову!» - подумала она. «Хоть бы зашёл кто-нибудь! То отбоя нет от посетителей, а то никого.»

Она посмотрела на дверь. Незнакомец проследил её взгляд, подошёл к двери и перевернул висевшую на ней белую картонную табличку.

- Вот так. «Аптека закрыта!» Шабаш! А теперь ступай за заведующим и провизором!

Инга направилась к кабинету. Незнакомец последовал за ней.

- Куда вы идёте?

- Провожу тебя!

Они вошли в кабинет. Комната была пуста.

- Ну? Где же они? - спросил незнакомец, прищурив глаза.

- Ушли... Я и не заметила... - проговорила Инга дрогнувшим голосом и опустилась в кресло.

- Вот и отлично! Теперь ты полная хозяйка.

- Что вам нужно? Скажите, наконец! - Лоб Инги покрылся холодной испариной.

- Морфий! - отрубил незнакомец.

- Что вы? Откуда у меня морфий? Он в сейфе... Без заведующего... Зайдите завтра... - Инга с трудом ворочала пересохшим языком.

- Для морфия нет «завтра»! Или сейчас же, или... - Инга перехватила мутный взгляд незнакомца и поняла, что перед ней убийца.

- Я позвоню... Спрошу... - Она дрожащей рукой подняла телефонную трубку.

Незнакомец сделал шаг и извлёк из кармана нож. Раздался щелчок, и из рукоятки ножа, словно змея, выскользнуло обоюдоострое лезвие. Вне себя от страха Инга хотела крикнуть, но не успела и пикнуть - незнакомец крепко зажал ей рот ладонью.

- Молчать! И не бойся! - Он одним взмахом ножа обрезал телефонный шнур.

- Ну? Где морфий?! Поторопись, девушка!

Словно во сне Инга подошла к стоявшему в глубине кабинета столу, открыла ящик, достала две ампулы с морфием и протянула их незнакомцу. Тот опустился в кресло, извлёк из кармана коробку с двухграммовым шприцем, ловким движением отбил головки у ампул, наполнил шприц морфием, потом закатал рукав на левой руке и мастерски ввёл иглу в вздувшуюся вену... Затем аккуратно уложил шприц в коробку, спрятал в карман, откинул голову назад и затих...

Расширенными от ужаса глазами взидала девушка на эту страшную процедуру. Несколько минут длилось в комнате молчание. Незнакомец не двигался. Вдруг он заёрзал в кресле, открыл глаза и прошептал:

- Пришло...

Инга невольно взглянула на дверь, но там не было никого.

- Наконец-то... Пришло... повторил незнакомец, и тут только Инга увидела в его глазах странную отрешённость, покой и наслаждение.

- Не желаете ли попробовать? - обратился незнакомец к Инге.

Она не отвечала. Оглушённая, ошарашенная всем происшедшим, наблюдала девушка изумительную перемену, происшедшую с человеком. А умиротворённый незнакомец продолжал:

- Вы не знаете, не представляете себе, что это такое... Хотите, прочитаю вам Гумилёва? Или Есенина? Может, предпочитаете Галактиона? А вы испугались... Стоило ли нервничать из-за такого пустяка?..

Он медленно встал с кресла, достал из внутреннего кармана пачку тридцати рублёвок, положил перед Ингой и направился к двери.

- Операция «Морфий» окончена. Можете спать спокойно. А меня вы не принимайте за морфиниста. Был морфинистом когда-то, признаюсь. Но потом покончил с этим. Теперь так, изредка... Находит иногда такая дурь... Между прочим, я знаю вас. Зовут вас Инга, живете по Кобулетскому подъёму, номер 137... Так вот, знайте, Инга: с сегодняшнего дня каждый ваш обидчик станет моим обидчиком, а мои обидчики... Они лежат на кладбище... Он обернулся и пристально всмотрелся в Ингу. Не двигайтесь. Вам бы в руки младенца, и были бы вы настоящей богоматерью... И он покинул аптеку.

В любви Инге Муртало не объяснялся. Круглый год зимой и летом каждое утро курдский парень Маратик приносил Инге от имени Муртало корзину свежих красных роз. В конце каждого месяца неизвестный безбородый, безусый мужчина приносил ей тысячу рублей.

- Калбатано, Муртало шлёт вам свой долг и извиняется за опоздание!

И, не дав Инге опомниться, таинственный посланец исчезал, как привидение.

Потом Инга стала замечать, что ребята квартала, постоянные её поклонники, при встрече с ней улыбаются какой-то неестественной, неловкой улыбкой и проявляют к ней преувеличенное уважение.

Инга стала неприкосновенной королевой квартала. А Муртало не показывался.

Вместе с необъяснимым страхом Ингой овладело чувство подсознательной силы, гордости и тягостного ожидания. Оно росло с каждым днём, и, чтобы избавиться от этого мучительного состояния, покончить с этой гнетущей неопределённостью, девушка сама стала искать встречи с Муртало.

Она начала с того, что отправилась к известной в квартале барыге Анжелике и рассказала ей всё.

Пятидесятилетняя женщина с морщинистой шеей и высохшей, дряблой грудью, выслушала девушку, выкурив подряд несколько папирос, долго кашляла, отдышавшись, подняла на неё полные слез глаза и спросила:

- А куда ты те деньги дела?

- Так они и лежат. Копейка в копейку.

- Двенадцать тысяч большие деньги...

- Как же мне быть?

- Надо истратить их!

- Я не об атом!

- О чём же?

- Что мне делать дальше? Как поступить?

- А-а-а... Скажу тебе прямо: в нехорошее ты впуталась дело...

- Ты посоветуй, как быть?

- Почём я знаю?! Ты девка красивая, ядрёная... Но высушит он тебя... И пока он жив, не даст никому насладиться твоим ароматом...

- Как же так? Есть ведь на свете закон, милиция, люди... Тюрьма, наконец?!

- Что тюрьма... Тюрьма для него что дом родной, а всего остального для таких, как он, не существует!

- И это твой ответ?

- Да.

- Значит, нет мне спасения?

- Нет, пока он сам не отстанет от тебя.

- Когда же это будет?

- Когда станешь пугалом вроде меня.

- Неужели нет иного выхода?

- Есть!

- Какой же?

- Должен умереть!

- Кто?!

- Один из вас двоих. Вот лучший выход!

- А если... Если устроить так... чтобы его... арестовали? - спросила осторожно Инга.
- На каком основании? Он в чём-нибудь провинился перед тобой?
- Н... н... нет.
- Так за что же его арестуют? За то, что он любит тебя? Если б людей сажали за любовь, сейчас половина человечества сидела бы в тюрьмах...
- Тогда устрой мне встречу с ним!
- Он сам придёт к тебе.
- Я не могу ждать!
- В таком случае ступай в Нахаловку, найди там Кола. -Анжелика встала, дав почувствовать Инге, что ей пора уходить...
- ...Разговор с нахаловским Колой оказался весьма коротким и лаконичным.
- Муртало? Да что вы, калбатано, Муртало очень передовой и благородный молодой человек!
- Вы не поняли меня. Где мне найти его?
- Чего не знаю, того не знаю... развёл руками Кола. Адрес его весь Советский Союз!
- Прощайте! - Инга встала.
- Дай вам бог здоровья!

Новый год Инга встречала в компании сослуживцев. Выпила несколько бокалов шампанского, много пела, много танцевала, много смеялась. Часам к трём ночи в отличном настроении вернулась домой, вприпрыжку поднялась по пяти ступеням своей лестницы, открыла дверь в комнату, скинула пальто, зажгла свет и... обомлела. За столом, уставленным разной снедью и бутылками шампанского, сидел Муртало. При появлении Инги он не встал, не поздоровался с ней - молча курил и улыбался.

Инга постепенно успокоилась. Первый страх уступил место чувству облегчения, граничащего с радостью. Человек, которого она разыскивала в течение всего года, сейчас сидел перед ней и взирал на неё покорными глазами.

- Появился наконец? - спросила Инга, присела на край тахты и сложила руки на коленях. Руки у девушки дрожали, и она прикрыла их подушкой.

Муртало молчал.

- Пришёл? - повторила Инга вопрос. В голосе её не было ни страха, ни неприязни - одно лишь любопытство.

Муртало кивнул. Потом ловко, без хлопка откупорил бутылку, разлил шампанское в бокалы, подождал, пока осядет пена, поднял бокал и обратился к Инге:

- С Новым годом, королева Грузии! Пусть хранит тебя святая дева Мария!

- Скажи-ка, как ты вошёл в запертую комнату?!

Муртало взял второй бокал и, обойдя стол, подал его Инге. Девушка не взяла его - она не хотела, чтобы Муртало увидел её дрожащие руки. Тогда он поставил бокал перед ней и вернулся к столу.

- Как ты сюда вошёл? - переспросила Инга.

- Ты забыла запереть дверь, - улыбнулся Муртало.

- Ничего подобного! Дверь была заперта! Я сама сейчас отперла её!

- Ну, я не знаю... Я пришёл, сказал: «Сим-сим, откройся!» И дверь открылась. Ей-богу! - Ответ Муртало прозвучал искренне, словно так оно и было в действительности.

- Теперь повтори те же слова и уходи!

Муртало промолчал.

- Что тебе нужно от меня? - спросила Инга.

- Ничего! - ответил Муртало спокойно.

- Ничего! Это мне нравится! Человеку, даже имени и фамилии которого я не знаю, который каждый день присылает мне корзину роз и каждый месяц тысячу рублей, человеку, который отвалил от меня всех моих знакомых мужчин, поставил под сомнение мою честь, этому человеку ничего от меня не нужно!.. Говори: кто ты, какая у тебя цель?!

- Я ничего у тебя не просил, - сказал Муртало тихо.

- Я тем более!

Инга встала, подошла к шкафу, выдвинула ящик, достала кипу денег и бросила их на стол перед Муртало. Тот даже не взглянул на деньги.

- Верни мне розы, если можешь, сказал он после долгого молчания.

- Как? - удивилась Инга.

- Как хочешь!

- Изволь! Завтра же!

- Триста шестьдесят пять корзин! Только красных роз, ни одной белой! - сказал Муртало и опорожнил бокал.

- Я их не просила... Розы увяли. Нет их. А деньги вот они! Все двенадцать тысяч! Я их не трогала. На, бери!

- Деньги - мёртвая бумага... Розы были живые...

- Я твоих намёков не понимаю! Забирай свои деньги и уходи!

- Выпей за моё здоровье, и я уйду!

- Говорят, что ты вор, убийца, морфинист и вообще подлец!

- Говорят, - согласился Муртало.

- Кто же ты?

- Вольный человек, делаю, что хочу, как хочу и когда хочу.

- Сколько тебе лет?

- Тридцать.

- Почему все боятся тебя?

- Потому что я не боюсь никого.

- Как бы ты поступил, если бы я отказала тебе тогда... В аптеке? - спросила Инга.

- Убил бы тебя! - ответил Муртало, не поднимая головы.

- А теперь?

- Теперь, если ты прогонишь меня, я убью себя...

- А меня?

- Тебя нет.

- Врёшь!

Муртало достал из кармана наган, положил на стол. Ингу пробрал мороз по коже.

- Угрожаешь?

- Нет, клянусь тобой!

- Врёшь! - повторила Инга, подходя вплотную к Мурталу.

- Хочешь, ты убей меня!

- Знаешь, что я не в состоянии сделать это, поэтому и петушишься!

- Попробуй! За моё убийство ничего тебе не будет. Могут даже наградить!

- Много ты воображаешь о себе!

- Наоборот!

- Ладно! Уходи! Хватит тебе паясничать!

- Скорее умру, чем покину тебя!

Муртало снова наполнил свой бокал.

- Закричу! - пригрозила Инга, хотя отлично сознавала, что не вымолвит ни слова. – Закричу, прибегут соседи!

- Сколько их у тебя?

- Двадцать! - солгала девушка.

- Значит, вынесут отсюда двадцать трупов! - Муртало отпил глоток шампанского.

- Сколько же на твоём счету убитых? - Голос у Инги дрогнул.

- Не считал. Столько, сколько их заслужило смерти...

- Не по нутру мне твоя бандитская философия. Говорю тебе, уходи отсюда!

- Не старайся, Инга... Я ведь не в карты тебя выиграл... Ты для меня божий дар!

- Завтра же заявлю в милицию!

- Вот напугала! - рассмеялся Муртало.

- Неужели ты действительно ничего не боишься?

- Боялся одного: уйти из жизни без любви... Теперь я этого не боюсь... Теперь я счастливейший человек, и мне уже безразлично, когда умереть что сегодня, что завтра...

Не успел Муртало договорить, как Инга размахнулась и закатила ему звонкую пощёчину.

- Нахал ты! Мерзавец! Убирайся вон сейчас же! Не позорь меня! Кругом люди живут!

Муртало не двинулся с места, только побледнел.

- Люди? Люди - толпа. Завтра они будут валяться у тебя в ногах, объявят тебя, как Марию Магдалину, святой...

Доведённая до бешенства Инга ударила Муртало кулаком в лицо. Ударилась сильно. Хлынувшая из носа Муртало кровь залила скатерть. При виде крови девушка вздрогнула. Она инстинктивно бросилась на кухню, смочила полотенце водой, вернулась в комнату. Муртало по-прежнему сидел за столом, и кровь по-прежнему капала на скатерть. Инга приложила полотенце к его лицу. Губы Муртало прижались к руке девушки, и, к своему удивлению, она не отняла руку.

До рассвета горел свет в комнате Инги. Утром, когда прикорнувшая на тахте в праздничном платье девушка проснулась, комната была пуста. И ничего, кроме пятна на скатерти, не напоминало о страшном и странном ночном госте...

Две подвальные комнаты в доме тёти Марты занимал Моисей Шаптошвили. Здесь жила его семья: жена Ревекка и четырнадцатилетний сын - рыжий, веснушчатый Исхаак. Здесь же была оборудована красильня.

Расчёты с заказчиками вёл Моисей, производственная же деятельность красильни целиком и полностью направлялась Ревеккой и Исхааком.

Работа в красильне кипела вовсю. Дела шли отлично. И все были довольны. Когда по утрам Ревекка развешивала на солнце ночную продукцию и когда разноцветные сорочки, платки, косынки, фартуки, чулки, носки, детские платица, полотенца и другие предметы домашнего обихода начинали развеиваться и хлопать на ветру, дворик тёти Марты напоминал празднично убранный небольшой парусник, бегущий по морским волнам. Владелец, капитаном и рулевым этого парусника был Моисей Шаптошвили. Служили на паруснике и матросы. И капитан аккуратно платил им... конфетами. А платил за то, чтобы они не выводили на пёстрых парусах разные непристойные слова и рисунки. Вы, конечно, догадались, что этими матросами были мы - дети квартала.

Да, казалось, жизнь Моисея Шаптошвили течёт как по маслу и производство его работает как часы. Но в то лето, когда Исхаак, трижды подряд просидевший в четвёртом классе, наконец-то перешагнул в пятый, в ходе этих часов произошёл перебой и в их мелодичный бой вкрались тревожные звуки.

Какой-то грешник (или грешница) сообщил по секрету Ревекке, что муж её, Моисей, давно крутит шашни с некой Ангелиной из Сванетского квартала, что половину своих доходов он несёт к ней, и что в то время, как она, Ревекка, ходит в перелицованном драповом пальто, Ангелина щеголяет в каракулевой шубе.

Ревекка молча проглотила пилюлю. Но, проснувшись однажды утром, наш квартал ахнул: вывешенные во дворе тёти Марты сорочки, платки, косынки, фартуки, чулки, носки, детские платица и другие предметы домашнего обихода оказались окрашенными в цвет траура! На кораблике Моисея Шаптошвили развеивались чёрные паруса!

Вернувшийся из города Моисей сперва не поверил глазам. Он внимательно осмотрел диковинную галантерею, пощупал ее, взглянул на почерневшие ладони, потом подозревал нас.

- Тамаз, дорогой, какого цвета эта рубашка?

- Чёрного, дядя Моисей!

- Гизик, хочешь мороженое? Скажи мне правду!

- Чёрного! Ей богу, черного!

- Дуду, они разыгрывают меня, да? - ухватился Моисей за соломинку.

- А ты не выпил, случайно, дядя Моисей?

- Бродзели, скажи хоть ты правду, какого цвета моя мануфактура?

- Да ты что, дядя Моисей, ослеп?

- Ревекка-а-а! - взвыл тогда Моисей, заколотив кулаками по голове. - Душегубка!

Подвал безмолвствовал.

Моисей скатился вниз по ступенькам и забарабанил в запертую изнутри дверь.

- Вылазьте, ироды! Покажитесь, кровопийцы! Оболью вас керосином, спалю всё к черту!

Прибегнув к помощи ног, Моисей наконец преодолел сопротивление дубовой двери, и тут-то в подвале разыгрался ад почище дантовского - крики, вопли, стенания, проклятия... Двор заполнился народом, но охотников впутаться в это нечистое дело не находилось.

- Позовите Кукарачу! - сообразил кто-то.

Спустя пять минут лейтенант ворвался в подвал. А ещё через минуту раздался душераздирающий вопль Моисея:

- Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь!

И всё стихло.

Потом из подвала вылез Кукарача с Моисеем под мышкой. В одной руке капитана парусника был зажат клок огненно-красных волос Исхаака, в другой половина иссиня-чёрной шевелюры Ревекки.

Не выпуская из-подмышки Моисея, Кукарача вернулся в милицию. Потом во двор выкарабкались помятые домочадцы капитана. Они молча убрали чёрные паруса и так же молча убрались восвояси.

Вечером в сопровождении Кукарачи вернулся Моисей - ниже травы, тише воды. Они спустились в подвал. Что там произошло, какие состоялись переговоры неизвестно. Ни только вскоре из подвала донеслась песня в четыре голоса. И до самого утра кахетинский «Мравалжамиер» сменялся тбилиским «Баяти», мегрельская «Арира» гурийским «Криманчули»...

- Талисман, что ли, у этого Кукарачи? Уму непостижимо! - сказала удивлённая мама и захлопнула балконное окно.

Увы, эпопея с чёрными парусами на этом не закончилась. С того памятного вечера Моисей превратил двор тёти Марты в арену цирка и почти каждый день устраивал представления.

Он возвращался домой вдрызг пьяный, спускался, волоча ноги, в свой подвал, и спустя пять минут начиналось столпотворение:

- Значит, таскала Ангелину за волосы, да?.. Значит, облила её каракулевою шубу серной кислотой, да?..

Или:

- Значит, говоришь, Ангелина не фельдшерица, а шлюха, да? К больным, говоришь, в постель лезет, да?.. А сама ты кто? А? Отвечай, стерва!..

И в ответ мольбы и причитания ползавшей на коленях Ревекки:

- Не надо, не надо, Мосе-джан! На, вот нож! Зарежь меня! Убей!

- Папик, не трожь маму, папик! Не трожь, говорю, а то... грозился скрывавшийся за спиной матери Исхаак.

Потом появлялся Кукарача, и вмиг Моисей превращался в ягнёнка.

Однажды в воскресенье буйство Моисея превзошло все ожидания. Он выволок Ревекку на середину двора, содрал с неё платье и стал избивать поясным ремнём.

- Значит, кофту на Ангелине оборвала, да?.. Лиф с неё содрала на улице на радость мужчинам всего квартала, да?.. Вот тебе! Вот тебе! Ещё раз!..

Исхаак с камнем в руке бегал вокруг отца и пищал:

- Папик, не трожь маму, а то!.. Не трожь, а то!..

Моисей на мгновение повернулся и дал своему отпрыску такого пинка, что тот отлетел метра на два и ткнулся головой в землю.

- Люди добрые, анафемы, звери, нет у вас бога?! Помогите! Позовите Кукарачу! - взывала Ревекка. И, словно вняв её призыву, во дворе появился Кукарача.

Но тут свершилось чудо: Моисей не подчинился лейтенанту!

- Не подходи! Убью! - крикнул он и переложил в руке пояс с тяжёлой металлической пряжкой.

- Брось пояс! - приказал Кукарача.

- Говорю тебе, не подходи! - повторил Моисей угрожающе и замахнулся поясом. Пряжка просвистела у самого виска лейтенанта.

Кукарача отступил.

- Не бери греха на душу! Подойдёшь, убью! - предупредил Моисей, продолжая размахивать поясом.

Кукарача осторожно сделал шаг вперед, но увернуться от пояса не сумел. Тяжёлая пряжка рассекла ему скулу. Брызнула кровь. Женщины завопили. Кукарача скрипнул зубами. А Моисей, увидев кровь на лице лейтенанта, словно обезумел. Он замахнулся ещё раз, и снова пряжка угодила Кукараче в лицо. Что было потом затрудняюсь описать. Всё произошло во мгновение ока. Лейтенант схватил Моисея, подбросил в воздух и нанёс ему один единственный удар в челюсть. Моисей грохнулся у ног Ревекки, да так и остался лежать, не подавая признаков жизни.

Кукарача опустился на колени перед поверженным Моисеем, пощупал его челюсть, приложил ухо к груди, потом расстегнул ему воротник и потребовал воды. И тут же Ревекка, схватив валявшуюся во дворе толстую подпорку для белья, изо всех сил опустила её на голову лейтенанта. Кукарача покачулся.

- Убил его?! Убил кормильца семьи?! Ты будешь кормить несчастного сироту?! Умри, убийца? И Ревекка замахнулась подпоркой во второй раз. Но Кукарача отнял у неё палку и забросил её в конец двора.

- Поделом мне! - проговорил он, вытирая платком окровавленное лицо.

- Убил моего Моисея?! Убил кормильца?! - Ревекка вновь бросилась к Кукараче с камнем в руке.

- Да уймите же её! - крикнул Кукарача, вырывая у Ревекки камень.

Потом он взял принесённое кем-то ведро и окатил водой Моисея. Тот застонал, затем зашевелил веками, наконец открыл глаза и приподнял голову.

- На, забирай своего благоверного и будь счастлива с ним! - сказал Кукарача Ревекке, швырнул на землю пустое ведро и вышел со двора.

Ревекка и Исхаак бросились к Моисею и завопили в один голос:

- Очнулся! Очнулся наш дорогой, наш кормилец, наша надежда, наша радость!.. Пусть отсохнет ударившая тебя рука! Пусть онемееет проклявший тебя язык!.. Заведи себе тысячу любовниц, солнышко наше, только не лишай нас своего ангельского голоса!.. Скажи нам хоть слово, радость наша!.. Одно только слово!..

Моисей и сам был бы рад ответить своим домочадцам, да не мог. Кукарача если бил, то бил наверняка...

Кукарача с изувеченным лицом сидел в кабинете Сабашвили и прикладывал к ранам мокрый носовой платок.

- Слушай, Тушурашвили, сколько раз я говорил тебе - кончай с собственными инициативами?! - покачал головой начальник милиции.

- О какой инициативе ты говоришь? - поморщился Кукарача. Сами же они умоляли меня спасти их! - Этот болван Моисей бил их смертным боем!

- Не знаю, кто кого бил... - улыбнулся Сабашвили, взглянув на опухшее лицо лейтенанта.

- Кто мог подумать, что я же окажусь в роли пострадавшего? - Кукарача хотел встать, но, почувствовав боль в пояснице, остался сидеть.

Сабашвили нажал кнопку электрического звонка. Вошла молоденькая секретарша.

- Слушаю.

- Принеси-ка, пожалуйста, этому красавчику твоё маленькое зеркальце!

Девушка прыснула, быстро прикрыла рот рукой и вышла.

- Издеваешься? - хмыкнул Кукарача.

- Нет. Хочу посоветоваться с тобой по одному вопросу. Нужно твоё согласие.

Сабашвили начал что-то писать.

Секретарша принесла зеркальце. Кукарача посмотрел в него.

- Ну, как? Хорош? - спросил Сабашвили.

- Ничего. Но ему досталось не меньше! - ответил в сердцах Кукарача.

- Как, по твоему, когда заживет?

Кукарача пожал плечами.

- А всё же?

- Ну, недели через две, наверное... Пряжка-то металлическая...

- А дней десять не хватит? - переспросил Сабашвили.

- Нет. Минимум пятнадцать! - ответил категорически Кукарача.

- Подумай как следует! - Сабашвили продолжал писать.

- Чего ты пристал? Мне-то лучше знать! - обиделся Кукарача.

- Ладно, пятнадцать так пятнадцать, пусть будет по твоему. Отсидишь эти пятнадцать суток на гауптвахте!

- Это ещё почему? - вскочил Кукарача, забыв о боли в пояснице.

- Десять на приведение в порядок твоей побитой морды, пять за хулиганство.

- Нет, значит, в мире справедливости?!

- Вот именно, во имя справедливости отсидишь пятнадцать суток! На вот, возьми, Сабашвили протянул лейтенанту листочек бумаги. Отдай сам секретарше, пусть отпечатает сейчас же, это приказ о твоём аресте.

Кукарача направился к двери.

- погоди! Дай-ка оружие. Пусть лежит у меня в сейфе.

- Ух, Моисей, была бы моя воля!.. - Кукарача достал из внутреннего кармана пистолет и положил его перед Сабашвили.

- Не огрызайся! Пятнадцать суток пройдут быстро... О лекарствах и пище позабочусь лично, обнадёжил Давид Кукарачу.

Лейтенант ушёл. И на пятнадцать дней квартал лишился своего инспектора...

А Моисей? Моисей с металлическими фиксаторами на челюсти месяц пролежал в Михайловской больнице, и в течение этого месяца дражайшая его супруга трижды в день кормила его с серебряной ложки рисовой кашей.

Выписавшись из больницы, Моисей на старую квартиру уже не вернулся. Красильня, а с ней и цирковые представления с участием Моисея и его домочадцев были упразднены.

Мы скатились вниз по тропинке вдоль правого устоя моста имени Челюскинцев и спустя пять минут были на берегу Мтквари.

В Тбилиси стояла адская жара. Над берегом колыхалось знойное марево.

Мы быстро разделись и бросились в воду. Кучико - старший среди нас, плавал отлично. Я, Дуду и Ирача не отставали от него. Лишь Костя-грек, недавно научившийся плавать, смешно барахтался в воде, размахивая руками и поднимая вокруг себя фонтаны брызг.

- Ну, как я плаваю? - обратился он к нам.

Утром при умывании надевай на себя спасательный круг, иначе утонешь! - посоветовал ему Дуду.

- Ну, айда на тот берег! Кто может за мной! - крикнул Кучико и поплыл.

После продолжительной засухи уровень воды в Мтквари был значительно ниже обычного, поэтому мы смело последовали за Кучико. Достигнув середины реки, я оглянулся и вскрикнул: за мной плыл Костя-грек! Зарывшись головой в воду, он бил руками и ногами с таким остервенением, словно дрался сразу с девятью противниками. Я сообразил, что упрёками и выговорами мог лишь напугать его, поэтому крикнул бодро:

- Давай, Костя, жми! Я здесь!

Костя приподнял голову и тут же скрылся в воде. Я успел перехватить его умоляющий взгляд, увидеть его перекошенное от испуга лицо и понял, что он тонет.

- Э-е-ей, ребята, помогите-е-е! - заорал я. - Костя то-о-о-нет!

- Где-е-е? - отозвался сразу же Кучико и повернул обратно, но Кости уже не было видно.

- Нырятьте! - крикнул Кучико, и нырнул сам.

Костя исчез. Мы неслись вниз по течению и уже доплыли до места, где вода была мельче, и мы могли стоять на ногах. И вдруг шагах в десяти от себя мы увидели Костю. Его голова на мгновение показалась из воды, раскрытым ртом судорожно глотнула воздух и вновь скрылась.

- Вот он! Помогите-е-е! - заорали мы вместе.

- Держитесь! услышали мы чей-то громкий голос и увидели человека, пробивавшегося по горло в воде. Он настиг Костю, схватил его, прижал к груди, упал, на миг скрылся под водой вместе со своей ношей, но тут же поднялся, подхватил Костю и стал медленно, шаг за шагом приближаться к берегу.

- Кукарача! вырвался у нас изумленный крик. Помогите, Кукарача!

- Помогите мне сами, бродяги! Я же не умею плавать!

Но опасность ему не угрожала. Через несколько минут мы благополучно добрались до берега. Не переводя дыхания, Кукарача ухватил Костю за ноги, поднял его и выкачал из него ведро воды. Потом он уложил незадачливого пловца на гальку и сам уселся рядом с ним. Мы расположились вокруг.

Прошла минута, другая, третья... Костя застонал, зашевелился и открыл глаза.

- Очнулся, герой? Ну, как ты? - спросил Кукарача.

Узнав лейтенанта, Костя в испуге зажмурился и громче застонал.

- Это я! Взгляни-ка ещё раз! - Кукарача пальцем оттянул веко Кости. - Узнаёшь?

Костя молчал. Кукарача встал, снял пояс, расстегнул воротник. Мы, как по команде, стали одеваться.

- Отставить! - приказал Кукарача. Мы беспрекословно подчинились. Он собрал в кучу нашу одежду. Становись по росту!

- Кукарача, отдай хоть трусы! - заскулил Кучико.

- Я кому сказал!

Прикрываясь руками, мы выстроились в шеренгу: Кучико, затем Ирача, Дуду, я. Костя-грек всё ещё лежал навзничь. Оберегая его мозги от солнечного удара, Кукарача накинул ему на голову чью-то рубашку. Потом уселся на большой валун и окинул нас критическим взглядом.

- Кто из вас самый авторитетный осёл - выходи! - распорядился он.

К кому относилась эта лестная характеристика, отлично понимал каждый из нас, и лучше всех сам Кучико. На всякий случай он покосился на нас, авось найдётся желающий первенства, но не найдя такового, нехотя приблизился к Кукараче.

- Опустите руки!

Кучико смутился, покраснел, но послушаться не посмел. У Кукарачи дрогнул в улыбке уголок рта, словно он отгонял муху. Он протянул Кучико ногу.

- Ну ка, помоги скинуть сапог!

Кучико, ожидавший разноса, а может быть, и чего-либо похуже, стремглав бросился выполнять приказание лейтенанта и стал стягивать сапог с его ноги с таким рвением, что вместе с сапогом опрокинулся назад. Вскочив, он тут же ухватился за второй сапог.

- Полегче, медведь, ногу оторвёшь! - рассмеялся Кукарача.

Мы вздохнули с облегчением - «пронесло!».

Кукарача скинул гимнастёрку, извлек из её кармана три слипшиеся трёхрублевые бумажки, осторожно отделил их друг от друга, разложил на камнях и прикрыл сверху камушками. Затем вынул из другого кармана размокшее удостоверение, развернул, с сожалением покачал головой, положил его рядом с трёхрублевками и пробормотал про себя:

- Разберись теперь, кто ты такой - Тушурашвили или Чибурданидзе! Потом прикрикнул на нас: Чего рты разинули? Выжмите гимнастёрку! И вот это! И он бросил нам брюки, а сам стал выжимать майку.

Мы готовы были выжать одежду всего населения Тбилиси, лишь бы задобрить лейтенанта.

- Осторожно! Порвёте, чего доброго! Думаете, мне выдадут новую форму?

Потом Кукарача извлёк из кобуры наган, высыпал патроны и разложил их по одному на камнях. У нас спёрло дыхание. Патроны! Настоящие! Я запомнил навсегда - их было семь штук, продолговатых, с тупыми головками, и из каждого из них угрожающе смотрела смерть.

Кукарача продул наган, положил его рядом с патронами и обернулся к Косте.

- Ну, как теперь? Полегчало?

- Хорошо! - ответил Костя и приподнялся.

- Лежи пока! А вы, - Кукарача обратился к нам, - становитесь в шеренгу!

Считая инцидент исчерпанным, мы охотно выстроились в ряд.

Кукарача поджал под себя по-восточному ноги, опёрся руками о колени и, сощурив глаза, уставился на нас.

- Ну-ка, герои, кто из вас первый надумал купаться в Мтквари?

Разумеется, никто из нас не был способен на предательство, но невольно мы взглянули на Кучико.

- Значит, ты?

Разоблачённый Кучико понурил голову.

- Так... Значит, Вере вам уже не хватает? Сегодня вам захотелось Мтквари, завтра захочется Чёрное море, послезавтра Дарданеллы, затем Босфор, потом Средиземное море, потом... как этот пролив называется?

- Гибралтарский... - пробормотал я.

- Гибралтарский. А потом Атлантический океан. Так?

- Можно и в Индийский океан, через Суэцкий канал, - подсказал Ирача новый вариант.

- Заткнись, второгодник несчастный! - рявкнул на него Кукарача. - Тоже мне нашёлся Магеллан!.. Подойди ко мне! - приказал он Кучико и встал.

Кучико приблизился к Кукараче. Остальное произошло так быстро и неожиданно, что Кучико не успел опомниться: Кукарача влепил ему правой рукой звонкую пощёчину.

- Чего дерёшься?! Отец ты мне или кто? - взвыл Кучико.

- Поговори у меня!

- Да что, в самом деле, уже и купаться нельзя? Вере разве река? Всю кожу ободрал на коленях!

Кукарача пропустил протест Кучико мимо ушей.

- Следующий!

Ирача воспользовался наглядным примером и, как только приблизился к Кукараче, тотчас же закрыл рукой левую щеку. И тут же Кукарача закатил ему оплеуху левой рукой. Ирача дважды повернулся вокруг собственной оси, однако у него хватило ума молча вернуться на свое место.

- Всех будешь бить? - спросил тихо Дуду.

- А как же? Не могу ведь я поступить не по справедливости!

Дуду вышел, не ожидая приказа.

- Раз ты такой дисциплинированный и покорный, я ограничусь меньшей мерой наказания! Кукарача схватил ухо покорного преступника и вывернул его так, что лично я предпочёл бы две пощёчины.

Настала моя очередь. Кукарача сам подошёл ко мне.

- Мать знает, где ты?

- Нет.

- Так получай!

Я покачнулся, но удержался на ногах.

- Больно? - спросил Кукарача.

- Больно, - признался я, - ударь ещё раз, только не говори маме...

Кукарача взглянул на меня, хмыкнул. Потом подошёл к Косте. Тот закрыл глаза и затаил дыхание.

- Ты, болван! Куда ты лез, если не умел плавать? А? Скажем, утонул бы я... Из-за тебя, учти! Ладно, чёрт со мной!.. Ну, а если утонул бы ты? Ты подумал об этом? Что бы мы сказали твоим родителям? Чем бы мы утешили их? А? - Кукарача побледнел, голос у него прервался. Он сел, швырнул нам одежду. Мы схватили свои манатки и собрались бежать.

- А его? Кому вы оставляете эту подводную лодку? Кукарача ткнул Костю кулаком в бок. Забирайте его и сдайте на руки родителям. Да поживее, пока я сам его не утопил!

Костя оделся быстрее всех нас.

- Вы не пойдёте? - спросил Кукарачу вежливо Кучико.

Тот выразительно взглянул на свои мокрые доспехи, и Кучико, поняв, что сморозил глупость, быстро повернулся и пошёл. Мы последовали за ним, как цыплята за наседкой.

Вдруг мы услышали голос Кукарачи:

- Ребята, вы уж не обижайтесь на меня... Служба есть служба... И ещё... Просьба у меня к вам... Небольшая просьба... - Мы в недоумении переглянулись, просьба к нам? У Кукарачи? - А он продолжал: Не рассказывайте никому, что я... Что я не умею плавать... Ладно?

Мы вскарабкались по откосу правого устоя моста и стали подниматься по Варазисхевскому подъёму.

Тому, что я, сын строгой, казалось бы, больше некуда матери, курил, удивляться не приходилось. В нашем квартале тайком от родителей курили почти все мои сверстники. Удивительным был тот факт, что курить нас научила Цаца Барамия, соседка, деревенская девочка, моя ровесница, проживавшая у родственников на правах домработницы. А девочку, в свою очередь, обучил этому весьма полезному занятию обожавший её дед Иван Пирцхалава в Носири *. Каждый раз, когда у нежившегося на циновке под ореховым деревом Ивана потухала трубка, он, оказывается, окликал любимую внучку:

- Цаца, о Цаца!

- Патени! **

- Кумомиги, дзгаби, дачхири! ***

* Н о с и р и - название села в Западной Грузии, Мегрелпи.

** Слушаю! (мегрел.).

*** Принеси-ка, дочка, огня! (мегрел.).

Цаца несла огонь. Трубка снова потухала. На сей раз дед вручал внучке трубку иди, мол, раскури сама. И девочка раскуривала трубку. Так бедная Цаца приучилась курить. И так получилось, что нас, мальчиков озорников, сорвиголов, жуликов, мошенников и прохвостов пристрастила к курению честнейшая и добрейшая девочка Цаца Барамия.

В те годы отношение общества к подросткам курильщикам было таким же, как, скажем, к наркоманам. Поэтому можете представить себе положение моё, Дуду, Ирача, Кости-грека и Кучико, когда мы, накурившись до одури у забора тёти Марты, были застигнуты врасплох Кукарачей.

Не знаю, что в этот миг почувствовали другие ребята, лично для меня померкло солнце, разверзлась земля, иссяк воздух. Кулак с зажатой в нём папироской я врыл в землю, проглотил дым вместе со слюной и, задыхаясь, уставился на онемевшего от изумления лейтенанта. Прошла минута, показавшаяся мне вечностью. Наконец Кукарача обрёл голос:

- Что... Что вы делаете?.. Губите себя? Хотите, чтобы сгнили ваши лёгкие и высохли мозги? Роете себе могилу? Решили умереть? Сдохнуть? Так скажите мне! Вот! Он достал наган. Зачем обрекать себя на медленную смерть? Раз два и готово!.. Как мне теперь быть? Перестрелять вас или застрелиться самому?

Словно поражённые громом, взирали мы на Кукарачу, боясь шевельнуться, вымолвить слово. Мы ждали бури, урагана, потопа. Но ничего этого не произошло. Кукарача спрятал наган, повернулся и ушёл...

Раз десять звонил в тот вечер звонок в нашей прихожей, и столько же раз у меня обрывалось сердце. Наконец, когда я решил, что сегодня уже землетрясения не будет, раздался одиннадцатый звонок, и я понял, что это был Кукарача.

Я не смог даже встать со стула. Дверь открыла мама.

- Добрый вечер, Анна Ивановна!

- А, Кукарача! Милости просим! Заходи, присаживайся!

Я почувствовал, что началось действие вулкана, и встал, чтобы до его извержения успеть исчезнуть из комнаты, из дома, из города и вообще из жизни.

- Сиди! - сказала мама. - Ты, конечно, по делу? - обратилась она к Кукараче, который держал в руке толстенную книгу.

Лейтенант взглянул на меня.

- Что, опять он травил реку? - спросила мама.

Кукарача опустил глаза.

- Ограбил банк?

Кукарача молчал.

- Убил человека? - В голос мамы вкралось раздражение.

Кукарача понял, что настал критический момент, и положил книгу на стол.

- Что это?

- Это, Анна Ивановна, Большая Советская Энциклопедия. С вашего позволения, хочу ознакомить вас с одной статьёй.

- Зачем же ты утруждал себя? У нас энциклопедий хоть пруд пруди! Мама показала на забитый книгами шкаф.

- Мда-а... Не сообразил, улыбнулся Кукарача.

- Это касается меня или обоих?

- Скорее его, но ваше присутствие также желательно.

Мама села и приготовилась слушать. Кукарача кашлянул в кулак.

- Ну, ждём, просвети нас! - подбодрила его мама.

- Никотин! - начал Кукарача и сделал паузу. Мои и мамины взгляды на миг встретились, и мне показалось, что глаза мои пронзило раскалёнными иглами. Я опустил голову и зажмурился. Словно сквозь сон доносился до меня голос Кукарачи:

- Никотин... Французское слово Nicotine, от имени французского дипломата Ж. Нико, который первым ввёз в 1560 году табак во Францию... При курении табака никотин проникает с дымом в дыхательные пути и, всасываясь, действует на узлы нервной системы... Действие никотина двухфазное: в малых дозах возбуждающее, в больших угнетающее и ведущее к параличу нервной системы, остановке дыхания, прекращению сердечной деятельности. Никотин один из самых ядовитых алкалоидов: несколько капель его при введении человеку могут вызвать смерть...

Кукарача умолк.

- И что же? - спросила мама после долгого молчания.

- Чего вам больше? Про похоронные расходы здесь не говорится, - попытался Кукарача сострить.

- Я не про это. Что сделал ты, застав его за курением?

- Я?... А что я мог сделать? - растерялся Кукарача. - Вот, пришёл к вам...

- Он был один?

- У тех я уже побывал. И даже взял расписки.

- Какие расписки?

- Вот, пожалуйста...

Кукарача извлёк из кармана сложенные вчетверо листки ученической тетради и развернул один из них.

«Я, Дуду Доборджгинидзе, даю пионерское слово, что никогда в жизни не буду не только курить, но даже смотреть на папиросы. Клянусь мамой, папой и всеми.»

Кукарача сложил и спрятал листок.

- Осталось теперь взять расписку от нас, и борьба с никотином закончена, да? - спросила мама, не скрывая иронии. Потом она встала и направилась ко мне. Я даже не сдвинулся с места, хуже того, что уже произошло, случиться не могло. Мама закатила мне пощёчину, против которой пощёчины Кукарачи на берегу Мтквари показались мне детской лаской.

- Что вы делаете! Кукарача схватил маму за руку.

- Отстань! Я знаю, что делаю! - Мама попыталась отстранить Кукарачу.

- Что вы, Анна Ивановна, как можно! Если б помогали пощёчины, то я сам...

- Кто же это?... Кто меня погубил? - спросила глухо мама.

Я-то знал, как ответить на этот вопрос, но одно моё слово сейчас было бы равносильно моей смерти.

- Кто? Вы сами, Анна Ивановна, - сказал Кукарача спокойно.

- Что?!

- Установлено, что, как правило, курить начинают дети родителей курильщиков, - так же спокойно произнёс Кукарача.

- Значит, перевоспитать следует меня? Так, что ли? Может, написать расписку «Я, Анна Ивановна Бахтадзе, даю пионерское слово...».

- Зачем же вы так, Анна Ивановна? - прервал маму обиженный Кукарача. - Энциклопедию составлял не я, и табак в Грузию завезён не мною... Извините...

Мама опешила, покраснела, быстро повернулась и вышла из комнаты. Не знаю, рассердилась она или ей стало стыдно. Скорее последнее. Кукарача понял, что оставаться ему у нас не стоит. Он взял энциклопедию под мышку и направился к двери. Здесь он остановился, взглянул на меня, и на лице у него появилось выражение, похожее на раскаяние. Я опередил его:

- Шпион ты, Кукарача, шпион! Милтон несчастный! Ненавижу тебя!

Словно гора свалилась с моих плеч - я высказал Кукараче то, что думал о нём в ту минуту.

Я увидел, как покрылось смертельной бледностью смуглое лицо Кукарачи...

Овощной ларёк борчалинского колхоза имени Махарадзе находился на краю Варазисхеви, рядом с нашим домом. Весь персонал ларька состоял из двух азербайджанцев Али и Ибрагима. Нам нравилось, как они смешно коверкают грузинский язык.

- Ты, малшик, очен хатиш, штобы тебе пабит, да? - беззлобно угрожали они нам, уличив в попытке стащить с прилавка семечки подсолнуха или сушёные сливы.

Ларёк торговал всем, что имелось в колхозе, начиная с винограда и вина, и кончая арбузами, иногда даже мясом, так что маме почти не приходилось ходить на базар.

Старший, Али, был примерно в возрасте моего отца, Ибрагим моложе, лет семнадцати - восемнадцати. Он немного косил, и Али, бывая в дурном настроении, называл его «косой сукинсин».

Сейчас мне трудно сориентироваться в ценах того времени, но помню отлично: на рубль Али давал мне столько зелени, что она не умещалась на нашем кухонном столе. И ещё говорил:

- Малшик, ты скажи свой мама Али сдачи не имел, следующи раз отдал всё сразу...

Мама называла Али и Ибрагима жуликами, но поддерживала с ними доброе знакомство. К нам, ребятам, они относились хорошо, нередко угощали нас и семечками, и абрикосами, и сливой.

В середине июля Али и Ибрагим привозили полный фургон арбузов и дынь и сваливали их кучей перед ларьком. А потом Ибрагим весь день без передышки расхваливал свой товар:

- Кому борчалинский харфуз и дынь на разрез! Сладкий харфуз! Вах вах вах, какой дынь!

От покупателей не было отбоя. Но меня прельщали не арбузы и не дыни. С утра до вечера торчал я у ларька и как замороженный смотрел на красовавшийся за поясом Ибрагима кривой турецкий нож с чёрной рукояткой, которым он делал пробные разрезы на арбузах. Не было для меня на свете вещи более красивой и более желанной, чем этот нож, он преследовал меня во сне и наяву.

Был понедельник, 13 июля, день каверзный и подлый. Мама послала меня за зеленью. Я подошёл к ларьку и увидел его предмет моих вожделений и мечты! Ибрагим и Али хлопотали в ларьке, на улице не было ни души, а на самой макушке арбузной пирамиды сверкал, блестел на солнце воткнутый в огромный арбуз кривой турецкий нож...

Не помню, что произошло со мной, кто вскрыл мой череп, кто вывернул мои мозги и шепнул на ухо.

- Иди, не бойся...

Помню лишь, как нож оказался в моих руках, как рухнула арбузная пирамида, как я ворвался во двор тётки Марты, закопал нож под забором и как обомлел, увидев вдруг появившегося словно из-под земли Кукарачу...

- Здорово, Тамаз! - приветствовал он меня.

Вместо того чтобы встать, я сел на землю.

- Как дела? Что нового?

Ссориться с лейтенантом меня сейчас не устраивало никак. Поэтому я глупо улыбнулся и пожал плечами, продолжая сидеть. Тогда Кукарача сам опустился рядом со мной на корточки, чтобы вести беседу, как говорится, на одном уровне.

- Где твои дружки?

- Не знаю... Кто на даче, кто в Тбилиси...

- А ты что здесь делаешь?

- Жду отца. Он должен приехать на днях. Наверно, поедем в Кобулет.

- Да нет, чем ты сейчас занят, каковы твои планы на сегодня?

- На сегодня?.. Пока не знаю... Зайдут, наверно, ребята... Сходим на Вере или в зоопарк...

- А до этого? - не отставал Кукарача.

- Пойду домой, - ответил я.

- Не дождёшься ребят?

- Придут сами позовут.

Где-то в уголке сердца у меня вспыхнула искорка надежды, а может, он ничего не видел? Может, он пришёл случайно? Может, он хочет помириться со мной после той истории с папиросами? Я встал и сказал с наигранным равнодушием:

- Ну, я пошёл...

- Сядь! Пока придут ребята, поиграем.

- Поиграем? Во что?

- Ну, хотя бы в орёл - решку.

Кукарача достал из нагрудного кармана серебряный рубль, положил его на указательный палец, щёлкнул снизу большим пальцем, поймал на лету монету, зажал в кулаке и вопросительно взглянул на меня.

- Решка! - сказал я.

Кукарача разжал кулак.

- Проиграл ты! - Кукарача снова подбросил монету.

- Не хочу больше... - Я встал.

- погоди! Может, сыграем в ножик? - предложил Кукарача.

- Что?! - Я схватился за сердце.

- В ножик, говорю, сыграем! - повторил Кукарача.

- Что ты пристал ко мне? Что тебе нужно?! - Я был готов расплакаться.

- Ничего, кроме твоей дружбы, чего же ещё? - Кукарача встал, нашёл в куче мусора кусочек угля и начертил на воротах два круга - один большой, другой поменьше внутри первого. Потом бросил уголёк, вытер руки друг об друга, отсчитал от ворот десять шагов, носком сапога провел по земле черту и обратился ко мне:

- Одолжи-ка нож!

Цепенея от ужаса и собственной подлости, я спросил:

- Какой нож?

А тот, который ты закопал под забором! - ответил Кукарача уверенно, словно нож закапывал он сам.

Что мне оставалось делать? Я откопал нож и отдал его Кукараче.

Лейтенант с минуту внимательно рассматривал нож, удовлетворённо кивая головой. Вдруг нож молнией вырвался из его руки, со свистом описал в воздухе дугу и вонзился в большой круг.

- Принеси! - сказал мрачно Кукарача.

Я с трудом вытащил из ворот нож и принёс его лейтенанту. Он снова бросил нож и снова попал в большой круг. Следующие три броска оказались снайперскими в середине внутреннего круга. Кукарача довольно улыбнулся.

- Твоя очередь. Пять бросков. Запомни, у меня сорок восемь очков две девятки, три десятки.

Я бросил и угодил ножом в тутовое дерево, метрах в трёх от ворот.

- Ну, ты даёшь! - рассмеялся Кукарача.

- А я целился в дерево! - солгал бессовестно я.

- Валяй!

Остальные четыре броска оказались и того хуже. Нож попадал в ворота или рукояткой или боком, но никак не лезвием. На шум вышла тётя Марта. Она изумлённо воззрилась на нас, потом схватилась за голову:

- Господи, что я вижу, ослепни мои глаза! Что это такое? Чему ты учишь ребёнка, чтоб ты провалился вместе с твоей милицией! Бездельник! Кукарача черномазый!

- Побойся бога, тётя Марта, какие ты отпускаешь словечки?! Неужели ты никогда не ела сахар? Кукарача миролюбиво улыбнулся старушке, обнял меня за плечи и вывел со двора. А теперь мы пойдём и вернём нож хозяину. Ладно?

В азарте состязания я успел уже забыть про этого проклятого Али, и теперь меня словно кипятком обдало.

- Отнеси ты...

- А почему не ты?

- Стыдно мне!

- Ничего. Пойдём вместе. С Али поговорю я.

Мы подошли к ларьку, когда гнев и возмущение Али, вызванные пропажей ножа, достигли апогея. Причём были они обращены в основном против бедного Ибрагима.

- Косой сукинсин, какой нож потерял! Тепер я как продал харфуз на разрез?! Гавариш кто-то украл, украл! Лучше я адин хароши сабак держал, он хотя бы лайт!

При виде Кукарачи Али повысил голос:

- Милисия, где ты?! Куда смотришь, милисия?! Утром, в сентр города, мне ограбил какой-та сукинсин!

- Я здесь, Али! И вот твой нож!

- Вах, дарагой мой! Ты не милисия, ты настояши золото! - Али выскочил из-за прилавка и стал обнимать Кукарачу.

- Ты не меня, ты его благодари! Это он нашёл твой нож! - Кукарача подтолкнул меня.

- Дарагой мой малшик! Скажи, кто мой нож украл? Я ему уши отрезал!

Я не знаю, это Кукарача отнял нож у вора! - выкрутился я.

- Ай, я его душа мата, сволош, сукинсин!

Али не подозревал, что эти эпитеты он адресовал не кому другому, как мне, только что объявленному им же «дарагим его малшиком».

- На, дарагой, продолжал он, бери падарок, денги не нада! И он протянул мне два небольших арбуза.

Я отказался, попятился назад.

- Возьми, чудак! - подбодрил меня Кукарача.

Я взял арбузы.

- А что надо сказать? - наставительно напомнил мне Кукарача.

- Спасибо, дядя Али, только зачем мне два арбуза? Дай одну дыню.

Кукарача расхохотался.

Али исподлобья посмотрел на меня.

- О-о, малшик, ты тоже балшой хитри сукинсин! - И обменял один арбуз на дыню.

- Кукарача, а что я маме скажу? Откуда всё это? Бери-ка ты!

Кукарача взял у меня арбуз и дыню, и мы пошли домой.

Мама ужаснулась:

- Кукарача, не говори, что это украл мой сын, а то я покончу с собой!

- Что вы, Анна Ивановна, это Али преподнёс мне, а я вам, - успокоил её Кукарача.

- Чем я заслужила такое внимание?

Кукарача неловко улыбнулся и развёл руками.

- Ты не обижайся, Кукарача... Скажи мне откровенно: ты бегаешь только за Тамазом и ходишь только к нам или ко всем?

Кукарача задумался. Видно, он не ожидал такого вопроса.

- Нет, Анна Ивановна... Я, как вы изволили выразиться, бегаю не только за вашим сыном и хожу не только в ваш дом... Я участковый инспектор, и мне приходится бывать всюду... Но, признаюсь, у вас я чувствую себя как-то необычно... Волнуюсь, как на экзамене... В других домах меня иначе как «уважаемый» не величают. «Пожалуйте, уважаемый Георгий!», «Присядьте, уважаемый Георгий», «Пропали бы мы без вас, уважаемый Георгий!...» А вы... Вы спорите, даже ссоритесь со мной, Кукарачей меня зовёте...

- Но ведь ты сам просил называть тебя так, - смутилась мама.

- В том-то и дело... Я и других просил... Хотя нет, вру! Не просил я никого называть меня Кукарачей... В общем, я не знаю, как это объяснить... Мне кажется, что когда-то я уже жил в вашем доме... Как ваш Тамаз... Потом я в чём-то провинился, и меня изгнали отсюда... И вот теперь я вновь вернулся, искупив свои грехи... Кукарача умолк.

Мама достала папиросы и закурила, она была взволнована, иначе в присутствии Кукарачи не стала бы курить.

- Какие же у тебя обязанности в милиции, Кукарача? - спросила мама. О функциях инспектора милиции она была осведомлена не хуже самого лейтенанта. Вопрос был задан, чтобы нарушить затянувшееся молчание.

- Обязанности? Ну, во-первых, преследование бандитов и воров...

- Что-то я не слышала про пойманного тобой бандита, - рассмеялась мама.

- Пока я здесь, ни один уголовник Ваке не посмеет даже шелохнуться! - отшутился Кукарача.

- Допустим. Что ещё? - допытывалась мама.

- Ещё идейное воспитание детей, ответил Кукарача не без гордости, правильное направление духовной жизни подростков.

- Да? А что тебе известно о духовном воспитании, духовной жизни и вообще о душе?

Кукарача замаялся, но тут же нашёлся:

- Как же, Анна Ивановна, душа есть душа, а духовная жизнь - это кино, театр, живопись, музыка... И ещё любовь всего этого и вообще любовь!

- И ты думаешь, что бандиты не ходят в кино, жулики, растратчики, спекулянты не имеют жён и детей, не любят никого? Мама затушила папиросу и вопросительно взглянула на Кукарачу.

Лейтенант задумался.

- Да, странно получается... А вы, Анна Ивановна? Что вы знаете о душе?

Теперь задумалась мама.

- В этом, дорогой мой, не так-то просто разобраться... По-моему, душа - это мысли, мечты человека, заключённые в бутылку, вроде сказочного джинна, которые со дня своего возникновения ждут, стремятся к свободе. Мы иногда освобождаем их вольно или невольно, чаще же всего они сами вырываются на свободу. А освобождённая человеческая мысль способна творить чудеса в науке, искусстве, литературе. Для меня каждый гений - это вырвавшийся из бутылки джинн. Правда, есть и среди гениев относительно крупные и малые, сильные и слабые, но это не так уж важно. Счастье обрётённой свободы они воспринимают в равной мере. - Мама говорила тихо, спокойно, как бы про себя, и лишь в конце взглянула на Кукарачу. - Хорошо, Кукарача, если всеми этими делами в милиции поручено заниматься тебе...

- Анна Ивановна, а где написано обо всём этом? - спросил удивлённый Кукарача.

- Не знаю... Не помню... Наверное, нигде... Просто это я так думаю.

- А любовь? Любовь тоже относится к душе? - поинтересовался Кукарача.

- Наверное... Во всяком случае, из всех сокровищ, дарованных богом человеку, самое драгоценное это талант любви. Мне жаль человека, ушедшего из жизни без любви...

- Я очень люблю детей.

- Значит, ты счастливый человек.

- А вы?

- Я мать, и любить моя первейшая обязанность.

- Да, трудное это дело дети... Вот вы сказали бегаешь, мол, за Тамазом... А он ведь не один. И мне часто приходится следить, как шпиону, за ними - как бы не подрались, не попали в беду, не стянули чего-нибудь. - Кукарача бросил на меня мимолётный взгляд. - Быть может, они и ненавидят меня, но что делать? Стараюсь из-за любви к ним, и только! А ведь мог я стать отличным хлеборобом или кузнецом! Кукарача показал свои здоровенные кулаки.

- Конечно, согласилась мама, трудно воспитывать детей, не то что чужих, даже собственных...

- Да... Вот, скажем, за воровство Уголовный кодекс предусматривает от трёх до пятнадцати лет...

- Очень строгий закон!
- Строгий, но необходимый!
- Скажи-ка, а как вы ловите воров?
- Обыкновенно. Украл - поймал, не украл - пусть гуляет... Случается и так: знаем, что человек вор, а трогать его не имеем права. Улики нужны, свидетели! Есть даже такая поговорка: «Не пойман не вор!»
- Я-то думала сложная у вас работа.

На Кукарачу словно вылили ушат холодной воды.

- Ну, знаете... - произнёс он обиженно.
- Хорошо... а до того, как вор украдёт? Вы предпринимаете какие-либо меры?
- Конечно. У нашей работы ведь есть своя специфика. Существует такой термин - профилактика преступности...
- Я не об этом, - прервала Кукарачу мама. - Меня интересует, проводите ли вы с ворами беседы?
- Какие беседы?! - искренне удивился Кукарача.

Мама встала, подошла к книжному шкафу, сняла с полки книгу в чёрном переплете, раскрыла её и обратилась к лейтенанту:

- Ну-ка, послушай! Я постараюсь несколько облегчить текст: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтоб погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввергнуто в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввергнуто в геенну.» Понял?
- Прочтите, пожалуйста, ещё раз! - попросил Кукарача.

Мама повторила.

- Вот это да! - воскликнул Кукарача. - Вот это строгость! Вырвать собственный глаз! Отсечь собственную руку! Против такого закона наш закон рай!
- Это не закон, Кукарача, это заповедь. Будь это законом, сейчас половина населения Грузии была бы одноглазой и однорукой, - сказала мама.
- А что такое заповедь?
- Заповедь - это нравственное правило, положение, из которого вытекают все законы. И вот я спрашиваю: приобщаете ли вы к этим заповедям людей, прежде чем их арестовать?
- Людям, с которыми мы имеем дело, не помогут никакие заповеди... А что это за книга, Анна Ивановна?
- Евангелие от Матфея.
- А вы читаете его Тамазу?
- Тамазу? - опешила мама. - Знаешь, я не думала об этом... По-моему, рано ещё...
- Анна Ивановна, одолжите мне эту книгу, верну через два дня, попросил Кукарача.

Мама молча положила перед ним Евангелие.

- Трудно, конечно, будет мне понять всё, но я обращусь за помощью к вам. Вы, наверно, хорошо владеете древнегрузинским языком?
- И французским, и английским, и немецким, - прихвастнула мама.
- Когда же вы успели изучить столько языков? - удивился Кукарача.

- Эх, дорогой мой, все мы, люди всего мира, фактически говорим на одном языке, но не понимаем друг друга только потому, что не умеем прислушиваться друг к другу! - вздохнула мама.

- Нет ли у вас чего-нибудь от головной боли? - спросил вдруг Кукарача.

Мама вынесла две таблетки и полстакана воды.

- На, если боль несильная, прими одну, если очень болит две.

Кукарача проглотил обе таблетки, поблагодарил, встал и направился к двери.

- Анна Ивановна, а можно мне рассказать об этом нашим, в милиции?

- О чём, Кукарача?

- Вот об этом самом - о душе, о заточённом в бутылке джинне, о заповедях...

- Ну, дорогой мой, Евангелие писала не я, и то, что говорила о душе, не является моей тайной, так что...

- Спасибо, Анна Ивановна!

Спустя два дня Кукарача возвратил Евангелие. Никакой помощи он у мамы не просил. Пришёл, поблагодарил и ушёл.

С тех пор Кукарача у нас не появлялся. При встрече на улице он ласково трепал меня по щеке и просил передать привет маме.

У Кукарачи появилось иное дело - гораздо серьёзнее и сложнее, чем возня с нами.

Всё, о чем будет рассказано ниже, это события, свидетелем которых был я сам, о которых нам стало известно по просочившимся из милиции слухам, и которые в своё время взбудоражили всё население нашего квартала.

Трижды Кукарача вызывал Ингу в милицию, и ни разу она не явилась. Наконец лейтенант сам отправился к ней, но не застал её дома.

- Так запросто ты её в милицию не заманишь. Она отчаянная, - сказал Кукараче дворник Шакро.

Кукарача просунул повестку в замочную скважину и ушёл.

На улице он встретил среднего роста красивую девушку с длинными каштановыми локонами. Вид у девушки был такой беспечный и довольный, и сумкой размахивала она так весело, словно весь мир принадлежал ей одной.

Кукарача невольно остановился. Девушка прошла мимо, даже не взглянув на него. Кукарача повернулся и не без удовольствия стал смотреть на ладную фигуру и стройные ноги удалявшейся девушки. Она почувствовала пристальный взгляд мужчины, быстро обернулась, подбоченилась, приняв вызывающую позу.

Кукарача расхохотался.

- Чего смеётесь? - нахмурилась девушка.

- Вы Инга?

- Допустим. Ну и что?

- Не «допустим», а точно. Вы Инга? - спросил Кукарача.

- Да, Инга. А вы кто?

- Я тот самый Кукарача, который трижды приглашал вас в милицию.

- А-а-а... Ну, и что вам угодно?

- Об этом узнаете в милиции, милая моя Инга! - Кукарача подошёл к девушке.

- Думаете, вам легко удастся привести меня в милицию? - подняла брови Инга.
- Думал бы так, не стал бы тащиться по этому подъёму! - признался Кукарача. - Но в милицию я вас всё же приведу.
- Ну разве силой, волоком! - рассмеялась Инга.
- Подумаешь, задача! Я два финских танка приволок в свой штаб! - с улыбкой, но очень серьёзно сказал Кукарача.
- Да?
- Да.
- Как?
- Завтра в девять пожалуйста ко мне в милицию. Там узнаете всё. А зовут меня Георгий Тушурашвили.
- Да?
- Да.
- Кукарача звучит лучше!
- Так зовите меня Кукарачей.
- А может, пойдём ко мне? Там и поговорим... В тоне девушки почувствовались любопытство, уважение и даже некоторый страх.
- Нет, сегодня вы устали с работы... К вам зайду в другой раз, а завтра жду вас.
- Хорошо.
- В дверях вы найдёте повестку. Не обижайтесь. Я не думал встретить вас на улице. Порвите повестку, не читая.
- Хорошо.
- До свидания.
- До свидания.
- Кукарача и Инга медленно разошлись.
- Она не пришла ни в девять, ни в полдесятого. Чтобы скоротать время, Кукарача в который раз перечитывал извлечённую из архива паспортного стола автобиографию Инги.

«Я, Инга Амирановна Лалиашвили, родилась 19 апреля 1920 года в г. Тбилиси. Отец Амиран Давидович Лалиашвили скончался от порока сердца в 1926 году. Мать Анастасия Александровна Хмаладзе Лалиашвили скончалась в 1927 году от туберкулёза. После этого я воспитывалась в Земо-Авчальском детском доме. Здесь же окончила семилетку. В 1934 году поступила в двухгодичное провизорское училище, которое окончила с отличием в 1936 году. Работаю в аптеке № 128 на выдаче лекарств. Беспартийная. Не замужем. Проживаю в г. Тбилиси, Кобулетский подъём, № 137.

И. Л а л и а ш в и л и

27.IX.1936 г.».

Она не пришла. Кукараче стало больно и обидно, не думал он, что девушка обманет его.

Он закрыл папку, положил её в ящик стола, встал, надел фуражку и... в комнату вошла Инга. Кукарача с облегчением вздохнул.

- Здравствуйте, Инга! - опередил он девушку.
- Здравствуй, Кукарача! - ответила она и села, не ожидая приглашения.

- Признаться, я уже не надеялся, что ты придёшь.

Инга рассмеялась.

- Я пришла ровно в девять!

- Почему же ты не вошла?

- Потому, что я женщина, а у женщин принято так: она приходит на свидание до назначенного времени, прячется где-нибудь в укромном месте и наблюдает за ним. И появляется лишь тогда, когда почувствует, что у него лопнула нить терпения... Я стояла за ивой и наблюдала за тобой через окно. И вот появилась тогда, когда ты уже собрался уходить. Вот и всё! - закончила Инга со смехом.

- Быть может, всё это очень остроумно и весело, когда дело касается любви, - сказал Кукарача.

Инга смутилась.

- Зачем ты вызвал меня? - спросила она холодно и положила свою сумку перед Кукарачей.

- С чего начать? С двух танков или... Кукарача отложил сумку в сторону.

- О твоих танках знает весь город. Начни с дела! - ответила Инга, убрала сумку со стола и положила её себе на колени.

Кукарача достал заявление соседей Инги, отогнул конец листа с подписями, оторвал его, спрятал в ящик и протянул заявление Инге.

- Вот. Прочти, пожалуйста!

Кукарача не сводил глаз с девушки. Она сперва заёрзала на стуле, затем лицо её пошло красными пятнами, руки задрожали, глаза наполнились слезами. Вдруг она разорвала заявление пополам и бросила клочки на стол.

- Документы рвать нельзя, Инга!

- Извиняюсь, - Инга проглотила слёзы, - я знаю, это сочинение Каламанишвили!

Кукарача вздрогнул от удивления: Инга назвала фамилию, подписанную красным карандашом!

- Под заявлением много подписей. Почему ты думаешь, что писал именно Каламанишвили?

- Не он, а она! Каламанишвили - старая проститутка, развратница! Она отжила свой век, никому уже не нужна, вот и лопается от зависти ко мне...

- В чём же тебе завидовать? Ты любовница вора, подонка, морфиниста! - прервал Ингу Кукарача.

Инга на минуту лишилась речи.

- Этот человек... - заговорила она наконец и встала, уронив при этом сумку, - этот человек, каким бы он ни был, мой муж... А у Каламанишвили ни мужа, ни любовника, ни друзей, ни врагов... Она, эта красивая когда-то женщина, сейчас одна на всём свете, одинока... Вот почему она завидует мне... Тебе не понять этого, ты мужчина, к тому же милиционер... А что касается похабщины, о которой говорится в заявлении, её я только и слышала, что в притоне этой старой ведьмы. Это у неё собирались воры и картёжники со всего города... Муртало ни разу не приходил ко мне пьяным и ни разу никого с собой не приводил. Он любит меня и не позволит себе ничего оскорбительного!.. - Ингу подвели нервы, губы у неё побледнели и задёргались. Она как подкошенная упала на стул.

- Когда же он бывает дома? - спросил Кукарача.

Инга подозрительно сощурилась.

- Он не говорит об этом заранее.

- Конечно, бандитская повадка...

- Назови человека в городе, у кого он украл или отнял хоть копейку!
- Знаю... В нашей картотеке сказано всё о твоём святом супруге: опасный рецидивист, в Грузии не промышляет, имеет четыре судимости, в том числе две за убийство, и не расстреляли его лишь потому, что ухлопал подонков вроде себя. Вот кто он есть, твой ангел!
- Плевала я на вашу картотеку! А мог бы ты преподносить своей возлюбленной каждый день по корзине красных роз?!
- Почему бы и нет? Даром, что ли, наш квартал называется Вардисубани? * - пошутил Кукарача.

* Дословно: квартал роз (груз.).

- И зимой?
- Зимой вряд ли, - признался Кукарача.
- То-то! А Муртало мог... заметила Инга не без злорадства. Мог бы ты посылать женщине тысячу рублей ежемесячно?
- Откуда? У меня вся зарплата восемьсот рублей! - воскликнул Кукарача.
- А Муртало мог!.. Можешь ли ты явиться хоть с того света, чтобы поздравить любимую женщину с Новым годом и днём рождения? Не можешь! А Муртало может! - Инга говорила, всё более волнуясь, не отдавая себе отчёта, и Кукарача подумал: «Вот и проговоришься, дурочка!» - Можешь ли ты отвадить от меня всех мужчин квартала, сделать меня недосягаемой, чуть ли не королевой? Не можешь! А Муртало может, потому что он никого на свете не боится - ни тебя, ни твоей милиции, а ты боишься его! - Инга была на грани истерики.
- Ладно, успокойся! - произнёс тихо Кукарача и добавил: Запомни: не родился ещё человек, которого бы я испугался!
- Серьёзно?
- Вполне!
- Допустим. И хватит об этом!.. Что тебе нужно от меня?
- Ничего. Напиши расписку, что указанные в заявлении факты впредь не повторятся...
- Как они могут повториться, если их и не было?!
- Тогда напиши, что заявление - не соответствует действительности, что всё это выдумка, клевета, предложил Кукарача.

Инга написала.

- Всё? Могут идти? - спросила она.
- Пожалуйста! - ответил Кукарача и, не выдержав, тут же спросил: Скажи мне, только искренне: ты действительно любишь эту мразь или боишься его?

Инга задумалась, потом спросила:

- А ты знаешь, Кукарача, что такое любовь?

Кукарача кивнул головой.

- Скажи!
- Талант любви - самое драгоценное из всех сокровищ, дарованных богом человеку... И несчастен человек, ушедший из жизни без любви...

- Кто тебя научил этому, Кукарача? - прошептала Инга.

- Анна Ивановна...

- Кто это?

- Есть такая женщина...

- И ты испытал этот талант?

- Пока нет... А ты?

Инга не ответила. Она встала, повернулась и ушла, не попрощавшись.

Кукарача с минуту прислушивался к её удалявшимся шагам в коридоре, потом взял разорванное заявление, достал из ящика стола оторванный его край, склеил куски гуммиарабиком, снова спрятал лист, встал, подошёл к окну и распахнул его, чтобы проветрить комнату. Распахнул, да так и застыл у окна: за ивой стояла Инга и смотрела на него...

Народному комиссару внутренних дел Грузинской ССР.

Прошу довести до сведения всех органов милиции республики:

в ночь с 8 на 9 марта в г. Таганроге ограблен ювелирный магазин.

Похищены драгоценности стоимостью 456 325 руб. 40 коп.

Установлено: один из скрывшихся участников грабежа грузин по

кличке «Муртало» (фамилия неизвестна). Объявлен всесоюзный

розыск. Приметы: среднего роста, коренастый, верхняя губа

рассечена, два передних зуба золотые.

Начальник Уголовного розыска Наркомвнудела СССР.

11 марта 1940 г.

Кукарача, как и все сотрудники милиции, получил копию этой радиогаммы, хотя к участию в операции его не привлекали. Подобные дела в районе обычно возглавлял и «проворачивал» лично Сабашвили. Но эта радиогамма и начальству, и подчинённым показалась несколько наивной. «Муртало не та птичка, чтобы после содеянного в чужом городе прилететь в Тбилиси, снести яйца в собственном гнезде и ждать спокойно, пока за ним пожелует милиция!» - так думали все.

Кроме Кукарачи.

В час ночи девятнадцатого апреля Кукарача вошел в комнату Инги и стал в дверях с наганом в руке.

За столом сидели двое: Муртало и Инга. Нераскупоренная бутылка шампанского застыла в руке Муртало. Он взглянул сперва на Ингу, потом на Кукарачу и опустил руку с шампанским.

- Не двигаться! приказал Кукарача. Он, конечно, понял, что оружие у Муртало в правом кармане и потому ему нужно освободить правую руку.

- Подними бутылку выше!

Муртало повиновался.

Грянул наган Кукарачи, и из отбитого горлышка бутылки брызнуло шампанское. Кукарача переложил наган в левую руку, подошел сзади к стулу, на котором сидел Муртало, указательным пальцем поднял висевший на спинке стула пиджак и, не почувствовав в нём тяжести, повесил на место.

- Встать!

Муртало встал.

Кукарача молниеносным движением извлёк из правого кармана его брюк пистолет и положил себе в карман. Потом сел к столу и поставил себе бокал.

- Можешь налить.

Муртало разлил шампанское и спросил с горькой усмешкой:

- Сесть можно?

- Конечно. Но тебе придётся так долго сидеть, что на твоём месте я предпочёл бы постоять...

- Шутишь? Это хорошо, когда шутит милиционер! - Муртало сел.

- Я Кукарача.

- Знаю. Почему ты не вошёл через окно?

- Чтобы ты не ушёл через дверь.

- Как ты догадался, что дверь не заперта?

- Устарели твои методы, Муртало, на эту приманку мы сейчас не клюём!

- Хорошо стреляешь!

- Из нагана пять в десятку, ножом три в десятку, два в девятку. Интересуешься расстоянием?

Муртало поморщился.

- Что тебе нужно, зачем пришёл? Знаешь ведь, в Грузии я не работаю, местные власти не беспокою... А из-за дуры подводить меня под срок не стоит. Не к лицу Муртало сидеть за ношение оружия. И потом... Не угрожаю, но ты знаешь: тюрьма имеет не только вход... - Муртало потянулся к пиджаку.

- Не надо, Муртало! - предупредил Кукарача и взвёл курок нагана.

- Папиросы! - огрызнулся Муртало.

- Папиросы можно...

Муртало закурил.

- Ну, за что же выпьем? - полувсерьёз, полушутя спросил Кукарача.

- За милицию! - осклабился Муртало.

- За милицию! - Кукарача осушил бокал. Никто его не поддержал.

- Говоришь, не стоит брать тебя из-за дуры? - обратился он к Муртало.

- Ей богу, не стоит, Кукарача! - ответил тот многозначительно.

Кукарача помолчал, потом взглянул на Ингу, которая до сих пор не промолвила ни слова.

- Будьте любезны, мадам, сказал он, снимите серьги и кольцо... Бриллиантовые серьги и бриллиантовое кольцо... Снимите и положите на стол...

Инга зарделась.

- Загибаешь, Кукарача! - Муртало осуждающе покачал головой. - Не стоит того моё дело! Отстань от женщины, возьми бабки!

Кукарача пропустил слова Муртало мимо ушей и в свою очередь словно между прочим спросил:

- Кстати, куда ты дел остальное добро, взятое в ювелирном магазине в Таганроге?

Муртало собрался было ответить, даже рот раскрыл, но передумал. Минут пять длилось молчание. Муртало снова закурил, несколько раз затянулся, и вдруг Кукарача не успел даже опомниться, перегнувшись к Инге, ткнул её в лицо папироской. Инга вскрикнула, откинув голову назад, и Кукарача ужаснулся, увидев под её левым глазом безобразный кровотокающий ожог.

- Продала, сука?! - прошипел Муртало, и тут же сильнейший удар Кукарачи опрокинул его навзничь. Кукарача связал ему руки, потом подошёл к Инге.

- Как я прозевал! - проговорил он с сожалением.

Инга достала из шкафа какой-то пластырь, приложила к ране, а Кукарача схватил за шиворот пришедшего в себя Муртало, встряхнул его, поставил на ноги и с презрением, словно плюнул, сказал:

- Гниль ты, а не человек! Твой крёстный не ошибся!

Муртало затравленным волком взглянул на лейтенанта и процедил сквозь зубы:

- Припомнится тебе всё, Кукарача... Кровью отольется... Не будь я Муртало!..

- Ладно, пока что моя очередь! Шагай! - И он подтолкнул Муртало к двери.

И тут случилось то, чего Кукарача не мог не то, что ожидать, но даже представить себе: Инга сорвалась с места и упала перед ним на колени.

- Не губи меня, Кукарача!.. Кто мне поверит, что не я выдала его милиции?! Умоляю тебя!.. Она припала горячими губами к руке лейтенанта. Отпусти его!.. Будь мужчиной! Сжался надо мной! Отпусти его, если не хочешь увидеть меня с перерезанным горлом!

- Да ты что?! Из-за кого ты унижаешься? Из-за этого подонка? Встань сейчас же!

- Нет, Кукарача! Ты не знаешь их законов! Убьют, зарежут меня! Заклинаю тебя матерью, отпусти его! Пусть уйдёт из моего дома невредимым!

- Инга, о чём ты говоришь?! Я ведь не личное, я государственное дело выполняю! Как же я могу отпустить его?!

- Покончу с собой, Кукарача! Клянусь!

Кукарача понял, что Инга сейчас способна на всё. Он не был железным, он был обыкновенным человеком - лейтенант милиции Георгий Тушурашвили. И человек не устоял перед горем человека. Он достал нож и разрезал узел на руках Муртало.

- Иди! - сказал Кукарача.

Муртало не сдвинулся с места.

- Иди! - повторила Инга.

Муртало пошёл к двери.

- В окно! - сказал Кукарача.

Муртало вернулся и перелез через окно. Спустя несколько минут Кукарача выстрелил в окно. Распластанная на полу Инга подползла к Кукараче и, рыдая, обняла его за ноги.

- Встань!

- Что же теперь с тобой будет?!

- Ничего, авось обойдётся...

Кукарача поднял Ингу, положил наган в карман и ушёл, прикрыв за собой дверь.

Огни вокруг в окнах были погашены. Но Кукарача чувствовал, как в него, словно раскалённые стрелы, впивались любопытные, испуганные взоры соседей...

Кабинет Сабашвили был заперт изнутри. Кукарача понутив голову сидел на стуле. Давид, как зверь в клетке, бегал по комнате, ломая руки, натыкаясь на стены. Временами он останавливался перед лейтенантом и рычал:

- Ты что думал? Муртало фраер вроде твоих квартальных сопляков?! На бандюгу объявлен всесоюзный розыск, а этот кретин Шерлок Холмс прёт один на операцию!.. Как ты назвал операцию? «Инга и Кукарача»?! «Кукарача из Ваке»?! Давид схватил графин с водой и почти опорожнил его. Ты понимаешь, что это пахнет трибуналом?! Как ты смел скрыть от меня?!

- Да что я скрыл?! Откуда я знал? Пришел к женщине на день рождения, а застал там незнакомца... пробормотал Кукарача.

- Какого еще незнакомца?! Кого ты обманываешь?! И чего тебя понесло к ней в час ночи?!

- Когда освободился, тогда и пошёл...

- Зачем? Кто она тебе друг?! Племянница?! Или ты совсем из ума выжил? Крутишь любовь с проституткой?!

- Это моя обязанность... - ответил спокойно Кукарача.

- Что твоя обязанность?! - обезумел Сабашвили.

- Моя обязанность морально воздействовать...

- Замолчи, иначе прихлопну тебя и себя тоже!.. Впрочем, кому я предъявляю векселя! Сам во всём виноват! Разве тебе место в милиции? Мозги у тебя набекрень! Тебе бы заведовать детским садом!..

- Объяснил же тебе: случайно я нарвался на него, ну и сумел он уйти...

- А два выстрела?!

- Ну... Стрелял я, промахнулся...

- Когда стрелял?! Спустя час?!

- Ну, убей меня! Ушёл, сбежал, сволочь! Что же мне теперь делать? Ну, застрелюсь я перед тобой, хочешь?..

Давид сел к столу, схватился за голову, долго молчал. Потом положил перед Кукарачей лист бумаги и ручку.

- Пиши... Озаглавь, как хочешь, заявлением, просьбой, рапортом... Напиши, что не хочешь работать в милиции и просишь освободить...

Время шло, а Кукарача даже не дотронулся до ручки. Сабашвили понял, что в душе лейтенанта происходит борьба, страшная, сложная борьба. Он взял себя в руки, постарался унять нервное возбуждение и тихо спросил:

- Что с тобой, Георгий?

- Давид, ты знаешь я могу и заявление написать, и уйти из милиции... Меня страшит другое... Я боюсь потерять тебя, потерять уважение к самому себе... Поэтому прошу - не гони меня сейчас... Дай возможность исправить свою ошибку... Я сумею искупить вину, хотя бы ценой собственной жизни...

Сабашвили взял трубку внутреннего телефона.

- Габо, зайди, пожалуйста, на минутку...

- Что ты собираешься делать? - спросил Кукарача.

- Собираюсь охладить тебя.

- Надолго?

- Пока не поумнееешь.

- Значит, вечное заключение? - горько улыбнулся Кукарача. - А я вот что тебе скажу: лично я считаю, что возвращение Инги к праведной жизни во сто крат важнее, чем поимка этого подонка Муртало...

- Что?! - побледнел Давид. - Значит, ты отпустил его?!

- О, господи! Сказал ведь тебе - ушёл он, сбежал!

Давид собирался сказать что-то, но в это время в кабинет вошёл его заместитель Габо.

- Привет!

Никто ему не ответил. Габо быстро смекнул, что происходит что-то необычное, и прикусил язык.

- Отбери у него оружие и посади в карцер! - распорядился Давид.

- Карцер занят.

- Кто там?

- Мтацминдский Апо, вор.

- Никаких Апо! Немедленно освободить карцер!

- А куда я дену Апо?

- Куда хочешь! Отпусти!

- Как?!

- В чём он провинился?

- Избил буфетчика.

- За что?

- Обсчитал его сверх меры...

- Ну и поделом ему... Отпусти!

- Куда?

- Вы что, оглохли, капитан? Говорят, вам: гоните к чёрту этого Апо и посадите в карцер Георгия Тушурашвили, Кукарачу. Понятно?

- Есть, товарищ майор! - вытянулся Габо.

- Вот так. Действуйте!

Сабашвили вышел из кабинета.

С того дня в жизни Кукарачи что-то изменилось, он как-то преобразился. Одни говорили, что лейтенанту сильно повезло, другие, наоборот, считали, что судьба изменила Кукараче; одни доказывали, что их участковый приобрел ангельский характер, другие, наоборот, обвиняли его в связях с самим сатаной. Одним словом, от Земмеля * до сельхозинститута и от Вере до Мтацминды имя Кукарачи склонялось на все лады.

* З е м м е л ь - так тбилисцы по сей день называют место, где когда-то находилась частная аптека Земмеля.

- Вчера Кукарачу видели в аптеке...

- Что-то зачастил он на Кобулетский подъем...

- А Инга-то... Ломит из себя святую, словно не она, а я ходила в любовницах Муртало...

- Чует моё сердце, выпустит Муртало из них кишки...

- Одеваться-то стала хуже... Но лицо... Лицо у неё так и сияет от счастья...

- Ну, вряд ли она откажется от старого...
- А Кукарача каждый день в шесть утра уходит от неё...
- Может, они расписались?
- Ну, ты скажешь!..

Так или иначе, имена Инги и Кукарачи слились воедино...

Мы возвращались от тёти Анисо, подруги детства мамы. Раньше, до переезда на новое место, мы жили в одном доме, на Анастасьевской улице. Теперь не проходило недели, чтобы мама и тетя Анисо не навестили друг друга. Приятельницы болтали весь день не переставая, а я и сын тёти Анисо мой ровесник Зураб гоняли мяч во дворе.

Итак, мы возвращались домой... Я рассказывал маме, как мы с Дуду с закрытыми глазами прошли по перекинутой через овраг Варазисхеви водопроводной трубе. Мама слушала, слушала и вдруг громко расхохоталась:

- А знаешь, почему ты такой лгунишка?
- Почему? - искренне заинтересовался я, так как знал за собой такой грех иногда я любил сочинять несусветную чушь.
- Когда появился ты, я была студенткой, присматривать за тобой дома было некому, и я оставляла тебя на попечение Анисо. А она, негодяйка, чтобы ты не орал, давала тебе пустую грудь. Ну а все, кто в детстве сосали пустую грудь, вырастают лгунишками. Понял?

Мы хохотали оба.

У Верийского базара мы встретили Кукарачу. С ним была красивая молодая женщина в простеньком платье. Я сразу узнал Ингу.

- Здравствуйте, Анна Ивановна, - поздоровался Кукарача с изысканной вежливостью.
 - Кукарача, дорогой, здравствуй! - обрадовалась мама. - Куда ты исчез? Как ты поживаешь?
 - Ничего, спасибо. Как вы? Тамаз не обижает вас? Если что дайте мне знать, я шкуру с него спущу... - Кукарача погладил меня по голове.
 - Нет, что ты, твои лекции пошли ему впрок. Вот только обманывает меня иногда.
 - Что ж, Анна Ивановна, иногда мы все обманываем друг друга, оправдывал меня Кукарача и взглянул на стоявшую в стороне и неловко улыбающуюся Ингу.
 - Знакомьтесь, Анна Ивановна, это мой друг, Инга Лалиашвили.
 - Ах, вот она какая, Инга? Чудная девочка! - Мама протянула руку. Смущённая Инга ответила слабым пожатием.
 - А откуда вы её знаете? - спросил удивлённый Кукарача.
 - Ну, милый мой, сейчас весь мир только и говорит, что о тебе и Инге! - ответила мама со смехом.
- Инга густо покраснела.
- А вы тогда были правы, Анна Ивановна, ох как правы... - сказал Кукарача.
 - Когда, Кукарача?
 - Когда сказали мне, помните: «Из всех сокровищ, дарованных богом человеку, самое драгоценное талант любви».
 - А-а, вспомнила мама.
 - Спасибо вам, Анна Ивановна!

- Я-то при чём?
- И всё же вам спасибо!
- Не за что, Кукарача...
- Ну, так, до свидания!
- Дай бог вам здоровья!

Кукарача и Инга ушли. Мама проводила их взглядом.

- Красивая девушка! - сказала мама.
- Очень! - подтвердил я.

- Тоже мне знаток! Мама легонько шлёпнула меня по затылку. Потом потёрла правую ладонь и проговорила про себя: Какая у неё тёплая и приятная рука...

Прошло с того дня несколько месяцев. И вот однажды во двор тёти Марты ворвался бледный как полотно Зевера, замахал руками и испустил душераздирающий вопль:

- Кукарачу убили!

...Спустя десять минут весь наш квартал собрался у дома Инги.

Санитары и двое милиционеров вынесли на носилках Кукарачу. Он был без сознания. Из простреленной в двух местах груди Кукарачи ещё сочилась кровь...

- Инга, - проговорил он, - кругом туман... розовый туман... Я не вижу тебя... Ух, Муртало, подло ты пришил меня, сволочь грязная... - Кукарача с сожалением покачал головой, потом поднял глаза на Ингу и протянул руку к её лицу. Рука на миг застыла в воздухе и упала, словно отрубленная.

Без единого стога, без единого слова, с улыбкой на лице красиво умер Кукарача лейтенант милиции Георгий Тушурашвили.

Давид чуть прикоснулся к Инге рукой. Девушка взглянула на него мутными глазами.

- Куда он ушёл? В какую сторону?

Инга показала на Удзо *.

Давид молча протиснулся сквозь толпу и пошёл по ведущей к Удзо дороге, как овчарка по волчьему следу.

Утром из Бетаниа ** Давид привёз на коне изувеченного, со связанными руками Муртало, и бросил его во дворе милиции. Муртало был жив.

* У д з о - гора в окрестностях Тбилиси.

** Б е т а н и а - храм неподалёку от Тбилиси.

Спустя ровно месяц в народном суде, что около круглого садика, начался процесс. Желающих попасть на него не мог вместить не только крохотный зал, но и садик. Каждое слово, произнесённое на суде, передавалось из уст в уста.

Мама на процесс не ходила, я же не пропустил ни одного заседания. Мама подробно расспрашивала меня.

В судебной практике такое, наверное, случается редко - суду с большим трудом удалось найти защитника для обвиняемого. Ни один тбилисский адвокат не хотел браться за защиту Муртало: людское негодование оказалось сильнее всех посулов и даже угроз дружков убийцы.

Судебное разбирательство длилось три дня с утра до позднего вечера с небольшими перерывами. Было опрошено много свидетелей и ещё больше предъявлено обвинений Муртало.

На утреннее заседание третьего дня по просьбе Давида впервые пришла Инга. Пришла красивая и строгая, как амазонка, в глубоком трауре, с белым как полотно лицом. Она вошла в зал вместе с Давидом и стала перед судьёй и заседателями, даже не взглянув на остриженного Муртало, сидевшего за барьером между двумя милиционерами.

После обычной предварительной процедуры начался допрос.

С у д ь я. Расскажите суду, что вам известно по делу.

И н г а. Кукарача пришел домой в полдень...

С у д ь я. Вы имеете в виду Георгия Тушурашвили?

И н г а. Я буду называть его Кукарачей.

С у д ь я. Пожалуйста... Скажите, почему Кукарача пришел именно к вам?

И н г а. Он был моим мужем.

С у д ь я. А кем был для вас обвиняемый?

И н г а (после продолжительного молчания). Муртало?

С у д ь я. Шалва Фридонович Хизанишвили.

И н г а. Я не знаю такого человека.

С у д ь я. Он сидит слева от вас, на скамье подсудимых.

И н г а. Этого подонка зовут Муртало.

С у д ь я. Кем же он доводится вам?

И н г а. Он был моим любовником, пока... (Шум в зале.) Пока я не познакомилась с Кукарачей.

С у д ь я. Насколько суду известно, вы не состояли в официальном браке с Тушурашвили.

И н г а (упрямо). Он был моим мужем!

С у д ь я. Каковы, по-вашему, мотивы преступления, совершённого в отношении пострадавшего?

И н г а. Кукарача не пострадавший, он убит. (Шум в зале.)

С у д ь я (смущённо). Продолжайте...

И н г а. Кукарача спал. Вдруг в комнату вошел Муртало с наганом в руке. Я закричала от испуга и неожиданности, хотя и знала, что рано или поздно развязка должна наступить. Кукарача вскочил и бросился к оружию, но было поздно. Его револьвер был уже у Муртало... (Инга умолкла.)

С у д ь я. Продолжайте, пожалуйста.

И н г а. Кукарача спал раздетым и, проснувшись, тотчас потянулся к одежде. «Не беспокойся, можешь беседовать со мной в майке!» - разрешил Муртало.

- Зачем ты пришёл? спросил Кукарача.

- Ты спрашиваешь меня? - удивился Муртало.

- Я и Инга любим друг друга!

- Не может быть! И сильно?

- Муртало, положи оружие и уходи!

- Оба? Или только твое?

- Оба!

- А нет ли у тебя наручников? Заодно надену и пойду с тобой в милицию.

- Ты так и поступил бы, если б котелок у тебя варил... Кукарача взял брюки.

- Предупреждаю, встанешь получишь пулю!

- Не посмеешь! Убьёшь меня - не миновать тебе расстрела!

- Дудки! Уголовный кодекс я знаю как аллилуйю. Я убью тебя на почве ревности и заработаю пять, от силы восемь лет. Красная цена за твою шлюху.

- Убей и меня! - попросила Инга.

- Нет, милая! Смерть для тебя блаженство, для него мучение. Ты должна жить долго, долго, пока не сгниёшь!

- Поделом мне! - сказал Кукарача.

- Вот именно! Сорвалось у тебя! И знаешь почему? Потому, что фраер ты, не профессионал, и купила тебя эта шлюха!

С у д ь я. Почему Кукарача сказал «поделом мне»? И что имел в виду обвиняемый, сказав «сорвалось у тебя»?

И н г а. Дело в том, что год тому назад Кукарача схватил этого подлеца в моём доме и отпустил его по моей просьбе...

С у д ь я (привстал). Что? Схватил и отпустил?

И н г а. Да. Вы не знали Кукарачу... Он был добр, чист и безгрешен...

С у д ь я. Продолжайте.

И н г а. Продолжать нечего.

- Помнишь, говорил я, что припомнится тебе всё? - Муртало взвёл оба курка.

- Не стреляй, Муртало! - сказал Кукарача спокойно, как бы с сожалением.

С у д ь я. Потом?

И н г а. Потом Муртало приблизился к кровати...

Инга сделала несколько шагов к барьеру, за которым сидел Муртало, расстегнула жакет, выхватила наган и, пока милиционеры опомнились, навела его на Муртало и спустила курок.

Муртало вскочил, закрыл лицо руками и повалился на пол. При каждом выстреле он дико выл. В зале поднялся невообразимый шум.

Семь раз грохнул Ингин наган. Потом в зале воцарилась тишина.

Инга бросила револьвер, опустилась на пол, уткнулась головой в колени и зарыдала.

Я вернулся домой к обеду. Мама налила мне суп, сама села к столу и приготовилась слушать. Я молчал и к супу не притронулся. Тогда она убрала тарелку и поставила передо мной мои любимые холодные котлеты с белым хлебом. Когда я отказался и от котлет, мама забеспокоилась.

- Что с тобой, мальчик, ты заболел? Она потрогала мой лоб.

- Сегодня допрашивали Ингу.

- Что же она сказала, несчастная?

- Пустила в Муртало семь пуль!

- Как?!

- Так. Из нагана.

- Да ты что?! В зале суда? Семь выстрелов?! - Мама не верила своим ушам.

- В зале суда.

- И ты видел это?

- Видел.

Мама встала, снова села.

- Потом?

- И промахнулась.

- Семь раз?

- Семь раз.

- Невероятно! - прошептала мама и вышла на кухню. Вскоре я последовал за ней. Мама сидела у окна, смотрела на белый купол университета и курила. Я опустился на пол перед ней и положил голову на её колени. Долго молчали мы... Потом я почувствовал ласковое прикосновение тёплой маминой руки. Она нежно гладила меня по голове. Я взглянул на маму. По её щекам катились слёзы, и подбородок дрожал.

- Промахнулась, говоришь? - спросила она.

Я кивнул головой. Я понял, что маме хочется заплакать навзрыд, но усилием воли она сдерживала себя, она умела владеть собой, моя гордая мама.

Я почувствовал горький комок в горле, зарылся головой в мамины колени и заплакал сперва тихо, про себя, потом громко. Мама не успокаивала меня, лишь рука её по-прежнему гладила мою голову. Я плакал и за неё...

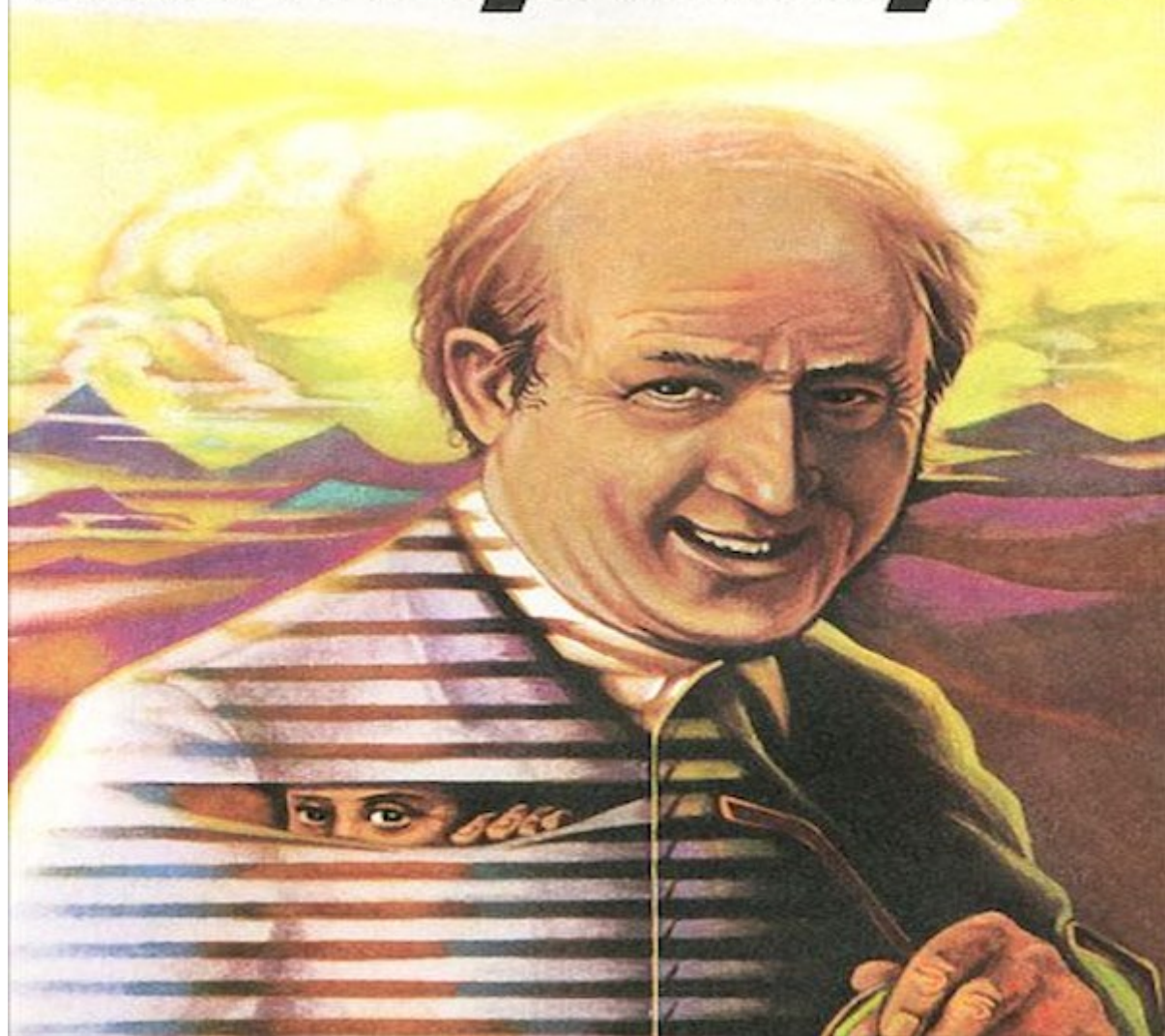
Это произошло 21 июня 1941 года. А на другой день об этом уже забылось. 22 июня народ был ошеломлён страшной вестью - на нашу страну напала фашистская Германия.

Лишь однажды, в 1943 году, тётя Марта вспомнила Кукарачу и Ингу и всплакнула, когда в военкомат пришло сообщение с фронта о гибели медсестры Инги Амирановны Лалиашвили.

И я вспомнил Кукарачу, вернее, он приснился мне 12 октября 1979 года, в 12 часов ночи, за полчаса до моего второго инфаркта. И вот что странно: во сне Кукараче по-прежнему было двадцать один или двадцать два года, мне за пятьдесят, а он по-прежнему поучал и наставлял меня...

Рауль Мир-Хайдаров

ДВОЙНИК КИТАЙСКОГО ИМПЕРАТОРА



Рауль Мирсаидович Мир-Хайдаров

Двойник китайского императора

Часть I

Едва закрылась дверь за Махмудовым, хозяин кабинета нервно нажал ногой педаль сигнала, и тут же на пороге появился ухмыляющийся помощник.

– Что скалишься?.. – зло оборвал его секретарь обкома. – Налей скорее выпить – замучил, гад.

Помощник тенью скользнул за перегородку, где архитектор умело разместил комнату отдыха – там находился вместительный финский холодильник "Розенлеф".

Анвар Абидович вышел из за стола и прошелся по просторному кабинету, обдумывая только что закончившийся разговор.

– Словно вагон цемента разгрузил, – сказал он мрачно и, разувшись, пробежал по длинной ковровой дорожке до входной двери и обратно несколько раз, потом бросился на красный ковер и долго энергично отжимался. Он гордился своей физической силой и, бывая в глубинке, охотно включался на праздниках в народную борьбу – кураш – и редко проигрывал: не растерял ловкости и сноровки, отличавших его смолоду. Отжавшись, он так и остался сидеть на ковре, только по восточному удобно скрестил ноги; помощник поставил перед ним медный поднос с бокалом коньяка и тонко нарезанными лимонами – он понимал хозяина без слов. Выпив коньяк залпом, как водку, жадно закусил лимоном и сказал:

– Небось и ты издергался, все ждал: вот вбегу по звонку, а иноятовский зять на ковре ползает, слюни распустив, детей просит пожалеть...

Помощник, каким то чутьем угадав желание хозяина, наливает бокал еще раз до краев, хотя ошибись – умоешься коньяком, да еще отmaterит, скажет злобно: спаиваешь?

Анвар Абидович второй бокал пьет уже не торопясь, смакуя, – в чем чем, а в коньяке он понимает толк и всякую дрянь не принимает, помнит о здоровье. Наверное, ему надоедает смотреть снизу вверх, и он приглашает помощника присесть рядом, приготовив и себе небольшую рюмку.

"Значит, понесло шефа на философию", – думает помощник тоскливо.

– Слез Махмудова сегодня не удалось увидеть ни тебе, ни мне. Крепкий мужик, побольше бы таких, а то уже неинтересно работать: не успеешь прикрикнуть – тут же в штаны наложат, дышать в кабинете нечем.

Осмелев после выпитого, помощник вставляет свое:

– Зачем мучились, изводили себя? Оформим дело, и концы в воду: и судья подходящий есть, и прокурор на примете, только и ждет, как бы вам угодить, а материалов у меня на всех припасено с десяток, на выбор, – и, довольный, громко смеется, обнажая полный рот крупных золотых зубов.

– Если бы я жил твоим умом, Юсуф, давно бы сам в тюрьме сидел, – говорит мирно хозяин кабинета и поднимается.

Помощник торопливо подает туфли, и, пока ловко завязывает хозяину шнурки, Анвар Абидович терпеливо объясняет ему:

– Если всех толковых пересажаем, кто же работать будет, область в передовые двигать, – с теми, за кого ты хлопчешь, дорогой мой Юсуф, коммунизма не построишь, век в развитом социализме прозябать придется.

Вернувшись за стол, он продолжает:

– А Махмудова не в тюрьму надо упечь, как ты предлагаешь, а к рукам умно прибрать следует. Хотя и трудное это дело, как я понял теперь, с характером, гордый человек. Тут ведь такая хитрая штука: нужно, чтобы он верой и правдой и нам служил, и государству. С обрезанными крыльями он мне не нужен, потому и не резон мне отбирать у него район. Да и народ, как я думаю, за него горой стоит.

Ты ведь знаешь: сам Акмаль Арипов не решается в открытую отнять у него какого то жеребца, а за деньги тот не продает – подсылал аксайский хан подставных лиц. Большие деньги предлагал, а Махмудов ни в какую, говорит: не для утех держу чистопородного скакуна, а для племенного конезавода, и, мол, цена ахалтекинцу – сто тысяч долларов. Акмаль уже год бесится, говорит: я ему пятьдесят тысяч наличными предлагаю, а он о ста тысячах для государства печется!

Анвар Абидович просит налить боржоми и, выпив, продолжает:

– А я всякий раз подзуживаю Акмаля, говорю: а ты приди к нему со своими нукерами, как ты обычно поступаешь, и заberi коня бесплатно. Нет, отвечает мне Арипов, не унести моим нукерам, да и мне самому ноги из района Махмудова. Больно народ его любит, уважает, Купыр Пулатом называет, пойдет за ним в огонь и воду. А ты, Юсуф, предлагаешь посадить такого орла, говоришь, нашел продажных судью и прокурора. Нет, народ дразнить не стоит, он знает, кто чего стоит...

Видя, что помощник приуныл, Анвар Абидович говорит примирительно:

– Не расстраивайся, Юсуф, посмотрим, чья возьмет: я тут кое что придумал, не отвертится Купыр Пулат, будет ходить в пристяжных. Бумагам, что ты добыл на него, цены нет, дорогой мой. – И, заканчивая беседу, добавляет: – Давай выпьем еще по одной, поеду ка я после обеда отдыхать в одно место... – Приятная мысль, видимо, пришла ему неожиданно, и он хитро улыбается; улыбается и помощник. – Умаял меня твой Купыр Пулат, – говорит секретарь обкома и разливает на этот раз коньяк сам: чувствуется, поднялось настроение. Выпив, возвращается к прежнему разговору – видимо, он крепко занимает его. – Если выйдет по моему, подарю я махмудовского жеребца Арипову, вот уж обрадуется аксайский хан.

– А если не получится? – вырывается невольно у помощника – он чувствует момент для коварных вопросов.

Вопрос не ставит хозяина кабинета в тупик. Закрывая сейф, он небрежно роняет:

– Вот тогда и сгодятся твои дружки – судьи и прокуроры...

И, довольные пониманием друг друга, они долго и громко смеются.

Помощник убирает поднос с остатками "Варцихи", бокалы и собирается уйти тайным ходом. Есть вход со двора, из сада, прямо в комнату отдыха – через него проводит он к Анвару Абидовичу людей, связь с которыми хозяин кабинета не хотел бы афишировать, ну и женщин, конечно. Но шеф останавливает его, словно читает мысли своего помощника, которого держит при себе уже лет двадцать, с тех пор, как стал в глухом районе секретарем райкома.

– Действительно Нурматов уехал в Ташкент на совещание? – спрашивает он нехотя.

– Я все проверил, Анвар Абидович, угадал ваше желание: он сейчас в прокуратуре республики на совещании по вопросу о случаях коррупции и взяточничества в органах милиции.

– Он что, делится там опытом? – И оба прыскают со смеху, и неуверенность шефа пропадает.

– Впрочем, если бы Нурматов был в Заркенте, разве он вам помеха, мешал когданибудь? – скабрёзно улыбается помощник.

– Пошлый ты человек, Юсуф, – мягко журит хозяин. – Родственник он мне все таки, и не забывай, кто я, – мораль, традиции блюсти следует.

Помощник, обходя красный ковер стороной, покидает кабинет, раздумывая, сказать ли ожидающим в приемной, что секретаря обкома после обеда не будет и лучше прийти завтра, но в последний момент

передумывает и молча скрывается за тяжелой дубовой дверью с надраенной медной табличкой "Ю.С. Юнусов" – апартаменты у них с шефом напротив.

Анвар Абидович поднимает трубку прямого телефона: хоть и не положено по чину начальнику областного ОБХСС Нурматову иметь двузначный номер, а он распорядился установить, уравнивал с членами бюро, двух зайцев убил сразу. Вроде возвысил свояка, поднял его авторитет, и для себя удобство: раньше Шарофат от безделья вечно на городском висела, не дозвонишься, а этот всегда свободен, пять аппаратов, один даже в ванной велел поставить – не любит он ждать. С другого конца провода тотчас слышится капризный голос Шарофат:

– Забыл свою козочку, заркентский эмир?

Анвар Абидович говорит ласковые, нежные слова, у него и голос изменился сразу, но тут же неожиданно переходит на прозу жизни, спрашивает, есть ли в доме обед, и, получив ответ, обещает быть через час. Положив трубку, он связывается по внутреннему телефону с обкомовским поваром и заказывает обед; знает, что через полчаса все будет аккуратно уложено в машине – выездное обслуживание шефа для того не внове.

Помощник с утра, еще до прихода Махмудова, принес кипу бумаг на подпись, а он не успел утвердить и половину и в оставшиеся полчаса, пока внизу лихорадочно пакут в корзины обед, хочет покончить хоть с этим делом. Он вяло пробегает глазами одну бумагу, вторую, но сосредоточиться не удастся, а цену своей подписи он знает, оттого и отодвигает красную папку в сторону. Слишком утомительным, нервным оказалось и для него единоборство с секретарем райкома Махмудовым.

Осенью, накануне массовой уборки хлопка, вызвали Пулата Муминовича Махмудова в область на пленум. Дело обычное, ежегодное, и Пулат Муминович никак не думал, что после этой поездки в Заркент у него начнется иной отсчет жизни. После заседания его разыскал помощник первого секретаря обкома и просил не уезжать, а утром явиться на прием. О чем предстоит разговор, какие цифры следует, как обычно в таких случаях, подготовить, тот не сказал, неопределенно пожал плечами и удалился. Но и тут Пулат Муминович не подумал, что разговор будет касаться его лично – со дня на день он ждал торговую делегацию из Турции, собиравшуюся закупить крупную партию каракулевых овцематок. Вызов он связывал с купцами из Стамбула, знал слабость первого лица в области – любил тот приезды иностранных гостей, не избегал возможности пообщаться с прибывшими в Заркент по туристическим визам знаменитостями, а уж встречать официально, как хозяин, бизнесменов из за рубежа, когда предвидел большую прессу, и даже зарубежную, с обязательной фотографией, где он на переднем плане показывал какое нибудь передовое хозяйство, тут уж тщеславный коротышка Тилляходжаев, которого за глаза называли Наполеоном, все дела отодвигал в сторону.

Пулат Муминович даже обрадовался персональному вызову: дело в том, что уже с год в сельхозотделе обкома партии лежала его подробная докладная с выкладками, цифрами, расчетами, вырезками из газет, журналов, снимками о том, что он намерен вместо одного нерентабельного хлопкового хозяйства создать племенной конезавод, чтобы как с высокоэлитными каракулевыми овцами и с каракулем выйти на мировой рынок и с чистокровными скакунами. Однажды в Москве Махмудов случайно попал на аукцион и удивился, как охотно покупали породистых коней и какие астрономические суммы за них платили. Рассчитывал он на поддержку в обкоме, потому что ни копейки не просил у государства – деньги у него имелись свои; нашел он и специалистов, знающих толк в коневодстве, и на свой страх и риск уже имел небольшую конеферму с сотней лошадей, среди которых выделялся один ахалтекинский скакун, жеребец Абрек и арабских кровей, тонконогая дымчатая, в яблоках, кобыла Цыганка. Начинать пришлось бы не на пустом месте.

Не скидывал он со счетов и тщеславия первого, а поэтому указал среди прочего, в каких странах и городах ежегодно проходят аукционы: красавец конь – не овца, с ним не грех попасть на обложку популярного журнала, сопровождая своих лошадей на торги.

Весь вечер секретарь райкома проверял домашние выкладки, доводы, расчеты, готовился к разговору о конезаводе, даже разузнал, что друг Тилляходжаева, директор известного на всю страну агрообъединения, дважды Герой Социалистического Труда Акмаль Арипов, большой любитель чистокровных скакунов и что у него в головном хозяйстве в Аксае в личной конюшне есть редкой красоты лошади, чья родословная известна специалистам и лошадникам всего света.

В назначенное время Пулат Муминович появился в обкоме, и помощник тотчас доложил о нем, но в кабинет попал не скоро. О такой привычке первого секретаря он уже знал, слышал, что иных тот держал у себя в "предбаннике" и по пять часов. Давал понять, что не жалуется приглашенного, хотя, помариновав в приемной, принимал любезно – вроде не знал об утомительных часах ожидания назначенной самим же аудиенции. Видимо, в средневековых трактатах начитался о ханских церемониях – те обычно любили покуражиться над просителями и подчиненными.

Принял он Пулата Муминовича перед самым обедом. Встретил холодно, не подал руки и даже традиционного восточного расспроса о здоровье, житейном бытии и детях не устроил, хотя они с ним виделись давно. Усадил он Махмудова в отдалении за стол штрафников, как называли между собой секретари сельских райкомов это место, но Пулат Муминович успел увидеть на столе папку со своим личным делом – скорее всего, хозяин роскошного кабинета специально положил ее на виду. И Махмудов понял, что пригласил его не ради разговора о турецкой делегации или о конезаводе, к которому он основательно приготовился.

Даже мелькнула мысль: вот он, час расплаты, за нерешительность и беспринципность.

Пулат Муминович, конечно, знал о странностях и причудах характера первого – такое быстро становится достоянием подчиненных. Знал он и о гигантомании Тилляходжаева: все его проекты, предложения поражали размахом, широтой, щедростью капиталовложений. Но если бы они не отрывались от реальности, от нужд людей и могли когда-нибудь претвориться в жизнь.

Один из молодых инструкторов обкома однажды сказал о своем новом партийном руководителе:

– Манилов, строящий прожекты, лежа на диване, и опирающийся все таки на свои личные средства, – наивное и безобидное дитя; но маниловы, получившие безраздельную власть и вовлекающие в свои бесплодные фантазии миллионы людей и государственные финансы, – это монстры, новые чудовища парадоксального времени.

Убийственная характеристика дошла до ушей первого – братья по партии постарались, и через полгода в одной из служебных командировок внутри области неосмотрительного человека арестовали – подложили деньги, якобы взятку, в номер, нашелся и лжесвидетель.

В кабинете прежнего секретаря обкома Пулат Муминович бывал часто, многим своим начинаниям получил "добро" и поддержку, но сейчас он его не узнавал.

Размах отразился и тут: апартаменты увеличили за счет двух соседних комнат, но все равно, наверное, не получилось, как того хотел хозяин, чтобы шли к нему по красной ковровой дорожке долго долго, чувствуя дистанцию.

Поражал размерами и стол, несуразность которого бросалась в глаза не из-за его величины, а из-за пропорций, – он оказался невероятно низким. Персональный дизайнер с мебельной фабрики учел наполеоновский рост владельца кабинета и его маршальские замашки. Оттого и примыкавший к письменному длинный стол для совещаний тоже выглядел карликовым. Кабинет отремонтировали недавно, и Пулат Муминович представил, каково будет просиживать за такими столами на уродливо низких стульях на долгих совещаниях разносах, что любил устраивать первый.

Говорили, что он чуть ли не патологически не выносил рослых людей, впрочем, это не относилось к прекрасному полу, и потому круто пошли в гору малорослые руководители. По видимому, он не сомневался, что со временем за специально заказанными столами появятся только подобные ему люди.

Не оттого ли он посадил Пулата Муминовича в отдалении, чтобы не чувствовать его явного физического превосходства. Махмудов как то читал книгу о делопроизводстве на Западе, как там комплектуются руководящие кадры в отраслях, и обратил внимание, что претенденту с явно выраженными физическими недостатками вряд ли доверят высокий пост, судьбу людей, коллектива, потому что собственный комплекс ущербности в какой то момент может отразиться на отношениях с подчиненными, а значит, и на деле. Сейчас Пулат Муминович видел, как ему казалось, классический пример, подтверждающий эту концепцию.

Станный вышел разговор, если длинный, путаный монолог Наполеона можно было бы так назвать; он даже рта не дал раскрыть Пулату Муминовичу. Махмудов, слушая человека, от которого зависела его судьба, вдруг

невольно вспомнил Муссолини из того трофейного документального фильма, что видел в Москве студентом. Казалось, что общего между бесноватым дуче и маленьким круглым человеком с пухлыми руками, сидевшим за полированным столом аэродромом? И тут он понял, что люди в толпе или такие, как он, одиночки моментально попадали под гипноз власти и силы. Эти гнетущие чары ничего, кроме страха и послушания, не внушали, а флюиды страха, излучаемые из тысяч душ, глаз, сердец, поразительным образом питали, множили силу "избранника народа".

Может, параллель с дуче возникла оттого, что первый сидел с тщательно выбритой головой. В хлопковую уборку, по жаре, он мотался по глубинкам области, и его чисто мусульманская манера не могла не броситься в глаза людям: о том, что внешняя атрибутика играет огромную роль, действует на массы, он, конечно, хорошо знал. Говорили, что в сельских районах на вечерние застолья с окрестными председателями он любил приглашать аксакалов и, когда ужин заканчивался, первым, как бы по привычке, по внутреннему убеждению, делал мусульманский жест "оминь", что невероятно подкупало, трогало до слез ветхих стариков, и росли, множились легенды о верности первого мусульманским традициям, его набожности.

Хотя Пулат Муминович точно знал от близких людей, что религия ему чужда, не имел он веры в душе. И вот теперь бритая голова перед очередной поездкой в глубинку вместе с "оминь" наверняка произведет впечатление на народ.

Испытывал ли страх Пулат Муминович? Пожалуй, хотя внешне это вряд ли проявилось – Махмудов владел собой. То, что он ощущал, не имело четкого определения, но все таки очень походило на страх, если он и не хотел признаваться себе в этом. Многие ныне испытывали панический ужас при персональном вызове в обком. Пулат Муминович, конечно, не думал, что при его тесте Иноятове в этих стенах царила партийная демократия, единодушие, согласие и любовь и не было случаев самоуправства, но тогда было ясно, что поощрялось, что порицалось, и меньше оказывалось двусмысленности. И позже, при преемнике Иноятова, они ходили сюда с волнением на разносы, но без животного страха за жизнь – страх пришел с этим маленьким, ловким и проворным человечком: вот его действия, поступки, мысли всегда оказывались непредсказуемыми и для многих кончались крахом, крушением судьбы. С его приходом Пулат Муминович ощутил, что в области один хозяин, диктатор, и что Ташкент и Москва ему не указ, и не оттого, что далеки от его владений, а по каким то новым созревшим обстоятельствам, не совсем понятным ему, на годы застрявшему в глубинке.

Когда Махмудов пришел к подобной мысли, он невольно глянул на карту страны, висевшую у него в кабинете, и подумал, что такой огромной страной правят не выборные органы, не Совмин, не ЦК, не Госплан, а человек триста секретарей обкомов. Люди, имеющие реальную власть, знакомые между собой, автоматически являющиеся депутатами Верховного Совета страны, членами ЦК и в Москве, и у себя в республиках, а если внимательно подсчитать их представительство – еще в десятках всяких органов. Занимают они ключевые посты пожизненно, как его тесть Иноятов, умерший, так сказать, на боевом посту, и его преемник, тоже скончавшийся в служебном кабинете по причине преклонного возраста. Такая власть, наверное, никакому влиятельному масонскому ордену не снилась...

Говорят, однажды к Тилляходжаеву на прием пришел депутат Верховного Совета с каким то требованием и, видя, что его не очень внимательно слушают, сказал несколько раз настойчиво: я – депутат!

В конце концов хозяину кабинета надоело слушать настырного посетителя, и он на его глазах порвал жалобу и спокойно сказал:

– Ты избранник народа, потому что я так хотел. А теперь иди, не мешай работать и считай, что мандата у тебя больше нет, а в следующем созыве депутатом станет другой бригадир, раз не хватает ума воспользоваться упавшим с неба счастьем.

Так оно и случилось.

И все таки что то общее между дуче и хозяином кабинета было, хотя вряд ли тот держал апеннинского диктатора за образец – находились примеры куда ближе. Но говорил он, лицедействуя и так же низко опустив и набычив тяжелую голову, порой заговаривался, переходил то на шепот, то на крик, то сверлил взглядом, испепеляя собеседника, то невольно надолго упирал взгляд в стол, бормотал что то отвлеченное, не имеющее вроде отношения к делу и вдруг оборачивавшееся неожиданной гранью, чтобы придать предыдущей фразе или всей мысли зловещее звучание.

Нет, не прост был новый секретарь обкома, не прост, и в сумбуре его речи, если быть внимательным, сосредоточенным, не потерять от испуга и волнения контроль, можно было четко уловить странную последовательность мышления, паразитирующую на страхе сидящего перед ним человека. Пожалуй, манера внешне бессвязной речи, предполагавшей множество толкований, оттенков, легко позволявшая развить, если надо, диаметрально противоположную идею или, при случае, потом вовсе отказаться от сказанного, невинно утверждая, что его не так поняли, сближала дуче и хлопкового Наполеона.

Как бы ни был неприятен Тилляходжаев Махмудову, он не мог не отметить зловещего таланта первого, с каждой минутой речи пропадало ощущение его заурядности, ущербности, позерства, хотя чувствовались и игра, и режиссура, забывался и смешной стол аэродром, и карликовые стулья и не бросался уже в глаза наполеоновский рост. Видимо, он все это знал, чувствовал и потому всегда долго говорил, уверенный, что он своим бесовством задавит любого гиганта, в чьих глазах уловит скрытую усмешку по отношению к себе.

Одним из таких "усмехающихся" он считал Пулата Муминовича, зятя бывшего хозяина перестроенного кабинета, руководителя самого крепкого района в области. Хотя Инояттов никогда Тилляходжаеву ничего плохого не сделал, даже наоборот, когда то рекомендовал в партию, ему очень хотелось увидеть мужа его дочери на кроваво красном ковре жалким и растерянным, молящим о пощаде. Многие большие люди ползали тут на коленях, и ни одного он не спешил удержать от постыдного для мужчины поступка, более того, тайно нажимал ногой под столом на сигнал вызова, и в кабинет всегда без предупреждения входил помощник, а он уж знал, что жалкая сцена должна стать достоянием общественности. Холуй понимал своего хозяина без слов.

Впрочем, окончательно уничтожить, растоптать Махмудова Тилляходжаев цели не ставил – слишком большим авторитетом тот пользовался у народа, да и хозяйства у него на загляденье. Не всякому верному человеку, целившемуся на его район, удалось бы так умело вести дело, а ведь кроме слов, прожектов нужны были иногда результаты, товар лицом – нет, не резон хозяину кабинета перекрыть до конца кислород гордому Махмудову. Хотелось лишь воспользоваться счастливо выпавшей удачей и заставить того гнуться, лебезить, просить пощады и в конце концов пристегнуть к свите верноподданных людей, и еще: чтобы всю жизнь чувствовал себя обязанным его великодушию. Материал, которым он случайно разжился, на Махмудова, если им умно распорядиться, вполне достаточен, чтобы поставить на судьбе Пулата Муминовича крест.

Если бы Тилляходжаев не посвятил свою жизнь партийной карьере, из него, наверное, мог получиться писатель, весьма оригинально мыслящий, а главное, не ординарно излагающий мысли, восточный Кафка, так сказать. Почти час он говорил наедине с Махмудовым, ходил словесными кругами (из кресла он почти никогда не вставал, знал, в чем сила его), поднимая и снижая тональность разговора, нагнетая страх и оставляя порою заметную щель – лазейку для жертвы. Что удивительно – он несколько раз брал в руки личное дело Пулата Муминовича, даже демонстративно листал его, делая там какие то пометки толстым синим карандашом, на сталинский манер, но ни разу не сказал конкретно, в чем обвиняется секретарь райкома. Не сказал ни слова о его отце, расстрелянном как враг народа, ни о том, что он фактически живет по чужим документам и скрыл от партии свое социальное происхождение, хотя знал, кто он, чей сын. Ни словом не вспомнил о золоте, о садовнике Хамракуле ака, о его бывшем тесте Инояттове, поддерживавшем его в начале партийной карьеры.

Но трудно было сумбурную, эмоциональную речь назвать бессмысленной, хотя, как упоминалось, он не ставил прямо в укор ни один поступок, ни один факт, и даже намеки, от которых холодела душа и становилось не по себе, казались абстрактными. Он делал вид, что держит под рентгеном всю прошлую жизнь Пулата Муминовича, и пытался внушить мысль о своем всеисии, о том, что в его возможностях проанализировать до мелочей каждый прожитый день Махмудова, – словом, бесовщина какая то – тяжело устоять под таким напором...

Впрочем, изнемогал, сохранял из последних сил волю не только Пулат Муминович – устал кружить, набрасывать сети с разными ячейками на собеседника и сам властолюбивый хозяин кабинета, устал и держать ногу на звонке под столом, потому что много раз ему казалось: вот сейчас Махмудов должен сорваться с места и упасть на зловеще знаменитый красный ковер или хотя бы начать молить о пощаде.

Но всякий раз, когда Наполеон, казалось, праздновал победу, ибо никто прежде не выдерживал его умело выстроенных психологических атак, невозмутимый Махмудов хранил молчание, ждал, хотел узнать, в чем же его обвиняют.

"Крепкий орешек", – подумал секретарь обкома и решил на всякий случай напугать основательно. Давая понять, что аудиенция окончена, на прощание сказал:

– Надеюсь, вы поняли вину перед партией, и я со всей свойственной мне принципиальностью считаю, что вам в ней не место. Однако такой вопрос я один не решаю, но уверен: бюро обкома не только поддержит мое предложение, но и пойдет дальше – возбудит против вас уголовное дело. Чтобы впредь другим было неповадно пачкать чистоту рядов партии, в ней нет места протекционизму, в ней все равны – ни родство, ни влиятельные связи, ни старые заслуги не спасут.

Когда Пулат Муминович, не попрощавшись, молча уходил из кабинета, у самой двери его еще раз достал голос Тиляходжаева:

– И будьте добры, не покидайте Заркент в ближайшие два дня – я не собираюсь откладывать ваш вопрос в долгий ящик.

Он откидывает голову на высокую спинку кресла, закрывает глаза и мягко массирует надбровные дуги – такую гимнастику лица посоветовал ему один ученый человек. Нарождающаяся головная боль быстро проходит. То ли действительно массаж подействовал, то ли оттого, что вспомнил Шарофат.

– Шарофат... – говорит он вслух, нараспев, и лицо его расплывается в довольной улыбке. – Цветок мой прекрасный, самое дорогое мое сокровище, – шепчет он страстно и довольно таки громко, забывая, что находится на службе. Мысли о Шарофат, о предстоящем свидании уносят его из обкомовского кабинета.

Шарофат – младшая сестра его жены, она моложе Халимы на восемь лет. Женился Наполеон, по восточным понятиям, поздно, почти в тридцать, – бился за место под солнцем, то есть за кресло. Самый видный жених в районе – это о нем, и выбор имел ханский – каждая семья мечтала породниться с Тиляходжаевыми. Коммунизм, социализм или еще какая форма государственности была или будет – не имеет значения: люди в округе знали и знают – Тиляходжаевы всегда Тиляходжаевы, белая кость, родись с ними – не пропадешь. Оттого, несмотря на свой неказистый рост, он взял красавицу из красавиц Халиму Касымову. "Такая пери раз в сто лет в округе рождается", – говорили аксакалы, занимающие красный угол в чайхане. Какие орлы убивались по ней в округе да и в Ташкенте, где она училась!

Только два курса университета успела закончить Халима – больше просвещенный и облеченный властью муж не позволил, считая, что для жены и двух курсов много.

В кого пошли три дочери рядового бухгалтера Касымова из райсобеса – великая тайна природы, потому что и отец, и мать ни красотой, ни статью особо не отличались, а девочки у них – глаз не отвести!

И старшая сестра Халимы – Дилором, когда училась в Ташкенте, вышла замуж за хорошего человека и жила теперь в столице – муж ее крупным ученым стал.

Дом Тиляходжаевых, куда привел молодую жену Анвар Абидович, конечно, разительно отличался от дома скромного собесовского бухгалтера Касымова – иной уровень, иные возможности. Родня тут – святое дело, отношением к ней и проверяется человек, в родне он черпает силу и поддержку, родня и есть основной клан, на который делает опору восточный человек. И неудивительно, что младшая сестренка Халимы, красивая и смышленная Шарофат, считай, дни и ночи пропадала у Тиляходжаевых и быстро стала любимицей в доме; родители Анвара Абидовича сокрушались, что у них нет в семье еще одного сына – уж очень нравилась им Шарофат.

А когда пошли у Халимы один за одним дети, Шарофат оказалась в доме просто бесценной. Позже, когда Шарофат сердилась, она не раз говорила Анвару Абидовичу: ваши дети у меня на руках выросли. Впрочем, так оно и было.

В восьмом классе Шарофат догнала ростом и комплекцией старшую сестру – сказывалась акселерация и в жарких краях. Не раз, приходя домой, Анвар Абидович заставал Шарофат у зеркала в нарядах жены.

– Нравится? – говорила она, нисколько не смущаясь, и не менее изящно, чем манекенщицы, которых она видела только с экрана телевизора, демонстрировала перед ним платье или костюм.

Делала она это зачастую кокетливо и слишком смело для восточной девушки. Наряды действительно оказывались ей к лицу, и носила она их увереннее, элегантнее, чем жена, и Анвар Абидович, не кривя душой, признавался:

– Нравится, восхитительно!

Больше чем игру милые шалости Шарофат у зеркала он не воспринимал. Однажды, училась она тогда уже в девятом классе, приехал Анвар Абидович на обед домой; Халима находилась в роддоме. Шарофат вбежала в летнюю кухню в белом платье сестры, которое Анвар Абидович привез в прошлом году из Греции. Пройдясь перед ним, словно по подиуму выставочного зала, Шарофат спросила:

– Ну как, буду я первой красавицей на школьном балу?

И тут Анвар Абидович впервые увидел в ней взрослую девушку, очень похожую на свою жену, но уже отличавшуюся иной красотой, – время и условия в доме наложили на нее свой отпечаток. Есть в ней что то европейское, изящное, отметил он тогда про себя, а вслух вполне искренне сказал:

– Конечно, Шарофат, ты сегодня как лебедь белая.

– Спасибо, Анвар ака, – обрадовалась Шарофат, – мне очень хочется нравиться вам, – и, неожиданно подбежав, поцеловала его.

Уходя, она на миг остановилась в дверях и сказала возбужденно:

– Как повезло моей сестре, что вы взяли ее в жены!

Тилляходжаевы часто принимали гостей, и тут сноровка, аккуратность, такт, вкус Шарофат оказались кстати.

– Что бы мы без тебя делали, – не раз искренне говорил ей Анвар Абидович, видя, как она ловко сервирует стол, командует приглашенными в дом поварами, службой.

После ухода гостей Анвар Абидович часто шутя говорил:

– Шарофат, опять Ахмад ака спрашивал, когда сватов присылать?

– Рано ей замуж, пусть учится, – обычно вмешивалась в разговор Халима, зная, что действительно гости приглядываются к сестренке.

Но однажды, когда они остались одни и разговор вновь зашел о сватах, Шарофат ответила:

– Вот за вас я пошла бы замуж не задумываясь, а сын директора нефтебазы, да к тому же простолюдин, меня не устраивает – я хочу, чтобы отец моих детей был из знатного рода, как вы.

– Так я ведь женат, знал бы – подождал, – отшутился Анвар Абидович.

– Ну и что, – ответила Шарофат, – возьмите второй женой – ведь шариат не возбраняет многоженство!

Анвар Абидович, закругляя становившийся опасным разговор, ответил:

– Все то ты знаешь – и про шариат, и про многоженство, а что я идеологический работник, забыла – меня на другой же день из партии исключат.

– Пусть исключат, вы и так богаты, тогда и возьмете меня в жены, – упрямо закончила десятиклассница Шарофат.

Станный разговор запал ему в душу. Тогда Анвар Абидович и не предполагал такого крутого взлета по службе, и не мыслил, какой неограниченной властью над людьми будет обладать в крае, потому и не держал ни в голове, ни в сердце ничего дурного в отношении младшей сестры жены, хотя и очень взволновали его слова Шарофат. Только после этого разговора он стал покупать наряды и Шарофат, и видеть ее радостной ему доставляло огромное удовольствие.

Халима не раз говорила серьезно:

– Не балуйте сестру, она и так в вашем доме стала другой – строит из себя принцессу.

Но Анвар Абидович отшучивался:

– Конечно, принцесса! Пусть радуется – она же твоя сестренка.

Когда Шарофат заканчивала школу, а училась она хорошо, пришла на район разнарядка – в Москве в Литературном институте резервировалось для них одно место в счет квоты Узбекистана. Место оказалось как нельзя кстати – Шарофат мечтала стать журналисткой, баловалась стихами, писала статьи о школьном комсомоле в районной газете, да и отправить ее подальше от греха не мешало.

Когда Анвар Абидович привез ей белые туфли на выпускной вечер, в порыве благодарности она так жарко поцеловала его в губы, как не целовала до сих пор его ни одна женщина, и тогда он понял, на краю какой пропасти стоит.

Хотя претендентов на место оказалось немало и пытались даже затребовать путевку обратно в обком, поняв, что к чему, Анвар Абидович не уступил ее никому. И опять как награду видел в ее глазах не только радость, но и собачью преданность – она чувствовала себя обязанной, выше этого ее сознание еще не поднялось. Когда Шарофат уехала, он тут же забыл о ней. Сентиментальностью Анвар Абидович не страдал да и временем свободным, чтобы тосковать, не располагал. Работа, карьера, семья – чуть свет уходил, приходил затемно.

Но порою колесо судьбы делает самые неожиданные повороты и зигзаги – никто не знает, где найдешь, где потеряешь. Через два года Анвар Абидович на каком то совещании в области удачно попался на глаза самому Рашидову, произвел впечатление своей хваткой, энергией, смелостью – и тут же был направлен в Москву учиться в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Все решилось за неделю: в августе Анвар Абидович готовился к хлопкоуборочной кампании, а в сентябре уже слушал лекции на Садовой Кудринской. Перед отъездом хозяин республики лично напутствовал Анвара Абидовича в дорогу, сказал: учись хорошо, ты нужен Узбекистану, и даже обнял и поцеловал его. И тогда Тилляходжаев мысленно поклялся служить ему верой и правдой всю жизнь, идти за него в огонь и воду, не щадя живота своего, хотя тот ни о чем подобном его не просил и верности не требовал.

Так в Москве вновь переплелись его дороги с Шарофат. Перед отъездом в академию Анвар Абидович не видел ее почти год: летом на каникулы она не приезжала – проходила практику в молодежном издательстве. Узнав по телефону, что Анвар Абидович неожиданно прибывает в Москву на учебу, она умоляла его достать ей светлую дубленку с капюшоном – такие как раз входили тогда в моду. Дубленку он ей привез, купил еще какие то тряпки, но на всякий случай Халиме об этом не сказал – теперь жена могла и заревновать: Шарофат по молодости лет не скрывала, что ей нравится Анвар ака и что она завидует удачливому замужеству сестры.

В Москве Анвар Абидович раньше никогда не бывал, и Шарофат, за два года ознакомившаяся с городом, оказалась кстати. Учеба в академии давала возможность посещать театры, концертные залы, вернисажи, просмотры в Доме кино – культурной программой будущих идеологических работников занимались всерьез и основательно. И тут Анвар Абидович выглядел волшебником – доставал билеты на любой нашумевший спектакль, премьеру, концерт эстрадной звезды, кинофестиваль, творческую встречу с очередной знаменитостью. Шарофат влюбленными глазами смотрела на мужа своей сестры и гордилась им; она чутьем угадывала, какой взлет ожидает его после окончания Академии при ЦК КПСС.

Новый год отмечали небольшой компанией в ресторане "Пекин", что рядом с общежитием и учебными корпусами академии. Анвар Абидович, оглядывая роскошный зал, празднично одетых людей и хмелея от размаха веселья, музыки, подумал о переменчивости судьбы: еще полгода назад он об этом и мечтать не мог и, неожиданно склонившись, нежно поцеловал в щеку сидевшую Шарофат. В темно вишневом строгом вечернем платье, молодая, элегантная, она словно магнитом тянула к себе взгляды мужчин. Анвар Абидович видел это и втайне радовался, что имеет власть над очаровательной девушкой. В новогоднюю ночь она и стала его любовницей.

Жизнь в Москве таила не только приятные стороны; вскоре появилось раздражение – катастрофически не хватало денег. Связь с Шарофат Анвар Абидович не афишировал – на каждом курсе учились земляки, и его поведение быстро сделалось бы известным человеку, которому он поклялся служить всю жизнь. А тот, закрывая глаза на многие человеческие слабости, блудливых не любил, мораль его была пуританской, и по пуритански жестко наказывал нашкодивших. Сам человек сдержанный, ценил и в людях сдержанность. В общем, было чего опасаться, не говоря уже о семье – о разрыве с Халимой не могло быть и речи.

Общежитие Шарофат находилось на улице Добролюбова, у останкинского молокозавода; на такси уходила почти вся зарплата, что сохранили ему на время учебы. К тому же пришлось снять хорошую комнату для свиданий неподалеку от "Пекина", возле Тишинского рынка, и это стоило ему сто рублей в месяц – одним словом: деньги... деньги... деньги...

Секретарем райкома до отъезда на учебу он проработал всего три года и особенно близко к себе никого не подпускал, словно чувствовал, что когда то карьера его круто пойдет вверх. Может, сказывалась и его природная осторожность: действовал он обычно через доверенных лиц, родственников, людей из своего рода, и то, что имел, казалось ему вполне достаточным, но лишь в Москве обнаружил, что есть жизнь, на которую его денег не хватит.

Москва потрясла Анвара Абидовича не только этим открытием – он тут прозрел, понял, с каким размахом следует ворочать дела.

И когда ему однажды позвонил начальник общепита района, справился о жите быте, самочувствии, Анвар Абидович, особенно не жалуясь, сказал: "А вы бы с начальником милиции, своим другом, приехали, проведали, как мне тут живется, погостили у меня, по театрам походили..." Эти дружки особенно старательно искали к нему подход, когда он был хозяином района. Намек поняли правильно, и через неделю Анвар Абидович встречал на Казанском вокзале земляков, занимавших на двоих целое купе, – с таким грузом Аэрофлот не принимает. С тех пор жизнь Анвара Абидовича в Москве наладилась, и он особенно не раздражался: гости подъезжали с четко выверенным интервалом – ни почте, ни телеграфу аспирант не доверял.

Получил он неожиданно еще одну помощь, и весьма ощутимую, но не сумма обрадовала Анвара Абидовича, а источник. По сложившейся традиции, аспиранты после каждого курса обучения, возвращаясь домой на каникулы, заходили в республиканский ЦК, и первый их всегда принимал, расспрашивал о жите быте, о Москве, товарищах по учебе, о преподавателях. Явился с таким визитом отчетом в ЦК и Анвар Абидович, волновался страшно: а вдруг донесли и о Шарофат, и о частых гостях из района? Волнуйся не волнуйся, а избежать встречи невозможно.

Принял первый не откладывая, как только доложили, и Анвар Абидович посчитал это за добрый знак, но все равно испытывал страх и волнение, потели руки, дергалось веко. Волнение хозяин кабинета оценил как должное – наверное, отнес к величию собственной персоны и торжественности личной аудиенции. Спрашивал обо всем подробно, дотошно, но чувствовалось, что жизнь в академии он знал хорошо и ориентировался в ней не хуже своих аспирантов. Чем дольше он расспрашивал, тем увереннее чувствовал себя Анвар Абидович, успокоился – не знает, не донесли, не проведали. Впрочем, он был не так прост, чтобы выставлять свою жизнь напоказ, но ведь и догляд мог существовать изощренный – об этом аспирант уже кое что знал, но еще больше догадывался.

Заканчивая беседу, Верховный по отечески тепло спросил:

– Денег хватает? Не бедствуете? У вас, я знаю, большая семья, четверо детей?

Анвар Абидович слегка насторожился, но рапортовал без раздумий:

– Столовая в академии прекрасная, главное – недорогая. Хватает. Я привык жить скромно, – он уже ведал, что первый руководитель Узбекистана любит слово "скромность" – оно у него из часто употребляемых.

Ответ, видимо, устроил хозяина, и он загадочно улыбнулся, потом вышел из за стола, прошелся по кабинету, подошел к окну и долго смотрел на раскинувшийся через дорогу, у реки, утопающий в зелени стадион "Пахтакор".

Вот в эти минуты Анвар Абидович и натерпелся страху – не высказать.

Верховный о чем то долго раздумывал; порою казалось, что он забыл о нем. Затем он вернулся за стол, попросил секретаршу принести чай и задушевно сказал:

– Дорогой Анварджан, я ведь направляю вас в Москву не только для того, чтобы вы набрались знаний, защитили диссертации, стали учеными мужами. Ученых мужей в Узбекистане хватает, даже перепроизводство, в кого ни ткни – кандидат наук или даже доктор, первое место в стране по числу ученых людей на душу

населения держим. Я хочу, чтобы вы завели дружбу с теми, с кем учитеесь, а не варились в котле землячества и не пропадали на кухне возле казанов с пловом, как делает уже не одно поколение наших аспирантов.

Академия, на мой взгляд, это Царскосельский лицей, Пажеский корпус, Преображенский полк, если помните историю. Только оттуда выходят секретари ЦК, секретари горкомов и обкомов, министры, депутаты, редакторы газет и руководители других средств массовой информации – люди, которые совсем скоро будут править в своих республиках и регионах, и с ними вы должны навести прочные связи, мосты – вот ваша главная задача в столице, и на эту цель вам отведено целых три года. Только заручившись дружбой сильных мира сего, вы по настоящему послужите Узбекистану, его процветанию. Уяснил?

Анвар Абидович от волнения, от важности доверительного разговора потерял дар речи и только кивнул головой.

Хозяин кабинета сам разлил чай по пиалам и, нажав какую то кнопку, сказал:

– Сабир, зайди, пожалуйста, Анвар Тилляходжаев у меня из Москвы.

Вошел представительный мужчина, окинувший Анвара Абидовича внимательным взглядом, и положил на стол перед первым тоненький почтовый конверт. Как только человек, которого называли Сабиром, покинул кабинет, секретарь ЦК сказал:

– Это вам, Анварджан, для наведения мостов – отчета я от вас требовать не буду, надеюсь, что вы распорядитесь суммой разумно, и пусть с вашей легкой руки множатся повсюду друзья Узбекистана. Если возникнут дела, которые вам покажутся не по силам, звоните мне – и всегда можете рассчитывать на помощь. Я имею в виду, что если кто нибудь из преподавателей или аспирантов захочет посмотреть Самарканд, Бухару, Хиву, Ташкент – приглашайте, встретим достойно.

На прощание Верховный неожиданно спросил:

– Вас не смущает, не затрудняет моя просьба?

– Я постараюсь оправдать ваше доверие, домумла, – сказал растроганно Анвар Абидович и хотел поцеловать ему руку, но тот не позволил, сам по отечески обнял аспиранта за плечи и проводил до двери.

Ошарашенный встречей, оказанным доверием, Анвар Абидович забыл про конверт и только вечером, в поезде, по пути домой, вспомнил и вскрыл его – там лежала сберкнижка на предъявителя, на счету значилось пятьдесят тысяч рублей.

Всю ночь в поезде он не мог уснуть – душа ликовала, сердце готово было выпрыгнуть; он не раз выходил в коридор вагона остыть, успокоиться, но не удавалось, хотелось прыгать, плясать, петь. Нет, не оттого, что неожиданно получил в распоряжение пятьдесят тысяч бесконтрольных денег, нет, деньги его теперь не волновали. Радовался оттого, что стал доверенным человеком первого, цену его симпатий он знал – не всякого тот миловал, приближал к себе, но своих в обиду не давал, даже виновных, – Анвар Абидович знал это.

Еще вчера Анвар Абидович чувствовал себя виноватым перед Халимой, но после встречи в ЦК словно отпустили ему грехи и выдали индульгенцию на все будущее, он возомнил себя таким государственным человеком, на такой высоте, что связь с Шарофат показалась ему недостойной терзаний его души. Выйдя из ЦК, он почувствовал, как воспарил над людьми, и посчитал, что его поступки не подчиняются обычной человеческой морали, нравам, традициям и оттого уже не испытывал угрызений совести ни перед женой, ни перед Шарофат и ее родителями, ни перед собой. Отныне он становился сам себе судьей.

В Москве он часто скучал по дому, по семье и много раз мысленно видел встречу после разлуки – прежде он никогда так долго не отлучался от близких, но после аудиенции у Верховного вмиг сместились все ценности, доселе святые для него: дом, семья, дети. Душа его ликовала не от встречи с родными, детьми, женой, родовой усадьбой, он все еще пребывал на пятом этаже белоснежного здания на берегу Анхора и ощущал на плече надежную руку Верховного. Чувство это было так сильно, так будоражило его, что он не находил себе места в доме, не мог дожидаться вечера. Как только стемнело, он направился в мечеть. С муллой у него давно сложились приятные отношения, хотя Анвар Абидович не афишировал этой связи, но помогал мечети щедро. Он уяснил, что ислам проповедует в принципе то же, что и райком, – покорность, терпение, и обещания их

почти совпадали: если ислам сулил рай в загробной жизни, то Анвар Абидович ориентировал народ на светлое будущее. Проще говоря, два духовных наставника понимали друг друга с полуслова.

Мулла удивился и позднему визиту, и той взволнованности, которую тотчас угадал в первом мусульманине района, как он иногда говорил своим верующим, поддерживая авторитет власти. Мулла, следуя восточным традициям, хотел пригласить гостя в сад, где служки тотчас кинулись накрывать дастархан, но Анвар Абидович перебил его:

– Домулла, душа горит, сначала я хочу поклясться на Коране в верности одному человеку, а уж потом сяду с вами за ваш щедрый стол и со спокойным сердцем побеседую как прежде.

Мулла дал знак, чтобы принесли Коран. Как только подали Коран, он спросил:

– Вас заставляют присягать на верность обстоятельства или вы это делаете по внутреннему убеждению, по голосу совести?

– По зову сердца, – ответил, волнуясь, Анвар Абидович.

– Прекрасно, Аллах не любит насильственных клятв.

Аспирант, припав на колено, поклялся верой и правдой служить человеку, тепло руки которого он еще ощущал на плече.

В тот день и произошло его отчуждение от семьи: нет, он не снимал с себя принятых обязательств кормить, обувать, одевать, заботиться о ее благах, но мучиться виной, терзать себя за какие то поступки он считал теперь ниже своего предназначения на земле...

Наверное, он еще долго вспоминал бы и о молодой Шарофат, и о Москве, и о тех далеких годах, но раздался телефонный звонок, и обкомовский шеф повар доложил, что все упаковано в лучшем виде и размещено в машине. Звонок вырвал из приятных видений, и Анвар Абидович, зачастую беспричинно, моментально наполнявшийся раздражением и злобой, бросил трубку и даже не поблагодарил повара, хотя ценил его умение, а главное, доскональное знание его вкуса.

Бросив трубку красного телефона, он поднял трубку белого и, услышав голос Шарофат, буркнул одно лишь слово:

– Выезжаю...

Шарофат, привыкшая к неожиданным перепадам его настроения, необузданным, диким страстям, не удивилась, что всего полчаса назад он ворковал как влюбленный юноша, а сейчас говорил раздраженно.

В расшитом золотом ярком атласном халате с изображением резвящегося дракона на спине, она подошла к зеркалу и, поправляя тщательно уложенную прическу, увидела новый седой волосок, но убирать не стала, с грустью подумала: еще один. Оглядев себя внимательно уже в который раз, чуть чуть поддурманила щеки и слегка надушилась его любимыми духами "Черная магия" – других он не признавал и дарил ей целыми упаковками, по двенадцать коробок сразу. Добавив последние штрихи к макияжу, поспешила к двери, знала, что больше всего на свете он не любил ждать. Ни минуты! Прямо таки взбалмошный и капризный ребенок – вынь да положь сию секунду: хочу, и все!

Однажды, когда она уже была замужем, он учинил грандиозный скандал – очень хотел ее видеть, а ее не оказалось дома, ходила к подруге читать новые стихи. Вот тогда в бешенстве он поставил ей жесткое условие: отныне и навеки всегда быть дома, никуда не отлучаться, чтобы он мог найти ее при первом желании. Свободу передвижения она получала в те дни, когда он отсутствовал, уезжал на совещания в столицу или в командировки по области.

Тогда он и распорядился насчет прямого телефона. Для человека, не знавшего близко Наполеона, требование показалось бы абсурдным, но Шарофат то знала, что для исполнения своих прихотей он не остановится ни перед чем. Год от года он становился все необузданнее. Помнится, однажды во время пленума обкома партии раздался вдруг звонок по прямому телефону. Шарофат подумала, что звонок ошибочный, – по местному телевидению как раз транслировали передачу из актового зала обкома, а пять минут назад она видела Анвара

Абидовича в президиуме. Нет, звонил он сам, говорил ласково, нежно. Шарофат даже остереглась – не разыгрывает ли ее кто, и спросила:

– А как же пленум?

Он ответил, что сделал главное выступление, а сейчас часа полтора будут содоклады, затем прения, скукота в общем, и ему очень захотелось ее увидеть.

– Приезжай немедленно, машину я уже выслал, у потайного входа тебя будет ждать Юсуф.

Через десять минут она была у него в комнате отдыха, куда долетал шум аплодисментов с идеологического пленума. В тот день Шарофат никак не могла настроиться на серьезный лад, все говорила: "Без тебя пройдет такое важное мероприятие", на что он снисходительно ответил: "Ну и что, Цезарь позволял себе и не такое, а я чем хуже его, да и резолюция уже неделю назад готова". К прениям он успел и даже выступил страстно на тему о моральном облике коммуниста.

Нет, ждать он не любил.

Едва Шарофат вышла на открытую веранду коттеджа, как подъехала машина.

– Почему чернее тучи, кто огорчил эмира Заркента? – спросила ласково Шарофат, принимая в прихожей тонкий летний пиджак Анвара Абидовича – к одежде он был равнодушен и шутил, что заразился от нее вещизмом.

– Всегда найдется какойнибудь подлец, который если не с утра, то к обеду уж точно испортит настроение, – разошелся сразу Наполеон. – Ты, конечно, слыхала про Махмудова Пулата Муминовича, в области самый известный район...

– Конечно, слыхала – кто же Купыр Пулата у нас в области не знает, уважаемый человек...

– И ты туда же... "уважаемый"... – передразнил Анвар Абидович. – Так вот, твой Пулат Купыр или как там его, оказывается, сын чуждого нам элемента, скрыл от партии свое социальное происхождение, столько лет прятался... Ну и люди пошли, так и норовят к партии примазаться...

Шарофат удивленно посмотрела на него, затем отошла в сторону и, поняв, что Анвар Абидович не шутит, начала так смеяться, что выронила из рук пиджак.

Смеялась Шарофат красиво, кокетливо запрокинув голову, придерживая полы разъезжавшегося атласного китайского халата. Смех хозяйки дома сбил его с толку, и он, внезапно успокоившись, спросил мирно:

– Я сказал чтонибудь смешное, милая? – случались у него и такие переходы.

Шарофат подошла к нему, обняла и сказала:

– Если бы ты мог видеть и слышать себя со стороны, наверное, умер бы со смеху, – ты пылал таким праведным гневом, никакому Смоктуновскому такое не удалось бы...

– Да, я как коммунист искренне возмущен: таким, как Махмудов, не место в наших рядах, – завелся он вновь.

Шарофат улыбнулась и, сдерживая смех, сказала:

– Анварджан, ну ладно, Пулат Муминович чужеродный элемент, сын классового врага, но ведь и ты не прост происхождением – об этом все знают. Тилляходжаевы – знатный род, белая кость, дворяне, так сказать, князя – только за родословную я полюбила тебя девочкой.

– Да и впрямь я как то о себе не подумал, – растерялся Наполеон, но тут же нашелся: – Но я ведь специально не скрывал от партии своего происхождения, и моего отца не расстреляли как врага народа, слава Аллаху, умер в прошлом году в своей постели. И вообще – Тилляходжаевы есть Тилляходжаевы, нашла с кем сравнивать, не Махмудовы же должны править в Заркенте.

– Успокойся, милый, успокойся, разволновался из за пустяков, – и она вновь обняла его и стала целовать – она знала, как его отвлечь, чувствовала свою силу.

И в ту же секунду мысли о Махмудове отлетели куда то в сторону, показались мелкими, несущественными, у него вырвался стон, очень похожий на звериный рык, и он, не владея собой, легко поднял Шарофат на руки и понес через просторный зал в спальню.

Напрасно Шарофат отбивалась, говорила об обеде, о корзинах, что стоят, остывая, на веранде, но хлопковый Наполеон ничего не слышал.

Через полчаса он вспомнил об обеде и теперь уже сам напомнил о корзинах на веранде. Шарофат легко спрыгнула с высокой кровати красного дерева, очень похожей на корабль, – они и называли его шутя "наш корвет". Сбитые простыни, белые подушки, легкое стеганое одеяло из белого атласа издали впрямь напоминали опавшие паруса старинного корвета.

Шарофат накинула на себя заранее приготовленный кружевной пеньюар и, чувствуя, что он ею любит, чуть задержалась у трельяжа, поправляя волосы, потом вернулась и, поцеловав его в щеку, сказала:

– Потерпи немножко, через десять минут я освобожу ванную, ты ведь знаешь: у нас, бедных, только одна ванная...

Анвар Абидович понял ее намек так, что пора менять коттедж на более современный, комфортабельный, такой, в котором он жил сам. "Если я имею две ванны, то у меня шестеро детей и твои родители живут со мной", – хотел взорваться от несправедливости Наполеон, но сдержался, потому что посмотрел вслед Шарофат...

Она по прежнему выглядела прекрасно – Москва пошла ей на пользу: знала, как сохранить себя, не переела, частенько сидела на диете, порою даже голодала, устраивала разгрузочные дни. Занималась гимнастикой, а вот теперь увлеклась еще аэробикой. Отчего бы не заниматься собой – временем она располагала: я творческий работник, поэтесса, на вольных хлебах, говорила она новым знакомым гордо. Лихо водила машину, смущая местное бесправное ГАИ. В Москве ей однажды пришлось сделать от него аборт, оперировали поспешно, на дому, и детей у нее не было. Но о давнем аборте никто не знал.

– Аллах ее покарал, – твердила не раз в сердцах Халима, догадывавшаяся о связи сестры с мужем. С годами семья, быт, дети, давнее отчуждение мужа стусевали боль Халимы – она махнула на него рукой и жила только детьми.

Наполеона тянуло к Шарофат, как ни к какой другой женщине, хотя навязывались ему в постоянные любовницы и молодые карьеристки из комсомола, облизполкома, профсоюзов, но он знал их мысли наперед. Чувствовал он и тягу к себе Шарофат – с ним она была счастлива, он доставлял ей наслаждение, его не обманешь. Он понимал, что в их страсти таилось что то патологическое, обоюдно патологическое, как объяснил ему один известный врач психиатр, которому Анвар Абидович очень доверял и к которому время от времени обращался за помощью, хотя тот и жил в Ленинграде. Наверное, и впрямь патология; однажды Шарофат рассказывала, что еще сопливой школьницей, в неполных четырнадцать лет, когда ночевала у них в доме, прокрадывалась по ночам к порогу их спальни, и как волновал ее каждый вздох, каждый шорох из за двери...

Услышав, что шум воды в ванной стих, поднялся и Наполеон. В просторной спальне у Шарофат и ее мужа, Хакима Нурматова, у каждого – свой личный гардероб. Четырехстворчатый полированный шкаф Хакима занимал стену слева; по мусульманским обычаям, предписанным шариатом, именно с этой стороны должен спать муж. Вспомнил он из шариата еще одну любопытную заповедь: если простолюдин женится на женщине из рода ходжа, что бывает крайне редко, что называется, в экстремальных условиях, то каждую ночь он должен проползти под одеялом под ногами жены, и только тогда имел право лечь рядом с ней. Вот что значит принадлежать к роду ходжа!

Анвар Абидович распахнул створку знакомого шкафа, отыскивая какой нибудь халат, и от удивления присвистнул.

– Охо, сколько за месяц нанесли! – Он давно уже не был у Шарофат – дела, дела, комиссии, командировки.

Анвар Абидович отобрал халат, похожий на тот, в котором встретила его Шарофат, только золотые драконы паслись на черном атласе; особенно понравился ему тяжелый, витой, шелковый пояс – словно золотой цепью опоясывал.

Обилию халатов он не удивился, да и в шкафу оказались лучшие из лучших. А сколько их сложено где нибудь в углу – сотни! Так же, как и у него дома. А куда деться? По народной традиции везде, куда ни попадешь, норовят на тебя надеть чапан или халат, а уж начальника ОБХСС области порою в день в три халата облачают.

Наполеон завязал пояс с кистями, оглядел внимательно, как и Шарофат, свое изображение в трельяже и, довольный, засунул руки в карманы и тут же моментально вынул их – в каждой руке у него поблескивала золотая монета, царский червонец; он знал, что по нынешнему курсу цена монетки – тысяча рублей.

– Хитер свояк, и он, значит, золото решил солить, – и тут же неожиданно вспыхнул. – А что же он мне, своему родственнику и покровителю, носит грязные бумажки? Приедет, разберусь...

Секунду он раздумывал, как поступить с монетами, – о том, чтобы оставить их в кармане, он и не помыслил. И вдруг, улыбнувшись, по дороге в ванную заглянул на кухню, где Шарофат уже начинала хлопотать насчет обеда.

Он подошел к ней тихо и, ласково погладив по спине, сказал:

– Вот тебе, голубушка, от меня подарок, – и разжал перед ничего не понимающей Шарофат пухлую ладошку.

У Шарофат руки оказались в масле, и он опустил монеты ей в карман, а сам, насвистывая песенку, довольный, что отделался за счет ее мужа, направился принимать душ.

Мылся он долго и с наслаждением, и все время не шел у него из головы муж Шарофат, Хаким Нурматов.

"Как же он тайком от меня начал собирать золото? – думал он. – Почему посмел так своевольничать, не поставил в известность, не согласовал?"

И вспомнил, как поднял, возвысил безродного и нищего пса, ничтожного лейтенантика районной милиции, сделал своим родственником, доверенным лицом. Теперь этот мерзавец, заполучив полковничьи погоны, тайком от него собирал золото, которое по праву должно принадлежать только ему.

Учиться в Москве они с Шарофат закончили одновременно, но Анвар Абидович настоял, чтобы она задержалась еще на два года в столице – оставляли ее на кафедре, и появилась возможность защитить кандидатскую диссертацию по творчеству поэтессы прошлого века Надиры Бегим. Так надо, сказал Анвар Абидович, и Шарофат перечить не стала.

Вернувшись домой и вновь возглавив район, Анвар Абидович не забывал о Шарофат, о том, что следует как то определить ее судьбу и сохранить на нее права.

Однажды в застолье у начальника районной милиции, с которым он сдружился за время учебы в академии, пришла ему спасительная идея. Он спросил у полковника, нет ли среди его подчиненных заметного жениха, с одним ярко выраженным качеством – жадностью. Полковник рассмеялся, подумал, секретарь шутит, и ответил: что что, а жадность – главная черта всех его сотрудников, и старых и молодых. Посмеялись они тогда от души, но, сообразив, что гость не шутит, он тоже всерьез сказал: надо подумать. Через три дня он показал ему одного парня и, характеризуя его, сказал: этот за деньги мать родную продаст, а отца удавит. Парнем оказался Хаким Нурматов.

С месяц приглядывался к нему Наполеон и понял, что парень неглупый, беспринципен до предела и действительно патологически жаден. Когда план окончательно созрел, секретарь вызвал Нурматова к себе и без обиняков спросил: не хочешь ли ты со мной породниться? Безродный лейтенант опешил, он знал: у Анвара Абидовича незамужних сестер нет, все они давно состояли в браке и имели детей, и о разводах он ничего не слышал, в ближайшей его родне ни одной хромоножки, – на иную девушку из рода ходжа он рассчитывать не мог.

Видя его растерянность, хозяин кабинета пояснил: мол, в Москве у него учится в аспирантуре свояченица, Шарофат Касимова, сестра его жены, и на каникулах она вроде видела его, и он ей понравился, и на правах

родственников он решил поговорить с ним. Мол, есть и ему возможность поехать в Москву на полугодовые курсы работников ОБХСС, а там он может встретиться с Шарофат.

Лейтенант был неглуп, он знал, как покрывают свои шалости большие люди, выдавая своих любовниц и блудливых дочерей замуж за покладистых людей, обещая им свое покровительство. Здесь он сразу почувствовал подобное.

Конечно, лейтенант знал Шарофат, учился с ней в школе, в параллельном классе, видел летом, какая она красивая и важная стала, пожив столько лет в Москве; прямо француженка, как сказал кто то из его сослуживцев. Видя его колебания, Наполеон обронил как бы случайно: если будешь хорошо учиться, сразу после окончания станешь начальником ОБХСС района. Нурматов на меньшее и не рассчитывал – через неделю он уехал на курсы. Из Москвы он вернулся капитаном и с женой.

С тех пор Анвар Абидович и опекал мужа Шарофат, держал его рядом с собой, а став секретарем обкома, доверил ему пост начальника ОБХСС области. Надо отдать должное, проблем с Нурматовым у него не возникало: он знал свое место и понимал, за что ему выпала величайшая милость, догадывался, что любое его послушание будет стоить ему не только выгодной должности, без которой он себя уже не мыслил, но и жизни – при желании на полковника можно было каждый день по три дела заводить.

Но вот золото в карманах его халата не давало покоя – Наполеон сам любил золото именно в монетах. Сколько же он смог уже накопить червонцев, и не означает ли сей факт, что Хаким вышел из под контроля?

"Ну монеты то я у него все до одной отберу – золота в области не так много, чтобы я мог терпеть еще одного конкурента", – решил он вдруг и повеселел.

Распаренный после горячего душа, надушенный парфюмерией полковника, Анвар Абидович появился в столовой.

– Ну и нагулял я аппетит, милая, где моя большая ложка? – сказал он, озоруя, с порога.

Шарофат, поджидавшая его за накрытым столом, всплеснула руками.

– Ну настоящий китайский мандарин, только тонких обвислых усов не хватает. Вон посмотри – на вазе изображен твой двойник.

В углу столовой стояла высокая трехведерная напольная ваза кувшин старинного фарфора; с нее почти в полный рост Анвара Абидовича был изображен улыбающийся китаец с бритой головой и в таком же халате с золотыми драконами на черном атласе. Шарофат тонко понимала антиквариат – не зря семь лет прожила в Москве.

Анвар Абидович с улыбкой рассматривал двойника, затем встал в обнимку с кувшином, словно позируя для фотографа, и Шарофат ничего не оставалось, как сбегать в соседнюю комнату за "Полароидом" и сделать моментальный цветной снимок. Сходство с моделью художника так поразило секретаря обкома, что он долго не выпускал фотографию из рук, любовался, спрашивал:

– Как ты думаешь, это император? – И сам же подтвердил: – Да, похоже, очень похоже, но только мне не нравится мандарин, уж лучше китайский богдыхан, верно?

И оба весело рассмеялись.

– А где же выпивка? – спросил затем строго Анвар Абидович, оглядев стол.

– Ты разве не пойдешь на работу? – обрадовалась Шарофат.

– Нет, золотая, не пойду и вообще сегодня остаюсь у тебя на всю ночь. Имею я право загулять, как поступают мои верноподданные?

У Наполеона начинался кураж – Шарофат чувствовала это и поспешила к домашнему бару, и тут же подкатила к столу звенящую дорогими бутылками тележку с напитками. Анвар Абидович читал редко, только газеты, да и то без чего нельзя было обойтись, занимая такой пост. Но когда то, во время учебы в академии, он наткнулся то ли в поваренной книге, то ли в романе из светской жизни на указание, что к малосольной семге хороша

охлажденная водочка, к севрюге горячего копчения и вообще к рыбе – белое вино, к мясу и дичи – красное, а к кофе требуются ликер и коньяк, – это он запомнил на всю жизнь и требовал на всех застольях соблюдать этикет. Из за стола, где он оказывался тамадой, редко кто выходил трезвым.

Сегодня в обкомовском буфете была семга, нежная, розовая, жирная, и обед начали с водочки. Выпив, неспешно закусив, Анвар Абидович, как бы между прочим, спросил Шарофат в надежде, что потянется ниточка к золотым монетам, к которым пристрастился ее муж:

– Как, Хаким не обижают?

Никогда прежде он о нем не расспрашивал, не интересовался, словно того и не существовало, и вдруг такая забота. Простой человеческий вопрос несколько смутил Шарофат, и она ответила вполне искренне:

– Нет, не обижают. Но мне кажется, ему следовало бы бросить нынешнюю работу – он плохо кончит.

– Ну, ты не преувеличивай, он мне родственник все таки, и, пока я жив, ни один волос с его головы не упадет.

– Я не о том, – настойчиво перебила его Шарофат. – Его срочно следует показать хорошему психиатру – мне кажется, деньги уже свели его с ума.

– Почему? – с заметным любопытством поторопил он Шарофат. Золото не шло у него из головы.

Но Шарофат имела в виду другое: ее действительно не интересовали ни деньги, ни золото, стекавшееся в дом, обилие того и другого и поведение мужа вызывали в ней порой отвращение – оттого она искала уединения в надуманной, отвлеченной от жизни поэзии и неожиданном увлечении антиквариатом.

– Ты ведь знаешь, я не вмешиваюсь ни в твои дела, ни в его – так воспитали дома, так вымуштровал меня ты. Раньше я не замечала, как и с чем он уходит на работу и с чем возвращается, мое дело женское: чтобы он ходил аккуратным, был сыт и в доме был уют, комфорт. Но вот года два назад я стала замечать, что почти каждый день он приходит домой то с портфелем, то с "дипломатом", а уходит на службу с пустыми руками. Такое не могло не броситься в глаза, хотя, повторяюсь, я не ставила целью шпионить за мужем, вмешиваться в его дела – это я на тот случай, чтобы ты не подумал обо мне плохо. Когда в доме скопилось портфелей и "дипломатов" сотни четыре, я сказала шутя: Хаким, не пора ли нам открыть галантерейный магазин? Если бы ты видел, как обрадовался он моей идее! На другой день он привез завмага галантерейного магазина с крытого базара, и все вывезли, почистили, на радость мне, все углы в доме.

Но он опять продолжал каждый день приходить с "дипломатом" или портфелем, один мощнее другого и, конечно, с новехоньким. Сначала я думала: может, специфика работы такая – важные документы каждый день к вечеру поступают, потом отбросила эту версию – не такое уж у нас богатое государство, чтобы респектабельными "дипломатами" разбрасываться. К тому же, если бы они принадлежали МВД, значит, были бы похожи один на другой.

Потом я решила, что это – подарки: и портфель, и "дипломат" до сих пор в дефиците да и модны. Но зачем же начальнику ОБХСС тысяча "дипломатов"? Абсурд какой то! Мое женское любопытство взяло верх, и, ты уж меня извини, стала я подглядывать, когда он по вечерам, поужинав, скрывался у себя в кабинете с очередным "дипломатом" и, запершись, проводил там долгие часы. Порою я, не дождавшись его, одна засыпала в нашей роскошной спальне или в глубоком кресле у телевизора.

И что ты думаешь – оказывается, он приносил деньги... Когда меньше, когда больше, и целыми вечерами он перебирал, сортировал, пересчитывал купюры. Приносил он всякие деньги: от замусоленных рублевки до новеньких, хрустящих сотенных – эти ему были очень по душе, я видела. Если бы ты знал, с каким наслаждением он предавался своим ежедневным тайным делам! Он постоянно вел какие то записи, что то фиксировал в толстых амбарных книгах. На мой вопрос, чем он занимается по ночам, он неизменно с улыбкой вежливо говорил: служба, служба, дорогая, тайна, ты же знаешь, твой муж государственный человек, полковник. Поначалу меня это сместило, я даже развлекалась, представляя, чему он предается в единственные свободные часы: ведь он тоже, как и ты, уходит на работу спозаранку, возвращается затемно, ни суббот, ни воскресений.

Мне казалось, что, появившись ты в те вечера, когда он приезжает с "дипломатом", и займись мы любовью при открытых настежь дверях, он бы этого не заметил – так он бывает поглощен деньгами.

Через год все углы дома, кладовки, антресоли, шкафы вновь оказались забиты портфелями и "дипломатами", но тут уж выручил ты...

Анвар Абидович вспомнил, какой гениальный ход он придумал в прошлом году на похоронах отца. По мусульманским обычаям людям, пришедшим на похороны, дарят платок или дешевую тюбетейку, полотенце или рубашку. Наполеон вспомнил о чапанах и халатах, скопившихся у него дома и у свояка, начальника ОБХСС, и о портфелях и "дипломатах", о которых он, конечно, знал; не меньшее количество находилось у него самого и дома, и в шкафах просторного кабинета в обкоме; правда, до галантерейного магазина он не додумался. И на каждого пришедшего на похороны был надет чапан, и каждому вручался "дипломат" или портфель, но и тут делали подарки по рангу: кому парчовый халат и кожаный "дипломат" с цифровым кодом, а кому попроще. Таких роскошных подарков в этом краю не делал никто – даже эмир бухарский, так уверяли аксакалы, и молва о щедрости Анвара Абидовича, об уважении его к памяти отца еще долго жила в народе.

Не исключено, что среди восьмисот шестидесяти человек, посетивших в скорбный день дом Тилляходжаевых, а учет велся строго, кто то и получил обратно именно тот чапан, что сам некогда дарил секретарю обкома или его свояку, полковнику Нурматову, или тот "дипломат", в котором приносил взятку.

Надо отметить, что с похорон не только возвращаются с подарками, но и приходят туда с тугими конвертами – должностных лиц и свадьба и похороны не оставляют внакладе, и день скорби превращается в официальный сбор дани и взятки – везут и несут не таясь, прикрываясь народными обычаями и традицией.

Анвар Абидович только принимал соболезнования и конверты и до подсчета, как свояк, не снизошел, не располагал на такие пустяки временем, но жена доложила, что собрали чуть более ста тысяч.

Кто скажет, что нынче похороны разорительны?

– Я, конечно, не призналась, что знаю его тайну, только просила его почаще бывать со мной, читать, смотреть телевизор, но он упрямо говорил: нет уж, читай сама за нас двоих, а у меня дела. Но вот странно: уже скоро почти год, как он стал приходить без портфеля или "дипломата", но по-прежнему по вечерам запирается в кабинете и вновь пересчитывает деньги – наверное, поменял те трешки и рубли, что собирал годами; мне кажется, он свихнулся и переписывает в бухгалтерские книги номера своих любимых купюр...

Вот теперь то для Наполеона все стало ясно: он понял, когда свояк, как и он, перешел на золото, оттого и перестал таскать домой "дипломаты". Нет, не зря он задал в начале обеда невинный вопрос. А вслух он сказал спокойно:

– Зря ты волнуешься, милая, работа у него действительно государственной важности, трудовая, и тайн в ней много, даже от тебя, – он давал подписку. А то, что он по ночам считает деньги, так у него служба такая: знаешь, сколько они изымают нетрудовых доходов у всяких хапуг и дельцов и вообще у людей нечистоплотных. Видимо, в управлении не успевает, потому и трудится дома – тут у вас все условия, никто его не отвлекает. А с "дипломатами", портфелями выходит сущий беспорядок, безобразие, если не сказать жестче, – я ему укажу. Инвентарь и имущество беречь следует – тут ты права, умница...

– Нет, я по глазам вижу, его надо показать психиатру, – упрямо гнула свое Шарофат.

Тема Анвара Абидовича уже не интересовала: все, что надо, он вызнал, и потому, чтобы свернуть разговор, как бы смирясь, сказал:

– Ну, если ты настаиваешь – покажем, есть хорошие психиатры, и даже у нас в местной лечебнице... – Когда он произнес "у нас в местной лечебнице", у него в голове мелькнул злобный план, и от радости он чуть в ладоши не захлопал, но вовремя сдержался.

Хотелось Шарофат рассказать еще об одном случае, даже двух, наверняка, требующих вмешательства психиатра, но раздумала – боялась окончательно испортить настроение любовнику.

Проснулась она однажды среди ночи и услышала, как муж бормотал перед сном молитву; опять засиделся почти до рассвета в кабинете, считал, как обычно, деньги. Странная молитва... Он всегда бубнил себе под нос, укладываясь среди ночи рядом с женой, и Шарофат никогда не обращала внимания, считая, что это обычные суры, знакомые каждому мусульманину с детства, а в этот раз услышала – то ли молитва оказалась более внятной, то ли лучше прислушалась.

– О Аллах великий, – шептал начальник ОБХСС в ночной тиши роскошной спальни, – пусть в крае, мне подвластном, множатся магазины, склады, базы, гостиницы, кемпинги, кафе, рестораны, рюмочные, пивные, забегаловки, базары, толкучки, станции технического обслуживания. Пусть с каждым днем будет больше спекулянтов, перекупщиков, фарцовщиков, валютчиков, наркоманов, зубных техников, воров, проституток, растратчиков, рэкетиров, людей жадных, нечестных, всяких шустрил, гастроловеров, посредников, маклеров, взяточников. Пусть все они в корысти и жадности потеряют контроль над собой и станут моей добычей – пусть воруют и грабят для меня!

Пусть в моих владениях поселятся самые дорогие проститутки и откроются известные катраны, где играют на сотни тысяч, пусть центр торговли наркотиками и золотом переместится ко мне. Пусть раззявы туристы запрудят мой край на радость щипачам и кооператорам. Пусть обвешивают, обкрадывают, обманывают, недодают сдачи, недомеривают, прячут товар, торгуют из под прилавка и из под полы. Пусть процветает усушка, утряска, недолив, пусть разбавляют пиво, вино, молоко, сметану, пусть мешают в колбасу что хотят, от бумаги до кирзовых сапог – я ее не ем. Пусть ломают электронные весы, подпиливают гири, пусть торгуют левой продукцией, начиная от водки до ковров и мебели. Пусть обман процветает в ювелирных магазинах, пусть вместо бриллиантов продают фальшивые стекляшки, пусть платина в изделиях наполовину состоит из серебра. Пусть строятся люди и ремонтируют квартиры, что бы я в любой момент мог зайти и спросить: а этот гвоздь откуда, где справка, даже если он и николаевских времен.

Пусть день ото дня набирает силу дефицит, пусть все станет дефицитом – от мыла до трусов! Пусть вечно сидят на должностях и процветают товарищи, создающие дефицит, пусть здравствуют воры и хапуги и люди, выпускающие горе товары, пусть растет импорт, особенно из капиталистических стран!

Второй раз заклинание мужа Шарофат услышала через полгода; он повторил его слово в слово, не исказив ни одной строки, – поистине оно стало его молитвой. Как тут обойтись без психиатра?

Разговор о начальнике ОБХСС несколько приглушил настроение за столом, и Шарофат, чувствуя вину за неожиданную откровенность, оказавшуюся вроде некстати, предложила очень цветистый тост за здоровье Анвара Абидовича – тут уж она вставила и полюбившегося ему "богдыхана" и не преминула напомнить о его сходстве с китайским императором, улыбавшимся в углу. Здесь Шарофат сознательно брала грех на душу, потому что китаец держал в руках книгу, и люди, рекомендовавшие приобрести редкую вазу, большие специалисты по антикварному фарфору, объяснили, что это придворный поэт, а император тоже присутствовал в сюжете картины, но его изображение упиралось в угол; она, конечно, могла развернуть вазу и показать истинного императора, богдыхана, но тогда ни о каком сходстве не возникало бы и речи. И, возможно, это еще больше испортило бы самочувствие Анвара Абидовича: он вроде как сжился с образом и время от времени поглядывал в угол – сходство с придворным поэтом вряд ли внесло бы в его душу радость, а может, даже и оскорбило.

Но Шарофат, считавшая, что хорошо знает своего любовника, крепко ошиблась: сегодня у Анвара Абидовича как раз поднялось настроение, он уже мысленно подытожил, не хуже чем на компьютере, сколько же золотых монет успел скупить свояк за год, и по самым скромным подсчетам выходило немало – как тут не радоваться неожиданно свалившемуся богатству. А ход насчет психиатра, невольной подсказанный Шарофат, – да ему цены нет! И все за один вечер, за одно свидание! Он настолько расчувствовался от удачи, что невольно встал и поцеловал Шарофат. Нежный жест Анвара Абидовича она расценила по своему и тоже растрогалась – в общем, оба были счастливы.

Но Шарофат обрадовала его еще одним персональным тостом. Дело в том, что за то время, что они не виделись, Анвар Абидович успел защитить в Ташкенте докторскую диссертацию; до сих пор они были вроде на равных: оба кандидаты философских наук и оба защищались в Москве. Наполеон не располагал ни временем, ни интересом вычитывать свою диссертацию, и он доверил это ответственное дело Шарофат.

Докторская не содержала никаких открытий, но чувствовалась твердая рука профессионала, и все же Шарофат внесла несколько замечаний по существу, и материал высветился по иному, появилась какая то самостоятельность суждений. Оттого Шарофат считала себя еще одним соавтором докторской диссертации своего любовника и очень гордилась этим. На торжествах по случаю защиты в доме Тилляходжаевых Шарофат не присутствовала – накануне у нее произошел неприятный разговор с сестрой, и вот теперь они как бы вновь обмывали защиту. Напоминание о том, что он, оказывается, еще и доктор наук, прибавило

настроения секретарю обкома, и они окончательно забыли о тягостном разговоре, связанном с полковником. В конце обеда, заканчивая застолье коньяком с непременным кофе, к которому они оба пристрастились в Москве, Анвар Абидович так расчувствовался, что искренне спросил:

– А хочешь, и тебе на день рождения закажу докторскую диссертацию – Абрам Ильич успеет, он голова...

Шарофат обрадовалась, но благоразумие взяло верх:

– Нет, только не сейчас. Неудобно мне сразу вслед за вами, разговоры пойдут. Лучше подожду... года через два.

На том и порешили.

Пока Шарофат убирала со стола, Анвар Абидович прохаживался по квартире, покрутился возле библиотеки, которую хозяйка дома собирала с большой активностью и, понятно, с его помощью, но желания взять в руки книгу не возникало. Возле огромного стереофонического телевизора "Шарп" рядом с видеомагнитофоном он увидел стопку кассет; судя по новым глянцевым коробкам, эту партию фильмов полковник конфисковал недавно – раньше у него черно белых кассет "Басф" не было. Вот фильмы Наполеона интересовали, и он включил сразу и деку и телевизор.

Дома из за детей, да и Халима возражала, не удавалось смотреть порнографические фильмы – они то больше всего и привлекали секретаря обкома; его постоянно занимала мысль: откуда же столько аппетитных женщин для съемок находят на Западе? Фильмы они обычно смотрели с Шарофат, и азартный Анвар Абидович время от времени взвизгивал от страсти и восторга, ширял в бок любовницу и говорил:

– Смотри, не кандидат наук, а что вытворяет – высший класс, учись! – и громко смеялся.

Подобная откровенная вульгарность сначала смущала Шарофат, но потом она перестала ее замечать. Опьяненный всевозрастающей властью в крае и республике, Наполеон день ото дня становился необузданнее, пошлее; он уже не прислушивался ни к чьему либо мнению, ни к чьим то замечаниям, перестал обращать внимание и на ее советы. Был только один человек, которому он внимал с почтением, но с тем он встречался редко, и тот вряд ли догадывался о сущности любимого секретаря обкома.

Перебрав пять шесть кассет, он наткнулся на интересовавший его фильм, но смотреть в глубоком велюровом кресле, в котором иногда засыпала Шарофат, не стал, откатил телевизор в спальню, ближе к "корвету" – они и прежде смотрели домашнее кино в постели.

Минут через десять на его страстные призывы появилась в спальне Шарофат, но фильм смотреть отказалась, потому что уже трижды смотрела его с мужем и дважды с подружкой. Сослалась же на то, что хочет заняться ужином, побаловать богдыхана – так и сказала – домашним лагманом и слоеной самсой с бараньими ребрышками. Наполеон покушать любил, и идея Шарофат пришлась по душе – гулять так гулять, но отпустил ее на кухню все же с сожалением.

Но минут через десять нажал на пульт дистанционного управления и выключил телевизор – смотреть секс фильм, когда рядом нет красивой женщины, показалось ему неинтересным, не возникал азарт, к тому же опять выплыла откуда то мысль о Купыр Пулате, и отмахнуться от нее легко не удалось, хотя и попытался. Впрочем, мысль не совсем о Купыр Пулате – волновал больше его ахалтекинский жеребец Абрек, на которого позарился Акмаль Арипов. Конечно, аксайский хан мог выложить Махмудову и сто тысяч долларов, имел он и контрабандную валюту, а мог отсыпать и золотыми монетами по льготному курсу, только ведь Пулат Муминович думал о деньгах, что поступят в казну; вряд ли зеленые доллары, как и николаевские червонцы, волновали его, иначе бы он сам прибрал к рукам остатки золотой казны Саида Алимхана, хранимой до сих пор садовником Хамракулом.

Жеребец мог стать причиной разрыва с аксайским ханом – он уже не раз намекал Анвару Абидовичу: мол, давай употреби власть, на твоей же территории пасется Абрек, твой же вассал Купыр Пулат.

А ссориться Наполеону с Акмалем Ариповым не хотелось, и не оттого, что оба в одной упряжке и оба доверенные люди Верховного, а оттого, что тот стремительно набирал силу и в чем то пользовался большим влиянием, чем он, хотя Анвар Абидович – секретарь обкома крупнейшей области, а тот лишь председатель агропромышленного объединения, а уж по финансовой мощи и сравниваться смешно.

– Я – Крез, а ты – нищий, – сказал ему как то аксайский хан по пьянке, шутя, но его слова запали в душу Тилиходжаеву – тогда он и стал усердно копить золото. И сегодня, заполучив случайно остатки казны Саида Алимхана и мысленно прибавив золотишко, собранное свояком Нурматовым, он уже не считал себя нищим, хотя с аксайским Крезом ему еще тягаться и тягаться.

Председателя Октябрьского агрообъединения опасался не только Наполеон – беспокоили его растущее влияние и амбиции и самого Верховного: он то и высказал мысль, что за Акмалем нужен глаз да глаз. Наверное, если бы Арипов находился на партийной работе, Верховный держал бы его рядом, в Ташкенте, или отправил куда нибудь послом в мусульманские страны, как поступал всякий раз, чувствуя конкуренцию или сильного человека рядом, и контроль обеспечивался бы сам собой, а теперь менять что то в жизни Арипова оказывалось поздно. Он имел свое ханство в республике, расхожее выражение "государство в государстве" тут не подходило. И осуществлять за ним догляд оказывалось делом непростым: он в полном смысле перекрыл все дороги, ведущие в Аксай и из Аксая, и денно и нощно на сторожевых вышках дежурили люди в милицейских фуражках, хотя им вполне могли подойти басмаческие тюрбаны. Оттого и дружбы с ним терять было нельзя – единственная дорожка в Аксай могла закрыться, и тогда думай, что он там замышляет, кого против тебя или против Верховного настраивает. Как бы Акмаль ни был хитер и коварен, а пьяный за столом, спуская пары, кое о чем всегда проговаривался. Только нужно было умело слушать и с умом поддерживать разговор.

Нет, ссориться ему с любителем чистопородных скакунов нельзя никак, и все упиралось в упрянца Махмудова: не мог же он сказать ему, как любому другому, – отдай коня Акмалу и не кашляй! Да, другому, видимо, и говорить не пришлось бы: только намеки, сам сведет Абрека в Аксай – кто не знает в крае Арипова, любой за счастье сочтет, что удостоился чести посидеть за одним с ним дастарханом. А ответ Пулата Муминовича он знал заранее: обязательно сошлется на конезавод, на государственные интересы, наверное, еще и пристыдит, скажет, почему потворствуете байской прихоти, не по партийному это. Чего доброго, и на народ ссылаться начнет; говорят, он всерьез верит, что народ – всему хозяин. Возможно, поэтому его любят? Нет, путь напрашивается один: нужно сломить, запугать, заставить служить Махмудова заркентскому двору, тог да и вопрос с жеребцом решится сам собой.

"Надо уравнивать его жизнь и жизнь жеребца!" – мелькнула вдруг догадка, и от зловещей мысли он расхохотался, восхищаясь своим умом. Смех донесся до кухни, где Шарофат чистила лук для самсы, и она порадовалась хорошему настроению человека, желающего хоть внешне смахивать на китайского императора.

"Да, смутные настали времена, – продолжает рассуждать секретарь обкома, – очумело начальство от шальных денег, вышло из под контроля. Теперь, пожалуй, и сам Верховный не знает, сколько хлопка приписывают на самом деле: пойди проверь, все ждут не дождутся осени, когда из государственной казны полетится золотой дождь, успевай только хапать. Хотя год от года все больше ропщет народ, пишет в Москву о том, что до первых снегов держат голодных людей на пустых полях; о детях, забывших, что такое школа и детство; о желтухе, что косит старого и молодого; о бутифосе, отравляющем все живое вокруг; о молодых женщинах, задержанных жизнью, не видящих впереди просвета и перспектив и для себя, и своих детей и оттого сжигающих себя. Страшные живые факелы пылают иногда в сезон свадеб! Но слава Аллаху, что письма эти возвращаются в Ташкент, к самому Верховному с пометкой: "Разберитесь", а тут и разбираются на местах, добавляют еще плетей строптивым и непокорным, чтобы и другим неповадно было жаловаться на счастливую жизнь в солнечном Узбекистане.

До чего дошли, – возмущается Анвар Абидович, – жаловались на его друга, аксайского хана, гонцов в Москву снаряжали, да не вышло ничего, хотя сумели добиться комиссии ЦК КПСС. Казалось, куда выше, да не знали они силы и власти Арипова, его миллионов. Для пущей объективности проверку жалоб с людьми из ЦК КПСС возглавил работник Президиума Верховного Совета Узбекской ССР, депутат Бузрук Бекходжаев, он и вынес окончательное решение: ложь и клевета. Мол, лучшего хана, то бишь председателя, Героя Социалистического Труда, депутата Верховного Совета Акмаля Арипова, нет и не будет. Ликуй и радуйся народ, что повезло вам с таким уважаемым на всю страну человеком. Недешево досталось такое заключение аксайскому хану. В поте лица пришлось поработать продажным следователям из прокуратуры республики, чтобы назвать белое черным, а черное – белым.

"Ворон ворону глаз не выклюет", – сказал какой то дехканин, узнав о вердикте высокой правительственной комиссии. Конечно, эти слова тут же донесли Акмалю, и тот той же ночью своей рукой отрезал язык дехканину, чтобы не сравнивал уважаемых людей с птицей, питающейся падалью..."

Нет, народ не очень тревожит Наполеона. Он убежден, что народ терпел и терпеть будет, а если взбунтуется – вон какая карательная сила в руках, говорят, на одного работающего два милиционера приходится. Гложет душу другое: разжирев на хлопковых миллионах, каждый начал тянуть одеяло на себя, возомнил себя великим и мудрым. Взять того же Акмаля: кто знал этого неуча, бывшего учетчика тракторной бригады, а поди ж ты – сегодня министры, секретари обкомов в ногах валяются.

А каратепинский секретарь обкома что о себе возомнил: в обход Ташкента открыл прямой авиарейс Каратепа – Москва и Каратепа – Ленинград! Кто то подумает, что о благе людей своей области заботился, – ничего подобного: показал первому, что и он не лыком шит. За два года первоклассный аэропорт со взлетным полем для тяжелых самолетов отгрохал: мол, знай наших! Нет, такое чванство ни к чему хорошему не приведет, сказал ему на последней встрече Верховный с грустью, а он мудр, политик, время чует, и Анвар Абидович полностью разделяет его мнение, и не только оттого, что когда то поклялся на Коране служить ему верой и правдой.

Дошло до слуха Верховного, что каратепинский партийный вожак мнит себя столь сильной личностью, что однажды, выступая в большом рабочем коллективе, сказал, что, мол, я получил от вас социалистические обязательства на будущий год, где вы, обращаясь в обком, называете меня "наш Ленин". Нескромно это, товарищи, не по партийному, хотя я и горд такой оценкой моей работы трудовыми массами. Говорят, слова секретаря обкома, потонули в громе аплодисментов, начало которым задали коммунисты. Умело запущенное в обиход, в сознание людей "наш Ленин" – это тоже в пику первому, его не проведешь.

Нет, Анвару Абидовичу раздоры между коллегами, хозяевами областей, ни к чему, ему выгодно единоначалие, его задача крепить власть Верховного, вождя, а для этого и союз с Акмалем Ариповым, которого они между собой называют басмачом, тоже пока годится. "Если бы удалось сравнить аксайского хана с каратепинским секретарем обкома, – размечтался Наполеон, – вот бы порадовался Верховный..." Но шансы тут минимальные, и мечта быстро гаснет. Конечно, предоставлялся верный шанс расправиться с Ариповым руками комиссии ЦК КПСС, но непонятно, почему Бекходжаев спас любителя чистопородных скакунов от верной гибели: в пику Верховному или, наоборот, по его просьбе?

Может, понимали, что, развенчав легенду о волшебном хозяйственнике, о его "семи этажах рентабельности", подрывали миф о сказочной республике Узбекистан, витрине Востока, где все цветет и пахнет и труженики каждый день едят плов и танцуют андижанскую польку?

А может, пожалели заодно репутацию известных писателей и журналистов, и не только Ташкента, что воспевали ложные достижения деспота, не замечая произвола, рабовладельческого строя вокруг, хотя только пожелай увидеть – выйди из за богато накрытого стола, шагни в первый переулок безлюдного Аксая...

А может, просто дрогнул Верховный, постарел, испугался акмалевских нукеров, которыми и сам при случае пользовался?

Все домыслы останутся теперь загадкой, тайной для Анвара Абидовича – не спросит же он об этом прямо у Верховного.

"Но будь моя воля, – рассуждает Тилляходжаев, – я бы расправился с Ариповым руками Москвы – такие люди нужны были шестьдесят лет назад в басмаческом движении, когда гуляли в крае, наводя ужас, Джунаид хан и курбаши Курширмат, а теперь другое время, иные методы..."

А тут и новые перспективы вроде для некоторых открылись – зачастил в республику с инспекционными визитами зятек Леонида Ильича, генерал МВД Чурбанов. И в степной Каратепе, и в благородной Бухаре, и в святом Хорезме, и других областях встречали генерала по хански. Да и как же не встречать, если его в Ташкенте принимали как главу иностранной державы по высшему разряду, со всеми почестями дипломатического этикета: военным парадом, пионерами, толпами согнанных на улицы людей и даже торжественное заседание ЦК посвятили приезду сиятельного зятя, отчитались как бы перед ним, стоя приветствовали его в зале и президиуме, ладоши поотбивали в бурных аплодисментах. И каждый в областях

норовил заручиться его дружбой в своих интересах на будущее и настоящее, в поисках самостоятельного выхода на Москву.

Анвара Абидовича на этот раз оттерли от важного гостя – проморгал он момент, хотя заезжал молодой генерал с женой и в Заркент, и принимал он их не хуже, чем в Каратепе, но откровенно на дружбу не навязывался, держался с достоинством, чем наверняка удивил гостя. Считал генерала выскочкой, временщиком, сделавшим карьеру выгодной женитьбой, как его свояк Нурматов, и понимал, что власть у того, пока жив тесть. У Анвара Абидовича своих друзей в Москве хватало, тех, с кем он учился много лет назад в академии, – советы и помощь Верховного оказались кстати, многие его однокашники круто пошли в гору. Вот тут перспективы серьезные, основательные; они знают, кто у них в Узбекистане настоящий друг и на кого нужно ставить карту, только бы подвернулся случай. Нет, зять, пусть даже и генерал полковник, первый заместитель министра, – слишком зыбко, несерьезно...

И после каждой его инспекции начинались кадровые перемещения в республике. Своих людей ставит на ключевые посты, даже оттер на вторые роли Яллаева, министра внутренних дел, старого товарища Верховного, заменил на Пирмашева. Хотя один другого стоит, тот пример, когда от перемены мест слагаемых сумма не меняется; Анвар Абидович знал обоих хорошо: алчные, жестокие люди.

"Может, в противовес им выпестовал Верховный Арипова и потому не отдал его на растерзание Москве?" – мелькнула неожиданная догадка. Рашидов – человек дальновидный, мог предусмотреть и этот шанс: нужна узда и для МВД – слишком большая власть у них на местах.

Нет, он ни в коем случае не должен поддерживать смуты и раздоры и тянуть одеяло на себя прежде времени, как пытаются делать иные каратепинцы, бухарцы, джизакцы и самые влиятельные "господа ташкентцы", ну и конечно, Акмаль Арипов, который представляет не область и даже не род, клан, а самого себя. "Я – тимурид", – говорит он тем, кто интересуется его родословной: оттуда, мол, у меня тяга к власти, могуществу, богатству, и кровь меня не страшит, а пьянит.

Надо бы всех вновь вернуть под знамена Верховного: мол, пусть, уходя, он и назовет имя преемника – вроде как справедливо и у каждого есть свой шанс. Но Анвар то Абидович знал, что в этом случае возможности у него предпочтительные, и не только оттого, что более образован, родовит, доктор наук, учился в столице, имеет прочные связи и выходы на Москву, а прежде всего тем, что он ближе всех Верховному по духу, – в этом Тилляходжаев не сомневался.

Серьезные мысли гложут душу Наполеона, он забывает и про секс фильм, который не досмотрел, и про Шарофат, и про аппетитный ужин, что специально готовится для него, и даже про золото полковника Нурматова, в чьей роскошной постели он удобно расположился. И опять всплывает в памяти, вроде как некстати, Пулат Муминович. "Как с ним все таки поступить?" – впервые всерьез задумывается Анвар Абидович. И вдруг думает, что неплохо бы использовать авторитет, уважение в народе в своих целях: например, предложить Махмудова Верховному – тот, наверное, сумеет определить место человеку, не погрязшему в воровстве и бесчестии, порою нужны и такие люди.

И вспоминается ему долгий зимний вечер в Москве в здании узбекского представительства, где он провел приятные часы наедине с Верховным, – тогда он уже заканчивал аспирантуру и рвался домой.

Сейчас он не помнит, по какому же поводу первый высказал такую вот мысль, да это и несущественно, важно, что она теперь оказалась к месту и, считай, спасла Пулата Муминовича от тюрьмы.

"Русские, – говорил он своим бархатым, хорошо поставленным голосом, – искоренили свою аристократию и интеллигенцию в революцию, оставшихся добили в гражданскую, а тех, кто чудом уцелел от того и другого, сгноили в тюрьмах и лагерях или выгнали на чужбину, а двум поколениям их детей закрыли доступ к образованию. Мы должны учесть их опыт и бережно относиться к своей аристократии и интеллигенции".

Выходит, законопать он в тюрьму Пулата Муминовича – нарушит наказ своего учителя, пойдет против его воли, а тот может и разгневаться, если узнает еще, что отец Махмудова расстрелян в тридцать пятом году и распалась семья, род и теперь, спустя полвека, повторилась история. Да, мрачная получилась картина – за такое Верховный и его не погладит по головке.

Надо придумать что нибудь другое, рассуждал Анвар Абидович, и в ближайшие дни возбуждение уголовного дела Пулату Муминовичу не грозило. А там, кто знает, – переменчиво настроение Наполеона. Но сегодня ему хочется думать только о приятном, хватит для него и изнурительной борьбы с Махмудовым – весь день сломал, выбил из колеи... Вдруг до него доносится из кухни песня – поет Шарофат; у сестер Касымовых приятные голоса – об этом знают все в округе. Хорошее сегодня у нее настроение, и он доволен, что решил остаться на ночь, хотя дел у него не впрокорот, и, смягчаясь душой, думает, что он не совсем справедлив к нынешнему дню, даже если и был в нем упрямый Махмудов.

"Вот если Верховный сделает меня своим преемником, – передается он вновь сладким мечтам, – перво наперво я сокращу области, перекрою всю карту, оставлю их всего четыре пять..." Ведь правил же краем один генерал губернатор Кауфман с небольшой канцелярией и без современных средств связи, дорог, автотранспорта, авиации. А взять хотя бы Саида Алимхана, владыку бухарского эмирата, остатки казны которого перекочевали теперь к нему, – и тот правил с минимальным штатом. И толку будет больше и меньше конкурентов, а уж пять шесть верных людей, которые тоже поклянутся ему на Коране, он всегда найдет.

От канцелярии Саида Алимхана мысль невольно переключается на остатки казны эмира. С наслаждением он вспоминает, как доставили ему верные люди и ханское золото, и его хранителя, некоего садовника Хамракула, служившего при дворе с юных лет. Сообщение о золоте эмира казалось столь неправдоподобным, что Наполеон распорядился немедленно доставить Хамракула ака, и его привезли через три часа из района Купыр Пулата. В обкоме шло совещание, но Юсуф дал знать, что невероятный груз доставили, и Анвар Абидович быстро свернул заседание и, сославшись на экстренные дела, выпроводил всех и даже велел помощнику отпустить секретаршу и запереть дверь, чего не делал и тогда, когда принимал в комнате отдыха любовниц.

Увидев золото, много золота, он сразу потерял интерес к старику и не очень задержал того, хотя поначалу мыслил принять внимательно, с почтением. Он и слушал его вполслуха и ничего толком не запомнил, потом Юсуф пересказал ему подробно: что, где, когда, откуда. А тогда он спешил как можно скорее остаться наедине с хурджином, в котором старик доставил остатки эмирской казны. Вначале, ослепленный блеском золотых монет, он хотел щедро отблагодарить Хамракула ака, дать ему две три сотни рублей, и даже в душевном порыве полез в карман за портмоне, но в последний момент передумал и велел Юсуфу накормить аксакала и лично доставить его домой – этим он избавлялся от помощника на весь вечер.

Оставшись один, Наполеон осторожно высыпал содержимое хурджина на ковер – такая замечательная получилась картина, что хозяин кабинета даже на какую то минуту пожалел, что никто не видит лучшей на свете композиции – золото на красном ковре! Что там Рубенс, Гойя, Модильяни, Рафаэль, Тициан, реализм, кубизм, импрессионизм... Вот он, настоящий импрессионизм, – радует не только глаз, но и душу, золото само есть высшее искусство!

Все шедевры мира вряд ли могли всколыхнуть душу Анвара Абидовича так, как содержимое грубого шерстяного хурджина, обшитого внутри заплесневелой кожей.

О как пьянила голову эта картина, ноги сами просились в танец! И он пустился в пляс вокруг рассыпанной груды золотых монет и ювелирных изделий. Никогда первый руководитель области так азартно не танцевал ни на одной свадьбе, как в тот вечер у себя в обкомовском кабинете. Танцевал долго, до изнеможения, а потом свалился рядом и сгреб все золото к груди. Мое! Мое! – хотелось кричать, но не было сил – выдохся.

В тот вечер он долго не уходил с работы: ничего особенно не делал, лежал рядом с золотом, осыпая себя дождем монет, пересыпая их с одного места на другое, строил из червонцев башни, даже выстелил золотую дорожку посреди ковра – удивительно приятное занятие, не хотелось складывать золото на ночь обратно в хурджин и прятать в сейф. Он прекрасно понимал полковника Нурматова, пересчитывавшего по ночам деньги, – редкое удовольствие, можно сказать – хобби, мало кому в жизни выпадает счастье играть в такие игры.

Он так ясно вспомнил тот вечер, что слышал звон пересыпаемых из ладони в ладонь монет. О, звон золота – Анвар Абидович знал, как он сладок! Он закрыл глаза, словно отрекаясь от предметного мира, чтобы слышать только этот ласкающий сердце звук, и не заметил, как задремал.

И снится Анвару Абидовичу, улыбающемуся на мягких китайских подушках лебяжьего пуха, под сладкий звон золотых монет странный сон. Будто входит он к себе в кабинет на бюро обкома из комнаты утех в халате,

расшитом золотыми драконами, из гардероба полковника Нурматова, подпоясанный шелковым поясом, а на груди у него сияют три ордена Ленина и Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, которую Шарофат игриво называет Гертруда, и депутатский значок – естественно, он поважнее любых Гертруд и оттого называется поплавок, ибо только он гарантирует непотопляемость на все случаи жизни. Такого набора нет ни у одного сенатора, ни у одного конгрессмена, ни в какой стране не отыскать, разве только покопаться в прошлом. Поистине императорская пайцца!

"Здравствуйте, я ваш новый император", – говорит он, низко кланяясь собравшимся на бюро.

"Долой! – взрывается зал. – Не хотим богдыханов и мандаринов! Да здравствуют конституционные свободы!"

Анвар Абидович оглядывает роскошный халат начальника ОБХСС и понимает, что напутал с гардеробом, и, успев в паузе выкрикнуть в возбужденный зал: "Товарищи, не волнуйтесь, я сейчас", мигом скрывается в комнате отдыха.

Появляется он вновь в парчовом халате, в белоснежной чалме, и на лбу у него горит алмаз "Владыка ночи" невиданных каратов.

"Отныне я решил Заркентскую область переименовать в Заркентский эмират и прошу называть меня теперь "ваша светлость", "ваше величество"... "

Какой шум поднялся в кабинете – Анвар Абидович раньше не помнил таких волнений ни на одном бюро:

"Долой самодержавие! Долой принцев крови! Свобода! Демократия! Сухой закон!"

И Анвара Абидовича словно ветром сдуло из родного кабинета, и не успели остыть страсти, как он снова предстал перед товарищами по партии.

Зеленовато красный мундир и белые панталоны оказались непривычны Анвару Абидовичу, да и высокие сапоги с ботфортами жали, но он, придерживая спадающую треуголку (привык, что ни говори, к тюбетейке), твердым шагом прошел к родному столу и рывкнул:

"Начинаем бюро Заркентского обкома..."

Какой свист, улюлюканье поднялось за столом аэродромом.

"Монархия? Нет! Долой карточную систему и талоны! Спиртное – народу! Наполеона – на Корсику!" – кричал тишайший начальник областного собеса.

Прихрамывая, держа под мышкой треуголку, под которой оказалась наманганская тюбетейка, Анвар Абидович вновь поплелся переодеваться. На этот раз выбирал костюм более тщательно. Китель, застегнутый под горло, защитные галифе, мягкие, из козлинки, сапоги. Он еще застал такую униформу и чувствовал в ней себя уютно, надежно.

Но что стали вытворять знакомые товарищи, коммунисты, хотя Анвар Абидович не успел и слова сказать! Вошел в зал задумчиво, заложив кисть правой руки за борт кителя между третьей и четвертой пуговицей сверху.

"Какие нынче времена! Выгляните в окно! Возврата к галифе и защитным френчам не хотим! Да здравствуют Карден, Хуго Босс, Зайцев и Адидас!" – размахивал откуда то взявшимся красным знаменем, которых так не хватает у него в области, грузный заведующий отделом легкой промышленности.

"Ну ладно, – согласился Анвар Абидович, – у меня осталась еще одна попытка", – видимо, у них на предыдущем бюро какой то уговор был.

Вернулся он вновь к своему гардеробу в комнате отдыха и достал обыкновенную тройку из Португалии фирмы "Маконда", светло серую с тонкой голубой полоской; на таком фоне особенно выигрышно смотрится вишнево красный, скромный депутатский значок.

Как все вдруг переменялось в просторном кабинете с красным ковром! Стало привычно знакомым, родным. Появление Анвара Абидовича встретили стоя, бурными аплодисментами, взволнованными криками. Но какое тепло исходило от этих здравниц! Каждое знакомое до слез лицо лучилось улыбкой, доброжелательностью; не

верилось, что еще полчаса назад они требовали: свободы для печати, выборности органов, изменения правовой системы, каких то конституционных свобод и гарантий – в общем, бред всякий...

"Начнем, товарищи", – жестко сказал Анвар Абидович, занимая карликовый стул, и тут же проснулся...

На кухне продолжала петь Шарофат, рядом на полу лежал халат с драконами, но без золотых монет, и Анвар Абидович успокоился.

А в это время в гостиничном номере томился неведением Пулат Муминович. Он и представить себе не мог, какой страшный, многоликий, беспринципный человек ему противостоял.

Все то, чем хотел Тилляходжаев просто поугубить, не на шутку встревожило Пулата Муминовича; обком он покидал в большом расстройстве и смятении – хозяин области добился таки желаемого результата.

С приходом Тилляходжаева в область здесь пошла резкая смена кадров, и Пулат Муминович не знал теперь, кому позвонить, с кем можно посоветоваться. Те несколько человек, что уцелели на своих местах и хорошо знали его, были настолько напуганы силой и влиянием хозяина, что вряд ли чем либо помогут, – их более всего волновали собственные кресла. И нравы круто изменились в партийной среде. Он остерегался довериться кому то, ибо где гарантии, что через полчаса разговор не станет достоянием Тилляходжаева, – слышал Махмудов и такое. Пугало его предупреждение об уголовной ответственности, якобы не исходящее от самого первого. Что это значит? Как понимать? Уже ждет сфабрикованное дело и готовы присягнуть – на чем угодно и в чем угодно – лжесвидетели? И такие факты случались в области. Впрочем, когда в районе приходится вмешиваться во все хозяйственные и административные дела, нетрудно подыскать и "объективную" причину для возбуждения уголовного дела. Наши реальные условия и потребности сплошь не стыкуются с законами, а крючкотворы от Фемиды всегда готовы услужить власть имущему.

Даже если, по счастью, и выпутаешься из ложных наветов, докажешь, что кристально чист, – в партии уже не состоишь, потому что, не дожидаясь решения суда, даже момента предъявления обвинения, сразу лишают партбилета. И долго надо потом ходить, чтобы восстановиться, а пятно от того, что привлекался к суду, остается на всю жизнь, и место твое уже занято тем, кому оно предназначалось. Как и всякий уважающий себя честный человек, он ощущал, кроме бессилия, жгучий стыд за происходящее, понимал, что на бюро возникнет вопрос и об ордене Ленина, которым наградили его всего полгода назад. Вот орден ему возвращать не хотелось – не поднялась бы рука отцепить с парадного костюма.

В гостинице у него случился приступ глубочайшей депрессии, и он посчитал, что лучший выход из создавшегося положения – уйти из жизни, тогда все – грязь, бесчестие, ожидавшее его, его детей, семью, – отпадало само собой. Он вполне серьезно осматривал номер, но предметов, подходящих для быстрой смерти, не находил. Не мог он выброситься из окна или прыгнуть под поезд – слишком был на виду в области; ему требовалась тихая, скромная смерть, не бросавшая ни на кого тени, особенно на тех, кто организует пышные похороны и назначает детям пенсии. Если бы он оказался в роковой час дома, трагедия случилась бы наверняка – Пулат Муминович имел прекрасное автоматическое ружье "Зауер" и иногда, по осени, выезжал на охоту. У себя в комнате он организовал бы все как следует, не дал промашку, навел на мысль о случайном выстреле, несчастном случае. Но, к счастью, шок вскоре прошел.

Наверное, он быстро справился с депрессией, потому что вспомнил своих сыновей дошколят, Хасана и Хусана, молодую жену Миассар, сыновей студентов в Ташкенте от брака с Зухрой, которым предстояло одному за другим защищать дипломы, – каково им будет без него? Он помнил свое сиротство, интернаты, хотя до детдомов в данном случае не дошло бы, наверное, – Миассар сильная женщина. Но мысль о судьбе детей заставила взять себя в руки, и мысль о самоубийстве отодвинулась на второй план.

Нельзя сказать, что покой, самообладание вернулись к нему окончательно – он все еще находился в подавленном состоянии. В его возрасте и положении потерять власть равносильно катастрофе. Больше двадцати лет он был хозяином района, и вдруг стать рядовым гражданином – это все равно что прозреть на старости от врожденной слепоты, узнавать мир, людей заново, совсем другими, потому что в голове уже давно устоялся образ мира.

А чем он будет заниматься, как добывать хлеб свой насущный, если исключат из партии? Ведь как инженер он давно дисквалифицировался. Пойдет куда нибудь завхозом с окладом в сто рублей или все таки возьмут его

инженером куда нибудь на строительство с зарплатой в сто шестьдесят? Как на такие жалкие деньги прокормить, обустроить, одеть семью, дать детям образование? Мясо в районе стоит шесть рублей килограмм.

Ворох неожиданных вопросов обрушивается вдруг на Пулата Муминовича – о таких проблемах жизни он раньше не задумывался, некоторые и не предполагал. Одна безрадостная дума вытесняет другую, и нет в перспективе просвета, если потерять должность и партбилет.

Что делать? Как жить дальше? Сохранить честь и достоинство? Он знает, слышал о слабости первого, его надменности, величии, наполеоновских амбициях: если приползти на коленях, присягнуть на верность, покаяться, может, и помилует, – ведаёт Махмудов и о таких случаях.

Но не может Пулат Муминович представить себя кающимся на кроваво красном ковре; он запрещает себе даже думать об этом и произносит мысленно: лучше уж смерть! Как потом считать себя мужчиной, отцом, смотреть в глаза любимой Миассар?

Перебирая новые варианты жизни, из которых ни один не обещал радостных перспектив, хотя он и пытался убедить себя, что не так страшно работать инженером или рядовым советским служащим – живут же миллионы людей на скромные зарплаты, не ропщут и вроде счастливы, вдруг он подумал, что напрасно не придаёт значения последней угрозе Тилляходжаева, сказанной вдогонку: возможно, бюро проголосует за то, чтобы отдать его под суд.

За что – Пулат Муминович не думал; зная местные нравы, он не сомневался, что за поводом дело не станет. Вот этот вариант действительно пугал своей мрачностью, и жизнь рядовым инженером или прорабом уже не показалась ему столь беспросветной.

"Сколько мне могут дать – три, пять, десять лет?" Знал, что мелочиться не станут, – гигантомания первого сказывалась и на приговорах строптивым. Любой срок виделся крахом, смертью. В области, правда, не у него в районе, понастроены лагеря заключённых, и он знал, какова там жизнь, условия, нравы, знал и о том, что бывшее начальство, особенно партийное, в тюрьмах выживает редко.

В подавленном состоянии, внутренне шарахаясь от одной неприятной мысли к другой, просидел Пулат Муминович в номере до позднего вечера. Сгущались сумерки, и следовало зажечь огни, но страх, пропитавший душу, словно отнял у него силы, парализовал волю, и он, как прикованный, продолжал сидеть в кресле – темнота в дальних углах просторной комнаты навевала тревогу. Весь день у него не было и крошки хлеба во рту, но голода он не ощущал, хотя, наверное, выпил бы, но спуститься в ресторан, встречаться с людьми, где многие его знали, Махмудов не хотел. Неизвестно, как долго просидел бы секретарь райкома в таком настроении и как дальше развивались бы события, если б вдруг не раздался громкий стук в дверь. Очнувшись от тягостных дум, Пулат Муминович решил, что не к нему, в соседний "люкс", но настойчивый стук повторился.

"Неужели так быстро раскрутили дело и меня требуют на срочное бюро?" – подумал хозяин номера и поднялся. Включив свет, он на секунду задержался у зеркала, поправил галстук, причёску – ему не хотелось выглядеть перед гонцом жалким и подавленным.

У двери стоял Эргаш Халтаев, сосед, начальник районной милиции, рослый, гориллоподобный человек. Три года назад перевели его из соседней области к нему в район – раньше он занимал более высокую должность, да крупно проштрафился, и его убрали подальше от глаз, от людских пересудов. Пока окончательно не угасли страсти в связи с прежним делом, сидел он в районе тихо, смирно, особенно не высывался, но вот с приходом Тилляходжаева расправил крылья, запетушился. Нет да нет, райкому приходилось вмешиваться в дела милиции. Короче, у них сложились довольно натянутые отношения. Но, увидев соседа, Пулат Муминович искренне обрадовался: ему хотелось сейчас с кем нибудь поговорить, а может, даже излить душу – такое состояние, как сейчас у него, наверное, бывает раз в жизни. Не каждый же день мы всерьёз задумываемся о самоубийстве.

– У меня тоже в Заркенте оказались дела, – говорил, улыбаясь, Халтаев, – за день не управился. Оформляясь в гостиницу, увидел внизу вашу фамилию, думаю, дай загляну на всякий случай, может, понадобится, тем более днем, в обкоме, слышал от помощника, что первый вызывал вас на красный ковер.

– Да, было дело, – как можно беспечнее ответил Пулат Муминович, приглашая гостя в комнату.

– А может, мы пойдем поужинаем, мне не удалось сегодня пообедать, – предложил начальник милиции, оглядывая номер.

– Я бы с удовольствием поужинал и даже выпил, но, честно говоря, идти в ресторан нет настроения, мне кажется, что если не весь Заркент, то жильцы нашей ведомственной гостиницы наверняка знают, что я побывал на знаменитом ковре, и мне не хочется выслушивать соболезнования и сочувствия – сейчас я больше нуждаюсь в конкретной поддержке, помощи делами, поступками.

Халтаев внимательно посмотрел на своего секретаря райкома.

– Но вы так не отчаивайтесь, безвыходных положений не бывает. Просто вы не привыкли к разносам, вы ведь у нас в области передовой, прогрессивный руководитель, обласканный, и даже орден Ленина имеете. А у первого, я его давно знаю, манера такая – сразу любого лицом в грязь; к подобной обработке действительно трудно привыкнуть, тем более с вашим характером и положением... – И тут же, не dokonчив мысль, сказал: – А если душа просит выпить, выпьем, я тоже с удовольствием составлю вам компанию. Побудьте еще минут десять один, а я спущусь вниз и распоряжусь насчет ужина и спиртного.

Вернулся он скоро в сопровождении двух официанток, кативших тележки, через несколько минут пришла и третья, весьма игриво посмотревшая на Пулата Муминовича; она принесла на подносе спиртное и минеральную воду. Когда они втроем быстро сервировали стол и удалились, Махмудов сказал:

– Такой роскошный стол накрывают по случаю удачи, праздника, но никак не на панихиду.

На что Эргаш Халтаев бодро ответил:

– Отбросьте черные думы – еще не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Такую глыбу, как вы, своротить и Тилляходжаеву непросто, он же знает, каким вы авторитетом пользуетесь у народа.

– Уже своротил, – обреченно сказал Пулат Муминович, переливая водку из рюмки в большой бокал для воды и долил его до края.

Халтаев, молча наблюдавший за ним, проделал то же самое.

– Ну, вам не обязательно поддерживать меня в этом, – мрачно пошутил секретарь райкома, на что начальник милиции вполне серьезно ответил:

– Я привык разделять горе и радость тех, с кем сижу за столом. На меня можете положиться, не тот человек Эргаш, чтобы бросить в беде соседа...

Вроде обычная застольная фраза – в иной ситуации, наверное, Пулат Муминович пропустил бы ее мимо ушей, тем более зная кое что о своем соседе, но сегодня она сразу легла на душу, и Халтаев уже не казался ему неприятным.

Пулат Муминович не испытывал особой страсти к спиртным напиткам, тем более редко пил водку, о чем, кстати, Халтаев знал, но внутри у него сейчас все горело, и ему казалось, что алкоголь заглушит тоску, освободит от опутывающей сознание петли страха.

Пулат Муминович наполнил бокалы еще раз, и снова Халтаев не возражал.

– Знаешь, Эргаш, – сказал секретарь райкома откровенно, от души – видимо, водка, выпитая на голодный желудок, на расстроенную нервную систему, действовала мгновенно, – наверное, кроме тебя, многие знают, что я попал в беду – не зря же помощника Тилляходжаева зовут Телетайп грязных слухов, но сегодня за столом со мной рядом оказался только ты. Спасибо, если выкарабкаюсь, не забуду твоей верности.

– Обязательно выкарабкаетесь, – подтвердил начальник милиции, и они выпили.

– Еще раз спасибо, но вроде он вцепился в меня крепко, обещал отдать под суд.

– Вас под суд? – чуть не поперхнулся боржоми Халтаев.

– Да, да, меня. Так что помочь ты мне не в силах, а тот, кто может, кто вхож к нему и сегодня ходит в фаворитах, не стучит в дверь, как ты, думает: все, сочтены дни Махмудова.

Халтаев слушал внимательно; для могучего организма полковника два бокала водки только разминка, тем более, на самом деле, в обед его угощали в чайхане жирным пловом.

Чувствуя, что через полчаса Пулата Муминовича развезет окончательно, он сказал:

– Зря вы думаете, что я не могу помочь вам. Не знаю, в чем он хочет вас обвинить, почему и как вы попали в капкан, но в свое время я оказал Тилляходжаеву такую услугу, что ему вовек со мной не расплатиться. Кстати, это доподлинно его слова, и я тот разговор предусмотрительно записал на магнитофон. Не паникуйте раньше времени, посмотрим, чей капкан надежнее, – рассмеялся Халтаев.

– Не в капкане, наверное, дело. Скорее всего, мой район пришелся кому то из его дружков по душе, и он решил его одарить, а может быть, шутя в карты проиграл – ведь, говорят, равнодушен он к ним.

– Возможно, – уклончиво ответил Халтаев, но тут же продолжил: – Да, я слышал, есть люди, которые за ваше место готовы выложить сто тысяч. Мне даже говорили, кто уж очень настойчиво рвется в наш район.

– Сто тысяч... – растерянno проговорил Пулат Муминович, – за место первого секретаря райкома?

– Да, сто тысяч. За наш район не грех и двести потребовать – все хозяйства, как один, прибыльны, греби деньги лопатой. За год все вернуть можно.

От этих слов Пулат Муминович стал трезветь и спросил:

– И кто же, если не секрет, готов заплатить за мое место сто тысяч?

– Я же поклялся, что готов помочь вам в беде, поэтому какие секреты – Раимбаев из соседнего района. Он председатель хлопкового колхоза миллионера. Видимо, надоело ему ходить в хозяйственниках, хочет продвинуться по партийной линии, на Ташкент метит – с большими запросами мужик, и рука мохнатая наверху есть...

– А я живу как на необитаемом острове, – сказал с тоской Махмудов.

Халтаев снова налил и сказал:

– Не печальтесь, Пулат Муминович, я и мои друзья не оставим вас в беде: если надо будет дать отступного за вас – выплатим не меньше Раимбаева. Последнего не пожалеем, но в обиду не дадим...

Хозяин номера растрогался чуть ли не до слез. Они долго сидели за богато накрытым столом, клялись друг другу в вечной дружбе и любви. Еще раз приходила игривая официантка, приносила водку, но чары больше в ход не пускала, поняла, что происходит что то серьезное и мужчинам не до нее – работала она тут давно и хорошо чувствовала ситуацию. Пулат Муминович не опьянел ни через полчаса, ни через час, как рассчитывал Эргаш Халтаев, – наверное, разговор его отрезвил или обильная еда: индюшка, казы, курдская брынза, зелень, холодная печень с курдюком и особенно чакка нейтрализовали водку, к тому же он обильно запивал ее боржомом.

Исчез опутавший душу страх, появился какой то просвет, и жизнь впереди не казалась мрачной, как несколько часов назад; чем дальше катилось застолье, тем больше он верил в возможности Халтаева. Жалел об одном – что за три года не удосужился узнать конкретнее, на чем погорел в свое время полковник, какие люди стояли за ним и кому он помог сохранить кресла, уйдя в добровольную ссылку на периферию. Раньше мышинной возне, как он брезгливо говорил, Махмудов не придавал значения, а зря.

– Так что мне делать, Эргаш, ждать бюро или уезжать домой? – спросил ближе к полуночи секретарь райкома.

– Какое бюро? Огонь надо гасить сразу: если дело зайдет далеко, тогда и самому Тилляходжаеву трудно контролировать положение. Я ведь не знаю, в чем он намерен вас обвинить. Впрочем, как я вижу, вам совершенно неизвестна закулисная возня за кресла и должности, вы счастливчик, вам все досталось на блюдечке с голубой каемочкой – я ведь помню вашего тестя Иноятова. Теперь уже поздно учиться играть в такие игры, да и не нужно, понадейтесь на меня. Я думаю, завтра отведем от вас беду.

Предъявлю и я свои векселя: мне кажется, он давно ждет, когда обращусь к нему за помощью, – не любит никому быть обязанным и хотел бы поскорее рассчитаться со мной и забыть давний случай. Посмотрим, чья

вина, чьи грехи перетянут, хотя, готов побиться о любой заклад, мне он не откажет. Так что, Пулат Муминович, спите спокойно, и, как говорят русские, утро вечера мудренее. А сейчас я с вами распрощаюсь, пришлю дежурную, чтобы убрала и проветрила комнату, и отдыхайте, набирайтесь сил – завтра нам предстоит сложный день. И последнее: из номера ни шагу, отключите телефон, в обком не ходите, даже если и позовут, – как вы знаете, он скор на руку.

С тем неожиданно на счастье объявившийся полковник и распрощался.

Проснулся, как обычно, рано: видимо, многолетняя привычка сказалась. На удивление, не болела голова, хотя он помнил, сколько вчера они выпили с полковником Халтаевым. После ухода начальника милиции он принял душ и, разобрав постель, тут же забылся тяжелым сном – порассуждать, осмыслить открывшиеся неожиданно варианты спасения не пришлось. Не ощущал он, проснувшись, и того гнетущего, животного страха за себя, за судьбу семьи, детей, который изведаль вечером до прихода соседа.

Завтрак принесли в номер – наверное, так распорядился полковник, державший себя в гостинице по хозяйски, что для Пулата Муминовича оказалось неожиданным. Вчера, почувствовав себя на краю пропасти, он испугался, да что там на краю, он ощущал, что уже летит в бездну; казалось, нет сил остановить гибельное падение, но надо же, судьба послала ему Халтаева.

Халтаев... Пулат Муминович вспоминает многочасовое застолье, пытается задним числом уяснить сказанное начальником милиции, и порой ему кажется: все это мистика, пьяный бред – сто тысяч, Раимбаев, вексель за прошлые грехи нынешнего секретаря обкома Тилляходжаева...

Он долго и нервно ходит по просторной комнате; велико искушение выйти из номера и кинуться защищать свою репутацию обычными путями и способами, без всяких закулисных интриг, в которых он действительно не мастак, как вчера отметил Халтаев. Вся мышьяная возня, слава Богу, прошла мимо него, он не знал ее гнусных правил и знать не хотел. Когда другие интриговали, блефовали, подсиживали друг друга, воевали за посты, он работал – поэтому у него сейчас такой район, что за него некий Раимбаев готов выложить сто тысяч. Припомнил полковник ему вчера и Иноятова. Что из того, что Ахрор Иноятович поддержал его вначале, помог стать секретарем райкома, так ведь работал он сам, и ему есть чем отчитаться за двадцать лет, есть что показать, и орден Ленина не за красивые глаза дали.

Откуда пришла у нас беда, где ее корни? Любый мало мальский начальник на Востоке мнит себя Бог весть кем – откуда это чванство? Может, оттого, что издавна на Востоке, как нигде, чтился чин, должность, кресло? А может, виной тому рабская зависимость младшего по возрасту от старшего? Скорее всего, и то, и другое вместе. А откуда казнокрадство, взяточничество, коррупция? Почему все это пышным цветом расцвело повсеместно у нас, доведя до нищеты миллионы неправых, безропотных тружеников? Наверное, не обошлось без доставшихся в наследство традиций: ведь при дворе эмиров, ханов служивый люд или, как нынче говорят, аппарат не стоял на довольствии, из казны не выдавали им ни гроша. Их содержал народ, определенная махалля, район, и там, в своей вотчине, они и обирали земляков как могли.

Так почему возникли новые партийные баи, сидящие на щедром государственном довольствии и, как при эмире, еще обирающие свой же узбекский народ до нитки?

Но благородный яростный порыв быстро гаснет, и Пулат Муминович, вспомнив наказ полковника, отсоединяет телефон от внешнего мира; он чувствует, что его загнали в угол, понимает, что отчасти виноват и сам, но он не видит иного спасения и считает, что единственный шанс в руках у Эргаша Халтаева.

Свободного времени у Пулата Муминовича много, но он упорно не хочет размышлять о полковнике: кто он, что за ним, чего хочет, почему вдруг воспылал любовью к соседу, что попросит в награду за спасение? Он не настолько наивен, чтобы принять его участие за благородный жест, знает, что чем то придется расплатиться.

Но вновь всколыхнувшийся в душе страх гонит разумные мысли. Что то внутри разрывается от крика: "Выжить во что бы то ни стало! Сохранить партбилет! Кресло! Власть!"

И с каждой минутой ему все больше и больше кажется, что не грех и чем то поплатиться, дать отступного, как выразился полковник.

В сомнениях и борениях, нереализованных благородных порывах прошло немало времени; Пулат Муминович то и дело нервно поглядывал на часы, но вестей от начальника милиции не поступало, не спешил и гонец из обкома. Наступал час обеда, и истомившийся от неопределенности Махмудов уже хотел спуститься вниз пообедать, пропустить рюмку – снова расшалились нервы, но вдруг раздался стук в дверь.

Махмудов, забыв всякую солидность, чуть ли не бегом кинулся к двери: на пороге стоял щеголевато одетый парень, поигрывавший тяжелым брелоком с ключами от автомашины. Утивно поздоровавшись, он сказал:

– Меня прислал Эргаш ака, он ждет вас в чайхане махалли Сары Таш. Пожалуйста, поспешим – плов будет готов с минуты на минуту.

Машина, попетляв узкими пыльными улицами старого города, вынырнула к зеленому островку среди глинобитных дувалов – здесь и находилась чайхана, куда пригласили секретаря райкома. Молодой человек провел гостя по тенистой аллее, мимо бассейна, где лениво шевелили плавниками сонные карпы, и направился в боковую комнату, умело спрятанную за густым виноградником от любопытных глаз. В комнате стоял приятный полумрак, и Пулат Муминович с улицы не сразу разглядел мужчин, просторно сидевших вокруг накрытого дастархана. Шофер под руку подвел его к айвану и сказал:

– Эргаш ака, вот ваш гость...

Мужчины суетливо поднялись и поспешили поздороваться с вошедшим, лишь Халтаев остался на месте. Он подозвал щеголя и негромко спросил:

– А как дела в банке, обменял?

– Велели приехать через час, – отпартовал парень и, выскользнув из комнаты, наглухо прикрыл дверь.

За столом хозяйничал полковник: он представил Пулата Муминовича собравшимся мужчинам, правда, никого из четверых не рекомендовал подробно, просто назвал имя; о нем самом сказал несколько трогательных слов и, заканчивая, добавил, что их долг помочь благородному человеку, попавшему в беду. Все дружно, шумно поддержали Эргаша ака. Полковник лично разлил водку и предложил тост:

– Давайте выпьем, дорогой Пулат Муминович, за моих друзей, отныне они и ваши, за благородство их сердец – по первому зову явились на помощь. Я знаю их давно: верные и надежные люди, проверенные делом. За настоящих мужчин!

Потом последовали еще тосты, и даже Пулат Муминович сказал что то восторженное о своем соседе, в тяжелую минуту оказавшемся рядом.

Конкретно о деле, чем помочь, какими методами, через кого, не говорили. Лишь однажды у одного из новых знакомых Махмудова, Яздона ака, пьяно вырвалось:

– Нет, я ничего не пожалею для того, чтобы Раимбаев не перекрыл дорогу другу и соседу нашего уважаемого Эргаша ака, которому мы, здесь сидящие, обязаны всем, что имеем. Деньги? Что деньги, как говорил Хайям, – пыль, песок, деньги мы всегда найдем, пока головы на плечах. Важно друзей поддержать, не дать втоптать в грязь имя благородного человека.

Пулат Муминович, как и вчера, растрогался, он думал, что сейчас кто нибудь разовеет тему и он узнает что то конкретное, но Халтаев вновь увел разговор в сторону.

Когда покончили с пловом и дружно налегли на зеленый китайский чай, появился парень, доставивший Махмудова. Он молча, словно тень, появился у дастархана и подал сидевшему в самом центре Халтаеву полиэтиленовый мешочек. То ли подал неловко, то ли полковник принял неумело, но из мешочка высыпались тугие пачки сторублевок в новеньких банковских упаковках.

– Оказывается, сто тысяч в таких купюрах не так уж и много – всего десять тонких пачек, а мы вчетвером принесли целый "дипломат" денег, – рассмеялся Яздон ака.

Халтаев строго посмотрел на Яздона ака, и Пулат Муминович понял, что тот сказал лишнее. Полковник шутики не поддержал, сказал серьезно:

– Вот и мы сегодня в гости явимся не с пустыми руками, и пусть коротышка докажет, что деньги от Раимбаева лучше, чем от меня, – я намерен их внести за своего соседа. А что он любит крупные купюры – я знаю его давнюю страсть, хотя, как слышал недавно, он уже отдает предпочтение золоту, – и, сложив деньги опять в пакет, небрежно сунул под подушку, на которой полулежал.

– Можно и на золото поменять – мне как раз на днях двести монет предложили, – упрямо вставил Яздон ака, словно не замечавший недовольства Халтаева.

– Будем иметь в виду и этот вариант, – сказал примирительно полковник – видимо, он не хотел ссориться с Яздоном ака.

После плова за чаем и беседой прокоротали еще часа полтора; новые знакомые Пулата Муминовича вспомнили и его тестя, Ахрора Иноятовича – оказывается, он сыграл в судьбе каждого из них немаловажную роль, и теперь они, в свою очередь, хотели помочь его зятю, тем самым запоздало возвращая человеческий долг. От трогательных слов, историй двадцати тридцатилетней давности Пулат Муминович, потерявший всякие ориентиры от навалившейся вдруг беды и нахлынувших событий, умилился окончательно и почувствовал, что он в кругу искренних и сильных друзей. Поэтому, когда Халтаев, спешивший куда то, неожиданно свернул застолье, Махмудову было жаль расставаться с Яздоном ака и его товарищами. Они тоже вроде казались рады быстро сложившемуся взаимопониманию с секретарем райкома, попавшим в немилость к всесильному Наполеону.

После приятного обеда на той же белой "Волге" Халтаев доставил Пулата Муминовича в гостиницу. Уезжая, сказал:

– До вечера располагайте временем по своему усмотрению, можете подключить телефон. Позднее, после местной информационной программы "Ахборот", возможно, поедем в гости.

– В гости? – переспросил Махмудов, недоумевая, – он хотел как можно быстрее внести ясность в свое положение, а не ходить на званные ужины.

– Да, в гости... – ответил полковник, улыбаясь. – К самому Тилляходжаеву домой. – И еще уточнил: – Не на прием, а в гости! – Наслаждаясь растерянностью секретаря райкома, добавил насмешливо: – Может, вы предпочитаете встретиться с ним на бюро или один на один на красном ковре? – Полковник с каждой минутой открывался ему по новому. Да, зря он недооценивал начальника милиции...

В гостинице Махмудова вновь охватили сомнения, хотя страх прошел и он уже не боялся за партбилет, не думал и о том, что могут привлечь к уголовной ответственности, – в возможностях Халтаева он теперь не сомневался. Пытался он вспомнить и своих новых друзей, поклявшихся ему в верности: кто они?

Особенно интересовал его напористый Яздон ака, видимо, соперничавший в чем то с полковником.

Тревожно было и от такой мысли: когда же я утратил реальное ощущение жизни, проморгал, не воспротивился как коммунист взлету халтаевых, раимбаевых, Яздон ака и его хватких компаньонов, между прочим, шутя скинувшихся за обедом по двадцать пять тысяч, и почему, за какие заслуги перед государством, народом взлетел так высоко сам Тилляходжаев, бравший взятки, по утверждению Халтаева, только золотом и торговавший должностями, словно недвижимым имуществом или подержанными машинами?

Но правильная мысль не стыкуется с его действиями и поступками: те, кого он в душе осуждал, и те, на кого сейчас реально рассчитывал, оказались одними и теми же людьми. Пулат Муминович чувствовал, что запутался окончательно, и старательно гнал думы, тревожившие совесть. Не стал докапываться до истоков чужих падений и взлетов – поздно вечером решалась его судьба, и она оказалась дороже всего на свете, ценнее идей и принципов, которые он проповедовал всю сознательную жизнь. Пришла на память неожиданно пословица, которую он часто упоминал когда то, работая в отделе пропаганды: "Своя рубашка ближе к телу" – как он клеймил ею всех налево и направо! Сейчас, дожидаясь в душном номере Халтаева, Махмудов признал, что личное для него, на поверку, оказалось тоже дороже общественного, а ведь он требовал от других обратного, за это казнил и миловал, в этом и заключалась, если откровенно, суть его работы: вытравить личные инстинкты. Трудно сознаться себе в подобном, но сегодня он честно признал этот факт.

Почему так случилось – вопрос иной, хотя и тут напрашивался однозначный ответ: впервые по настоящему глубоко он глотнул страха, почувствовал угрозу своему благополучию, жизни, наконец. Неожиданно в его невеселых размышлениях мелькнул и образ старой учительницы Инкилоб Рахимовны. Она так же печально посмотрела на него, как смотрела на открытии помпезного филиала музея Ленина на преемников своего дела, среди которых присутствовал и человек, к которому вечером он с Халтаевым собирался в гости. Проницательный взгляд старой большевички уже тогда заметил, что последователи не чисты на руку, циничны и фальшивы. Может быть, в душе она называла президиум того собрания жуликоватыми поводырями. Как бы сейчас она назвала его, чью судьбу направила сама, рискуя собственной жизнью, передала эстафету идеалов, – перерожденцем, конформистом, просто трусом, жалким обывателем? Единственной отрадой служило то, что она не могла считать его жуликом – этим он себя не запятнал.

Шло время, и сохранялся шанс навсегда остаться в народе Купыр Пулатом, что бы с ним ни случилось. Но желания предпринять какойнибудь иной шаг, чем тот, что рассчитал за него полковник Халтаев, почему то не возникало.

Снова в сомнениях, страхах, надеждах, раскаяниях, колебаниях прошло послеобеденное время, и опять сумерки застали его в кресле. Чтобы меньше думать, он встал и включил телевизор – какая то другая, правильная жизнь, совсем не похожая на то, с чем он вплотную столкнулся в последние дни, ворвалась в комнату; контраст оказался столь разителен, что Махмудов впервые за последние два дня рассмеялся. Ирония судьбы: на экране как раз действовал подобный треугольник – энергичный, весь правильный и умный секретарь райкома, еще более умный и справедливый, но крутой секретарь обкома и не ведающий сомнения и страха, кристально честный, бесребреник, полковник милиции, постоянно напоминающий своим подчиненным слова Дзержинского о чистых руках и горячем сердце.

Фильм досмотреть ему не удалось, а жаль: действовала там и компания, похожая на Яздона ака и его товарищей, правда, тут они четко стояли по другую сторону баррикады. Интересно, чем бы все это закончилось? Помешал телефонный звонок. Звонил Халтаев. В знакомом голосе произошли решительные перемены: он чуть ли не приказал через десять минут спуститься вниз, в гости они все таки были приглашены – полковник уже не удивлял секретаря райкома.

Приехали к Анвару Абидовичу затемно, когда прошла не только местная информационная программа "Ахборот", но и закончилось "Время" из Москвы. Халтаев объяснил, что шеф задержался на работе. Встречал сам хозяин, радушно, с улыбкой – вроде и не было у них позавчера долгого и изнуряющего обоих разговора. В таких особняках, отстроенных для партийной элиты области при Иноятове, Махмудов бывал часто и хорошо знал расположение комнат – в них и заблудиться нетрудно.

Комната, в которую провели их первоначально, отличалась скромностью, можно даже сказать – аскетичностью. Видимо, Тилляходжаев любил поражать гостей – слишком уж заготовленной показалась фраза "Коммунист должен жить скромно", хотя они с Халтаевым никак не выразили отношения к убранству комнаты. Напомнив для начала о скромности, Анвар Абидович извинился и сказал, что должен оставить их на время, помочь жене накрыть на стол.

Едва закрылась дверь, Халтаев заговорщицки улыбнулся: мол, знаем и твою скромность, и твой демократизм... "помочь жене на кухне"... Потом жестом и мимикой показал, что их беседу наедине могут записывать и даже наблюдать за ними каким то образом, что, впрочем, не явилось для секретаря райкома неожиданностью, все оказывалось вполне в духе хозяина особняка: даже прежде чем пригласить за стол, непременно выдерживал в прихожей, мол, знай свое место, знай, к кому пришел...

Нет, они не сидели молча. Полковник, дав понять обстановку, вдруг оживленно начал рассказывать веселую байку, которую вроде прервал на пороге дома, причем делал это с таким блеском, артистизмом, юмором, что Пулат Муминович уже в который раз за день подивился разносторонним талантам своего мрачного соседа.

Не зря хвалился вчера Халтаев, что готов побиться о любой заклад, что секретарь обкома пойдет на попятную в его вопросе, – видимо, действительно крепко сидел тот у полковника на крючке.

Слушая Халтаева, Пулат Муминович вдруг загадочно улыбнулся, вспомнив расположение комнат, – эта никак не могла быть для приема настоящих гостей, должно быть, предназначалась для просителей, для визитов, подобных их визиту, для камуфляжа – коммунист должен жить скромно...

Полковник, вчера и сегодня днем ходивший в штатском, вырядился в парадный мундир, обвешанный всякими значками и двумя ромбиками о наличии высшего образования. В кругу близких людей, под настроение, он рассказывал, как все годы, пока учился на заочном, преподаватели бегали за его шофером, чтобы тот в срок привез зачетку шефа. Шустрый шофер догадался на третьем году поставить условие: хотите вовремя – и мне диплом. Дали.

В том же кругу он хвалился, что, как и один из руководителей страны, почти в пятидесятилетнем возрасте он тоже закончил заочно факультет пединститута.

Только здесь, в комнате, оглядывая ладно сшитый мундир полковника, Пулат Муминович обратил внимание, что в руках у него нет вчерашнего полиэтиленового пакета с деньгами, – то ли рассовал пачки сторублевки по многочисленным карманам, то ли передал днем, то ли вообще блефовал с деньгами, набивал себе цену – допускал Махмудов и такой вариант, но додумать об этом не успел: появился хозяин дома и широким жестом пригласил к столу.

Стол накрыли в зале, и по убранству он разительно отличался от комнаты, из которой они только что вышли, – здесь фраза о скромности показалась бы неуместной.

Большой, ручной работы обеденный стол из арабского гарнитура на двенадцать персон был богато сервирован – чувствовалась рука хорошо вышколенного официанта. Накрыли только на троих, во главе стола сел хозяин дома, а слева и справа от него гости; расположились просторно, как на важных официальных приемах. Пулат Муминович успел заметить, что ножки дубового стула хозяина заметно нарастили, и выходило, что он слегка возвышался над сотрапезниками. По тому, как щедро накрыли стол и не больше десяти минут томили их в ожидании, Махмудов понял, что Халтаев действительно что то значил в судьбе первого, вряд ли иначе, при его амбициях, он так быстро бы расстарался.

Впрочем, своего отношения к полковнику он и не скрывал. Говорил он сегодня мягко, по отечески, изменились даже обертоны речи – в нем умирал, оказывается, не только писатель, но и прекрасный актер.

– Я редко меняю свои решения, – говорил он, как бы раздумывая, грея в руке низкий пузатый бокал с коньяком на доньшке, – и ваши дни как партийного работника, конечно, были сочтены. Но в дело вмешался случай, провидение – я имею в виду Эргаша ака. Это судьба, ваша удача, я затрудняюсь, как бы точнее назвать. В принципиальных вопросах я тверд. Спроси меня накануне, есть ли человек, могущий повлиять на вопрос о Махмудове, я бы рассмеялся, сказал бы: такого человека нет, ибо я поступал по партийной совести. И вот оказалось: есть такой человек – полковник Халтаев. Вчера я говорил так не потому, что забыл своего соратника и друга, а потому, что не думал, что он будет ходатайствовать, ручаться за вас. А я его знаю как верного и испытанного ленинца и не могу отказать ему, и вы должны запомнить: не могу отказать ему, а не вам – в этом принципиальная причина моего неожиданного решения. Вам еще предстоит заслужить доверие, хотя отныне, пригласив в дом, считаю вас другом, ибо Эргаш ака хочет, чтобы я протянул вам руку помощи.

Но плохим бы я оказался партийным вожаком, если руководствовался только эмоциями, личными привязанностями, – нам, коммунистам, такой подход претит. Положение с вами настолько серьезно, что все таки буду держать ваше личное дело у себя в сейфе, а вам даю шанс искупить вину перед товарищами по партии активной работой, чтобы и впредь район был передовым в области. На днях я с турецкой делегацией наведу к вам в район – не ударьте в грязь лицом. В хозяйственных делах вы все таки мастак – чувствуется хорошее инженерное образование, а вот в вопросах идеологии, кадровой политики... отныне до полного прощения, так сказать, реабилитации, я хотел бы, чтобы подобные вопросы решали с Эргашем ака – у него верный глаз, хорошая идеологическая закалка, он не подведет. Надеюсь я и на жизненный и партийный опыт, такт полковника, чтобы он откровенно не подменял вас, не дискредитировал авторитет секретаря райкома в глазах людей... в общем, я даю вам шанс сработаться.

Сидели за столом они еще долго, но только первый большой монолог Тилляходжаева оказался внятным, ясным, без обиняков, и Пулат Муминович понял, что сохранил пост, уцелел, помилован, хотя и попадал под контроль Халтаева. Все остальное время, а говорил только хозяин дома, опять шла невнятица, абстрактные разговоры, сплошь состоящие из аллегорий, непонятно к кому относящихся, – к полковнику или секретарю райкома с урезанными полномочиями. Пулат Муминович видел, что начальник милиции, силясь понять старого друга, от натуги взмок, то и дело вытирал платочком пот со лба. Чувствовалось, что Анвар Абидович ушел так

далеко не только по должности, – бывший соратник с двумя дипломами никак не поспевал за ходом его мыслей. Откровенно говоря, ничего не понимал и Махмудов; хорошо, что ситуация с ним прояснилась с самого начала, ибо в "комнате скромности" страх вновь заполнил его душу почти до обморочного состояния, и сейчас, когда сомнения рассеялись и все стало на свои места, он ощущал такую духовную пустоту, апатию, что уже плохо соображал. Единственно, чего ему хотелось, – остаться одному и хорошенько выспаться. Ему не хотелось сегодня даже анализировать, что же он на самом деле потерял, чем поступился, а что приобрел взамен. Слушать первого приходилось из вежливости, хотя, наверное, следовало все мотать на ус, но Пулат Муминович устал, размяк, понимал тугу, а здесь нужна была игра живого ума, соперничество мыслей.

Уловил Махмудов нечто вроде намека на то, что отныне хозяин дома в расчете с полковником и что цена, по которой он рассчитался, якобы слишком велика, ибо ради старого друга приходится поступаться партийными принципами, хотя за точность выводов секретарь райкома не поручился бы – слишком уж за густой вуалью подавались туманные мысли. Застолье катилось мерно, без эмоциональных всплесков и очень походило на вялую игру в футбол в одни ворота, как вдруг, впервые за вечер, неожиданно вошла жена – та самая, которую Наполеон лично принял в партию, а она узнала об этом, когда он принес ей домой партбилет, – очень красивая, милая женщина, и, извинившись за вторжение в мужскую компанию, сказала, что хозяина просят к телефону из Москвы. По растерянному лицу супруги можно было догадаться, что звонили не простые люди. По тому, как сорвался первый, чуть не смахнув тарелку со стола, Пулат Муминович понял, что тот ждал звонка или, по крайней мере, знал, кто вызывает его, – на случайный звонок, даже из Москвы, он не кинулся бы сломя голову. Что и говорить, собой он владел и держался прекрасно.

Вернулся он в зал минут через десять веселый, взволнованный, а точнее, просто ошалелый от радости – куда солидность делась, довольно потирал руки, даже велел жене сесть за стол, обмыть столь важное событие.

Оказалось, звонила Галя, дочь Самого Самого, – Тилляходжаев гордо задрал в потолок короткий пухлый пальчик. В прошлом году она с мужем, совершавшим инспекционную поездку по Узбекистану по линии МВД, посетила Заркент, и он, конечно, лично показал им достопримечательности, старые и новые, а прием организовал в летней резиденции бывшего эмира, закрыв по этой причине музей, чтобы высокие гости почувствовали время и прошлый размах. И вот частный звонок по личному делу – значит, не забыла, помнит ханский прием. Галя со своими близкими друзьями из Союзгосцирка зимой собиралась в Париж, и ее личный модельер предлагал сшить каракулевое мантио, которое скрывало бы, мягко говоря, ее мощные пропорции – дочь пошла фигурой и характером в отца, требовался особый каракуль, редчайших цветов, золотисто-розовый с кремовым оттенком, ей даже подсказали название – антик. Видела она, оказывается, подобное мантио на одной американской миллионерше и с тех пор, мол, потеряла покой.

– Я ее успокоил, – говорил весело хозяин дома, – пообещал, что у нее будет мантио лучше, чем у миллионерши, тот каракуль американцы наверняка купили на пушном аукционе, а он, как ни крути, из Заркента – такой сорт большей частью поступает за границу от нас. Кстати, – быстро переключился он, – Эргаш ака, не будем откладывать просьбу Галины Леонидовны в долгий ящик, я знаю, вы из семьи известных чабанов и понимаете толк в каракуле. Помнится, рассказывали в молодости, что ваш отец некогда отбирал голубой каракуль на папаху Сталину для парадного мундира генералиссимуса.

– Да, было дело, – ответил растерянно полковник – он еще не понимал до конца, то ли его разыгрывают, то ли действительно звонила дочь Самого.

– Вот вам и карты в руки: пересмотрите во всех хозяйствах каракуль, приготовленный на экспорт и на аукцион в Ленинград, и отберите лучшее из лучшего, завиток к завитку, чтобы советская женщина не краснела в Париже перед какими то американскими миллионершами, а Пулат Муминович даст команду совхозам. – Хозяин дома, даже не взглянув в сторону секретаря райкома, продолжил: – В конце недели я приеду к вам вместе с турецкими бизнесменами – к этому сроку подготовьте. А в понедельник лечу на сессию Верховного Совета в Москву, сам и доставлю, узнаю заодно, понравилось ли?

С этой минуты, можно считать, застолье и началось. Если вначале Махмудов думал, что, слава Богу, вернется в гостиницу трезвым, то теперь надежды его улетучились. Хозяина словно подменили: о том, что он такой заводной, Пулат Муминович не мог и подумать. Наполеон произносил тост за тостом, да за таких людей, что не выпить было просто рискованно, тем более ему, Махмудову, с порочной родословной. Выпили прежде всего за Сталина, носившего папаху из этих мест, потом выпили за мужа Галины Леонидовны, генерала МВД,

особенно любившего Узбекистан, выпили с особым волнением и за ее отца. Здравницу в его честь Анвар Абидович произнес цветистую и длинную – жаль, не слышал сам адресат, если это, конечно, не было репетицией. А вдруг, чем черт не шутит, вдруг придется за одним столом посидеть – говорят, ничто человеческое генеральному не чуждо, особенно застолье с друзьями, ведь удалось же пить с его зятем и любимой дочерью на брудершафт.

Бокалы с шампанским за здоровье великих людей, с которыми, оказывается, знаком хозяин дома, поднимались один за другим. Пулат Муминович потерял им счет. В перерыве между здравницами Тилляходжаев рассказал о своих знаменитых друзьях приятелях, называл их небрежно по именам, открывал такие подробности их личной жизни, что Махмудов подумал, не провокация ли это, совсем непонятная ему, – ведь речь шла о людях таких высочайших званий и должностей, что жуть брала. Видимо, было страшно не ему одному – перестал неожиданно потеть и полковник, он словно бы потерял ориентиры и несколько раз смеялся невпопад; пожалуй, для Халтаева сегодня Наполеон тоже открывался совсем с неведомой стороны.

Хозяин дома пьянел на глазах – коньяк, шампанское, да еще в невероятных дозах, делали свое дело. Это и успокаивало Пулата Муминовича, исчезла мысль о преднамеренной провокации. От изощренного ума и коварства первого он теперь ожидал чего угодно. Среди ночи Тилляходжаеву вдруг захотелось танцевать, и он решил вызвать на дом ансамбль, но гости отговорили, сказали, что и японский стереокомплекс устроит – он как раз, сияя хромом и никелем, стоял в углу. Включили кассетную деку "Кенвуд", и Анвар Абидович потащил всех в пляс – оргия достигла апогея. Пьян был хозяин, пьяны гости, чуть трезвее выглядел Халтаев; жена, видимо, привыкшая к выходкам мужа, незаметно, еще до танцев, исчезла из за стола – ее отсутствие Наполеон не заметил.

Во время национального танца "Лязги", исполнявшегося все таки ловко, с вывертами, вскриками, он вдруг вспомнил про еще одного своего приятеля покровителя и потащил всех снова к столу. Но последний тост сказать Анвару Абидовичу не удалось: фамилия всесильного товарища тяжело давалась и на трезвую голову, а заплетавшемуся пьяному языку она и вовсе оказалась не под силу. Он упрямо пытался преодолеть труднопроизносимый звуковой ряд и вдруг как то мягко осел, отставив бокал в сторону, и уютно упал грудью на белоснежную скатерть.

Тут же из боковой комнаты появился дюжий молодец и сказал:

– Все, отгулялись на сегодня, ребята, ступайте по домам да поменьше болтайте – недолго и языка лишиться, – и неожиданно протянул удивленному Пулату Муминовичу коробку, где лежали две бутылки "Посольской" водки и закуска, и прокомментировал: – Я знаю, вы в гостинице живете, чтобы утром искать не пришлось. Шеф не любит, когда у его друзей голова болит. Традиция в доме такая.

На улице стояла кромешная тьма, они пересекли улицу чуть наискосок туда, где под фонарем стояла белая "Волга". Щеголь, опустив сиденье и подложив под голову чапан, сладко спал – видимо, чувствовал, что гости могут загулять и до утра.

В машине Халтаев вдруг совершенно трезвым голосом сказал:

– Да, повезло нам с вами, Пулат Муминович, крепко повезло...

Секретарь райкома подумал, что полковник имеет в виду удачное решение его проблемы и что он теперь в дружбе с самим Тилляходжаевым, поэтому легко согласился.

– Конечно, Эргаш ака, повезло. Спасибо.

Халтаев вдруг нервно рассмеялся.

– Я не это имел в виду: повезло вам, что я не знал, как мой старый друг высоко взлетел, с какими людьми общается знает, с кем дружбу водит и кто ему так запросто домой звонит. Если бы я знал, разве сунулся предъявлять старые векселя, пропади они пропадом, – при нынешних связях он бы и меня, как и вас, в порошок стер, в тюрьме сгноил. Повезло, нарвались на хорошее настроение, не забыл, выходит, моей старой услуги, хотя мне не резон было нынче ради вас напоминать о ней... Да уж ладно, Аллах велик, сегодня пронесло... Я ведь года три четыре не видел его, а как вознесся человек – подумать страшно...

Пуллат Муминович, делая вид, что задремал, не ответил, не поддержал разговора. Он понял теперь многое из туманного разглагольствования первого: тот откровенно запугивал и ставил на место не только его, но и своего старого друга, некогда, видимо, спасшего его самого от крупной неприятности. Теперь он знал, что тайну, связывавшую их, не узнать никогда – полковник не рассказал бы ее никому даже под страхом смерти, ибо цена тайны равнялась его жизни.

Вот как, оказывается расшифровывалась одна двусмысленная притча с аллегориями, что рассказывал хозяин дома в начале вечера. Что ж, в будущем придется держать ухо востро: не прост, не прост секретарь обкома, по восточному хитер и коварен.

У гостиницы договорились, что щеголь заедет за ними утром попозже, часам к десяти, и они в одной машине поедут домой.

Халтаев напоследок достал из покинутой "Волги" забытую соседом коробку и предложил:

– Давайте зайдем ко мне, выпьем по человечески. Я окончательно протрезвел после звонка из Москвы, да и от всех его речей натерпелся страху – самое время пропустить по рюмочке "Посольской".

Но Пулат Муминович отказался; распрощавшись, поспешил к себе в номер – ему не терпелось остаться одному. Несмотря на позднее время, сразу направился в душ: он просто физически ощущал, что вывалился в какой то липкой, зловонной жиже, и ему не терпелось отмыться. Чувство гадливости не покидало даже после душевой, и вдруг его начало мутить – он едва успел вбежать в туалет. Рвало его долго, но он знал, что это не от выпивки и не от переедания, – тошнило от брезгливости, организм не принимал его падения, унижений, компромиссов, конформизма, душа жила все еще в иных измерениях.

Ослабевший, зеленый от судорог и спазм, он добрался до телефона, позвонил ночному диспетчеру таксопарка и, назвавшись, попросил машину в район. Минут через двадцать подъехало такси, и Пулат Муминович, не дожидаясь утра, отправился домой, – ему не хотелось возвращаться в одной машине с полковником.

Часть II

– Слава Аллаху, кончился саратан, и жара как по волшебству спала, ветерок появился. Я, пожалуй, сегодня тут, на айване, и спать буду, – сказал, обращаясь в темноту сада Пулат Муминович.

– Можно подумать, жара тебя замучила, – тихо засмеялась за спиной женщина. – В кабинете два кондиционера, дома тоже в каждой комнате и даже на веранде, не успеваю выключать, холод – хоть шубу надевай. А теперь и в машине японский автокондиционер. Этот лизоблюд Халтаев похвалился, говорит, добыл для Пулата Муминовича, мол, у секретаря обкома пока нет такой новинки... забыла, как фирма называется...

– "Хитачи", – напомнил Махмудов, но разговора жены не поддержал, только отметил про себя, что прежняя его супруга, Зухра, никогда не позволила бы себе так разговаривать с мужем и называть начальника отделения милиции, соседа, лизоблюдом. Он легко поднялся и пересел на другую сторону большого айвана, чтобы лучше видеть суетившуюся возле самовара Миассар, – он любил наблюдать за ней со стороны. Ловкая, стройная, вряд ли кто давал ей тридцать пять – так молодо она выглядела.

Тучный по сравнению с женой, он обладал поразительной энергией, легкостью движений, стремительностью походки, а жесты его отличались четкостью и изяществом. В его манерах было что то артистическое, оттого кое кто за глаза называл его Дирижером. Круг приближенных, позволявших себе называть Пулата Муминовича Дирижером, оказался столь мал, что кличка не прижилась, за глаза его величали просто и ясно – Хозяин.

Давно, почти тридцать лет назад, Махмудова, тогда молодого инженера, неожиданно взяли на партийную работу. Он помнил, как расстроился от свалившегося на него предложения, зная, что в таких случаях согласия особенно не спрашивают. Честно говоря, он хотел работать по специальности и мечтал стать известным мостостроителем; в районе он и возводил первый в своей жизни мост.

Работа в райкоме пугала неопределенностью, ему казалось, что там какие то особые люди, наделенные высоким призванием, по иному мыслящие. Он искренне думал, что не подходит им в компанию, и считал: его дело – строить мосты.

Накануне первого появления на новой работе он тщательно чистил и гладил свой единственный костюм. В тесной комнате коммуналки, где он жил, стояло щербатое зеркало, оставшееся от прежних хозяев, и он то и дело невольно видел свое растерянное лицо.

"И с таким то жалким лицом в райком", – неожиданно подумал он и вдруг понял, чем отличается его новая работа от прежней. В мостостроении не имело значения, как выглядишь, держишься, какие у тебя манеры, каким тоном отдаешь распоряжения, важно другое, единственное – инженерная компетентность, знания, без которых моста не построишь.

Нет, он и тогда не считал, что только в этом основа его новой работы; в ней, как и во всякой другой, наверное, полно своих премудростей, даже таинств, ведь связана она с живыми людьми. Его природный, цепкий ум ухватил что то важное, он это чувствовал, хотя и не понимал до конца. Всю оставшуюся часть дня, отложив заботу о вещах, провел в раздумьях у зеркала и уяснил, что ему следует выработать свое "лицо", манеру, походку. Утром, ког да Махмудов впервые распахнул парадные двери райкома, он уже не был растерян, как накануне, вошел твердым, уверенным шагом, с гордо поднятой головой, в жестах чувствовалась правота, сила, убежденность. Со стороны казалось: такому человеку любые дела по плечу, он весь излучал энергию.

Пулат Муминович вглядывается в слабо освещенный сад, где у самовара копошится Миассар. Длинные языки пламени вырываются из трубы, и огонь по особенному высвечивает жену, делает ее выше, стройнее; хан атласное платье, отражая блики огня, переливается немыслимыми красками, создается ощущение, что оно колышется, как озеро в непогоду.

Волшебство! Ночь, тишина, большой ухоженный сад и красивая женщина в сверкающем в отсветах огня платье. Самовар должен вот вот закипеть, но Пулату Муминовичу хочется, чтобы миг ожидания продлился.

Задумавшись, он отводит глаза и слышит, как упала на землю самоварная труба.

– Не обожглась? – невольно вырывается у него участливо, и он смущается за минутную слабость. Мужчина не должен открыто высказывать симпатии женщине – так учили его, так и он воспитывал сыновей, давно живущих отдельно, своими семьями.

Два важных сообщения получил Пулат Муминович сегодня. Срочная телеграмма из Внешторга уведомляла: аукцион в Страсбурге приглашает конезавод Заркентской области на юбилейный смотр распродажу чистопородных лошадей.

Другая депеша, секретная, из ЦК партии республики, гласила, что на следующей неделе он должен прибыть в Ташкент на собеседование к секретарю ЦК по идеологии.

Аукцион в Страсбурге был лишь третьим в истории конезавода, и персональное приглашение французов Пулат Муминович оценил: значит, заметили в Европе его ахалтекинцев и арабских скакунов. Догадался он и о причине вызова в ЦК партии. Прошло уже больше трех месяцев, как вернулась с XIX партконференции делегация Узбекистана, и все три месяца в республике на всех уровнях коммунисты задают вопрос: кто эти четверо делегатов, обвиняющихся прессой в коррупции?

Официальных ответов пока нет, но всеведущий сосед, полковник Халтаев, неделю назад сказал ему: одного знаю точно – наш новый секретарь обкома, сменивший три года назад Анвара Абидовича, преследуется законом за то же, что и Тилляходжаев, хотя масштабы, конечно, уже не те.

И сегодня, получив депешу, он понял, что ему, наверное, предложат возглавить партийную организацию области. Но догадка не обрадовала Пулата Муминовича. "Вот если бы семь лет назад..." – с грустью подумал он, пряча бумагу в сейф. И весь день мысль его не возвращалась к сообщению из Ташкента, хотя оно и сулило вновь круто изменить жизнь. Не хотелось и сейчас, в ожидании самовара, думать о новом назначении, не беспокоила и предстоящая поездка в Страсбург. И вдруг, казалось бы, совсем некстати вспомнил он первую командировку в Западную Германию: аукцион проводился в местечке Висбаден, в разгар курортного сезона,

куда на минеральные воды приезжают толстосумы со всего света. Вспомнился не знаменитый Висбаден, а всего лишь перелет из Ташкента в Москву.

Вылетал он в конце недели и, наверное, оттого оказался в депутатском зале один. Но через полчаса, когда он коротал время за телевизором, вдруг появились бойкие молодые ребята, быстро заставившие просторный холл большими, хорошо упакованными коробками, ящиками, тюками, связками дынь. В довершение всего они бережно внесли какие то огромные предметы, обернутые бумагой, – судя по осторожности, в них находилось что то хрупкое, бьющееся. Доставили и с десятков открытых коробок с дивными розами. Аромат роз вмиг наполнил зал.

Пулат Муминович спросил у дежурной, не делегация ли какая отбывает в Москву? Хозяйка комнаты ухмыльнулась, ответила не без иронии: мол, не делегация и, назвав фамилию одного из членов правительства республики, добавила, что он всегда в Москву с таким багажом отбывает.

Подшло время посадки, но хозяин богатого багажа так и не появился, хотя те же шустрые молодцы быстро загрузили его хозяйство в самолет. Пулат Муминович, занятый мыслями о первом в своей жизни аукционе, забыл о члене правительства. Появился он в самолете в самый последний момент, когда уже убрали трап. Как только он занял свое кресло в первом ряду, самолет вырулил на старт. Через полчаса он храпел на весь салон, мешая Пулату Муминовичу собраться с мыслями; неприятно раздражал и тяжелый водочный перегар, исходивший от высокого сановного лица, с которым Пулат Муминович не был знаком, хотя знал многих членов правительства.

Едва шасси лайнера коснулись бетонного покрытия взлетной полосы в Домодедово, важный чин тут же проснулся и, когда самолет начал выруливать к зданию аэропорта, направился в кабину корабля. О чем он договорился с командиром "ИЛ 86", Пулату Муминовичу стало ясно через несколько минут.

Махмудов сидел у окошка и видел, что подруливающий к зданию самолет встречала группа людей, человек десять – двенадцать. Некоторые лица показались Пулату Муминовичу знакомыми, и он тут же припомнил служащих из постоянного представительства Узбекистана в Москве, где он как то останавливался в гостинице. Чуть поодаль от встречающих он увидел с десятков правительственных "Чаек" и даже один "Мерседес" и каким то чутьем уловил, что машины имеют отношение к ташкентскому рейсу.

Не многовато ли машин для одного члена правительства, подумал Пулат Муминович, но вскоре его сомнения разрешились неожиданным образом. Первым с трапа сошел член правительства, и встречающие кинулись к нему, но он поздоровался с кем то одним, другим показал на грузовой отсек, откуда, видимо, уже подавали коробки, тюки, ящики и тут же у трапа их ставили отдельно – размещением руководил хозяин багажа.

Появились и странные предметы, также бережно отставленные в сторону. И вдруг Пулат Муминович увидел, что оберточная бумага с одной таинственной упаковки сползла, и обнажилась высокая напольная ваза. Но не сама фарфоровая ваза удивила Пулату Муминовича, а то, что на ней был изображен знакомый всем один из руководителей страны.

Хозяин багажа тут же обратил внимание на оплошность, и вазу вновь запеленали. Но теперь Пулату Муминовичу многое стало ясно. На коробках, ящиках, тюках и вазах белели квадраты, издали очень похожие на почтовые конверты, и Пулат Муминович думал, что там какие то сопроводительные документы, но ошибся.

Важный чин, видимо, десятки раз проделывавший эту операцию, действовал молниеносно. Как только вынесли коробки с цветами, он сорвал с какого то ящика белый квадрат, и под ним обозначилась фамилия адресата – он и выкрикнул ее. Одна из черных "Чаек" мгновенно подрулила к сотрудникам представительства, и те ловко загрузили машину, а вазу аккуратно передали в салон. Быстро срывались белые квадраты, выкрикивалась очередная фамилия, и машины тут же подъезжали к щедрой раздаче. Вся операция заняла минут семь восемь – чувствовался давно отработанный процесс. С последней "Чайкой" отбыл и сам член правительства; в салон ему передали последнюю вазу, и, видимо, ему пришлось ехать с ней в обнимку до самого адресата.

Вся эта четко организованная раздача щедрых подарков просматривалась из самолета еще в три четыре окошка в том ряду, где сидел Пулат Муминович, но вряд ли кто нибудь обратил на это внимание, ибо все ждали приглашения на выход.

Пулат Муминович ошибся еще раз – этого рейса из Ташкента ждали не только персональные шоферы высоких чиновников. Если бы он хоть на секунду поднял глаза на второй этаж аэропорта Домодедово, то, наверное, заметил бы, что два человека из депутатского зала аккуратно фотографировали каждую подъезжавшую к раздаче машину, успевая запечатлеть тот самый миг, когда срывался белый квадрат и обозначалась фамилия высокопоставленного лица, которому адресовались щедрые дары. Не упустили они и момента с вазой, когда она на время явила знакомый лик, – что и говорить, работали профессионально.

Вспомнив историю шестилетней давности, Пулат Муминович улыбнулся. Он представил, что какой-нибудь наш музей, на манер музея восковых фигур мадам Тюссо, догадается собрать все эти вазы, бюсты, помпезные портреты "бывших" в одном зале, – эффект был бы потрясающий. "Зал мелких тщеславных людей, руководивших большим государством", – видимо, так следовало назвать экспозицию...

Махмудов вспоминает о депеше из ЦК и радуется, что у него еще есть срок – целая неделя. Ему давно хочется разобраться в своей жизни, особенно в последних ее годах.

Миассар осторожно подносит кипящий самовар к айвану.

– Подожди, я помогу, – говорит Пулат Муминович и, быстро спустившись с невысокого айвана, под которым журча протекает полноводный арык, поднимает самовар к дастархану.

– Что то я вас сегодня не узнаю, – говорит, озорно улыбаясь, Миассар – в узбекских семьях к мужу обращаются на "вы", – перестройка, что ли, в наши края дошла? Если она так сильно преобразует сильный пол, я за нее двумя руками голосую...

– Ласточка моя, оставь политику мужчинам. Лучше налей чаю, в горле пересохло, – отвечает хозяин дома, подлаживаясь под шутливый тон жены. Ему нравится подобная форма разговора. С первой женой у него так не получалось. Но у той были свои качества, особенно ценимые на Востоке: Зухра никогда не перечила, не возражала, вообще не вмешивалась в его дела. Он и с ней жил хорошо, в ладу. Жалко, неожиданно умерла от рака. В месяц скрутила болезнь здоровую женщину, никакие врачи не помогли, хотя возил Пулат Муминович ее к самым знаменитым и в Ташкенте, и в Москве.

Пулат берет из рук жены пиалу с ароматным чаем – прекрасная хозяйка Миассар, все у нее вокруг сверкает, блестит, а уж чай заваривает... наверное, хваленые китайки и японки позавидовали бы! Как бы ни уставала, в доме заведено: последний, вечерний чай всегда из самовара. За чаем они продолжают перебрасываться шутивными репликами. Пулату хочется сказать что то ласковое, трогательное и без шуток, но он опять сдерживает себя. Жену надо любить, а не баловать – помнит он давние заветы старших.

И вдруг вспоминается ему, как женился на Миассар двенадцать лет назад, неожиданно, когда уже второй год ходил вдовцом. Сыновья, все трое, к тому времени учились в Ташкенте, но хлопот хватало – и по дому, и по саду; привыкший к комфорту, уюту, он остро чувствовал потерю жены. На Востоке жизнь одинокого мужчины не одобряется, здесь практически нет вдовцов, тем более среди мужчин зрелого возраста, и его частная жизнь оказалась под пристальным вниманием общественности – секретарь райкома все таки. Тут на многое могут закрыть глаза, но за моралью, нравственностью, традициями следят строго...

Конечно, он чувствовал к себе затаенный интерес женщин, и даже совсем молодых, но все казалось не то, не лежала душа. Однажды пригласили его на свадьбу; приехал он туда с большим опозданием, когда привезли невесту. Был красочный момент: подружки новобрачной, сменяя друг дружку, танцуют перед гостями. Переполох царит в доме жениха с приездом невесты и сопровождающих ее гостей, и Пулата не сразу заметили, да и он, осознавая момент, не особенно старался попасться на глаза хозяевам. Пробившись к кругу, он азартно поддерживал старавшихся танцоров. Особенно изящно, с озорством танцевала одна, одетая на городской манер, – она больше всех и сорвала аплодисментов.

– Удивительно красивая, грациозная и как тонко чувствует народную мелодию! – машинально обратился Пулат к человеку, стоявшему рядом.

– Что ж сватов не засылаете, раз понравилась? – ответил вдруг человек вполне серьезно и доброжелательно.

Пулат так растерялся, что не сразу нашелся, что ответить, а тут его и хозяева приметили. Восточные свадьбы длятся до зари, и Пулат веселился от души до самого утра и, уходя, уже знал, что девушку зовут Миассар, а

человек, предложивший присылать сватов, приходится ей родным дядей по отцу. Впрочем, днем, на работе, он вспомнил, что уже однажды слышал о ней.

Курьезный случай. Она пришла в райком, в отдел культуры, в брючном костюме, а дежуривший внизу милиционер не пустил ее, говорил: иди домой, переоденься по женски, потом приходи. Но девушка оказалась с характером, наделала шуму, чуть ли не весь райком собрала внизу у вахтера. Этой девушкой и была Миассар, выпускница ташкентского университета. Конечно, в глубинном районе Заркентской области девушка, демонстративно ходившая в брючном костюме, в мини юбках, с независимым характером, по убеждению родителей женихов, вряд ли годилась в жены. У них в местечке гораздо выше ценились невестки без университетского диплома, а еще лучше – без школьного аттестата. Впрочем, за всякого Миассар и не пошла бы – сватались к ней после десятилетки дважды, но она твердо решила учиться в столице.

Замуж выходят тут рано, в семнадцать восемнадцать, и двадцать четыре года Миассар, по местным понятиям, выглядели чуть ли не старушечьими для невесты. Конечно, и родители Миассар и родня переживали за судьбу всеобщей любимицы: годы бежали, а женихов не предвиделось – в районе каждый парень на виду, и, может быть, у дяди ее от отчаянья вырвалось насчет сватов?

Женитьба на Востоке – дело тонкое. Пулат не кинулся сломя голову на предложение – а вдруг отказ, какой удар по авторитету! – но прибегать к чужой помощи не стал. Побывал два три раза в Доме культуры, где работала Миассар, и, хотя ни о чем личном они не говорили, девушка поняла, что неспроста стал наведываться секретарь райкома и не очаг культуры – главный объект его забот.

– Здорово выиграл наш Дом культуры, когда вы стали за мной ухаживать, – шутила потом не раз жена, хотя, по европейским понятиям, редкие наезды вряд ли можно считать ухаживанием, но в ее памяти это осталось именно так.

Неизвестно, как долго длилось бы такое ухаживание, если бы Миассар однажды не пришлось срочно позвонить Пулату Муминовичу. Готовила она зал для партийной конференции, и потребовалось срочное вмешательство райкома. Вопрос она решила быстро, и, когда уже собиралась положить трубку, Пулат Муминович вдруг, волнуясь, спросил:

– Миассар, вы пошли бы за меня замуж?

– Вы что, все вопросы решаете по телефону? – не удержалась Миассар.

Пулат на миг опешил. Он не ожидал, что она будет подтрунивать над ним, но быстро понял, что спасет его только шутка:

– Да, конечно. А вам не нравится кабинетный стиль ухаживания? Говорят, сейчас доверяют судьбу компьютерам, брачным конторам, а я хотел обойтись лишь телефоном.

– Ах, вот как, значит, действуете в духе времени, шагаете в ногу с прогрессом, – смеется Миассар. – Если пришлете сватов как положено, я подумаю: мне кажется, у вас есть шансы... – ответила она кокетливо и лукаво улыбнулась – она ждала его предложения.

Скоро они сыграли нешумную свадьбу. Поздравляли их родня и близкие знакомые – вторые браки на Востоке не афишируют. И новая семья у Пулата Муминовича оказалась удачной: жили они с Миассар дружно, и где то в душе он считал, что секрет его молодости, энергии кроется в молодой жене. Ему всегда хотелось быть в ее глазах сильным, уверенным, легким на подъем человеком, а уж веселостью, самоиронией он заразился от Миассар; раньше он не воспринимал шутку, считая, что она всегда некстати должностному лицу.

Росли у них два сына, погодки, Хусан и Хасан; сейчас они отдыхали в Артеке.

– Я очень рада, что у вас сегодня хорошее настроение, – говорит Миассар, наливая мужу чай, – всю неделю приходили домой чернее тучи. Трудные времена для начальства настали: обид у народа накопилось много, вот и спешат выложить, боятся не успеть высказаться и от торопливости в крик срываються, а многие за долгие годы немоты, как я вижу, и по человечески общаться разучились.

– Да, в эпоху... – Пулат на миг запнулся.

– Гласности, гласности, – напоминает Миассар мужу и тихо смеется. – Не можете запомнить это слово, а пора бы, четвертый год идет перестройка, а вдруг где нибудь на трибуне позабудете – там никто не подскажет. Не простят...

– Не забуду, я с трибуны только по бумажке читаю, – отшучивается Махмудов.

Но шутка повисает в воздухе – ни Миассар ее не поддерживает, ни сам Пулат не развивает.

– Перестройка... гласность... – говорит он незлобиво после затянувшейся паузы и задумчиво продолжает: – Я кто – я низовой исполнитель, камешек в основании пирамиды, винтик тот самый, и мне говорили только то, что считали нужным. Всяк знал свой шесток. – Он протягивает жене пустую пиалу и продолжает: – Я то вины с себя не снимаю, только надо учесть – ни одно мероприятие без указания сверху не проводилось, все, вплоть до мелочей, согласовывалось, делалось под нажимом оттуда же, хотя, как понимаю теперь, с меня это ответственности не снимает.

Я что, по своей инициативе вывел скот в личных подворьях, вырубил виноградники, сады, запахал бахчи и огороды и посадил в палисадниках детских садов вместо цветов хлопок? Я ли держу сотни тысяч горожан до белых мух на пустых полях? Я ли травлю их бутифосом? От меня ли исходят эти слова: нельзя, нельзя, не положено, не велено, запретить?

– И от вас тоже, – вставляет Миассар, но Пулат ее не слышит, он весь во власти своего горестного монолога: прорвалось...

– А для народа я – власть, я крайний, с меня спрос, я ответчик, впрочем, как теперь вижу, и сверху на меня пальцем показывают: вот от кого перегибы исходили.

– Что и говорить, рвением вас Аллах не обделил, – снова вставляет Миассар.

Но Пулат опять пропускает ее колкость мимо ушей, главное для него – выговориться, не скажет же он такое с трибуны, пользуясь гласностью.

– Да, мы не хотим быть винтиками, – горячится Миассар, – но вы не вините себя сурово, наш район – не самый худший в области, и вы один единственный остались из старой гвардии на своей должности после ареста Тилляходжаева, значит – новое руководство доверяет вам.

Пулат долго не отвечает, но потом улыбается и говорит:

– Извини, что втравил тебя в такой разговор, не мужское дело плакаться жене, а за добрые слова спасибо. А виноват я, наверное, во многом, и хорошо, что не впутывал тебя в свои дела.

– И зря, – перебивает его жена. – Разве я не говорила, что не нравится мне ваша дружба с Анваром Тилляходжаевым, хотя он и секретарь обкома. Прах отца потревожил, подлец: десять пудов золота прятал в могиле, а в народе добрым мусульманином, чтящим Коран, хотел прослыть, без молитвы не садился и не вставал из за стола, святоша, первый коммунист области...

Пулат вдруг от души засмеялся – такого долгого и искреннего смеха Миассар давно не слышала. Смех мужа ее радует, но она не понимает его причину и спрашивает с обидой:

– Разве я что нибудь не так сказала?

– Нет, милая, так, все именно так, к сожалению. Просто я представил Тилляходжаева: если бы он мог слышать тебя, вот уж коротышка побесился – ты ведь не знала всех его амбиций.

– И знать не хочу! Для меня он пошляк и двуличный человек, оборотень. Я ведь вам не рассказывала, чтобы не расстраивать. Когда я возила нашу районную самодеятельность в Заркент, глянулись ему две девушки из танцевального ансамбля. И он подослал своих лизоблюдов, наподобие вашего Халтаева, но я сразу поняла, откуда ветер дует, да они по своей глупости и не скрывали этого, думали, что честь оказывают бедным девушкам, – так я быстренько им окорот дала и пригрозила еще, что в Москву напишу про такие художества. В Ташкент писать бесполезно – там он у многих в дружках приятелях ходил, хотя, наверное, при случае самому Рашидову ножку подставил бы не задумываясь.

– Были у него такие планы, – подтверждает Махмудов и вдруг смеется опять. – А ведь он с первого раза невзлюбил тебя, говорил: на ком ты женился? А я отвечал: не гневайтесь, что не рассыпается в любезностях, как положено восточной женщине, молодая еще, никогда не видела в доме такого большого человека...

– А я и не знала, что вы такой подхалим, – улыбается Миассар; она видит спесивого коротышку в гневе рядом с рослым и спокойным мужем. – Он меня раскусил сразу, а я – его. Значит, мы оба оказались мудры и проницательны, так почему вы пользовались только его советами? – спрашивает Миассар и заглядывает мужу в глаза.

– Я однажды послушал тебя, – отвечает Пулат, любясь женой.

– И что же?

– Ну и притвора, вроде не помнишь. Выговором с занесением в учетную карточку за непонимание момента отдела.

Она знает, о чем речь, и говорит:

– Я думаю, лучше иметь выговор, чем заниматься пустым делом. Разве вам сразу не была понятна глупость надуманного почина? Разве вы сожалеете, что поступили по своему, не пошли на поводу у обкома?

– Хитрая, – Пулат ласково треплет жену по щеке.

И вспоминается ему давний случай – он тогда только женился на Миассар. В то время со страниц республиканских газет, журналов, с экранов телевизора не сходило имя Турсуной Ахуновой, знатной женщины, "командира хлопкового корабля" – так восторженно писали журналисты о женщине за рулем хлопкоуборочного комбайна. Имя это, и заслуженно, оставило след в хлопковой республике... Но кому то из руководителей Узбекистана увиделось что то романтическое в женщине за рулем комбайна, и был брошен клич: "Девушки, за штурвалы "голубых кораблей"!". Наверное, запоздало, через сорок лет, решили поддержать почин Паши Ангелиной. И как по волшебству появились повсюду школы механизаторов, и стали свозить туда из кишлаков девушек на ускоренные курсы. Вновь газеты запестрели снимками, теперь уже групповыми, и каждый район почему то норовил отобрать самых статных и красивых, словно для конкурса красоты. Когда подобная директива дошла до Пулата Муминовича, он решил, что с курсами ему поможет Миассар, – возле нее, в Доме культуры, вся молодежь района крутилась.

Но Миассар сказала: "Я вам в зряшном деле не помощница", и, горячась, пояснила: "На шестидесятом году советской власти женщину – на комбайн? В республике, где каждый третий мужчина не работает, – зачем? Красивое мероприятие? Женское ли дело работать на трясущемся, ломающемся каждые два часа комбайне, среди отравленных вреднейшим ядом – бутифосом – полей? И куда только наши горе медики смотрят? Ведь женщина прежде всего мать... Нет, на меня не рассчитывайте, я отговаривать девушек буду".

– Может, взбодрим самовар, а то петь перестал, – предлагает Пулат. Ему не хочется прерывать беседу – давно он с женой так душевно и откровенно не разговаривал, все дела, дела, гости, дети... Редко вот так остаться вдвоем выпадает время.

Наверное, Миассар тоже нравится сегодняшнее чаепитие, и она легко соглашается. Пулат относит самовар на место и неумело пытается помочь жене.

– Помощник, – ласково укоряет жена, отстраняя его от дел.

Дожидаясь, пока вновь закипит самовар, Пулат вдруг спрашивает:

– А как ты относишься к гласности, перестройке?

– А вам действительно интересно, что я думаю? – отвечает вопросом несколько настороженно Миассар – муж сегодня удивляет ее.

– Да, я только сейчас понял, что со мною мало кто искренне разговаривает.

Миассар отходит в тень чинары, словно пряча взволнованное лицо от лунного света, и отвечает:

– Вот в прошлом году в сентябре говорили, что в нашем районе никакой перестройки нет, – загадочно сообщает она и делает паузу, словно раздумывая, сказать или не сказать.

– Почему? – торопливо спросил Пулат, чуть не обжегшись горячим чаем.

– А потому, что наша районная швейная фабрика затоварилась школьной формой, все магазины ею оказались забиты. Да и кто ее возьмет в жарком краю: пошито из фланельного сукна, тройкой, да по цене, невиданной для детской одежды, – ведь у нас в каждом доме пять шесть учеников...

– При чем тут перестройка? – нетерпеливо перебивает Махмудов жену.

– А при том, – спокойно продолжает Миассар, – что директор фабрики прямиком к вам – и на колени, мол, выручайте, и дал совет, как спасти его. Вы тут же вызвали заведующего районо и отдали строжайший приказ: с завтрашнего дня ни одного ученика без формы в школу не пускать! Неделю лихорадило район, нигде толком не учились. Ваш горе директор добился своего – сбыл негодную продукцию, обобрал весь район. И потащились по жаре бедные дети в суконных тройках в школу. А вы спрашиваете, при чем здесь перестройка, – при том, товарищ Махмудов, при том.

Пулат краснеет, припоминая события прошлой осени, но тут же то ли спрашивает, то ли оправдывается:

– А что я должен был делать? Фабрика который месяц без денег, в долгу как в шелку, людям нечем зарплату платить.

– Знаете, народ всегда должен входить в ваше положение, когда же вы войдете в его? Зарплата то у него не резиновая. Если продолжать пользоваться такими методами, фабрика скоро начнет шить школьную форму из залежалого бархата или парчи. Власть у вас в руках, заставите купить.

– Да, промашка вышла, – соглашается Пулат, – завтра заеду на фабрику, посмотрю, что они к новому школьному году готовят.

Ночь. Тишина. Погасили огни за дальними и ближними дувалами, даже шумное подворье соседа Халтаева отошло ко сну.

– Как хорошо, что никто нам сегодня не мешает, – говорит Миассар будто самой себе, – только войдете в дом, то дежурный из райкома примчится, то депешу срочную несут, только за стол – ваш дружок Халтаев тут как тут, словно прописанный за нашим дастарханом, точно через дувал подглядывает... Я уже ваш голос забывать стала. В первый раз за столько лет всласть поговорила.

– Ты права, Миассар, мы что то пропустили в своей жизни. Извини, я не то чтобы недооценивал тебя, просто так все суматошно складывается, домой словно в гостиницу переночевать прихожу, да и тут наедине побыть не дают, чуть ли не в постель лезут. Еще при Зухре дом в филиал райкома превратился: ночь, полночь – прут по старой памяти. Будто я не живой человек и не нужно мне отдохнуть, побыть с семьей, детьми. Я постараюсь что то изменить, чтобы нам чаще выпадали такие вечера, как сегодня, – говорит взволнованно Махмудов жене.

– Спасибо. Как замечательно... вечера с детьми... всей семьей... – мечтательно, нараспев, как песню, произносит Миассар.

– Знаешь, – улыбается Пулат – к нему вновь возвращается хорошее настроение, – оказывается, в собственном доме можно узнать гораздо больше, чем на конференциях, пленумах и прочих говорильнях. А что думают об индивидуальной трудовой деятельности? – спрашивает он с интересом. – В райкоме очень озабочены: не пошла на "ура", как надеялись. Казалось бы, все предпосылки есть: тьма свободных, не занятых в производстве рук, и по данным банка денег у людей на сберкнижках немало, и народ восточный всегда отличался предприимчивостью, а не спешат граждане в райисполком за разрешением.

Очень волнует Пулата ответ жены, хотя он и сам уже знает кое какие слабые стороны долгожданного, вымученного закона.

Миассар чуть задумывается, словно взвешивая тяжесть своих слов, и говорит:

– Вот вы спросили об индивидуальной трудовой деятельности и наверняка думаете: благодетельствовали сограждан высокой милостью? А стоит задуматься, что разрешили, что позволили? Трудовую деятельность! Отбросим слово "индивидуальную". Спина одинаково болит и на индивидуальной и на коллективной работе. Скажу честно, я не сама дошла до такого анализа. Думаете, кто подсказал? Плотник наш, Юлдаш ака, из Дома культуры, в прошлом году он поправлял забор у нас, вы его видели. Я хотела обрадовать, думала, он газет не читает. Так он огорошил меня своим ответом, говорит: я что, должен спасибо сказать за то, что мне после тяжелой работы еще на дому работать разрешили и я за эту милость платить должен еще?

Я сначала подумала: может, обижен чем человек или недопонимает чего в силу своей малограмотности. Тогда решила узнать мнение других. Спрашиваю вашего шофера: скажи, Усман, наверное, обрадовались новому закону владельцы "Жигулей"? А Усман отвечает: Миассар апа, если честно и без передачи шефу, то есть вам, особенного энтузиазма он не вызвал, и пояснил почему.

Десять тысяч платит человек безропотно за "Жигули", себестоимость которых вряд ли более тысячи рублей, из своего кармана выкладывает за бензин, качество которого ниже всякой критики. Сорок копеек за литр! Один из самых дорогих в мире – сейчас, слава Богу, то тут, то там мелькают цифры, да и люди по всему свету разъезжают, и ни для кого не секрет, сколько стоит бензин в США или Германии. Работая после основного трудового дня, изнашивая и подвергая риску аварии дорогую машину, он должен еще и делиться личным заработком с государством? За что? Ведь государство уже получило свои баснословные прибыли и за машину, и за бензин. Одну овцу дважды не стригут – так говорят у нас в народе.

После двух таких оценок, назовем их крайне субъективными, я подумала: может, современные мужчины слишком практичными стали, и пошла я к Зулейхе апа, что спокон веку печет в нашей махалле лепешки.

Спрашиваю: Зулейха апа, вы рады, что наконец то разрешили печь лепешки на продажу, а то ее частенько участковый донимал, мол, незаконным промыслом занимается. Хлеб то печь – незаконный промысел!

Она и отвечает: а чему я, милая, радоваться должна? Если раньше давала участковому пятерку десятку, когда его начальство особенно донимало, то теперь обязана заплатить за патент сразу шестьсот рублей! Помилуйте, за что такие деньги? Так ведь недолго и за то, что дышим, налог наложить. Они что, научили меня пекарному делу, тандыр мне поставили, муку достают, дровами обеспечивают? Шестьсот рублей, милая, это пять тысяч лепешек; их ведь испечь надо, пять тысяч раз старой головой в горячий тандыр сунуться, продать и готовую денежку отнести в райисполком, и отнести не тогда, когда наторгуешь, а сразу, не приступая к делу. А если я заплачу да на другой день заболею, мука пропадет, дров не добуду, кто мне деньги вернет?

Почему я лепешки пеку? Потому что другого дела не знаю, да и пенсия у меня тридцать два рубля, а мужа и сына война забрала. Как, скажите, мне на такие деньги прожить? Дело мое нужное людям, на казенный хлеб жалко смотреть, и где только глаза у государственных чиновников! Вместо того чтобы от бабки патент требовать, хлебозаводом бы занялись.

Кстати, как только районный общепит потерял клиентов из за семейного кооператива Ганиевых, его руководство, точно так же, как и директор швейной фабрики, побежало к вам: спасите, план горит, никого на отвратительные обеды не заманишь. Не знаю, что уж они вам наговорили, но Ганиевы, устав от проверяющих, свернули дело. А жаль, вкусно готовили – я однажды обедала у них.

Миассар, не забывая обязанности хозяйки, возвращает самовар на айван и продолжает – тема ее тоже волнует:

– А в райисполкоме с оформлением разрешения сплошная волокита, от многих слышала, всякую охоту заниматься делом отобьют. Каким важным на глазах Касымов заделался, видите ли – он разрешает... По мне, не разрешение надо выдавать, а человек должен приходить и регистрировать свое дело.

Пулат пытается еще о чем то спросить, но Миассар, увлеченная беседой, невольно опережает его:

– Да, чуть не забыла главного. Новый закон для нашей республики, особенно для сельской местности, должен трактоваться несколько иначе, шире. Почему он не может стать основной деятельностью граждан, если тут каждый третий не имеет работы и резкого увеличения мест не предвидится, а прирост населения продолжает оставаться рекордным. Важно, чтобы человек мог использовать конституционное право на труд, а как оно будет реализовано, коллективно или индивидуально, не столь существенно.

– Все, перевожу Касымова в Дом культуры, что бы не задира́л нос, а тебя – в райисполком. При твоём попустительстве весь район займётся частным предпринимательством, – смеётся Махмудов.

– Не займётся, к сожалению, – не в тон мужу серьёзно отвечает Миассар, – ещё много желающих за безделье получать зарплату в государственном секторе, таких и тысячерублевым заработком работать не заставишь, они то и считают чужие доходы. – И шутя добавляет: – Сразу скажут: Махмудов учуял доходное место и жену пристроил. А Касымов первый на тебя анонимку направит куда следует...

И оба от души смеются, в тишине ночи смех слышен далеко за высокими дувалами.

– Ну, ещё какие вопросы волнуют секретаря райкома? – спрашивает ободренная неожиданным вниманием мужа Миассар.

– Какие могут быть вопросы: о чём ни спрошу – всем недовольны, просто обидно...

– Как – недовольны? Чем недовольны? Кто недоволен? – удивленно переспрашивает Миассар.

Теперь уже черед удивляться Пулату.

– Народ, видимо, и недоволен, – отвечает он неуверенно.

– Вот что значит старое мышление, – смеётся Миассар, протягивая мужу полотенце. Пулат вытирает взмокший лоб. – Слушали, слушали, а так ничего и не поняли, – терпеливо разъясняет Миассар. – Доволен народ, и прежде всего гласностью и перестройкой. Только вы зря по привычке ждёте горячих писем одобрения от трудящихся, бурных аплодисментов. Реакция людей нормальная, они хотят, что бы ещё лучше было. Думаете, отмени налог на индивидуальную трудовую деятельность Юлдашу ака, Зулейхе апа и владельцам личных машин, они плясать от радости будут, засыпят райком письмами благодарности – нет, сочтут нормальным явлением. А через год вполне резонно, оценивая свой вклад, будут предъявлять новые требования: мол, мы решаем социальную проблему, дайте нам льготы какиенибудь, и опять же будут правы. Почему бы Зулейхе апа не доставлять во двор муку и дрова за её же деньги; Юлдашу ака со скидкой продавать пиломатериалы, а владельцам машин выделять бензин по себестоимости? Все идёт, дорогой муж, своим чередом, только трудно пока складываются новые взаимоотношения между властью имущими и трудовым людом, да иначе не могло быть. Главное – народ понял, что власть для них, а не они для власти. Хорошее настроение у народа: говорят, если мы столько лет плевали против ветра, то есть поступали против законов экономики и природы, вопреки здравому смыслу, и не пропали, то теперь, когда начали работать по уму, – горы свернем! А вы говорите – недовольны...

Взгляд Махмудова неожиданно падает на стрелку часов – время позднее, впрочем, в этом доме рано спать не ложатся.

– Засиделись, засиделись сегодня, дорогая моя, а мне завтра в совхоз "Коммунизм" надо. Явится Усман ни свет ни заря, ты уж не вставай, мы гденибудь по дороге в чайхане чай попьем. Знаю я одну у Красного моста, над водой под чинарами, надо какнибудь свозить тебя туда, не припомню краше места в районе.

Пулат пытается помочь жене, хочет взять пустой самовар, но Миассар ласково говорит:

– Не надо, я сама. Идите погуляйте перед сном по улице, разомните ноги, подышите свежим ночным воздухом, а я постелю вам, как хотели, на айване.

Пулат выходит за калитку. Ночная улица пустынна, из за яркого лунного света она просматривается из конца в конец. Тишина. Только слышно, как журчат арыки вдоль палисадников. Махалля отстроилась давно, лет пятнадцать назад, и все вокруг утопает в зелени. Престижный район – не всякому тут выделяли землю под застройку. По давней народной традиции каждый перед своим домом поливает дорогу из арыков, иногда и не один раз за вечер, оттого и дышится в округе легко. Мысли Махмудова возвращаются к разговору с женой.

– Ну и Миассар! – вырывается у него возглас восхищения.

Хочется Пулату думать о чёмнибудь приятном, связанном с женой, но проблемы, проблемы, те, о которых она сейчас говорила за столом, и другие теснят думы о Миассар, и он вдруг грустно признаётся, что и мысли его в плену у забот.

Но вдруг улыбка набегают на его помрачневшее лицо: он вспоминает, как лет семь назад они возвращались вдвоем вот так же поздней ночью со свадьбы. Шли с хорошим настроением, повеселились, погуляли от души. Родив Хасана и Хусана, Миассар, на удивление многим, расцвела новой, женской красотой. И красота эта не осталась незамеченной, вот и на свадьбе Пулат видел, как любят его жену, когда она выходит танцевать в круг; девушки на выданье рядом с ней выглядят замухрышками.

Возвращались они, шутя и озуя, словно молодые. Миассар даже несколько раз оглядывалась – не идет ли кто следом, и говорила, смеясь:

– Услышат вас – скажут: какой, оказывается, несерьезный у нас секретарь райкома.

Тогда он и спросил в шутку:

– Почему ты за меня, вдовца, замуж пошла?

Он и ответ ожидал услышать шуточный, вроде: а вы моложе молодых, сегодня на свадьбе всех переплясали. Но она неожиданно остановилась и, волнуясь, не то переспросила, не то повторила вопрос для себя:

– Почему я пошла за вас замуж? – И тут же, не задумываясь, как давно выношенное сказала: – Потому что в народе вас называют Купыр Пулат, Мост Пулат. – И, боясь, вдруг он ее не поймет, торопливо заговорила: – Когда вы в первый раз заехали в Дом культуры, я сердцем почувствовала, что визит этот внезапный ко мне лично. Тогда у меня не было далеко идущих планов, но все равно внимание волновало, и, честно говоря, я ждала следующего вашего приезда. И вдруг предложение по телефону, которое так обрадовало и испугало меня. Какой бы я ни казалась смелой, современной, во мне жива все та же рабская психология восточной женщины, увы, которую не вытравила и по сей день, и я понимала, что не вправе решать сама свою судьбу, тем более с таким человеком, как вы. Все решал семейный совет, родня. Что и говорить, одни были "за", другие "против", но в разгар спора приехал из кишлака мой дедушка Сагдулла, с чьим мнением считались.

"Какой Пулат Муминович? – спросил он сразу. – Купыр Пулат, что ли?"

Признаться, в нашей семье почему то не слышали такого вашего прозвища в народе. Но тут дедушка начал рассказывать, какие два моста вы построили у них в кишлаке, как они прежде мучились из-за отсутствия переправы через Дельберсай и о том, что мосты у них сносило чуть ли не каждый год в половодье, а те, что построил Купыр Пулат, стоят до сих пор и пережили не одну большую воду. Рассказывал он и о мостах, что построили вы рядом; оказывается, они всем селом ходили на хашар к соседям – мост навести дело непростое. Поведал и о самом большом и красивом мосте через Карасу, говорят, вашем любимом, в колхозе "Коммунизм", о том, как долго и трудно он строился и как вас за него чуть с работы не сняли.

Дедушка Сагдулла так азартно и интересно рассказывал про ваши дела, про вас, что, мне кажется, моя родня забыла, ради чего собралась. Заканчивая, дед сказал:

– Если тот самый Купыр Пулат сватается к моей внучке, я не возражаю. А что старше, не беда, у моего отца вторая жена тоже была молодая, но это не помешало им вырастить пятерых детей, в том числе и меня. Мосты строят надежные люди, не сомневайтесь в Купыр Пулате...

Так была решена наша с вами судьба.

Такое воспоминание радует душу, и он произносит вслух:

– Купыр Пулат...

"Если после меня что и останется на земле, так это мосты", – размышляет он. О мостах думать ему приятно; не предполагал, что мосты, акведуки, путепроводы, дренажи так и останутся главной страстью и любовью его жизни.

Когда взяли его в райком, он жалел, что попал не в отдел строительства или промышленности, – там он так или иначе соприкасался бы с мостами. Но вакансия оказалась в отделе пропаганды. Помнится, работая инструктором, он тайком бегал на свой мост и консультировал нового прораба до самой сдачи объекта. Тогда ему казалось, что это первый и последний мост в его жизни.

Но, к счастью, сложилось иначе. Однажды, уже работая заведующим отдела пропаганды, пришлось ему ехать на отчетно выборное собрание в далекий кишлак, находящийся в предгорьях. Удивительно красивые места там: прямо Швейцария! По дороге пришлось сделать изрядный крюк – шофер объяснил, что снесло в половодье мост. Мост не шел из головы Пулата Муминовича, и, когда провели собрание, он попросил нового парторга показать ему место, где снесло переправу. Одного взгляда оказалось достаточно Пулату Муминовичу, чтобы понять, что мост тут стоять не будет, и тогда в нем снова проснулся зуд мостостроителя.

Хотя ждали его и в райкоме и дома, он остался в колхозе и три дня уговаривал председателя строить новый мост, сказал, что и место нашел ему наилучшее, и проект обещал сделать сам, бесплатно и без волокиты, потом собрал сельский сход и увлек народ идеей. Так к осени отстроился и этот его мост. С тех пор по проектам Пулата Муминовича в самых дальних кишлаках стали появляться мосты, акведуки, оригинальные путепроводы.

А когда он стал секретарем райкома, в районе уже знали его страсть. Перво наперво Пулат Муминович разогнал прежние кадры дорожного управления, и там появились люди, знающие свое дело. И сегодня не было в его владениях кишлака, страдающего от отсутствия переправы, да и мосты строились с выдумкой, фантазией, вкусом. Ну, а мост через Карасу, за который его чуть с работы не сняли, даже представили в журнале "Архитектура" и во многих специализированных изданиях. Поглядеть на него из области как на местную достопримечательность привозили интуристов, обвешанных фотоаппаратами.

"Завтра увижу Красный мост, – думает Пулат и мысленно радуется встрече со своим детищем. – Надо же, Красный..." – продолжает рассуждать Махмудов. Название сложилось случайно, теперь никто уж и не помнит, кто первый сказал, а ведь, закладывая в быки опоры рваный красноватый камень, он и не предполагал, что народ назовет мост Красным. Туристы никогда сами не догадывались, почему местные жители так окрестили мост через Карасу, им чудился в этом более весомый, революционный смысл... Впрочем, мост, наверное, и символизировал новую жизнь в крае.

Пулат шагает вдоль сонных особняков с распахнутыми настежь зарешеченными окнами, слабый ночной ветерок из предгорий шелестит листвою обильно политых садов и палисадников, но среди зеленого шума особенно выделяется шелест высоких серебристых тополей – у них свой собственный голос. Ночная свежесть бодрит, прогоняет сон, и Пулат вновь возвращается мыслями к разговору с женой. Почти у каждого дома под деревьями, у арыка скамейка, встречаются удобные скамейки со спинкой, выкрашенные под цвет глухого забора или высоких железных ворот; на некоторых лежат забытые хозяевами мягкие курпачи. Одна скамья из тяжелой лиственничной плахи, рассчитанная на целую компанию, стоит так заманчиво близко к воде, что Пулат, не задумываясь, усаживается на нее перекурить. Но прежде чем достать сигареты, он закатывает штанины и с удовольствием окунает ноги в торопливо бегущую воду арыка. Прогретая за долгий и жаркий день арычная вода успела остыть и приятно холодит босые ступни усталых ног. Благодать... Так можно просидеть до утра. Оглядывая пустые скамейки у соседних домов, Пулату неожиданно вспомнишь картины его далекой студенческой юности.

Учился он в Москве, жил в Замоскворечье, где в пятидесятые годы стояло еще множество особняков с садами, палисадниками и такими же скамеечками. Вспоминается ему и Оренбург, где он три месяца пробыл на преддипломной практике, строил мост через Урал. Снимал он там комнату в старинном купеческом районе Аренда, где жили татары, и квартал у них тоже именовался махалля – на узбекский манер, он даже помнил его название, оставшееся от прошлой жизни, – Захидхазрат. По вечерам он ходил гулять в парк с очень милым названием – "Тополя".

Пулат вслушивается в шелест высоких серебристых тополей, высаженных вдоль арыка, и шум деревьев напоминает ему парк в далеком Оренбурге, окраинами уходящий в великую казахскую степь.

Бегущая ночная вода притягивает сигаретный дым, и он стелется над арыком, как бы пытаясь бежать с ним взапуски, но силы неравны, и сток, как промокашка, вбирает табачный дым. Пустые скамейки наталкивают его на приятное размышление, приходит на память строка из песни, тоже давней, из студенческой жизни: "Ночь – время влюбленных", и он улыбается, подумав, что вряд ли в такую удивительную ночь пустуют скамейки в Замоскворечье, если, конечно, они сохранились, или в Оренбурге, на Аренде, где он некогда жил. Сейчас они принадлежат влюбленным. Он знает, что почти за каждым глухим дувалом в доме есть юноша и девушка в возрасте Ромео и Джульетты, но скамейки будут пустовать даже по ранней весне, когда розово и дурманяще

цветет миндаль и стоят, словно в снегу, благоухая, яблоневые сады, потому что тут другие традиции, нравы, обычаи, и вряд ли здесь наткнешься на влюбленных, встречающих рассвет. И ему вспоминается Миассар, назвавшая его редкие наезды в Дом культуры ухаживанием. "Опять райком виноват?" – шутя подумал Махмудов и быстро поднялся; уходить от арыка не хотелось.

"Странная ночь, сна ни в одном глазу, хотя какой тяжелый выдался день, – рассуждает Пулат, медленно возвращаясь домой. – Далеко забрел, обошел чуть ли не всю махаллю, раньше точно так же в Замоскворечье или в Оренбурге обходил квартал с трещоткой общественный сторож. Вот и я сегодня оберегаю ночной покой своих односельчан. Впрочем, охранять их покой днем и ночью и есть моя обязанность", – выплывает откуда то строгая мысль.

Пулат продолжает удивляться неожиданной бодрости – спать ему действительно не хочется, хотя ночь накануне спал тяжело, мучил его один и тот же сон. Будто идет он по своему любимому Красному мосту, спешит с цветами, а на другом берегу дожидается его Миассар, машет рукой, торопит. Как только он одолевал половину пролета, мост вдруг под ним рушился, и он летел в желтые воды бурлящего Карасу. Все это он видел как бы в замедленном кино, видел и перекошенное от страха лицо, и откинутую руку, и отлетевший букет и даже слышал свой испуганный крик, вмиг заполнивший ужасом глубокое и гулкое ущелье и отозвавшийся эхом в горах. Он просыпался в холодном поту, ничего не понимая, пытался стряхнуть мучившее видение, но тут же снова проваливался в тревожный сон и снова и снова спешил навстречу Миассар, заступая на рушившийся под ним мост. Лишь на рассвете ему удалось забыться и уснуть без сновидений.

Подходя к дому, он вспомнил, что, хотя и гулял часа два по ночной махалле, не встретил ни патрульного мотоцикла, ни просто милиционера, делающего обход. А ведь Халтаев уверял, что район после ареста Раимбаева тщательно охраняется милицией днем и ночью. Правда, неделю назад после обеда он видел двоих ребят из милиции в штатском, обходивших квартал... И мысли его переключаются на новую проблему.

Он знает, да и кто этого не знает, в столице и в областях работают следственные группы из Прокуратуры СССР, трясут подпольных миллионеров, наживших состояние на хлопке, каракуле, анаше, финансовых и хозяйственных махинациях, на взятках и должностных преступлениях.

Тревожное время, многие большие люди спят беспокойно, не знают, с какой стороны подступит беда, откуда ее ждать. Выясняется, что организованная преступность в стране гораздо раньше прокуратуры узнала о подпольных миллионерах в Средней Азии и Казахстане, и потянулись в жаркие края банды жестоких и хладнокровных убийц. Свои налеты с помощью местных осведомителей из среды уголовников и людей из органов правопорядка, как кощунственно это ни звучит, они готовили долго и основательно, спешить им было некуда, куш за одну операцию поражал воображение даже таких людей.

Месяцами они изучали повадки, привычки подпольного миллионера, распорядок дня его, семьи, соседей, заводили досье с множеством фотографий, сделанных скрытой камерой, фоторужьем; тщательности подготовки, наверное, позавидовали бы и итальянские мафиози. Зачастую приходили в милицейской форме, имея на руках поддельное постановление на обыск, держались солидно, без суеты, профессионально.

Сегодня обнаруживается, что многих владельцев тайно нажитых миллионов успели выпотрошить налетчики, и что удивительно – никто из них не пожаловался властям на ночной разбой, хотя не всегда приходили с постановлением, даже поддельным. Хорошо изучили не только быт, но и психологию миллионеров, знали, что они жаловаться не станут. Четыре года прошло, как начались так называемые "хлопковые" дела, сумму хищения установили быстро и точно – превышала она четыре миллиарда рублей, а вот с возвратом ее народу дело продвигалось туго – не вернули и четвертой части. Оттого и спешили следственные группы, но не дремал и преступный мир; он легко не уступал того, что считал своим, он тоже торопился, и жестокость его не имела предела.

Знал Пулат о таких делах и от Халтаева, державшего нос по ветру, но больше всего поразила его история с Раимбаевым.

Раимбаева, бывшего председателя большого колхоза, по распоряжению обкома перевели к ним из соседнего района на руководящую должность в райисполкоме – вероятно, готовился трамплин для очередного взлета. Энергичный, хваткий человек, депутат, не по годам обласкан и знаменит; чувствовалось, что у него есть поддержка в верхах. И года не успел проработать Раимбаев в райисполкоме, как вызвали его работники

следственной группы Прокуратуры СССР и с фактами в руках потребовали вернуть деньги, что несправедливо, будучи председателем колхоза, и сумму указали, какую следует сдать. Долго отпирался Раимбаев, уверял, что нет денег, но после очных ставок с бухгалтером колхоза, директором хлопкозавода задрал рубашку и показал следователю живот, где в двух местах словно горячий утюг приложили. Оказывается, так оно и есть, и Раимбаев рассказал обо всем.

Как то поздно ночью раздался звонок у глухих ворот – время уборочное, начальство во время хлопковой кампании иногда до утра заседает в штабах, и Раимбаев без опаски открыл дверь, думал, гости нагрянули. Человек он не робкого десятка, молодой, и сорока еще нет, да и во дворе имел двух сторожевых овчарок, но почему то не обратил внимания, что не залаляли они.

"Гости", человек семь в милицейской форме, в высоких чинах, один седой, вальняжный, в полковничьих погонах, поздоровались и сказали, что они к нему за помощью. Ничего не подозревающий Раимбаев пригласил ночных визитеров в дом. Как только вошли, седовласый предъявил постановление на обыск и велел капитану доставить понятых. Все делалось четко, основательно, без суеты, твердо, но вежливо, по закону. Лейтенант начал вести протокол допроса, а капитан, введя двоих понятых, тихо усевшихся в сторонке, стал тщательно записывать изымаемое, то и дело справляясь у полковника, как правильно записать ту или иную вещь. Все, что отыскивали в доме, а нашли немало, пришедших, видимо, не устраивало. Полковник, достав папку, зачитывал какие то документы и требовал вернуть государству астрономическую сумму. Но Раимбаев, человек тертый, был уверен: как только его увезут, жена, сидевшая рядом с понятными, свяжется с родней в области, и все уладится, и не на таких бравых полковников находили управу. Судя по национальному составу, работники были местные, свои, областные или из Ташкента, главное, не из Прокуратуры СССР, поэтому следовало переждать, – так решил Раимбаев.

Налетчики, видимо, рассчитывали, что хозяин дома испугается и отдаст все сразу, но через два часа стало ясно, что с деньгами и золотом он добровольно не расстанется, и тут они сбросили маски – время торопило их. Жена у него была беременна. Они раздели догола жену, завязали ей рот, связали руки, ноги, бросили на ковер и воткнули между ног большой электрический кипятильник для белья, сказав:

– Начнем с тебя, не отдашь – подключим жену к сети.

Сорвали с него рубашку, завязали руки, ноги, кинули на диван и поставили на живот электрический утюг. Тут то он понял, что имеет дело с бандитами и что эти люди не шутят. Отдал он им все. Выложил деньги, но никому о налете не рассказал, месяц лежал дома, лечился от ожогов; только когда через полгода забрали его московские следователи, тогда и выплыла страшная история наружу. Вот из за нее и распорядился Халтаев, чтобы их район тщательнее охраняла милиция.

Поравнявшись с усадьбой Халтаева, Пулат невольно остановился и обратил внимание, что дом начальника милиции напоминал неприступную крепость; не хватало на высоком дувале лишь колючей проволоки в три ряда с высоким напряжением да сторожевой вышки с автоматчиком.

Вернувшись домой, он еще долго бесцельно ходил по двору, хотел войти в дом, чтобы взять и просмотреть кое какие бумаги, но побоялся потревожить сон жены – Миассар спала чутко. Забрел на летнюю кухню и на газовой плите вскипятит чайник; заварив чай, перебрался на айван, где Миассар постелила ему, как и обещала.

"Что со мной происходит сегодня, вечер воспоминаний устроил ни с того ни с сего", – усмехнулся Пулат, примерно через час обнаружив, что чайник опустел. Но мысли то и дело непроизвольно возвращались в прошлое.

Вспомнились ему детдома, где он воспитывался с малых лет, выпало их на его долю четыре. Отчетливо он помнил лишь последний, даже не детдом, а сельский интернат, где закончил десятилетку. Мало кому из детдомовцев в те годы удавалось получить среднее образование, путь был один – после семилетки в "ремеслуху". Его с детства отличала фанатичная тяга к знаниям, книгам, эту тягу мог не заметить только равнодушный, но ему везло на хороших людей, потому и избежал "ремеслухи", а помогать таким детям в те времена было небезопасно.

Его отца репрессировали в тридцать пятом, но совсем не так, как многих; он, наверное, действительно был врагом нового порядка, хотя теперь установить степень вины трудно. Отец его служил главным сборщиком

налогов у последнего эмира бухарского Саида Алимхана и с приходом в край советской власти, конечно, потерял много. Когда возникло басмаческое движение, если он и не принимал участия в сабельных походах Джунaid хана, все же тайно сотрудничал с ним и, говорят, передал воинам ислама какие то спрятанные сокровища бежавшего Саида Алимхана. Вот за это и расстреляли его.

Пулат помнит голод, разруху, огромные перемещения людей. Семья их распалась, растерялась; слышал, что мать подалась в Кашгарию; помнит, что у него были сестренка и братишка, совсем маленький, ему самому тогда исполнилось пять лет.

С восьмого класса учился в русской школе интернате, хотя семилетку одолел на родном языке. Веселый, общительный, доброжелательный, с острым умом, любимец интерната, он был лучшим его учеником и закончил школу с отличием.

Класса с четвертого, во время войны, он понимал, что содержится в особом детдоме, хотя и не выстригали у них на макушке крест, как делали в иных подобных заведениях.

Незадолго до выпускного вечера вызвала его к себе директор интерната, учительница истории Инкилоб Рахимовна, одна из первых в крае большевичек, – теперь он встречается ее имя уже в учебниках по истории. Разговор оказался долгим.

– Пулат, – начала она, несколько волнуясь, – ты уже человек взрослый, вступаешь в самостоятельную жизнь, и я верю и надеюсь, что из тебя получится хороший человек и специалист. Тебе надо обязательно учиться, у тебя светлый ум, и ты еще пригодишься своему краю и своему народу. Но с твоей родословной вряд ли сегодня примут в какой нибудь институт. Поговорить о твоей дальнейшей судьбе я и пригласила тебя...

Чтобы тебе можно было попасть в наш образцовый интернат, мои коллеги из детдома в Коканде, а я их давно знаю по совместной работе в партии, изменили твое отчество. Махмудов – такая же распространенная фамилия на Востоке, как Иванов в России. Они сознательно спутали твое личное дело с личным делом одноклассника и однофамильца, неожиданно умершего от гемофилии, болезни крови. Надеюсь, ты понимаешь, какому риску мы себя подвергали. Время трудное, повсюду мерещатся враги, и я не советую пытаться сразу поступать в институт. У тебя призывной возраст. Отслужи, а затем обязательно иди учиться, оправдай наш риск и наши надежды, и непременно в Москву, подальше отсюда. Верю: пока отслужишь, отучишься, в стране что то изменится, поймут наконец, что сын за отца не ответчик.

Шел тогда 1949 год. Мелькнула в памяти и армия. Служил он в Подмосковье, в Кунцево, теперь уже давно находящемся в черте столицы. В марте пятьдесят третьего года стоял в оцеплении на Красной площади, когда хоронили Сталина, плакал, как и многие. В армии сдружился с Саней Кондратовым, три года прожили они в казарме рядом, делили тяготы нелегкой солдатской жизни. Кондратов и увлек его мостами – вместе поступали в инженерно строительный. Пулат во время вступительных экзаменов даже жил у него в Москве, на Арбате.

Кондратов теперь стал известным мостостроителем, лауреатом Государственной премии, построил много крупных мостов в стране – Пулат часто встречал фамилию армейского друга в печати. Прошел XX съезд партии, и Пулат уже разбирался, что к чему, – жизнь в Москве не проходит без следа. После съезда у него появилась даже мысль пойти в деканат и заявить о путанице в своем личном деле, но Кондратов его удержал, советовал не спешить. Учился он хорошо, легко давались ему труднейшие технические дисциплины. О том, что у него прирожденный инженерный ум, не раз говорили преподаватели. После окончания оставляли его на кафедре, и была возможность через два три года защитить кандидатскую диссертацию. К его дипломной работе о свайных основаниях проявили интерес ведущие проектные организации, но он без сожаления расстался со своими идеями, потому что рвался на родину.

Восемь лет он не был в Узбекистане – голос крови, что ли, в нем разыграл, хотя в те годы в Москве училось немало его земляков и он с ними общался. Там же он, заканчивая диплом, познакомился с Зухрой, студенткой Первого медицинского института.

Как давно это было: Москва, похороны Сталина, казарма в Кунцево, в которой переночевал 1072 раза – вел он, как и многие, счет дням и ночам до "дембеля"; практика в Оренбурге, полузабытый парк "Тополя", где бывал каждый вечер с девушкой с редким именем – Нора. Теперь он даже не помнит, как она выглядела, одно имя

врезалось в память, а ведь провожал он ее на Форштадт, рисковал, по тем годам самая отчаянная шпана обитала там, а Нора – девушка видная. Замечал он на себе косые взгляды в "Тополях", да как то судьба миловала, обошлось, а может, Нора и уберегла от кастета или финки – ведь слышал, что имела она неограниченную власть над Закиром Рваным, отчаянным форштадтским парнем. Нравился Пулат Норе – без пяти минут инженер, в Москве учится, начальник на большой стройке, не то что шпана форштадтская...

На Пулату наплывают из прошлого разрозненные картины молодости, вспоминаются лица, имен которых он не помнит, или, наоборот, имена, чьи лица трудно представить ему, как лицо Норы, например, но мысль о том давнем, где осталось все таки больше радостей, чем печалей, почему то не задерживается. Что то подталкивает его думать о недавнем, сегодняшнем, и виной тому, наверное, разговор с Миассар...

Старый дуб у дувала, оплетенного цветущей лоницерой и мелкими чайными розами, рядом с незаметной для постороннего взгляда калиткой, ведущей во двор Халтаева, отбрасывает густую мрачную тень на летнюю кухню, и идти в темноту зажигать газ ему не хочется, хотя чайник давно пуст. Пулат чувствует ночную свежесть и тянется за пижамной рубашкой из плотного полосатого шелка, вышедшего, кажется, из моды повсюду, кроме Средней Азии, – здесь такая пара еще почитается за шик.

"Мне уже пятьдесят семь, жизнь, считай, прожита, – с грустью размышляет Пулат. – А ведь кажется, еще вчера Инкилоб Рахимовна напутствовала в большой мир... Оправдал ли я надежды людей, рисковавших из за меня, поверивших в меня?"

Наверное, если бы такой вопрос он задал себе лет семь назад, то ответил бы с гордостью, не задумываясь: да. Но за семь последних лет он с такой уверенностью не ручался бы, не ручался...

Инкилоб Рахимовна – имя старой женщины, принявшей доброе участие в его судьбе, почему то не идет из головы. Он пытается связать его со своими путаными мыслями, но логичного построения не получается. Его преследует не ее образ, он ее тоже не помнит, смутно видятся лишь седеющие волосы, европейская прическа и папираса в худых, нервных пальцах. Да, директор специнтерната Даниярова курила – это в память врезалось четко. Но почему же ему кажется, что имя старой коммунистки имеет отношение к сегодняшнему разговору с Миассар, и оттого не идет из головы.

– Инкилоб... Инкилоб... – повторяет он медленно вслух и вдруг находит таки ключ разгадки. Да, имя ее означало – Революция, Революция Рахимовна – новое время оставило и такой след в жарких краях, и тут были люди, принявшие революцию сердцем. И в устах Миассар не раз сегодня звучало – инкилоб; вот как перекликнулось со временем имя старой большевички, определившей его судьбу.

Он уже давно был секретарем райкома и депутатом Верховного Совета республики, когда однажды увидел по телевизору передачу; открывали помпезный филиал музея Ленина в Ташкенте. Среди тех, у кого репортеры брали интервью, оказалась и Даниярова, уже совсем согбенная, плохо одетая старушка, но он узнал ее сразу. Помнится, ветераны чувствовали себя неуютно среди мраморно хрустального великолепия залов с высокими дубовыми дверями при дворцово бронзовых тяжелых ручках; они осторожно, словно по льду, ступали по скользкому наборному паркету и выглядели лишними бедными родственниками на богатом балу. Впрочем, их долго на экране не продержали, ветеранов быстро вытеснили продолжатели их дела, солидные, вальяжные дяди и тети, словно за свои грехи и отступничество отгрохавшие величественный храм вождю. Все в истории человечества повторяется: раньше за отступничество и грехи ставили соборы и мечети, теперь отделяются роскошными филиалами музея.

Увидев на экране Даниярову, он чуть не вскрикнул: мама! В интернате многие обращались к ней так, а для него, наверное, Инкилоб апа и была мать: в него, больше чем в кого либо, вложила она свою веру и любовь, ради него рисковала жизнью. От волнения у него сжалось сердце и повлажнили глаза.

Тогда еще была жива Зухра, первая жена, он хотел позвать ее из соседней комнаты и рассказать о своем сиротстве, о старой большевичке Данияровой, ставшей для многих мамой, но что то удержало его. Под впечатлением неожиданной встречи с Инкилоб апа Пулат решил, что завтра же свяжется с Ташкентом, узнает, где сейчас живет Инкилоб Рахимовна, – он хотел обязательно найти ее, привезти в свой дом, познакомить с женой, детьми, хотел, чтобы остаток дней она прожила у него, хотел обрадовать, хоть и запоздало, что оправдал ее надежды.

Но на другой день накатились дела, заботы, и он никуда не позвонил, а через полгода в республиканских газетах наткнулся на некролог, сообщивший о ее смерти. Помнится, вечером он очень крепко выпил: он не только поминал Революцию Рахимовну, а вином хотел залить горечь от сознания своего предательства. В тот день свой поступок он иначе не называл. И сегодня это воспоминание больно отзывается в его сердце.

– Предатель, – вслух произносит Пулат и невольно оглядывается.

Ночная тень могучего дуба чуть сместилась влево, и лунный свет хорошо освещает вход в летнюю кухню, с айвана даже видна газовая плита, но не до чая ему сейчас. Ему стыдно, что он невольно оглянулся, и потому с горечью думает: почему в нас нет внутренней свободы, почему живем с оглядкой? Оглядываемся даже в ночи, наедине с собой, боимся своих мыслей? Давно Пулат так не рассуждал, наверное, в последний раз это было с Саней Кондратовым, когда заканчивал в Москве институт. Куда все подевалось? Ведь без свободного обсуждения мнений новых идей не народится. Опять его думы возвращаются к Миассар – она разбредила его душу. Но от этих дум его бросает то в жар, то в холод. Вспомнил бы сегодня Инкилоб Рахимовну, если бы не разговор с женой? Вряд ли. И вдруг, впервые за много лет, он ясно представляет свою учительницу. Она стоит у входа в столовую интерната, опершись на дверной косяк, и смотрит в зал. Пулат Муминович четко различает ее белую, тщательно выстиранную кофточку с небрежно завязанным бантом на груди, видит ее большие, по восточному красивые, бархатные глаза – в них, кажется, навсегда поселилась печаль. Она смотрит куда то вдаль, поверх голов обедающих мальчишек и девчонок, ее тонкие, нервные пальцы то и дело отбрасывают с лица падающие волосы. О чем она думает, куда улетел ее грустный взгляд? Наверное, думает о том, какими вырастут эти мальчишки и девчонки с трудной судьбой, оправдают ли надежды, смогут ли построить то общество добра и справедливости, о котором мечтали они?

"Сегодня я намного старше той Инкилоб Рахимовны, напутствовавшей меня в жизнь, и я бы очень покривил душой, если бы утверждал, что оправдал ее надежды, – признается он себе. – Впрочем, наверное, она разочаровалась не во мне одним", – продолжает рассуждать Пулат, вспоминая давнюю телевизионную передачу об открытии филиала музея Ленина в Ташкенте. Не радовали старых большевиков ни величественные залы, ни самодовольные продолжатели их дел – это виделось даже неискушенному зрителю. Более того, словно пропасть пролегла между ними, они вроде не понимали друг друга, оттого и торжество продолжалось без ветеранов.

Он еще долго вспоминает Даниярову, стоящую у двери столовой специнтерната, словно усилием памяти хочет привлечь ее внимание, чтобы заговорила с ним, но увы... понимает, что упустил время, назад хода нет...

Как ни горько вспоминать давнее, Пулат счастлив, что впервые за много лет ясно представил образ своей учительницы.

И прежде чем обратиться к семи последним годам, за которые Пулат Муминович чувствовал вину перед учительницей истории, он захотел заглянуть дальше, глубже в себя. Сегодня он искал корни поступков, приведших к тому, что он вынужден испытывать стыд за свои последние годы. Не в один же день это случилось...

Неожиданно в памяти всплывает имя Норы, о которой сегодня он уже вспоминал под шум высоких серебристых тополей у арыка. И краска стыда заливает лицо Пулата – он рад, что никто этого не видит. Ему становится неловко не оттого, что он забыл ее прекрасное лицо, а потому, что сегодня уже был неискренен с самим собой. Нора... модистка, кажется, ныне даже в обиходе нет такого слова, но он не ручается за это, просто с тех пор больше не слышал... модистка. Нора... Кстати, по паспорту она значилась Нурия, но сердилась, если он так ее называл. Однажды она пригласила его домой познакомиться с родителями; какой чудный бялиш, татарский пирог с рисом, с мясом, по такому случаю испекла; вот тогда он услышал, как мать называла ее – Нурия. Ему, восточному человеку, имя Нурия было ближе, но ей нравилось – Нора. Маленькая прихоть красивой девушки – впрочем, "Нора" ей очень подходило.

Работала она в самом модном салоне Оренбурга "Люкс" на улице Советской – он всегда проходил мимо его стеклянных витрин, на которых местный художник, не особенно терзаясь муками творчества, в взятой напрокат чужой манере крупно, броско, в стиле Тулуз Лотрека, изобразил загадочно томных женщин под вуалетками кокетливых шляп. Особенно выделялись на плакатных рисунках ярко красные чувственные губы и тщательно выписанные длинные пальцы – казалось, кроваво красный лак капал с изящных, холеных рук.

В ночной тиши он вдруг словно слышит цокот ее каблучков – Нора ходила на умопомрачительных высоких шпильках. Тогда это было модно, как и длинная, узкая юбка с пикантным разрезом то по бокам, то сзади, то спереди. "Не идет, а плывет", – говорили в ту пору о модницах; такой стиль действительно диктовал особо элегантную, по настоящему женственную походку, дававшуюся не всякой девушке, тут нужен был талант, как и в любом деле.

Он смотрит в ночной сад, но взгляд его затерялся в давнем прошлом; в ушах, словно мелодия, стоит стук каблучков спешащей к нему на свидание Норы – он никогда не путал этот звук с другими. Он пытается вспомнить еще что то приятное, связанное с нею, и вдруг грустно улыбается – из глубин памяти наплывает на него запах сирени.

Оренбург долго для него ассоциировался с запахом сирени. В ту счастливую весну он каждый день дарил ей персидскую сирень и ландыши. Ландыши, наверное, тогда у многих девушек вдруг оказались любимыми цветами – повсюду звучала популярная песня Гелены Великановой "Ландыши". Как давно это было!

Пулат видит себя на углу улиц Советской и Кирова, у театральной тумбы с афишами – он ждет как всегда запаздывающую Нору. Он пытается вспомнить ее лицо, нет, даже не вспомнить, хочет заглянуть ей в лицо, но память его так же непослушна, как и сама Нора; она почему то, озоруя, то отводит лицо, то прячет за букет сирени, что он тогда подарил. Он слышит ее мягкий, грудной голос, смех; она так волнующе, с придыханием говорила: Пулат... Ему до слез хочется вернуть ее лицо, но... От бессилия памяти Пулат невольно опускает мысленный взгляд к ее ногам и ясно вспоминает туфли лодочки, остроносые, лаковые, видит высокие стройные ноги в ажурных черных чулках – и тогда, тридцать лет назад, они тоже были в моде, как и сейчас. Видит узкую серую, из тонкого китайского габардина длинную юбку с высокими шлицами по бокам, видит широкий лаковый ремень с огромной, пиратской пряжкой из хромированного легкого металла. Точно такой же ремень он видел на прошлой неделе у своей невестки из Ташкента, большой модницы. Кстати сказать, благодаря ей он как то в курсе текущей моды. Он мысленно поднимает взгляд, восстанавливая в памяти Нору, и вспоминает ярко алую свободную шелковую кофточку с плечиками – кажется, такую носит Миассар. Пулат, отчетливо помнящий кофточку Норы вплоть до перламутровых пуговиц и темного муарового банта на груди, разницы в них не ощущает, разница лишь во времени – в тридцать лет.

Словно прыгун перед рекордной высотой, имеющий последнюю попытку, он с волнением приноравливается вспомнить лицо: а вдруг снова неудача? Нет, на месте ее лица не зияет провал, пустота, как любят нынче изображать авангардисты, он видит ее лицо, видит в подвижности, меняющимся, словно смазанным на бегу, но ему нужно задержать его хоть на минуту. Он хочет взглянуть в ее прекрасное лицо, увидеть небольшую кокетливую родинку чуть выше верхней губы, хочет увидеть смеющиеся глаза, крупные, темные, с какой то дымной поволокой. Особенно они хороши, когда она смеялась, они как бы лучились, и он заражался смехом именно от этих радостных искр. А как она смеялась!

Он невольно приближался к ней в такие минуты, чувствовал ее чистое дыхание, она слегка запроки дывала голову, и он не мог глаз оторвать от ее нежного рта, прекрасных, полных жизни алых губ; она никогда в ту пору не пользовалась косметикой. Порою, захлебываясь от смеха, она невольно, по детски проводила маленьким влажным язычком по верхнему ряду удивительной белизны зубов, и этот машинальный жест, делавший Нору беззащитным подростком, ребенком, так трогал, умилял Пулату, что у него захватывало сердце и влажнели глаза. В такие минуты всякий раз невольно набегала беспокойная мысль: неужели это стройное, элегантное, поразительной красоты милое создание, которому повсюду смотрят вслед, – моя девушка?

С опаской он отрывает мысленный взгляд от муарового банта алой кофточки, несколько задерживается на высокой, изящной шее с тонкой ниткой потерявшего от времени живой блеск натурального жемчуга. Он знает, что ожерелье переходило из поколения в поколение, и вот настал ее черед носить, чему Нора несказанно рада. Пулат знает, что раньше у мусульман жемчуг ценился выше бриллиантов.

– Где фамильный жемчуг? – часто говорила она шутя, делая при этом испуганные глаза, время от времени проверяя, на месте ли ожерелье, привезенное некогда прадедом Норы из Константинополя.

Помнится, и он втянулся в игру: целуя ее в последний раз у калитки, он всегда торжественно говорил на прощание:

– Проверим, на месте ли фамильный жемчуг?..

На него, как с экрана, крупным планом надвигается ее прекрасное лицо. Но нет ни привычной смешинки, лукавинки в глазах, ни улыбки, редко сходящей с ее доброжелательного лица, и он тут же вспоминает, когда он видел ее именно такой.

Он видит старинный перрон Оренбурга, еще не задушенный неуправляемым пассажиропотоком, даже слышит доносящийся из прилегающего к вокзалу железнодорожного парка духовой оркестр, играющий вальс. Ясно видит новенький вагон ташкентского скорого и себя на подножке. Она не отпускает его руки и делает несколько шагов вместе с медленно набирающим ход поездом. Вот тогда она молча смотрела на него такими же печальными глазами, хотя для печали вроде не было причин. Он обещал ей приехать на Новый год, а весной, когда получит диплом, увезти с собой по назначению.

Сердце девичье не обманешь: она почувствовала если не беду, то тревогу за их судьбу и до последнего момента не разжала пальцев. Поезд силой вырвал его руку из ее горячей руки, и печальные глаза Норы преследовали Пулата до самой Москвы. "С чего бы она так?" – думал тогда он беспечно – ведь намерений обмануть и в мыслях у него не было, он вполне искренне называл ее невестой.

– Нора, милая, давняя любовь моя, прости, – срывается невольный шепот с губ Махмудова.

Если бы сегодня Пулат не признался в предательстве Инкилоб Рахимовне, не повинился, не захотел честно разобраться в своей жизни, провести в ней глубокую ревизию, наверное, вряд ли вспомнил бы такую Нору. Ведь у арыка хотелось вспомнить легкий и красивый флер, в котором больше романтики, чем реальности: парк "Тополя", джазовый оркестр Марика Раушенбаха, лихо игравший модный в ту пору "Вишневый сад", сплошное торжество медных труб и саксофонов, или томный "Караван" Эллингтона, когда солировал сам Раушенбах, кумир местных джазменов, первый денди в Оренбурге. Под занавес, когда уходило начальство, тишину старинного парка сотрясали такие рок н роллы. Если быть честным перед собой, ведь только это и промелькнуло в памяти сначала, даже лица Норы не припомнил, лица своей невесты.

– Подлец, – как то нерешительно произносит Пулат, и искать себе оправдания ему не хочется.

В жизни человека наступает день, когда приходится отвечать за предательство. И пусть карой будет только расплата покоем, душевным комфортом, если это счет к самому себе, – нелегко судный день.

"Кругом виноват", – думает Пулат, оглядывая двор, где многое посажено, возвращено своими руками; любит он, когда выпадает время, покопаться в саду, но со свободным временем негусто. И то, что у него ухоженный тенистый сад, неплохой виноградник и даже небольшой малинник за дощатой душевой, все же заслуга не его, а садовника Хамракула ака, появившегося в усадьбе лет пятнадцать назад. Однажды он попытался вспомнить, как, при каких обстоятельствах объявился во дворе тихий, услужливый, набожный дед, но так и не вспомнил, да и спросить, уточнить не у кого было – Зухра в то время уже умерла. Мысли о садовнике ему неприятны, и Пулат берет чайник и направляется к летней кухне; ночная тень могучего дуба сдвинулась еще чуть левее, и возле газовой плиты светло, не нужно зажигать свет. Пока закипает чайник, Махмудов прохаживается по дорожке, упирающейся в калитку Халтаева; он ходит взад вперед, словно хочет ворваться во двор начальника милиции и спросить у гориллоподобного соседа, кто же пристроил к нему садовником Хамракула ака, – уж Халтаев то наверняка знает, кто.

Он слышит сзади свисток закипевшего чайника и возвращается в кухню. "Разберусь сегодня и с Халтаевым, и с садовником", – успокаивает он невидимого оппонента, свою совесть, и направляется с чайником к айвану. С чаем думать как то легче, да и после обильного плова мучает жажда.

Прошлое властной рукой держит думы, и перед ним вновь всплывает грустное лицо Норы, бледное, с вмиг запавшими глазами, сухими, жаркими губами – таким, словно в укор, сегодня оно предстало перед ним. А ведь он больше в жизни не встречал такой хохотушки и озорницы; тогда, на вокзале, предчувствие беды, расставания украло с ее лица краски и погасило глаза. Он помнит, как по воскресеньям они ходили вдвоем на Урал, и на пляже он часто просил ее закрыть глаза и любовался юной, пахнущей незнакомыми цветами, удивительно нежной кожей лица, словно подсвеченной изнутри неведомым огнем. Он невольно касался ее лица, как бы желая смахнуть румяна, но запоздало вспоминал, что она не пользуется косметикой.

Никогда не могла она долго лежать с закрытыми глазами, не хватало терпения, шутя оправдывалась: мне тоже хочется видеть тебя, запомнить, ведь ты скоро уедешь. Как ни старался, он не мог уловить тот миг, когда она распахивала глаза, всегда это происходило неожиданно, внезапно, хотя он вроде и был готов поймать ее первый взгляд, несколько удивленный и вместе с тем радостный, ожидающий чуда, откровения от окружающего, – поразительный взгляд или поразительные глаза юности, еще не знавшие в жизни ни беды, ни обмана. Доверчивый взгляд ее вызывал невероятный прилив нежности, которой он в себе никогда не предполагал. Распахнутые глаза, освоившись с миром, лучились ясным светом, что вмиг преображало лицо Норы: оно становилось еще прекраснее, одухотвореннее – такое лицо хотелось ему увидеть сегодня хоть на миг, но оно не давалось ему...

Если бы Пулат был вполне откровенен перед собой, то следовало вспомнить и Закира Рваного, рослого, крепкого парня с темными, по цыгански волнистыми волосами. Правда, о Закире он знал не все и старался не вспоминать о нем.

Закир отдал флоту четыре года на Тихом океане и с тельняшкой никогда не расставался – в те годы привязанности были крепкими. Странная приставка к имени возникла из за отметины на лице. Рваный шрам от ножа на левой щеке не портил его крупных, не лишенных приятности черт. Рваный – кличку он получил до флота, – уходя на службу, пользовался уже большим авторитетом на Форштадте, а значит, и во всем городе. Это был редкой смелости парень, и многие искали дружбы с ним. На флоте его окрестили иначе – Скорцени, не только за внешнее сходство и шрам, но прежде всего за отчаянную храбрость. Среди морских десантников отличиться трудно, но он и в мирное время вернулся домой с орденом – спас жизнь командиру части во время учений.

Махмудов, человек не высокомерный, а скорее наблюдательный, после службы в армии в Москве, а тем более после четырех лет вольной студенческой жизни в ней, отчетливо замечал провинциализм Оренбурга, хотя и сюда докатился джаз, новые танцы и даже новая мода, резко преобразившая внешний вид молодых людей. Любопытную наблюдал он картину в "Тополях": танцплощадка как бы четко поровну делилась на приверженцев моды новой волны, тут же окрещенных всюду по стране "стилягами", и молодых людей, одетых традиционно, скажем так. Нужно оговориться, что столь контрастное деление касалось прежде всего мужской половины; женщины более восприимчивы к новому, не любят отставать заметно друг от друга, и разницей у них не был столь очевиден, хотя внимательному глазу и тут, наверное, было бы что разглядеть.

Представьте себе: стоит молодой человек в голубых, невероятно узких брюках дудочках, в туфлях на тяжелой белой каучуковой подошве, в свободной клетчатой рубашке, а рядом парень в тщательно отутюженных клешах немыслимой ширины и непременно в белой рубашке апаш, расстегнутой чуть ли не до пупа, под которой гордо красуется тельняшка. Причем и те и другие искренне считали нелепой одежду ребят противоположного лагеря.

Вот такое переломное время в молодежной среде застал Пулат в то лето на своей преддипломной практике в Оренбурге. Нужно знать или хотя бы догадываться о местечковых нравах тех лет, когда культ силы преобладал над всем, чтобы понять, что вольная Нора отнюдь не имела свободного выбора поклонников. Крутым характером надо было обладать, чтобы устоять перед угрозами форштадтской шпаны, кстати, слов на ветер не бросавшей. Красавица Нора с Форштадта, по их твердому убеждению, должна была принадлежать только парню с Форштадта, и именно Закиру Рваному. Иной исход, даже если и были равнодушны к Норе, они считали бы позором для себя, для Форштадта, чью марку берегли пуще своей жизни. Наивно по нынешним временам? Конечно, но тысячи семей сложились в те годы, и не только в Оренбурге, по жестоким местечковым нравам, и ничего – живут, много среди них и счастливых.

Если Нора, одна из лучших модисток популярного салона "Люкс", шагала в авангарде новой моды и самоутверждалась в ней, то Закир оказался явным антиподом. Закиру, по крайней мере тогда, казалось, что он и под страхом смерти, под пистолетом не наденет узкие штаны, тем более голубые, а уж о том, чтобы он в угоду моде расстался с тельняшкой, или, как говорили тогда, тельником, не могло быть и речи. Подобное перерождение он расценил бы не меньше как измену флоту. Для него не имело значения, какие юбки, кофточки носила его возлюбленная, хотя и приятно было видеть ее нарядной, выделяющейся среди подружек. Ему льстило, когда дружки приятели говорили: смотри, пришла твоя красавица Нора, и опять в шикарном платье! Он не только ничего не имел против ее увлечения, но даже клялся, что она будет у него всю

жизнь ходить "в бархате и соболях", – слышал он такую песню на Севере, где на годок остался после флота подзаработать на золотых приисках. Соболей он не подарил ей, а вот роскошную чернобурку привез. Отдал ему эту чернобурку с благодарностью для будущей невесты один таежный охотник, которого Закир защитил случайно от блатных в общежитии, – забили бы насмерть и пушные трофеи, добытые за долгую сибирскую зиму, могли отобрать.

Познакомился Закир с Норой на балу во Дворце железнодорожников, когда она училась в десятом классе, а он прибыл на двухнедельную побывку после тех самых учений, на которых спас жизнь командиру части. Служить ему оставался еще год. Нельзя сказать, чтобы у них заладились отношения: ни писать она не обещала, ни фотографии на память не дала, хотя он и попросил. Но девичьим умом Нора поняла: влюбился морячок. Влюблялись в нее в ту пору каждый день, и поэтому она не удивилась и не обрадовалась. Живя на Форштадте, рано начав крутиться в "Тополях", она наслышалась о Закире Рваном с соседней улицы, о его похождениях, и знала Светланку Соколянскую, за которой он приударял до флота. Ей, конечно, польстило, что такой авторитетный парень, как Закир Рванный, волновался, говоря с ней, нравилось ощущать зависть многих девчонок.

Да, десяти календарных дней отпуска оказалось вполне достаточно, чтобы уезжал бравый моряк без памяти влюбленным в темноглазую, стройную школьницу, жившую на углу Чапаева и Оружейной в старинном, красного кирпича доме, отстроенном тем самым прадедом, что некогда привез жемчужное ожерелье из Константинополя. Прадед и дед Норы некогда торговали в крае чаем.

Фотографию Норы он все таки увез с собой во Владивосток – не тот парень Ахметшин, чтобы не раздобыть карточку любимой. Не любитель писать письма, Закир несколько раз написал ей, но Нора ни на одно письмо не ответила.

– Приеду, разберусь, – мрачно говорил Закир товарищам по тесному кубрику, но фотографию над головой на стене не убирал.

Вернулся на Форштадт Закир ровно через два года, снова в канун новогодних праздников, и опять же на балу у железнодорожников подошел к ней, словно никуда и не уезжал. Нора, как обычно, была в окружении друзей и поклонников, но Закир, не замечая их, увел ее танцевать. В тот новогодний вечер вокруг Норы образовалась пустота – куда то вмиг подавались ухажеры. Нора еще не поняла новых обстоятельств, сочла это результатом коварства соперниц и строила на этот счет всякие догадки, но одна подружка объяснила все очень просто.

– Закир объявился, – сказала она ей, как несмышленишу.

Вернулся Ахметшин в таксопарк, откуда его и призвали на службу. Командование Тихоокеанского флота прислало письмо благодарности коллективу, воспитавшему доблестного краснофлотца, рассказало о подвиге, за который их земляк награжден боевым орденом. Встретили его как героя, чему он весьма поразился, ибо вряд ли кому сам сказал бы о награде.

В те дни из гаража горкома передали в таксопарк на баланс черный "ЗИМ" – наверное, получили новую машину, быть может, новую модель "Волги". "ЗИМ" служил горкомовскому начальству лет семь, но поскольку находился в одних руках, для таксопарка вполне годился. Претендентов на машину оказалось хоть отбавляй, но тут Ахметшин как бы выручил руководство, снял проблему. Отдать машину орденосцу краснофлотцу проголосовали и в парткоме, и в профкоме.

С Севера Закир приехал при деньгах, попал в удачливую артель, а там, если подфартит, за год можно заработать больше, чем в иное время за десять лет. Заработком своим он ни с кем не делился, хотя и рисковал головой. Это сейчас всерьез начинают говорить о рэкетирах, а рэкет существовал всегда, только не имел звучного иностранного определения. Еще до армии ему, тогда зеленому парнишке, врезалась в память одна сцена.

Как то он оказался в "Тополях" задолго до танцев, от нечего делать решил заглянуть в бильярдную. В дверях бильярдной наткнулся на старших ребят с Форштадта. Со многими из них у Закира сложились натянутые отношения, потому что он, как молодой волк первогодок, определял свое положение в форштадтской стае, а тут позиции просто так не сдавали. Но сегодня он не узнавал задиристых парней – они словно сопровождали

высокого официального гостя и, как всякая свита, ловили каждое слово худого бледного парня в тесноватом бостоновом костюме.

Закир не знал Османа Турка, но слышал, что тот со дня на день освободится из тюрьмы. В те годы, когда Осман получил срок, Закир слыл прилежным пионером и шпану, какая бы она ни была знаменитая в округе, презирал, мечтая стать сыщиком. Закир и теперь не хотел этой встречи, в будущем не рассчитывал ни с кем делить власть и влияние на Форштадте – такие честолюбивые замыслы зрели в его душе. Отступить, отойти куда то в сторону не представлялось возможным – столкнулись лоб в лоб, и он оказался вынужден со всеми поздороваться за руку.

– Эх, выпить бы, отметить возвращение Османа, – сказал Федька Жердь, накануне в пух и прах проигравшийся в карты.

Братия сидела на мели, оттого и смолчала. У Закира имелись деньги, но он не собирался их поить, так как не считал их для себя авторитетом, уж лучше он своих, молодых корешей, уважит. Не глянулся ему и Осман Турок. "И этого задохлика с шальными глазами некогда боялся весь город", – презрительно подумал он.

– Я угощаю, – сказал вдруг Осман небрежно, доставая из кармана пиджака пачку "Казбека", и худой рукой показал в сторону летнего буфета – некогда такие заведения водились во всех парках страны.

Закир отступил в сторону и хотел остаться в бильярдной, словно приглашение его не касалось, но Осман уловил его настроение и неожиданно произнес:

– А ты что, Рваный, не рад моему возвращению? – вроде сказал обычные слова неприметным и даже ласковым голосом, но что то похолодело внутри у Закира. Не зря, наверное, этим именем блатные запугивали друг друга.

"Не лох, не лох, если сразу навел справки", – думал Закир, шагая рядом с Османом, – значит, доложили о его амбициях, которые он не скрывал.

В загородке летнего буфета на воздухе большинство столиков оказались заняты, толпился народ и у раздаточного окошка: подавали, кроме вина и водки, разливное бочковое пиво. Усадив шумную компанию за свободный столик, Осман сказал Закиру:

– Идем, поможешь мне, – и пошел во двор к заднему входу обшарпанного заведения.

Дверь оказалась распахнутой настежь, но на пороге лежали пустые ящики из под вина. Осман небрежно расшвырял их ногой в глубь подсобки. На шум, оставив клиентов, прибежал буфетчик, работавший в паре с женой.

– Салам алейкум, Шакир абзы, наверное, соскучился по мне? – спросил весело Осман и обнял потного лысеющего толстяка.

Закиру показалось, что они давние приятели.

– Вернулся, значит, – ответил тот без особого восторга и, не зная, куда от волнения девать руки, мял грязный фартук.

– Отмотался, – бодро уточнил гость, – и первым делом решили с друзьями к тебе: обмыть, так сказать, возвращение в родные края. Обслужи побыстрому – мы хотим еще на танцы попасть, обрадовать и прекрасный пол...

– Что подать? – спросил потерянно буфетчик.

– Нас шестеро. Три пузырья водки, закуски как следует – имеем аппетит, а позже дюжину свежего пива из новой бочки, разумеется, с раками.

Шакир абзы, хорошо знавший и Закира Рваного, который тут тоже не раз гулял с друзьями, метнулся на кухню и быстро вынес на подносе закуски: крупно нарезанную колбасу, сыр, жирную копченую сомятину и малосольные огурцы, и прямо из ящика достал три заказанные бутылки водки. Поднос с закусками он подал Закиру, а водку передал самому Осману. Закир чуть задержался, подумав, что вдруг Осману надо помочь

рассчитаться, но тот вместо денег протянул буфетчику руку в наколках и, сказав небрежно "рахмат", не спеша двинул из подсобки.

Зная Шакира абзы, о жадности которого ходили легенды, Закир потерял дар речи, но во дворе тут же спросил у Турка:

– А деньги?

– Какие деньги? – не менее удивленно переспросил Осман. – Ты хочешь сказать – я не взял у него сдачи?

Закир растерялся пуще прежнего, подумал, что ловкие пальцы Османа, некогда начинавшего карманным воришкой в трамваях, а позже ставшего одним из известных картежных шулеров, уже успели вложить незаметно в карман буфетчика "белохвостую" – так прежде называли на жаргоне сторублевку.

Наконец до Османа дошла наивность Закира, которой он в нем не предполагал, и он аж заколотился в смех; бутылки в руках так звенели, что казалось – вот вот разобьются.

– Ну насмешил ты меня, Рваный, век не забуду, – сказал он, погасив смех и утирая тыльной стороной ладони слезившиеся глаза. Затем, поставив бутылку на поднос, который по мужски неловко держал Закир на вытянутых руках, добавил: – Запомни, не я ему, а он мне должен по гроб жизни.

– Он что, проиграл тебе в карты миллион?

– Какой ты, оказывается, Рваный, дурак, а еще намерен задавить всех на Форштадте. Зачем тебе власть, если ты даже барыге Шакиру, заплывшему от жира, платишь за выпивку?

– А что ты можешь ему сделать – ты ведь не торговый инспектор, не мент?

– Многое, – ответил уклончиво Осман. Потом, хищно оскалив порченные цингой зубы, заключил: – Послать, например, тебя с монтировкой в подсобку и за две минуты перебить три ящика водки – ему их никто не спишет.

Вот когда дошло до Ахметшина, почему наглый буфетчик лебезил перед Османом, – видно, знал, что от него можно ожидать. Дефицитное пиво к столу подал сам Шакир абзы, и когда он, птясь задом от стола, любезно приглашал заходить Османа в любое время, Турок вдруг, словно вспомнив разговор во дворе, взвизгнул нервно:

– А сдачу?

И буфетчик, наверняка не предполагавший иного исхода, извиняясь за память, протянул две аккуратно сложенные сторублевки.

И Закир понял, что на Форштадт вернулся настоящий хозяин.

В тот пьяный вечер неожиданно для себя он как бы протрезвел от романтики лихой жизни, понял, куда она может завести.

Год спустя после описанного здесь вечера вся та компания, гулявшая по случаю возвращения Османа Турка в "Тополях" у Шакира абзы, попала на дерзком вооруженном ограблении ювелирного магазина в Актюбинске. Клим и Федьку Жердя в завязавшейся пальбе застрелили на крыше магазина, куда они успели прорваться, прикрываемые Османом, а остальные получили новый срок.

Закир не удивился, что возле артели золотодобытчиков крутились люди, подобные Осману, или, как говорят нынче, рэкетиры. На работу он завербовался на флоте, за год до демобилизации. На золото в тайгу подписались ехать они втроем, каким то чутьем найдя друг друга. Один из них, Колька Шугаев, уже промышлял драгметаллом до службы. Третьим оказался Саркис Овивян из Карабаха; тому за годы службы так и не смогли подобрать парадную форму – все оказывалось и тесным, и коротким, хотя рядом служили отнюдь не лилипуты. "Вернусь домой – сошью форму на заказ в Одессе на память о флоте", – шутил он и перед списанием на берег добился таки у интендантов, чтобы выделили ему, как офицерам и генералам, материю на руки.

Удачливая артель оказалась немалой – пятьдесят два человека, и все безропотно платили дань пятерым бывшим уголовникам, работавшим рядом, бок о бок, в родном коллективе. О том, что придется отчислять "дяде", и немало, стало ясно с первой полочки – за деньгами пришел к ним в балок сам пахан, старый лагерный волк. Вряд ли он ожидал, что через пять минут выскочит в бешенстве, изрыгая проклятия и угрозы.

– А это нэ хочешь? – спросил Саркис, показывая блатарю огромный кукиш. – Да разве ты нэ понимаешь, что я всю жизнь буду блэвать от презрения к сэбе, если стану делиться с тобой заработком?

Закиру вспомнился жирный, трясущийся от страха буфетчик; такому примеру он уподобиться не мог – да с ним на Форштадте не стал бы разговаривать ни один шкет, если бы узнал, что Рваный платил кому то "налоги".

Шугаев держался спокойнее, праведным гневом не пылал.

– Здесь всегда так, закон тайги... – сказал он бесстрастно, философски, но не стал уговаривать друзей смириться, а после долгой паузы добавил: – Будем держать оборону, блатата бунта не прощает. – И, отодвинув доску обшивки балка над железной кроватью, достал короткий обрез: – Купил на всякий случай у Жорки с вездехода – говорит, в карты на постоялом дворе выиграл.

Шугаев был сибиряк, немногословный, но надежный парень: четыре года в морском десанте подтвердили это. Они не сомневались во флотском братстве, оттого и держались смело.

Год не прекращалась ни на один день борьба не на жизнь, а на смерть. Сгодились тут все: хладнокровие и выдержка Шугаева, знание привычек и нравов блатных, и отчаянная храбрость Ахметшина, и чудовищная сила Овивяна, и, конечно, их вера друг в друга. Пытались уголовники и клин вбить между ними. Долго они крутились возле Шугаева и от дани клялись освободить, если отойдет от иноверцев, и на сибирское происхождение намекали, но не удалось ослабить морской узел – крепкое братство дал флот.

И из горящего балка ночью не раз выскакивали, и с обрезом охраняли сон друг друга, а однажды прямо за обеденным столом сцепились в страшной рукопашной. Чудом вырвали злобного механика с драги из рук Овивяна – не умер, живучий как собака оказался, но в счет больше не шел, отбандитился, осталось четверо их против троих. Артель открыто не приняла их стороны, но обремененные большими семьями сибирские мужики сочувствовали морячкам: они часто подавали сигнал тревоги или тайком предупреждали о готовящихся кознях блатных. Это у них друзья разжились вторым обрезом и старым двуствольным винчестером. Они, наверное, остались бы еще на год – хорошие деньги шли, но близилась амнистия, и они знали, что уголовники ждут подкрепления, что готовы взять в долю любых мерзавцев, ибо чувствовали, как уходит из за морячков артель из под контроля.

Вот с каким опытом жизни вернулся через пять лет Закир домой в Оренбург. За пять лет много воды утекло, изменился и Форштадт. Не стало таких парней, как Осман Турок и Федька Жердь. Одни отсиживали долгие сроки в тех краях, где он добывал золото для страны, другие напоролись на нож в пьяной потасовке и успокоились навек, третьи уgomонились, надорвав, здоровье в тюрьмах и драках, а главное, потеряв влияние. Но что то порочное и петушиное сидело, должно быть, в генах молодых форштадтцев, и много романтических легенд о давних похождениях ребят с родного Форштадта гуляло среди них, находя в их сердцах жгучий отклик. Воровство, дерзкий грабеж, шантаж не привлекали молодых – изменилось время, а вот лихой кураж, отчаянное хулиганство по прежнему почиталось высоко. И за пять лет отсутствия в этой среде Закира Рваного не потускнело здесь и его имя этакого широкого, открытого парня, новоявленного Робин Гуда с Форштадта.

Изнемогая от тяжелого труда на золотых приисках и в долгие бессонные ночи с винчестером в руках охраняя сон товарищей, он меньше всего думал о своем авторитете в родном городе и в мыслях не видел себя таким, как Осман Турок, в окружении свиты и телохранителей, подобно президенту, чьи приказания обсуждению не подлежат. Нет, такая перспектива его не пьянила. И в Сибири Закир остался, потому что думал о нормальной жизни, хотел скопить денег, чтобы купить или построить дом и зажечь своей семьей.

Нет, он не хотел, чтобы Нора носила ему передачи в тюрьму, ждала от него писем; он помнил, как лет десять назад, когда он еще учился в школе, повесилась красавица Альфия с соседней улицы из за того, что кто то в очереди за шифоном сказал ей, что она жена вора. По юности ее околдовал романтический ореол Османа, он ей казался таким всемогущим, а всемогущий треть жизни отдал тюрьмам да лагерям. Нет, так бездарно сжечь свою жизнь Закир не собирался. Он видел в снах свой дом, жену, детей, и женой он представлял только Нору.

Он был признателен судьбе за то, что вовремя, пока не засосала трясина блатной жизни, не наделал непоправимого, увидел истинное лицо Османа в тот вечер в "Тополях", представил свой конец словно воочию: Турок стоял на самой высшей ступени уголовного мира, вор в законе, коих в стране наперечет. Нет, он никогда не хотел жить за счет людского страха. Пить и угощать друзей Закир считал благородным только за свои кровные – в этом никто бы его не переубедил. Ворованное даже у вора вряд ли доставило бы ему радость. Он шире чувствовал и шире мыслил.

За два года Нора из школьницы превратилась в красивую, обаятельную девушку. В институт она не поступала, как и Закир, спешивший в юности утвердиться среди шпаны, а торопилась применить свои способности в моде. Имела она тонкий вкус, чутье, интуицию, и руки у нее оказались золотыми, и усердием Бог не обделил – для модистки все это очень важно. Планов, как выйти замуж, не строила, поклонники и так не давали ей проходу.

"Стоит мне только захотеть..." – говорила она шутя менее удачливым подружкам, озорно щуря красивые глаза.

Нравились ей больше парни образованные: студенты, молодые инженеры и, конечно, ребята из окружения Раушенбаха, джазмены. Эти стилисты постоянно отирались в "Люксе": что то шили, подгоняли, укорачивали. О морячке, влюбившемся в нее на новогоднем балу, она скоро забыла, хотя и получила от него несколько невнятных писем, пахнущих океаном, на которые и не подумала отвечать. Передавали дружки Закира ей и приветы от него; помнится, даже угрожали, говорили: поменьше крути хвостом, не пыли, вот вернется Рваный – он быстро твоим узкоштанном ухажерам даст окорот, но она по молодости ничего не принимала всерьез.

И вот он вернулся, и Нора сразу почувствовала, что у него серьезные намерения, ощутила и его влияние – куда то вмиг подевались ухажеры. Нет, вокруг нее теперь не было вакуума, как на том новогоднем балу, когда он впервые появился с Севера и подарил прекрасную чернобурку. Она по прежнему ходила в "Тополя", ее приглашали танцевать, но что то изменилось у окружающих в отношении к ней, погасли глаза у парней, а ей нравилось, когда на нее смотрели жадно, не скрывая восхищения, и говорили комплименты.

Однажды в перерыве игры оркестра пожаловалась Раушенбаху на свое нелепое положение незамужней вдовы, на что смешливый, ироничный Марик ответил не задумываясь:

– Нора, милая, что ты хочешь, на тебе тавро: "Девушка Закира". Ты как любимая наложница шаха, за чрезмерное внимание к твоей особе вмиг сделают евнухом – с Закиром шутки плохи. Хотя к нам, джазменам, он относится прекрасно, отчасти, наверное, из за тебя, но мы каждый вечер играем его любимое "Аргентинское танго", которое, как вижу, он танцует только с тобой. И я честно скажу: вы неплохо смотрите. Смирись, девочка, – и поспешил к эстраде, где его уже ждали.

У нее к Закиру было двойственное отношение: ей нравилось, когда он, особенно в ненастную погоду, подъезжал к салону, где она работала, на черном семиместном "ЗИМ". Ныряя в теплое нутро лакированной машины, ей нравилось ловить завистливые взгляды женщин. Нравилось ощущать на себе его внимательный взгляд: он всегда был готов прийти на выручку, поддержать, успокоить, понять. Нравилась и та независимость, которую она обрела в молодежной среде, где во все времена самоутверждение давалось нелегко. Понимала, что многим обязана своим неожиданным положением – "девушка Закира". Но она как бы ощущала не только тавро на лбу, но и путы на ногах – ее свободолюбивая душа противилась насилию. Она пыталась вырваться из жесткой клетки навязанного внимания просто из чувства протеста – ведь ей исполнилось только девятнадцать!

Не нравилось ей, когда он лихо проносился мимо ее дома на трофейном мотоцикле "БМВ", купленном на шальные северные деньги у отставного интенданта в чинах. Он позволял себе и в "Тополя" приезжать на вонючем драндулете – так унижительно называла она приобретение Закира, и даже предлагал ей прокатиться!

Прекрасно сохранившийся "БМВ" – еще куда ни шло, хотя она терпеть не могла ни мотоциклов, ни мотоциклистов. Бесило ее другое. Умудрялся Закир и с гитарой приходить в парк. Тогда он почти не появлялся на танцплощадке, играя где нибудь на боковой аллее для собравшихся дружков. В такие вечера она просто ненавидела его гитару, а компанию возле него иначе чем шпаной не называла, хотя там собирались разные люди. Играл Закир хорошо и голос имел приятный. Но в то время, хотя в это сейчас трудно поверить, гитару называли пошлым инструментом, атрибутом мещанства. "Играет на гитаре..." Характеристика убивала

наповал. Смешно? Конечно. Остается добавить, что в ту пору в этой среде и милые имена Машенька, Даша, Катя тоже имели дурной подтекст.

С каким бы наслаждением она расколола его ненавистную гитару! Ей казалось, что он позорит ее перед всем светом, не меньше. Игра на гитаре, по ее тогдашним понятиям, отбрасывала Закира к категории людей, с которыми даже общаться унизительно, не то чтобы любить. Если бы она могла предположить, что всего через пять шесть лет гитара сделает такой взлет, какой, пожалуй, не знал ни один музыкальный инструмент... Гитары просто сметут с эстрады всю медь оркестров. А тогда ей так хотелось, чтобы он солировал на саксофоне или играл на трубе, на худой конец, стучал на сверкающих перламутром ударных. Говорила она ему об этом, предлагала переучиться – ведь Марик уверял, что у Закира отменный слух. Куда там! Упрямый как бык отвечал:

– Ты не понимаешь души гитары.

– Душа – у гитары? У пошлого, мещанского инструмента?! – как зло смеялась она в тот вечер.

А рваный шрам на щеке? В минуту плохого настроения она только его и видела. Если бы она знала о старинной бурсацкой традиции, до сих пор сохранившейся в Европе, особенно в Западной Германии, где наносят друг другу сабельные шрамы, чтобы стать членом одного древнего рыцарского ордена, и что такая примета означала принадлежность к избранным, наверное, она не считала бы, что шрам портит его лицо. По крайней мере, в сердцах перестала бы, наверное, говорить – бандитский шрам!

А как он одевался? Позор, да и только – почти та же ситуация, что и с гитарой. Конечно, после ее уговоров, даже требований, он изменил кое что в своем гардеробе и теперь разительно отличался от закадычных форштадтских дружков, но до круга Раушенбаха, ее друзей, ему было далеко. Насчет тельняшки он и слушать ничего не хотел, хотя, подходя к ней, застегивал пуговицу рубашки повыше, а когда она уж особенно сердилась, демонстративно добирался до самой верхней и задушенным голосом спрашивал: "Довольна?"

В общем, воевали они между собой, как на золотых приисках, только без винчестера.

Нет, не таким видела Нора своего избранника в мечтах, не таким...

Но однажды, все в тех же "Тополях", Раушенбах познакомил ее с двумя москвичами, прибывшими к ним на преддипломную практику. В те годы великое, усиливающееся и посейчас с каждым днем переселение народов не началось – еще только предстояло найти знаменитый оренбургский газ. Даже съездить в отпуск куда то считалось большим событием, и появление молодых людей из столицы не осталось без внимания. Теми москвичами оказались Пулат Махмудов со своим неразлучным другом Саней Кондратовым.

Саня, шустрый арбатский парень, в первый же вечер завязал знакомство с ребятами из оркестра, их объединял один интерес – музыка. Саня рассказывал местным джазменам об оркестре Олега Лундстрема, о котором в ту пору ходили невероятные легенды и слухи, и Александра Цфасмана. О ленинградской школе джаза, где царствовал тогда Вайнштейн и уже пробовал силы джазовый аранжировщик Кальварский. В общем, Кондратов знал, о чем говорил, – в институте и у себя на Арбате он слыл знатоком и фанатиком джаза, имел неплохую фонотеку, которой пообещал поделиться с новыми друзьями.

Наверное, приезд двух практикантов, будущих мостостроителей, никак не отразился бы на судьбе Норы, если бы Закир в те же дни не был занаряжен в подшефный колхоз на сенокос.

В парке Раушенбах познакомил их мимолетно, когда расходились по домам после танцев; они, пожалуй, и не разглядели друг друга как следует, но через день, в воскресенье, Марик отмечал день рождения – двадцатипятилетие. Крупный юбилей, как шутил кумир оренбургских поклонников джаза. И день рождения Раушенбаха явился событием провинциального города. По такому случаю, чтобы не отменять в парке танцы, пригласили в "Тополя" на вечер оркестр из пединститута. Многим хотелось попасть в компанию, где развлекались весело, со вкусом, с фантазией. Были в этом кругу свои поэты, художники, певцы, актеры, не говоря уже о музыкантах, – короче, молодая интеллигенция, искавшая единения своих интересов, но пропуском сюда все же служила любовь к джазу. За столом на дне рождения будущие инженеры очутились рядом с Норой и ее подружкой. В конце вечера гостеприимный хозяин заметил, что москвичам глянулись соседи, и, отозвав в сторону, рассказал о странном положении Норы и о Закире Рваном и советовал особенно не углублять отношений.

Может, поздновато предупредил учтивый Марик, а скорее все таки судьба: за долгий вечер успела пробежать искра между молодыми. Да и как ей не пробежать: девушки юны, очаровательны, по провинциальному милы, восторженны. Профессия инженера еще не склонялась сатириками и тещами и не вызывала ироническую улыбку у прекрасного пола, скорее – наоборот. Фантастика? Но тогда можно было рассчитывать на успех, если обладал именем Миша или Жора, ну, не успех, так фору перед другими парнями – точно. Такое вот удивительное было время: гитара – пошлый инструмент, Машенька и Даша – плохо, Миша и Жора – просто мечта, а инженер – не смешно. Уже оркестры играли Дюка Эллингтона и Глена Миллера, интеллигенты читали Бунина и Есенина, Ахматову и Мандельштама, а в закутке летнего буфета, в двух шагах от эстрады, где владел сердцами молодых Раушенбах, пил пиво хозяин Форштадта Осман Турок.

Ребята приняли к сведению сказанное Мариком: Кондратов знал, как жестоки провинциальные блатные, помнил примеры из мира замоскворецкой шпаны, и особенно с Ордынки, был там среди них и свой Рваный, только звали его Шамиль. Но провожать все же пошли: неудобно было отступить сразу, веселились, танцевали всю ночь вместе, поняли бы девушки, что случилось, а кому хочется выглядеть трусами.

В тот вечер особенно в ударе оказался Сани, ухаживавший за подружкой Нору, Сталиной, – тут Марик запретов не налагал. Пулат подозревал, что его друг, склонный к лидерству повсюду, и в компании хотел очаровать всех, а не только Сталину, подавить своей эрудицией, знанием, столичностью, что ли, мужское окружение Раушенбаха. К концу вечера он видел, что Саня достиг своего: ему с восторгом внимал не только прекрасный пол, а уж Сталина не отрывала от него восхищенных глаз, ловила каждое его слово.

За семь лет общения с Кондратовым, и в армии, и в институте, они, что называется, спелись и понимали друг друга с полуслова. Оставаясь наедине с девушками, Саня никогда не пытался принизить Пулата, выехать за его счет, он тут ловко подыгрывал товарищу, как бы представляя и ему соло – пользовались они и в обиходе джазовой терминологией. Так что и Пулат выглядел привлекательно в глазах окружения, может, даже кому то больше нравился его стиль поведения, более сдержанный, уравновешенный. Постоянно держать инициативу в руках – не всегда выигрышная ситуация. Сказанное Пулатом попадало в точку, оказывалось к месту, он четче контролировал ход разговора, что не всегда удавалось его экспансивному другу – того порой заносило в сторону. Пулат, обладавший феноменальной памятью, в тот вечер прекрасно читал стихи – его чтение часто поражало Кондратова, считавшего, что поэзия и джаз друг другу сродни.

Через день они вновь встретились с девушками в "Тополях", впрочем, подружки подошли сами, когда они в перерыве беседовали с оркестрантами. Наверное, у них тоже созрели свои планы. Видя, что Нора увлекает Пулата на объявленный дамский танец, Марик погрозил ей пальцем с эстрады, на что Нора шутя ответила:

– Мне что, теперь из за твоего дружка пообщаться с интересными людьми нельзя?

Чувствовалось, что между Саней и Сталиной намечается бурный роман, она ни на минуту не выпускала его руки, и такое внимание красивой девушки льстило Кондратову. Пулат отметил, что у того до сих пор не было такой очаровательной подруги. Не только дух Закира Рваного, но и его имя витало между ними; все словно шутя, без особого нажима прохаживались в адрес Нору и Пулата.

– Не бойся, не дам в обиду, – подыгрывала Нора, слегка прижимаясь к Пулату.

– С именем такой красавицы на устах и умереть не жаль, – парировал Пулат и видел, как краснеют щеки Нору.

В тот вечер чуть не произошла стычка с друзьями Закира. В какой то момент, когда девушки, увидев в толпе своих давних подруг, отлучились на несколько минут в другой конец громадной танцплощадки, группа парней оттеснила практикантов к ограде. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы в разгар выяснения отношений не объявился Раушенбах.

Марик отвел кого надо в сторону и объяснил, что это его друзья и познакомились они с девушками у него на дне рождения и, мол, о Закире они в курсе, предупреждены, что это просто чисто приятельские, интеллигентные связи со столичными ребятами. Дружки знали, что через Нору Закир общается с джазменами, особенно с Раушенбахом, поэтому оставили практикантов в покое, но, уходя, все же пригрозили:

– Смотри, Марик, если что – перед Закиром сам ответ держать будешь. А за Нору он и брата родного не пощадит.

В тот вечер, возвращаясь домой, вернее туда, где они снимали комнату, Пулат сказал неожиданно:

– Знаешь, Саня, я очень понимаю Закира Рваного, чей дух постоянно витает возле нас. Я бы тоже сделал все, что в моих силах, чтобы Нора не досталась другому.

– Ты что, дружище, влюбился? – спросил удивленно Кондратов.

– Может быть, но с той минуты, как нас предупредили, я держу себя в узде. Не то чтобы испугался: у нас в народе есть поверье – чужое не приносит счастья. В наших краях, бывает, кому то невесту определяют чуть ли не с детства, и грех вступать между сужеными. Никто не поймет. И тут похожая ситуация: Нора же сама говорила, что он давно ее любит, еще с флота, и замуж за него предполагает.

– Ну что за отсталые взгляды, прямо особый вид толстовства – отступить от любимой, если она предназначена другому. По мне, за любовь драться, бороться нужно, что, впрочем, и делает неведомый нам Закир.

– Наверное, логика в твоих словах есть, но ведь что то мы впитываем с молоком матери, получаем из генетического кода, – продолжал гнуть свое Пулат, как всегда рассудительно.

– А если бы Нора оказалась свободной, как Сталина? – нетерпеливо спросил Саня.

– Тогда совсем другое дело. Я бы не только, как ты, закрутил роман, а обязательно женился на ней. Божественной красоты девушка, у меня голова кружится, когда она смотрит на меня, ничего подобного я до сих пор ни с одной не испытывал...

– Плохи твои дела, Пулат. Если уж равнодушный азиат, как выражаются о тебе блондинки нашего института, так заговорил про прекрасный пол...

– Наверное, ты прав, – всерьез ответил тогда Пулат, – и я решил не искушать судьбу: неделю посижу по вечерам над дипломом, а ты развлекайся со Сталиной, а там, глядишь, и вернется Закир Рваный, и все станет на свои места. Если будут интересоваться, куда я подевался, придумаешь что нибудь...

Так они и порешили.

Наверное, история на том и закончилась бы, и сегодня Пулат не мучился, принимая на душу еще один грех, если бы через три дня Кондратов не рассказал о неожиданном ночном разговоре Сталине. Никаких целей он не преследовал, просто занесло, как обычно, не туда – случилось с ним такое, хотя он взял со Сталины слово, что сказанное останется между ними. Куда там, да разве можно держать в себе тайну, да такую, что кто то готов жениться на твоей лучшей подруге! Пожалуй, она посчитала бы такой поступок преступлением и терзалась бы до конца дней своих. Но подобных тонкостей девичьего ума Кондратов не предполагал. Женщина может устоять от многих самых невероятных соблазнов, но от предложения выйти замуж... Тут их словно подменяют – куда девается их осмотрительность, осторожность, взвешенность? И даже вскользь сделанное предложение, намек будят в них дремавшую донине фантазию – какие они планы начинают строить, какие замки возводить, конечно, если интерес совпадает! Если бы человеку, опрометчиво сделавшему предложение, удалось как нибудь заглянуть в прожекты, которым дал жизнь, толчок, он, возможно, в ужасе бежал бы. И впредь вместо предложения протягивал бы брачный контракт, в котором четко и ясно излагались бледные перспективы на ближайшие десять лет.

Что то подобное произошло и с Норой, и ее сердце, до сих пор не принадлежащее никому, без раздумий было отдано Пулату, и только ему. Не только у ее возлюбленного холодело в груди, когда она мягко, с придыханием говорила "Пулат"... У нее самой туманилось в голове, когда она произносила его имя, она шептала в день сотни раз: "Пулат"...

А какой она представляла совместную жизнь! Прежде всего радовалась, что наконец то покинет постылый Оренбург, Форштадт с его шпаной. Видела себя то в Москве, то в Ташкенте, то во Владивостоке – Кондратов упоминал о возможных местах распределения. Но чаще представляла себя в Москве. Саня как то проронил, что Пулата могут оставить на кафедре. Москва мыслилась ей сплошным домом моделей – вот уж где она, наверное, могла развернуться со своими фантазиями, каким бы знатным дамам и известным актрисам шила! Москва для нее не пустой звук, не что то далекое и чужеродное – у них в доме иногда говорили о столице, потому что дед, занимавшийся чайным делом, имел некогда особняк на Ордынке, потерянный в революцию.

Она то воображала себя в театрах Москвы в вечерних платьях необычайной красоты, то видела себя на заливной улице Горького, которую Пулат с Саней называли небрежно Бродвеем. То представляла свой будущий дом, где она принимает гостей, друзей Пулата и его сослуживцев, и среди них Сталину с Саней, – что и говорить, были у подружек и такие планы.

Мысли Нора то и дело уносились к Пулату, она строила самые невероятные догадки, отчего он перестал ходить на танцы. Кондратов и тут напустил туману, оттого подружки придумывали одну версию сентиментальнее другой, и во всех вариантах, очень похожих на кино, хочешь не хочешь, а счастьем благородных влюбленных мешал злодей, косивший сено в подшефном колхозе. Ей казалось, что дружки Закира застращали Пулата насмерть, да еще тайком, так, что даже Кондратов об этом не ведал. А о том, что они могут запугать кого угодно, и не только студентика из Москвы, Нора, живя на Форштадте, хорошо знала. Отталкиваясь от подобной версии, она фантазировала: как безумно влюбленный Пулат, страстно мечтающий, чтобы она стала его женой, не может одолеть страх перед шпаной. Однажды на работе она подумала, что он, избитый хулиганами, лежит у себя на квартире и, конечно, в таком виде не смеет появляться ей на глаза. От неожиданного открытия она чуть не заплакала, проклинала себя, что до сих пор не могла предположить подобного.

В тот день с работы она ушла пораньше и побежала на базар – как бы ни унижал ее визит, она решила обязательно проведать Пулата. Ведь она считала во всем виноватой себя и больше не хотела полагаться на случай, считала, что пришла пора действовать, защищать свою любовь. Дома она отварила курицу, напекла с помощью бабушки беляшей, наложила в банки домашних солений и варений; после долгих раздумий даже достала из буфета бутылку вина и вечером вместо танцев отправилась наносить визит. Она настолько уверилась в своей версии, что испытывала такое небывалое волнение, такую искреннюю и глубокую печаль, смешанную с жалостью и нежностью к своему возлюбленному, что, когда увидела Пулата живым и здоровым, невольно заплакала и долго долго не могла успокоиться.

Пулат принялся успокаивать неожиданную, но желанную гостью: он гладил ее волнистые, шелковые волосы, разбросанные по тонким плечам, пытался вытереть слезы. Обнимая содрогающееся от рыданий тело, пьянел от ее близости и чуть не плакал сам, растроганный вниманием, от жалости к ней и к себе. Наконец, улыбаясь сквозь слезы, Нора рассказала, что пережила за сегодняшний день и каким она боялась его застать.

Пулат, не избалованный девичьем вниманием и оказавшийся в такой ситуации впервые, и сам волновался не меньше Нора. Продолжая обнимать ее, шептал какие то горячие слова, давно вызревшие в его душе, – наверное, это и было признанием, которое так жаждала услышать Нора.

Поздно вечером вернувшийся с танцев Кондратов застал молодых людей мирно беседующими на веранде за хозяйским самоваром и по глазам понял сразу, что между ними произошло что то важное. Так оно и было: они успели обменяться признанием в любви, клятвами в верности и теперь не сомневались, что их в жизни ждет только счастье. Они и о Закире не думали, по крайней мере в тот вечер. Нора сказала, что все берет на себя.

Закир должен был объявиться в городе со дня на день – об этом поступили к Норе свежие сведения. Расставаясь, она попросила Пулата не приходить в "Тополя", пока не уладит отношения с Закиром. Ей не хотелось подвергать любимого бессмысленному риску, от одних предчувствий беды она извелась, изревелась. Нет, теперь, когда все, казалось, решено, дразнить Рваного не следовало – в гневе тот становился непредсказуем. Она видела девочкой подростком однажды, что было, когда он бушевал в парке.

"Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет" – сказано это русским поэтом о женщине, и нет для нее преград, нет страха ни перед чем, ни перед кем, если в сердце ее огонь любви. Не могла Нора и часа ждать Закира, не хотела томить свою душу, созревшую для любви, попросила друзей его, чтобы немедленно вернулся в город, и на другой вечер Ахметшин объявился в "Тополях". Обрадованная, кинулась она ему навстречу и тут же увела с танцев. Три часа говорили они в парке и до утра у ее дома на Форштадте. Все было: слезы, мольбы, унижения, уговоры, угрозы, шепот и крик, и даже поцелуи.

"Если не судьба нам быть вместе, стань братом моим!" – просила она, упав на колени, и как брата обещала любить всю жизнь. Перед таким напором, страстной мольбой, любовью, готовой на любые жертвы, так знакомой самому Закиру, устоять он не мог, и под утро сломленный Ахметшин поклялся быть братом и как брат обещал беречь ее.

Через день, глубокой ночью, в окно веранды, где жили практиканты, громко постучали. Поздними гостями оказались Ахметшин и Раушенбах; чувствовалось, что они уже где то долго и основательно беседовали. По виноватому лицу Марика можно было понять, что пришел он сюда отнюдь не добровольно. Гости, видимо, разгорячились не одним только крутым разговором, и сейчас каждый из них держал в руках по две бутылки водки.

– Пришел познакомиться с человеком, влюбленным в мою сестру, – сказал Закир, войдя, и поставил на стол бутылки.

Марик за его спиной подавал какие то знаки, гримасничал. Смысл этих жестов и ужимок означал одно: не бойтесь.

Закир, словно чувствуя, что творится у него за спиной, вдруг сказал устало:

– Да, да, не бойтесь, любовь, оказывается, кулаками не удержишь. Давайте стаканы и поговорим о любви. Марик уверял, что вы очень образованные и интеллигентные парни.

Какая неожиданная выпала ночь – не всякому дано и за долгую жизнь пережить такое! Могучая, запутавшаяся душа Закира жаждала исповеди, словно искала место и время, и отыскала его вдруг на веранде старого купеческого дома.

Исповедь – шла ли речь о горящем в ночи балке на Севере, или об Османе Турке, мечтавшем, чтобы его преемником на Форштадте стал Закир, или о чернобурке, что подарил таежный охотник, зная, что невесту спасителя зовут Нора, или о тесном кубрике в океане, где над головой отчаянного матроса по кличке Скорцени висела фотография их общей знакомой, или о гитаре, которая вызывала раздражение той же девушки, – все было гимном большой безответной любви.

Никакой не дипломат Рваный: ни разу напрямую не обратился к Пулату, но все адресовалось ему. Человек отрывал от сердца самое дорогое – любимую, вынужденный из за клятвы называть ее сестрой.

Ночь пролетела мгновением, бутылки были опустошены, но никого водка не брала – сила слова, сила чувства оказались сильнее вина, только сентиментальный Марик в какие то минуты, не таясь, вытирал повлажневшие глаза и, нервно вскакивая, поднимал стакан и провозглашал тост, многократно повторяемый в тот вечер:

– За любовь!

– ... За любовь... – устало повторяет вслух Пулат. Раушенбах со стаканом в руке так ясно стоит перед глазами, словно это случилось вчера, а ведь прошло уже тридцать лет...

"Неужели генетически во мне заложено предательство?" – ужасается вдруг Махмудов, подумав об отце: ведь его расстреляли за предательство, за измену, как рассказывала Инкилоб Рахимовна.

Он пытается разобраться с отцом и быстро успокаивается: о генетическом коде не может быть и речи – отца расстреляли за веру, за убеждения, за преданность, но другим идеям и идеалам, новой власти он не присягал на верность, не служил ей, чтобы считать свой поступок предательством, а Саиду Алимхану наверняка давал клятву на Коране.

Нет, он не хотел так легко найти оправдание своим поступкам, тем более сегодня.

"Подлец... Предатель... – думает он горестно второй раз за вечер. – Живешь себе спокойно, спишь, вершишь судьбами людей, точнее – масс, потому что, выходит, людей и не видел... не видел..."

И вдруг откуда то всплывает в сознании редко встречающееся ныне в обиходе слово "благородство", словно выдернул лист из Красной книги на букву "Б". Утекло, словно вода в решете, ушло в песок благородство из нашей жизни, и не спешат его отыскать, восстановить в правах – так удобнее всем, и гонимым, и гонителям, ибо, имея благородство в душе, нельзя быть ни тем, ни другим.

Не случайно, наверное, утерянное слово сверлит его мозг – иные слова обладают магией вмиг обретать зримые очертания, проявляться как на фотографии, и возникает конкретный образ. Всю свою сознательную жизнь Пулат, кажется, провел среди достойных и уважаемых людей при званиях, должностях и орденах, но сегодня ко многим их титулам и наградам он вряд ли мог бы добавить редко употребляемый эпитет

"благородный" – язык не поворачивался и душа смущалась. Если бы ему выпало право отметить кого то высоким знаком истинного Благородства, то ими, без сомнения, оказались бы Инкилоб Рахимовна, Закир Рваный, парень, выросший на ложной, блатной романтике Форштадта. Для них понятия "клятва", "долг", "слово", "честь", "достоинство" означали только то, что означают, они принимали их без скидок и оговорок.

– Благородный, – произнес нараспев Пулат Муминович и отметил, что даже на слух оно звучит красиво, гордо – Благородный! И вдруг понял, что, предложи сегодня ктонибудь обменять все его звания и награды на эту приставку к своему имени, не дающую ни льгот, ни особых прав и положения, раздумывать он не стал бы.

"Ну, положим, обменял бы звания, должность, не пожалел, стал бы я от этого благороднее?" – возник новый вопрос, и рассуждать дальше нет смысла – вспоминается ему библейское "единожды солгавший...".

О каком благородстве может идти речь, если он предал свою первую любовь, Нору, загубил ей жизнь, от этого не уйти, не отмахнуться, – какие письма писал из Москвы!

А как назвать его поступок по отношению к Закиру? Ведь если откровенно, он сломал и ему жизнь и повинен в его гибели.

Да и за судьбу Нору он в ответе, если по благородному. Он уже работал инструктором в райкоме, еще не был женат – Зухра заканчивала в Москве институт, когда неожиданно получил приглашение на свадьбу Кондратова. Женился его лучший друг, с которым они прожили рядом восемь лет, делили пополам и радости и горести, Кондратов сыграл в его судьбе немалую роль. Саня женился на Сталине. Легко начатый роман перерос в серьезный брак.

Пулат, конечно, сразу догадался, что встретит на свадьбе и Нору; старый друг, казалось, давал ему еще один шанс поступить благородно – Саня знал Зухру...

Нет, не воспользовался последним шансом и на свадьбу не поехал, отделался телеграммой, ссылаясь на занятость, здоровье, – смалодушничал, струсил. По высоким требованиям сегодняшнего суда совести выходит – предал и друга молодости. Да, именно так, потому что два года спустя он получил еще одну весточку от Кондратова, последнюю.

Впрочем, письмо адресовалось Сане, и написала его Сталина из Оренбурга, где она зимовала с маленьким сынишкой, а Кондратов строил на Ангаре свой третий мост, сделавший его знаменитым.

Хотя Пулат в письме не упоминался, больше всего оно касалось его.

Рассказывала Сталина мужу, что Осман Турок, отбыв семилетний срок, освободился из тюрьмы по амнистии. На свободе он принялся за старое, вновь сколотил на Форштадте банду из молодых ребят и старых дружков. Однажды Осман разработал план ограбления банка в районе, и ему понадобилась машина. Лучше всего для операции подходило такси, и он обратился к Закиру. Ахметшин отказался, тогда Турок с дружками предложили: мол, давай свяжем тебя, а машину отберем, а после налета бросим в городе – и новый вариант Закир отверг, хотя пообещали ему десять тысяч.

Налет отложить не могли: наводчик из района дал знать, что деньги в банк поступили, и банда спешила, не хотела упускать куш. Не сговорившись с Закиром, Осман, уходя, зло бросил, что придется добывать машину силой.

Закиру и без пояснения становилось ясно, что они совершат угон такси и, возможно, кто то из его товарищей поплатится жизнью. Догнав банду, отошедшую далеко, Закир отозвал Османа в сторону и сказал:

– Если сегодня ночью погибнет таксист, считай, что и ты не жилец на этом свете...

– Успокойся, Рваный, зачем нам мокрое дело, – ответил нервно Турок. – Иди работай да ментам не настучи, слишком уж праведно жить хочешь... благородно...

– Живу как могу, а что сказал – попомни, я тоже слов на ветер не бросаю. – И, повернувшись, пошел к машине.

Не успел он сделать и двух шагов, как Осман по кошачьи мягко прыгнул вслед и ударил ножом в спину, под лопатку, в самое сердце.

Через час случайно на Форштадте машина Закира с бандитами попала на глаза Норе, возвращавшейся из кино, и она, почуввав неладное, побежала к участковому. По тревоге подняли всю милицию в области: знали, что может натворить Осман Турок, и на рассвете на въезде в город взяли их с добычей.

Хоронил Закира весь Оренбург – оба городских таксопарка в полном составе, с вычищенными, отдраенными машинами, с включенными сиренами вышли проводить в последний путь своего товарища.

Сталина писала, как убивалась Нора на могиле Закира, – у них уже налаживались отношения и, похоже, дело шло к свадьбе.

Тяжелое, грустное письмо, но в конце ждало его еще одно тягостное сообщение.

Писала Сталина, что после смерти Закира Нора не находила себе покоя, говорила, что этот проклятый город украл у нее двух любимых и вряд ли она когда нибудь теперь будет счастлива... К сороковинам, с разрешения матери Закира, Нора заказала гранитную плиту на могилу с надписью: "Прости, любимый... Нора". И на сороковинах принимала неистовое участие, словно жена, а на другой день... пропала, не оставила ни письма, ни записки, и вот уже который месяц ее ищут...

Письмо Сталины Кондратов никак не комментировал, не было в нем ни "здравствуй", ни "прощай" – послание само говорило за себя.

"От предательства всю жизнь идут круги" – Пулат сегодня мог засвидетельствовать этот факт. Наверное, отправляя ему письмо своей жены, Кондратов ставил крест на их дружбе, хоронил ее. Больше они никогда не виделись и в переписке не состояли, хотя Пулат мог легко отыскать в Москве своего армейского и студенческого друга: Кондратов был знаменит и имя его часто встречалось в прессе. Что бы он сказал – что его жизнь сплошная цепь маленьких предательств?

"Нет, как ни исхитрайся, благородство – это не про нас", – горько признается себе Махмудов.

Женившись на Зухре, Махмудов пошел на душевный компромисс, уверяя себя и окружающих, что любит ее, но на самом деле в сердце жила Нора, и он писал ей полные нежности письма. А разве любовь кладут на весы и разве важно, с высшим ли образованием любимая или просто модистка?

Но даже не образование склонило чашу весов в пользу Зухры – в конце концов Норе шел лишь девятнадцатый год, и выучилась бы она, если только это стало препятствием для любви, перетянуло другое – тяжелая, волосатая рука отца Зухры, крупного партийного работника. О нем, о его щедротах и влиянии говорило постоянно узбекское землячество, к которому Пулат тянулся в Москве.

Зухра, зная о его привязанности в Оренбурге, тонко и осторожно пускала грозное оружие в ход, боялась перегнуть палку – тогда еще откровенно не покупали женихов – и добилась своего.

Отец Зухры как раз и способствовал тому, что взяли инженера Махмудова в райком, и вакансии в промышленном отделе дожидаться не стал, знал: пока он жив, сделает будущего зятя секретарем райкома. И своего добился: зять все таки оказался человеком толковым и разительно отличался молодостью в своей среде.

– Теперь ты человек номенклатуры, сидишь в обойме на всю жизнь, – говорил высокопоставленный тесть молодому инструктору райкома. – А вся твоя блажь с мостами, строительством – ерунда. Ну, станешь управляющим треста – высшее, чего может достичь практикующий строитель, а не функционер от строительства, ну и что? Вызовет тебя такой же мальчишка, как ты сегодня, инструктор райкома и, даже не предложив сесть, хотя ты вдвое старше его, всыплет как следует, а всыпать всегда найдется за что. Карабкайся вверх по партийной линии – вот у кого власть была, есть и будет. Инженер, хозяйственник, ученый, писатель, артист – все шатко, зыбко, без надежды, ценны только кадры номенклатуры.

Тесть умер рано, как и Зухра, от рака – видимо, у них в роду это наследственное. Пулат с горечью подумал, что за его сближение с Зухрой, возможно, в будущем расплатятся его сыновья. Если бы власть имущий отец Зухры не ушел из жизни скоропостижно, Пулат наверняка занимал бы кресло в столице и присутствовал на том самом открытии помпезного филиала музея, чем, видимо, еще больше огорчил бы старую большевичку. Ведь не стал бы он избегать встречи со своей учительницей истории Данияровой?

Мысли скачут от одного события к другому, от лица к лицу, смешалось время, пространство, люди – все сплелось, скрутилось в разношерстный тугой клубок, и этот пестрый клубок – его жизнь.

Цепочка ассоциаций, протянувшись от давнего торжества в Ташкенте, неожиданно, как и все в этот вечер, вызывает в памяти другое событие, тоже отмечавшееся с размахом, ну, конечно, не столичным, а на уровне района, но не менее богато и крикливо, чем в иных местах. Тогда, пожалуй, дух соревнования витал в стране – кто пороскошнее да и погромче чтонибудь отметит, девятым валом катилась по державе эстафета празднеств и юбилеев – мол, "знай наших" или "и мы не лыком шиты", если не по делам, так по юбилеям прогремим.

Пулат вспоминает свое пятидесятилетие – это его юбилей так шумно отмечали в районе. Нет, он сам вроде ни к чему не прикасался, не организовывал – аппарат переусердствовал, хотел угодить. Опять же, как и повсюду: какие стандарты на вершине, такие и у подножия. Потом он узнал: юбилейной комиссией командовал Халтаев. В областной газете вышла огромная районная статья с большой, хорошо отретушированной фотографией. А уж районная расстаралась! Все, от передовицы до последнего абзаца, посвящалось ему, и красавец мост через Карасу занимал полстраницы. Пулату даже неловко было читать о своих добродетелях.

– Сахару многовато, – сказал он редактору по телефону, когда тот прорвался через секретаршу лично поприветствовать первого руководителя района.

Но старый газетный волк, знавший, что почем, не растерялся, ответил:

– Зря обижаете, несправедливо, не каждого в день пятидесятилетия орденом Ленина награждают.

"А ведь и впрямь не всякому такая высокая награда выпадает", – думал после разговора Пулат, и мысль о том, что обе статьи сильно подкрашены в розовый цвет, пропала.

Вспоминается ему и пиршество: после официальной части в районном Доме культуры гости перекочевали сюда, во двор. Пришлось разобрать айван, на котором он сейчас сидит, и даже спилить два дерева, чему очень противилась жена, да разве удержишь Халтаева – он хозяйничал, как в своем саду.

Миассар, не скрывая неприязни, сказала мужу в те дни:

– А кому ж и быть главным организатором, как не Халтаеву – у него чуть ли не через месяц подобные мероприятия, кажется, он только день рождения своей последней "Волги" не справлял. Думает прослыть добрым и хлебосольным хозяином, да ведь люди не глупее его, знают, для чего он организует у себя роскошные застолья: чтобы легально, не таясь, ссылаясь на народные обычаи, собирать подарки, по существу взятки и дань. Чего только не несут и не везут! И он сам, лично, встречает гостей у ворот – желает знать, кто что принес.

Пулат тогда понял, что Миассар мучается, чтобы народ так не подумал и о нем, и категорически наказал Халтаеву, чтобы ничего не несли. Халтаев, конечно, пустил слух, что нужно прийти с пустыми руками, но с открытым сердцем, и, зная привычки начальника милиции, многие поняли команду так, что надо удвоить, утроить ценность подарка. Халтаев, не желая огорчать столь щепетильного хозяина, но ведая о нравах края, которые сам же и насаждал, придумал хитроумный ход. Гости проходили к юбиляру через его двор, освободившись от щекотливого бремени подарка, – такой порядок вещей всем казался логичным, хотя Пулат о многих щедрых подношениях так и не узнал.

Нет, вспоминается ему юбилей, наверное, все таки не из за грандиозного пиршества, где жарились целыми тушами бараны, подавали плов из перепелок, шашлык из сомятины, дичь, отстрелянную в горах, форель, доставленную из соседнего прудового хозяйства, и не из за того, что в домашнем концерте славили юбиляра популярные певцы и музыканты, и даже две известные танцовщицы из Ташкента, как бы случайно оказавшиеся в районе, и не из за того, что восхваляли в стихах и прозе, а скульптор из Заркента, специализирующийся исключительно на образах выдающихся людей области, торжественно преподнес ему гипсовый бюст юбиляра под номером 137 и объявил во всеуслышание, что произведение номер 137 со следующего месяца будет выставлено на художественной выставке в столице республики для всенародного обозрения. Немного запнувшись или умело выдержав паузу, ваятель добавил, что вернисаж посещают и зарубежные гости. Последнее сообщение почему то встретили громом аплодисментов. Непонятно, что имел в виду плодovitый автор бюстов в натуральную величину и что подумали обрадованные гости: может, им казалось, что, имея

подобную орденоносную натуру, можно ошеломить или очаровать весь свет? Нет, вспоминал сегодня Пулат юбилей по иному случаю.

Утром в воскресенье у себя в кабинете, когда он разглядывал лежащий на ладони орден Ленина, сравнивая его с тем, что уже красовался на бюсте, но почему то превышал в размерах подлинную награду раза в три и оттого казался фальшивым или незаконным, раздался робкий стук в дверь, и, не дожидаясь ответа, словно боясь, что его не пустят, на пороге появился садовник Хамракул ака. Войдя в комнату, садовник, ничего не сказав, тут же упал на колени перед сидящим Пулатом Муминовичем; ничего не понимающий хозяин дома вскочил, отодвигая кресло и пытаясь выйти на свободное, пространство комнаты, – старик как бы запер его в углу. Живописная картина: сановный, импозантный Махмудов в новой шелковой пижамной паре с орденом Ленина в руке, прямо над ним на книжном шкафу его бюст в натуральную величину, а перед ним коленопреклоненный старец в живописном тюрбане. "Утро хана" – наверное, назвал бы композицию скульптор из Заркента, если бы обладал фантазией.

Пулат Муминович все таки вырвался из заточения, хотя старик хватал его за ноги. Освободившись, он попытался поднять грузного садовника с ковра, но это оказалось делом не простым.

– Умоляю выслушать, – просил Хамракул ака, чувствуя, что Пулат Муминович норовит выскочить за дверь или позвать кого нибудь на помощь. – Халтаев как раз демонтировал в саду вчерашние сооружения.

– Только если встанете и займете кресло, – сказал твердо Пулат Муминович, оправившись от неожиданности.

Старик проворно поднялся с ковра и, боясь, что хозяина кабинета могут вдруг отвлечь находящиеся во дворе люди или телефон, торопливо заговорил:

– Спасите, во имя Аллаха, моего сына – он на базе райпотребсоюза кладовщиком работает, Рахматулла зовут, вы его видели, у него как раз самый большой склад, где начальство дефицитом отоваривается. Недостача крупная, но мы погасим долг, только бы закрыли дело...

– Это компетенция суда, прокуратуры, ОБХСС, милиции, я не могу вмешиваться в их дела. Разве вы слышали, Хамракул ака, чтобы я выгораживал растратчиков и преступников? – жестко ответил Пулат Муминович, пытаясь пройти к двери, считая, что разговор окончен, но старик неожиданно ловко вскочил и загородил ему дорогу:

– Вы достойный человек, из благородного рода, вы хозяин всему в округе, словно эмир, как вы скажете, так и будет, я ведь прожил большую жизнь, знаю: ваше слово – выше закона! А вот и от нашей семьи подарок по случаю праздника в вашем доме, возьмите, это от души, если не вам – вашим детям сгодится. – И пришелец неожиданно протянул ему небольшой кожаный мешочек.

Пулат Муминович резко отвел руку, и мешочек выпал из дрожащих пальцев старика – на ковер высыпались царские золотые монеты.

– Откуда у вас это? – спросил побледневший Пулат Муминович.

Хамракул ака, ползая по ковру, собирал блестящие червонцы и не отвечал; молчание затягивалось, и секретарь райкома хотел пригласить Халтаева, посчитав вдруг происходящее провокацией, но садовник глухо произнес:

– Это часть из того, что Саид Алимхан велел сохранить твоему отцу и мне до лучших времен – мы с ним служили одному делу. Твой отец не Мумин, а Акбар хаджа, благородный был человек, под страхом смерти не выдал меня – думал найти у его сына покровительство и защиту...

– Почему вы решили, что я сын Акбара хаджи?

– Вы – вылитый отец, как две капли воды, и даже справа на щеке у вас такая же родинка, и голос, и походка отца. Потом я ведь узнал, где вы росли, учились, все сошлось, и я не ошибаюсь. Если хотите, я подарю вам фотографию, где мы вместе с вашим отцом в летнем дворце Саида Алим хана, – при дворе эмира был личный фотограф, и жалованье он получал из моих рук...

Пуллат Муминович ничего не отвечает, но отходит от двери и устало садится на диван у окна. Перед диваном стоит журнальный столик, и садовник кладет на него кожаный мешочек с золотыми монетами.

– Уберите, вы столько лет в моем доме и должны знать – взятки я не беру.

Старик сгребает мешочек с полированной столешницы и торопливо прячет за пазуху. Пуллат Муминович еще долго сидит молча, но старик не спешит уходить и вдруг жалостливо говорит:

– Видит Аллах, я не хотел беречь вашу душу, простите, но вы сами вынудили – брали бы, как все, я бы смолчал. Отступить мне некуда – сын, самый старший, а у него пятеро детей...

Старик говорит без нажима, но Махмудов чувствует – шантаж, но кто за всем этим стоит? Орден Ленина словно жжет ему ладонь, мешает сосредоточиться; мелькает мысль, что и дня не успел поносить награды. Но не зря он больше двадцати лет у власти, первый человек в районе; быстро берет себя в руки – негоже расслабляться перед человеком, у которого в руках твоя тайна, так некстати выплывшая, – ведь уже нет в живых Данияровой, еще раз выручившей бы его, и он говорит:

– Я помогу вам не оттого, что вы якобы знали моего отца, а потому, что вы много лет проработали в нашем доме, в память Зухры помогу – она вас очень любила, но... при одном условии...

Хамракул ака от волнения нетерпеливо выпалил:

– Согласны на любые условия...

Но Пуллат Муминович уже владеет ситуацией:

– Условия такие. Он должен погасить долг и в течение полугода покинуть район, переехать в другую область, документы о хищении будут у меня в сейфе, чтобы впредь он жил достойно и не запускал руку в государственный карман; второй раз я спасать его не буду, даже если вы будете уверять, что вы – мой родной дядя.

Старик, пятясь спиной к двери, как некогда было принято при дворе эмира, рассыпаясь в благодарностях, покидает кабинет.

Пуллат Муминович тогда задумался о превратности жизни, о том, что радость и горе могут приходить в один час. Надо же, именно так испортить ему праздник! Он уже давно забыл о своих документах, где действительно вместо "Муминович" должно быть "Акбарович" – не врал старик, так ему и объяснила Инкилоб Рахимовна, чтобы он помнил имя отца; правда, не сказала, что он был хаджа.

Последний раз об этом он рассказал Кондратову в институте, когда тот отговорил его идти в деканат, чтобы внести ясность в анкету. Нет, в последний раз он все таки говорил не Сане, а будущему тестю, Ахрору Иноятовичу; спросил прямо, не повредит ли его высокому положению такой факт биографии зятя? На что отец Зухры только рассмеялся и сказал, что рад, что жених дочери – сын достойных родителей, а на предложение обнародовать все таки сей факт сказал: зачем, мол, ворошить старое – сын за отца давно не ответчик.

И вот когда он достиг высот, забыл старую детдомовскую историю и Инкилоб Рахимовну, сжился со своим новым отчеством, объявился свидетель, знавший отца и его деяния. Неожиданный факт биографии секретаря райкома, скрытый при приеме в партию, могли истолковать по разному, конечно, есть у него враги и в районе, и в области, многие зарятся на район с отлаженным хозяйством – на готовенькое всегда желающих хватает.

"А может быть, и не скрыл от партии?" – появилась потом спасительная мысль. Он же чистосердечно рассказал отцу Зухры о своей биографии, ничего не утаил, и про Инкилоб Рахимовну поведал, а Ахрор Иноятович ведь не просто коммунист, а коммунист над всеми коммунистами области, секретарь обкома, участник нескольких съездов партии, депутат. Но только кто поймет Пуллата Муминовича давно нет в живых всесильного Иноятова, еще скажут – имел Ахрор Иноятович корыстную цель, скрывая факт биографии Махмудова, потому что выдавал невзрачную дочь за перспективного молодого специалиста, получившего образование в Москве. Сегодня он понимает, что нельзя партию отождествлять с тестем, но тогда казалось: признаться Иноятову – значит признаться партии; думалось, он вечен, незыблем. Конечно, садовник знал, чей он зять, и оттого много лет молчал – кто бы посмел бросить тень на мужа любимой дочери секретаря обкома...

Пулат Муминович не на шутку испугался: казалось, шла под откос вся жизнь, которую все таки сделал сам, без Иноятова, и орден Ленина он считал заслуженно заработанным. Последние двадцать лет каракуль из его района на пушных аукционах Европы шел нарасхват, особенно цвета "сур" и "антик", а ведь это его заслуга – он поддержал самоучку селекционера Эгамбердыева и взял каракулеводство под контроль и опеку, когда кругом только о хлопке и пеклись. За валюту, за каракуль, за высокоэлитных каракулевых овцематок, что давало стране созданное им племенное хозяйство, как считал Пулат Муминович, представили его к высокой награде.

А теперь все находилось под угрозой. Пойти в обком и задним числом попытаться внести ясность в свою биографию – вроде логичный ход, но Пулат Муминович знает, что это не совсем так – изменилось что то в кадровой политике за последние три года с приходом нового секретаря обкома в Заркенте. Направо и налево, словно в своем ханстве, раздает он посты и должности верным людям. Чувствует Пулат Муминович, что давно тот присматривается к его крепкому району и не прочь бы при случае спихнуть его, да повода вроде нет, и авторитетом Махмудов пользуется у людей; донесли, что народ Купыр Пулатом называет его. Нет, идти самому к Тилляходжаеву и объяснять давнюю историю не следовало, можно было и в тюрьму угодить – столько лет держал садовником бывшего сослуживца отца, расстрелянного как врага народа, да еще про золото придется рассказать – пойди докажи, что не брал из тайника Хамракула ака ни одной монеты. А думает он так, потому что есть примеры, когда оговаривали ни в чем не повинных людей, не угодивших новому секретарю обкома.

С этого дня, радостного и горестного одновременно, в душе Пулата Муминовича поселился страх, ну если не страх, то пришла неуверенность – он словно ощущал за собой догляд.

Кладовщик Рахматулла из райпотребсоюза, тихо погасив крупную растрату, продал дом и переехал с семьей в Наманган, а Хамракул ака, живший по традиции с младшим сыном, по прежнему работал у него в саду, но на глаза старался не попадаться, впрочем, это удавалось без особого труда: Пулат Муминович уходил рано, приходил затемно, но работу садовника ощущал.

Прошло полгода, история эта начала забываться, стал он носить орден и даже привык к нему, хотя смутное предчувствие беды его не покидало. Нервное состояние не могло не отразиться на поведении, он стал раздражителен, появилась мнительность: повсюду в словах и поступках окружавших его людей чудился подвох. Первой перемену в настроении мужа заметила Миассар, но ей он объяснил причину переутомлением – и правда, второй год работал без отпуска. Наверное, протянись история еще месяца два, Пулат Муминович не выдержал бы, пошел если не в обком, то в ЦК и объяснился: как человек честный, он мучился от сложившегося положения. Понимал двойственное положение свое как руководителя и просто человека. Наверное, следовало уехать из этих мест или вообще отказаться от партийной работы по моральным причинам. Но что то постоянно удерживало его от решительного поступка, парализовало волю. Мучила неопределенность судьбы садовника, если он пойдет в обком или ЦК. Ведь тот не только рассказал его тайну, но и открылся сам, и следовало отдать набожного старика в руки правосудия за сокрытое золото, но от одной мысли, что Хамракул ака попадет в руки соседа Халтаева, Пулат Муминович приходил в ужас. Старик садовник назвал бы его предателем и проклял – ведь не выдал сорок лет назад Акбар хаджа, а сын...

Так крепко сплелось личное и государственное, долг и милосердие, что Пулат Муминович, откровенно говоря, растерялся. Но ситуация разрядилась неожиданным образом: его пригласили в обком партии на беседу с самим Тилляходжаевым. И выручил его тогда, вспоминает Пулат Муминович, начальник милиции Халтаев.

Часть III

Через год после разнузданной пьянки в доме секретаря обкома Пулат Муминович отдыхал у моря, в санатории "Форос", недалеко от Ялты. Прекрасная здравница закрытого типа находилась на берегу моря, в роскошном саду. Рядом проходила граница, что весьма кстати для важных отдыхающих, и посторонних тут не было, одна вышколенная обслуга, контингент же однороден – партийная номенклатура. Работают в своей среде, живут среди себе подобных и отдыхают также замкнуто, кастово.

Здесь он познакомился с одним высокопоставленным работником аппарата ЦК Компартии Казахстана, сдружились они при весьма любопытных обстоятельствах. Пулат Муминович на второй день после ужина одиноко стоял возле розария, раздумывая, куда бы пойти, то ли в кино, то ли в бильярдную, когда к нему подошел этот самый человек и поздоровался на чистейшем узбекском языке. Оказалось, он родом из Чимкента, где бок о бок давно, уже не одно столетие, живут казахи и узбеки.

Не успели они разговориться, как новый знакомый вдруг сказал, вроде бы некстати:

– Как велика сила дружбы народов, как она расцвела!

Пулат Муминович от неожиданности чуть не выронил бутылку минеральной воды, что давали им на ночь. "Мне только пустой трескотни доставало на отдыхе", – подумал он, теряя интерес к импозантному товарищу и сожалея о знакомстве.

Но тот, умело выдержав паузу, продолжил:

– Посмотрите, вон два якута – они не спеша отправились в бильярдную. Вот шумные армяне столпились вокруг рослого мужчины в светлом костюме, а грузины расположились в той дальней беседке – они облюбовали ее сразу; сейчас, наверное, кто то принесет вино, и они будут петь грустные, протяжные песни – хотелось бы попасть к ним в компанию. Дальше – степенные латыши в галстуках чинно выхаживают на аллеях, их чуть меньше, чем армян и грузин; эстонцев приблизительно столько же, но пока они избегают тесных контактов и с латышами, и с литовцами – я наблюдаю за ними уже неделю. А вон украинцы – их так много, что они держатся несколькими компаниями. Подобный расклад можно продолжить, но ограничусь, вы и сами все видите, остается – Восток, Средняя Азия, вот я и присоединился к вам – теперь и мы наглядно демонстрируем великую дружбу народов.

– Не боитесь? – спросил Пулат Муминович на всякий случай, словно осаживая того, страшась провокаций.

– Нет, не боюсь, область национальных отношений – моя профессия. Я доктор наук, крупный авторитет в республике.

– Любопытно, в своих трудах вы излагаете подобные же мысли?

– Упаси господь, идеология – одно, а жизнь – другое. Мы, ученые, вроде соревнуемся, кто дальше уведет ее от реальности.

– Ну, вы преуспели, доктор все таки...

– Не скажите, кто преуспел, – уже академик, член корр...

И оба рассмеялись.

Злой, острый ум оказался у нового знакомого; жаль, что цинизм уже съел его душу, подумал в первый же вечер Махмудов.

Нет, сегодня Пулат Муминович вспомнил К. совсем не из за возникших в стране сложных национальных отношений, тогда даже сам К. при невероятном цинизме, наверное, не предполагал возможных событий в родной Алма Ате. Никто, кроме самих армян и азербайджанцев, не знал и о существовании Карабаха. Кто мог предвидеть волнения на национальной почве в республиках Прибалтики? А проблема языка, заостренная украинскими и белорусскими писателями! Впрочем, эта проблема касалась и его родной республики, Узбекистана. А волнения крымских татар, требующих возврата на Родину...

Пулат Муминович вспомнил К. по другому поводу. Работал тот в аппарате ЦК долго и собирался там просидеть до глубокой старости. Надежно, выгодно, удобно – даже лучше, чем в сберкассе, шутил таким образом сам К. За годы работы в аппарате, сменив несколько параллельных отделов, как никто другой, К. знал закулисную жизнь партийной элиты, высших эшелонов власти в республике. В том, что он умен, наблюдателен, ему трудно было отказать. Темой он владел – по выражению самого К.

Конечно, постоянно общаясь, они не могли не обсуждать положение дел у себя в республиках, не говорить о своих лидерах, хорошо известных в стране, между которыми шло негласное соперничество во всем. Один из

них остро переживал свое затянувшееся не по сроку кандидатство в члены Политбюро – оба отдыхающих это хорошо знали.

Пулат Муминович, находившийся с прошлого года в щекотливом положении и человек куда более осторожный, чем К., больше слушал, мотал на ус, отдавал инициативу в разговорах товарищу из Алма Аты. Всякий раз, если беседа об Узбекистане приобретала остроту, он говорил:

– Уважаемый К., что я могу знать из своего районного захолустья, мое дело: привесы, надои, центнеры, посевная, уборочная, тепло, газ, жалобы низов. Большая политика идет мимо нас...

Человек из Казахстана, наверное, догадывался, что Пулат Муминович уходит от разговора, но у каждого в жизни свои резоны, а время тогда еще располагало к откровениям. Впрочем, не исключено, что К. знал об Узбекистане гораздо больше, чем Махмудов, – Чимкент всего в полутора часах езды от Ташкента.

Как бы то ни было, К. постоянно крутился возле острых и опасных тем, что не раз настораживало секретаря райкома с урезанными правами, но, видимо, что то жгло того изнутри, и он шел то ли к своей гибели, то ли к взлету, если, конечно, времена изменятся. Рискованные они вели беседы.

Однажды по какому то поводу у Пулата Муминовича вырвалось:

– А у нас все дела, особенно кадровые, решает только первый – секретарей ЦК меняет по своему усмотрению.

К. задумчиво произнес:

– Прекрасно – сам решает проблемы.

Пулат Муминович вспыхнул:

– Не пойму, все это похоже на беспринципность: то вы за коллегиальность, за партийную демократию, то за ханское единовластие, что же тут хорошего?

К. не растерялся – видимо, он ожидал такую реакцию.

– Дело в том, мой дорогой курортный друг, что у нас республикой руководит не первый, а его помощник, – вот что ужасно. Секретарями ЦК, депутатами помыкает по существу авантюрист, казахский Гришка Распутин. Беспринципный и алчный человек, он даже личную почту Кунаева и политбюро вскрывает, – какие могут быть тут государственные тайны...

– Как – помощник? – Пулат Муминович не верил своим ушам: скажи кто другой, он бы поднял того на смех, но К. знал, что говорил.

– Да, да, помощник, самый простой, для полной объективности добавим еще одного человека, имеющего на первого тоже огромное влияние. Некий полковник, начальник особого патрульного дивизиона ГАИ, сопровождающий хозяина республики повсюду. Вот они вдвоем, опираясь на свои джусы, по существу и правят Казахстаном, хотя казахов в республике – одна треть населения.

В тот вечер в "Форосе" Пулат Муминович долго анализировал сказанное К.; тот даже не взял с него слово, что разговор останется между ними, как заведено в подобных случаях. Но сомнения разрешились неожиданным образом: вспомнил, что однажды в "Правде", осенью 1964 года, – он ясно видел разворот третьей страницы, такое она произвела на него впечатление, – читал большую уничтожающую статью о казахстанском руководителе, о методах его правления: он просто во всех областях посадил родственников, друзей, людей из своего джуза, и все они назывались в газете пофамильно, хотя длинный список включал лишь секретарей обкомов, горкомов и должностных лиц на правительственном уровне.

И вот почти через двадцать лет, узнав от К. о новом витке правления хозяина республики, Пулат Муминович не удивился – все сходилось.

Поразился он запоздало одному: как же после разгромной статьи (в прежнее время порядочные люди стрелялись или, как минимум, подавали в отставку) этот руководитель уцелел: все таки "Правда" – орган ЦК КПСС?

Странно, что такая логичная мысль никогда не приходила ему в голову раньше, а задумался он лишь в "Форосе", с подачи К. Ответ, конечно, нашелся, единственный и верный.

После выступления "Правды" через месяц в Кремле сменилась власть, Хрущева скинул Брежнев, личный друг Кунаева. Явилась новая догадка – не причастен ли и сам казахстанский правитель к неожиданному падению Хрущева и взлету своего друга Леонида Ильича?

Но столь откровенный вопрос испугал Пулата Муминовича, и он схоронил его в душе. Он даже не посмел поинтересоваться на этот счет у К. – тот наверняка прояснил бы ситуацию...

Но сейчас глубокой ночью во дворе своего дома ему уже не нужны были какие то дополнительные разъяснения: ведь, читая о декабрьских событиях позапрошлого года в Алма Ате, когда всплыло на поверхность все о первом секретаре ЦК и подтвердилось сказанное пять лет назад К. и о помощнике, и о полковнике, он знал даже такое, о чем вряд ли догадывался и сам К. На деле и соперничество с Рашидовым оказалось показным, на публику, – ладили они между собой вполне. Установлено, что хозяин Казахстана отправил в Ташкент на воспитание своего племянника – совсем в традициях ханского Востока. И племянник получил пост начальника общепита столицы – возможно, привередливый читатель усмехнется: тоже мне, мол, пост. Но не следует торопиться с выводами: владыка знал, чем одаривал. Только один из подчиненных племянника, некий Насыр ака, возглавлявший районный общепит в старом городе, за свои личные деньги построил под Ташкентом свинокомплекс стоимостью полмиллиона рублей. С размахом жил человек, не ждал решения Продовольственной программы, знал, что с лихвой окупит вложенное. Удвоил, утроил бы капитал, да времена изменились. Пришлось государству взять на баланс нигде не зарегистрированный объект – и такие подарки случаются.

Соревновались то они в том, кто больше государственных денег растратит, кто больше пыли пустит в глаза. Построил, например, Верховный в Ташкенте баню в восточном стиле, причудливой архитектуры, так хозяин из Алма Аты тут же отгрохал более современный и комфортабельный комплекс с банями, саунами, бассейнами, "Арасаном" назвал.

Надо отдать должное, ташкентский хан почти всегда опережал алмаатинского, но зато казахский хан строил роскошнее. Правда, по двум объектам Верховный перещеголял своего алмаатинского приятеля – такого сказочного Дворца дружбы народов и роскошного филиала музея В. И. Ленина не только в Алма Ате – во всей стране не сыскать. Правда, ни тот, ни другой не считались с тем, что народу не хватает жилья, больниц, детских учреждений. Попытался ташкентский хан затмить и прелести высокогорного Медео, бросил силы и мощь на Чимган, да не успел.

Пулат Муминович все таки вспомнил "Форос" по другому случаю, потому что там еще раз решалась его судьба, его жизнь.

Нельзя утверждать, что после памятной ночи в доме секретаря обкома жизнь его круто изменилась – перемен даже Миассар не обнаружила, разве что чаще стал навещаться в дом Халтаев, но это отнесли за счет соседства. Его положение даже укрепилось: Анвар Абидович не раз в официальных выступлениях ставил его район в пример, называл его хозяйства маяками в области. А в личных беседах и застольях открыто провозглашал Махмудова другом, примерным коммунистом.

За год Тилляходжаев пять раз посетил его район и все пять раз приходил к нему в гости домой, причем ни разу не зашел к Халтаеву, хотя ведал, что тот живет через дувал. Он знал, что в районах не только каждый шаг первого оценивается, а даже жест.

"Я должен поддерживать ваш авторитет", – говорил он всегда Пулату Муминовичу.

Не ощущал Махмудов и назойливого опекуна Халтаева: может, выжидал, присматривался полковник, а может, за его спиной, от его имени что то и делал – ведь слух, что теперь он в друзьях с секретарем райкома, тоже пронесся в округе. Серьезных стычек с ним Пулат Муминович не помнит, но под нажимом полковника пришлось отдать общепит района Яздону ака. Через полгода появился еще один товарищ Яздона ака, Салим Хасанович, из тех, что обедал тогда в чайхане махалли Сары Таш, – ему пришлось уступить райпотребсоюз. Хотя вроде и не выпускал Махмудов бразды правления из рук, но с каждым днем все больше и больше

ощущал себя марионеткой. Это сознание мешало жить, чувствовать себя мужчиной, человеком, коммунистом, и вновь возникли мысли о самоубийстве – иного выхода он не видел.

Пятый визит Анвара Абидовича в район и послужил причиной очередной депрессии, и опять с мрачными намерениями он оказался в Крыму. Случилось это за месяц до отъезда в "Форос".

Прибыл Тилляходжаев в район неожиданно, без предупреждения, и не один, хотя обычно его помощник ставил в известность о поездке своего шефа, давал указания насчет обеда, выпивки, советовал, кого пригласить за стол, а кого, наоборот, не допускать. Впрочем, секретарь обкома появился в тот злопамятный день даже без помощника; потом то стало ясно, чем был вызван поспешный наезд гостей.

Прибыли они в "Волге" Акмаля Арипова – тогда Пулат Муминович впервые и увидел воочию аксайского хана, хотя и слышал о нем много, слишком много. Белую "Волгу" эскортировала юркая машина защитного цвета, на манер военных джипов, и держался джип чуть в отдалении, стараясь не лезть на глаза. И возле райкома пятеро из машины сопровождения стояли особняком, но не сводили глаз со своего хозяина. Рослые, крепкие мужчины, у одного на боку висела японская переговорная система, действующая в радиусе ста километров, а если внимательно взглядеться, можно было заметить, что они вооружены, причем, две автоматические винтовки лежали на заднем сиденье, и чувствовалось, что их не таили.

Нукеры – обычная свита Арипова, на этот раз малочисленная.

У Пулата Муминовича, увидевшего несколько смущенного Наполеона и державшихся в тени платана сопровождающих людей Арипова, в первые минуты сложилось впечатление, что аксайский хан заскочил на минутку в Заркентский обком, вырвал Тилляходжаева из кресла и, не слушая его возражений, заставил ехать к нему в район.

Вот только – зачем? Впрочем, скоро он догадался, и догадка Пулата Муминовича оказалась абсолютно верной.

– Ну, Пулат Муминович, с тебя причитается, какого гостя к тебе привез, знакомься, – секретарь обкома пытался скрыть растерянность и оттого бодрился, желал выглядеть в глазах Арипова могущественным на территории своей области.

Плотный, коренастый человек, очень просто одетый, кривя усмешку, явно относящуюся к Наполеону, подал Махмудову руку и с достоинством сказал:

– Арипов Акмаль. Много слышал о вас, Пулат Муминович, и о вашем преуспевающем районе. Еду в Назарбек по делам, по пути решил заглянуть к вам, а мой старый друг, Анварджан, ваш хозяин, вызвался меня сопровождать. Не обессудьте, что без приглашения, без предупреждения нагрянули.

– Милости просим, – Пулат Муминович широко распахнул двери райкома для незваных гостей, чувствуя, что визит ничего хорошего не сулит.

В кабинете то ли по рассеянности, то ли намеренно Наполеон занял кресло Пулата Муминовича, и секретарь райкома приткнулся сбоку стола, рядом с телефонами. Маневр не остался незамеченным Ариповым, и он снова усмехнулся. Очень выразительная усмешка, она порою говорила больше слов и, повидимому, означала: ну что ты передо мной пыжишься, хозяина области корчишь, коротышка пузатый.

Восточные люди сразу не приступают к делам, и никакой спешке нет оправдания – традиции превыше всего, но Анвар Абидович и тут, желая взять разговор под контроль, не справился ни о здоровье, ни о детях, заговорил о племенном конезаводе, которому только полгода назад дал обкомовское "добро". Столь стремительное начало обескуражило даже Арипова, и он невольно переглянулся с Пулатом Муминовичем; опять усмешка скривила его губы, на этот раз она означала – ну что с него взять, хам есть хам, если он даже о здоровье друга не справился.

Представляя Арипову Пулата Муминовича, Тилляходжаев рекомендовал его как одного из своих близких друзей.

– Акмаль ака, – начал с места в карьер секретарь обкома, – интересуется твоим конезаводом, хочет чемнибудь помочь, чтонибудь подсказать. Наверное, слышал, что у него в Аксае есть несколько сотен прекрасных

лошадей, а полусотне из них, как говорят знатоки, цены нет. Повезло нам, что сосед решил взять над нами шефство.

"Отчего его вдруг на шефство потянуло?" – мелькнула тревожная мысль у Махмудова. На филантропа Арипов не походил; из того, что Пулат Муминович слышал о нем, следовало вообще избегать контактов с этим человеком и радоваться, что находишься не в орбите его интересов. И люди, сопровождающие его, на специалистов по коневодству не смахивают, за версту чувствуется – лихие люди, днем, не таясь, с винтовками разъезжают, хотя и в штатском.

– Ну, какой у нас конезавод, Акмаль ака, мы же только начинаем. И десятой доли нет того, что у вас в Аксае в табунах пасется. Вот года через три, я думаю, нам будет чем похвалиться – обязательно выйдем на мировой рынок. А за предложение помощи спасибо. Готов послать к вам своих специалистов и прежде всего взять на учет всех ваших элитных лошадей – в племенном деле селекция главное, – ответил Пулат Муминович, давая понять, что на конезаводе гостям делать нечего.

Видя, что разговор принимает не тот оборот, Арипов строго посмотрел на Наполеона и вновь презрительно усмехнулся: мол, к чему эти реверансы, шефство – чушь собачья, скажи честно, зачем приехали.

Напряжение, на миг возникшее в кабинете, разрядила секретарша, пригласила к чаю. Во внутреннем дворике райкома, в саду, накрыли стол. И за столом Арипов делал намеки секретарю обкома, что пора переходить в решительную атаку, а не ходить словесными кругами вокруг да около, но непонятно, почему Тиляходжаев так и не решился ничего сказать Пулату Муминовичу открытым текстом, а ведь он знал о цели приезда аксайского хана. Только уже вставая из за стола, оправдывая свое малодушие, обронил нехотя:

– И все таки, Пулат Муминович, покажите нам, с чего начинаете, – тайн от секретаря обкома у вас не должно быть.

На конезавод, расположенный в колхозе "Москва", прибыли через полчаса. Когда входили на территорию, Пулат Муминович заметил, что вслед за высокими гостями двинулись люди из джипа – до сих пор они держались в отдалении.

Неожиданных визитеров встретил ветеринар и директор в одном лице Фархад Ибрагимов, известный в прошлом не только в стране, но и за рубежом наездник. Увидев Арипова, он побледнел и укоризненно посмотрел на Пулата Муминовича: мол, что же ты меня не предупредил. Фархад поздоровался со всеми за руку, но Арипову руки не подал – вроде как не заметил. Пулат Муминович увидел, как от гнева пятнами покрылось лицо аксайского хана, но сдержался хан, затаил обиду.

Пять лет назад Арипов приглашал Фархада к себе на работу, на такую же, что и у Пулата Муминовича, но Ибрагимов, пробыв две недели в Аксае, несмотря ни на какие уговоры, щедрые посулы и угрозы, ушел, сказав: я холуем не могу служить и за полторы тысячи рублей – такую ставку определил ему аксайский хан. Крепко они повздорили тогда в конюшне, где стояли любимые лошади Акмаля ака. Арипов привычно замахнулся плетью, как делал много раз на дню, хотел ударить строптивого Ибрагимова, да не вышло – перехватил Фархад плетку, сломал ее и бросил в денник к необъезженной лошади. Поздновато вбежали телохранители, успел испортить настроение Арипову бывший наездник, сказал все, что о нем думает, но бока Фархаду крепко тогда намяли – с месяц валялся в больнице.

"Не в больницу его надо было отправить, а в мою подземную тюрьму и приковать цепью к решетке", – зло подумал Арипов, не ожидавший встретить здесь своего бывшего конюшенного.

Медленно двинулись вдоль денников, молодняк шарахался, косил глазами, неожиданно ржал – такого количества людей в конюшне они не видели. Фархад особенно оберегал эту ферму, боялся любой инфекции, не любил, когда подкармливали доверчивых скакунов, – здесь стояли лучшие лошади, его надежда.

Тиляходжаев на конезавод приехал впервые и теперь вроде сожалел, что не может сам представить высокому гостю свое хозяйство, но по привычке шел впереди и отделялся восторженными словами:

– Смотри, Акмаль, какой красавец!

Или:

– Вот это жеребец, настоящий Буцефал!

Но Арипов не слышал никого, забыл даже про Фархада, взгляд его тянулся вперед. Как только прошли в глубь конюшни, он обогнал Наполеона и чуть ли не бегом кинулся вдоль свежавыкрашенных денников.

– Вот он, Абрек! – закричал вдруг радостно и, не дожидаясь торопившегося вслед секретаря обкома, вошел в стойло к знаменитому Абреку.

Фархад, державшийся рядом с Пулатом Муминовичем, не ожидал от гостя такой прыти и невольно крикнул:

– Выйдите немедленно из клетки, Абрек в недельном карантине!

Но Арипов уже ничего не слышал, он гладил шею гнедого красавца и шептал как одурманенный:

– Абрек, милый, конь мой золотой, я нашел тебя.

И странно: строптивый Абрек склонил к нему изящную шею и терся нежной губой о лицо Арипова.

– Признал, признал меня сразу! – ошалело завопил Арипов, как только все собрались у денника.

Фархад попытался войти вслед за Ариповым в клеть, но Пулат Муминович, почувствовав недоброе, ухватил Ибрагимова за руку и удивился, как трясло от волнения бывшего жокея.

Прошло пять минут, десять. Арипов, словно забыв про людей, разговаривал с Абреком. Анвар Абидович обратился к Акмалю ака раз, другой, но тот никак не прореагировал, а войти в стойло к Абреку, как вошел Арипов, не решался – слышал, что Абрек не совсем управляемый жеребец, боялись его даже конюхи.

Пока все наблюдали, как гордый Абрек ластится к незнакомому человеку, люди из джипа подошли вплотную к деннику, и Арипов, неожиданно повернувшись, приказал:

– Уздечку мне!

Кто то из сопровождающих услужливо подал необыкновенной красоты уздечку, тяжелую от серебряных шишаков и ярко красных полудрагоценных камней.

– Нравится? – спросил Арипов, все еще продолжая играть с Абреком, и конь как бы согласно кивнул головой и легко дал возможность взнуздать себя.

Люди в проходе конюшни аж ахнули – Абрек не был так покорен даже с конюхами, выхаживавшими его с рождения. Удивительную власть и понимание лошади демонстрировал Арипов – наверное, он с ними ладил лучше, чем с людьми.

Фархад, замороженный, как и все, наблюдал сцену в деннике и удивлялся поведению Абрека: он то знал знаменитого ахалтекинца другим.

Но когда хозяин Аксая стал выводить лошадь под уздцы из стойла, Фархад словно скинул оцепенение гипноза и, вырвав руку из руки секретаря райкома, кинулся навстречу с криком:

– Не дам!

Раскинув руки, он прикрыл собой дверь денника, не давая Арипову возможности выйти с конем. Все случилось так неожиданно и всех так размагнитила сцена игры Арипова с Абреком, что телохранители аксайского хана замешкались. Опомнились они только тогда, когда Арипов сам с силой толкнул в грудь Фархада и приказал:

– С дороги, собака!

Но Фархад и не думал выпускать незваного гостя с конем. Арипов увидел те же пылающие гневом глаза, как и пять лет назад, когда избивали бывшего чемпиона в Аксае.

– Что же вы стоите, уберите этого сумасшедшего конюха с дороги!

И нукеры втроем навалились на Фархада сзади.

Не успел Арипов сделать с Абреком и десяти шагов к выходу, как Фархад, разбросав державших его людей, вырвался и, догнав коня, вцепился в уздечку:

– Нет, Абрека ты для своей прихоти не получишь, конь принадлежит государству!

– Какому государству? – переспросил Арипов вполне искренне, не понимая настойчивости Фархада. И вдруг он в мгновение налился злобой. Лицо вновь пошло красными пятнами – видимо, вспомнил свое унижение, когда этот конюх, лошажник, полчаса назад не подал ему руки, и неожиданно для всех окружающих он ударил плетью, которую никогда не выпускал из рук, Фархада прямо по лицу. Страшной силы удар рассек бровь и затронул левый глаз – Фархад невольно прикрыл глаза ладонью, а обезумевший от злобы аксайский хан продолжал стегать его плетью. Первым кинулся спасти директора конезавода Наполеон – он ближе всех находился к высокому гостю, но Арипов резко оттолкнул секретаря обкома: мол, не вмешивайся не в свои дела. Тиляходжаев знал, что в гневе тот может забить человека до смерти, и вновь попытался остановить разошедшегося любителя чистопородных скакунов.

– Ах, и ты, оказывается, заодно с ним, – вдруг взъярился гость и ударил плетью Анвара Абидовича, да так сильно, что пиджак на его плечах с треском лопнул, и тут уж распоясавшегося хана сгреб в охапку Пулат Муминович.

Страшная, жуткая до неправдоподобия сцена...

Откровения К., из которых следовало, что даже такой большой человек, как Кунаев, член Политбюро, первый секретарь ЦК огромной республики, выходит, марионетка в руках помощника авантюриста и полковника из ГАИ, сняли напряжение с души – мысль о самоубийстве пропала окончательно. "Что я хочу изменить, чего добиться, – рассуждал он в ту бессонную ночь под шум штормящего моря, – если люди выше меня, проповедуя одно, живут и думают совсем иначе".

Конечно, он, как и всякий другой человек, живущий в республике и мало мальски соприкасающийся с рычагами власти, слышал об Арипове. Но все казалось таким бредом, нелепицей, что не хотелось верить, да и мало походило на правду. Говорили, что однажды в Аксай не пустили нового секретаря обкома партии. Такие же парни, как те из джипа, спросили у шлагбаума:

– Кто такой, зачем, с какой целью? – хотя обкомовская машина с тремя гордыми нулями говорила сама за себя.

Пришлось секретарю обкома, как мальчишке, объяснять, кто он такой и по какому поводу едет в Аксай. Но и доклад и предъявление документов ничего не решили.

– Езжай, дядя, домой и запомни: к нам ездят только по приглашению, а сегодня Акмаль ака занят, велел не беспокоить.

Так и уехал хозяин области, член ЦК, депутат Верховного Совета СССР несолоно хлебавши.

Через несколько дней произошла еще одна стычка с владыкой Аксая, и секретарь обкома собрал экстренное бюро, пригласил строптивного директора скромного агропромышленного объединения, чтобы поговорить как коммунист с коммунистом. Прождали члены бюро обкома час, другой – нет Акмаля Арипова; послали начальника областной милиции, генерала, и тот вернулся ни с чем: и генерал не указ. Тогда секретарь обкома написал собственноручно грозную записку и послал нового гонца. Через час записка вернулась назад – на обратной стороне малограмотный хан последними матюками отматерил партийного лидера области, обозвал щенком и дал срок уgomониться: мол, в противном случае он за его жизнь не ручается.

Как мог поверить в такое нормальный человек! Не верил и Пулат Муминович. Сейчас, когда наступил час возмездия за развал, растление партии и народа, выясняется, что ничего не придумано, ни одной детали, все, к сожалению, так и было.

Многое теперь выясняется, становится достоянием гласности, но даже доказанное, появившееся в прессе, кажется диким, абсурдным, ирреальным. Как старались перещеголять друг друга Тиляходжаев и Арипов, на что только не пускались!

Например, об аксайском хане не создали художественного произведения, а о Наполеоне успел выйти в республике роман и на узбекском и на русском языках. И отдельным изданием, и в двух журналах, да и в Москве в одном уважаемом издательстве очень старались угодить, спешили, да не успели на какой то месяц – арестовали Анвара Абидовича, и тираж пошел под нож. Очерки в газетах, журналах, пожалуй, в счет не шли –

разве только в крупных изданиях в Москве за эти материалы платили щедро. Одной бойкой журналистке за дифирамбы аксайский хан подарил бриллиантовое кольцо. Хотя и щедрым казался Акмаль ака борзописцам, бухгалтерию на всякий случай он вел четко: где куплено, что куплено, когда и кому подарено, за какие услуги, и счет из магазина подклеивался. Сохранился товарный чек и на бриллиантовое кольцо для персональной журналистки.

Но зато фильм о себе Арипов снял раньше, чем заркентский секретарь обкома. Постарались узбекские кинематографисты на славу: чего стоит одна крутая сцена, когда в пургу прямо в пропасть гонят отару, а аксайский хан, якобы спасая народное добро ценой своей жизни, стоит на краю обрыва и успевает ухватить одну обезумевшую овцу. Впечатляет сцена! Правда, документалисты не показывают отару, специально загнанную в пропасть для выразительности кадра. Снимали четыре дубля – Акмаль ака никак не мог эффектно ухватить бедное животное. Но в конце концов, когда от отары остались рожки да ножки, нужный кадр получился – сам Феллини позавидовал бы!

Долго не мог успокоиться Наполеон, узнав, что и на экране запечатлел себя Арипов, и срочно стал искать подходы к кинодеятелям в Ташкенте. Но не тут то было: вежливо, но отказали. Наверное, Акмаль ака позаботился, чтобы не рекламировали конкурентов. Но не зря Анвар Абидович три года учился в Москве – помогли друзья: прикупленные на деньги Верховного, вывели на студию Министерства обороны.

"Это тебе не местная ариповская самодеятельность", – похвалялся Тилляходжаев приятелям. И фильм заказал о себе более интеллектуальный: не стал загонять баранов в пропасть, хотя кто то подал идею, в пику Арипову, гнать в ущелье табун лошадей. Но кони не овцы, могли и затоптать, потому и пришлось отказаться, хотя Наполеон и очень сожалел. Сценарий написала Шарофат, и весь фильм озвучен ее стихами – хорошо дал заработать своей любовнице Анвар Абидович, опять же за счет государства.

Если узбекские кинематографисты, не уложившись в смету, получили щедрое финансирование аксайского хана, то секретарь обкома себе этого позволить не мог. Он просто напросился снять 287 тысяч, отпущенных области на культуру для сельских жителей, и финансировал фильм о себе, назвав его скромно "Звезда Заркента". Хлопкоробы, у которых украли почти триста тысяч, не успели увидеть киношедевра Шарофат – единственными его зрителями оказались следователи по особо важным делам из Прокуратуры СССР, занявшиеся художествами секретаря обкома.

Пуллат Муминович хорошо знал, да и кто этого не знал, что и Тилляходжаев, и Арипов – люди, приближенные к Верховному: они часто встречались, и, как утверждала молва, он чуть ли не ежедневно говорил с ними по телефону. Отчего же оказался так слеп и глух "отец нации" – ведь он еще считался и "инженером человеческих душ", слыл известнейшим романистом, его книги роскошно издавались миллионными тиражами. Да потому, вероятно, что сам мало чем отличался от соревнующихся вассалов, но у него, надо отдать должное, и уровень был выше, и масштабы иные, государственные.

Поднаторев на приписках хлопка, он не гнушался втирать очки на чем угодно. Нужно было к какой то дате рапортовать о пуске обогатительной фабрики в Ангрене, где запланирована и линия по добыче золота, – он и рапортовал. Правда, карьеры для комбината только закладывались – не беда: привезли тайком из Марнжанбулака два состава руды и отлили к юбилею килограммов десять золота.

Красивая пирамида высилась на столе президиума в день открытия – многие глаз не могли оторвать, бдили и люди из госхрана.

После пышных речей вручили им опечатанный "дипломат", загруженный кирпичами, а золото подарили "отцу нации" на память. Из того золота Верховный заказал искуснейшему ювелиру по особым чертежам две театральные сумочки. Специалисты оценили работу кудесника по сто тысяч каждую. Одну сумочку секретарь ЦК подарил жене вождя, а другую собственной супруге – дарить так дарить! Эксперты утверждают, что ни у Екатерины II, ни у королевы Англии подобного ридикюля не было, – знай наших!

Слышал Пуллат Муминович вести и пострашнее о художествах Наполеона и Арипова и опять же не принимал на веру: уж слишком смахивало на байки о диком Западе, да и прослеживался почерк итальянской мафии, хотя присутствовал и местный колорит.

Рассказывают, что некий Абрам Ильич, преподаватель одного из вузов республики, частенько попадал в вытрезвитель, – имел он слабость к спиртным напиткам. Человек тихий, интеллигентный, он исправно платил за милицкий сервис, не дебоширил. Иногда обходилось и без штрафа – звонили из высоких инстанций, и загулявшего доцента на той же машине, с почетом, доставляли домой. Но с годами у доцента стал портиться нрав.

– Знаете, кто я такой?! Узнаете – ахнете! – стал говорить он своим старым знакомым, работникам медвытрезвителя, знавшим преподавателя как родного: и какое белье он носит, и какие носки предпочитает, и чем похмеляется по утрам.

Однажды пожилой майор, начальник этого спецучреждения, устав уговаривать расшумевшегося Абрама Ильича, сказал: ну ладно, расскажи нам, кто ты.

Абрам Ильич, поддерживая одной рукой спадающие штаны, ремень на всякий случай там отбирают, ткнув в потолок указательным пальцем с массивным перстнем, гордо произнес:

– Я двадцать четыре раза доктор наук и сорок восемь раз кандидат!

Двадцатичетырехкратному доктору наук майор самолично налил рюмочку из личных запасов и уложил спать.

В следующий раз Абрам Ильич вновь стал доказывать, кто он, и снова майор согласился выслушать распетушившегося клиента – выговорившись, доцент шел мирно спать.

Так случалось несколько раз подряд, но каждый раз Абрам Ильич набавлял себе число докторских степеней, и майор однажды, не выдержав хвастовства, пренебрежительно махнул рукой и сказал:

– Меньше надо пить, Абрам Ильич: прошлый раз вы говорили, что двадцать шесть раз доктор наук, а сегодня уже двадцать восемь!

Как взорвался тут обычно спокойный доцент!

– Да, – сказал он, – за эти три месяца по моим докторским диссертациям защитилось двое, оттого и двадцать восемь! – И, словно протрезвев от гнева, назвал темы диссертаций и кто по ним защитился.

Диссертации у Абрама Ильича оказались самые разные, но в основном по обществоведению – превалировала тема дружбы народов, варьировалась она в семидесяти вариантах. Имелись и труды по литературоведению: положительный герой современной прозы, поэзии, драматургии, или тема труда в прозе, поэзии, драматургии, или национальный характер в прозе, поэзии, драматургии.

Отдельную полку занимали докторские и кандидатские диссертации по произведениям Верховного, но эти труды Абрам Ильич давал не всякому – стоили они дороже всего.

В огромной, довоенной постройке, квартире доцента две комнаты до потолка были уставлены диссертациями на все случаи жизни, все – строго по темам, одних каталогов насчитывалось двадцать четыре. Надежный, не знающий перебоя и простое научный конвейер. Если требуемая диссертация отсутствовала у Абрама Ильича, он тут же связывался с коллегами по научному бизнесу в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Новосибирске, и научный труд через неделю приходил авиабандеролью. Фирма работала четко, оперативно.

Такие разговоры возникали несколько раз, и осторожный майор вынужден был предупредить тех людей, о чьих научных трудах ведутся любопытные дискуссии в вытрезвителе. Абраму Ильичу жестко посоветовали держать язык за зубами, и доцент не только замолчал, но с год не попадал в гости к майору. Но потом опять случился какой то срыв, и все повторилось снова, и на этот раз Абрам Ильич распинаясь друзьям собутыльникам по палате о докторской, написанной за секретаря обкома; хвастнул, что от него же поступил заказ на докторскую для жены начальника ОБХСС области ко дню ее рождения.

Через день после того, как тридцатикратный доктор наук упомянул о диссертации Наполеона, его сбил тяжело груженный самосвал. Машину со щебнем оставили на месте преступления. Пулат Муминович знал подробности трагедии, потому что грузовик оказался угнанным из гаража автобазы его района. То, что машину угнали специально для убийства, у следователей сомнения не вызывало, настораживало другое: почему не нашли транспорт поближе или в самом Заркенте. Очень деятельное личное участие в

расследовании преступления принимал полковник Халтаев, но угонщика убийцу так и не нашли. В конце концов, как и рассчитывали, списали смерть на дорожно транспортное происшествие и на то, что Абрам Ильич, как обычно, был пьян, хотя вдова уверяла, что он уже три дня не брал в рот спиртного, страдая болями в желудке. Боли болями, но экспертиза установила наличие алкоголя в крови и желудке погибшего, могли и влить бутылку водки – типичный прием, когда совершают преднамеренный наезд...

Ночь подходит к концу. Пулат Муминович знает, что сегодня уж точно не уснуть, не пытается он даже прилечь, собираясь встретить своего шофера Усмана бодрствуя. Он хочет переключиться на сегодняшние дела в колхозе "Коммунизм": решили на горных склонах у Карасу, неподалеку от его любимого моста, разбить тридцать гектаров виноградника – семья Ахмаджановых просит сдать ей эту землю в аренду на десять лет, а руководство хозяйства противится: заранее подсчитало, какие большие деньги заработают арендаторы, если дело пойдет у них на лад. А оно наверняка пойдет, потому что жив еще дед Ахмаджановых, Бозорака, крепкий восьмидесятилетний старик. Чудом он сохранил у себя во дворе какой то редкий и урожайный сорт лозы. Кроме него, пожалуй, в районе из за хлопка и не осталось настоящего виноградаря, а отец и дед самого Бозора ака испокон веку славились в крае богатыми виноградниками.

Пулат Муминович считал долгом лично поддержать многодетную семью Ахмаджановых: и лозу возродить в районе, и людям дать почувствовать утраченное чувство хозяев земли. Туго идет арендный и семейный подряд в районе: не верит народ из за бесконечных шараханий, что очередная затея всерьез и надолго. Говорят, мы своим потом и мозолями поднимем вам бросовые земли, возраstim сады, огороды, бахчи, виноградники, пастбища, а вы тут как тут – опять что нибудь придумаете и отберете ее в общее пользование, на готовенькое аппетиты у вас хоть куда. Наконец решилась семья взять неудобья, и опять препятствия чинят, делят заранее шкуру неубитого медведя. Приезжал к нему в райком сам Бозор ака с жалобой, долго о жизни беседовали, и не только о виноградниках, даже об Афганистане поговорили.

Но сейчас мысли секретаря райкома на семье Ахмаджановых не задерживаются, хотя его очень волнует семейный подряд. Не хочется думать и об Афганистане, и об "афганцах", что придут домой со дня на день. В районе ждут возвращения двенадцати парней. Он вчера с военкомом обсуждал, как торжественнее встретить ребят. Есть среди них и сержант, награжденный двумя боевыми орденами, на него очень рассчитывает Махмудов. Нынешний секретарь райкома комсомола ни рыба ни мясо, одно на уме – сделать партийную карьеру, лезет все время на глаза, но Пулат Муминович видит его насквозь, хватит ему одного Халтаева.

– Халтаев... – невольно произносит вслух Пулат Муминович и внезапно, словно дуновением холодного ветра, прерывается ход воспоминаний. Секретарь райкома как бы вновь осматривает ночной сад, высокое звездное небо над сонным поселком. Взгляд его бесцельно блуждает по темному двору и упирается в распахнутую настежь дверь летней кухни. Мрачная тень могучего дуба уже отступила далеко и покрыла собой бетонный сарай и часть малинника. Кухонная дверь, освещенная лунным светом, наталкивает на мысль о чае, и он торопливо поднимается с айвана и направляется к газовой плите. Он смотрит на голубое пламя и пытается сосредоточиться на делах в колхозе "Коммунизм", но мысль о полковнике Халтаеве не покидает его, и теперь он уже вполне осознанно произносит вслух: – Халтаев... Халтаев...

Да, Пулат Муминович знает немало о начальнике милиции, многое он сам рассказал, то ли желая придать себе вес, значимость, то ли желая показать, насколько близок он с секретарем обкома. Одного не знал Пулат Муминович: чем же все таки был обязан тот полковнику – об этом Халтаев не распространялся даже по пьянке. Пытался Пулат Муминович выведать тайну не раз, но сосед всегда ловко уходил от ответа, ибо и пьяный понимал, что этим подпишет себе смертный приговор. О некоторых делах полковника Махмудов запоздало узнавал по судебным и газетным материалам. Нет, в них не указывалось на прямое участие Халтаева, но Пулат Муминович теперь не сомневался, что то там, то тут сосед прикладывал руку.

Наполеон, хотя и не переводил Халтаева в Заркент, но услугами полковника пользовался регулярно – ему он доверял больше, чем кому либо из работников органов, ценил он его даже выше, чем свояка, начальника ОБХСС Нурматова. Может, он специально не забирал Халтаева в центр, потому что район был под рукой, всего в каких нибудь пятидесяти километрах от Заркента, и полковник почти через день бывал у своего патрона. Скоро в крае все знали, что рядовой полковник из района наделен особыми полномочиями.

Только Халтаеву доверял Анвар Абидович обхаживать московских гостей, понимая, что упустил дружбу с влиятельным зятем самого вождя, генералом Чурбановым, – тут надо признать, что каратепинский коллега

опередил его. Теперь то Наполеон внимательно следил за прибывающими из Москвы гостями. Он даже принял по царски министра рыбной промышленности, хотя, казалось бы, зачем ему, сухопутному владыке, хозяин морских просторов. А так, на всякий случай: сегодня рыбой командует, а завтра, глядишь, в народном или партийном контроле будет кресло занимать – тогда уж дружбу заводить будет поздно.

Принять – одно, но главное – дать крупную взятку, маскируя ее под народный обычай, традиции, и тут полковник оказался непревзойденным мастером. Он придумал простой и безотказный ход, который вроде не ставил в неловкое положение и тех, кто давал, и тех, кто брал, тем более что оставлял лазейку в случае отказа от денег.

В золотошвейных мастерских Бухары полковник заказывал десятками роскошные парчовые и бархатные халаты, шитые золотом, непременно с глубокими карманами. В халат обряжали открыто, принародно – вроде отказаться неудобно, а в кармане лежала банковская упаковка купюр разного достоинства – давали по рангу. Союзному министру полагалась самая крупная, из сторублевых.

Несколько лет спустя, когда рыбный министр будет держать ответ за свои прегрешения, он признается во многих взятках, исключая бакшиш из Заркента. Он был уверен, что ход полковника Халтаева гениален и недоказуем, но и люди, ведущие дознание, были не глупее начальника милиции из Узбекистана. Очень удивился бывший министр, когда ему предложили вернуть в казну десять тысяч из Заркента. Он клялся, что с тех пор ни разу не надевал роскошный халат – повода, мол, не было, и оттого не проверял карманы. Вернувшись домой, жуликоватый министр позвонил следователю: мол, действительно есть пачка сторублевых, и завтра он ее сдаст в банк и принесет квитанцию. Хотя, конечно, те деньги он давно изъяс из халата.

Давал Наполеон Халтаеву и более деликатное поручение, связанное с просьбой Верховного. Тому частенько нужно было проследить за своими противниками в Москве или на отдыхе – на курортах собирали в основном компромат. Обращался Верховный в таких случаях не только к Анвару Абидовичу, но и к аксайскому хану Акмалю Арипову – тот имел настоящее сыскное бюро, и компромат на людей, представляющих интерес, он копил и без просьбы секретаря ЦК.

К Анвару Абидовичу Верховный обращался в тех случаях, когда не хотел, чтобы аксайский хан знал о его интересах. Что касалось Москвы, он больше доверял Анвару Абидовичу, знал, что у Тилляходжаева есть друг Артур Шубарин – хозяин теневой экономики в крае, человек, для которого не было невыполнимых задач.

Просьбы Верховного секретарь обкома адресовал лично Шубарину – его люди по уровню были намного выше халтаевских, да и в Москве Японец, как называли в деловом мире Шубарина, имел много друзей, и просьбы первого выполнялись особо тщательно: к отчету всегда прилагались снимки, магнитофонные записи.

Хоть и редко, но приходилось Наполеону в интересах дела стыковать Шубарина с Халтаевым, хотя Тилляходжаев догадывался, что те не питали взаимных симпатий и полковник с удовольствием выпотрошил бы Артура Александровича, если бы знал, что Шубарин ему по зубам.

Пулат Муминович возвращается с чайником на айван и вдруг почему то вспоминает тот далекий день в гостинице обкома, когда к нему впервые в дверь постучал Халтаев.

– Будь проклят тот час! – вырывается у Махмудова, ибо с этой памятной ночи у него начался иной отсчет жизни. Как ему хочется, чтобы не было в его судьбе той пятницы, когда смалодушничал, желая сохранить кресло, связал себя по рукам и ногам и продал свою душу.

Продал душу – такое впервые приходит ему в голову. Но тут же является новая мысль: а не раньше ли ты лукавил со своей совестью – как быть с Норой, с учительницей Данияровой, со своей женитьбой на Зухре?

"А что я мог потом сделать?" – думает он о последних годах, когда фактически потерял контроль над районом, отдался обстоятельствам, чтобы сохранить жизнь, партбилет. Но ведь кругом такое творилось! Сегодня многим облеченным властью людям задают вопрос: а где же вы были, куда смотрели? Но даже обладатели самых высоких постов не могут дать вразумительного ответа, говорят, что находились под гипнозом власти, обаяния, непогрешимости "отца нации".

Сейчас то со скамьи подсудимых, то со страниц печати звучат робкие и запоздалые раскаяния, скорее похожие на оправдание: мол, меня заставляли. Заставляли, и еще как! Некоторых бедных председателей

колхозов в собственных кабинетах секретари райкомов держали в углу с трехпудовыми тяжестями на спине, наказывали словно нашкодивших учеников, унижениями, угрозами и побоями выколачивали согласие на приписки. Все так. Но и собственного самодурства, не санкционированного Верховным, на которого нынче все ссылаются – какой с мертвого спрос! – хватало с избытком.

Миассар однажды улетала прямым рейсом из Каратепа в Москву. Вылет в полдень, жара на солнцепеке за шестьдесят градусов, самолет подали вовремя, провели посадку, а взлета нет и нет, как нет и никакого объяснения, что стало уже традицией Аэрофлота: то полное молчание, то обман. Духота, невыносимая жара, люди обливаются потом, с некоторыми обмороки, сердечные осложнения, и только через час и пять минут в салоне появляется молодой мужчина лет сорока с элегантным "дипломатом", по внешнему виду явно житель большой столицы. Он не торопясь усаживается на свое место в первом салоне, и самолет взмывает в небо. И всем без объяснения Аэрофлота становится ясно, почему их томили столь долго, – значит, важная птица.

Сосед Миассар по креслу, оказывается, знал запоздалого пассажира и, чувствуя ее возмущение, подсказал, что тот – научный руководитель одного аспиранта, сына каратепинского секретаря обкома. В Москве, пока дожидалась багажа, Миассар не выдержала, подошла к молодому профессору и без обиняков спросила: не стыдно, что из за вас мучилось двести с лишним человек.

Москвич извинился перед Миассар и, прежде чем объяснить свое опоздание, неожиданно поклялся, что больше никогда не приедет в Среднюю Азию. Оказывается, в день отъезда хозяин области пригласил научного руководителя своего сына домой, в гости. Стол накрыт, гость в доме, а секретарь обкома неожиданно задержался на работе, не явился к назначенному часу. И все же за три часа до отлета сели за богатый дастархан, гость успел и выпить, и закусить, и в подходящий момент напомнил, что ему пора и честь знать, пошутил, мол, Аэрофлот ждать не будет. Возможно, хозяйину дома не понравилась мысль о самостоятельности, суверенности Аэрофлота, а может, еще какие резоны имелись, он сказал: пока не отведаете плов в моем доме, не отпущу, а самолет, хотя и не арба, все же подождет. И тут же позвонил начальнику аэропорта, приказав не отправлять московский рейс без его уважаемого гостя.

Другой случай самодурства тоже связан с Аэрофлотом, и свидетелем ему стал сам Пулат Муминович.

Однажды в обкоме проходило какое то совещание хозяйственников, куда на всякий случай пригласили всех нужных и ненужных. И когда в алфавитном порядке зачитывали список руководителей предприятий, не оказалось одного начальника небольшого строительного управления.

Как взъярился Наполеон: мол, что такое, зазнался, и обком не указ, хотя ему объяснили, что тот вылетел в Ташкент на совещание в трест, к своему непосредственному руководству. Узнав, что самолет недавно поднялся в воздух, он, как и каратепинский хан, позвонил в аэропорт и приказал завернуть рейс обратно, хотя пассажиры уже подлетали к Ташкенту. Мало того, что завернул самолет обратно, выслал в аэропорт начальника областной милиции, чтоб тот лично доставил в обком ослушавшегося инженера. Правда, привели неудачливого авиапассажира на совещание без наручников, но когда полковник милиции рапортовал о выполнении задания, секретарь, указывая пальцем на несчастного начальника управления, объявил залу:

– Так будет доставляться каждый, кто станет отлынивать от совещаний в обкоме. Из под земли достану!

Тешились властью и вседозволенностью всласть, и никто эти дикости не навязывал.

Ну ладно, изощрялся Тилляходжаев – как никак секретарь обкома, человек, обладавший реальной властью; то же самое можно сказать и о каратепинском хане, оба – люди, высоко стоящие на лестнице партийной иерархии. В тщеславных мечтах они, наверное, видели себя на месте "отца нации", своего покровителя. У них в руках находился огромный хозяйственный, партийный, правовой аппарат. Может, опьянение вседозволенностью и толкало на бессмысленное сумасбродство и произвол, называемый на лагерном жаргоне "беспределом"?

Можно было понять или хотя бы объяснить поступки самого "отца нации": люди на таких постах, тем более на Востоке, всерьез уверены – им все дозволено. Ведь недавно Пулат Муминович сам прочитал в одной из центральных газет высказывания одного из бывших секретарей ЦК Айтмурова; тот прямо заявил: мы были уверены, что люди нашего круга неподсудны, в чем бы ни провинились. Но как мог так высоко взлететь неуч, бывший учетчик тракторной бригады, руководитель небольшого хозяйственного объединения?

Пулата Муминовича, всю жизнь проработавшего в глубинке и обремененного хозяйственными заботами, более всего поражал невероятный взлет Арипова, его неограниченная власть в республике. Однажды в Ташкенте, в доме сына, ему удалось случайно увидеть фильм Копполы "Крестный отец". Фильм Пулат Муминович посмотрел с любопытством, но следа в душе он не оставил, и секретарь райкома никогда не думал, что когда то вспомнит о нем. Вспомнил, и не только вспомнил. Когда год назад опубликовали роман и у нас, он достал два номера журнала "Знамя" и прочитал уже внимательно. Прочитал, чтобы уяснить для себя кое что.

Теперь он знал многое из деяний Арипова и по прессе, и со слов следователей, работавших в области. Немало поведал ему и Халтаев. Наверное, и Марио Пьюзо и Коппола, создавая своего героя, частично опирались на факты, материалы судебной хроники. Но даже смелая фантазия, прославившая их на весь мир, бледнела по сравнению с художествами Арипова, построившего после шестидесяти лет советской власти собственное ханство, ничем не отличавшееся от феодального. И это в стране, убеждающей весь мир, что она народная и демократическая, после подписания договоров о правах человека в Хельсинки!

Не зря, наверное, тут же откликнулся лондонский музей восковых фигур мадам Тюссо, изъявивший желание иметь у себя в коллекции скульптуру аксайского хана.

Чего стоит только один общеизвестный ныне факт, когда Арипов из своего захолустного кишлака, о котором никто прежде и слыхом не слыхивал, свалил председателя Верховного суда республики – такое и дону Корлеоне, наверное, было бы не под силу. И поводом для такого развития событий послужил тривиальный момент. У одного высокого должностного лица председатель Верховного суда оскорбил жену – частный, казалось бы, случай. Но не тут то было. Уязвленный решил отомстить, а лучшей мстью счел лишить коварного искусителя кресла. Кто знает Восток, поймет – задумана была страшная месть: без чина тут человек не человек, живой труп. Людей без портфеля, даже если и смотрят в упор, не замечают – какая же женщина польстится на невидимку! Оскорбленный муж в негласной табели о рангах занимал положение куда выше, чем должностной донжуан, оттого и задумал такую страшную казнь. Но не тут то было: влиятельные силы оказались и за судьей. Нашла коса на камень! Испробовав все средства, истратив кучу денег и ни на шаг не продвинувшись к цели, вынужден был видный чин поехать на поклон в Аксай к Арипову – иного выхода он не видел.

Все дальнейшее, как оно было в жизни, повторяет один к одному литературный сюжет "Крестного отца". Арипов знал о неожиданном визите высокого гостя, догадывался и о причинах, заставивших того искать справедливость в Аксае, но тем не менее неделю промариновал просителя в коридорах резиденции, прежде чем удостоил внимания. Приняв, перво наперво выговорил, что в лучшие свои дни тот не спешил нанести визит уважения, а когда, мол, приперло, пришел, приполз. Заставил и плакать, и унижаться, и присягать на верность.

Ни справедливость, ни честь гостя хозяина не волновали, но в отношении председателя Верховного суда у него давно созрели свои планы: мечтал он посадить туда своего человека, и тут интересы совпали. Выходило, одним выстрелом убивал трех зайцев сразу: и пост существенный в республике прибирал к рукам, и вербовал в вассалы влиятельного человека, чьими руками и собирался скинуть судью, и в глазах окружения поднимал авторитет – выглядел ревнителем Справедливости, Добра, Чести.

Досье на судью, как и на многих известных людей, которых он не успел прибрать к рукам, имелось. Грехов у вершителя судеб хватало и кроме донжуанства. Снабдив неудачливого супруга наиболее компрометирующими материалами, Арипов велел ему устроить скандал в здании Верховного суда. Разыграли фарс как по нотам, хотя все выглядело произвольно. Судья, чувствуя, что отбирают кресло, без которого он себя не мыслил, и зная, что потеряет все, а не только интерес женщин, бросился к Верховному: мол, помогите. А тот только развел руками и сказал, что подобные инциденты, получившие широкую огласку, не в силах погасить и он. В общем, спровадили судью дружно. Накануне Арипов разговаривал с Верховным по правительственному телефону, что случалось почти каждый день, и подсказал, кто должен занять вакантное место.

Всем мало мальски заметным деятелям в республике аксайский хан любил давать клички, некоторые из них становились широко известными. Секретаря по идеологии своей области он окрестил за долговязость Жирафом, и человека за глаза иначе и не называли. Клички известных людей повторялись и в табуне Арипова: своим любимым лошадям он давал прижившиеся имена. Не обошел и самого Верховного и называл того

Шуриком; имелся, разумеется, и Шурик с повадками лидера в конюшне. Своего многолетнего ставленника Бекходжаева, принявшего эстафету у Верховного, за благообразный облик нарек Фариштой – Святым, хотя тот со святостью ничего общего не имел. Другую свою марионетку – Пиргашева, которого успел посадить министром внутренних дел, сместив самого грозного Яллаева, называл ласково Карликом.

Не делал он исключения и для себя, хотя даже и его настоящее имя вслух произносилось редко, однако цвел, когда называли его "наш Сталин" на манер каратепинского секретаря обкома, которому больше нравилось "наш Ленин". И уж самым невероятным оказывалась его тяга и любовь к имени... Гречко, бывшего министра обороны. Любил, когда ктонибудь к месту говорил: вы как Гречко, но об этой тайне мало кто знал.

Чем только себя ни тешили, причем стандарты, что наверху, что внизу, оказались одинаковые. Захотелось Верховному стать ровесником Октября, день в день, – он им и стал, и вел отсчет своей жизни вровень с державой, и не меньше.

Кстати, любимая и часто употребляемая фраза секретаря заркентского обкома "Коммунист должен жить скромно" принадлежала Верховному – верный ученик просто напросто ее украл, как крал все, что плохо лежало. Решил не отставать от "отца нации" и его дружок, аксайский хан, присвоивший себе в качестве дня рождения Первое мая – всемирный праздник трудящихся; наверное, ему в этот день казалось, что все парады, демонстрации, гуляния в стране происходят в его честь. Ублажил он и свою жену, обозначив ей день ангела 8 Марта, чтобы легальнее принимать подношения, а может быть, и обкладывать двойной данью подчиненных, раз выпало человеку, по счастью, два праздника сразу.

Любопытно не тщеславное примазывание своих ничтожных жизней к праздничным датам страны, а, скорее, другое: до сих пор не удается найти подлинных документов о первых годах жизни ни Верховного, ни его приятеля из Акся.

Арипов питал патологическую тягу к животным.

Как в свое время Тилляходжаев где то вычитал, что к семье лучше всего идет водка, и всю жизнь держался правил хорошего тона, изложенных в поваренной книге, так и аксайский хан где то когда то услышал, что тот, кто окружен лошадьми, проживет долго. Оттого он постоянно множил свой табун, строил дворцы конюшни, и кони у него содержались в десятки раз лучше, чем люди. Имел он и льва, и павлинов, и пруды с диковинными рыбами, держал и злобного пса Карахана, перекусавшего в округе не один десяток человек. Карахан и иноходец Саман волновали его больше всего на свете.

Но все живое вокруг, включая и людей, он любил стравливать. Обожая бывший учетчик тракторной бригады петушиные бои, перепелиные, собачьи. Устраивал редкие по нынешним временам развлечения: грызню между жеребцами. Любимый Карахан слыл известным бойцом в Узбекистане, загрыз в схватках несколько десятков соперников. Хозяин настолько уверился в силе своего волкодава, что объявил односторонний приз в двадцать пять тысяч тому, чья собака одолеет Карахана. Нашелся человек, принявший вызов, и состоялось грандиозное шоу на переполненном стадионе, куда согнали народ радоваться мощи пса великого хозяина. Но Карахан потерпел поражение, и спас его от смерти только пистолетный выстрел. А обещанный приз хозяину победителя, лишившемуся редкой бойцовой собаки, Арипов так и не выдал – не имел привычки расставаться с награбленным. В хорошем настроении он часто любил повторять: я жадный, я очень жадный человек, и при этом громко смеялся.

Маниакальная идея о жизни длиной в сто – сто пятьдесят лет никогда не покидала его, оттого он долгие часы проводил во дворцах конюшнях с мраморными колоннами, резными дверями. Устраивал в конюшнях совещания, приемы; повсюду там под рукой оказывались телефоны. Завернувшись в дорогой долгополый тулуп – пустой, на редких, ручной работы текинских коврах он проводил порою целые ночи вместе со своим любимцем Саманом и псом Караханом. С лошадьми он ладил, и даже с самыми дикими, своенравными, злыми; был только один случай, когда его укусил молодой жеребец донской породы. Он тут же вынул пистолет и пристрелил его; оружием он пользовался часто, и в настроении долгие часы сам чистил его, никому не доверял.

Лошадей он держал много оттого, что любил стравливать жеребцов – такую ханскую прихоть мог позволить себе не всякий хан. Страшное, до жути, зрелище, когда, хрипя, бьются грудью, копытами озверевшие животные, словно львы выгрызают друг у друга куски живого мяса. И кровь хлещет по молодым сильным

крупам, и ржание поверженных похоже на стон раненых. Победленного жеребца тут же прирезают, и к вечеру готовится традиционный бешбармак. Он вообще обожал конину: из самых лакомых кусков готовили ему специальную колбасу – казы.

В застолье, расправляясь с остатками бойцовского коня, он любил рассказывать о нем: какой породы, откуда доставлен, какие у него прежде были победы. Что то каннибальское чудилось внимательному и тонкому человеку в этих пиршествах, переходящих в оргии...

Но как бы ни отвлекались мысли Пулата Муминовича на Халтаева, Наполеона, аксайского хана, они бумерангом возвращаются к нему. Впрочем, все те, о ком он думает сегодня ночью, включая каратепинского секретаря обкома, уже держат ответ перед партией и государством; увильнул из тех, кого он знает, лишь полковник, но Пулат Муминович твердо убежден – пока. Он уверен, что придется расплачиваться всем, и ему самому, и всей халтаевской рати. Вспоминая поименно дружину начальника милиции, ее предводителя и их делишки, Пулат Муминович вдруг понимает, что не просто это будет сделать – вон как держатся хозяева жизни, попробуй их взять. Успели, наверное, позаметать следы. И неожиданно уясняет, что все опять упирается в него самого, в его партийную совесть: никто не предъявит ему счет ни за Нору, ни за учительницу Даниярову, да и за полковничью рать, наверное, тоже.

Признайся кому Пулат Муминович, что последние годы, кроме тех, когда арестовали и осудили Тилляходжаева, он не всегда самостоятельно принимал решения, ему бы никто не поверил. Да, да, не поверил. Если судья в футбольном матче захочет подыграть какой нибудь команде, то это едва ли увидит и поймет весь стадион или об этом сразу догадается проигравшая команда. Тут способов много, и трудно судью, как карманника, поймать за руку – можно ведь что то не заметить или, наоборот, разглядеть то, чего не было, да и правила толковать можно по всякому. Так и с ним.

Разве Наполеон когда нибудь требовал противоправных действий или денег – никогда. Кто, кроме него самого, докажет, что кругом, на всех ключевых, денежных постах в районе сидят люди Халтаева – Тилляходжаева? Люди Яздона ака и дружки Халтаева оседлали не только доходные места, но и стали депутатами разного ранга, от районного до республиканского.

– Хорошая штука – депутатская неприкосновенность, – не раз пьяно говорил за пловом начальник милиции и всячески старался обезопасить своих людей депутатским мандатом.

"Чем больше общественных званий и наград, тем меньше шансов сесть" – этот мрачный юмор тоже принадлежал полковнику, а любимая и часто употребляемая его фраза: "Посажу!" В его произношении она имела десятки оттенков: от нее покатывались со смеху, и от нее бледнели лица. Он так сжился с нею, что и расшалившейся любимой внучке говорил по привычке: "Посажу!"

Со времени ареста Тилляходжаева прошло три года. Пулат Муминович не раз задумывался, почему из прежних секретарей райкомов он один уцелел на своем посту. Много думал, анализировал и пришел к бесспорному выводу, что его район и оказался единственным непотопляемым кораблем, потому что так задумал злой талант Тилляходжаева, – нет, ему нельзя было отказать ни в уме, ни в хватке.

Сегодня Махмудову с опозданием становилось ясно, что еще во время своего вертикального взлета Наполеон думал о тылах, чувствовал, что годы вседозволенности когда нибудь кончатся. Вот тогда то он и присмотрелся к его району, благополучному из благополучных, да и к нему самому, кого меньше всего можно было обвинить в некомпетентности, беспринципности, алчности. Все правильно рассчитал, и район не стал отбирать ради своих прихлебателей или родственников, и на сто тысяч от Раимбаева не позарился, ибо знал – разворуют, растащат новые хозяева за год два все подчистую, а ему требовалась курочка, долго несущая золотые яйца. Секретарь обкома нуждался в яркой, богатой витрине, благополучном, без приписок, районе и во главе его человеке, широко мыслящем, хорошо образованном, самостоятельном, но в чем то обязанном ему лично или, если сказать грубее, сидящем у него на крючке. И удался же замысел! Если не ползал, как другие, на красном ковре, то на поводке все равно оказался.

Самостоятельность? Да, он, пожалуй, больше других ею и пользовался. Всех задушили хлопком, а ему позволили взамен убыточного хозяйства завести конезавод, ориентирующийся на элитных скакунов. Он вообще постепенно и незаметно почти освободился от хлопков в районе, взяв на себя обязательства обеспечивать Заркент овощами и фруктами.

Разрешил все это Тилляходжаев, словно предчувствовал, что за хлопок, за приписки и полетят в будущем головы. Ни в одной своей затее, с которой приходил в обком, Махмудов не получал отказа. Может, оттого его выслушивали внимательно, что приходил он не с голой идеей и проектами, в которых хозяин области был большой мастак и сам, а с расчетами. Инженерная подготовка мостостроителя, где постоянно имелось несколько вариантов проекта, чтобы делать сравнительный анализ, очень нравилась первому секретарю, и он ставил его в пример другим. Что что, а варианты тот сравнивал быстро и безошибочно.

Кто бы понял Пулата Муминовича, если бы он вдруг надумал снять с работы председателя райпотребсоюза или главу районного общепита? Никто. Хозяйства и того и другого – лучшие в области, не раз отмечались на республиканском уровне. Повара Яздона ака дважды представляли узбекскую кухню в Москве, на ВДНХ в дни республиканской декады, а план, рентабельность, себестоимость, выработка у них поистине на высоте – передовики из передовиков, все углы знаменами заставлены, да и жалоб ни из коллективов, ни на коллективы в райком не поступало. Кто же это поймет? Да, не простые люди обложили его со всех сторон – ловкие, умные, голыми руками и без крепкой поддержки их не взять.

За эти годы Пулат Муминович понял, что Яздон ака и есть доверенный человек Тилляходжаева, оттого он уже в первый же день знакомства в чайхане махалли Сары Таш пикировался с Халтаевым, стараясь сразу поставить того на место, ибо знал, что деньги будет ковать все таки он. Вот его хватке, энергии, коммерческому нюху, такту, умению властвовать, не бросаясь в глаза окружающим, следовало поучиться.

Года четыре назад, когда еще был на коне Наполеон, Халтаев однажды за столом сказал завистливо:

– Яздон ака? Он, конечно, миллионер, и сколько их у него, никто не знает – три, пять? Он на своих деньгах и дал подняться Тилляходжаеву. Все три года, пока он учился в академии, мы вдвоем с Яздоном ака регулярно посещали его, и не с пустыми руками, конечно.

Жизнь в Москве очень дорогая, а Анвар Абидович – человек с замашками, претензиями, и друзей, как мы поняли, он заводил на будущее. На тридцать персон и на пятьдесят накрывали мы столы в "Пекине" или напротив, через дорогу, в "Софии" – любил он эти два ресторана.

Яздон ака в райком без повода не приходил и близости с Махмудовым не афишировал – дела решал через Халтаева, соблюдая негласно принятую субординацию.

"Люди, имеющие реальную власть, не должны ее выпячивать" – кредо Яздона ака Пулат Муминович узнал поздно.

С его появлением в райцентре за полгода вырос шикарный ресторан. Он украсил бы любой столичный город. И подрядчик тут же нашелся, и проект появился. Заведение с момента открытия сразу стало популярным: сюда приезжали покутить даже из ближайших городков – видимо, оно так и задумывалось Яздоном ака. Что что, а индустрию развлечений и человеческие слабости он изучил хорошо. Повсюду понастроили легкие, со вкусом оформленные шашлычные, чебуречные, лагманные, пирожковые, кондитерские, цеха восточных сладостей. Пекли самсу, манты, жарили тандыр кебаб, коптили цыплят, благо в районе имелась птицефабрика. На многолюдных перекрестках уже к полудню дымились огромные казаны плова и кипели трехведерные самовары.

Если кто думает, что торговля живет за счет недовеса, обмера, обмана, за счет того, что недодает сдачи, тот глубоко ошибается: это уже пройденный этап, младенчество. Нынче такие доходы не устраивают, да подобных мелких воришек Яздон ака и на версту не подпустил бы к делу.

"Клиента надо любить и уважать, кормить красиво, вкусно – вот наша задача", – постоянно твердил он своим подчиненным и в идеале мечтал, что каждая семья, рано или поздно, станет его постоянным потребителем. У него уже работало несколько точек, где принимали заказ на лепешки, самсу, нарын, хасып и доставляли готовое, с пылу с жару, на дом на мототорллерах.

Какова реальная мощь общепита, вряд ли кто, кроме хозяина, знал, потому что две трети заведений принадлежало ему – он их построил и содержал на свои капиталы, в бумагах они не фигурировали. Это не сложно, если контролирующие органы сидят у тебя на довольствии. Яздон ака настойчиво требовал качества; если он куда нибудь приходил обедать или ужинать или брал домой что нибудь из печеного или сладостей, означало одно: контроль по всем параметрам. Он не любил и не допускал, чтобы его обманывали. От качества

зависела реализация, от реализации – прибыли, впрочем, обмануть его непросто: он знал с точностью до рубля, сколько стоит казан плова или лагмана, или сколько выйдет порций шашлыков из туши барана. Действовал жесточайший хозрасчет – списаний на порчу и за нереализованные обеды он не принимал.

Грех скормливать скоту продукты – утверждал он, впрочем, скоту от него ничего не перепало, хотя у него имелась и откормочная база, и подсобные хозяйства. В подсобных хозяйствах тоже таилась крупная статья дохода. Каждое воскресенье Яздон ака с помощниками скупали на базаре у частника молодняка. Выпасы откормочного хозяйства находились рядом с колхозными стадами и отарами, а поскольку у государства подсчет скота по головам, то вместо годовой телушки и тщедушного барашка в загоне Яздона ака то и дело оказывался огромный бык или жирная, курдючная гиссарская овца килограммов на сто двадцать. Не за красивые глаза, конечно, происходил обмен, но Яздон ака выигрывал, и крепко, бесперебойно снабжая свои точки свежим мясом. Хитроумно выстроенный и разрекламированный конвейер – подсобные хозяйства, откормочная база – магически действовал на многих, и думали, что Яздон ака придумал рецепт решения Продовольственной программы. Огромные наличные суммы, вкладываемые в дело, удваивались ежемесячно – только так понимал рентабельность, самоокупаемость Яздон ака. Оттого старались хорошо оплачиваемые искусные повара, потому вдруг сразу полюбился людям в округе общепит.

Но тот, кто думал, что сфера интересов Яздона ака связана только с общепитом, грубо ошибался. Он крепко держал руку на пульсе района, начиная от нефтебазы и кончая междугородным автобусным движением. Число маршрутов и автобусов на автопредприятии, где работал главным инженером сын Яздона ака, Шавкат, увеличилось ровно в десять раз!

Председателем райпотребсоюза, как выяснилось позже, стал двоюродный брат Яздона ака, Салим, который тоже тогда присутствовал в махалле Сары Таш на встрече, организованной Халтаевым. Салим Хасанович и сам, конечно, был не промах, но без Яздона ака ему вряд ли удалось бы поднять обычный средний райпотребсоюз на заметную высоту. Половина всех дефицитных товаров, получаемых областью за прямые поставки партнерам за рубеж меда, арахиса, лекарственных трав, кураги, кишмиша, кожи, каракуля, костей и прекрасного белого вина "Ок мусалас", теперь попадала на склады Салима Хасановича.

Если бы хозяйственники имели такую же реальную власть, как и партийные работники, то не происходила бы утечка умов из народного хозяйства в партийный аппарат, и Тилляходжаев наверняка оказался бы выдающимся предпринимателем, поскольку деньги он мог найти, что называется, на пустом месте.

Однажды он попросил Пулата Муминовича срочно построить склады для гражданской обороны, сказав, что экстренное задание поступило сверху. В целях обороны – значит, быстро, качественно и в срок. И такие помещения, оборудованные по последнему слову складской техники, возвели быстрее даже, чем Яздон ака ресторан.

Через неделю после сдачи объектов Пулата Муминовича вызвали в обком по поводу ввода школ к новому учебному году. На совещании с грозным докладом выступил начальник пожарной службы города: среди прочего он заявил, что ставит обком в известность – с завтрашнего дня пломбирует помещения торговой базы области как не обеспечивающие сохранность социалистической собственности. Сообщение свалилось как снег на голову, выдвигали всякие предложения, но ни одно не решало проблемы. Просили дать отсрочку на полгода, но пожарник твердо стоял на своем и твердил, что пойдет на отсрочку только под личную ответственность первого секретаря обкома.

Тогда Тилляходжаев и обратился с просьбой к Пулату Муминовичу: передать временно торговой базе новые помещения складов гражданской обороны. Так самые богатые склады с ключевыми товарами, дефицитом оказались там, где хотел Наполеон.

Но Пулат Муминович и додуматься не мог, что это ловкий ход, рассчитанный Яздоном ака. Догадался он лишь тогда, когда стал получать секретные письма о предстоящих удорожаниях хрусталя, мебели, ковров, паласов, серебряных изделий, золота, кожи, парфюмерии, спиртных напитков, одежды, обуви, трикотажа, – что ни год, дорожало то одно, то другое, иные вещи сразу в два три раза, чтобы через год вновь попасть под повышение цен. Председатель Госкомцен страны так старался, что рвение его не осталось незамеченным, и он получил Звезду Героя Социалистического Труда.

Пулат Муминович понимал, что на повышении цен, как на валютной бирже, можно сказочно разбогатеть, если, конечно, заранее знать и побольше попридержать товаров.

А понимал Махмудов потому, что в начале шестидесятых годов, когда ни о каких предкризисных явлениях и инфляции не могло быть и речи, ибо, судя по газетам, страна семимильными шагами спешила догнать и перегнать Америку, а партия торжественно провозгласила, что нынешнее поколение советских людей в восьмидесятых годах будет жить при коммунизме, произошло единственное, особо не замеченное населением, двойное увеличение стоимости коньяка.

Пулат Муминович, получив секретное письмо из области, вызвал председателя райпотребсоюза и попросил опечатать склады с остатками коньяка.

Хозяин торговли района удивленно развел руками и сказал:

– Помилуйте, какой коньяк, мы его весь продали: было у нас четыре вагона, отставали от плана и весь выбросили в продажу. Жалко, себе пару ящиков на свадьбу не оставил, – сокрушался тот искренне и тут же из кабинета Пулата Муминовича вызвал главного бухгалтера.

Из бумаг выходило, что как раз вчера перевели в банк огромную сумму за реализацию спиртных напитков. История и закончилась бы, если бы ночью его не поднял звонок тестя, Ахрора Иноятовича. Он сказал, что располагает достоверными сведениями о том, что торговые дельцы каким то образом пронюхали о предстоящем повышении цен, сосредоточили три десятка вагонов с коньяком на базе его райпотребсоюза, подальше от Заркента, и ждут не дождутся дня, чтобы сорвать огромный куш. Предупредил, что с утра к нему придет комиссия с чрезвычайными полномочиями, и потребовал, чтобы он сам принял в ней участие. Факты подтвердились, и большая шайка торговых работников тогда оказалась на скамье подсудимых.

Конечно, в те годы никто и помыслить не мог, чтобы железный Иноятов общался с торгашами, – такое и врагам на ум бы не пришло. В чем бы ни обвиняли высшие партийные власти, но только не в воровстве, коррупции, нравственном разложении.

А если уж хозяин области надумал нажить миллионы, тут ему и карты в руки. Кто посмеет чинить препятствия? Обо всем этом догадался Пулат Муминович потом, когда арестовали и самого Тилляходжаева и ряд крупных должностных лиц в аппарате обкома и на местах, в районах.

Только у начальника областного потребсоюза Ягофарова, шефа Салима Хасановича, реквизировали на дому одних денег и ценностей на пять миллионов рублей, не говоря о стоимости недвижимого имущества и собственного парка личных автомобилей. Если уж у подчиненных брали по пять миллионов, то у самого Наполеона в могиле его отца откопали сто шестьдесят семь килограммов золота и ювелирных изделий, представляющих огромную антикварную ценность. Прав, значит, оказался Халтаев, когда уверял, что хозяин берет нынче только золотом.

Собрать за пять шесть лет десять пудов золота непросто – этим надо заниматься день и ночь, а ведь находил время еще руководить областью, по площади равной Франции. Не дремал и свояк Наполеона, полковник Нурматов; его взяли в области первым, с поличным, при получении ежедневной дани. За пять лет он успел наносить домой взятки в портфелях и "дипломатах" на сумму свыше двух миллионов рублей.

Читая судебную хронику, Пулат Муминович понял, почему склады базы ювелирторга оказались у него в районе и почему здесь открыли самый большой в области ювелирный магазин "Гранат", директором которого стал Махкам Юлдашев, третий человек, обедавший тогда с ними и внесший недрогнувшей рукой двадцать пять тысяч, чтобы Халтаев откупил у Наполеона район, на который позарился Раимбаев. И только тогда, опять же с запозданием, он понял, почему четвертый из компании Яздона ака, Сибгат Хакимович Сафиуллин, занял вроде никчемную должность директора районного банка, где через год почти полностью сменился коллектив. В районе так и прозвали его: татарский банк и потешались, что же это татары на сторублевые зарплаты польстились? Оказывается, действительно, смеется тот, кто смеется последним. Сегодня Пулат Муминович с горечью понимал, что Яздон ака не всегда доставал из тайников свои миллионы, чтобы выкупить перед очередным повышением золото, хрусталь, ковры, мебель, кожу, водку, – имея в банке хитроумного Сафиуллина, они играючи околпачивали государство, не вкладывая ни рубля.

Теперь, когда прошло время, никакая комиссия не установит хищений – их просто не было, все кругом сойдется до копейки, на все найдутся правильные документы. Мозговой трест клана – Яздон ака и Сафиуллин – следов не оставлял, работал чисто, так чисто, что Пулат Муминович у них под боком ходил в дураках. Как, наверное, они измывались над ним, смеялись над его простотой.

После ареста Тилляходжаева Халтаев и его дружки несколько приуныли, но заметного страха не испытывали: знали, что у них все шито крыто, за руки не схватишь – поздно. Халтаев много раз по ночам, в форме, уезжал в Заркент – видимо, помогал семье, родственникам бывшего секретаря обкома, а может, спасал уцелевшие от конфискации остатки; не так был прост Наполеон, чтобы отдать все сразу, – ошеломил с ходу десятью пудами золота и отвел подозрение, а резервная доля, может, как раз у них в районе хранится.

Из окружения Яздона ака пропал лишь Сафиуллин; через год после ряда крупных арестов в области он не спеша, без суеты, оформил пенсию и исчез в неизвестном направлении. Полномочия свои он сдавал по строгим нормам перестроечного времени, и тем не менее к работе банка не предъявили ни одного замечания, а проверяла комиссия из области. Наоборот, отметили высокопрофессиональный уровень, не характерный для районных масштабов. Не исключено, что, состоя в одной корпорации с Халтаевым, Сафиуллин теперь проживал где нибудь в пригороде крупной столицы в скромном, со вкусом отстроенном особняке, но под другой фамилией – очень он был предусмотрительным, дальновидным человеком. Пулат Муминович с ним больше никогда не встречался после того памятного обеда, когда он попал в двойной капкан Яздона ака и Тилляходжаева, смутно представлял его облик. Сибгат Хакимович даже семью свою не переселил в район из Заркента, каждое утро привозил его зять в банк на собственной "Волге" – ни одного опоздания за все время службы.

Три года как рухнула империя, созданная Наполеоном, и, судя по всему, навсегда.

"Теперь то кто тебя держит за горло, кто мешает жить, сообразуясь с партийной совестью?" – задает Пулат Муминович себе вопрос.

Что сделал, чтобы восстановить свое доброе имя, почему не разгонишь халтаевых, юлдашевых, юсуповых, обложивших тебя со всех сторон?

"Да что там разогнать... – грустно признался он себе. – Испугался поехать в печально знаменитый Аксай, прогремевший на всю страну, когда арестовали друга Тилляходжаева, Акмаля Арипова, любителя чистопородных лошадей".

Скакунов своих, кровных, выросших на глазах, как дети, не пошел выручать – опять опутал душу страх, боялся – спросят: а сколько он вам отвалил за государственных лошадей?

"Доколе будешь жить в страхе?" – спрашивал себя Пулат Муминович и ответа не находил. Вспомнил он и председателя каракулеводческого колхоза, Сарвара ака, человека преклонных лет, своего друга, умершего в прошлом году. Приехал он однажды к нему в колхоз, а того на месте нет, говорят, болен, дома лежит, и Пулат Муминович отправился навестить старого товарища.

Старик действительно оказался болен – избит, весь в синяках. Увидев Пулата Муминовича, аксакал заплакал, не от боли – от обиды; говорит, какой позор, унижение – избили на старости лет как собаку, седин моих не пожалели.

Оказывается, Сарвар ака, уставший от набегов людей Тилляходжаева – Халтаева на каракуль, предназначенный для экспорта, припрятал большую партию дивных шкурок – стыдился аксакал поставлять на аукцион второсортный товар. Кто то донес, и его жестоко избили, чтобы впредь так не делал, – видимо, они думали грабить народ вечно.

Хоть с этим разберись в память о своем друге, лучшем председателе, с кем создавали мощь района: ведь Сарвар ака рассказал, кто избивал, кто был свидетелем и кто подло донес на него.

Чем больше он задает вопросов, тем ниже клонится седая голова. Не ищет сегодня он оправданий, ибо их нет, но всегда есть шанс остаться человеком – для этого надо иметь волю, совесть, мужество, убеждения, принципы. Не утверждает он сегодня: человек слаб, бес попутал, не приводит и прочие удобные формулировки и отговорки.

"Помнишь, – говорит он себе мысленно, – однажды тебя даже рвало от общения с ними, а теперь? Если и не пустил в душу, не погряз в воровстве и взятках, все же делишь с ними дастархан, терпишь их рядом, твоя позиция – "Ничего не вижу, ничего не знаю" – дала им возможность без зазрения совести грабить район, наживать миллионы".

А сколько страна потеряла валюты на каракуле, который раздавали налево и направо женам, дочерям, любовницам нужных людей и всяким дамам сомнительной репутации, а твоих элитных скакунов Наполеон дарил ведь не только Арипову, не один любитель скаковых лошадей оказался в стране, много их завелось – партийных боссов с графскими замашками. С одного конезавода, с таким трудом созданного, считай, миллион долларов украли.

Он смотрит на высокий дувал, красиво оплетенный мелкими чайными розами и цветущей лоницерой, взгляд скользит дальше, в глубь хорошо спланированного и ухоженного Хамракулом ака сада. Какая красота, оказывается, открывается глубокой ночью при яркой луне. Высокое небо, кажется, струит покой на усталую землю, но нет покоя в душе Махмудова.

Пуллат Муминович понимает, что если сейчас, сию минуту он что-нибудь не предпримет, не решится разорвать путы и паутину, то так трусливо и гадко, ощущая себя предателем, проживет всю оставшуюся жизнь.

Вдруг какая-то сила срывает его с айвана, и он решительно направляется к хорошо освещенной калитке, ведущей во двор Халтаевых. Хотя они и соседи, Пуллат Муминович не бывал у него ни разу. На просторной веранде горит вполне слабая лампочка, и Махмудов стучит в первое же окошко. Сон у полковника чуток – тотчас распахивается дальнейшее окно, и высовывается лохматая голова хозяина особняка; он сразу узнает Пуллата Муминовича и молча исчезает в темноте комнаты, а через несколько минут выходит уже одетый, причесанный, собранный.

"Наверняка что-то случилось – не станет же секретарь райкома зря поднимать из постели", – подумал он, увидев на веранде соседа.

– Что случилось? – спрашивает тревожно начальник милиции, взглядываясь в бледное лицо Пуллата Муминовича.

Две недели назад Халтаев провернул одну операцию, дерзости которой и сам удивлялся. Пришли к нему родственники Раимбаева и предложили сто тысяч, если он выкрадет того из тюрьмы и снабдит подложными паспортами семью. Не все, значит, вытрясли из подпольного миллионера бандиты. Братья и сестры Раимбаева не сидели сложа руки – успели купить дом в глубинке соседнего Таджикистана. Многие продумали, учли, но вырвать брата из тюрьмы сами не могли, потому и пришли к полковнику. За паспорта полковник попросил отдельно – двадцать пять тысяч – и деньги потребовал наперед, знал: получится не получится – назад не вернет. Имел он крепкие связи в Верховном суде республики, туда и направился, захватив с собой пятьдесят тысяч.

Быстро вышел на нужного человека и предложил тому вставить фамилию Раимбаева в список помилованных по разным причинам людей. Такие гуманные постановления по ходатайству прокуратуры Верховный суд готовил почти ежемесячно – многих виноватых, но раскаявшихся вернули семьям.

Но так легко добиться помилования не удалось – бумага проходила через несколько рук, и второй раз испытывать шанс казалось рискованно: могли и запомнить фамилию Раимбаева. Тогда решили пойти на откровенный подлог и подкупили женщину, имевшую доступ к бланкам и печатям. Заполучив фальшивое постановление об освобождении Раимбаева, полковник с братом заключенного лично отправились вызволять бывшего миллионера из неволи.

Прибыли в исправительно-трудовую колонию в воскресенье поутру, когда меньше начальства. Поначалу все шло как по маслу, даже побежали в зону за Раимбаевым, но в последний момент случайно появился какой-то молоденький лейтенант караульной службы и, ознакомившись с бумагой, решил съездить домой к начальству, получить визу. Как никак Раимбаева осудили на пятнадцать лет, и на таких помилования приходили редко.

Как только офицер отбыл с постановлением, рванули с места и Халтаев с Раимбаевым младшим. Помощника полковник довез только до ближайшей остановки, а сам напрямик махнул в Ташкент, выжимая из "Волги" невозможное: знал, что завтра же могут выйти на него. Приятель из Верховного суда оказался дома,

полковник объяснил, что к чему, и вдвоем они поспешили к молодой женщине, снабдившей бланками и печатями. Повод для визита имелся – обмыть удачную операцию и вручить оставшуюся часть оговоренной суммы – пять тысяч. Чтобы усыпить бдительность соучастницы, банковскую упаковку пятидесятирублевых вручили сразу и уехали пировать за город. Там, на природе, после выпивки ее и убили, а труп сожгли. Не оставили никаких следов – что и говорить, опыта полковнику не занимать, да и человек из Верховного суда раньше преподавал криминалистику будущим следователям.

"Может, столь ранний визит из за Раимбаева и исчезнувшей женщины из Верховного суда?" – пробегают у Халтаева лихорадочная мысль.

Махмудов окончательно освободился от страха и сомнений и поэтому сказал спокойно, как обычно:

– Я думаю, полковник, вам известно, что следственная группа, работающая в республике из Москвы, предупредила: кто добровольно и искренне вернет несправедливым путем нажитые деньги, будет избавлен от уголовного преследования.

– Значит, и до нас добираются, – глухо роняет Эргаш ака и мысленно радуется, что не с Раимбаевым связан приход Пулата Муминовича.

Секретарь райкома, занятый своими думами, пропускает слова Халтаева мимо ушей.

Начальник милиции не выносит долгого и тягостного молчания собеседника и спрашивает вдруг:

– Что, вас наши старые друзья из прокуратуры предупредили?

Пулату Муминовичу, наверное, следовало смолчать или ответить неопределенно, слукавить, но сегодня он не хочет ни врать, ни юлить и поэтому отвечает прямо:

– Нет, никто не предупреждал. Мои друзья, к сожалению, не знают, что я живу двойной жизнью, иначе бы давно перестали подавать руку. Просто я сам решил, что жить так дальше нельзя. Я виноват, что потворствовал вам, я и даю вам шанс избавиться от позора и тюрьмы. Рано или поздно все равно правда выплывет наружу.

Халтаев вмиг преобразился – куда сонливость и страх подевались.

– Пулат ака, возьмите себя в руки, не губите ни себя, ни друзей. Мы ведь тоже, считайте, вас из петли вытащили, не будь нас, наверное, валили бы сейчас, в эпоху гласности, лес где нибудь в Коми АССР или еще в какой тмутаракани... Пулат Муминович, вы же умный человек, в Москве учились, столько лет в партии, поймите: пройдет пять, от силы – десять лет, и все вернется на круги своя. Поверьте мне, мы еще будем с вами со слезами на глазах возлагать венки, как жертвам реакции, к памятникам Тилляходжаева, аксайского хана Акмаля и хана из Каратепе, а уж "отца нации" будем чтить вечно, как не менее святого, чем для Индии Ганди. Успокойтесь, Пулат ака, давно прошел первый шок и повальное признание своей вины за украденные хлопковые миллиарды.

Теперь умные люди разработали программу: во всем винить центр, мол, это они заставляли нас губить землю и для них, мол, старались воровать наши бедные секретари ЦК и секретари обкомов и горкомов. А если и нашли у наших на дому миллионы и по несколько пудов золота, так это они, выходит, старались для нации, для узбекского народа, только не успели пустить в дело: построить больницы, школы, опять же рука Москвы помешала. Вы же видите, дорогой Пулат Муминович, как грибы после дождя плодятся разные неформальные организации, объединения, и все те, кем еще могут заинтересоваться следователи прокуратуры, дружно повалили с крупными паями в эти общества. Теперь попробуй их тронь! Они радетели национальных интересов народа!

Я вот тоже в три самых видных общества вступил и в каждом не поскупился – вручил на расходы лидерам не меньше, чем раньше давал московским гостям по указанию Анвара Абидовича. Нынче я тоже среди активистов народного движения за перестройку, попробуй меня взять – скажут, народных борцов за справедливость прячут за решетку. Политика сама по себе вещь тонкая, деликатная, а замешенная на национальном вопросе, она что динамит; надо осторожно действовать, не так то просто взять нас за жабры. Не только мы, коррумпированный элемент, как нас называют в газетах, но даже преступный мир, уголовники, среагировали, ухватились за эту палочку вырочалочку. Все кинулись разыгрывать национальную карту.

У вас расшалились нервы, давайте выпьем, посидим до рассвета за бутылкой, а утром поговорим о чем угодно, и о покаянии тоже. Не так уж плохи наши дела: мы ведь не безмозглые люди, два года прошло, все следы замели, а если боитесь, что сам Тилляходжаев дрогнет, выкиньте из головы – на интересе его язык завязан, не скажет больше того, что надо. Помните, он говорил часто: ваш район – заповедная зона! Нет, сюда он прокуратуру не наведет. Прокуратуре без нас дел хватает, мы что – мелкота. Они с верхним эшелоном разобраться никак не могут: не хватает ни времени, ни сил, ни кадров. Да и борьба идет в Ташкенте и Москве не на жизнь, а на смерть. Прокуратуре самой впору о помощи просить – у многих ретивых там жизнь на волоске, а у других от бессилия и руки уже опустились. Как ни крути, а суды все таки в наших руках. Я ведь знаю, что и сам прокурор республики и его заместитель чудом остались живы, когда после отравления попали в больницу. Одного успели вирусным гепатитом наградить зараженными шприцами, хотя кололи и того и другого. Главные уколы были впереди, да почувствовал неладное их товарищ, милицкий генерал, привез своих врачей, лекарства, шприцы, стерилизаторы, и охрану поставил у палаты, и переговорил как следует со всем персоналом больницы, вплоть до кухни. Тоже, видимо, смотрят фильмы про мафию, разгадали наш замысел. Так что не бойтесь – не до нас им сейчас.

– Я не этого боюсь. Боюсь жене, детям, людям в глаза глядеть. Впрочем, я не пришел к вам обсуждать, что мне делать. Я решил твердо и вас предупредил: после обеда поеду в обком, покаюсь, будь что будет.

Чувствуя непреклонность секретаря райкома, Халтаев вдруг пошел на попятную:

– Я ведь тоже не железный человек, весь извелся, ночей не сплю, боюсь – то ли прокуратура подъедет, то ли бандиты, как к Раимбаеву, нагрянут, у них со мной счета особые. Не успели вы на веранду подняться, как я с пистолетом к окну. Но если уж вы решили покаяться, и я с вами в компанию: небось пронесет, помилуют, людей не убивал... Впрочем, я знал одну тайну, за которую мне наверняка снисхождение выйдет...

Пуллат Муминович не проявляет ни интереса, ни страха, думает, что опять его происхождением шантажировать собираются, и потому молчит.

Полковник, вновь теряя самообладание, спешит:

– Уже три года на Лубянке Арипов не выдает тайны, где у него деньги спрятаны. А я знаю, случайно дознался, когда доставлял Цыганку из ваших племенных конюшен в Аксай. Коня сутки по прохладе гнали с одним доверенным Акмаля ака, по пьянке он мне проболтался.

– Да, пожалуй, за такое сообщение действительно многое могут простить, – оживляется Пуллат Муминович – он ведь знает, о какой астрономической сумме идет речь.

– У меня от вашего решения, Пуллат ака, сначала все похолодело внутри, а теперь огнем горит – не шуточное дело вы затеали, вот будет шум на всю республику, давайте выпьем, нам сейчас не помешает. У меня в холодильнике как раз бутылка "Золотого кольца" есть – Салим Хасанович личными запасами поделился.

– Наверное, ты прав, Эргаш, выпить нам не мешает, непростая мне ночь выпала, и день предстоит не легче... Мужчина должен быть верен слову и хотя бы к старости понять, что выше чести ничего нет, даже свобода, жизнь...

– Да, да, верно, – поддакивает рассеянн Халтаев. – Так я пойду, вынесу бутылочку, а вы на огороде сорвите помидоры, огурцы, болгарский перец, лучка, райхона, быстренько салат аччик чичук организуем – к водке лучшей закуски не знаю.

Полковник исчезает в темном провале распахнутой настежь двери прихожей, а Пуллат Муминович направляется на зады, в огород. Он знает причуды Халтаева – тот ест зелень, овощи, только что сорванные с грядки, впрочем, за годы общения с ним и Махмудов привык к этому; Миассар тоже направляется сразу на огород, когда Халтаев ужинает у них.

Хозяйство у соседа крепкое, ухоженное, помидорные грядки аккуратные, каждый кустик подвязан к колышку, как на селекционной станции, только без номерка. И сорт у него необычный, юсуповский, по полкило тянет каждый помидор, есть и рекордные, по килограмму и больше, но для аччик чичука нужны помидоры помельче. Пуллат Муминович по женски завернул подол шелковой пижамы и складывает, переходя от деланки к деланке,

помидоры, огурцы, болгарский перец. Осталось надергать лишь лучок да непременно травы райхон – что то сродни русской мяте или чебрецу, без нее салат не салат.

В это время появляется хозяин огорода: в одной руке он держит бутылку водки, действительно "Золотое кольцо", а в другой глубокую миску для зелени и овощей. Пулат Муминович перекладывает овощи в протянутую Халтаевым чашу и спрашивает: а где же растет райхон?

Эргаш ака показывает делянку у глухого дувала, где в тени деревьев и забора темнее, чем во дворе; вдвоем они идут к делянке с райхоном.

Райхон растет низко, и Пулат Муминович наклоняется над грядкой, чтобы нарвать молодые сочные побеги, и в этот момент мощная пятерня с какой то вонючей тряпкой закрывает ему рот, нос и с силой опрокидывает его на спину. Он пытается вырваться, но железные руки полковника не оставляют ему никаких шансов, и от удушья, исходящего от тряпки, он медленно начинает терять сознание, но все еще ясно видит склоненное над собой злобное лицо начальника милиции; тот, брызгая слюной, шипит:

– Перестроиться захотел, жить по новому решил? Не выйдет. Обрадовался: ариповский миллиард отыскался! И знал бы – не сказал! Зря тебя, гниду, Тилляходжаев тогда в тюрьме не сгноил, и я, дурак, на свою голову идею подал... – Халтаев еще долго бормочет что то в ярости, но Пулат Муминович уже не слышит его...

Полковник ловким жестом достает из за пояса длинное шило, некогда проходившее вещественным доказательством по убийству, и, расстегнув пижаму, прикладывает ухо к груди секретаря райкома, словно выискивая сердце, и точным движением всаживает шило под ребро. Ни вскрика, ни крови, и на волосатой груди, под соском, не отыскать следов специального орудия убийства.

Миассар проснулась раньше, чем обычно, спала беспокойно, сердце ныло, но под утро не слышала, как подъехала машина Усмана. Она не спеша умылась во дворе, причесалась и, только когда направилась к летней кухне, увидела на айване спящего мужа. Проспал, передумал ехать в "Коммунизм", подумала Миассар и поднялась на айван будить его. Обрадовалась, что успеют еще не торопясь вдвоем позавтракать. Едва коснулась губами его щеки, поняла, что случилась беда, и дико закричала.

– Что произошло? – раздался из за дувала голос Халтаева, но Миассар уже билась в истерике.

Полковник, голый по пояс, с полотенцем на шее, вбежал во двор первым. Крик разнесся, наверное, по всей махалле, и к Махмудовым сбежались даже соседи из дома через дорогу.

Халтаев вновь, как и три часа назад, приложил ухо к груди лежащего и горестно произнес:

– Инфаркт. Не выдержал мотор.

Жестом хозяина он попросил кого то из соседей вызвать "Скорую", а женщинам увести Миассар. Все так же с полотенцем на шее он еще долго отдавал распоряжения: кому звонить в обком, кому заняться могилой, кому организовать оркестр – все требовало спешки, у мусульман покойника обязаны схоронить до захода солнца.

Как только подъехала "Скорая", Халтаев, которому наконец то подали рубашку, сам бережно перенес Пулата Муминовича в машину и уехал с врачами в больницу, чтобы быстрее закончить формальности и получить свидетельство о смерти. Он уже успел встретиться и с судмедэкспертами и прокурором, договорился твердо, что не осквернят тело вскрытием и лишними осмотрами, а поехал скорее на всякий случай, чтобы не прикасались к трупу любопытные.

Вынос тела назначили на пять часов – должна была подъехать делегация из области, ждали и взрослых сыновей Пулата Муминовича из Ташкента. Несмотря на ограниченность времени, все делалось без спешки, суеты, торжественно; скорбь момента передавалась каждому, входящему во двор, и немудрено – командовал всем полковник, облачившийся после обеда в летний парадный мундир. Каждые полчаса то исчезали, то появлялись в доме Яздон ака и Салим Хасанович. С ними всякий раз входили во двор ловкие, молчаливые люди, бравшие на себя хлопоты, выпавшие на долю Миассар.

Подъезжали машины за машинами, груженные всем необходимым. На задворках, возле осыпавшегося малинника, резали черных гиссарских баранов, кучкаров и уже разводили огонь под огромными котлами; лучшие повара Яздона ака собирались еще раз показать свое мастерство и умение.

За час до начала официальной траурной церемонии через калитку Халтаева в дом прошмыгнул местный мулла, Хамракул ака, тот самый, что много лет работал садовником в усадьбе Пулата Муминовича. Его ждали в большом зале, где на специальной похоронной доске лежал обряженный секретарь райкома. Вокруг на ковре, поджав ноги, как в мечети, сидело человек десять – двенадцать наиболее приближенных людей Эргаша ака. Войдя, мулла степенно поздоровался с каждым в отдельности и, получив от полковника знак, начал читать молитвы – ритуал этот у христиан называется отпеванием. Хамракул ака, крупный, костистый старик, имел высокий, хорошо поставленный голос, набиравший от аята к аяту силу и мощь. И вдруг, когда отпевание, казалось, достигло кульминационного момента, случилось непредвиденное.

В коридоре послышался шум, возня, и на пороге резко распахнутой двери появилась заплаканная Миассар; не успела она сказать и несколько слов, как на ней повисли какие то тетки и стали оттирать из зала.

– Прекратите этот балаган, комедию, прогоните муллу, он был настоящий коммунист, не то что вы, двурушники. Слышите! – кричала Миассар, вырываясь и захлебываясь от слез. – Он был Купыр Пулат... Купыр Пулат... коммунист...

Муллу на секунду сбился, но под взглядом полковника продолжил еще энергичнее.

– Уберите скорее, вы же видите, она от горя потеряла разум, – прошипел полковник сидевшему с краю, и тот, ловко поднявшись, вытолкал женщин из комнаты.

Не успел мужчина вернуться на место, как Халтаев отдал новый приказ:

– Пусть включают похоронную музыку – кажется, начал народ стекаться, потом стань за дверью и не пускай сюда никого, пока мулла не закончит обряд. Я теперь ответчик за его душу на земле, и я похороню своего лучшего друга и соседа как настоящего мусульманина.

Мужчина безропотно выскользнул из зала, и через две минуты над махаллей поплыл усиленный мощными динамиками "Реквием" Верди – и об этом позаботился начальник милиции, а в доме Хамракул ака, склонившись над раскрытым Кораном, продолжал свое дело.

Еще через два часа, после панихиды в доме, где было произнесено много всяких скорбных речей и приезжими, и местными руководителями, товарищами, соратниками по партии, тело Пулата Муминовича вынесли на той же доске и поместили на украшенную машину. Траурная процессия медленно двинулась к кладбищу. Впереди всех нес красную бархатную подушечку с орденами и медалями скоропостижно скончавшегося секретаря райкома полковник Халтаев. Время от времени он утирал тыльной стороной мощной ладони слезящиеся глаза, и всякому становилось ясно, в каком безутешном горе этот сильный и волевой человек. Чуть поодаль, за руководителями из области, соблюдая субординацию, скорбно шла халтаевская рать; из обрывков разговоров важных товарищей из Заркента они поняли, что лучшей замены Пулату Муминовичу, чем полковник Халтаев, не найти.

Виктор Астафьев

Людочка



Виктор Петрович Астафьев

Людочка

Ты камнем упала.

Я умер под ним.

Вл. Соколов

Мимоходом рассказанная, мимоходом услышанная история, лет уже пятнадцать назад.

Я никогда не видел ее, ту девушку. И уже не увижу. Я даже имени ее не знаю, но почему то втемяшилось в голову – звали ее Людочкой. «Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный...» И зачем я помню это? За пятнадцать лет произошло столько событий, столько родилось и столько умерло своей смертью людей, столько погибло от злодейских рук, спилось, отравилось, сгорело, заблудилось, утонуло...

Зачем же история эта, тихо и отдельно ото всего, живет во мне и жжет мое сердце? Может, все дело в ее удручающей обыденности, в ее обезоруживающей простоте?

Людочка родилась в небольшой угасающей деревеньке под названием Вычуган. Мать ее была колхозницей, отец – колхозником. Отец от ранней угнетающей работы и давнего, закоренелого пьянства был хилогруд, тщедушен, суетлив и туповат. Мать боялась, чтоб дитя ее не родилось дураком, постаралась зачать его в редкий от мужних пьянок перерыв, но все же девочка была ушиблена нездоровой плотью отца и родилась слабенькой, болезной и плаксивой.

Она росла, как вялая, придорожная трава, мало играла, редко пела и улыбалась, в школе не выходила из троечниц, но была молчаливо старательная и до сплошных двоек не опускалась.

Отец Людочки исчез из жизни давно и незаметно. Мать и дочь без него жили свободнее, лучше и бодрее. У матери бывали мужики, иногда пили, пели за столом, оставались ночевать, и один тракторист из соседнего леспромхоза, вспахав огород, крепко отобедав, задержался на всю весну, врос в хозяйство, начал его отлаживать, укреплять и умножать. На работу он ездил за семь верст на мотоцикле, сначала возил с собой ружье и часто выбрасывал из рюкзака на пол скомканных, роняющих перо птиц, иногда за желтые лапы вынимал зайца и, распялив его на гвоздях, ловко обдирал. Долго потом висела над печкой вывернутая наружу шкурка в белой оторочке и в красных, звездно рассыпавшихся на ней пятнах, так долго, что начинала ломаться, и тогда со шкурок состригали шерсть, прями вместе с льняной ниткой, вязали мохнатые шалюшки.

Постоялец никак не относился к Людочке, ни хорошо, ни плохо, не ругал ее, не обижал, куском не корил, но она все равно побаивалась его. Жил он, жила она в одном доме – и только. Когда Людочка домаяла десять классов в школе и сделалась девушкой, мать сказала, чтоб она ехала в город – устраиваться, так как в деревне ей делать нечего, они с самим – мать упорно не называла постояльца хозяином и отцом – налаживаются переезжать в леспромхоз. На первых порах мать пообещала помогать Людочке деньгами, картошкой и чем Бог пошлет, – на старости лет, глядишь, и она им поможет.

Людочка приехала в город на электричке и первую ночь провела на вокзале. Утром она зашла в привокзальную парикмахерскую и, просидев долго в очереди, еще дольше приводила себя в городской вид: сделала завивку, маникюр. Она хотела еще и волосы покрасить, но старая парикмахерша, сама крашенная под медный самовар, отсоветовала: мол, волосенки у тебя «мя а ах канькия, пушистенькия, головенка, будто одуванчик, – от химии же волосья ломаться, сыпаться станут». Людочка с облегчением согласилась – ей не

столько уж и краситься хотелось, как хотелось побыть в парикмахерской, в этом теплом, одеколонными ароматами исходящем помещении.

Тихая, вроде бы по деревенски скованная, но по крестьянски сноровистая, она предложила подмести волосья на полу, кому то мыло развела, кому то салфетку подала и к вечеру вызнала все здешние порядки, подкараулила у выхода в парикмахерскую тетеньку под названием Гавриловна, которая отсоветовала ей краситься, и попросилась к ней в ученицы.

Старая женщина внимательно посмотрела на Людочку, потом изучила ее необременительные документы, порасспрашивала маленько, потом пошла с нею в горкоммунхоз, где и оформила Людочку на работу учеником парикмахера.

Гавриловна и жить ученицу взяла к себе, поставив нехитрые условия: помогать по дому, дольше одиннадцати не гулять, парней в дом не водить, вино не пить, табак не курить, слушаться во всем хозяйку и почитать ее как мать родную. Вместо платы за квартиру пусть с леспромхоза привезут машину дров.

– Покуль ты ученицей будешь – живи, но как мастером станешь, в общежитку ступай. Бог даст, и жизнь устроишь. – И, тяжело помолчав, Гавриловна добавила: – Если обрюхатеешь, с места сгоню. Я детей не имела, пискунов не люблю, кроме того, как и все старые мастера, ногами маюсь. В распогодицу ночами вою.

Надо заметить, что Гавриловна сделала исключение из правил. С некоторых пор она неохотно пускала квартирантов вообще, девицам же и вовсе отказывала.

Жили у нее, давно еще, при хрущевщине, две студентки из финансового техникума. В брючках, крашенные, курящие. Насчет курева и всего прочего Гавриловна напрямки, без обиняков строгое указание дала. Девицы покривили губы, но смирились с требованиями быта: курили на улице, домой приходили вовремя, музыку свою громко не играли, однако пол не мели и не мыли, посуду за собой не убирали, в уборной не чистили. Это бы ничего. Но они постоянно воспитывали Гавриловну, на примеры выдающихся людей ссылались, говорили, что она неправильно живет.

И это бы все ничего. Но девчонки не очень различали свое и чужое, то пирожки с тарелки подьедят, то сахар из сахарницы вычерпают, то мыло измылят, квартплату, пока десять раз не напомним, платить не торопятся. И это можно было бы стерпеть. Но стали они в огороде хозяйничать, не в смысле полоть и поливать, – стали срывать чего поспело, без спросу пользоваться дарами природы. Однажды съели с солью три первых огурца с крутой навозной гряды. Огурчики те, первые, Гавриловна, как всегда, пасла, холила, опустившись на колени перед грядой, навоз на которую зимой натаскала в рюкзаке с конного двора, поставив за него чекенчик давнему разбойнику, хромоногому Слюсаренко, разговаривала с ними, с огурчиками то: «Ну, растите, растите, набирайтесь духу, детушки! Потом мы вас в окро о ошечку у, в окро ошечку у у» – а сама им водички, тепленькой, под солнцем в бочке нагретой.

– Вы зачем огурцы съели? – приступила к девкам Гавриловна.

– А что тут такого? Съели и съели. Жалко, что ли? Мы вам на базаре во о о какой купим!

– Не надо мне во о о какой! Это вам надо во о о какой!.. Для утех. А я берегла огурчики...

– Для себя? Эгоистка вы!

– Кто кто?

– Эгоистка!

– Ну, а вы б...! – оскорбленная незнакомым словом, сделала последнее заключение Гавриловна и с квартиры девиц помела.

С тех пор она пускала в дом на житье только парней, чаще всего студентов, и быстро приводила их в Божий вид, обучала управляться по хозяйству, мыть полы, варить, стирать. Двоих наиболее толковых парней из политехнического института даже стряпать и с русской печью управляться научила. Гавриловна Людочку пустила к себе оттого, что угадала в ней деревенскую родню, не испорченную еще городом, да и тяготиться стала одиночеством, свалится – воды подать некому, а что строгое упреждение дала, не отходя от кассы, так

как же иначе? Их, нынешнюю молодежь, только распусти, дай им слабинку, сразу охомуതат и поедут на тебе, куда им захочется.

Людочка была послушной девушкой, но учение у нее шло туговато, цирюльное дело, казавшееся таким простым, давалось ей с трудом, и, когда минул назначенный срок обучения, она не смогла сдать на мастера. В парикмахерской она прирабатывала уборщицей и осталась в штате, продолжала практику – стригла машинкой наголо допризывников, карнала электроножницами школьников, оставляя на оголившейся башке хвостик надо лбом. Фасонные же стрижки училась делать «на дому», подстригала под раскольников страшных модников из поселка Вэпэвэрзэ, где стоял дом Гавриловны. Сооружала прически на головах вертлявых дискотечных девочек, как у заграничных хит звезд, не беря за это никакой платы.

Гавриловна, почуяв слабинку в характере постоялицы, сбывала на девочку все домашние дела, весь хозяйственный обиход. Ноги у старой женщины болели все сильнее, выступали жилы па икрах, комковатые, черные. У Людочки щипало глаза, когда она втирала мазь в искореженные ноги хозяйки, дорабатывающей последний год до пенсии. Мази те Гавриловна именовала «бонбенгом», еще «мамзином». Запах от них был такой лютый, крики Гавриловны такие душераздирающие, что тараканы разбежались по соседям, мухи померли все до единой.

– Во о от она, наша работушка, а, во от она, красотуля то человечья, как достаетца! – поуспокоившись, высказывалась в темноте Гавриловна. – Гляди, радуйся, хоть и бестолкова, но все одно каким никаким мастером сделаешься... Чё тебя из деревни то погнало?

Людочка терпела все: и насмешки подружек, уже выбившихся в мастера, и городскую бесприютность, и одиночество свое, и нравность Гавриловны, которая, впрочем, зла не держала, с квартиры не прогоняла, хотя отчим и не привез обещанную машину дров. Более того, за терпение, старание, за помощь по дому, за пользование в болясти Гавриловна обещала сделать Людочке постоянную прописку, записать на нее дом, коли она и дальше будет так же скромно себя вести, обихаживать избу, двор, гнуть спину в огороде и доглядит ее, старуху, когда она обезножит совсем.

С работы от вокзала до конечной остановки Людочка ездила на трамвае, далее шла через погибающий парк Вэпэвэрзэ, по человечески – парк вагонно паровозного депо, насаженный в тридцатых годах и погубленный в пятидесятых. Кому то вздумалось выкопать канаву и проложить по ней трубу через весь парк. И выкопали. И проложили, но, как у нас водится, закопать трубу забыли.

Черная, с кривыми коленами, будто растоптанный скотом уж, лежала труба в распаренной глине, шипела, парила, бурлила горячей бурдой. Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной и по верху потекла горячая речка, кружа радужно ядовитые кольца мазута и разные предметы бытового пользования. Деревья над канавой заболели, сникли, облупились. Лишь тополя, корявые, с лопнувшей корой, с рогатыми сухими сучьями на вершине, опершись лапами корней о земную твердь, росли, сорили пух и осенями роняли вокруг осыпанные древесной чесоткой ломкие листья. Через канаву был переброшен мостик из четырех плах. К нему каждый год деповские умельцы приделывали борта от старых платформ вместо перил, чтоб пьяный и хромой люд не валился в горячую воду. Дети и внуки деповских умельцев аккуратно каждый год те перила ломали.

Когда перестали ходить паровозы и здание депо заняли новые машины – тепловозы, труба совсем засорилась и перестала действовать, но по канаве все равно текло какое то горячее месиво из грязи, мазута, мыльной воды. Перила к мостику больше не возводились. С годами к канаве приползло и разрослось, как ему хотелось, всякое дурнолесье и дурнотравье: бузина, малинник, тальник, волчатник, одичалый смородинник, не рожавший ягод, и всюду – развесистая полынь, жизнерадостные лопух и колючки. Кое где дурнину эту непролазную пробивало кривоствольными черемухами, две три вербы, одна почерневшая от плесени упрямая береза росла, и, отпрянув сажен на десять, вежливо пошумливая листьями, цвели в середине лета кособокие липы. Пробовали тут прижиться вновь посаженные елки и сосны, но дальше младенческого возраста дело у них не шло – елки срубались к Новому году догадливыми жителями поселка Вэпэвэрзэ, сосенки ощипывались козами и всяким разным блудливым скотом, просто так, от скуки, обламывались мимо гулявшими рукосями до такой степени, что оставались у них одна две лапы, до которых не дотянуться. Парк с упрямо стоявшей коробкой ворот и столбами баскетбольной площадки и просто столбами, вкопанными там и сям, сплошь

захлестнутый всходами сорных тополей, выглядел словно бы после бомбежки или нашествия неустрашимой вражеской конницы. Всегда тут, в парке, стояла вонь, потому что в канаву бросали щенят, котят,дохлых поросят, все и всякое, что было лишнее, обременяло дом и жизнь человеческую. Потому в парке всегда, но в особенности зимою, было черно от ворон и галок, ор вороний оглашал окрестности, скоблил слух людей, будто паровозный острый шлак.

Но человеку без природы существовать невозможно, животные возле человека обретающиеся, тоже без природы не могут, и коли ближней природой был парк Вэпэвэрзэ, им и любовались, на нем и в нем отдыхали. Вдоль канавы, вламываясь в сорные заросли, стояли скамейки, отлитые из бетона, потому что деревянные скамейки, как и все деревянное, дети и внуки славных тружеников депо сокрушали, демонстрируя силу и готовность к делам более серьезным. Все заросли над канавой и по канаве были в собачьей, кошачьей, козьей и еще чьей то шерсти. Из грязной канавы и пены торчали и гудели горлами бутылки разных мастей и форм: пузатые, плоские, длинные, короткие, зеленые, белые, черные; прели в канаве колесные шины, комья бумаги и оберток; горела на солнце и под луной фольга, трепыхалось рванье целлофана; иногда пронесило аж до самой реки, в которую резво втекал зловонный поток канавы, какую нибудь диковину: испутившего резиновый дух крокодила Гену; красный круг из больницы; жалко слипшийся презерватив; остатки древней деревянной кровати и много много всякого добра.

Как водится в настоящем уважающем себя городе, и в парке Вэпэвэрзэ и вокруг него по праздникам вывешивались лозунги, транспаранты и портреты на специально для этой цели сваренные и изогнутые трубы. Прежде было хорошо и привычно: портреты одни и те же, лозунги одни и те же; потом преобразования начались. Было: «Дело Ленина – Сталина живет и побеждает!» – стало: «Ленинизм живет и побеждает!» Было: «Партия – наш рулевой!» – стало: «Слава советскому народу, народу победителю!» Результат местной идейной мысли тоже был: «Трудящиеся Советского Союза! Ваше будущее в ваших руках» «И в ногах!» – дописал кто то из местных остряков. Железнодорожное депо всегда отличала повышенная бдительность, классовое чутье и гражданская принципиальность. Больше ни одной дописки на эстакаде – так важно тут именовалась железная конструкция – не появлялось.

Но когда с эстакады, с самого центра ее, было вынуто сразу пять портретов и сзади них обнажился, явственней проступил лозунг: «Партия – ум, честь и совесть эпохи!» – примолкли даже железнодорожники.

В местной школе с давними, твердо стоящими на передовых позициях кадрами произошло шатание. Приехавшая по распределению из революционного города Ленинграда молоденькая учительница литературы кричала на собрании: «Какой очистительной морали можно ждать от города, когда в центре его, на воротах артиллерийского завода с сорок второго года горят трехметровые буквы: „Наша цель – коммунизм!“?»

Ну, такая учителька долго в поселке Вэпэвэрзэ не продержится, домой ее воротят или еще куда отвезут.

В таком поселке, в таком роскошном месте, как парк Вэпэвэрзэ, само собой, и «нечистые» велись, да все здешнего рода и производства, пили они тут, играли в карты, дрались они тут и резались, иногда насмерть, особенно с городской шпаной, которую не могло не тянуть в фартовое место. Имали они тут девок и однажды чуть было не поймали ту вольнодумную ленинградскую учительницу – убегла, физкультурница.

Среди вэпэвэрзэшников верховодом был Артемка мыло, со вспененной белой головой, с узким рыльцем и кривыми, ходкими ногами. Людочка сколь ни пыталась усмирить лохмотья на буйной голове Артемки, названного отцом паровозником в честь героического Артема из кинофильма «Мы из Кронштадта», ничего у нее не получалось. Артемкины кудри, издали напоминающие мыльную пену, изблизя оказались что липкие рожки из вокзальной столовой – сварили их, бросили скользким комком в пустую тарелку, так они, слипшиеся, неразъемно и лежали. Да и не затем приходил Артемка мыло в дом Гавриловны, чтоб усмирить свою шевелюру. Он, как только Людочкины руки становились занятыми ножницами и расческой, начинал хватать ее за разные места. Людочка сначала дергалась, уклонялась от Артемкиных пальцев с огрызанными ногтями, потом стала бить по хватким рукам. Но клиент не унимался. И тогда Людочка стукнула вэпэвэрзэшного атамана стригущей машинкой, да так неловко, что из Артемкиной патлатой головы, будто из куриных перьев, выступила красная жидкость. Пришлось лить йод из флакона на удалую башку ухажористого человека, он заулюлюкал, словно в штанах припекло, со свистом половил воздух пухлыми губами и с тех пор домогания свои хулиганские прекратил. Более того, атаман мыло всей вэпэвэрзэшной шпане повелел Людочку не лапать и никому лапать не давать.

Людочка ничего и никого с тех пор в поселке не боялась, ходила от трамвайной остановки до дома Гавриловны через парк Вэпэвэрзз в любой час, в любое время года, своей улыбкой отвечая на приветствия, шуточки и свист шпаны да слегка осуждающим, но и всепрощающим потряхиванием головы.

Один раз атаман мыло зачалил Людочку в центральный городской парк. Там был загороженный крашеной решеткой загон, высокий, с крепкой рамой, с дверью из стального прута. В нише одной стены сделана полумесяцем выемка, вроде входа в пещеру, и в той нише двигались, дрыгались, подскакивали на скамейках, болтали давно не стриженными волосьями как попало одетые парни. Одна особа, отдаленно похожая на женщину, совсем почти раздетая, кричала в фигуристый микрофон, держа его в руке с каким то срамным вывертом. Людочке сперва казалось, что кричит та несуразная особа что то на иностранном языке, но, прислушавшись, разобрала: «Приходи. Любофь. А то...»

В загоне зверинце и люди вели себя по звериному. Какая то чернявая и красная от косметики девка, схватившись вплотную с парнем в разрисованной майке, орала средь площадки: «Ой, нахал! Ой, живоглот! Чё делат! Темноты не дождется! Терпеж у тебя есть?!» «Нет у него терпежу! – прохрипел с круга мужик не мужик, парень не парень. – Спали ее, детушко! Принародно лиши невинности!»

Со всех сторон потешался и ржал клокочущий, воющий, пылящий, перегарную вонь изрыгающий загон. Бесилось, неистовствовало стадо, творя из танцев телесный срам и бред. Взмокшие, горячие от разнузданности, от распоясавшейся плоти, издевающиеся надо всем, что было человеческого вокруг них, что было до них, что будет после них, душили в паре себя и партнера, бросались на огорожу, как на амбразуру в военное время, человекоподобные пленные, которым некуда было бежать. Музыка, помогая стаду в бесовстве и дикости, билась в судорогах, трещала, гудела, грохотала барабанами, стонала, выла.

Людочка сперва затравленно озиралась, потом зажалась в уголок загона и искала глазами атамана мыло – если нападут, чтоб заступился. Но Мыло измылился в этой бурлящей серой пене, да и молоденький милиционер в нарядном картузе, ходивший вокруг танцплощадки со связкой ключей, подействовал на Людочку успокаивающе. Ключами милиционер поигрывал, позванивал так, чтоб наглядно было: сила есть против всяких страстей и бурь. Время от времени эта сила вступала в действие. Милиционер приостанавливался, кивал картузом, и на его кивок туг же из кустов бузины являлось четверо парней с красными повязками дружинников. Милиционер повелительно тыкал пальцем в загон и бросал парням звенящие ключи. Парни врывались в загон, начинали гонять и ловить безластой курицей летающую, быющуюся в решетки особь, может, девку, может, парня – ввечеру тут никого и ни от чего отличить уже было невозможно. Хватаясь за решетки, за встречно выкинутые солидарные руки, жалкая, заголенная жертва, кровя сорванной кожей, красно намазанным ртом вопила, материлась: «Х х ха ады ы! Фашисты ы! Сиксо о оты ы! Педера асты ы!...»

«Сейчас они в собачнике покажут тебе и фашистов и педерастов... Се э эча ас...» – торжествуя или сострадая, со злорадной тоской бросало вослед жертве чуть присмирившее стадо.

Людочка боялась выходить из угла решетчатого загона, все не теряла надежды, что атаман мыло выскользнет из тьмы и она за ним и за его шайкой, хоть в отдалении, дотащится до дома. Но какой то плюгавый парень в телесно налипших брючках, может, и в колготках, углядел ее и выхватил из угла. Малый поди еще и школу не закончил, но толк в сексе знал. Он жадно притиснул девушку к воробыиной груди, начал тыкать в лад с музыкой чем то тверденьким. Людочка – не гимназистка, не мулечка крохотулечка из накрахмаленной постельки, она все же деревенская по происхождению, видела жизнь животных, да и про людей кое что знала. Она сильно толкнула хлыща танцора, но он тренированный, видать, не отпускался, зуб кривой скалил. Один почему то зуб у него и виделся. «Ну, чё ты? Чё ты? Давай дружить, кроха!»

Людочка все таки вырвалась из объятий кавалера и наддала ходу из загона. Дома, едва отдышавшись и зажав лицо руками, она все повторяла:

– Ужас! Ужас!..

– Во от, будешь знать, как шляться где попало! – запела Гавриловна, когда Людочка по давно укоренившейся уже привычке рассказала ей про все свои молодые развлечения.

Убирая связанную Людочкой кофту, юбку в складочку, Гавриловна назидала, говоря дитяте, что ежели постоялка сдаст на мастера, определится с профессией, она безо всяких танцев найдет ей подходящего рабочего парня – не одна же шпана живет на свете, или путного вдовца – есть у нее один на примете, пусть и старше ее, пусть и детный, зато человек надежный, а года – не кирпичи, чтоб их рядом складывать да стену городить. У солидного мужчины года то к рассуждению, опыту и разумению, женская же молодость и ладность – к жизнеутешению и радости мужицкой. Раньше завсегда мужик старше невесты был, так и хозяином считался, содержал дом и удобу в полном порядке, жену доглядывал, заботником ей и детям был. Она, ежели мужчина самостоятельный сгодится, и поселит их у себя – на кого ей, бобылке, дом спокладать? А они, глядишь, на старости лет ее доглядят. Ноги то, вон они, совсем ходить перестают.

– А танцы эти, золотко мое, только изгальство над душой, телу искушение; пошоркаются мушшына об женшыну, женшына об мушшыну, разгорячатся и об каком устройстве жизни может тут идти мысль? Я этих танцев отродясь не знала, вот и сраму лишнего не нахваталась, все мои танцы – в парикмахерской вокруг кресла с клиентом были...

Людочка, как всегда, была согласна с Гавриловной целиком и полностью, с человеком умным, опыт жизни имеющим, считала, что ей очень повезло, – иметь такого наставника и старшего друга не всем доводится, не всем выпадает такая удача. В общежитии то, сказывают, вон чего делается – содом, разврат и условия плохие: воды часто не бывает, на газовую плиту и на стиральную машину очереди; захожие парни пробки вывертывают, свет вырубают, в потемках на девчонок охотничают...

Людочка варила, мыла, скребла, белила, красила, стирала, гладила и не в тягость ей было содержать в полной чистоте дом, а в удовольствие, – зато, если замуж, Бог даст, выйдет, все она умеет, во всем самостоятельной хозяйкой может быть, и муж ее за это любить и ценить станет.

Недосыпала, правда, Людочка, голову иногда кружило, и кровь носом шла, по она ваткой нос заткнет, полежит на спине – и все в порядке, не цаца какая, чтоб по больницам шлаться, да и носик у нее маленький, аккуратненький, из него и крови то вытекает всего ничего.

Той порой вернулся в железнодорожный поселок из мест совсем не отдаленных, с того же леспромхоза, где работал отчим Людочки, всем в местной округе знакомый человек по прозвищу Стрекач. Более о нем сообщить нечего, Стрекач и Стрекач. Ликом он и в самом деле смахивал на черного узкоглазого жука, летающего по древесной рухляди и что то там и кого то там длинными и хрусткими усами терзающего. Все отличие от всамделишного стрекача в вэпэвэрзэшном поселке урожденного Стрекача заключалось в том, что вместо стригущих щупалец усов у этого под носом была какая то грязная нашлапка, при улыбке, точнее при оскале, обнажающая порченные зубы, словно бы из цементных крошек изготовленные.

Порочный, с раннего детства задроченный, он в раннем же детстве занялся разбоем: в школе отбирал у малышей серебрушки, пряники, конфетки, разный шанцевый инструмент вроде резинок, шариковых ручек, значков, особенно настойчиво добывал жвачку, любую, но в блестящей обертке ценил больше всего. В седьмом классе, до которого его дотасили сердобольные учителя железнодорожной школы. Стрекач уже таскался с ножом, и отбирать ему ни у кого ничего не надо было – малое население поселка приносило ему, как хану, дань, все, что он велел и хотел. В седьмом же классе Стрекач совершил и первое преступление: в драке на трамвайной остановке подколол кого то из городской шпаны и был поставлен на учет в милиции как трудновоспитуемый подросток. В том же году он был судим за попытку изнасилования почтальонки и получил первый срок – три года с отсрочкой приговора. Но отважный боец плевать хотел на ту отсрочку и после суда продолжал жить, как душа просила. Стрекач приспособился безнаказанно пиратничать на пригородных дачах. Если владельцы дач не оставляли выпивку, закуску и запирали двери на замок, он ломом крушил окна, веранду, бил посуду, растапывал скарб, рвал постели, мочился в банки с крупой и мукой, если была охота – оправлялся средь избы, рисовал череп и скрещенные кости на печке, вывешивал на двери унесенный из города плакат «Бойся пожара!» и прятался неподалеку, дожидаясь хозяев, которые быстренько выставляли выпивку, консервы, даже истоплю сухих дров, как в прежние годы в охотничьей избушке, излаживали и записочку ласковую: «Миленький гость! Пей, ешь, отдыхай – только, ради Бога, ничего не поджигай».

В благословенных, добычливых местах Стрекач прожировал почти всю зиму, но в конце концов его все же взяли – и три условных года обратились на сей раз в три года тюремных.

С тех пор и обретался герой поселка Вэпвэрзэ в исправительно трудовых лагерях, время от времени прибывая в родной поселок, будто в заслуженный отпуск.

Здесьняя шпана гужом тогда ходила за Стрекачом, набиралась ума разума, почтительно клоня голову перед паханом и вором в законе, который, несмотря на свой авторитет, по мелкому ошипывал свою команду, то в картишки, то в петельку, то в наперсток с нею играя.

Тревожно жилось тогда и без того всегда в тревоге пребывающему населению поселка Вэпвэрзэ.

В тот летний вечер Стрекач, свободный от дел, сидел в парке на бетонной скамейке, вольно раскинув руки по бетонной же спине плахе. Рукава красной, со ржавчиной рубахи на нем были до локтей закатаны, на руках, загорелых до запястий, изборожденных наколками, поигрывали браслеты, кольца, печатки, современные электронные часы светились многими цифрами на обоих запястьях; в треугольнике вольно расстегнутого ворота рубахи на темном раскрылье орла поигрывал крестик, прицепленный к мелкозернистой цепочке, излаженной под золото; нежно васильковый пиджак со сверкающими пуговицами, с бордовыми клиньями в талии – одеяние жокея, швейцара или таможенника не нашей страны, – где то недавно «занятый», то и дело сваливался с плеч. Парни бросались за скамью, извлекали «фрак» из бурьяна и, ошипав с него комочки глины, репей, почтительно набрасывали на плечи дорогого гостя. Они, эти парни, во главе с атаманом мыло ведали, что под цепочкой, ниже вольнокрылого орла, терзающего жертву с женскими грудями, есть могучее, внушающее трепет, изречение: «Верю в Иисуса Христа, Ленина и в опера Наливайко».

Стрекач лениво протягивал руку к стоящей на скамье бутылке с дорогим коньяком, отпивал глоток другой и передавал ее услужливым корешкам.

– Ба бу бы ы ы ы! Бабу хочу! – тоскливо баловался словами Стрекач и время от времени скорготал зубами так, будто не порченые зубы у него из под усов торчали, а был полон рот камешника, и, сжигаемый неумной страстью, он крошил камень – «аж дым из рта!»

Парни таращились на такого редкостного человека и успокаивали его:

– Будет тебе баба, будет! Не психуй. Вот массы с танцев повалят, мы тебе цыпущек найдем. Сколько захочешь... Только вино все не выпивай...

– Ш шыто вино о? Ш шыто гроши? Ш шыто жизнь? – Стрекач отпил из горла, плюнул под ноги, зажмурившись, покатав голову по ребру плахи. Худо было человеку, совсем худо. Изнемогал он, и понимая, что такой кураж заслужен, выстрадан всей жизнью и невыносимыми лишениями в местах с жестокими правилами, с ограничением всяких свобод, парни стыдливо прятали глаза, вздыхали и мысленно торопили время.

– А а, вот и хорошим девочкам идет, он чего то нам несет, – встряхнулся Стрекач.

– Это Людка. Ее трогать не надо, – потупился Артемка мыло.

– А шту, он балной или селка?

– Больной, больной...

– А нам су равна, а нам су равна... хоть балной, хоть какой, нам хоть ишачку... – Стрекач дернулся со скамьи, поймал за поясok плаща Людочку. – Куда спэшишь, дарагая? Подожди, нэ спэши, познакомиться разреши...

Стрекач собирал в горсть плащик, комкал вместе с платьем, подтягивал к себе девушку, пытался усадить на колени. Людочка дергалась все сильнее, все настойчивее.

– Харр раш шо о о, что сопротивляешься, дарагая! Это дядя любит... От этого дядя звереет. Не вертись! Сядь, фря!

Людочка не садилась.

– Какая я вам фря? Я Люда. Да отпустите вы меня!

– Это правда Люда. Здешняя. Мы ее знаем.

– Ах, Люда, Люда, Людочка, с каемкой сине блю удечко, – будто не слыша корешей, пропел Стрекач и в хищной усмешке обнажил под усами серые зубы. – Ты понимаешь, дя адя хочет? Дя адя! Хочет! И чему тебя в школе учили?

– Ничего я... ничего...

– Ты скажи! – хохотнул Стрекач. – Она брезговат!.. Ты почему грубишь? Кто тебя, паскуда, спрашивает? Кто? – Стрекач кинул Людочку через скамейку и сам туда перекинулся, рыча, ловил в бурьяне на четвереньках уползающую девчонку. – Пах хади! Пах хади! Нэ спэши, дарагая!.. Н нэ спэши!.. – Стрекач поймал Людочку за плащ, подтянул ее к себе, макнул лицом в землю. – Н не кудахтай, курица! – С треском рванул на ней платье.

Людочка все время пыталась крикнуть, но изо рта ее вырывалось только: «Усу... усу... усу...». И вдруг прорвалось, она придавленно запищала, но ей казалось – взвизгнула на весь белый свет.

– Во, любовь! – качнул Артемка мыло кудлатой головой за скамью. – С песнопением...

Кореша его, их было трое, ознобленно подхихикнули:

– Мы поглядим?

– Глядите. Мне что? – пожал плечами Артемка и с трудом переборол себя, чтоб тоже не поглядеть.

– Да не вертись ты, паскуда! – раздалось из бурьяна. – Ну, куда ты? Куда? Там же ж горячая вода... Ты уймешься? – Стрекач бил куда то кулаком, рассек руку о стекла, которыми сплошь был забит бурьян.

Людочка все пыталась кричать. Из удушливой тьмы, из прошлогоднего бурьяна, смешавшегося с нынешним, в ее разверстый рот упала, или ей помстилось, что упала, грязная шерсть, захлестнуло дыхание, тошнота, давившая грудь, вдруг разрешилась судорогой. Горло, схваченное спазмом, дернулось.

Стрекача подбросило. Выскочив из кустов, продираясь по бурьяну, он щелчками сбивал с «фрака», с нарядной рубашки что то и исступленно лаялся:

– А а, кур р рва! Облевала, весь фрак вокзальным винегретом завесила. – Сделав коромыслом руки, глянул вниз и застонал: – И шшш ка ар ры! Шкары! – Попробовал огладить штаны, заметил красное на руках, принялся отсасывать кровь из пальцев и отплевывать. Жадно отпив коньяку, он повелительно качнул головой за скамью.

– Не е, мы наших ждем. С танцев... мы... – залепетали парни.

Стрекач бросился на парней, кровеня рубахи, скрутил на груди корешков тряпье вместе с лагерными сувенирами, с цепочками под золото, щедро им даренные.

– Ы ышшшь те, фраера! Запачкаться боитесь? – свистел он в дыроватые зубы. – Меня под лафет, сами под буфет! Не выйдет! Не выйдет, дорогуши! Кто меня на девку навел? Кто эту выдру прикормил в саде? – Стрекач затолкал парней за скамейку, в бурьян, сунув руку в карман, где у него хранилась на подвесе изящная, умельцами локомотивного депо изготовленная финка, пригрозил: – И не киксовать!

Людочка слепо шаря по земле, по себе, ползала в бурьяне, натыкалась на кусты, между приступами рвоты чихала и все чего то искала, искала, собирала рванье на груди.

Вдруг пронзительно взвизгнула, лупцуя, царапая Артемку атамана, возникшего перед нею. По правде сказать, увидев ее, скомканную, изорванную, Артемка мыло оробел и попытался натянуть на нее плащ, оторванный рукав на плечо. А она:

– М мыло! Мыло! Мыло!.. – Вырвавшись из грязных, цепких зарослей, Людочка помчалась напролом, через объединенный топольник, поскользнулась на мостике, упала и все продолжала вопить: – Мыло! Мыло!..

Добежав до знакомого, такого уже родного дома Гавриловны, Людочка ударилась о калитку, сорвала ее со слабой деревянной вертушки, ввалилась в ограду, поползла по мытому недавним дождем тротуару, упала на ступеньку недавно ею выскобленного крыльца, уткнулась лицом в половичок и потеряла сознание.

Очнулась девушка на старом диване, на своей постели и сразу почувствовала под собой что то холодное, скользкое, сунула под себя руку – клеенка. Гавриловна – бережливая хозяйка.

– Очнулась? Вот и хорошо. Вот и славно. Попей вот водички с брусницей, вкуси кисленькое, смой с души горькое... Попей, попей и не дрожи, не дрожи ы, – миролюбиво успокаивала, гудела над Людочкой Гавриловна.

Людочка сперва жадно, с захлебом пила, но питье словно бы уперлось в какую то створку, за которой вскипала тошнота, и она отстранила руку с кружкой.

– Бабе сердце беречь надо, остальное все у нее износу не знает... И родится баба не под нож, а под совсем другое... Ну сорвали плонбу, подумаешь, экая беда. Нонче это не изъян, нонче замуж какую попало берут, тьфу нонче на эти дела... А тем мошенникам, тем фулюганам я чубы накручу! Ох, накручу!.. И ты тоже хороша! Скоко я те говорила: не ходи вечерами парком, не ходи, там одни лахудры да шпанята табунятся! Так нет, не слушаешься старших то...

– Я к маме хочу.

– К маме? Дак и поезжай, золотко мое. Утром и поезжай, хоть на день, хоть на два. Я заведующей доложу и уберусь за тебя в парикмахерской то, ты ж убираешься... Во он у нас, что в твоей светлице!.. Уберу усь, хоть нараскоряку, да ползаю ишшо.

В родной деревне Вычуган осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом – мать Людочки с отчимом. Когда то, давно еще, пелось тут: «В Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по другому: «В Вычугане мы живем, не работаем, но пьем».

Вся деревня, задохнувшаяся в дикоросте, с едва натопанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно, дико разросшимися меж молчаливых изб тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые, те еще, деревенские березы чахли. И липы чахли. И смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполье что кость сделалась. Там когда то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблоня эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну, из чего и сил набиралась?

В то лето, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки крупные да румяные налились на нагом то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки. Не к добру это!» – наказывала старуха Вычуганиха. «Да сейчас все не к добру...» – поддакивали ей.

А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору на ветке сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый, плоский сгвол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньке. Еще одной. «Эдак вот, – пророчила Вычуганиха, – единова середь России кол вобьют, и помянут ее, нечистой силой изведенную, некому будет...»

Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, неумело, забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся, охотно и покорно, бабы возвращались к вере в Бога. Больше то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить.

«Недостойны, поди ко, – лепетали они, – материмся, выпиваем, омужичились без убитых на войне да по тюрьмам загинувших мужиков...». «Все мы – грязные твари, веры в Него недостойны. Но надо стремитца», – наставляла строгая Вычуганиха.

Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из под мелкой рыбешки, называющейся по нездешнему – «шпроты», на голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая

комсомолка, – туда же за бабьем, в суеверность впавшим. Хихикнула как то Людочка над украдкой крестящейся матерью и затрепину схлопотала.

Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать и мачехи и следом солнечно зацветшей купавой, курослепом, одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов провисшим выменем, Олена – корова на привязи. Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее, каждый день вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. Олена, старая добрая корова, имя которой когда то придумала Людочка, плохо ела на привязи, вымя у нее смялось. Она узнала крестную, двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Олену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим, позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала.

Примерли бабы в деревне Вычуган, овдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепы и оплота деревеньки Вычуган – самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое что на стол, посидели, выпили, поговорили, – поди ко Вычуганиха была последней из рода вычуган, основателей села.

Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу.

– О, Господи! Вон кто у нас пожаловал! Вон кого кот навораживал... – Косо, бочком прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала: – Я еще утресь обратила внимание – валяться и валяться на шесток головни – гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут эвон что! Чё прилолку то подпираешь? Проходи. Чай не в чужой дом явилась.

Мать говорила, действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но пронизательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои сорок пять лет, мать с ходу уяснила – с Людочкой стряслась беда: бледная, лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят, во взгляде безразличие. По тому, как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, – ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится, да не ломается. Сколько их еще, бед то, напастей, впереди, ох хо хо хо нюшки...

Поскольку со всеми своими бедами напастями и с жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла: на роду бабьем даже как бы записано – терпи. Мать не от суровости характера, а от стародавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу, – пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горем и бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно, донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой иль Богом определены. Она в голодные, холодные годы, с мужиком пьяницей, худо бедно подняла, вырастила дитя, надо и на другого где то и как то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших, сохранить.

– Ты на выходной или как?

– Что? Да да...

– Вот и хорошо. А я как знала, сметаны подкопила, яиц... Яйца наши не то что ваши, городские, желток у них будто солнушко... А сам меду накачал. – Мать качнула головой, рассмеялась: – Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флягу подготовили... Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу... – Она убрала улыбку с губ, сморщила отекшее, синюшное лицо, отвела

взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновато: – Надумала вот на исходе четвертого то десятка... тяжело, говорят, в этой поре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит... а этот продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем...

Мать по прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином, может, дочери стеснялась, но скорее всего в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по городскому говоря, разлуку, а по деревенски – если бросит мужик, так меньше плакать.

– Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так...

– Ну так дак так, на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть сот пять дадут на шифер, на стекла. Да кто даст? Кому он, этот дом, нужен? Деревня эта Богова кому нужна? – По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое то время сидела, глядя в окно, за огород, в заречную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким, забытым черным стогом среди зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клинышек – накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничий с центральной усадьбы.

– Ох хо хо, что то с нами будет? Кому от этого разора польза? – спросила мать пространство и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненым фартуком. – Ну, я достираю, а ты Олену подои, дров принеси. Сам то после смены на доме колотится, поздно приедет, голодохонький работник. – В голосе матери проскользнуло что то даже похожее на ласку. – Похлебку ему сварим, капусты прошлогодней из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке, под опрокинутой бочкой, лагуха с брагой припрятана – от помочи осталось маленько, может, и выпьете с устатку...

– Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь.

– Вот и хорошо. Вот и хорошо... – напевно начала мать, думая о чем то своем. – Чё же ты стричь то? – спохватилась она. – Да ладно. Научишься когда нито. Не боги, как говорится, горшки обжигают, – все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя. – А что пить не научилась – ни к чему эта наука. Пагуба от нее одна и развращенье. Это она нашу деревню надсаженную доконала, пагуба эта. – И опять погружаясь в себя, словно бы из сна уже, добавила: – Так, видно, Богу было угодно...

– Все теперь о Боге вспомнили! Все с упованьем, с жалобами к нему, как в сельсовет... – начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены – мать не слушала и не слышала ее.

И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли продолжают там, в нарядном заречье, и слышат ее там, да отозваться некому.

Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку.

Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего то стала думать об отчине – как он трудно, однако азартно вращался в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить растущую овощь друг от друга, беспомощен был в пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев. Коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком – воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо, имал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метали стог, управлялись наверху, отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы. И от жути, ее охватившей, подхихикнула ему.

Дометывали они последний стог на берегу реки вдвоем – мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать стог и, как умели, обвязали его верх сплетенными прутьями – от ветра, – отчим махнул рукой на обмысок: «Ступай туда, а я очешу стог».

Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сennую пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям, хорошо, всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде, наметавшим добротного, едового сена. Корм корове – это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму.

Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидела картину: отчим, будто детсадовец, булькался на отмели, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги.

Мужик с бритой, седеющей со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забежал вприпрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека, – Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства, оно, детство, настигло иль настигало его, вернулось к нему лишь теперь, и что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, оплакать. И тот, кто изымает какую то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни, сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит.

Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была душой, она в уединенности своей ого го го как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на люди – и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна то не Америка, а дата – и двойка тебе, да еще и назидание вослед: «Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь, исправишь. Мне двоечники в отчете не надобны!...»

Людочка упятилась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое, легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается.

– Да где же ему было купанью то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него жизнь то ох хо хо... – Спohватившись, мать построжела и, словно кому то доказывая, продолжала: – Но человек он порядочный, может, и добрый.

С тех самых пор, с купанья отчима, Людочка перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот, на лугу, за покинутой родной деревней, она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому нибудь живому, что подумалось: побежать бы в леспромхоз, за семь верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет...

– Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь?

Мать вскинулась, что то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу:

– Ну что ж... коли надо, дак...

– Х ха, быстро то как! – удивилась Гавриловна. – Что у родителей то, тесно?

– Они к переезду готовятся.

– К переезду? Тогда конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь... Чем родители порадовали?

– Да вот. – Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из четырех неизносчивых ниток эта веревочка: две коричневые, из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и две шелковисто белые. Конец каната когда то выменяли вычугане на туристском катере, расплели и веревок на всю деревню понаделали. Крепкущих. Вот она, плотно скрученная веревочка! Мать сказывала, что

привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, пряла, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была. Качаю, качаю, пою, пою: баю баюшки, баю, не ложися на краю... А ты все ревешь... Плону я, да чтоб тебя разорвало, заору. Ты с испугу зальешься пуще того...»

– Чего плачешь то?

– Маму жалко.

– А а, маму? Меня вот и пожалеть некому... – Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела: – Ты вот чё, девонька... хым... хым... стало быть. Артемку – банное мыло то забрали... Исцарапала ты его шибко... примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое... от Стрекача были, упредили: если ты пикнешь где, тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят...

Долго и тягостно молчали в доме Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко далеко где то, пьяно шатаясь, ходило вприсядку, поплясывало изношенное сердце.

– У меня ведь и всех благ – свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые и в санаторьи морски либо в профилакторьи трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым – вшей обирать... Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить – одеколон разбавляла... Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую то работу, в дамский зал, меня уж перед пенсией перевели...

– Хорошо, хорошо. Я в общежитие пойду, – тряхнула головой Людочка, но головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда то.

– Временно. Временно, хорошая моя. Бандюга этот долго не нагуляет... утомлятца он на воле быстро... Он засядет, а я тебя и созову обратно... – Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала: – Господи! Да отчего же это добрым людям покоя счастья нету? Зачем она вечно в тревоге да в переживанье? Будет ли им хоть какое послабление?..

Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому то большому весеннему празднику она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо, ока не убежала домой, решив довести работу до конца. И простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной, больнице не было, и, как водится в наших больницах, и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре, на всех ветрах сквозняках с воспалением то легких.

Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора, за печкой, умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю.

Вербованный из каких то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке, у него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимей, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру.

Молодая, искучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах девица, за два года с трудом научившаяся в районном училище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, в накрахмаленном белом колпачке, с кулачками, опущенными в карманчики халата, этакое утомленно капризное медицинское светило, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» – и брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чирей и чирей. Лезут со всякими пустяками!» – последовало заключение.

Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там в неприспособленном для сложных операций месте вынуждены

были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ничем больному помочь невозможно – от гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную неотмолимую смерть.

Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты, по просьбе больных, переместили в коридор, за печку.

Сердце парня работало учащенными, мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук «псих, псих, псих...», будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом.

Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего в роде человеческом, она приложила ладонь к лицу парня – голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие – различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что то сказать, но доносилось лишь «усу... усу... усу...».

Издравле ей доставшимся женским чутьем она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край, на гибельные эти лесозаготовки. Он из тех, наверное, думала Людочка, про кого по радио читали: мол, недолюбив, недоработав и недочитав последнюю строку, иль недокурив последнюю папироску, или что то в этом роде – уходили парни в бой, а тут вот – на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных и. деепричастных оборотов, она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихах, то есть к «рано ушедшим на кровавый бой».

Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, и родных то у него нету...

Людочка принесла что то похожее на табуретку, с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы, так, с пятого на десятое что то похвatalа от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих: «Боже праведный! Боже преславный... Раба твоего прости и согрешенья вольные и невольные... огневицу угаси, врачебную Твою силу с небеси пошли...»

Парень слабо шевельнул пальцами – он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звук и древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца»: «Отговорила роща золотая... любовь – это бурное море, любовь – это злой океан, любовь – это счастье и горе... И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил... а еще скажи слово прощальное: передай кольцо обручальное... чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить...»

Чего Людочка только ни говорила, напрягая свою не очень то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти.

Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой, скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала.

Встряхнулась она от слабого стога, похожего на щенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы – это хорошо, облегчают они сердце и подумала: может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе – не для того он плачет, чтоб было облегчение, плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он

постиг здесь, сейчас вот, умирая на больничной койке, за облупившейся, грязной печкой, – совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему.

Отчего так суетно милостивы, льстиво сочувствующие люди возле покидающего мир человека? Да оттого, что они то, живые, остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого, точнее они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаяньем, выражающим горе, не скрыться им от самого пронизательного взора – взора умирающего, в котором сейчас вот, на кромке пути, в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной.

Предают его живые! И не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, и они хотят, чтоб скорее кончились его муки, для того, чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыхание, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством. К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет, может, и потом, за многими делами, не заметит она их, забудет о них и продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему.

Парень последним, непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся – он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал, согласия быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо: вдвоем они сделали бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершем, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению.

Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да а, не декабристка она, да и где они ныне, декабристки то? В очередях за вином...

Рука парня свесилась с кровати, рот, жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал, и глаза не сразу, а как то неохотно, несогласно, медленно медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья.

Людочка, ровно бы уличенная в нехорошем, тайном поступке, постояла, одернула халатик и крадучись пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила: «Отмучился, горю»; как выносили мертвого на носилках, как складывали и убрали матрац и койку...

С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем лесорубом. Теперь вот, в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека, теперь и самой ей предстояло до конца испытать чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия – пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда, зачем?

Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые силы. Ну даже и не свершись чуда, не воскресни умирающий, все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя, до последнего вздоха, сделало бы, прежде всего, ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам.

О о, она теперь понимала совсем живые, совсем натурально то, о чем когда то читала и равнодушно зубрила по учебникам, как выживали в тюрьмах одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание...

Да хотя бы те же барыньки декабристки.

Но по делу если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку иль обиду глаза друг дружке выцарапывают, мужика, пусть хоть и бригадира, да даже и председателя таким матом обложат, что...

Людочка неожиданно подумала об отчине: вот он небось из таких, из сильных? Да как, с какого места к нему подступиться то? Было время, их, деревенских школьниц шмакодявок, подвыпившие парни молодецки весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно, одни, и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать.

А те, городские, на танцплощадке?

Разве они не столкнуты со скамейки под ноги, на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она то их лучше? Чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего...

Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб «саранопалы» не заметили, велела хозяйка Людочке возвращаться в потемках, да не по парку, округой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась, ходила и ходила будто во сне. Здесь, в парке, ее снова подловили парни, начали стращать Стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку.

– Вы чего?

– Да ничего! Насчет картошки дров поджарить соображаем.

– Ишь какие! Разохотились!

– А чё? Теперь все равно, плонба сорвана, как Гавриловна бает, мышеловка наготове, знай имай мыша... – выпившие молодцы взпэврэзэшники все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую, из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство Стрекача под самый корень! «Чем тебя породил я, тем тебя и убью», – вспомнила она хохму из чьего то школьного сочинения.

О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху, такое столпотворение, что она и не пошла, хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула: мол, достойным веры в Бога надо быть, мол, не комсомольский тебе это стройотряд, не бардак под названием «десант на колесах», пусть, мол, «мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам Его страдальческим будут они, богохулки».

– Жаль, нету вашего вождя – такой видный кавалер!.. Жаль! – повторила она вслух и погромче сказала в темноту: – А ну отвалите, мальчишки! Хватит! Одно платье порвали! Плащик испортили! Пойду в ношеное переоденусь. Не из богачек я, уборщицей тружусь.

– Дуй! Да смотри: любовь и измена – вещи несовместимые, как гений и злодейство.

– Ишь ты, грамотный какой! Отличник небось?

– Все и всегда делаю на пять! Не хуже Стрекача, испытаешь мои способности, похвалишь.

– А ты мои.

Людочка и переделалась в старое ношеное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврикe возле дивана, придвинула было листик бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку, нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав на бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне: «Пока!» – вышла на улицу. У крыльца надернула старые калоши, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу, о наборе в лесную промышленность рабочих обоего пола.

«Может, уехать?» – мелькнула мысль да тут же и другая мысль перебила первую: там, в лесу то, стрекач на стрекаче, и все с усами.

В парке она отыскала давно уж ею запримеченный тополь с корявым суком над тропинкой, захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, продернула в нее конец – все таки деревенская, пусть и тихоня, она умела многое: варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и скутать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла – в ее деревне лет уж десять лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала, пить, не научилась материться...

Ну да пожила бы на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы.

Людочка взобралась на клык торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш, ощупала его чуткой ступней, утвердилось, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала шепотом: «Боже милостивый, Боже милосердный... Ну не достойна же... – и перескочила на тех, кто ближе: – Гавриловна! Мама! Отчим! Как тебя и зовут то, не спросила. Люди добрые, простите! И ты Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я даже не знаю, есть ли Ты?.. Если есть, прости, все равно я значок комсомольский потеряла, никто и не спрашивал про значок. Никто и ни про что не спрашивал – никому до меня нет дела...»

Она была, как и все замкнутые люди, решительна в себе, способна на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду. И тут, с петлей на шее, она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого берега бросилась в омут. Безбрежный и бездонный.

Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре, она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтоб освободиться, цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать, ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь – такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло, давай свертываться, стихать, уменьшаться и, когда сделалось всего с орешек величиной, покатилося, покатилося вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда то в пустоту.

И тут же всякая боль и муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа?

– Ну, чё она, сучка, туфтит, динаму крутит, что ли? Я ей за эти штучки...

Один из парней, томившийся в парке Вэпэвэрзэ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами ряду тополей.

– Когти рвем! Ко огти! Она... – разведчик мчался прыжками от тополей, от света.

Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда сюда, то задом, то передом поворачивающуюся, язык во о о какой вывалился, и с ног что то капало.

– Ну дает! – ахали кореша. – Ну сделала козла... О ох, падла! Была бы живая, я бы ей показал, как вешаться... я бы показал...

– Это ж надо! В петлю! Из за чего!

– Надо Стрекача предупредить. Грозился же...

– Ага, обязательно. Когтистый зверь, задерет. По последней, братва, по последней. Вы ы ыпьем, бра ат цы ы, удалую за поми и ин ее души ы ы.

– Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабили...

– Э эх, идиотина! Жить так замечательно в на ашей юной, чудесной стране э...

Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились, там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет – чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей наводить.

На городском стандартном кладбище, среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинута на нее светло коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями – шел дождь, она береглась, но забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносило вой ночного зверя или потайной, лешачьей птицы выпь: «Уу у у удочка а а а...»

Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались, и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки.

После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка и завопила: «У у удоч ка!» – муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографии. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку.

– За дочку, за дочку держала, – высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. – Все пополам, каждую крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать... Да голубонька ты моя сизокрылая... Да ласточка ты моя, касаточка! Что же ты натворила? Что же ты с собой сделала?..

Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей, чужого дома стеснялась. Только слезы, неприкаянные слезы, переполнившие никем еще не измеренную русскую бабью душу, катились сами собой со всего лица, выступали из всех ранних и не ранних морщин, даже из под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, потчевать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице совсем выговорившаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая.

Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла: «Извините!» – и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте», – просила она.

Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул: «Я пойду покурю», – и, накинув на себя болоньевую куртку с вязаным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки Вэпэвэрзз и двинулся по направлению к парку.

Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека – Стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу.

Утомленные бездельем парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развываясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик в малиновой рубахе, с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке с вязаным воротником, словно пробитой по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей.

– Чё те, мужик?

– Поглядеть вот на тебя пришел.

– Поглядел и отвали! Я за погляд плату не беру.

– Так, значит, ты и есть пахан Стрекач?

– Допустим! Штаны спустим...

– Ишь ты! Еще и поэт! Прибауточник! – Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи Стрекача крестик, бросил его в заросли. – Эт то хоть не погань, обсосок! Бога то хоть не лапайте, людям оставьте!

– Ты... ты... Фраер!.. Да я те... Я те обрезанье сделаю. По арапски! – Стрекач сунул руку в карман.

Вся компания вэпэвэрзэшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело.

– Э э, да ты еще и ножиком балуешься! – скривил губы отчим Людочки. Неуловимо молниеносно перехватив руку Стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы.

Тут же, не дав опомниться Стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубашкой и поволол удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и как персидскую царевну швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул Стрекач оголившимся животом, исчирканным красными полосами – не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые ли, может и серебряные, заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов.

Из зелено черных, соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший, ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не расслышать.

Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка Вэпэвэрзэ прынули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза.

Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь.

Вэпэвэрзэшное кодро – шестерки Стрекача заступили дорогу мужику, он уперся в них взглядом. Парни вэпэвэрзэшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет! Настоящего, непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей, по звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди оттого, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях. Возникали те искры, тот металлический огонь из темной глубины, клубящейся не в сознании, а за пределами его в том месте, где, от пещерных людей досгавшееся, сквозь дремучие века прошедшее, клокотало всесокрушающее, жалости но знающее бешенство.

У у уы ы ых! У у у уы ы ых! – доносилось из угробы, из под набрякших неандертальских бугров лба, из под сдвинутых бровей, а из глаз все сверкали и не гасли, сверкали и не гасли те искры, тот пламень, что расплавил и сделал глаза пустыми, ничего и никого не видящими.

Пакостные, мелкие урки, играющие в вольность, колупающие от жизненного древа липучую жвачку, проходящие в знакомых окрестностях подготовительный период для настоящих дел, для всамделишного ухода в преступный мир или для того, чтобы, перебесившись, отыграв затянувшееся детство, махнуть рукой на рискованные предприятия, вернуться в обыденный мир отцов и дедов, к повседневному труду, к унылому размножению, сейчас вот уловили они хилыми извилинами в голове, что существование среди таких деятелей, как это страшилище, – житуха ох какая нефартовая, ох какая суровая и, пожалуй что, пусть она идет своим порядком. Вот уж когда размоет все границы меж тем и этим миром, а к тому делу движется, когда совсем деваться некуда будет, что ж, тогда «здрасьте!», тогда под крыло такого вот пахана...

Парни занялись спешным делом: трое или четверо волокли из канавы почти уже сварившегося, едва слышно попискивающего Стрекача. Кто то к трамвайной остановке ринулся – вызвать «скорую», кто то – в старые

бараки с двумя тремя еще не забитыми окнами, где обретались отверженные обществом, спившиеся существа и брошенные детьми старики, отыскивать мать пострадавшего, обрадовать привычным известием совсем разрушенную старуху об еще одном «художестве» сыночка родимого, кажется, насовсем отгостившего под крышей родного барака. Славный, бурный путь от детской исправительно трудовой колонии до лагеря строгого режима завершился. Угнетенные, ограбленные, царапанные, резанные, битые, в страхе ожидания напасти живущие обитатели железнодорожного поселка вздохнут теперь освобожденно и будут жить более или менее ладно до пришествия нового Стрекача, ими же порожденного и возвращенного.

Дойдя до окраины парка, отчим Людочки споткнулся вдруг и по закоренелой привычке жить настороже, все видеть, все слышать, заметил на сучке, нависшем над тропой, обрезок пестренькой веревочки, почему то не отвязанной милиционерами. Какая то прежняя, до конца им самим не познанная злая сила высоко его подбросила, он поймался за сук, тот скрипнул и отвалился от ствола, обнажив под собой на глаз коня похожее йодистого цвета пятно. Подержав сук в руках, почему то понюхав его, отчим Людочки тихо, для себя молвил:

– Что же ты не обломился, когда надо? – и с внезапным неистовством, со все еще неостывшим бешенством искрошил сук в щепки. Отбросив обломки, стоял какое то время, исподлобья наблюдая, как по исковерканному кочковатому парку, ковыляясь, ошупью пробиралась к канаве машина «скорой помощи». Он закурил. В белую машину закатывали комком что то замытое, мягое – текла по белому грязная жижа. Отчим Людочки плюнул окурок, пошел было, но тут же вернулся, раздергал туго затянувшуюся пеструю веревочку, снял ее с тополиного обломка, сунул в боковой карман куртки, притронулся к груди и, не оглядываясь, поспешил к дому Гавриловны, где уже заканчивались поминки. На столе еще оставалось много всякого добра. Городские бабы не могли одолеть всю выпивку, мало их было. Отчим Людочки выпил стакан водки, вслушался в себя и выпил еще один. Постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бугылки, переборол себя – заметно это было – и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке.

В почтительном отдалении поспешала за ним, но не попевала жена, – шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, дождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки, помог тяжелой женщине взняться на высокую железную ступеньку, место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает то ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. Она какая ему помощница?

Мать Людочки всегда чужла в «самом» затаенную, ей неведомую страхотищу, какую то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава Богу, не оказал при ней, да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему то ее охватившей, думала про себя, о себе, творила что то похожее на молитву: «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук, и как внучка, оно скрепит нас, на плаву жизни удержит... А за тую доченьку, кровиночку алую, жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь... Я зла никому не делала и ее погубила не со зла... Прости, прости, прости...»

Мать Людочки и не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами, но «сам» вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она несмело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему, и показалось ей, или на самом деле так было, он приспустил плечо, чтоб ловчее и покойней ей было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел.

У местного отделения УВД так и не достало сил и возможностей расколоть Артемку мыло. Еще с одним строгим предупреждением он был отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артемка мыло в училище связи, не в то, где пэтэушники работают с мудреными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же, не иначе, Артемка мыло скоро женился, и у него по стахановски, быстрее всех в поселке через четыре всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дите, улыбчивое и веселое. На крестинах отец Артемки мыло, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что

на свет белый его вынимали щипцами, уже и с папино мозговать не сумеет, с какого конца на столб влезть – не сообразит.

На четвертой полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось три убийства, сто пять квартирных краж, пятнадцать налетов на прохожих с целью снятия одежды, была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции, крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось, насилий было всего восемь, угонов транспорта – тридцать два, налетов на дачи одиннадцать. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано, однако, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на один и семь сотых процента.

Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось два года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря – сдуру, наложивших на себя руки.

Николай Булгаков



Подвиг патриарха

Николай Булгаков

Подвиг патриарха



Первый святой советского времени, святейший патриарх Тихон.

В нынешнем году исполнилось 125 лет со дня рождения святителя Тихона, патриарха Московского и всея России. Он возглавил Русскую православную церковь в самый трудный час её тысячелетней истории - с 1917 по 1925 год. Осенью минувшего года наша Церковь причислила его к лику святых.

«Чадца мои!..» - так, с нежностью, обращался он к своей пастве даже и в важнейших своих посланиях.

- Он любил вас всею силой своей великой души. Он душу полагал за вас... - говорил один из наших архиереев бесчисленным тысячам православного народа, собравшегося ко гробу своего святителя, когда закончилось его служение.

«Он был только тринадцать месяцев в заключении, но более тяжелой порой его жизни было всё время пребывания его на свободе в течение всех недолгих лет его патриаршества, которое и было сплошным подвигом мученичества, - писал о святителе Тихоне протоиерей М. Польский («Новые мученики российские». В 2 тт. Свято-Троицкий монастырь, Джорданвилль, США. 1957.) - Все эти годы он фактически жил в заключении и умер в борьбе и в скорби. Облекаемый в эту пору высшими полномочиями он избранием Церкви и жребием Божиим был жертвой, обречённой на страдания за всю Русскую Церковь».

Долгие годы мы не знали о нём ничего. Даже имя его не упоминалось. Но многие русские люди хранили память о патриархе Тихоне.

Нам ещё предстоит осмыслить всё значение его подвига - что он сделал для того, чтобы наш народ мог сохранить душу живую, когда именно на душу-то эту и ополчилась самая яростная брань, какую только знала мировая история.

В этот самый трудный час он оказался на самом трудном посту, самые грозные вихри обрушились на этого доброго, мягкого и необыкновенно стойкого в защите добра человека.

Патриарх Тихон встал за душу народа, за его веру, за его совесть. За сохранение главной святыни - нашей тысячелетней духовной традиции, которая по крупицам создавалась творчеством предков. Большевизм, новая власть, не останавливаясь перед реками невинной крови, сокрушали духовные устои русского народа. С ожесточённой яростью отвергалось важнейшее: понятие о добре и зле, данный человеку Богом нравственный закон, без соблюдения которого, как и при нарушении любых законов природы, рушится жизнь, искажается её смысл, человек начинает служить не жизни, а смерти. Главная человеческая ценность, которая в Евангелии

поставлена выше всех богатств мира, душа человека, была названа и вовсе не существующей. В это самое время святейший патриарх Тихон мужественно стоял на том, что есть неизблемое всегда, что душа не изменилась, что закон её очищения, её спасения - тот же, он вечен. В это самое время он продолжал говорить правду, и авторитетный голос его был слышен всей России, всему миру.

«Дело и страдания Патриарха Тихона столь огромны, столь единственны в своем роде, что ускользают от холодного и равнодушного взгляда... То была особая царственная свобода с полным отсутствием страха за свою судьбу. Каждый ощущал радость в присутствии патриарха, так как он не знал страха, хотя и был окружен постоянно грозящей опасностью. Даже мужественные сердца подчас испытывали тайный страх, но он оставался ясным и светлым, даже когда находился на волосок от смерти...»

«Патриарх стал как-то бесспорно духовным главой и вождём всего русского народа, живым символом его духовного единства, духовным держателем его неотъемлемых прав.»

Так говорил знавший патриарха, трудившийся рядом с ним русский мыслитель, богослов, профессор политэкономии, затем - Православного богословского института преподобного Сергия в Париже протоиерей Сергей Булгаков.

Кто же он, этот самый близкий к нам по времени, первый канонизированный нашей Церковью святой советского времени?

В 1884 году в Петербургскую духовную академию был принят девятнадцатилетний довольно высокий белокурый студент. Им был Василий Иванович Беллавин, сын сельского священника отца Иоанна из старинного русского города Торопца, что на границе Псковской и Тверской земель. Вскоре однокурсники прозвали его «Патриархом» - степенного, добросовестного, углублённо веровавшего. А ведь патриархов на Руси давно уже не было. Петру I не понравилось, что патриарх Адриан выступил против ломки исторической и духовной русской традиции. Появился Синод, который призван был управлять Церковью, как обычным государственным институтом. И всё-таки студенты оказались правы. В 1917 году Всероссийский поместный собор Русской православной церкви восстановил патриаршество, и именно их однокурсник стал святейшим патриархом Московским и всея России Тихоном.

После Академии Василий Иванович Беллавин возвратился во Псков, в свою семинарию. Неожиданно город узнал, что молодой преподаватель - ему шёл двадцать шестой год - подал прошение о принятии монашества. Народу при пострижении в семинарской церкви было так много, что опасались, выдержат ли полы - делали подпорки в нижнем этаже. Постриг был совершён в честь святителя Тихона Задонского, прославленного русского святого, с именем которого в нашем монашестве связано утверждение особого направления духовной жизни - старчества.

На 33 году Белавин стал епископом, а через год получил в управление огромную далёкую епархию с многонациональной паствой (русские, украинцы, сербы, греки, алеуты, эскимосы...) - Алеутско-Аляскинскую, по его прошению она стала именоваться Алеутской и Северо-Американской. Богослужение совершалось здесь на нескольких языках сразу. Молодой архиерей много сделал в этом краю для распространения православия. Он постоянно ездил на Аляску, на Алеутские острова, в Канаду, по Соединённым Штатам (кафедра находилась в Сан-Франциско). В 1901 году освятил начало строительства Свято-Николаевского собора - такая церемония состоялась в Нью-Йорке впервые. Были освящены храмы в Бруклине, Чикаго; в Пенсильвании - Свято-Тихоновский монастырь; миссионерская школа в Миннеаполисе стала семинарией... С православной Церковью в эти годы воссоединилось много униатов (многие православные приходы, возникшие в восточных штатах, были из бывших униатов). Открылся дом для бесплатного приюта бедных переселенцев из России. Американцы избрали архиепископа Тихона (он получил этот сан в 1905 году) почётным гражданином Соединённых Штатов.

В 1907 году владыка вернулся в Россию и возглавил Ярославскую епархию, одновременно был главой местного отделения Союза русского народа. Здесь тоже полюбили доступного, разумного, ласкового архипастыря и расставались с ним в 1913 году как с почётным гражданином Ярославля.

Затем - служба в Вильно, война, а 23 июня 1917 года владыка избран главой Московской кафедры, 13 августа возведён в сан митрополита. «Испытанная твёрдость воли и высокий такт» - так писали о нём в те дни.

В труднейшее для страны время, 15 августа 1917 года, в день Успения Божией Матери, в Успенском соборе Московского кремля открылся Всероссийский поместный собор Русской православной церкви. На нём была представлена вся Россия, собрались посланцы всех её епархий: архиереи, священники, простые крестьяне. Сразу встал главный вопрос: о восстановлении патриаршества, пресёкшегося в 1700 году. Один из крестьян сказал:

- У нас нет больше царя, нет отца, которого мы бы любили, Синод любить невозможно, а потому мы, крестьяне, хотим Патриарха.

Неожиданным было избрание председателя собора. «Подавляющее большинство остановило своё внимание не на звёздах первой величины в иерархии, каковыми были Антоний Харьковский и Арсений Новгородский, - вспоминал министр исповеданий Временного правительства (позднее - профессор Парижского православного богословского института) А. В. Карташев, - а на скромном, добродушном, не учёном и не гордом, а сияющем русской народной простотой и смирением, новом митрополите Московском Тихоне. Ему сразу же было дано эффектное большинство 407 голосов из 432 присутствовавших на заседании...

Собор в заседании 4 ноября принял церемониал избрания и наречения патриарха и решил, не откладывая, исполнить его на следующий же день, 5 ноября. К сожалению, Успенский собор в Кремле, где, по старомосковской традиции, должна была бы совершаться церемония, был недоступен. А потому торжество назначено было в храме Христа Спасителя. Но, для связи со старомосковскими святынями, сюда, не без больших препятствий, привезена была из Успенского кремлёвского собора древняя чудотворная Владимирская икона Богоматери. Газет уже не существовало. Известить нормально запуганное население о происходящем не было возможности. Поэтому все члены Собора старались передать извещение отдельным приходским священникам, а те в храме осведомляли богомольцев. 5-го ноября торжество состоялось. Литургию совершал митрополит Киевский Владимир. Перед началом её он, при особых соборных свидетелях, вписал имена трёх избранных кандидатов на патриаршество на три жребия, вложил их в специальный ковчежец, перевязал его лентой и, запечатав, поставил пред иконой Владимирской Божией Матери...

Роль жребия в избрании епископов, завещанная нам Византией, особенно широко практиковалась в Древней Руси, в Новгороде и в Москве, при поставлении патриархов...»

«Все с трепетом ждали, кого Господь назовет... - вспоминал об этом событии митрополит Евлогий. - По окончании молебна митрополит Владимир подошёл к аналою, взял ларец, благословил им народ, разорвал шнур, которым ларец был перевязан, и снял печати. Из алтаря вышел глубокий старец - иеросхимонах Алексей, затворник Зосимовой пустыни (неподалёку от Троице-Сергиевой лавры), ради церковного послушания участвовавший в соборе. Он трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Митрополит Владимир внятно прочёл: «Тихон, митрополит Московский». Словно электрическая искра пробежала по молящимся... Раздался возглас митрополита: «Аксиос!» («достойн!», греч.), который потонул в единодушном «Аксиос!.. Аксиос!..» духовенства и народа. Хор вместе с молящимися запел «Тебе, Бога, хвалим...». У многих на глазах были слёзы. Чувствовалось, что избрание патриарха для всех радость обретения, в дни русской смуты, заступника, предстателя и молитвенника за русский народ... Всем хотелось верить, что с патриархом раздоры как-то изживутся...

Когда мы расходились и надевали шубы, протопресвитер Шавельский сказал: «Вижу, Господом Церковь наша не оставлена...»

В день введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля состоялась торжественная интронизация нового патриарха. В древнем патриаршем соборе сохранился и патриарший трон на горнем месте, на который никто не садился 217 лет, и особое патриаршее место. Добыли из богатой патриаршей ризницы жезл митрополита Петра, который в XIV веке перевёл нашу церковную кафедру в Москву, белый клобук и мантию патриарха Никона. Из всех московских церквей крёстные ходы стекались на Красную площадь и в Кремль, где мощно гудел колокол Ивана Великого.

В тот день патриарх с крёстным ходом обошёл вокруг Кремля, окропляя его святой водой. Солдаты новой власти вели себя развязно, курили при крёстном ходе. Но вот показался патриарх - и они скинули шапки и протянули ему руки для благословения.

...У Бога - Свой счёт. Духовное зрение видит происходящее иначе, чем обычный наш взгляд. То, что на первый взгляд кажется гибелью, катастрофой, историческим тупиком, исполнено глубочайшего спасительного смысла, всё устремлено в будущее, в очищение, оздоровление.

Именно так видел патриарх происходящее в нашей стране прямо тогда, в те дни, как никто ощущая весь трагизм событий.

«Лишь немногие лица в Церкви столь трагичны в своей земной судьбе и в то же время столь явно отмечены особым помазанием божественного избранничества... - писал о нём протоиерей Сергей Булгаков. - При начале нового высшего церковного управления в 1918 году, в то время, когда патриарх и все члены Собора были в большой опасности за свою жизнь, он открыл первое заседание словами: «Мы живём в радостное время - мы видим осуществление идей соборности...»»

«Соборность, понимаемая как благодатное единство иерархического, личного и общественного начал, всегда была одной из самых излюбленных идей русского религиозного сознания.

Поместный Собор 1917-1918 гг., на котором избранные члены Русской церкви пережили минуты такого благодатного единения, ещё более увеличил религиозную жажду утверждения этого начала как нормы церковной жизни», - писал Лев Регельсон в своей книге «Трагедия Русской Церкви. 1917-1945» (Париж, 1977).

Когда в стране разразилась страшная братоубийственная война, когда на Церковь обрушились гонения, которых не знало ни татарское иго, ни любое иностранное нашествие, патриарх возвестил:

«Господь не перестаёт являть милости Свои Православной русской церкви. Он дал ей испытать себя и проверить свою преданность Христу и Его заветам не во дни только внешнего её благополучия, а и во дни гонений. День от дня прилагаются ей новые испытания. День от дня всё ярче сияет её венец. Многажды беспощадно опускается на неё, озарённый смирением, лик бич от враждебной Христу руки и клеветнические уста поносят её безустными хулами, а она, по-апостольски - в тщету вменяет горечь своих страданий, вводит в сонм небожителей новых мучеников и находит утеху для себя в благословении своего небесного Жениха: Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня; радуйтесь и веселитесь... (Мф. V, 11-12).»

В первый день 1918 года, когда в храме Христа Спасителя был отслужен новогодний молебен, он предсказал:

«Вся эта разруха и недостатки оттого, что без Бога строится ныне Русское государство... Церковь осуждает такое строительство, и мы решительно предупреждаем, что успеха у нас не будет никакого до тех пор, пока не вспомним о Боге.»

Пророческое слово патриарха было сказано и о Брестском мире, как только он был заключен:

«Этот мир, подписанный от имени русского народа, не приведёт к братскому сожительству народов. В нем нет залогов успокоения и примирения, в нём посеяны семена злобы и человеконенавистничества. В нём зародыши новых войн и зол для всего человечества.»

Слово правды всегда раздавалось на русской земле. Одно из самых ярких тому свидетельств - послание патриарха Тихона, направленное Совету народных комиссаров к первой годовщине Октябрьской революции.

Многие тогда настойчиво отговаривали святейшего от такого шага, считая, что он должен беречь себя для пользы Церкви. Патриарх внимательно выслушал все советы - и распорядился отправить послание.

Приводим этот документ, столь важный для нашей истории, полностью.

**Послание патриарха Тихона
Совету народных комиссаров**

13 (26) октября 1918 года

«Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. XXVI, 52).

«Это пророчество Спасителя обращаем мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину Октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к Небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. VII, 9-10). Народу, изнуренному кровопролитной войною, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унижительные условия которого даже вы сами не решались обнародовать полностью? Вместо аннексии и контрибуций великая наша Родина завоёвана, умалена, расчленена и в уплату наложенной на неё дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов всё, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно ещё храбрых и непобедимых, оставить защиту Родины, бежать с полей сражения. Вы угасили в сердцах воодушевлявшее их сознание, что «больши сея любви никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. XV, 13). Отечество вы подменили бездушным интернационалом, хотя сами отлично знаете, что, когда дело касается защиты отечества, пролетарии всех стран являются верными его сынами, а не предателями.

Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска.

Против кого вы их ведёте?

Вы разделили весь народ на враждующие между собою станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порождённой вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой революции.

Не России нужен был заключённый вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без упрощённого, вами введённого суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чём-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чём не виновны, а взяты лишь в качестве «заложников», этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершённые лицами не только им не единомышленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чём невинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределённой «контрреволюционности». Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения - напутствия святыми тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.

Не есть ли всё это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы сами когда-то много потерпели от жестоких властей.

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью; прикрываясь различными названиями - контрибуций, реквизиций и национализаций, - вы толкнули его на самый открытым и беззастенчивый грабёж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, под именем «кулаков», стали уже грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян,

умножая, таким образом, нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив тёмный и невежественный народ возможностью лёгкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нём сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния - убийства, насилие, грабежи всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями.

Вы обещали свободу...

Великое благо - свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийства, грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, когда семья, а иногда население целых домов, выселяются, а имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто своё мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церковные проповедники; голос общественного и государственного осуждения и обличения заглушен; печать, кроме узко большевистской, задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и её служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы (епископ Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский кремль - это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины - приход, уничтожаете братства и другие церковно-благотворительные просветительные учреждения, разгоняете церковно-епархиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной церкви. Выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете их необходимой для православного воспитания духовной пищи.

«И что ещё скажу? Недостанет мне времени» (Евр. XI, 32), чтобы изобразить все те беды, какие постигли Родину. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Всё это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Сбываются слова пророка - «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их - мысли нечестивые; опустошение и гибель на стезях их» (Ис. LIX, 7).

Мы знаем, что наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения нас в противлении власти, но чем выше будет подниматься «столп злобы» вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством справедливости наших обличений.

Не наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя наше благословение, если бы она воистину явилась «Божим слугой» на благо подчинённых и была «страшная не для добрых дел, но для злых» (Рим. XIII, 3-4). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем мы наше слово увещания: отпразднуйте годовщину своего пребывания у власти освобождением заключённых, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук. XI, 51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52).

Тихон,

патриарх Московский и всея России.

Так пророчески заканчивался этот беспримерный документ.

Патриарх не хотел видеть причину бед народных в действиях какого-то одного, двух, десяти, ста человек. Он во всеуслышание сказал «обольщённому, несчастному русскому народу», в чём причина его бед - и в чём выход из них.

Причина эта - грех.

«Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей...». Грех разжёл всюду пламень страстей, вражду и злобу, и брат восстал на брата, тюрьмы наполнились узниками, земля упивается неповинной кровью, проливаемой братской рукою, оскверняется насилием, грабежами, блудом и всякою нечистотою.

Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн чувственных земных благ, которыми и прельстился наш народ, забыв о едином на потребу.

Мы не отвергли этого искушения, как отверг его Христос-Спаситель в пустыне. Мы захотели создать рай на земле, но без Бога и Его святых заветов. Бог же поругаем не бывает. И вот мы алчем, ждём и негодуем на земле, благословлённой обильными дарами природы, и печать проклятия легла на самый народный труд и на все начинания рук наших...»

Выход?

Выход есть всегда. Как бы далеко ни зашло беззаконие. Выход - покаяние. Очищение.

«Мы убеждены, что... никто и ничто не спасет Россию от нестроения и разрухи, пока Правосудный Господь не преложит гнева Своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих, а через то не возродится духовно «в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины (Ефес. IV, 24)».

Патриарх Тихон был непоколебим в отстаивании правды, не жалея для этого жизни самой. И в любую минуту, среди самых яростных схваток он призывал к одному: к народному согласию.

Ещё 11 ноября 1917 года возглавляемый им Поместный собор принял решение об отпевании погибших обеих сражавшихся сторон и во всеуслышание заявил:

«Довольно братской крови, довольно злобы и мести.

Мести не должно быть нигде и никогда: тем более она недопустима над теми, кто, не будучи враждующей стороной, творит лишь волю их посылавших...

Не причиняйте нового горя и позора истерзанной Родине, и без того слишком обагрённой кровью своих сынов!

Вспомните о несчастных матерях и семьях и не примешивайте ещё новых слёз и рыданий о пролитой крови. Даже и те, кто отказался от Бога и Церкви, кого не трогает голос совести, остановитесь хотя бы во имя человеколюбия.»

Святейший не благословил ни Белое, ни Красное движение. Выступил он и против интервенции:

«Исстрадавшиеся сыны Родины нашей готовы даже малодушно кинуться в объятия врагов её, дабы искать среди них и под их властью успокоения жизни общественной, прекращения её ужасов. Горе той власти, которая довела русских людей до такого отчаяния! Но не здесь наше спасение, не от врагов надо ждать избавления; им только приятны все наши нестроения, они только и стремились к тому, чтобы посеять в нашей жизни семена вражды и междоусобий внутренних, дабы обессилить воинство наше и тем сокрушить могущество русской земли...»

В 1918 году, когда патриарх Тихон приехал в Петроград, толпы народа встречали его на Знаменской площади и прилегающих улицах. Люди плакали, становились на колени. Патриарх стоя благословлял всех из своей коляски на всём пути до Александро-Невской лавры.

В Казанском соборе Святейший сказал:

- А вот мы, к скорби и к стыду нашему, дожили до того времени, когда явное нарушение заповедей Божиих уже не только не признаётся грехом, но и оправдывается как законное. Так, на днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович... и высшее наше правительство - Исполнительный комитет - одобрил это и признал законным. Но наша христианская совесть, руководясь словом Божиим, не может согласиться с этим. Мы должны, повинувшись учению слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падёт и на нас, а не только на тех, кто совершил его... Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы всё это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего: «Блажени слышащие слово Божие, и хранящие е».

1918 год - год, обильно политый кровью священников, епископов. Расстрелы крёстных ходов, групп верующих при отнятии церковного имущества. Осквернение мощей святых угодников Божиих. Газетная кампания, запрещение церковной печати, кощунственные процессии, закрытие Поместного собора, закрытие монастырей, домашних церквей, всех духовно-учебных заведений, прекращение преподавания Закона Божия в школе на частные средства...

«Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на неё врагов неистовых?

Зовём всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой матери нашей, - призывал Патриарх. - Враги Церкви захватывают власть над нею и её достоянием силою смертоносного оружия, а вы противостояйте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной...»

В этот год патриарх отлучил от Церкви участников расправы над невинными людьми и гонителей Церкви.

Церковь всех принимает, как мать, двери её открыты для каждого, как никакие другие двери. Человек сам выбирает, прийти ли к ней или не прийти. И если он не приходит, он сам отлучает себя от неё. Но если он приходит к ней со злом, с поруганием, он отлучает себя от неё вдвойне. И Церковь лишь признаёт это самоотлучение - давая заблудшему ещё одну возможность опомниться, понять, что он совершает, готовая всегда снова принять заблудшего своего сына.

Однажды поздно ночью к патриарху пришла депутация с предложением уехать из города и даже из страны - всё, мол, готово для этого. Патриарх вышел спокойный, улыбающийся, внимательно выслушал всё, что ему сообщили о смертельной опасности, и наотрез отказался.

- Бегство патриарха, - говорил он, - было бы слишком на руку врагам Церкви, они использовали бы это в своих видах. Пусть делают всё, что угодно.

У него было одно оружие: вера, молитва, пост, твёрдость духа, и всегда с ним была любовь к нему народа. У его защитников не было ничего в руках...

Летом 1919 года произошло первое покушение на патриарха.

Месяцем позже датировано обращение святителя к православным чадам с призывом отказаться от актов мести по отношению к гонителям Церкви:

«...Зажигаются страсти. Вспыхивают мятежи. Создаются новые и новые лагеря. Разрастается пожар сведения счетов. Враждебные действия переходят в человеконенавистничество. Организованное взаимно-истребление - в партизанство, со всеми его ужасами. Вся Россия - поле сражения! Но это ещё не всё. Дальше ещё ужас. Доносятся вести о еврейских погромах, избиении племени, без разбора возраста, вины, пола, убеждений. Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет виновников своих неудач и, чтобы сорвать на них свои обиды, горе и страдания, размахивается так, что под ударом его ослеплённой жаждой мести руки падает масса невинных жертв. Он слил в своём сознании свои несчастья с злой для него деятельностью какой-либо партии и с некоторых перенёс свою озлобленность на всех...

Православная Русь, да идёт мимо тебя этот позор. Да не постигнет тебя это проклятие...

Пролитая кровь всегда взывает к новой крови. И отмщение - к новому возмездию. Строительство на вражде - строительство на вулкане. Взрыв - и снова царство смерти и разрушения...

Нам ли, христианам, идти по этому пути. О, да не будет! Даже если бы сердца наши разрывались от горя и утеснений, наносимых нашим религиозным чувствам, нашей любви к родной земле, нашему временному благополучию, даже если бы чувство наше безошибочно подсказывало нам, кто и где наш обидчик. Нет, пусть лучше нам наносят кровоточащие раны, чем нам обратиться к мщению, тем более погромному, против наших врагов или тех, кто кажется нам источником наших бед. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению. Не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром (Рим. XII, 21).

Чадца Мои! Все православные русские люди! Все христиане! Когда многие страдания, обиды и огорчения стали бы навевать вам жажду мщения, стали бы проталкивать в твои, православная Русь, руки меч для кровавой расправы с теми, кого считала бы ты своим врагом, - отбрось далеко так, чтобы ни в минуты самых тяжких для тебя испытаний и пыток, ни в минуты твоего торжества, никогда-никогда рука твоя не потянулась бы к этому мечу, не умела бы и не хотела бы нести его...»

В 1921 году, когда в страну пришло новое страшное бедствие - голод, патриарх Тихон обратился «К народам мира и к православному человеку» с воззванием:

«... К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой:

Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода. Не до слуха вашего только, но до глубины сердца вашего пусть донесёт голос мой болезненный стон обречённых на голодную смерть миллионов людей и возложит его и на вашу совесть, на совесть всего человечества. На помощь немедля! На широкую, щедрую, нераздельную помощь!

К Тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой: пощади и прости, к Тебе, Всеблагий, простирает согрешивший народ Твой руки свои и мольбу: прости и помилуй.

Во имя Христова исходим на делание своё: Господи, благослови.»

В короткий срок было собрано около 9 миллионов рублей, и сборы бы продолжались. Это естественно: на протяжении всех веков русской истории Церковь всегда приходила на помощь своему народу, который и составлял её, всем голодным, больным, оставшимся без крова. Едва ли не при каждом приходе были богадельня и приют. Но власти поняли, что эта помощь только поднимет авторитет Церкви в глазах народа. И тогда под предлогом помощи голодающим они начали новое наступление на Церковь. Началось насильное изъятие церковных ценностей, а проще - осквернение святынь.

И патриарх Тихон, который только что сам призывал к пожертвованиям, а затем допустил возможность «духовенству и приходским советам, с согласия общин верующих... использовать драгоценные вещи, не имеющие богослужебного употребления (подвески в виде колец, цепей, браслеты, ожерелья и другие предметы, жертвуемые для украшения святых икон, золотой и серебряный лом), на помощь голодающим», видя, как насильственно совершается то, что Церковь должна была и хотела сделать сама, как святотатственно грабится её священное достояние, издал новое послание, в котором призвал уже к его защите: «Мы призываем чад Церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти жертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Но мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской церкви и карается ею как святотатство - миряне отлучением от неё, священнослужители - извержением из сана (Апостольское правило 73, Двукратный вселенский собор. Правило 10).»

В борьбе с Церковью в это время произошло до двух тысяч кровавых эксцессов по России, были расстреляны тысячи и тысячи верующих. Среди них - и митрополит Петроградский Вениамин.

Были отобраны ценности на астрономическую сумму. Лишь малая часть из них пошла на хлеб голодающим...

Очевидец событий епископ Антонин Грановский... в своё время подчеркнул, что эта правительственная мера не вызывает (мягко говоря) сочувствия у православных масс не потому, что верующие не хотели помочь правительству в борьбе с голодом или отдать эти ценности запрещала им их религиозная совесть, а единственно и исключительно потому, что у этих масс нет решительно никакого доверия к лозунгу, под которым проводилась эта мера. Верующие тревожились, что церковные ценности могут пойти на иные, чуждые их сердцам цели.

Это были совершенно справедливые опасения. Как показали дальнейшие события, к комиссии по изъятию церковных ценностей примазались уголовники, коррупционные элементы, о чём достаточно выразительно говорят такие судебные процессы, как процесс Павлицкого, контролёра Гохрана, изымавшего церковные ценности в Рогожско-Семёновском районе. Церковные ценности потекли на чёрный рынок. Наживали миллионы. В Москве. А что говорить о провинции?» (Вл. Степанов (Русак). Свидетельство обвинения. Церковь и государство в Советском Союзе. Ч. I. М., 1980).

28 марта 1922 года, в разгар этой борьбы, в «Известиях» был опубликован «Список врагов народа». Первый в нём - патриарх Тихон «со всем своим церковным собором», далее десятки епископов и священников.

В апреле 1922 года начался «судебный процесс» над патриархом Тихоном. Революционный трибунал вынес определение о привлечении его к уголовной ответственности. Вскоре ему было объявлено, что он находится под домашним арестом.

Однажды патриарх пришёл из Чека поздно ночью. Это было перед его последней службой на свободе. Келейникам, измученным ожиданием, он только и сказал:

- Уж очень строго допрашивали...

- Что же вам будет?

- Обещали голову срубить, - ответил патриарх с неизменным своим благодушием.

Литургию он служил, как всегда: ни малейшего напряжения в молитве.

В ночь на 19 мая патриарха перевезли с его Троицкого подворья (возле Самотёки) в Донской монастырь. Здесь под охраной, в полной изоляции от мира ему предстояло пробыть год. Затем - месяц в ГПУ, на Лубянке, при непрерывных «беседах».

Это были труднейшие времена для Церкви, а значит и для всей духовной жизни народа. Власть, которая стремилась разбить христианские устои, требовала уступок, и не в чём-то второстепенном, но в существе веры. Начался обновленческий раскол. Часть духовенства объявила цели новой власти вполне согласующимися с христианством, стала вносить далеко идущие новшества в богослужение, в важнейшие церковные установления - всё по пути омирщения Церкви; «борьба против Церкви из внешней стала и внутренней» (протоиерей Сергей Булгаков).

Когда нависла эта угроза, патриарх Тихон призвал хранить живую чистоту веры:

«...Совершая богослужение по чину, который ведёт начало от лет древних и соблюдается по всей Православной церкви, мы имеем единение с Церковью всех времён и живём жизнью всей Церкви... При таком отношении пребудет неизменным великое и спасительное единение основ и преданий церковных...

Божественная красота нашего истинно назидательного в своём содержании и благодатно-действенного церковного богослужения, как оно создано веками Апостольской верности, молитвенного горения, подвижнического труда и святоотеческой мудрости и запечатлено Церковью в чинопоследованиях, правилах и уставе, должна сохраняться в святой Православной русской церкви неприкосновенно, как величайшее и священнейшее её достояние...»

Когда патриарх был в заключении, различные течения обновленчества («Живая Церковь» и другие) собрались на свой «Поместный собор», который отменил патриаршество, лишил святейшего Тихона «сана и звания патриарха» и даже монашества.

На доставленном ему постановлении патриарх наложил резолюцию:

«Прочёл. Собор меня не вызвал, его компетенции не знаю и потому законным его решения признать не могу.

Патриарх Тихон (Василий Беллавин), 22 апреля / 4 мая 1923 года.»

«Хотя живоцерковничество, взлелеянное в тайниках Чеки и оттуда всё время поддерживаемое, не представляет и не представляло никакой духовной силы, есть явление разложения, - говорил в 1925 году протоиерей Сергей Булгаков, - однако опасность и вредоносность его, при данных обстоятельствах, для Церкви, при беззастенчивости и наглости его агентов и при полной связанности православия, была чрезвычайно велика. Она не может считаться и сейчас устранённой, ибо из острого состояния перешла в хроническое, и социалистические подделки церковности всё время будут фабриковаться в Советской России, однако главная волна уже разбилась, в прямом бою с Церковью живоцерковство оказалось посрамлено, и победил его святейший патриарх, в узилище, в оковах, но сильный своей верой, своей непримиримостью и безграничным доверием и любовью народной.

Трудно даже исчислить те бедствия, которые постигли бы Русскую церковь, если бы это движение в нём не встретило скалы несокрушимой, о которую и разбилось в своём разбеге.»

Первоиерарх нашей Церкви. замученный арестами, допросами, постоянным давлением власти, которая то и дело ставила его перед дьявольским выбором: либо принять одного из руководителей обновленчества, либо архиереи будут выпущены из тюрем, и тому подобными, провёл церковный корабль через «бурю, которая неминуемо должна была сломать руль и выбить его из рук рулевого» (протоиерей Сергей Булгаков), выбирая наилучший, спасительный путь тогда, когда, казалось, вовсе не остаётся никакого пути.

Чего ему это стоило... Бог весть!

- Святитель особенно предстательствует за паству свою, - говорил о подвиге святительства протоиерей Валериан Кречетов. - Вникая в нужды своей паствы, он сострадает всем - что есть добровольное мученичество...

Сострадание всей России, несение в своей душе скорбей всего народа в столь прискорбное время - как это измерить?

В эти дни Патриарх молился за всех гонимых, страждущих, растлённых, растлевающих, верных и заблудших чад своих:

«Милосердный Господи, Боже сил!

Из глубины душевныя смиренно вопиём Ти: силою Креста Твоего смири дерзость ненавидящих и хулящих имя Твоё Святое, оскверняющих и разрушающих святыню храмов Твоих и люте гонящих верных чад святая Церкви Твоя.

Всем страждущим и изнемогающим за исповедание веры во Имя Твоё послы Ангелов Твоих святых, да укрепляются верная люди Твоя в несении благаго ига Твоего ангельским покровом и предстательством Пресвятыя Богородицы и всех святых Твоих.

Многомилостивый Господи! Болезненным сердцем, со слезами молимся Тебе, призри на вопль, стенание и умиленные молитвы всех верных людей, от нападения врагов Твоих, Господи, страждущих, святыни храмов Твоих и благодати святых таинств Твоих лишённых.

Умилостивися, Господи, над младенцы; светом Святаго Крещения не озаренныя и печатю дара Духа Святаго не запечатлённыя.

Пощади, Господи, отроки, юноши и девы, соблазняемые ненавистниками Имени Твоего на всякое неверие, нечестие, богохульство, распутное житие, зависть и злобу к ближнему своему.

Умилосердись, Господи, на старцы и болящия, лишённые в предсмертный час благодатнаго утешения в елеопомазании и причастии святых таин Твоих и нечающия христианскаго погребения.

Огради, Господи, монашествующих лик, из святых обителей изгнанных и поношения терпящих.

Наипаче же утверди, Господи, крепостию Духа Твоего священники Твоя, дабы небоязненно, даже до смерти во единении стояли на страже стада Твоего. Всех же, Тебе ради приявших мученическую кончину, сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовать.

На Кресте моливыйся за распинателей Твоих и приемый в последний час разбойниче покаяние, не погуби, о Господи, отступников, хулителей и гонителей святая веры и святая Церкве Твоя, но аще возможно сие, даруй и им радость познати Тя, Божественную любовь и премудрость, и дни свои в истинном покаянии скончати.

На Тя, Господи, уповаем и не постыдимся вовек, Ты бо еси заступление наше, помощь и победа, победившая мир, свет паче всякаго света. Радость паче всякия радости, упование паче всякаго упования, жизнь истинная и спасение вечное и Тебе, в Троице покланяемому, славу вси возсылаем, ныне и присна и во веки веков. Аминь.»

Поддержкой святителю в его пастырском труде были многие православные люди, оставшиеся на верном пути. Среди них - один из последних оптинских старцев иеромонах Нектарий (Тихонов). «Многие вопросы решались патриархом в соответствии с мнением старца. Это происходило через лиц, близких к патриарху и общавшихся с батюшкой», - читаем в книге И. М. Концевича «Оптина пустынь и её время» (Джорданвилль, 1970).

«Патриарх, может быть, был самым бесстрашным, мужественным и спокойным пред лицом смерти человеком в России, - писал протоиерей М. Польский. - Всё его существо, его лицо и само сердце излучало всегда и неизменно обаяние глубокого покоя и простоты. Для него умереть было бы слишком легко. Это самое простое, на что он мог решиться в любой момент. Для него, старика, монаха и патриарха, мученическая смерть была бы приятна, прекрасна и славна и потребовала бы минимума героизма. Самым мучительным вопросом для него могло быть только - как управлять Церковью, что сделать для облегчения её положения и устройства её жизни в безбожном государстве, которое как будто предлагает условия существования. Надо было исчерпать со своей стороны, жертвуя, если это потребует, своим престижем и славой, все возможности для блага Церкви, не нанося ущерба христианской морали вообще, настроению церковного народа и клира и не нарушая церковные каноны.»

В июне 1923 года патриарх был освобождён - с заявлением от его имени, что он «Советской власти не враг».

Началось возвращение обновленцев и их прихожан в православие...

В советской историографии была такая картина: патриарх Тихон был, мол, сначала против Советской власти, а потом покаялся, признал её.

Но ещё в 1919 году, находясь на свободе, святейший обратился к архипастырям Русской церкви с призывом о невмешательстве в политическую борьбу:

«Мы, служители и глашатели Христовой истины, подпали под подозрение у носителей современной власти в скрытой контрреволюции, направленной якобы к ниспровержению Советского строя. Но мы с решительностью заявляем, что такие подозрения несправедливы: установление той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя ни с каким определённым образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение.»

««Анафема» нарушителям мира церковного и посягателям на народную и веру и святыни была направлена вовсе не против советской власти как таковой, но против её воинствующего безбожия... - говорил протоиерей Сергей Булгаков в 1923 году. - Зачем же понадобились эти измышления? Зачем потребовалось вынуждать мнимое покаяние в том, чего никогда не было, объяснять выступления патриарха против Советов политическими мотивами, которых он никогда не имел? Зачем эти пошлые и ложные обвинения в контрреволюции и приверженности определённой политической партии, как не для того, чтобы обмануть, отвести глаза, придать благовидность и оправдание тому, чего начинают стыдиться, то есть гонения на веру?

... Церковь тогда только исполняет свою высшую миссию - сохранять и воспитывать духовные силы народа, - если сама блюдёт свободу и независимость.»

И затем, уже после кончины святителя, отец Сергей так говорил о его служении в последние годы:

«Когда опасность гибели угрожает в море, приходится выбрасывать в море даже и ценный груз, чтобы спасти самое драгоценное. Нелегко принять такое решение, которое связано с готовностью принять за него всю

ответственность, но его иногда неизбежно становится принять. И когда, волею Божьей, жребий мученичества сменяется снова жребием исповедничества, пред ним встала необходимость сосредоточить все силы на одном - обличении и разрушении лжецеркви, оставив всё прочее, и подчинить одной этой основной цели свой образ действий.

Это потребовало новых самоопределений, которые трудно поддаются пониманию и смущают некоторых и ныне. Патриарх не мог, конечно, изменить своего отношения к тем действиям советской власти, которые представляют собой неслыханное и свирепое гонение на всё святое и вдохновляются сатанинской ненавистью к Богу, антихристовой злобой ко Христу. Патриарх, пред лицом всего мира, осудил эти действия власти, причём сначала, когда никто ещё не верил действительности этого чудовищного и противоестественного строя, и патриарх готов был хотя бы своей жизнью дать освобождение народу. Когда стал выясняться затяжной и длительный характер болезни русской государственности и патриарх счёл необходимым признать эту длительность, считаться с этим и, подчиняясь факту, как первохристиане подчинялись факту нероновской власти, всё своё внимание и энергию сосредоточил на обличении и искоренении живоцерковного раскола. Это сужение фронта, невольное и очевидное, неизбежное, стоило патриарху принятия некоторых решений, словесных жестов в сторону советской власти, причём, конечно, в царстве лжи и насилия никогда нельзя добиться истины и узнать подлинный ход событий. Посему здесь приходится судить только по общему смыслу факта, но не по тексту тех документов, которые публикуются от имени патриарха.

В этой кажущейся уступчивости патриарха следует видеть его новую и последнюю пастырскую жертву ради своих овец: вместо мученической славы внешнее умирание и бесславие примирения. Но эта новая жертва, это юродство Христа ради ещё больше, кажется, возвеличили имя патриарха: народ принял сердцем то, что родилось из сердца любящего.»

О своем положении святейший говорил:

- Лучше сидеть в тюрьме, я ведь только считаюсь на свободе, а ничего делать не могу, я посылаю архиерея на юг, а он попадает на север, посылаю на запад, а его привозят на восток.

Однажды в тот час, когда верный келейник патриарха, который был вместе с ним ещё в Америке, Яков Анисимович Полозов, не ушёл домой, как обычно в этот день, в покои патриарха проникли неизвестные, раздался выстрел. Полозов был убит. Ясно было, что пуля предназначалась не ему...

Патриарх настоял на том, чтобы Полозова похоронили рядом с храмом в честь Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре. Власти противились даже и этой воле Всероссийского патриарха. Но Святейший сказал кратко:

- Он будет лежать здесь.

Так они и лежат под землёй рядом, а на земле их отделяет друг от друга стена храма, внутри которого - гробница патриарха.

25 марта (7 апреля) 1925 года, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Тихон, одиннадцатый патриарх России, скончался.

«Часов около десяти вечера святейший потребовал умыться и, с необычайной для него строгостью, «серьёзным тоном», к которому я не привык, - рассказывал его келейник (Константин Михайлович Пашкевич), - сказал:

- Теперь я усну... крепко и надолго. Ночь будет длинная...

Минута проходила за минутой. Святейший лежал с закрытыми глазами. После маленького забытья святейший открыл глаза и спросил:

- Который час?

- Без четверти двенадцать.

- Ну, слава Богу, - сказал святейший, точно только этого часа он и ждал, и стал креститься. - Слава Тебе, Господи! - сказал он и перекрестился. - Слава Тебе, Господи! - повторил он и снова перекрестился. - Слава Тебе, Господи! - сказал он и занёс руку для третьего крёстного знамения...

Патриарх всея России, новый священно-мученик за веру православную и Русскую церковь, тихо отошёл ко Господу». (Из рукописи протоиерея Н. «Кончина и погребение патриарха Тихона»).

На Вербное воскресенье - в праздник Входа Господня в Иерусалим - состоялось погребение патриарха. Море народа пришло с ним проститься. Миллион человек прошёл мимо его гроба. Люди из разных мест России съехались - хотя в газетах сообщение появилось слишком поздно.

«С самого начала Собор и народ любили своего отца, - писал протоиерей Сергей Булгаков.- Здесь осуществилось то отношение между пастырем и пасомыми, которое характерно для Православной церкви, отношение не страха или строгой дисциплины, но отношения любви - любви в послушании и послушания в любви...

Патриарх был ангелом Русской церкви в дни испытаний. Он был хранителем и стражем достоинства верховной власти и свободы Церкви... Патриарх был хранителем чистоты веры и неодолимости церковного здания, ограждая Церковь одновременно от националистических страстей и от социалистической демагогии...

Восшествие на патриарший престол было для патриарха восшествием на Крест.

Он был возведён в это высшее достоинство, чтобы он мог нести крест служения. Ныне он молится за народ, страдающий и ослепленный, чтобы он стал верным, чтобы он мог возлюбить Бога более, чем свою собственную жизнь. Патриарх в узах во главе России, в узах стал светом мира. Никогда от начала истории Русская церковь не была столь возвышена в своей главе, как она была возвышена в эти прискорбные дни испытаний...»

...Это был удивительный день - 9 октября минувшего года. В самом старом и единственном ныне действующем московском монастыре, Свято-Даниловом, должно было состояться важнейшее событие Архиерейского собора, посвящённого 400-летию установления патриаршества на Руси, - канонизация новых русских святых.

Множество знакомых и незнакомых радостных и сосредоточенных лиц... Неброское и такое близкое лицо архимандрита Евлогия, главы возрождающейся Оптиной пустыни, первого наместника этого, Данилова, монастыря, поднимавшего его в самые трудные, первые три года после разрухи, после того, как здесь была колония для малолетних преступников. Серьёзное и спокойное лицо митрополита Антония Сурожского, нашего владыки в Лондоне, знакомого нам по его замечательным проповедям...

И вот... Торжественная служба.

Снова поражаешься глубине, мудрости, красоте нашего богослужения.

Служба началась с заупокойной молитвы - той, которую всегда служат по усопшим: «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих... И сотвори им вечную память...». В последний раз молились мы за упокой душ усопших рабов Божиих патриархов Всероссийских Иова и Тихона.

И сразу же - служба им как святым!

Все собравшиеся в Троицком соборе монастыря в удивительном единодушии, «единими усты и единым сердцем», с праздничной радостью поют молитву святому Духу, с которой начинается всякое богослужение: «Царю Небесный, Утешителю, душе истины...»

При пении тропаря и кондака (главных кратких песнопений святого или праздника), которых ещё ни разу не слышала наша Церковь, посвящённых новому святому, с западной стороны выносятся большая его икона. Её подносят святейшему патриарху Московскому и всея Руси Пимену, стоящему среди многих архиереев. Он первым прикладывается к иконе - и она поставляется на аналой посреди собора.

И вот - здесь две иконы: патриархов Иова и Тихона. Впервые мы поём: «Святителие Христовы Иове и Тихоне, молитесь Бога о нас!»

Так будет отныне и до века.

Все мы, пришедшие в этот день в Троицкий собор, ощущали себя участниками великого, чудесного события в истории страны и Церкви, которое прямо здесь, сейчас случилось, всё значение которого нам ещё понимать и понимать...

Первый наш патриарх Иов, при поставлении которого на престол Москва по праву стала именоваться Третьим Римом, ибо тогда, после захвата «нового Рима» - Константинополя - турками, Россия осталась единственным государством с православным царём. И патриарх Тихон, который выстоял в годину страшных гонений на христиан и Церковь, которые обрушились с такой силой на православие за всю его историю трижды: в Риме от язычников, в Константинополе от еретиков и в Москве от безбожников. И вот теперь, отныне они сияют на небосклоне всех святых, в земле Российской просиявших, давая нам благодатную поддержку в наш трудный и ответственный исторический час, укрепляя нас в надежде на то, что России не гибель попущена Богом, но дарована новая возможность её восстания из пепла для пользы и научения и своих, и других народов, для спасения всех, кто вразумится её дорогостоящим и беспримерным по своему духовному значению жертвенным уроком.

Круг истории замкнулся: тот, кто в своё время был объявлен первым в «списке врагов народа», первым из новых мучеников причислен ныне к лику святых.

Российская история вновь выходит на свою веками продолжавшуюся дорогу, которой шла, исполняя главное предназначение своей судьбы - хранить верность Христу, по которой она пойдёт дальше и дальше - к очищению, к свету, если только мы приложим к этому хоть малую толику тех усилий, которые без меры отдал ей наш великий соотечественник, Всероссийский патриарх святитель Тихон.

Ещё в начале 1918 года он предсказывал:

«Верим, что как быстро и детски доверчиво было падение народа русского, развращаемого много лет не свойственной нашей христианской стране жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние его, и никто не будет так любезен сердцу народному, как пастырь родной его матери Церкви, вызволившей его из египетского зла.»

Круг замкнулся...

В тот осенний день мы знали, что святейшему патриарху Пимену дана эта милость Божия - не только возглавить празднование 1000-летия Крещения Руси, но и нынешнюю канонизацию, столь важную для восстановления правды нашей Церкви. Церковь тем самым открыто провозгласила верность своему гонимому святителю, свою духовную свободу.

Но мы не знали в тот день, что это и последнее служение святейшего Пимена. Что это событие будет завершением не только целой эпохи в нашей Церкви, но и его судьбы.

И после его кончины 3 мая 1990 года и погребения 6 мая, в день святого великомученика и победоносца Георгия, когда мы будем осмысливать завершившийся путь последнего патриарха, когда в сердце нашем будет жить благодарность ему за несение особого креста, тяжести которого никто, кроме него, не испытал, за все его молитвы о нас, мы будем думать и о преемственности патриархов Тихона и Пимена - первого и последнего наших первоиерархов труднейшего для Церкви времени.

В это время для нас было сохранено главное - верность православию. Сохранено ценой невинной крови, душевных страданий, великого молитвенного подвига.

Сохраним ли и мы это главное завещанное нам сокровище - ныне, во времена, по видимости более лёгкие для веры (нет прямых гонений), но духовно имеющие свои трудности (дух растления меняет свое обличье, но не оставляет той же цели - не допустить любыми соблазнами души человеческие приходить ко Христу)?

Всей душой мы желаем новому Всероссийскому патриарху Алексию в его служении на нынешнем новом, важнейшем этапе в жизни страны и Церкви помощи Божией - предстательством Царицы Небесной, молитвами всех святых (в день памяти которых, 10 июня 1990 года, состоялась его интронизация), и среди них - его великого предшественника святителя Тихона.

Словами тропаря, впервые прозвучавшего в тот осенний день в Даниловом монастыре, снова и снова молимся мы великому нашему пастырю, заступнику, молитвеннику, пророку о самом главном, самом нужном стране нашей, каждому из нас:

«Апостольских преданий ревнителя и Христовы Церкви пастыря доброго, душу свою за овцы положившаго, жребием Божиим избранного Всероссийского патриарха Тихона восхвалим и к нему с верою и упованием возопиим: предстательством святительским ко Господу Церковь русскую в тишине соблюди, расточенная чада ея во едино стадо собери, отступившая от правды веры к покаянию обрати, страну нашу от междоусобных брани сохрани и мир Божий людям и спроси.»

А.И. Гуров
В.Н. Рябинин



ИСПОВЕДЬ
"ВОРА
В ЗАКОНЕ."



Александр Иванович Гуров, Владимир Николаевич Рябинин

Исповедь «вора в законе»

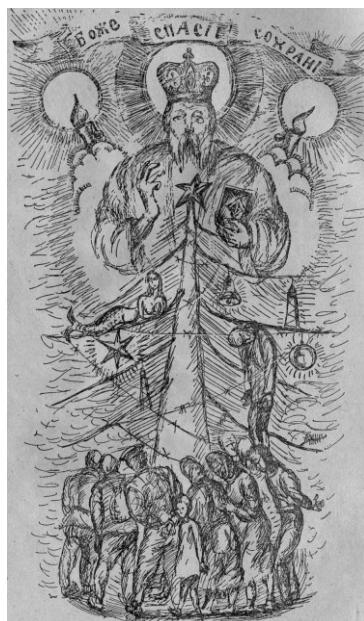
От авторов

Мафия, организованная преступность, рэкет... Эти слова сегодня едва ли не самые распространенные в нашем обиходе. Ими обозначают явление, с которым мы столкнулись буквально в последние годы, для которого, как прежде считали, не было в нашем обществе социальной почвы. Так же, как для преступности профессиональной. И тем не менее «воры в законе» стали у нас реальным фактом.

Авторы задались целью проследить истоки, причины зарождения отечественной мафии, взявшей на вооружение многое из арсенала профессиональных преступников тридцатых – начала пятидесятих годов, в том числе их законы, атрибутику, но по существу имеющей с ними чисто внешнее сходство.

В основу глав, обозначенных нами как «Исповедь», положен документальный материал – записки «вора в законе» старшего поколения, который более четверти века провел в местах лишения свободы, подлинные письма и обращения к «братству» преступников новой формации. Нам представлялось важным посмотреть на «законников» прежних лет глазами нашего современника, отступив от бытовавшей долгое время традиции считать их какой то серой, безликой массой, попристальнее взглядеться в их лица, порой такие непохожие. Это важно еще и потому, что многие из воров профессионалов той поры – жертвы не только войны, голода, но и безжалостных жерновов сталинского режима, подминавших под себя всех без разбора.

Клички и имена отдельных персонажей по разным причинам изменены. Однако в большинстве случаев они подлинные, что, на наш взгляд, помогает с большей достоверностью воссоздать события прошлого, традиции и колорит воровского мира Москвы.



Часть I. Молодые годы Вальки Лихого.

Вместо пролога. Как тут у вас, на «воле»?

– Ну, ни пуха, Лихой! Для такого, как ты, – дело пустяшное. Хотя, конечно, будь осторожней. Дипломат крепче держи, не потеряй.

Отвечать на эти слова я не стал, уловив в них фальшивую ноту. Да и было бы кого слушать. Обидно, но факт. Я, известный карманник, «вор в законе», должен выполнять инструкции какого то холуя. Из породы тех, кого нынешние «законники» презрительно именуют «шестерками». Смех, да и только...

Дверь квартиры тихо захлопнулась, я вызвал лифт. Возле подъезда наметанным глазом огляделся по сторонам. Ничего подозрительного. И только тогда направился к трамвайной остановке.

Я мог бы сразу сесть в такси, но Сергунчик – так звали этого холуя – настоял, чтобы вначале ехать на трамвае, и обязательно с пересадкой, проверяя, нет ли «хвоста». Выходит, Сизый просто трепался, когда говорил, что риска никакого.

Сизый... Хорош голубок. Да нет, скорее – гусь. Поначалу к нему вообще не хотели меня пускать. Есть, мол, опасность провалить «блатхату». Тогда я сказал, что должен передать Сизому личный привет от его знакомого, который отбывал со мной срок. Соврал, конечно, но – подействовало. И в конце концов я был допущен пред его светлые очи.

По моим понятиям, вилла, подобная этой, могла принадлежать разве что министру либо, по крайней мере, ловкому торгашу. (В наше время пределом мечтаний для «вора в законе» было снять у хозяйки надежный угол). Все говорило здесь о достатке и процветании. Чистых кровей немецкая овчарка, самодовольно обнюхавшая меня в прихожей, дорогие ковры, расставленные вдоль стен стерео, видео, телефон в стиле «ретро» и еще всякая чертовщина. А на стенах – с десяток увеличенных фотографий каких то красавиц.

Сизый встретил меня почти официально. В кабинете, сидя за письменным столом. Это был сухощавый, спортивного вида брюнет лет тридцати семи. Закралось сомнение: «туда ли вообще я попал?»

– Дмитрий Васильевич, – через стол, небрежно протянул он мне руку. – Слышал о вас, Валентин Петрович. Говорят, виртуозом были в своем деле. Имей я часок, другой, с удовольствием послушал бы ваши байки из забытого прошлого. Но... – Тут он картинно развел руками. – Время для нас – в прямом смысле деньги. Нынче, как говорится, ускорение. Темп жизни другой.

Ошарашенный всем увиденным, я долго не мог прийти в себя. Сизый, очевидно, понял мое состояние.

– Этому антуражу не удивляйся. Действуем вполне легально. Одному из наших воров – светлая голова – пришла в голову отличная идея: организовать свой кооператив. Назвали мы его «Фото на память». Салон на Советской, разъездные мастера. А здесь, как видишь, кабинет председателя. Лучше «крыши» и не придумаешь.

Вот, оказывается, в чем дело. «Вор в законе», он же глава кооператива, бизнесмен, действующий легально. А та, обратная сторона медали скрыта от посторонних глаз. Неплохо придумано, но для нас, карманников старой закалки, непривычно, и просто неприемлемо. Быть «в законе» означало для нас заниматься воровским ремеслом, и только. Не говорю уж о том, что «боссов», подобных Сизому, тоже не существовало. «Воры в законе» были равны, никто не имел права давить своим опытом или авторитетом, на сходах все решалось голосованием... Вот так одну за другой сдают позиции наши неписанные законы, что держались десятки лет. А ведь прежде за нарушение хотя бы одного из них «босыки» своего брата вора сурово наказывали, порой жизни лишали...

После того как Сизый открыл «секрет фирмы», у меня отлегло от сердца. На откровенность надо отвечать откровенностью. Сказал ему, что твердо решил «завязать»: годы не молодые, хоть напоследок поживу спокойно.

– Это на какие шиши? – не скрывая иронии, спросил Сизый. – Или в «строгаче» про запас дровец напилил?

– Напилишь там черта с два. Достались под расчет крохи. И те дорогой просадили в картишки.

– Что то не пойму я тебя, Лихой, – Дмитрий забарабанил пальцами по столу. – Толкуешь, что решил завязать, а сам ко мне напросился. Сказал ребятам, будто хочешь передать привет, а дружков у меня в тех краях – никого. Мы, конечно, тебя проверили, но за такие шутки знаешь, что бывает.

– Извини, Сизый. Иначе бы на тебя не вышел.

– Ну ладно. Ближе к делу.

– В общем, попал я в заколдованный круг. Направление на работу дали – нет места в общежитии. Значит, не будет прописки. Знакомые, у кого мог бы прописаться, поразъехались либо поумирали. А нет прописки – значит, иди гуляй.

– Ну, а чем я то могу помочь? Пристроил бы тебя в кооператив, но... «завязавших» не держим.

– погоди, Сизый. Эти дела как нибудь решу. Пойду в исполком, в милицию. А к тебе просьба такая: одолжи рублей двести. На первое время, чтоб угол снять да с голоду не подохнуть. Начну работать – отдам. Я ведь, между прочим, обучался на шлифовщика.

Сизый явно не ожидал такого поворота. Он поднялся из за стола, подошел к бару, достал оттуда пузатую бутылку с импортным коньяком, наполнил рюмки. И вдруг, неожиданно для меня, – расхохотался.

– Ну ты даешь, Лихой! От кого другого, но от тебя... У нас здесь что – райсобес для «завязавших»? – От смеха у него на глазах проступили слезы. – Впрочем, давай пропустим по маленькой. За тех, кто там – не дай Бог нам.

Тост был наш, воровской, без которого прежде (да, как видно, и теперь) у нас, воров, не обходилось ни одно застолье. Поднимали стакан за тех, кто в «зоне».

Мы выпили. Помолчали.

– Деньги я тебе дам, Лихой, – нарочно растягивая слова, сказал Дмитрий. – Но при условии, что ты нам окажешь небольшую услугу.

– Но я же...

– Э э, пустяки, – перебил он. – Риска никакого, это я гарантирую. Впрочем, решай сам.

Я согласился, поскольку понял, что иначе уйду отсюда ни с чем и ночевать снова придется на вокзале.

– Давно бы так, – Сизый удовлетворенно опустил в кресло. – Объясняю суть. Завтра ровно в час дня ты должен быть в Быковском. Это дачный поселок. Знаешь, наверное. Заберешь у нашего человека «товар» и доставишь в фотосалон на Советской. Придешь туда под видом клиента. Адреса, пароли и все остальное узнаешь у Сергунчика. Поедешь сейчас на его «хату», там и заночуешь.

– Понял. И все же я должен знать, что за «товар». Если взрывчатка – уволь.

Сизый опять рассмеялся.

– Террором пока не занимаемся. Картинки там, у одного местного коллекционера «позаимствовали». Ну что, по рукам?..

И вот я еду на шестой «марке» – в том самом трамвае, где в свое время со своими поделниками много раз «держал трассу» – чистил у пассажиров карманы. Воспоминания, прямо скажем, не из приятных... Возле универмага, убедившись, что нет «хвоста», пересаживаюсь на другой маршрут. Проехав еще несколько остановок, беру такси.

Через полчаса я в Быковском. Это дачное место хорошо знаю – одно время мы с напарником снимали здесь «хату».

Оставляю машину за два квартала до нужной мне улицы, расплачиваюсь с шофером. Отсюда уеду трехчасовым автобусом.

Нахожу дом. Кругом – ни души. На резном столбике у калитки – кнопка звонка. Нажимаю: два длинных, один короткий. Из глубины сада показывается хозяин – благообразный мужчина лет сорока пяти, с вкрадчивыми лисьими повадками. Похож на попа расстригу.

– Боже, а я то думал, вас не застану. Сколько лет...

Это – условная фраза.

– Иван Фомич, дорогой мой, милости прошу.

Все правильно ответ именно тот, который я должен был услышать.

Благообразный хозяин отпирает калитку. Впустив меня, ставит на место засов. В доме двери накрепко запираются, зашториваются окна. Меня он оставляет на кухне, сам проходит в соседнюю комнату, где, как я понял, открывает тайник. И спустя несколько минут приносит аккуратно перевязанный пакет.

Набрав шифр, открываю свой дипломат, кладу в него «товар». И в это время – стук в дверь:

– Откройте, милиция...

Единственное, что я успел, – бросить пакет на стол.

Вот тебе и гарантия безопасности. Влип, как кур в ощип.

...Я машинально отвечаю на дежурные вопросы следователя. (Место рождения... Близкие родственники... Судимости...). Внутри же во мне все кипит. Нет, против следователя я ничего не имею. Допрашивает уважительно, без суетливости.

Злюсь на себя. На то, что так глупо залетел. Пацану было бы простительно, но не мне, опытному «босяку», шесть раз судимому, отбывшему в колониях, если сложить все сроки, двадцать три года и два месяца.

Меня, Вальку Лихого, знала когда то вся воровская Москва, не говоря уже о Краснодаре. По ловкости среди карманников немногие могли со мной тягаться. Без Лихого ни одна сходка не обходилась, его слово нередко было решающим.

И вот этот самый Лихой, по глупому доверившись прощелыгам, прямехонько угодил в лапы «конторы».

А в общем, если пораскинуть мозгами, все в порядке вещей. Пять лет отсидки – это же целый кусок жизни, а в ней нынче все так закручено, переменчиво. Ты, к примеру, выйдя на волю, продолжаешь мурлыкать себе под нос «Катюшу», тогда как молодежь давно уже оглушает себя «металлом».

Если б одни только песни были новые, это еще полбеды. Оказалось, что и воровской мир стал другим. От прежних неписаных законов остались рожки да ножки. Мы и мысли такой не могли допустить, чтобы друг друга предать, подставить под удар. Воровская солидарность дороже денег ценилась. В колонии о нынешних нравах я, конечно, кое что слышал – от сопляков, что приходили с воли. Но, честно говоря, не очень то им верил. Думал, что воры эти – липовые, доморощенные, что именно мы были и остаемся истинными авторитетами, хранителями воровского «очага»...

Следователь, покончив с подробностями моей анкеты, достал из ящика стола пачку «Нашей марки», протянул мне.

Мы оба закурили.

Он, видно, чувствовал, что продолжение допроса будет нелегким, и потому волновался. Я тоже пока не решил, что скажу, и лихорадочно думал. Выложить все, как есть, – значит скостить себе срок, пусть ненамного. (Таким, как я, матерым рецидивистам, чистосердечное признание мало что дает.)

И все же на какой то миг возникло острое желание рассказать правду, – ради того, чтобы отомстить тем, кто меня подставил. Если скажу все, что знаю, «контора» на них непременно выйдет.

Но... Разве же ты такой, как эти молокососы, у которых хватает совести называть себя «ворами в законе». И все таки, какие они ни есть, одним миром мы мазаны. Погублю ребят – до конца дней буду каяться. Нет, уж

лучше повешу все на себя. Пусть знают: Лихой не выдал, не раскололся. А с Сизым разберутся – зона, она ведь не за семью печатями. В конце концов, когда срок отбуду – поставлю вопрос на сходке.

Решаю так. Во всех подробностях расскажу следователю о своих мытарствах в поисках жилья и работы. А дальше – дам простор фантазии.

– Что ж, Валентин Петрович, – произнес следователь, втирая окурок сигареты в пепельницу. – Ближе к делу... Итак, 14 июня вы прибыли сюда из колонии. Почему выбрали именно наш город и какие у вас были планы, намерения?

Я ответил как есть. Выбрал потому, что связано с этим городом чуть ли не десять лет жизни. Конечно, не той, какую должен вести каждый уважающий себя человек. Воровской, нечестной, но все же жизни. Отсюда, кстати сказать, в последний раз меня отправили по этапу.

Но вернулся я в эти места вовсе не потому, что затосковал по блатному прошлому. Ехал с твердым намерением «завязать». И специальность у меня есть – шлифовщик шестого разряда. Кстати, приобрел ее тоже там, в колонии.

Словом, все описал подробно. Назвал даже адрес вдовушки, у которой хотел остановиться, пока не устроюсь в общежитие, а она, как на грех, приказала долго жить...

На этом, собственно, правдивая часть показаний заканчивалась. Дальше шла чистой воды туфта.

– Когда с общежитием не вышло, – продолжал я, стараясь не сбиться с доверительного тона, – вспомнил, что когда то в Быковском мы с подельником Витькой Щербатым снимали у одинокого мужика комнату. Вот и решил туда съездить, потолковать – может, пропишет. Адрес же, как на грех, забыл, – столько лет прошло. Хотя расположение хорошо запомнил. Уверен был, что найду. Сошел с автобуса. – Бог ты мой, да тот ли это поселок? Тогда он только начал строиться. А нынче – сплошные дачи, все в зелени. Не знаю даже, в какую сторону податься. Долго искал, и все впустую. Иду к автобусной остановке, вижу – скромный дощатый домик в саду, на столбе возле калитки – кнопка звонка. Дай звякну, думаю. Может, и впустят хозяева... Откуда же мне было знать, что там засада.

Следователь слушал меня, не перебивая, изредка что то заносил в свои протокольные записи.

– У вас все?

– Больше, как будто, добавить нечего.

Он забарабанил пальцами по столу и вновь достал сигареты.

– Красиво повествуете, Валентин Петрович. И вроде бы все логично. Прямых улик против вас нет, и мог бы я вам поверить. Тем более, что милиция знала только время, когда за иконами должны были придти, но вовсе не ожидала увидеть здесь вас. (Сами понимаете, открываю карты.) Так вот, у калитки этого дома вы оказались ровно в тот час, который был назначен. Совпадение? Положим. Однако никто после там не объявился. А теперь ответьте мне на такой вопрос: откуда при вас оказался этот превосходный импортный дипломат с кодовым замком, причем совершенно пустой? Молчите?.. Ну что ж. Тогда еще вопрос: вы утверждаете, что приехали в поселок Быковский на автобусе. Но ведь это неправда. Приехали вы на такси. И при обыске у вас кое что нашли. Откуда же взялись эти деньги, если, как вы говорите, остались без рубля в кармане? Теперь понимаете, почему у меня нет оснований верить вашей «легенде»? Между прочим, хозяин дачного домика, который должен был передать вам «товар», оказался преступником, находившимся в розыске. Иконы же были украдены из церкви. Улики есть, есть и его признательные показания. Во всяком случае, оснований достаточно, чтобы вы находились под арестом до выяснения обстоятельств дела. Поможете следствию – суд, безусловно, это учтет. Тем более, если иметь в виду вас, то преступление (или, точнее, пособничество) можно считать незавершенным. А ваша помощь, как я полагаю, может быть существенной. Милиция располагает данными, что к этой краже причастна не просто воровская группа. Во всяком случае, у нее есть выходы на иностранцев. К тому же вы – «законник». Что общего может быть у вас с этими пижонами?

«А в этом молодом человеке и вправду есть что то симпатичное, – подумал я. – Мало кто из следователей был со мной таким откровенным... Однако зря он рассчитывает, что так дешево можно меня купить». Ему же я, честно сказать, не нашел, что ответить, пустив в ход заготовленную на подобный случай дежурную фразу:

– Гражданин следователь, не давите на психику. У меня ведь голова седая. Об иконах, о краже из церкви я ничего не знал. Это точно, без трепя.

На мои слова следователь отреагировал весьма своеобразно:

– Согласен, Валентин Петрович. Потрепало вас в этой жизни предостаточно. Только «давить» я пытаюсь не на вашу психику, а на сознание пожилого уже человека, который мне сам заявил о своем намерении окончательно «завязать». Так что подумайте хорошенько.

Он немного помолчал, затягиваясь сигаретой.

– И еще... Знаете, у меня к вам личная просьба. Мне бы очень хотелось, чтобы вы рассказали о своей жизни. Обо всем, что помните. Не для протокола, конечно. Просто хочется поближе узнать таких людей, как вы. Чтобы лучше понять, что толкает вас на этот путь. Тем более, что сейчас многое пересматривается, в том числе и события сороковых – пятидесятых... Ну, пожалуй, на сегодня хватит. Оформим протокол, и пока вы свободны.

В КПЗ (к новому названию – «изолятор временного содержания» – никак не могу привыкнуть), лежа на нарах, я долго размышлял над словами следователя о том, куда ведет та цепочка, одним из звеньев которой я чуть было не оказался по милости Сизого. Неужто он и его компания – те самые мафиози, о которых сейчас столько говорят и пишут? А если так, покушением на преступление здесь не отделаешься. Могут запросто приписать 89 ю, часть четвертая. Как там, в Кодексе? «Кража, совершенная особо опасным рецидивистом, или в крупных размерах». От пяти до пятнадцати лет лишения свободы. Поскольку получается, что я – прямой соучастник... Да и кого, собственно, выгораживать, если воровские наши пути так разошлись, какие «законы» отстаивать?..

Думал долго, до боли в висках, хотя ни к чему определенному так и не пришел. Трудно, ох как трудно отступить от «идеи», которой следовал всю свою жизнь.

Вспомнил о просьбе следователя рассказать, как прошла она, эта жизнь. Если ему интересно, попробую. Вот только с чего начать?.. Может с памятного для меня случая на Рогожском рынке – так сказать, с первого «дела».

Зачин к исповеди. Моё первое дело.

Не знаю, как нынче, а в начале сорок четвертого, когда Победа едва замаячила, Рогожский рынок по обилию всевозможной снеди был едва ли не самым богатым в Москве. В «обжорном» ряду торговли наперебой предлагали сочные котлеты и пирожки с капустой, лепешки с пылу, с жару и горячую картошку с соленым огурчиком. Бойко горланили молочницы: «Кому ряженку, творог свежий, маслице топленое?..» В мясном ряду бабки, приехавшие из Подмоскovie, торговали говяжьими тушами и окороками. Барыги, сновавшие тут и там, предлагали (но уже шепотом) американские консервы – тушенку и колбасу в красивых овальных банках с ключиком.

Народу на рынке была уйма, и над толпой стоял сплошной нескончаемый гул. Глядишь на все это, и порой не верится, что идет война. Купить здесь можно было все, что душа пожелает. Если, конечно, у тебя есть деньги. А они, между прочим, в то время обесценились баснословно: килограмм мяса стоил не меньше тысячи рублей. Покупатели и продавцы, торгуясь, скидывали либо прибавляли не рубли, не десятки, а сразу сотни.

На Рогожском, как и на любом другом рынке, были, разумеется, не только продавцы и покупатели. Немало в базарной толпе отиралось и тех, кто терпеливо поджидал удобного случая что либо слямзить у ротозея торгаша или «проверить» чей то карман. Воров и воришек разной масти. В их числе оказался тогда и я. В ту пору мне не было еще и двенадцати.

...Мой ровесник и закадычный друг Костя, промышлявший этим уже больше года, какое то время меня натаскивал, ждал, когда поуменю малость. Но вот однажды решил, что пора брать меня на «дело».

От «хаты» тети Сони, где мы в ту пору квартировали, до рынка было рукой подать. Отправились мы с утра пораньше, когда народу там особенно много.

Толпа гудела. Обходя прилавки, лотки, лавируя между очередями, вышли к мясному ряду. Еще вчера Костя сказал мне, что приглядел здесь толстушку, которая торговала мясом уже второй день.

Подходим к прилавку. Женщина, дородная, краснощекая, в цветастом деревенском платке, продает говядину. Перед ней весы, рядом, на подносе, большие куски мяса. Возле нее – очередь. Замечаю прижатый «ножкой» весов мешочек с деньгами. Набит он плотно, почти до отказа, – видать, вся выручка здесь.

– Давай, – толкает меня под бок Костя. Сам он словно растворяется в очереди, что нас окружает, даже я перестаю его видеть.

Как мы и условились, обхожу прилавков с тыльной стороны, останавливаюсь возле торговки. «Ну, смелее, Валька!» – приказываю самому себе. Накануне мы с Костей много раз проигрывали эту сцену. «Все будет хорошо, – уверял он меня. – Только не скажи, как сейчас: Костя, ты уронил деньги»... И все же боязно.

Стараюсь, чтобы никто не заметил, достаю из кармана брюк сотенную бумажку и вытряхиваю ее на землю.

– Тетя, вы уронили деньги!..

– Ой, спасибо, сынок, спасибо... – Женщина наклоняется, чтобы поднять сотенную. В этот самый момент, по нашему замыслу, Костя должен выдернуть из под весов мешок с деньгами. Но мне его ждать не надо. Сделав свое, я тут же даю деру. Уже пробежав метров тридцать, слышу тяжелый металлический звон – видно, упали весы. А вслед за тем – пронзительный бабий визг:

– Деньги украли... Держите вора!

Больше я ничего не слышал, поскольку находился уже за воротами рынка. Чтобы не привлекать внимания прохожих, перешел на шаг и через пять минут был уже возле дома. В дверях меня поджидала тетя Соня – наша хозяйка, немолодая, с рябинками на лице, проседью в темнокаштановых волосах, но удивительно проворная для своих лет женщина.

– Заходи быстрее. Костя уже здесь. Волнуется, как бы тебя не сцапали.

Она впускает меня, сама же, оставшись на улице, вешает на дверь замок, запирает его и... влезает к нам через окно. Хитро придумано: дверь на замке, и дома вроде бы никого. Остается задернуть занавески.

– Все в ажуре, – улыбается Костя. – Не зря мы с тобой поработали.

Он достает из под кровати туго набитый мешочек, который четверть часа назад принадлежал торговке из мясного ряда, и вытряхивает деньги на коврик, что постелен рядом с кроватью. И мы, примостившись рядышком, начинаем их сортировать – отдельно кладем пятерки, десятки, «красненькие» (тридцатки). Рубли отбрасываем, как мелочь.

– Ох, Костя, фартовый ты парень, – не перестает восторгаться тетя Соня. – Такой куш одним разом хапнуть. Не то что наши карманники – принесут тышечки две три, самое большое. А что на них нынче возьмешь?.. Хорошо еще, если карточки продуктовые «позаимствуют» – и отовариться можно, и продать кому... Из тебя, Валя, чувствую я, тоже толк выйдет. Да еще при таком учителе.

– Один бы я, тетя Соня, это дело не провернул, – отвечает Костя, весь сияя от ее похвалы.

Мы продолжаем считать деньги. Их очень много, несколько десятков тысяч. А тетя Соня, хитрая лиса, ласково погладив нас обоих по голове, переходит с умильно восторженного на просительный тон:

– Костенька, миленький! Оставь мне побольше, очень тебя прошу. Знаешь ведь: и на продукты нужно, и Прошину, как придет, дать в лапу. (Прошин, как я потом узнал, здешний участковый, не гнушавшийся подношениями в любом виде.)

Хозяйку Костя не обошел. Довольная, она сияла от радости, помогая нам переодеться. Сняв с себя «рабочую» одежду, мы с другом отправились гулять по Москве.

Пообедали в коммерческой столовой – их тогда только только стали открывать. Выбор блюд не очень большой, но готовили вкусно. Потом решили сходить к трем вокзалам.

На Домниковке, возле хлебного магазина, сидели нищие калеки. Подошли к ним, дали кому десятку, кому «красненькую». Надо было видеть, как они нас благодарили... Мы с Костей были чистенько одеты, вели себя, как хорошо воспитанные пай мальчики. И если бы ктонибудь вдруг сказал, что добрые, простодушные на вид ребята сегодня утром сильно «обидели» незнакомую тетю, этому вряд ли бы поверили.

Вечером, нагулявшись вдоволь, мы возвращались домой. По дороге вспомнили вдруг о своих близких, о доме и загрустили. Костя предложил: деньги есть, давай съездим в Электросталь. Это была наша родина. У меня там жили мать и два брата – Витя и годовалый Гена, родившийся незадолго до смерти отца. У Кости мать находилась в колонии. Решили – едем сегодня же.

Невеселые пришли мы на «хату». Но здесь ждал нас такой прием, что грусть вскоре отступила, растворившись в веселом застолье.

Стол ломился от угощений. Чего только на нем не было – жареное мясо в соусе и печеные караси, холодец из свиных голов, красная икра, грибки маринованные. А посередине стола возвышалась четверть самогона.

– А вот и наши дети, – поднялся из за стола Валька Король, мой и Костин наставник в воровском деле, высокий парень лет двадцати семи с черными вьющимися волосами. «Хату» у тети Сони снимал, собственно, он – «вор в законе», признанный авторитет среди московских карманников. Костя стал его учеником почти год назад, я же пока что осваивал азы.

– Сегодня вы, детки, потрудились на славу, – продолжал он. – Хапнуть шестьдесят «кусков» – редкостная удача. Верно, Куцый?

Этот вопрос был обращен к незнакомому мне мужчине, который, положив ногу на ногу, сидел на диване. Был он чуть помоложе Короля, смуглый, коротко подстриженный, одет в офицерский мундир без погон.

– Имей я таких учеников, ушел бы в тридцать лет на пенсию, – шутливо ответил Куцый.

– Ну, а ты как, тезка, не сдрейфил? – Король потрепал меня по плечу. – Боевое крещение мы всегда обмываем. Так что сегодня, Малышка, ты можешь и шкалик опрокинуть – разрешаю.

Это слово – Малышка, случайно оброненное Королем, так и прилипло ко мне, стало первой воровской кличкой. Тому немало поспособствовал и Костя, мой ровесник, которому, чтобы подчеркнуть свое старшинство в «деле», очень нравилось так меня называть.

Из кухни показалась тетя Соня с чугуном в руках и Лидочка, подруга Вальки Короля, красивая девушка лет восемнадцати с длинной русой косой.

– Ну вот, ребята, картошечка готова... – Тетя Соня торжественно водрузила чугунок на стол. – Да, и Костя с Валец пришли... Давайте ка, мои дорогие, присаживайтесь. В вашу честь пировать будем.

– Только так, – поддержал Король. – Мы с Куцым выпили лишь по маленькой. Вас ждали.

Все сели за стол. Валентин налил Косте, мне, а после всем остальным по стопке самогона.

– Минуточку, леди и джентльмены! Вы присутствуете при вручении награды по случаю боевого крещения. – Король извлек из внутреннего кармана пиджака часы с серебряной цепочкой. – Тебе, Малышка. Новенькие. Позаимствовал по этому случаю у одного «скокаря». Давай ка сверим.

Он достал из «правилки» (жилетки) свои золотые, с тремя крышками, часы фирмы «Павел Буре», отличавшиеся особой точностью. Мои, «Кировские», шли с ними минута в минуту.

Все меня снова и снова поздравляли, а Лида расцеловала нас с Костей в обе щеки.

Зажмурившись для храбрости, я в один прием «опрокинул» рюмку самогона. Перехватило дыхание, на глазах выступили слезы. «Привыкай, малыш, – Король дал мне стакан морса. – Запьешь, и все будет нормально». И в самом деле, неприятное ощущение скоро прошло. В груди разлилась теплота, в голове зашумело. Я стал

веселым и разговорчивым. Костя, выпивший немного больше, чем я, тоже захмелел. Мы с ним вдруг вспомнили, что решили сегодня ехать в Электросталь, и даже начали собираться.

– Не суетитесь, – сказал Король. – Завтра продукты закупим, – вы что, с пустыми руками к своим собрались? Пусть и Лидочка с вами в Электросталь поедет, поможет там.

Девушка согласно кивнула головой:

– С такими молодцами – хоть на край света.

– А сейчас, – скомандовал Валентин, – марш спать.

Тетя Соня уложила нас с Костей в сарае. Ночь была лунная. Мы спали, скинув с себя одеяло. Проснулись одновременно – разбудила нас какая то возня в поленнице. Протерли глаза, и поскольку было уже светло, увидели рядом с ней человека, который что то искал между поленьями. Да это же Куцый! Только на нем уже не военный китель, а добротный коричневый костюм.

Раздвинув поленья, он глубоко просунул руку в эту дыру, достал небольшой сверток. Развернул его и извлек что то металлическое. Наган!.. Оглянувшись, Куцый вдруг заметил, что мы не спим.

– Здорово, пацаны. – По его тону чувствовалось, что на наше раннее пробуждение он не рассчитывал. – Игрушку видали?.. Так вот, будем считать, что вас здесь не было.

Он вышел из сарая, осторожно закрыв за собой дверь.

После я узнал от Вальки Короля, что Куцый был «скокарем» – квартирным вором, не раз бежал из лагеря. Находился в бегах и сейчас. Во время побега неподалеку от зоны его едва не схватили. Помогло оружие – пришлось застрелить охранника.

Повстречав на своем пути Лешку Куцего, я понял, что в воровском мире есть не только такие, как Король. Карманники, я уже убедился, не то что наган – даже нож или финку с собой никогда не брали. Куцый же в случае опасности всегда мог пустить в ход оружие. Этот тип вора был жестоким, безжалостным, не гнушался ничем для достижения цели. Не такие ли, как Куцый, стояли у истоков касты, много лет спустя объединившей в одно целое воров, грабителей и убийц под крылышком той самой мафии, которая меня так ловко нынче «подставила».

Впрочем, еще тогда, едва соприкоснувшись с воровским миром, я уяснил себе: «воры в законе» – карманники с такими не только уживались, но и оказывали им разные услуги. Что здесь сказывалось – босаяцкая солидарность или опасение, что эти люди в случае, если их «отлучат», не постесняются пустить в ход оружие? Скорее всего, и то, и другое.

Случай в сарае какое то время спустя всем нам о себе напомнил.

...Шла война. Кончилось лето сорок четвертого. Большинство моих сверстников вместе со взрослыми, как могли, приближали победу. Видел в кино журнал, как мальчишки, заменяя своих отцов, по десять часов в сутки работали за станком, юных пионеров героев. Но, находясь в совершенно другой обстановке, я был настолько далек от реальной жизни, что казалось, будто бы все это происходило в ином, незнакомом мне мире. Когда Король меня похвалил за первое дело, назвал «героем», я принял его слова как должное и очень гордился оценкой «наставника». Другой мир был для меня чужим.

Задумываться о подлинных и мнимых ценностях жизни я стал много позже, уже повзрослев. Но и в зрелые годы старался гнать «крамольные» мысли. Иначе пришлось бы признаться самому себе, что жизнь прошла впустую.

Одна за другой оживали в моей памяти картины давно пережитого. Теперь уже мне самому захотелось рассказать следователю о своем прошлом. Если, конечно, у него хватит времени и терпения меня выслушать. Но тут же закралось сомнение в его истинных намерениях. Может, это тактический ход? Расчувствуется, дескать, Лихой, вспоминая свою непутевую жизнь – вечный риск, мытарства по этапам да зонам, и в надежде, что срок скостят, явится с повинной. Нет уж, на такую дешевку меня не возьмешь, гражданин следователь.

Погоди, Валентин, не фантазируй. Следовательно, скорее всего, делает ставку на другое. Он почти уверен, что по всей логике я не смогу, не должен простить Сизому его подлость. Положим – не прощу, выдам. Но что тогда? Тогда они, эти «кооператоры», распустят слух, что я «ссучился», продался «ментам». Не успею еще загреметь по этапу, как и на воле, и в зоне будут считать, что Лихой – проститутка и при первой возможности нужно его убрать. Или, по крайней мере, «опустить», опозорить.

Прежде в таких случаях собиралась сходка, тебя выслушивали, каждый из «воров в законе» мог высказаться. Потом голосовали – и вопрос чаще всего решался по справедливости.

А этим, нынешним, порешить человека – плевое дело. К тому же знают они, что я «завязываю»... Думай, думай, Лихой, как быть.

Я приподнялся с нар, допил оставшийся в кружке холодный жидкий чаек, закурил. В камере, рассчитанной на шестерых, нас было трое. В далеком углу, раскинув руки по сторонам и сладко причмокивая, спал длинноногий молодой паренек в «варенках» (не рискнул, видно, их снять...). А напротив меня нежно похрапывал лысоватый, с солидным брюшком мужчина лет сорока. Познакомиться ни с тем, ни с другим я не успел, поскольку на допрос увели почти сразу, а вернулся в десятом часу, когда оба спали.

Интересно все же, на чем погорели мои сокамерники? О молодом судить трудно – у таких, как он, в голове ветер, в любую сторону, словно ветку, накренить может. А тот, что с пузом, не иначе, как торгаш расхититель. Прилизанный, гладко выбрит, духами от него пахнет. Видать, «крупная птица».

Пригляделся к нему, и почему то опять подумал о Сизом. Представил эти хоромы и самого Митьку, лоснящегося от сытости и самодовольства. Тут меня будто током поразило. Вспомнил, как однажды в зоне – а было это месяца за три до того, как вышел на волю, – познакомился с одним блатным, тоже вором, которого перевели к нам, в колонию строгого режима. По этому случаю он нас тогда угощал. Выпили, разговорились, стали, как водится, вспоминать общих знакомых. От него то я и услышал, что в Краснодарском крае появился молодой «вор в законе». О прошлом этого человека никто не знал (а может, и знали, но боялись сказать). Среди карманников, форточников либо краснушников он не числился.

– Поговаривают, – блатной, хотя и подвыпил изрядно, перешел на шепот, – будто «вора в законе» он купил за башли, после чего сходка его в этом звании и утвердила.

Тогда я этому не поверил:

– Врешь ты все спьяну. Такого у нас сроду не бывало.

– Да чтоб мне провалиться на этом месте, – обиделся тот.

А если он не врал... Такая теперь жизнь, что все продается и покупается. Раньше у нас было железное правило: «вором в законе» сходка утверждала только того, кто отбыл не меньше двух сроков. Насколько я знаю, этот закон никто не отменял. Выходит, Сизый – ясное дело, блатной говорил о нем, – просто самозванец. Да и по его манерам видать, парашу в СИЗО не нюхал, не говоря уж о карцере. Изнеженный слишком. Его бы сейчас сюда, в эту бетонную клетку, с обшарпанными стенами и нарами вместо софы. Сколько таких вонючих клеток повидал я за свою жизнь. Привык, не замечаю уже – как будто так и должно быть. Пишут сейчас, правда, что это мол, бесчеловечно – держать заключенных, подследственных и даже подозреваемых в скотских условиях. Но пока суд да дело... Благо еще, что вместо параша поставили кое где унитаз. Все легче дышать. Сизый, конечно, этого бы не оценил. Хотя когда нибудь и оценит. Ведь по большому счету, здесь сидеть не мне, а ему надо.

Толстяк, отрыгнув во сне, повернулся на спину и захрапел во всю Ивановскую. «Обожрался, видать, сукин сын, подумал я, таким есть, кому передачи носить».

Впрочем, возможно, тут заговорило во мне уязвленное самолюбие. В первый раз попал я в такие условия, когда баланда да каша – вся пища наша. Раньше, бывало, сижу в КПЗ или в следственном изоляторе, и что ни день – передача с воли. Да еще какая – самые, как сейчас говорят, деликатесы. Нынче ожидать их неоткуда, некому обо мне даже вспомнить. А сколько было в те времена друзей карманников, верных подруг, которые никогда не оставляли в беде...

И снова я мысленно возвращаюсь к прошлому. Цепляясь друг за друга, словно пчелы в улье, роятся воспоминания. Пора дать им волю.

Уже засыпая, думаю, что непременно надо рассказать следователю о своих «корнях», о раннем детстве, которое в самом начале было таким безоблачным.

Исповедь. В детстве я мечтал стать лётчиком.

Город моего детства – Электросталь, что в Подмосковье. Его название говорит само за себя. Людям старшего поколения напоминает оно о годах первых пятилеток, об индустриализации. С судьбой этого молодого промышленного города прочно связали свою судьбу мои родители. И отец, и мать – рабочие – трудились здесь на военном заводе, ходили в передовиках. Об отце писала заводская многотиражка, в ней был даже его портрет.

Хорошо помню наш дом. Его называли стандартным, – в заводском поселке таких домов было несколько. Наша семья из пяти человек занимала одну просторную комнату.

В другой комнате находилось женское общежитие. Кухня общая.

Детей в семье было трое: я, сестра Маша, семью годами старше меня, и младший брат Виктор. С сестрой нас связывала большая дружба. Помню, когда Маша стала взрослеть, я сильно ревновал ее к мальчику, который за ней ухаживал. А с Витьком мы были совсем разные по характеру и вместе почти не играли.

О родителях могу вспомнить только хорошее. Отец, хотя и был малограмотным, старался воспитать нас людьми порядочными, трудолюбивыми. Никогда мы, дети, не видели ни родительских ссор, ни ругани. Отец не пил, не курил.

По выходным мы всей семьей ходили в кино. Там отец угощал нас мороженым. Когда наступала грибная пора, отправлялись в лес – тоже все вместе.

Об этих годах я всегда вспоминаю, как о самых счастливых в своей жизни.

Война подкралась к нам как то незаметно. Первое время мне казалось, что все будет почти так же, как прежде. Перемены, которые происходили вокруг, у меня и у моих сверстников вызывали, скорее, чисто мальчишеский интерес. Мы гурьбой бегали смотреть на проходившие мимо танки, завидовали солдатам, которые отправлялись бить фашистов. Запомнилось мне, что многие из них были не в сапогах, а в ботинках с обмотками. Отца на фронт не взяли – его рабочие руки нужны были здесь, на военном заводе.

Все чаще в небе с востока на запад пролетали эскадрильи самолетов истребителей и бомбардировщиков. Задрыв головы вверх, мы восторженно провожали их глазами, и с криком «ура» бежали по улице. Отцу я сказал, что когда вырасту, обязательно стану летчиком.

– Для этого, сынок, надо хорошо учиться, – отвечал он, приглаживая мои вихры.

В год, когда началась война, мне как раз исполнилось восемь лет. Первого сентября я должен был идти в школу, и отец, как умел, учил меня складывать слова из разрезной азбуки, считать.

Из школы с первых дней занятий я стал приносить «пятерки». Учительница меня хвалила, а вскоре, как это тогда водилось, ко мне прикрепили отстающих ребят.

Лихолетье надвигалось исподволь, каждый день меняя в нашей жизни что то привычное. Особенно мы это почувствовали, когда враг подошел к Москве. Участились воздушные тревоги. Во время ночных налетов бороздили небо лучи прожекторов, стреляли зенитки. Осколки от разрывных снарядов иногда падали возле дома, и мы, ребяташки, подбирали их еще теплыми.

Население начали эвакуировать. Но завод продолжал работать, родителей никуда не отпустили, и все мы остались в городе.

Опустели полки в магазинах, продукты теперь можно было купить только по карточкам. Но надолго ли этого хватало...

Чтобы поддержать нас, детей, в школе во время большой перемены выдавали бесплатно бутерброды с колбасой и чай.

На работу отец и мать уходили теперь раньше обычного, а возвращались чуть ли не к ночи. У нас, кроме школьных бутербродов, во рту иной раз ни крошки не было. Зашторив окна, сидели дома и допоздна ждали отца с матерью. Зная, что, как всегда, они принесут с собой заводскую «пайку» – кусок хлеба, завернутый в газету. На вкус он был слегка горьковатый, не тот, что до войны, но ели мы этот хлеб с наслаждением. Мне тогда почему то и в голову не приходило, что родители отдают нам свои «пайки», сами оставаясь голодными.

Когда началась зима, мама ушла в декретный отпуск, и перед новым годом появился на свет мой второй брат Гена.

Матери надо было кормить грудного ребенка, а есть было почти нечего. Выручали на какое то время полмешка картошки, которую мать выменяла на что то у спекулянтов. Но кончилась она быстро.

Отец возвращался с работы, шатаясь от усталости. Осунулся, пожелтел. А вскоре его подкосила болезнь.

Теперь, приходя из школы, я с нетерпением ждал, когда вернутся со смены девчата из общежития. Они любили меня и часто давали то кусочек хлеба, то вареную «в мундире» картофелину.

Помню, с какой радостью все мы слушали по радио сообщение о том, что немцев прогнали от Москвы. Появилась надежда на лучшее. Но голод все наступал.

Еще до школы я подружился с одноклассником Костей, что жил по соседству. Замкнутый, неразговорчивый, он подкупал меня «взрослой» практичностью, сообразительностью. Этот пацан на лету все схватывал и тут же принимал решение.

Костин отец ушел на фронт в самом начале войны. Жил он с мамой и бабушкой. Мама работала на том же заводе, где и мои родители. С ним мы стали неразлучными друзьями, все свободное время проводили вместе, гоняя на детском велосипеде, который мне перед самой войной подарил отец.

Однажды Костя не зашел за мной после школы, как обещал. Подождав немного, я отправился к нему. Открываю дверь и вижу: лица у всех мокрые от слез, а Костина мама лежит, уткнувшись в подушку, и плечи у нее дрожат.

В этот день им пришла «похоронка».

... И мой отец стал совсем плох. Уже не мог ходить на работу, редко вставал с постели. Говорили, что у него рак.

Как дальше жить? Кроме хлеба, что получали по карточкам, еды не было никакой.

От знакомых мама узнала, что в городе Арзамасе есть богатый рынок и там можно обменять вещи на хлеб и крупу. В начале лета меня вместе с сестрой Машей снарядили в дорогу. Для меня это было первое в жизни большое путешествие.

Прямых поездов до Арзамаса не было, добираться пришлось с пересадками, на двух пассажирских, а потом на товарном поезде. Но мы с Машей, хотя и были голодные, не унывали.

Сестра к этому времени повзрослела, стеснялась при мне раздеваться. Расторопная, бойкая, смазливая на личико, она легко сходилась с людьми. Когда приехали в Арзамас, на рынке Маша быстро нашла какую то бабку, торговавшую салом, и предложила ей мамину кофточку, юбку и еще несколько вещей, которые мы привезли с собой.

Бабка жила на окраине города в рубленом доме, держала двух свиней. Был у нее огород. Она привела нас к себе, угостила щами. А в обмен на вещи дала нам, помимо сала, пшена и три круглые булки хлеба собственной выпечки.

На вокзале мы долго ждали товарного поезда. Народу скопилось уйма, и когда поезд на Муром, наконец, подошел, пассажиры приступом взяли открытую платформу. Уже надвигались сумерки, и, едва отъехав от Арзамаса, все стали укладываться на ночлег. Мы с Машей положили мешки с продуктами под голову, укрылись стареньким маминым платком. Рядом, свернувшись калачиком, устроились двое мальчишек лет пятнадцати. Грязные, неряшливо одетые.

Уснули мы почти сразу – намотались за день. А проснулись, едва начало светать. Оттого, наверное, что к утру стало зябко. Поезд шел медленно, подрагивая на стыках, будто вместе с нами любовался верхушками сосен, сквозь которые уже пробивались солнечные лучи.

Сестра привстала, чтобы расчесать волосы, и вдруг как вскрикнет:

– Валька, у нас мешок разрезали.

Тут я заметил, что мальчишек, которые спали рядом, нет.

Встряхнули располосованный мешок – в него мы положили хлеб. Глядим – две булки из трех исчезли. Сестра заплакала: «Это же они, сволочата».

Тут всполошилась дородная, в годах, женщина, у которой украли из мешка сало, начала проклинать этих пацанов на чем свет стоит.

– Побойся Бога, милая, – остановил ее сердобольный, похожий на попа, дед. – Это он, всевышний, повелел сим голодающим отрокам разрезать котомки ваши. Не должны наши дети с голоду помирать. Это же противу естества.

Бабы, услышав его слова, подняли галдеж:

– Лучше б они попросили, чем воровать...

– Так бы вы им и дали, родненькие. Своя рубашка всегда ближе к телу. А эти юнцы – вам чужие... Рука здесь Господня, не их. – Старик перекрестился.

Так впервые в жизни я увидел «живых» воров. И впервые услышал из уст седого, умудренного жизнью человека слова, которые их поступок оправдывали. Прежде мне внушали одно: воровать – плохо.

Мне, конечно, тогда и в голову не приходило, что скоро и сам стану таким, как те мальчишки... После я часто вспоминал этого старика, пытаюсь обосновать его доводами свою жизненную философию.

Домой мы с Машей вернулись расстроенные. Мать, как могла, успокаивала: «Все бывает. Если б знал, где упасть, соломки бы подстелил. Вот кабы дочиста вас обчистили, другое дело. А то ведь и сальца, и пшена привезли...» Отец приподнялся с постели, чтобы нас обнять. Ходить он уже не мог.

Пока варили кулеш – пшенную похлебку с салом, от аромата, заполнившего кухню, голова кружилась. В то время ничего на свете не было для меня вкуснее.

Продуктов, которые мы привезли, хватило ненадолго, как мать ни экономила. Недели через две она собрала последнее, что оставалось из вещей, и попросила Машу еще раз съездить в Арзамас. Поехать с сестрой мне очень хотелось, но матери тяжело было управляться в доме – нянчить ребенка, ухаживать за больным отцом. Пока Маша была в отъезде, мы с Витькой, как могли, помогали. Хотя общего языка с ним по прежнему не находили. Зато с Костей мы стали еще дружнее.

Неподалеку от нашего заводского поселка остановилась воинская часть, и мы чуть ли не каждый день ходили к солдатам. Они встречали нас, пацанов, приветливо. Показывали, как разбирается автомат, разрешали забираться в танк. И хотя все это было очень интересно, нас с другом больше привлекало другое – запах наваристых солдатских щей, доносившийся от походной кухни. Видя, что мы голодные, солдаты нас угощали, а иногда давали «гостинцы» – сухари и пшенный концентрат. Все это мы приносили домой.

Однажды мы с Костей пришли в часть, когда знакомые нам солдаты устроили перекур и дружно дымили самокрутками. Не знаю, как мне пришло это в голову, но видя, как лихо, со вкусом, ребята затягиваются

махоркой, решил попросить у них табаку – якобы для отца. Они с готовностью отсыпали, хотя и сами получали по норме.

Забравшись в наш сарайчик, мы с Костей свернули из клочка газеты по «козье ножке» и закурили. Неожиданно в сарай за чем то пришла сестра. Увидела нас, окутанных сизым дымом, кашляющих, и стала стыдить. А мне пригрозила, что пожалуется отцу.

Помню, как я тогда испугался – даже домой не пошел, заночевал у Кости. Маша не была ябедой, но вдруг – возьмет и скажет. Как я отцу посмотрю в глаза? «Плохо ты меня знаешь, – сказала на другой день сестра. – Я ведь о тебе забочусь, дурень ты этакий. Мал еще курить – себя погубишь».

Я дал себе слово, что курить не буду. И до двадцати семи лет держался.

... Через неделю Маша вернулась из Арзамаса. Привезла муки, пшена и небольшой кусочек сала. Еще немного мы могли продержаться.

Но вот что сильно меня поразило: сестру словно бы подменили, стала она молчаливой и какой то чужой. Едва начинаешь с ней разговаривать – отводит глаза в сторону. И внешне как то повзрослела.

Помнится, Костя, который в амурных делах разбирался больше, чем я, сказал мне на ухо: «Ее, видать, в Арзамасе какой нибудь парень...» И получил в ответ сильнейший удар «под дых». «Не смей так о моей сестре». Но, как ни обидно было, он оказался прав.

Спустя неделю сестра не пришла домой ночевать. Родители всполошились. Мать на другое утро обежала знакомых, подняла на ноги все женское общежитие. Никто Машу не видал.

Появилась она лишь на другой день к вечеру. Отец сильно ее ругал. Мама молча смотрела на дочь, и ее большие серые глаза выражали удивление и боль. Мария тоже не проронила ни слова, не заплакала. А через два дня опять ушла из дому.

Мать, оставив меня с маленьким Геней, который постоянно ревел, побежала в милицию. Оттуда она вернулась вконец расстроенная. Плача, проклинала войну, Гитлера. Отцу после этого сделалось совсем худо.

Уход Марии стал как бы вехой, от которой повели мы с Костей мрачный отсчет наших личных несчастий и утрат. У моего друга арестовали мать, тетю Марусю, которая работала на военном заводе. За то, что самовольно поехала в Арзамас за продуктами. Костя остался вдвоем с бабушкой.

А вскоре не стало моего отца. Хоронили его с почестями, с оркестром. Какие то солидные дяди говорили надгробные речи: мол, таких людей забывать нельзя, семье окажем поддержку. Матери выплатили тогда маленькое пособие. Этим вся «поддержка» и ограничилась.

Как то после похорон зашел к нам Костя. Похудевший, осунувшийся. Посидели, выпили по кружке холодной, из под крана, водицы – помянув, подражая взрослым, моего отца. Оба мы были теперь сиротами, безотцовщиной, а Костю жестокий закон оставил в самую трудную пору еще и без матери.

Друг, между тем, зашел ко мне не только утешить. Он знал, что после скромных поминок по моему отцу, которые помогли нам справить соседи, заводские рабочие, в доме у нас шаром покати. И как я вскоре понял, приготовил для меня «сюрприз».

– Валь, а Валь, – спросил он, когда мама вышла на кухню и мы остались одни. – Есть хочешь, да?

Я кивнул.

– Тогда бери ноги в руки и айда за мной. К магазину, где хлеб дают по карточкам. Как раз сейчас его должны привезти.

– А что там делать то? Карточки мы уже отоварили.

Костя хитровато мне подмигнул:

– Авось, найдем чего. Ну, пошли.

Дело было под вечер, и когда мы прибежали к магазину, уже смеркалось... Машину с хлебом заканчивали разгружать. Мы встали рядом и, глотая слюнки, вдыхали аппетитный, ни с чем не сравнимый хлебный аромат. Какой то мужик отогнал нас от машины: «Кончай глазеть, пацаны. Ни хрена вам тут не обломится».

– Костя, пошли домой, – я потянул друга за рукав.

– Стой вон там, за углом, – оборвал он. – Кто я буду, если сегодня мы с тобой не попробуем хлеба.

Я послушно направился за угол соседнего дома и стал наблюдать, а Костя остался возле магазина.

Хлеб уже начали отпускать. Из магазина с буханкой в руках вышла девочка лет двенадцати. Гляжу, Костя ее нагнал, в одно мгновение вырвал буханку и – тикать. Побежал он не в мою сторону, а к переулку, что начинался неподалеку.

Девочка закричала, стал собираться народ. «Вот сволочи, до чего дошли», «расстреливать таких надо...» – слышались возмущенные голоса.

По правде говоря, я не сразу осознал, что случилось. Потому что в голове не укладывалось, что Костя может решиться на такое. А когда понял, мне стало вдруг страшно. «Надо бежать». Переулками и дворами, известными лишь нам, местным мальчишкам, добрался до дома. Сердце билось, будто молоточком часто часто колотили по наковальне.

Смотрю – из за кустов, улыбаясь, выходит мой верный друг.

– Пошли ко мне. Хлеб там.

Костиной бабушки дома не было. Он достал из шкафа буханку, отрезал от нее два больших куска: «Бери любой». Придвинул солонку с темной, крупного помола солью, кружку с водой.

Ели с жадностью, только соль на зубах похрустывала.

Оставшийся хлеб Костя разделил поровну и снова один кусок придвинул мне:

– Отнеси домой. И смотри, никому о том, где взял. Матери я сказал, что хлеб дали солдаты. Не знаю, поверила ли она (потому что тех солдат, к которым мы раньше ходили, уже отправили на фронт). А может быть, и ей было уже ни до чего? Кормить грудного малыша Гену она не могла – пропало молоко. И чтобы как то его поддержать, разжевывала во рту хлебный мякиш и, завернув его в белую тряпочку, совала ребенку в ротик вместо соски.

... В ту ночь я долго не мог заснуть. Думал о Косте, своем лучшем друге. Со мной Костя поделился последним и даже о близких моих проявил не по детски трогательную заботу. Но... поделился то он украденным. Девочку, которая получила по карточке хлеб, и ее семью оставили мы голодными. И все же, пытался я доказать самому себе, Костя поступил как настоящий друг. Он ведь вполне мог сегодня обойтись без меня, пойти к магазину один. Я вообще был ему помехой и ни в чем не помог. Как тут решить, где правда. Моему мальчишескому рассудку это оказалось не под силу, и мысли я держал при себе.

А через несколько дней Костя позвал меня еще на одно такое же дельце. На этот раз – к заводской столовой, возле которой молодые узбеки торговали домашним белым хлебом и сухой брынзой – кругленькими белыми катушками размером с бильярдный шар. Здесь он виртуозно проделал тот же «фокус», что и возле магазина, с той лишь разницей, что съестное не вырывал из рук, а хватал с прилавка. И опять, как в прошлый раз, мы с другом пировали. Между прочим, брынза показалась мне такой вкусной, что ел ее с не меньшим удовольствием, чем до войны мороженое. И опять Костя, отложив в сторону два шарика и ломоть хлеба, настоял, чтобы я отнес это матери.

Шел домой, а в голову лезли все те же мысли, что и в прошлый раз. Удивительное дело: появлялись они лишь на сытый желудок. У голодного на уме была лишь одна забота: где бы раздобыть краюху хлеба. А сейчас, думая о Косте, который на моих глазах и при моем молчаливом согласии становился воришкой, я вдруг вспомнил тех пацанов, что обокрали нас с сестрой по дороге из Арзамаса. Те воровали у таких же голодных людей, как они сами. И потому в душе я их так же не мог оправдать, как и Костю, за хлеб, выхваченный им из рук девочки, нашей ровесницы. Правда, если взять сегодняшний случай, то воровал он не у голодных. Узбеки,

которых приняли на военный завод, еще и подрабатывали – сыр, а возможно, и муку доставляли им из родных мест. Может быть, Костя будет теперь разборчивее, он ведь такой добрый.

Словом, я продолжал верить в друга. Но и на этот раз постеснялся делиться с ним своими мыслями – засмеет еще или обидится. И, наверно, зря. Потому что решился он на поступок, который я и сегодня, когда прошло много лет, не могу оправдать. Этот случай оказался для нас с ним роковым, после него судьба моего друга, а затем и моя судьба круто изменилась.

А было так. Нас с Костей позвал к себе домой знакомый мальчишка Вася. Жил он в соседнем стандартном доме с матерью. Его отца, как и Костиного, убили в самом начале войны.

– Пошли ко мне, ребя. Граммофон послушаем, порисуем – у меня акварельные краски остались, – все приставал к нам Вася. И мы в конце концов согласились.

Время провели весело. Слушали Марка Бернеса, Утесова. Рисовали в большом Васином альбоме – кто подводную лодку, кто танки. Я, конечно же, самолет. Напоследок тетя Фрося, Васина мама, угостила нас чаем с сахарином.

А утром, чуть свет, она прибежала к моей матери вся в слезах. Оказывается, у них пропали хлебные карточки – рабочая и детская. Лежали они в вазочке, что на комод. «Кроме тебя и Кости, – обратилась она ко мне, – к нам никто больше не приходил. Отдайте, ребята, карточки, или пойду в милицию».

Меня как обухом по голове ударило. Мама, всплеснув руками, изменилась в лице:

– Как же это, сынок...

– Не брал я этих карточек. Честное слово, не брал.

– Ну, тогда пеняйте на себя, – резко ответила тетя Фрося и, хлопнув дверью, ушла.

Я тут же сорвался с места и побежал разыскивать Костю. Но его нигде не было – ни дома, ни в сарае.

Не успел я вернуться домой, как тетя Фрося уже привела милиционера. Он отвел меня в отделение и там долго и настойчиво уговаривал отдать карточки, спрашивал, где Костя. Но я ведь и вправду ничего не знал.

Вечером меня отпустили. Пришел домой, и опять застал там тетю Фросю, на этот раз вместе с Васей. Увидев меня. Васина мама снова стала просить, чтобы я отдал карточки:

– Пойми, нам же совсем кушать нечего – ни сегодня, ни завтра. Что нам, в петлю лезть?..

Мать глядела на меня с укором и ожиданием. Не поверила, видно, что этих карточек я в глаза не видел. Ну, как им доказать...

Рванув дверь, я выбежал на улицу. Не помню, как очутился на городской окраине, где начинался луг. Зарылся в густую, по пояс, траву и пролежал там до сумерек. На душе было мутно, тоскливо. Но трава и легкий теплый ветерок успокаивали. Я вспомнил, как через этот луг, за которым шумел сосновый бор, мы с отцом ходили по грибы. Местами становилось топко, и нас, детей он брал на руки, чтобы перенести через болото. Всего год прошел, а мир будто перевернулся. Мне, мальчишке, понять и осмыслить это было не по силам.

Потом я забылся в полудреме, но ненадолго. Мысль, которую эти два дня я упорно от себя гнал, не давала покоя. Если и вправду дома у тети Фроси в день пропажи никого, кроме нас, не было, значит, карточки мог взять только Костя. И вовсе не случайно он сразу исчез, будто испарился.

Домой я так и не пошел. Посланился по улицам, заглянул на вокзал, где, как всегда, суетились вечно спешащие пассажиры. А когда совсем стемнело, незаметно прокрался к Костиному сараю. Там были нары из досок – широкие, застеленные ватным матрацем. Подушкой служила старенькая телогрейка. От голода у меня сводило живот – с утра не было во рту ни крошки. Но сон все же взял свое.

Ночью я вдруг почувствовал, что кто то сильно трясет меня за плечо.

– Валька, это ты что ли?

Услышав Костин голос, пришел в себя:

– А кто же еще...

Костя посветил спичкой, и на мгновение я увидел его лицо и взлохмаченную черную шевелюру.

– Слышь, Валентин, тут меня, видать, ищут...

– Ищут. Меня таскали в милицию. Тетя Фрося вся извелась, плачет. Я из за этого из дома убежал.

– Ну, раз ищут... – Костя помедлил. – Значит, оставаться мне здесь нельзя.

– А знаешь, в Москве житуха, не в пример нашей, – продолжал он. – Если, конечно, не быть дураком. Между прочим, там я с пацанами фатовыми познакомился, зовут в свою компанию. Ты, Валька, не дрейфь. Погоди малость – я за тобой приеду. На вот, перекуси.

Он передал мне спички, а сам достал из за пазухи сверток. В нем оказался кусочек краковской колбасы и французская булка.

– Ешь, я сыт.

Немного утолив голод, я все же решился задать другу вопрос, который не давал мне покоя:

– Костя, а все таки можешь ты мне, как другу, ответить: зачем нужно было брать эти карточки. И именно у тети Фроси. Им же теперь есть нечего.

Костя, как видно, такого вопроса не ожидал. Но, помолчав немного, ответил каким то чужим деревянным голосом:

– Ишь ты, какой сердобольный нашелся. Тете Фросе голодно. А что, твоей матери легче? У вас еще ведь и Гена... Я, может, для вас старался. А если честно, Валька, – сам не знаю, как вышло.

В темноте я не мог видеть Костиного лица, но нутром почувствовал, что в нем – пусть на один миг – шевельнулся червячок сомнения. Значит, и его иногда посещали те же мысли, но только он решительно растирал каблуком этих самых червяков.

...Костя сдержал свое слово – через две недели приехал за мной. Так я оказался в Москве, поселившись по рекомендации друга на «хате» у тети Сони. А известный в те годы «вор в законе» Валька Король стал моим «крестным отцом» и наставником.

На допросах и между допросами. Индийский чай с бутербродами

Когда я открыл глаза, мужчина с брюшком размахивал пухлыми руками. Вверх вниз, вверх вниз. В широких красных трусах в горошек, то и дело сползавших с пуза, он был похож на клоуна. «Шизик, что ли?» – подумал я, не сразу сообразив, что толстяк делает утреннюю зарядку. Лицо сытое, пышет здоровьем, несмотря на то, что мужику не меньше пяти десятков.

Заметив, что я проснулся, толстяк на время прекратил размахивать руками и этак интеллигентно, с поклоном головы, представился:

– Иван Васильевич... Как почивали в экстремальных условиях, уважаемый?

– Экстремальных, говорите? – Я едва не расхохотался. – Это для кого как. По мне, тут просто комфорт...

И тоже назвал свое имя отчество.

Парень акселерат, спавший у окна напротив меня в «варенках» и размалеванной импортной майке, тоже проснулся. Хотя вставать не спешил. Презрительно скособочив губы, он некоторое время молча наблюдал за пыхтевшим от усердия толстяком. Тот, не реагируя на его косые взгляды, продолжал разминаться. Тогда акселерат резко встал и, по матросски расставив ноги, сплюнул, а после неожиданно стянул с себя майку.

– Видал, ты... – как бы предупреждал он, мотая кудлатой головой в сторону толстяка.

Грудь у парня была разрисована искусной татуировкой: на фоне морского прибоя обнаженная фигура гладиатора, голова которого располагалась между сосками.

Гладиатор означал, что парень – из убежденных, отъявленных хулиганов.

– Будешь мне мешать и заниматься всякой х...й, – процедил акселерат не терпящим возражения тоном, – придушу... Может, это до тебя не доходит? Могу показать и ниже...

Он взялся за пуговицу на поясе, державшую модные штаны.

– Нет, нет, я уже кончил, – поспешил с ответом толстяк, не решившись испытывать судьбу, и пошел к раковине – умываться.

– Не плещись, раздражаешь, – последовал очередной окрик.

Парень был не только рослым, но и здоровым – видать, из тех, что с легкой руки «люберов» качают мускулатуру.

На чем, интересно, он залетел? С толстяком все ясно – типичный торгаш. А парень – у этого либо опять хулиганка, либо что то похлеще. Из такого вполне уже мог получиться насильник или садист, которому ничего не стоит отправить человека «в Сочи». Надо как то себя проявить, иначе на шею сядет и не слезет.

– Ты, парень, успокойся – обратился я к акселерату подчеркнуто вежливо, но без заискивания. – Здесь ведь не пионерская зона, а стариков обижать ни к чему.

– Пошел ты... – задыхарился он.

Тогда я встал, и, понимая, что веду себя как пацан, стянул по его примеру рубашку. На груди, под левым соском, обнажилась накладка – сердце, пронзенное кинжалом.

– Видал? – спросил я тем же спокойным тоном.

– Знаю, – насупившись и немного помедлив, ответил парень. – На воле видел у одного знакомого.

– И читать умеешь?

– Еще бы. Сердце с кинжалом обозначает, что ты – «вор в законе». Если честно – не ожидал. Выходит, почти свои.

Парень подошел ко мне, подал руку:

– Леха...

И добавил:

– Таких – уважаю, хотя мы у вас и не котируемся. Тебя как?

– Валентин.

Я протянул ему пачку сигарет.

– Закуривай.

Толстяк, который заканчивал свой туалет, посмотрел на меня с признательностью. Потом подошел к нам и подал пухлую женскую ручку мне и, мгновение поколебавшись, Лехе.

Жизнь в ИВС постепенно налаживалась.

... После обеда меня вызвали к следователю.

– Как устроились, Валентин Петрович? Не обижают? – спросил он, стараясь, как видно, завоевать больше доверия.

«Стреляного воробья на мякине не проведешь», – подумал я, не удосужив его ответом.

– Сегодня вот выкроил пару тройку часов, вас послушать, – продолжал он, ничуть не смущенный моим молчанием. – Не скрою, мотив у меня в данном случае почти корыстный. Учусь в аспирантуре, готовлю диссертацию.

Значит, не докопались, – подумал я. – Иначе – не стал бы он с этого начинать. А если все же возьмут Сизого. Неужто он меня и здесь подставит? Не побоится сходняка?..

Выходит, нет пока у меня оснований сомневаться в искренности следователя, принимать позу обиженного. Вывод – надо ответить ему взаимностью.

– Стало быть, наука спустилась, наконец, с небес, коснувшись грехов наших тяжких, – отреагировал, наконец я.

– Представьте себе, Валентин Петрович, – снизошла, – улыбнулся следователь. – И тема моих научных занятий – самая что ни на есть земная. Организованная преступность. То, что, на западный манер, называется мафией.

– Мафия? А разве у нас она есть?.. Вам, конечно, видней, вы человек ученый. Но вот что хочу сказать. В бытность на воле – перед тем как в последний раз залететь – о мафии я понятия не имел. В колонии кое что слышал от «новых»: будто писали об этом в газетах, но, мол, все это – треп. Может, и вправду раздувают? Не доросли мы до Запада. Это у них там, рассказывают, все четко снизу доверху поставлено, одно руководство. И в правительстве – своя рука.

Прежде чем мне ответить, следователь достал из стола пачку сигарет. Закурили.

– Наука, Валентин Петрович, обязана прежде всего опираться на факты. А таких фактов, подтверждающих, что организованная преступность – это уже реальность, накопилось у нас предостаточно... Хотя, не скрою, и среди ученых немало таких, что, подобно вам, пытаются отрицать ее существование. Разумеется, куда удобнее судить обо всем с привычных, накатанных позиций. Иначе ведь придется пересматривать свои взгляды, вносить коррективы. А зачем, имея ученую степень, имя, усложнять себе жизнь? Куда проще, давя авторитетом, на каждом перекрестке публично заявлять: нет у нас организованной преступности и не может быть, потому что нет почвы... Я вас, наверно, утомила, Валентин Петрович?

– Нет, нет, все это мне в новинку и очень даже интересно. Что получается? Считаюсь вроде профессионалом, «вором в законе», а о таких вещах узнаю от следователя. И еще хочу спросить: коли в блатном нашем мире все так круто переменялось, интересно ли будет вам слушать мой рассказ? Как я понял, теперь это уже вчерашний день.

– Не делайте, Валентин Петрович, поспешных выводов. В том то вся и штука, что нынешняя организованная преступность не просто многое взяла у вас, «старых» воров, но и, насколько я знаю, успешно под вас маскируется. Это, так сказать, лапотная российская разновидность «воров в законе»... Вы ведь прекрасно знаете, что такое воровская сходка. Так вот, если у вас на сходки, пусть даже крупные, собирались обычно воры из одного города, скажем, московские, краснодарские, то теперь съезжается на них «братва» со всей страны. А это уже признак того, что существует сообщество. Доводилось мне видеть и обращения, адресованные всем ворами.

– Любопытно все это, гражданин следователь. И по какой же такой статье вы им шьете подобные сходнячки? Я вот в пятьдесят седьмом присутствовал на всесоюзной сходке в Сокольниках, и нас там даже уголовный розыск охранял. Помню, тогда в Москве не было краж аж целых три дня...

– В том то и дело, что статьи, которая предусматривала бы наказание за создание преступных организаций, в законе до сих пор нет. В кодексе двадцать шестого года она была, а сейчас, когда факт, что называется, налицо, – законодатель упорствует.

– Трудно вам, как я вижу, приходится. За сложное дело взялись.

– Не привыкать – повоюем. Ну вот, а теперь, Валентин Петрович, я готов слушать вас. Рассказывайте обо всем, что считаете важным и интересным. И все таки я прошу, постарайтесь больше внимания уделить воровским обычаям, традициям, правилам. Был, к примеру, в вашей среде закон: не предавать друг друга под страхом смерти.

«К чему это он клонит? – подумал я. – Ох, хитер». Однако сделал вид, что все нормально.

– Почему был? – спрашиваю. – «Новые» его, по моему, не отменяли. Это ведь со времен Ваньки Каина идет, читали, наверно, у Максимова о каторжанах. Без этого никак нельзя. Ведь вы друг на друга тоже не капаете начальству.

– На словах, – следователь хитровато улыбнулся. – Ну, об этом мы какнибудь после поговорим и, если угодно, обменяемся мнениями. А теперь, Валентин Петрович, давайте заварим с вами чайку покрепче, правда, не конвойного, без коньяка. У меня, кстати, и бутерброды есть. И я готов слушать...

– Только скажу заранее, чтобы это не было неприятным сюрпризом, – продолжал он. – Считать вас полностью невиновным у меня пока нет оснований. Те косвенные улики, которые я вам прошлый раз перечислил, – вот так, запросто, не откинешь. А потому я вынужден обратиться к прокурору за санкцией на ваш арест. Понимаю, в следственном изоляторе беспокойно, не то что в ИВС, но ничего не могу поделать. Служба...

Он вышел из за стола, налил в электрический чайник воду из графина, подключил шнур к розетке. Из сейфа достал завернутые в газету бутерброды с сыром и колбасой, сахар, начатую пачку «индийского».

– Тут у нас, Валентин Петрович, прослышав, что вас задержали, кое кто, может, и обрадовался. Еще бы, есть возможность списать на счет вора рецидивиста пару тройку нераскрытых квартирных краж. Ему, дескать, и так сидеть. Из некоторых голов такое, к сожалению, не выветрилось.

Я не счел нужным что либо ответить, лишь пожал плечами.

Следователь насыпал в стакан заварку: себе – одну, мне – две ложки. «Достаточно?» – Я кивнул.

– Ну так вот. Я этим друзьям ясно дал понять: не то нынче время, чтобы на человека напраслину вешать.

– Да я, гражданин следователь, «скачков» не лепил сроду.

– Это одно. А во вторых, я им пояснил, по срокам никак не вяжется. Все эти кражи совершены до вашего возвращения, что подтверждается документами. Товарищи на нечестную игру рассчитывали, но тут я им не помощник.

И хотя привычка ко всему относиться с подозрением заставляет меня всегда быть начеку, прямога и откровенность следователя, который не побоялся при мне, воре, фактически обвинить в бесчестии своих коллег по службе, приятно удивили. Я как то сразу еще больше его зауважал.

Чайник закипел. Наполнив стаканы кипятком, следователь накрыл каждый из них плотным листочком бумаги и, чтобы края не загибались, положил сверху чайные ложечки. Красноватый напиток быстро густел, чаинки, одна за другой, опускались на дно. Для «чифира», конечно, слабо, но и такое пить – одно удовольствие.

– Ну вот, я весь внимание, теперь буду только слушать, – сказал следователь, подвигая мне бутерброды.

Залпом выпил стакан ароматного чая. Дожеввал бутерброд с толстым, отрезанным по мужски, куском сыра.

– Гражданин следователь, если вы разрешите, начну я не с того, какие у нас были законы, обычаи, а расскажу все так, как сложилось у меня в голове. Вы себе даже не представляете, сколько за годы отсидки человек всего передумает и переварит в своей голове. Иной раз так и тянет изложить все это на бумаге. Может, вышло б не хуже, чем у Достоевского в «Записках из мертвого дома». Да где там – ни условий, ни силы воли...

– Я вас понимаю, Валентин Петрович. – Конечно, рассказывайте, как вам хочется. А над выводами вместе подумаем – была бы пища для размышлений.

В тот день я успел рассказать следователю не только о своем детстве и о первом «рывке», но и о том, как, став ворами, мы вместе с Костей ездили из Москвы на родину навещать родных...

Исповедь. На побывку к матери.

Сегодня, как решено было накануне, мы с Костей и Лидой едем к себе на родину. Валентин и его подруга с утра сходили на базар, принесли полные сумки снеди. Подозвав меня, Король таинственно извлек из кармана пиджака две шоколадки и большое антоновское яблоко:

– Держи, тезка, это тебе.

Шоколадки я положил в свой карман (отвезу матери!), а яблоко стал с наслаждением есть. Король в это время наставлял Лиду, как ей себя вести, когда придет к нам. Сказал, чтобы со всеми была вежлива и тактична. Тут же придумал для нее легенду – как она меня встретила и почему оказалась «добренькой» девушкой.

Тут вклинился в разговор Костя:

– Да зря вы все это сочиняете. Мама у Вальки тихая, гостеприимная. И сама она ни о чем не будет расспрашивать. Ведь правда, Валя?

– А ты не петушишься, постреленок, – ответил за меня Король. – Запомни крепко: мы должны все предусматривать, чтобы любая неожиданность не застала врасплох. Там ведь не одна его мама будет. Малыш мне рассказывал, что их комната рядом с общежитием. Значит, и девчата могут о чем то спросить.

Я удивился тому, какая у него память: запомнил даже эту подробность. Вообще я все больше восхищался своим взрослым тезкой. Он был молод, красив, одевался со вкусом. В тот день хорошо помню, на нем был новенький бостонский костюм тройка, хромовые сапоги. Выходя на улицу, он надевал темно синюю велюровую шляпу.

Король несколько не был похож на вора. Культурный молодой человек из состоятельной семьи. А его изящные руки с тонкими нервными пальцами профессионального карманника вполне могли бы принадлежать пианисту или скрипачу.

Немного погодя я узнал, что Король считался в Москве одним из самых известных «воров в законе». Его авторитет был непререкаемым. Валентина хорошо знали как в близлежащих отделениях милиции, так и в МУРе.

Был у него друг Федя Артист – тоже знаменитый карманник. Часто они «работали» на пару. Когда их ловили с поличным, оба притворялись душевнобольными. При этом так имитировали болезнь, что ставили в тупик экспертов медиков, и нередко их освобождали еще до суда.

В то время за карманные кражи максимально давали год лишения свободы – по 162 статье УК. Валентин и Федор почти всегда избегали даже этого наказания. Не случайно пользовались они у воров таким авторитетом.

В общем, моим учителем стал не просто «вор в законе», а человек незаурядный, умный, виртуоз в своем деле. Еще не так давно мама пугала меня словом «вор». Бывало, оставляя одного в доме, наказывает: «Смотри, сынок, без меня дверь никому не открывай, а то воры утащат». Теперь я сам оказался среди них, а «вор в законе» заменил мне отца.

Перед тем как нам отправиться в путь, Валентин усадил меня рядом с собой на диване и стал расспрашивать о семье, о том, как мы жили. Я ничего не утаивал – да и к чему. Выслушав меня, он долго молчал, а потом вдруг обнял за плечи:

– Да, брат, тяжелая у тебя была жизнь. Ну ничего, не унывай. Теперь станет легче. И даже совсем хорошо.

Вошла Лида, которая разбирала на кухне покупки. Он взял в руки гитару и тихонько запел:

Платье твоё – цвет розы,

Платье ты носишь по моде.

Гулять ты со мной не хочешь –
Ну что же, гуляй, с кем захочешь.

Девушка прижалась к нему:

– Дурачок ты мой. Разве могу я без тебя.

Вошла тетя Соня и сказала, что сумки упакованы, можно немного перекусить и собираться.

Король вынул из жилета часы:

– В дорогу наедаться вредно. Нам пора.

Пока мы шли до вокзала, с Валентином раза три здоровались какие то парни – все, как и он, хорошо одетые, в хромовых сапогах и кепках восьмиклинках.

В ожидании поезда на перроне скопилась уйма народу. Король сказал нам, что не прощается – еще, мол, увидимся, и сам куда то исчез.

Подали состав. Пассажиры стали брать вагон с бою. Со всех сторон нас с Лидой и Костей толкали тетки с мешками и корзинами, и мы, с тяжелыми сумками в руках, еле втиснулись в тамбур. Паровоз дал гудок, поезд тронулся. Вдруг слышу знакомый голос:

– Мамаша, проходите вперед, мы ж из вагона вылетим – висим на подножке.

Подняв глаза, я увидел своего взрослого тезку и с ним – пацана, который однажды заходил к нам на хату. Кажется, звали его Сенькой. Они вдвоем бойко подталкивали стоящих в тамбуре мешочниц. Хотел было крикнуть: «Валентин!», но в тот же момент Лида крепко сжала мне руку. Не сразу до меня дошло, почему Валька Король, который не думал ехать и билеты взял только для нас, оказался в поезде. Тетки с мешками в ответ кричали, что проходить некуда, народу битком.

Поезд, постепенно набирая скорость, громыхал по стрелкам. Я на минуту отвлекся, засмотревшись на проходивший мимо состав с зачехленными брезентом «Катюшами». И тут услышал удивленный возглас одной из женщин:

– Вот чудачки, эти молодые. Толкали, толкали – все им места мало, а сами выпрыгнули на ходу.

Кто то поддакнул ей в тон:

– Чудаков нынче хватает.

Но стоявший в дверях пожилой мужчина тут же скумекал, в чем дело.

– Вы лучше карманы проверьте. Наверняка, тут не чисто.

Бабы спустили мешки на пол, поставили их между ног и стали ощупывать свою одежду. Вдруг одна из них как завизжит:

– Обокрали! Гляньте – пиджак разрезали. Ну как я теперь – все деньги там...

– Надо остановить поезд, – подсказал кто то.

Мужчина выругался:

– Дуры вы деревенские. Плакали они, твои денежки. Их уж, небось, пересчитывают где нибудь в укромном месте. А вы – поезд... Много денег то было?

– Восемнадцать тысяч, – рыдая, ответила женщина. – Два дня свинину на рынке продавала. А сколько хлопот было с этим поросенком, пока выкормила... Ох, батюшки, что же мне теперь делать. Хоть под поезд бросайся.

– Не надо рот разевать, – досадливо отмахнулся мужчина.

– Ну кто же мог подумать, – защищала пострадавшую другая женщина, постарше и посолиднее. – На вид – культурный молодой человек, одет прилично, парнишка с ним такой симпатичный – младший брат, наверное. Куда только милиция смотрит.

Та же, которую обокрали, показывала всем разрез на боковом кармане, – аккуратный, в виде буквы «Т»:

– По всему видно – специалист поработал, – заключил все тот же пожилой мужчина.

Я был словно в оцепенении, начав понемногу понимать, что произошло. Лида, угадывая, о чем я думаю, тихонько дернула меня за рукав и сунула мне в рот «петушка» – леденец на палочке. Костя тоже о чем то думал, хотя, наверное, совсем о другом – к такому он уже успел приглядеться.

Поезд подъезжал к станции Обираловка – название, как нельзя кстати подходившее к этому случаю (сейчас это станция Железнодорожная). Тетка, у которой вытащили деньги, стала собирать вещи. «Пойду в милицию», – сказала она, вытирая косынкой мокрое от слез лицо. «Что толку, – пробурчал ей в ответ мужчина. – Их год ищи, не найдешь...»

Скоро уже и наша Электросталь. Везем мы с собой много всяких продуктов, и даже американские консервы – тушенку в красивых квадратных банках с ключиками.

Я вдруг вспомнил, как на рынке надули с этой тушенкой нас с Костей. Было это дня за три до первой моей кражи – «рывка», о котором я уже рассказывал. Тетя Соня, хозяйка, попросила нас сбежать купить тушенки, чтоб побыстрее приготовить борщ. На Рогожском Костя нашел мужичка, который торговал консервами из под полы.

– Дешево отдаю, пацаны. Двести рублей за банку. Деньги позарез нужны.

Костя обрадовался, потому что за тушенку, как сказала нам тетя Соня, меньше трехсот не берут. Сунул мужику деньги, и мы побежали. Дома открыли одну банку, а там тряпки с землей. Тетя Соня развела руками: «Вот тебе и Америка». – «Не Америка, Соня, – внес ясность вошедший на кухню Король. – Это работа Бори Букахи, не иначе. Тот еще аферюга. Тушенку он вынимает и сам кушает, а банки запаивает и продает «лохам» да «скокарям». Ну ничего, «дрожжи» мы у него заберем... (На воровском языке «дрожжи», как я уже знал, означали деньги.)

Вспомнил эту смешную историю, и на душе полегчало. Улыбнувшись, посмотрел на Лиду, которая стояла у окна с грустным лицом. Она тоже улыбнулась в ответ.

И вот мы с Лидой подходим к моему дому. Костя решил не рисковать. «Ты сперва узнай, спрашивали меня «лягавые» или нет, а я посижу в вашем сарае».

Матери я должен был сказать, что Лида живет в Москве, отец у нее офицер, летчик, и что это он все достал и попросил дочь съездить ко мне домой. А с ее отцом мы познакомились случайно, на вокзале. Я попросил у него денег на билет до Электростали, он разжалобился, вспомнил своего сынишку, который перед началом войны был в пионерском лагере на Украине, а когда ребят везли домой, поезд попал под бомбежку.

Эту легенду придумал, конечно, Валька Король, и она не могла дать осечки.

Дверь нам открыли девчата из общежития. Они начали во все глаза разглядывать мою спутницу и наши тяжелые сумки.

Мама была у себя в комнате. Мы с ней поцеловались. От неожиданной этой встречи она опустила на стул, потом заплакала. Я познакомил ее с Лидой, пересказал легенду – получилось, как будто, правдоподобно. Девушка ее обняла, стала успокаивать, а мне сказала, чтобы распаковал сумки и достал колбасу.

Лида отрезала несколько ломтиков «Любительской» и вместе с половиной мягкой французской булки подала матери. Та начала есть – торопливо, судорожно, заглатывая почти непережеванные куски.

Я нисколько не удивился этому, вспомнив, как еще недавно голодал сам.

Внезапно раздался детский плач: проснулся Гена, мой младший братик. О нем, растроганный встречей с мамой, я сразу и не вспомнил. Какой же был он худенький, бледный – в чем душа.

– Не реви, сынок. – Мать подошла к кровати, на которой они раньше спали с отцом, стала успокаивать малыша.
– Смотри, сколько тетя Лида и Валя привезли гостинцев. Сейчас мы тебя покормим.

Пришел Витек, который с утра был в школе, и тоже с жадностью набросился на еду.

А мне надо было срочно бежать к Костиной бабушке – узнать, не ищут ли парня. В сарае, он, поди, совсем истомился.

Увидев меня, бабка страшно обрадовалась и, конечно, первым делом спросила о внуке. И тут же скороговоркой стала мне рассказывать, что Костина мать в лагере – здесь, в Электростали, прислала два письма, очень соскучилась по сыну. Я задал вопрос: «А милиция к вам не приходила?» – «Нет, не беспокоила». – «Ну тогда погодите, я за ним сейчас сбегую...»

Вернувшись домой, я застал Лиду на кухне. «За тобой дрова, приветливо улыбнулась она. – Будем варить борщ с мясом». Девушки из общежития тоже почти все столпились на кухне и наблюдали, как Лида чистит картошку. Когда она выбросила очистки в тазик, одна из девушек замахала руками:

– Что ты делаешь, разве ж такое добро можно выкидывать. Если их пропустить через мясорубку и добавить чуть чуть муки – лепешки получаются такие, что пальчики оближешь... Видать, подруга, голоду ты не знала.

И, уйдя из кухни, в сердцах хлопнула дверью.

Пришел Костя, сказал, что завтра они с бабкой поедут в лагерь навещать его маму. В письме она просит, чтобы привезли табаку. «Странно, – подумал я. – Она ведь была некурящая». А ему сказал:

– Я поеду с вами, хочу повидать тетю Марусю.

Рано утром мы сбежали к столовой, купили двадцать стаканов табаку, набрали еды и отправились в лагерь. Он был совсем недалеко – от центра две или три остановки на автобусе. В лесочке рядом с заводом, где работали прежде и мои родители, и Костина мама. Отделяла его от внешнего мира одна лишь колючая проволока, а по углам отгороженного прямоугольника стояли вышки с часовыми. Сойдя с автобуса, мы пошли вдоль этого ограждения. За ним я впервые в жизни увидел заключенных. Изможденные, безликие, в одинаковых черных робах мужчины и женщины (в те годы они содержались вместе) стояли небольшими группами или же прохаживались по зоне – очевидно, был час утренней прогулки. Вдруг видим отделившись от остальных, к ограде бежит какая то старая женщина.

– Костя, сынок, родненький мой...

Хриплый, раздирающий душу голос. Помнится, даже сын не сразу узнал в этой худой поседевшей женщине свою маму.

Часовой на ближайшей к нам вышке приказал остановиться и поднял автомат. Бабка заплакала. А тетя Маруся, отступив немного от ограды, показала рукой, куда нам надо идти. Мы подошли к месту, где принимали передачи. Дежурный сказал, что можно написать заявление и нам разрешат повидаться с заключенной.

Какое то время нас поманежили на вахте, но в конце концов пропустили. Нас не обыскивали, только проверили, что в сумках. Потом завели в комнату, где из обстановки была лишь большая скамейка и еще стояло ведро с водой.

Томительно тянутся минуты ожидания. Костя, сам не свой, ходит из угла в угол. Бабка, поджав ноги, сидит на скамейке, я стою. Но вот дверь открылась, и вошла тетя Маруся.

Она прижимает к себе сына, плачет, что то пришепывает. И мне становится как то не по себе.

На допросах и между допросами. С наукой спорить нелегко.

Мой рассказ следователь слушал сосредоточенно. Вопросов не задавал. Лишь изредка просил уточнить какую-нибудь деталь или повторить блатное словечко – из тех, что нынче вышли уже из воровской «музыки». Иногда заносил что-то в лежавший перед ним блокнот.

– Как вы сказали, Валентин Петрович, – «передал дрожжи?»

– Ну да. Дрожжами мы называли деньги. Это сейчас – ловешки, поленья, воздух, бабки...

– Любопытно.

– Меняются времена, гражданин следователь. К тому же в нашем деле нужна конспирация. Если какое то слово знает много людей не нашего круга, приходится его менять. Тут уже, гражданин следователь, осуждать «беспредел» я не вправе.

– Послушайте, Валентин Петрович. Давайте договоримся: на таких вот наших беседах, как эта, я для вас – не гражданин следователь, а Иван Александрович. Это ведь не допрос.

– Как скажете, граж..., то есть Иван Александрович. А если случится, что во время допроса вдруг ошибусь, назову по имени отчеству?

– Будьте уверены: срок вам за это не прибавят, – улыбнулся он, приняв мою шутку.

– Продолжайте, Валентин Петрович, извините, что перебил.

Между прочим, чисто случайно – следователю позвонила из дома жена – мне довелось узнать, что на нашу неофициальную беседу он потратил свой выходной. Это тоже был штришок в его пользу.

За окнами кабинета стало уже темнеть, когда Иван Александрович, дослушав мой рассказ о поездке на родину и о Костином свидании с матерью, сказал, что на сегодня, пожалуй, хватит. И добавил:

– Спасибо вам, Валентин Петрович. Если выкрою время, продолжим завтра вечером. Хотя нет, раньше чем через день не удастся – завтра у меня визит к прокурору и три допроса.

– Иван Александрович, можно задать вопрос. То, что я рассказываю, принесет хоть какую то пользу этой вашей науке?

– Напрашиваетесь на комплимент, Валентин Петрович, – краешками губ улыбнулся следователь. – Безусловно. Живые свидетельства, я считаю, куда важнее десятка иных ученых трактатов. Тем более, что по той проблеме, которой я занимаюсь, написано пока до обидного мало. О причине я вам говорил: отрицание очевидного.

В очередной раз предложив мне сигарету, он продолжал:

– А чтобы не быть голословным, могу сказать: многое из того, что я сегодня от вас услышал, подтверждает часть выводов моей будущей диссертации. А пожалуй, и уточняет. Вот послушайте.

Порывшись в ящике стола, он достал потрепанную синюю папку с тесемками, в которой лежало несколько десятков отпечатанных на машинке листов, нашел нужное место:

«Одним из «законов» воровской «братвы» было оказание материальной помощи осужденным ворами, их семьям и другим лицам из их окружения. Тем самым «воры в законе» преследовали корыстные цели: завоевать авторитет в определенной среде, поднять свой престиж и по возможности расширить сферу своего влияния».

– Согласны с таким выводом, Валентин Петрович? – закончив читать, спросил следователь.

– Под первой частью готов подписаться. А под второй... Бьюсь об заклад, что в мое время, помогая родственникам «босняков», которых «замели», мы не преследовали никаких корыстных целей. Просто было так заведено.

– Позвольте все таки с вами не согласиться. Речь идет не о корысти, непосредственно извлекаемой из данного конкретного благодеяния, а о той, что имеет целью, так сказать, отдаленные последствия – создать вокруг своего воровского клана некий розовый ореол. Смотрите, мол, вот мы какие хорошие. В беде человека никогда не бросим. Идите к нам, и довольны будете... Братья во Христе, не больше, не меньше.

– С наукой, Иван Александрович, спорить, я вижу, трудно. Но все же я остаюсь при своем мнении. Помощь и взаимовыручка в любом случае ценятся. И в любом, как вы говорите, клане. Пусть он и воровской. А у нас ведь, помимо денег, еще и внимание, и доброе слово, во время сказанное. Тут наша «братия» (да простит мне Бог такое кощунство!) мало чем отличается от церковной.

– Точнее, отличалась, Валентин Петрович.

– Вы снова о «беспределе»...

– Как сказать, для вас это беспредел, а мы видим в нем явление иного плана. Ну не буду, не буду беречь ваши раны. Кстати, и у верующих доброе отношение к людям способствует вовлечению в лоно церкви новых членов. Хотя, как вы справедливо заметили, сравнивать эти две вещи – кощунство. Любая религия зовет людей на благие, честные дела. Православие же прямо говорит о своей заповеди: «не укради». Вы же под видом заботы о ближнем в лучшем случае пытаетесь себя «отмыть».

Сказано было убедительно, и я не смог возразить. Иван Александрович между тем опять открыл свой ученый трактат.

– Утомил я вас. Но все же послушайте еще один небольшой фрагмент. Он тоже почти напрямую связан с тем, о чем вы сегодня рассказывали. Я попытался обобщить то, что удалось узнать о так называемых «пацанах» – подростках, которых «воры в законе» готовили себе на смену. Использовал и научные статьи, и свои наблюдения, беседы. Ваш рассказ об «ученичестве» у Короля – превосходная иллюстрация, и я непременно на него сошлюсь. К слову, Валентин Петрович, вы не припомните, кроме вас и Кости, были у того же Короля еще «пацаны»?

– Ну, вы как в воду глядите, Иван Александрович, – оживился я, вспомнив вдруг о двух пацанах – чуть постарше нас с Костей – Сеньке и Суслике. С этими воришками он познакомил меня в первый день нашего приезда в Москву. Сеньку и Суслика, хотя они и не жили у тети Сони, Валентин держал у себя под крылышком. Обучал воровским приемам, «законам», угощал водкой. «Работали» они на пару. У нас на «хате» были своими людьми. Но, в отличие от нас, любимцами Короля они не были – наверное, потому, что этим пацанам не хватало сообразительности и сметки, особенно Суслику. А для карманника, как и любого вора, одной ловкости рук мало.

О них я коротко рассказал Ивану Александровичу, а потом он прочел мне выдержку из рукописи.

«Одно из положений «закона» требовало от воров вовлечения в свою среду новых членов, поэтому они вели активную работу среди молодежи, особенно несовершеннолетних. Система вовлечения, по словам воров, была достаточно эффективной. Новичков обольщали «воровской романтикой», «красивой жизнью», свободой от обязательств перед обществом, властью денег и культом насилия. Их приучали к водке, наркотикам, сводили с воровскими проститутками, заставляли брать на себя вину за преступления, совершенные ворами. Последнее было чуть ли не основным мотивом вовлечения молодежи.

В местах лишения свободы члены группировки использовали кандидатов («пацанов») для различных поручений – сбора средств для общей кассы («общака»), а нередко и в сексуальных целях. Таков был путь в воровское общество почти у каждого вора, что, несомненно, способствовало формированию у него цинизма, жестокости и презрения к нравственности, социальным ценностям».

– Поставим здесь точку. Что скажете, Валентин Петрович?

– Суть схвачена. Не обижайтесь, но ее, эту суть, еще раньше подметил писатель Мединский, хотя, конечно, не в научной форме. Только вот насчет того, что вовлекали мальцов ради прикрытия – тут вы, по моему, хватили лишку. В первую голову думали о толковых помощниках, расторопных и шустрых, – у молодых и реакция другая, и пальцы чуткие. О смене заботились. А то, о чем вы говорите, – было, но на первое место ставить нельзя.

– Что ж, к этому вашему замечанию стоит прислушаться. Вопрос спорный, но поспорить есть о чем.

– И еще, Иван Александрович, – продолжал я. – «Воры в законе», наши наставники, учили нас многим дурным вещам. Тут я согласен. Хотя, если наставник был умным, как наш Король, он понимал, что из алкаша, к примеру, хорошего вора не получится, и потому – приучал знать меру. Сводил нас и с воровскими проститутками, это было, и об этом я еще расскажу. Но была у многих и настоящая, сильная любовь. Меня, между прочим, она тоже не обошла. Ну, а что касается сексуальных целей... Случалось, хотя такой распушенности, как теперь, не было. Знакомых мне наркоманов мог бы вообще пересчитать по пальцам. Для вора это хуже, чем водка. Думаю, что «беспредел», и тот понимает. Только вот молодежь такая пошла – сама стремится побольше запретных плодов сорвать. Меры не знает.

– Спасибо за откровенность, Валентин Петрович. Я подумаю, как лучше расставить акценты. Хотя, помните, я пишу не о том, что было, а о сегодняшнем состоянии преступности, прежде всего организованной.

Долгая наша беседа, наконец, закончилась. В мою достаточно однообразную и почти лишенную выходов во внешний мир жизнь будто ворвалась струя свежего воздуха. Ни разу до этого не доводилось мне называть следователя по имени отчеству. Приятно было, что и сам Иван Александрович отлично знает наш воровской мир.

Он, честно скажу, нравился мне все больше. Невысокий плотный крепыш, русоволосый, лицо открытое, доброе, серо голубые глаза, расставленные чуть шире обычного, живые и умные. И сам – подвижный, иной раз резкий, умеющий, однако, в нужный момент сдерживать эмоции.

Словом, впервые вне своего узкого мирка я почувствовал себя человеком. Со мной говорил на равных, советовался, интересовался моим мнением не свой брат «блатняк», а интеллигентный, ученый человек. И, как я понял, предстояла не одна такая беседа.

Но – хорошего понемножку, на сегодня все кончено, и мне пора возвращаться в реальный мир – в свою камеру, куда меня отведут под конвоем.

В ИВС я уже не застал ни толстяка, делавшего по утрам физзарядку, ни Леху акселерата. Видно, им успели предъявить обвинение и перевели в следственный изолятор. А в камере был уже новый «клиент», сидевший на краешке койки с сигаретой в зубах.

– Здорово, свояк! – Поднялся он мне навстречу. – Чуть ли не с обеда сижу здесь и скучаю. Неужто, думаю, одного водворили. Пишут, преступность выросла, а тут – в одиночку. Надо же – по ночам людей стали мучить. Права попирают...

Я ничего не ответил: терпеть не могу болтунов. Языком треплет, будто в парашу мочится.

Был мой новый сокамерник помоложе меня лет на пять, повыше ростом, с залысинами на кудлатой голове, в импортной черной майке с какой то иностранной надписью. Как видно, он основательно настроился продолжать треп. И хотя я после беседы со следователем порядком утомился, решил – пусть травит. Может, быстрее засну. Ополоснул под краном лицо и прилег.

– Понимаешь, влип я в такую историю, – мужик, как видно, хотел излить душу. – Взял на прицел одну фатеру. Хозяйка укатила в отпуск, дитя в пионерлагере, муж каждый день, кроме выходных, уезжает на службу. Ровно в восемь тридцать на своем «Жигуле». На объекте, по наводке, полный достаток, и золотишко есть. Главное – залепить скачок можно без риска. Выбираю удобный час, и я – в квартире.

(С этим сокамерником все ясно, решил я про себя. Не иначе, опера подсадили. Дешевка, со мной этот номер не пройдет.)

– ... Изучаю обстановку. Две комнаты смежные. Интерьер люкс модерн. Через большую проходжу в спальню. И тут – ты не поверишь. На двуспальном ложе в стиле Людовика – девка. Молодая, груди навывлет. Распласталась, в чем мать родила. Я, веришь ли, прямо рассудка лишился. Забыл, где нахожусь и зачем пришел. Осторожно, чтоб не спугнуть, разделся – и к ней под бочок. Приласкал, обнял. А она, как видно, во сне не разобралась, что к чему, и от удовольствия аж растаяла. Может, и притворилась, кто их, баб, разберет. Потом открыла глаза, да как закричит. Попытался ей рот заткнуть. А девка сильна, паскуда. Сбросила меня с кровати и пинком по этому делу. Я корчусь от боли, не могу подняться, и тут она меня головой об пол. В

общем, отключился, потерял сознание. Очухался – руки и ноги связаны, девки след простыл, а подле меня... хозяин квартиры и два «мента». Но и это еще не все чудеса. Рядом со мной моя сумка, набитая разным добром: магнитофон там, хрусталь и прочая дрянь. Я то знаю, что ничего в эту сумку не клал. Но кому докажешь. Тут, как водится, понятых пригласили и – пошло, поехало. Понял одно: девка, стерва, не захотела светиться, любовника подводить. Позвонила, видать, ему на работу, а сама смылась, будто се и не было. Ну ничего. Я их выведу на чистую воду. А хороша, куда там моей Наталье законной...

История, которую рассказывал мой новый сокамерник, и вправду была необычной. Если это легенда – неплохо закручено, для затравки годится. Хотя на взаимность этот балаболка зря рассчитывает – не на того напал. Меня на такую приманку не поймаешь. Но он закончил, и надо было как то отреагировать.

– А ты, видать, прыткий мужик, коли вот так, с ходу, полез на девку, – отшутился я, прикидываясь простачком.
– У меня бы смелости не хватило.

– На это пока не жалуюсь.

– А вообще, – решил я поставить все на свои места, – такая история только со «скокарем» и могла приключиться. Кроме вашего брата, кто может голую бабу врасплох застать. Ей Богу, завидую. Только сам в эти квартирные игры не играю. Не по мне они...

Трепач что то ответил или спросил, но продолжать разговор у меня не было никакой охоты, и я притворился, что засыпаю. В самом деле, бороться со сном я был уже не в силах: сказался трудный день и напряженная, необычная для меня умственная нагрузка.

Исповедь. «Гудела» «воровская малина».

Может быть, это свойство моей натуры. Или влияние однообразной до отупения жизни в зоне, где люди, как бы это сказать, варятся в собственном соку жалких своих забот и страстишек. Но если уж я начинаю о чем то думать или вспоминать – мысли работают только в одном направлении.

Так случилось и сейчас, когда с легкой руки следователя ученого я стал ворошить в голове давно забытое. Мозги настроились на одну волну, отключив все остальное. И этот настрой на прошлое не давал покоя ни днем, ни ночью. Воспоминания роились, как пчелы в улье, бежали, иной раз намного опережая события. Вернулся я к ним и на другое утро, хотя знал: вот вот меня должны вызвать, чтобы предъявить обвинение, а после перевести в СИЗО – следственный изолятор.

Ивана Александровича наверняка заинтересует не только мое прошлое – так сказать, жизнь и приключения «вора в законе». Ему, без сомнения, важно и все то, что связано с внутренней борьбой совести и бесчестья, которая не минует, пожалуй, любого нормального человека, даже если он вор. Наука, об этом я где то читал, относит это к психологии преступного поведения.

Моментов, когда меня, начинающего «босняка», одолевали сомнения, когда совесть вдруг пробуждалась и настойчиво начинала подсказывать: «Малышка, одумайся пока не поздно», – таких моментов было у меня в жизни несколько. Не раз я готов был окончательно «завязать» и в ту пору, когда стал уже почти взрослым. Конечно, с годами совесть у большинства людей как бы черствеет, пробуждается все реже. Ты вынужден себя убеждать, что избранный тобой путь – правильный, отбрасывать все сомнения. Иначе надо признаться самому себе, что жизнь прожита впустую, а кому это захочется.

Надо, пожалуй, напомнить Ивану Александровичу о том случае, когда Костя вырвал у девочки буханку хлеба, и я, пацан, не постеснялся сказать другу, что не одобряю его поступка. И о смятении, в котором я находился, поняв, что тот же Костя украл продуктовые карточки у тети Фроси... Да и сам он тогда смутился, стал оправдываться... Не поддайся я на Костины уговоры поехать в Москву – и судьба моя могла бы сложиться иначе. И не надо винить здесь только войну, голод, хотя, конечно, со счетов их не сбросишь. Сколько людей честно жили и работали в этих условиях.

После нашей с Лидой поездки на родину была у меня еще одна такая попытка – вырваться из воровской жизни, которая постепенно начинала засасывать. Эта мысль возникла после того, как съездил с Костей в колонию, где отбывала срок его мать. Подумалось не без тревоги, что и мне рано или поздно предстоит этот кошмар.

Костя, побывав у матери, так расстроился, что ни с кем не хотел разговаривать. Грустный, весь какой то потерянный, уехал в Москву. Уехала и Лида, которую я упросил оставить меня погостить немного у матери.

Временами маме становилось совсем плохо. Голодая, она вконец испортила свой большой желудок, обострилась язва. Мне было до слез ее жалко. Переживала она и о Маше, от которой так и не пришло ни одной весточки. А вскоре пришлось ей принять еще один удар – от воспаления легких умер маленький Гена. Мы с Виктором несли на руках гробик с его тельцем и оба плакали.

Я прожил тогда дома остаток зимы и почти все лето. «Дрожжи», захваченные с собой, отдал матери, сказав, что их оставила Лида. Питались скромно, мама берегла каждый рубль, но этих денег хватило надолго.

О Вальке Короле и его воровской компании я начал уже забывать.

К лету у мамы участились приступы. Мы с Виктором помогали ей, как могли, – убирались, бегали за продуктами. И при этом постоянно гнали от себя мысль, что вот вот может случиться несчастье. Но оно пришло. В июле маму увезли в больницу, и домой она уже не вернулась. Мы остались сиротами.

Витю и меня определили в детский приют, расположенный в нашем городе. Виктор остался там, а я не смог выдержать «заточения». Вспомнилась вольная жизнь, рискованная, полная опасных неожиданностей, зато сытая и веселая. Вспомнились Валька Король, Лида, тетя Соня. Затосковал и о своем закадычном друге Косте. Отделенный расстоянием и временем странный мир, в который я ненадолго попал, влек к себе неодолимо. Что здесь сказалось? Может быть, я становился взрослее, мужал, и виной всему была подростковая неустойчивость, жаждущая какого то выхода? Скольких из нас приводила она к необдуманным шагам и нелепым решениям. А может, гнетущая обстановка приюта, скука и однообразие окружающей жизни, бездушные воспитателей? Трудно сейчас, по прошествии времени, заниматься подобным самоанализом. Ломброзо считал, что «гены» преступного поведения передаются по наследству. Я с этим в корне не согласен, не было у меня в роду ни одного вора или убийцы, да и пример родного брата Виктора, который ни разу не оступился, хотя и прожил страшные годы войны, голодая, так же, как я, – разве не убеждает в надуманности этой теории. (Кстати, ее придерживались и некоторые опытные воры – в свое оправдание, конечно.)

Кроме этих, были у меня в молодые годы и еще порывы, когда хотелось решительно и бесповоротно порвать с «босьями». Но об этом расскажу после.

Убежав из приюта, я приехал в Москву. На трамвае добрался до Рогожского рынка. Вот и знакомая рабочая улица, знакомый дом. Стучусь, выбивая по памяти условную дробь. Гремят засовы, приоткрывается дверь. «Здравствуйте, тетя Соня!..»

Она обрадовалась, крепко меня обняла и поцеловала. «Проходи, Малышка».

Захожу в комнату. На диване с папиросой в зубах лежит Валька Король.

– Где пропадал, тезка?

Рассказал ему, как прожил зиму, о матери, о приюте.

– Не грусти, Малыш, все утрясется. Располагайся, поешь. Скоро и дружок твой Костя придет. Вот обрадуется! О тебе он частенько вспоминал. А сегодня они с Сусликом на Рогожском «работают».

Костя пришел, но один и сильно расстроенный.

Мы обнялись по братски. Король, почуяв неладное, спросил:

– А Суслик где?

– Михалек сцапал его на базаре. (Михальком мы звали оперуполномоченного Михалева, который обслуживал Рогожский рынок.)

– С чем взял?

– Без дела, – ответил Костя.

Валентин быстро встал и вышел из дома.

Пока я рассказывал Косте о невеселой своей житухе, в хате появилась Лида, нарядная и пахнущая духами.

– Малышка, родной ты мой, – она прижала меня к груди, и в первый раз я от этого как-то смутился.

– У него мама умерла – тихо произнес Костя.

Лида, всплакнув, ушла на кухню готовить.

Вскоре вернулся Валентин:

– Отпустили нашего неумеху. («Это он о Суслике», – подумал я.)

В дверь опять постучали.

– А а, Артист, давненько не заглядывал, – Валька поднялся ему навстречу.

– Лягавые замучили, – Федор сплюнул с досады. – Сели на хвост и не дают покоя. Банда Симакова повязала в «марке». На Петровке держали, еле отмахнулся.

Он говорит, пересыпая свою речь блатными словечками, смысл которых я в то время еще не всегда угадывал. Костя потом мне объяснил, что «маркой» они называли трамвай, а «повязали» – значит забрали в милицию. Бандой Симакова воры прозвали оперативно поисковую группу работников МУРА, которая в то время была грозой карманных воров.

Потом началось застолье. Тетя Соня и Лида накрыли шикарный стол. Король наполнил стаканы самогоном. Налил и мне – правда, неполный, рядом поставил сладкий сироп.

– Ну что, братва. За тех, кто там.

Захмелев, я стал вначале веселым, без умолку, под общий смех, нес всякую околесицу.

– Молодцом, тезка, – похлопал меня по плечу Король. – Хороший «босяк» из тебя получится. Сам воспитаю.

– Парень что надо, – подтвердил Артист.

После второй (мне больше не наливали) настроение у всех поднялось. Валентин взял гитару. Стали петь блатные частушки. Федя Артист приплясывал. «Загудела» воровская «малина»...

После этого бесчисленное количество раз участвовал я в таких застольях. Никогда не было на них ни драк, ни даже небольших ссор. Никто не ругался матом, младших не обижали – общались, как говорится, на равных. Кстати, и пили всегда в меру. В этом, как и во многих других вещах, проявлялась воровская солидарность, и дисциплина, которая тоже была для нас одним из неписаных законов.

Да, дисциплина у нас была. Были законы и правила, отступить от которых значило навлечь на себя беду. Причем наказание зависело от тяжести проступка. Степень вины и кару могла определить сходка, и только она. Никаких лидеров, тем более центра, который бы руководил ворами, в то время не было, – это я могу сказать с полной определенностью. Авторитеты были, к их мнению, конечно, прислушивались. Но уважение к ним основывалось исключительно на признании «деловых» качеств этих «воров в законе», их умении виртуозно «работать», уходить от милиции. Они, разумеется, в какой то мере могли влиять на решение сходки, но диктовать, навязывать свою волю не имели права. Все решалось голосованием «воров в законе», независимо от возраста и «квалификации», и было для нас законом. «Беспредел», если я правильно понял Ивана Александровича, во многом от этого отступил и соблюдает закон формально.

Утром, когда я проснулся, на «хате», кроме Кости, никого уже не было. Немного побаливала голова, крепкий чай, который успел приготовить мой верный кореш, сразу дал облегчение.

– На «работу» мы нынче не идем, – объявил мне Костя. – «Дрожжей» достаточно. Давай в кино сходим, на «Новые похождения Швейка». В «Таганском» идет.

Наступила зима сорок четвертого. Красная Армия громила врага. У всех было радостное, приподнятое настроение. Об этом я мог судить не только по кинохронике, которую показали нам перед фильмом, но и по лицам людей на московских улицах. Мы шли с ними рядом, по тем же улицам, хотя где то в душе уже начиная понимать, что на самом деле сбились с дороги, оказавшись в грязном кювете. А впрочем, знали ли сами эти люди, куда идут и к чему их самих приведет «светлый путь», озаренный сталинским «солнцем»?..

И вот уже я – законный «пацан», прохожу у Короля основы воровской грамоты, постепенно вникаю в тонкости профессии «ширмача», как называли вора карманника.

Однажды Король, подзвав меня, достал из портмоне какой то документ.

– Это теперь твои метрики. Свидетельство о рождении. – Он развернул сложенный вчетверо плотный, чуть пожелтевший листок.

– Крепко запомни: с этого дня ты уже не мой тезка, а Леша. И фамилия у тебя другая – Дроздов. Твоего отца убили на фронте, мать умерла. Тетя Соня – твоя родная тетя, и сейчас ты живешь у нее. Кто бы тебя ни спросил, отвечай только так.

– А для чего это надо? – полюбопытствовал я.

– Ну, во-первых, чтобы жил в этой хате не на птичьих правах. А во-вторых, – он таинственно поднял указательный палец... Рано или поздно поймешь и спасибо скажешь. А сейчас бери метрики и твердо заучивай, кто ты отныне есть. Вечером спрошу – должен без запинки ответить.

На другой день Валентин объявил, что мы втроем – он, Костя и я – едем в Салтыковку. «Толкучка там – лучше во всей Москве нет. А вас, пацаны, надо одеть как положено. С иголки».

Умение одеваться модно, со вкусом Король считал вещью, совершенно необходимой для карманника.

– «Урок» из вас делать не собираюсь. Тех по кепке с козырьком в два пальца да по лоскутной куртке с воротничком навывпуск за версту видно. Лучшей мишени для «ментов» не придумаешь. По одежде встречают, – так было и всегда будет. Вор не должен вызывать подозрений там, где «работает». Пока разберутся, что к чему, вас и след простыл. Уразумели, мальцы?.. Вот мы и постараемся нарядить вас такими мальчиками из интеллигентной семьи. И держаться должны под стать одежде».

Так наставлял нас «учитель». Не говоря уж о личном примере. А у меня в памяти еще свежа была наша поездка на родину. Король со своим подельником показали тогда, каков он, карманник экстра класса. Кстати, в Салтыковку, мы ехали тем же знакомым маршрутом – электричкой до станции Обираловка.

На толкучке Валентин долго и придирчиво выбирал одежду, не один раз заставлял ее примерять. Купил нам «матроски», добротные брюки, хромовые сапожки.

Пока мы ходили по базару, чего только не насмотрелись. Особенно запомнились мне картежники. Игра была нехитрая. Один держал небольшую дощечку, другой кидал три карты – двух королей и туза. Но «отгадывали», как объяснил нам Валентин, только свои – так называемые мандеры. Их задачей было завлечь публику. «Подходи, не жалея. Игра проста: от рубля до ста, – кричали зазывалы. – Бабушка Алена мне оставила три миллиона. Велела не пить, не гулять – только в карты играть». Немало находилось ротозеев, которые на это клевали и просаживали всю свою наличность.

– В такие игры мы не играем, – сказал Король, уводя нас от любопытного зрелища. – Мы если берем, то целиком.

В это время шулера вмиг рассеялись – проходила милиция.

Да, если вспомнить, каких только аферистов и мошенников в ту военную пору не было.

Так я продолжил свое воровское ученичество. Король был умелым наставником. Натаскивал нас с Костей исподволь, терпеливо, без нажима и окрика, как старший друг. Обучал только тем приемам, которыми сам владел в совершенстве и чаще всего пользовался. Коронным его номером было «писать» карманы, «работая» с подельником в переполненных трамваях («марках») или в пригородных поездах. Этим со временем в совершенстве овладел и я.

В пору постижения искусства карманника мне довелось близко познакомиться с другими известными «ворами в законе» – людьми очень разными и интересными. Это и знаменитый квартирный вор («скокарь») Лешка Куцый – дерзкий и хитрый, в общении – грубоватый. Его, бежавшего из зоны, усиленно искала милиция. И карманник Витя Шанхай – мечтатель по натуре, влюбившийся по уши в девушку по имени Блюмка из порядочной еврейской семьи. И лучший друг моего наставника Федя Артист, судьба которого оказалась трагичной...

Вначале все шло как надо. Но воровская стезя не усыпана розами. Она словно петляет в густом лесу между корневищами и буреломом, и далеко не всегда ты можешь предугадать, где нужно остановиться, выждать... Вот и нас завела она вдруг куда то в чащобу, и началась полоса неудач...

Как то после «работы» возвращаемся с Костей на «хату». На диване лежит Куцый, окутанный облаком табачного дыма. Пепельница, стоящая рядом с ним на полу, полна окурков. «Прибыли?» – буркнул он и пошел в комнату, где обычно спала тетя Соня. В это время раздался стук в дверь – сильный, решительный. Тетя Соня, на ходу натягивая платье, вышла из своей комнаты, Куцый – следом. Ловким движением хозяйка откинула половик и открыла подпол. Куцый и Костя нырнули туда. «Не забудь, что ты – мой племянник», – шепнула мне, прежде чем открыть дверь.

На пороге стоял милиционер.

– А, здравствуйте, здравствуйте, – затараторила тетя Соня, изобразив на лице улыбочку. – Давненько к нам не захаживали.

Она потащила его на кухню. Там они долго о чем то разговаривали. Был слышен звон посуды. Видать, выпивали. Я все это время тихо сидел на диване. Появившись в комнате, милиционер спросил:

– Тебя как звать, мальчик?

– Леша. Фамилия Дроздов, – ответил я, стараясь не выдавать волнения.

– Свидетельство о рождении есть?

– Да, да, конечно, – поспешно ответила тетя Соня и полезла в комод, где лежали метрики.

Когда милиционер ушел, тетя Соня с облегчением вздохнула. Немного повременив (чем черт не шутит!), открыла погреб.

– Что за гость? – поинтересовался Куцый.

– Участковый наш. Прошин.

– И часто он заглядывает?

– Не так чтобы часто, но заходит.

– «Дрожжи» кушает? – продолжал расспрашивать Куцый.

– Не то что кушает – жрет, только давай, – ответила тетя Соня. – С этим начальником кашу можно варить.

Несмотря на шуточный тон разговора, после визита Прошина все мы как то приуныли.

К вечеру пришли Король и Артист. Оба злые. Выпили, и начался у них мужской разговор. Из него я понял, что завтра на десять утра назначена сходка воровской «братвы». В лесу под Обираловкой. Много будет «босяков» со всего Союза.

– Ты, Куцый, поедешь?

– Надо бы посмотреть, какая нынче она, иногородняя «босота». Два года не видал вольной жизни. Все никак не могу привыкнуть. Увижу дерево, так и кажется, что вот вот падать оно начнет. И придавит.

Валентина, как и Артиста, визит Прошина не обрадовал.

– Сегодня здесь ночевать не будем, – решил Король.

Они взяли с собой Куцего. Мы с Костей остались и легли спать в сарае.

Опасения Короля были не напрасны. Ночью опять нагрянула милиция. Искали, как сказала тетя Соня, Куцего.

Утром мы с Костей решили «поработать» немного на Рогожском рынке. Но вдруг увидели Михалькова – и пришлось слинять.

Дня через три мы встретили, наконец, своего наставника. С ним был и Куцый. Валентин сказал, что на старую «хату» нам с Костей тоже ни к чему возвращаться, и дал адрес.

Хозяином новой «хаты» оказался инвалид дядя Вася – вместо левой ноги у него был протез из деревяшки. Человек очень осторожный, он разговаривал только шопотом и постоянно ко всему прислушивался. На новой «хате» было как то неуютно. Нам с Костей здесь не понравилось.

Куцый, для которого риск был второй натурой, не мог сидеть без дела. Когда стемнело, он, положив в карман наган, куда то ушел. На хате появился уже к утру с чемоданом, набитым дорогими вещами. Рассказал, что нарвался на патрулей, и пришлось выпустить два «масленка». При нас он прокрутил барабан, в котором оставалось пять патронов. Кто станет очередной его жертвой?

– Неудобная все же «дура», – посетовал Король, прицеливаясь в висевший на стене портрет вождя.

– Ой, что ты, что ты – погубишь, – засуетился при этом дядя Вася.

– Хотя лучше «мелкашки».

– Намек понял, – Валентин улыбнулся краешками губ. – Постараюсь добыть «парабеллум».

Но Куцему в тот раз так и не удалось воспользоваться этой услугой. Во время очередной дерзкой вылазки он попал в засаду. Стал отстреливаться. «Опер» тоже применил оружие, ранив его в ногу. Куцего изловили с поличным: в одной руке он держал наган, в другой – сумку с вещами.

А вскоре на одном из непредсказуемых поворотов воровской тропы попали в беду и мы с Костей. Началось с того, что на Рогожском рынке меня подловил сам Михальков – гроза карманных воров. Я расплакался, сказал, что остался круглым сиротой, и Михальков распорядился отправить меня в детскую комнату милиции. На другой день пришла тетя Соня, причитая и пуская слезу, показала метрики «своего Алешеньки», и меня отпустили. Вот когда стало мне понятным, для чего еще они были нужны.

Но на свободе мне довелось гулять недолго. Опять схватил за руку Михальков – на этот раз погорели мы вместе с Костей. Подержав немного в милиции, нас отправили в Даниловский детприемник.

Условия в этом «закрытом заведении» были неплохие. Чистая постель, кормили три раза в день. Воспитатели читали вслух интересные книги. И кино нам показывали.

Кому то из ребят в приемнике нравилось. Помню, один мальчишка никак не хотел оттуда выписываться: у родственников, которые его разыскивали, опять придется жить впроголодь.

Но нас с Костей любая неволя уже тяготила. Устроимся с ним где нибудь в укромном уголке и мечтаем: если вдруг нас куда то повезут, обязательно убежим. И придем к тете Соне, где было так хорошо жить.

Два или три раза приезжал к нам Валентин Король. Привозил, гостинцы. Но свидания ему не давали.

Случилось ЧП: кто то из воспитанников украл из кладовки килограмма два мяса, колбасу и хлеб. Нас выстроили в коридоре, и воспитатель – маленький горбатый мужчина, быстрыми шажками прохаживаясь взад вперед, говорил, заметно волнуясь:

– Чья то маленькая ручонка, подленькая душонка решила нас с голоду уморить. Пусть сама и сознается.

Но ребята только смеялись, и все усилия доброго воспитателя воздействовать на сознание провинившихся были напрасными.

После этого случая дверь кладовки укрепили решеткой, а часть пацанов, на кого падало подозрение, отправили в детские дома. В том числе и нас с Костей.

О своем плане совершить по дороге побег мы никому не говорили. Помнили совет Короля: посторонним не доверяйтесь, не называйте ни адресов, ни имен.

Перед отправкой нам вернули собственную одежду. Но поскольку на дворе уже стоял декабрь и было холодно, выдали казенные полупальтишки.

Нашу группу из двенадцати человек сопровождали двое провожатых. Куда мы едем, не говорили. Хотя, по всей вероятности, путь предстоял неблизкий – сухой паек выдали на три дня.

Привели на Казанский вокзал.

– Бежим, как только будут сажать в вагон, – шепнул мне Костя.

Вот мы и на платформе. В одно мгновение, как по команде, бросаемся под вагон, слышим вдогонку:

– Держи!

Но где им. На улице уже темно, пути почти не освещаются (маскировка), кругом составы. А ноги у нас молодые, быстрые...

Стучим в дверь тетисониной хаты. Она всплескивает руками, вытирает платком слезы на глазах – рада до невозможности. Видя, что мы дрожим от холода, поит нас горячим чаем с молоком и укладывает в постель. Какая все таки она добрая...

Когда мы проснулись, уже наступило утро. В большой комнате сидели Король и Шанхай, пили вино, разговаривали.

Они тоже нам обрадовались. Но Король тут же стал выговаривать:

– Пора, пацаны, быть поумней. А то, что ни день, одна дорога – на Рогожский базар. Там же вас как облупленных знают, нашкодили много, люди жалуются. Были б постарше – Михалек вас упек бы не в детприемник, а прямо в тюрьму. «В «Матросскую тишину»... В Москве рынков да вокзалов вон сколько. Любой выбирайте, а на этот – забудьте дорогу. И помните – не воруй, где живешь. Это, братцы, наша заповедь, она придумана не от хорошей жизни.

– Вот и Сенька, – продолжал он, расхаживая по комнате, – не раз ему говорили: слась с «марки», банда Симакова того и гляди на хвост сядет. Нет, куда там, захотел меня перещеголять – вот и сцапали пацана. Скоро на суд пойдем...

– Всем нам сейчас надо быть начеку, – добавил Витя Шанхай. – Война скоро кончится, и за нас так возьмутся, что перья лететь будут. Тогда, чтобы хорошо жить, много думать придется.

Мы с Костей наматывали на ус слова этих опытных взрослых людей, спецов в воровском деле. И в то же время я с досадой подумал: «Ну почему Король не подсказал нам раньше, как опасно «работать» на одном месте? Или хотел, чтобы сами почувствовали?»

Приближался новый, сорок пятый год. Накануне Король вручил тете Соне пачку «красненьких» для Прошина, чтоб не испортил нам праздник. Федя Артист не появлялся давненько, и Валентин отправился к нему домой: «В такой день нельзя без кореша». Но тот сказал, что заболела мама и не с кем ее оставить.

В новогоднюю ночь у нас на «хате» было все так, что лучше не придумаешь.

Пришла Лида, нарядная и румяная. Еще одна девушка – молодая, красивая. Сенина подруга. Нам с Костей вручили подарки – по меховому полушубку и шапке из каракуля. Смеясь, девушки поливали нас одеколоном, мы от них убегали.

В углу стояла нарядная елка. Витя Шанхай, с которым Король был теперь почти неразлучен, устроил фейерверк из бенгальских огней. Завели граммофон, поставили танго «Брызги шампанского». Тетя Соня суетилась возле стола, где было все, даже мандарины. Валентин настраивал свою гитару.

Включили радио, чтобы послушать выступление Сталина. Он сказал, что Победа уже близка.

Король и Шанхай держали в руках по бутылке шампанского. Лида приготовила пластинку.

Начали бить куранты. Запенилось разлитое по бокалам вино. Все встали.

– Ну, братва, – за тех, кто там, – произнес Король традиционный тост. – Пьем до дна.

Он взял гитару, и Шанхай запел под его аккомпанемент:

Новый год, порядки новые.

Колючей проволокой наш лагерь обнесен...

Гуляли, веселились всю ночь. А в шесть утра прибегает вдруг мать Артиста, вся в слезах, рвет на себе волосы, пытается что то сказать, но вместо слов – бессвязное бормотание. Король дал ей воды, успокоил немного и тут мы услышали страшную весть:

– Сын мой... повесился.

Из сбивчивого рассказа Фединой матери, которая то и дело всхлипывала, мы узнали, что случилось это после полуночи. Они были вдвоем. Отметили наступление Нового года, выпили по стакану вина. Федя почему то расплакался. Сказал матери, что сходит в сарай, принесет дровишек. Долго не возвращался, и мать стала беспокоиться. Вошла в сарай, окликнула, посветила спичкой. И вдруг заметила, что на веревке, перекинутой через балку, висит человек. Горло перетянута петлей, в ногах раскиданная охапка дров. «Сынок...» Хватаю скамейку, тесак, подбегаю к нему. Дотягиваюсь до веревки – не знаю, откуда силы взялись... Он падает, хочу поддержать, хотя понимаю, что все уже бесполезно... Вот – нашла у него в кармане. Это он тебе...

Продолжая всхлипывать, женщина протягивает Валентину клочок бумаги. Король читает вслух:

«Братва, простите меня, но больше так жить не могу. Много сделал я людям пакостей. На моих глазах бросилась под трамвай женщина, у которой я вытащил пять детских карточек на продукты и хлеб... Уходя от вас, прошу: станьте вы, наконец, людьми, не приносите людям горя в новом 45-м году – его и без этого кругом хватает... Очнитесь, милые мои. Не так вы все живете. И я жил не так. Поэтому и решил... Прошу, Валя Король, похороните меня «по-босяцки». Прощайте.

Ф. А. 1/1 1945 г.»

Его посмертную записку привожу я, конечно, по памяти. Может, слова какие-то были другими, но за содержание ручаюсь.

Смерть Артиста и эта записка были для нас, как гром среди ясного неба. Все вмиг протрезвели. При гробовом молчании Валентин достал зажигалку, и листок запылал желтым пламенем.

– Не было никакой записки, – сказал он, обращаясь к матери Федора и ко всем нам. – Милиция не должна знать.

Об этом случае говорили тогда все воры Москвы. Некоторые были склонны считать, что Артист сошел с ума, – не случайно, дескать, так ловко умел прикидываться ненормальным, попадая в ментовские лапы.

Валентин на словах с этим соглашался, чтобы сгладить то впечатление, которое произвела на нас записка. Хотя он лучше других знал своего друга и подельника, ценил его здравый ум. А разыгрывать психов они прекрасно умели оба.

Федю Артиста похоронили, как он и просил, со всеми «босяцкими» почестями. Было много венков, духовой оркестр. Гроб несли Король, Шанхай, Витька со Сретенки – тоже «вор в законе»... Когда тело предавали земле, рядом с покойным Валентин положил нож, бутылку водки и колоду карт. Так полагалось, когда хоронили вора.

Милиция во время похорон никого не тронула, хотя и собрался весь цвет Москвы «босяцкой».

Нас с Костей это событие так потрясло, что на другой же день после похорон мы сразу уехали в Электросталь и жили там почти месяц. Съездили к тете Марусе, Костиной маме. В лагере, сообщала она, сейчас только и разговоров, что об амнистии, которую ожидают после победы. Побывали в детском доме у моего брата Виктора, – на судьбу он не жаловался, всем был доволен. Вместе сходили на кладбище – погоревать на могилке у родителей и младшего братика.

Костя опять замкнулся и все молчал, уставясь глазами в одну точку. Как то, когда мы вдвоем коротали время за картами у него дома, он неожиданно для меня резким движением смел со стола колоду:

– Собирайся, пошли, – сказал Костя решительно. – Хочу извиниться перед тетей Фросей и вернуть ей долг.

Он попросил свою бабушку положить в сумку чтонибудь повкуснее из продуктов, которые мы привезли с собой, достал пачку денег.

Для тети Фроси наш приход был полной неожиданностью.

Костя, выложив на стол все, что мы принесли, подошел к ней:

– Тетя Фрося, ваши карточки украл тогда я. Простите, если можете.

– Дело прошлое, – она вдруг часто-часто заморгала глазами. – Одно тебе скажу, сынок: на чужом несчастье сыт не будешь. Запомни это...

Когда шли домой, Костя тронул меня за плечо:

– А знаешь, Артист, по-моему, правду написал.

На допросах и между допросами. Портрет со старой фотографии.

Рассказать все это Ивану Александровичу я смогу, наверное, лишь за несколько вечеров. Хотя воспоминания о пережитом проносятся в голове за считанные секунды – их ведь не надо облекать в слова. Правда, иной раз всплывает в памяти дорогой сердцу образ или случай, сыгравший с тобой злую шутку, – и задумаешься.

Я лежал на нарах, притворяясь, что сплю, но в мыслях был далек отсюда, весь погруженный в далекое прошлое.

– Намаялся, бедный. Замучили эти проклятые «менты», – причитал чуть ли не каждые пять минут балаболка сокамерник. Нарочито громко, пытаюсь, как видно, меня разбудить.

«Пошел ты, подсадка поганая, к ядреной бабушке», – выругался я про себя. И продолжал лежать, пока в установленный местным начальством час не открылась «амбразура», в которую подали обед.

Доедая под надоедливый треп этого холуя «шрапнель», я еле сдерживался от желания вмазать ему по хавалу. Конечно, можно было и ошибиться, заподозрив в нем подсадную «утку». Случается, чутье подводит. Что ж, поглядим.

...После обеда меня вызвали к следователю, чтобы предъявить постановление, подписанное прокурором. С этого часа из задержанного я становился арестованным.

На сей раз Иван Александрович держался со мной почти официально.

– Разрешите полюбопытствовать, – осмелился я все таки задать вопрос, который человека в моем положении, естественно, не мог не волновать, – как продвигается дело, которое вы мне «шьете»?

– Продвигается, по этому поводу я тоже хотел с вами поговорить, – сухо ответил следователь и, посмотрев мне прямо в глаза, сделал паузу.

– На одного из подозреваемых в похищении икон, а если точнее – в грабеже, мы вышли, – продолжал Иван Александрович, заметно смягчая тон. – Спросите, как? Вычислили по почерку. Прутья решетки на окне храма, откуда похищены иконы, – кованые, исключительно прочные – оказались не распиленными или выломанными, а... откусанными, как щипцами. Приспособление, которое позволяет давить на резцы с такой силой – до шести тонн – и резать металл, было зафиксировано в нашей практике дважды, причем во второй раз вора схватили с поличным. И у нас были все основания предположить, что решетку резал рецидивист, год назад вернувшийся из зоны. Задержали. Молодой парень, лет двадцати пяти. Вначале все отрицал. Но улики оказались больше, чем достаточно. Во первых, в сарае у старика из Быковского мы нашли это хитроумное приспособление – за него,

как сказали специалисты, патент на изобретение был бы гарантирован. Во вторых, парня опознал церковный сторож, показавший, что из двоих, совершивших грабеж, именно этот связал ему руки, засунул в рот кляп и повалил лицом вниз. Больше он ничего не видел, но приметы преступников запомнил. И, в третьих, Валентин Петрович, эксперты показали, что следы одежды на раме и решетке тоже скорее всего принадлежат этому человеку.

– Как это – следы одежды?

– Объясняю. «Церковники», как и квартирные воры, обычно работают в перчатках. Вы это хорошо знаете. На пальцевые отпечатки рассчитывать нечего. Но у экспертов, а значит, и у нас, появилась в последние годы надежная замена – аппаратура, которая позволяет исследовать мельчайшие, не видимые невооруженным глазом следы с места преступления – их называют микрообъекты. Волокна от одежды, остатки волос – да мало ли что человек оставляет, помимо отпечатков пальцев.

– Понял, гражданин следователь. Но ведь нужно их с чем то сличить. К примеру, с одеждой, которая была на человеке.

– Конечно. Эксперту непременно нужна вещь, оставившая следы...

– В наше время такого не было, – опять перебил я Ивана Александровича. – Но нынешние – они то должны знать.

– А тут – знай не знай, но что нибудь все равно после себя оставишь... Мы с вами отвлеклись, Валентин Петрович, но я думаю, не без пользы. Мне лишь хотелось объяснить, почему следствие с достаточной уверенностью может судить о том, что человек, о котором я вам рассказал, участвовал в совершении грабежа. При обыске у него, кстати, мы нашли адидасовские спортивные брюки и куртку, волокна от которых обнаружены на оконной раме. Тут он дал промах, хотя и опытный вор, дважды судимый.

– Но ведь одежду и обувь он мог бы и уничтожить, если опытный.

– Видать, не думал, что мы сможем на него выйти. Или же пожалел адидасовские «три полоски».

Я почувствовал, что Иван Александрович, начав на официальной ноте, все более оживлялся, и допрос напоминал, скорее, уже доверительную беседу – из тех, что вели мы в «нерабочее» время. По моему, такие вот перепады, как и умение расположить к себе человека, были его коньком, помогавшим добиваться успеха. А может, я ошибался, и это был лишь один из тактических приемов допроса.

– С теми, кто непосредственно совершил кражу, пожалуй, все ясно, – продолжал следователь. – Ясна мне, в общем то, и ваша роль, Валентин Петрович, хотя вы упорно все отрицаете.

– Это называется: без меня меня женили.

– Считайте, как вам угодно, но задержанный рецидивист – кличка его «Сергунчик» – описал внешность человека, которому у себя на квартире дал пароль и адрес старика из Быковского, а у того были спрятаны похищенные иконы. Он же вручил этому человеку пустой дипломат с наборным замком. Так вот, приметы мужчины, которого описал задержанный, полностью совпадают с вашими. Один к одному. Будете отрицать очевидное?

Такого поворота событий я, честно скажу, не ожидал. Выходит, «беспредел», попирая правила нашей воровской «братвы», подставляет меня в открытую. Ну, этот номер им не пройдет. И если до последней минуты я колебался, теперь – баста. Пусть все их фотки на память горят синим пламенем... Конечно, сдавать свои позиции сразу ни к чему, цену словам знаю.

– Без очной ставки здесь, гражданин следователь, не обойтись. Иначе прилепят напраслину, а потом отмывайся. Они ведь...

– Погодите, Валентин Петрович, – перебил следователь. – Хочу напомнить, что до этого свое участие в краже вы полностью отрицали. Как теперь? Я хотел бы зафиксировать в протоколе.

– Признаю, но только пособничество, да и то неумышленное. Учтите, что я даже точно не знал, что за «картинки» должен взять у хозяина дачи и чьи они. Хотя суд вряд ли сделает скидку на незнание.

– Между прочим, – Иван Александрович впервые за время этого допроса протянул мне пачку сигарет, – о вашей второстепенной роли в этом преступлении я догадывался. И склонен поверить. Хозяин дачи на допросе свидетельствует в вашу пользу. Правда, Сергунчик представил вас чуть ли не организатором преступления. Но тут я вижу попытку прикрыть главаря группы. И, если честно, рассчитываю на вашу помощь. Иначе следствие может затянуться, и сколько мы вас продержим – неизвестно.

Наступила пауза, во время которой я попытался еще раз все взвесить. Но как ни взвешивал, гири на весах здравого смысла явно перетягивали в пользу чистосердечного признания. Потому что простить «беспределу» двойной обман я уже был не в состоянии.

– Дорезали, гражданин следователь. – Я попытался даже шутить, хотя в душе все кипело. – Расскажу все, как было. От показаний не откажусь. Пишите.

Сказал, но тут – будто пружиной, сорвавшейся с гвоздя, ударило по мозгам. Расскажу все, говоришь? В том, что этот паскуда Сергунчик тебя, Валя, продал и дальше готов продавать – сомнений нет. А с Сизым ты до конца разобрался? Уверен ли на сто, что он сука? Что если послал он тебя на дело, зная, что в таких, как ты, можно не сомневаться? За тобой и смекалка, и «блатной» опыт. Доподлинно о засаде Сизый не знал – иначе бы отложил операцию. Вопрос в том, был ли он предупрежден своими людьми об опасности, о том, что за домом в Быковском следят «менты». Если был и все же меня туда отправил – оправдания ему не будет. Это его последний шанс. Значит, о Сизом пока ни слова.

В общем, Ивану Александровичу я начал рассказывать все, как было, но только с того момента, когда Сергунчик меня проинструктировал и вручил дипломат. Погрешил в одном: представил дело так, будто с самого начала вышел на этого типа. Встретил его случайно и отгадал чутьем.

Рассказал о том, как нашел в Быковском старика дачника, как нас накрыли.

– А дальше? – спросил следователь.

– Дальше?.. Дальше я оказался здесь у вас.

– Не темните, Валентин Петрович, – продолжал настаивать следователь. – Меня в данном случае интересует не только ваша роль в этом деле. Нам крайне важно узнать, кому вы должны были передать дипломат с иконами.

К такому вопросу я был готов, хотя по давней привычке так и подмывало повалить «ваньку».

Сизого в данном случае я не подставлял – расчет на то, что люди у него надежные. Но потопить «шестерку» считал своим долгом – иначе он по новой все начнет валить на меня. И надо будет доказывать, что не я затеял грабеж.

Я попросил у следователя еще одну сигарету, долго мял ее в руках и, наконец, решился:

– Иван Алек..., то есть, гражданин следователь. То, что я скажу дальше, в протокол просьба не заносить.

– Ну что же, – сказал он, – отодвигая в сторону листок с записями.

– Называю адрес – Советская, 38. Фотосалон. Там я должен был найти заведующего – Михаила Моисеевича. Пароль: «У меня старая фотография моей мамы. Не могли бы вы сделать портрет?» Он должен был ответить: «Можем, но на маму надо взглянуть». И пригласить к себе за занавеску. Там я вручил бы ему «товар»...

– Понятно. – Следователь, в который уже раз, забарабанил пальцами.

Я догадался, чем он раздосадован:

– Поспешили вы, видно, задержать «шестерку».

– Другого выхода не было. Он уже понял, что под колпаком. А что такое рецидивист, не вам объяснять. Могли упустить... Что ж, спасибо за помощь, Валентин Петрович. Будем действовать. Завтра, я думаю, продолжим прошлую нашу беседу. Постарайтесь припомнить побольше подробностей своего житья бытья, это всегда интересно и важно. А сейчас – за вещичками и в СИЗО.

Он нажал кнопку под крышкой стола. Вошел конвоир.

– Проводите арестованного.

...Обитая железом дверь гулко захлопнулась, загремели засовы. Посмотрим, какое оно, новое мое жилье. Э э, да вовсе не новое. Именно в этой восьмой камере сидел я лет пятнадцать назад. Те же койки в два яруса, оконная щель под самым потолком, параша справа от двери. Тогда еще, помню, попал вместе со мной Жирный – майкопский «вор в законе». У меня в городе был подельник – на воле остался. Мой ровесник по кличке «Ромик». Так чего он только не присылал – и колбасу, и рыбку соленую, и прочие деликатесы. Самогончиком тоже баловались – надзиратель приносил за мзду. Жирный – он был постарше меня и помускулистее – попытался было верховодить. Но с «ворами в законе» он не мог не считаться. «Братва» ему бы потом не простила. А вот «шпану» – давил, да и «пацанов» своих тоже. С барского стола, говорит, шпане не дам ни крошки, лучше выброшу. И вот мы вчетвером пируем, а те сидят по углам и сосут лапу. Поглядел я на это дело и говорю: «Не пойдет так, Жирный. Здесь тебе не Майкоп». Он – на дыбы. Но нас – трое. И продукты – мои, имею право ими распоряжаться. Нарезал колбасы, сыр (нож заточку мы надежно прятали) и раздал «шпане». Жалко их было – если кому то и присылали посылки, разве же сравнить с нашими: сухари, леденцы, компот сушеный!.. После этого случая Жирный с нами дня три не разговаривал, дулся.

В каких только тюрьмах и изоляторах не пришлось мне томительно и с надеждой ожидать окончания следствия – до и после. Но этот СИЗО и эта камера под номером восемь запомнились. Может быть, потому, что впервые пришлось пойти на конфликт с «вором в законе», открыто не признававшим право на существование тех, кто не был «братвой». На «пацанов» смотрел он высокомерно, пытаюсь заставить их себе прислуживать и считая зазорным «гулять» с ними за одним столом. И еще пытался он паренька одного совратить. Но и тут мы трое дали отпор, а камера поддержала.

Мне, прошедшему воровскую грамоту у Вальки Короля, выходки Жирного были не по нутру. Хотя я и знал, что в то время существовали уже и другие «школы», где так было принято. Не от них ли берут начало те нравы, что усиленно стали насаждаться с появлением «польских воров» и «махновцев»? А потом восприняты были новыми. В их основе лежали жестокость и несправедливость, презрение к низшим по «рангу». Этого я никогда не понимал и не принимал...

Та же камера. Любопытное совпадение. Тогда, я помню, следствие закончилось быстро, суд тоже. И отправили меня, кажется, – года на два.

Посмотрим, кого же на этот раз послал Бог в сокамерники. Контингент, это сразу заметно, в основном зеленый – из той же породы, что и акселерат Леха. Ну, да с этим понятно – в зоне их тоже теперь навалом. Видать, среди них буду уже не отцом, а дедом. Камера полна – из тридцати две три свободные койки. Э э, да вот он и сам, легок на помине.

– Привет, Леха! – я подошел к койке на престижном месте у окна и протянул ему руку.

Он обрадованно ее пожал, дав почувствовать крепость широченной своей ладони, и потрубил, покрывая гул камеры:

– Братва, замолкни. Представляю: это Лихой. Кто из блатных о нем слышал? Что он скажет – закон. Шутить не дам. Все слышали? – и он по привычке поиграл «люберецкими» бицепсами.

Леха усадил меня на своей койке и подошел к лежавшему рядом увальню – тоже молодому, лет двадцати.

– Ты, сявка, отсюда мотай. Вон в тот угол. А твой плацкарт – для Лихого.

Тот покорно стал сворачивать засаленное одеяльце.

Что ж, начало совсем неплохое. Погоду Леха, считай, сделал. С ним напару мы за себя постоим. А если надо, не только за себя.

Опять начались ставшие для меня привычными тюремные будни, самым светлым пятном которых была прогулка. Во время нее голова, устав от камерного шума и суеты, свежела. Можно было поразмышлять о чем то приятном.

Я с нетерпением ждал, когда отворится дверь камеры и можно будет вдохнуть глоток свежего воздуха. Этот час сегодня мне был просто необходим, для того чтобы снова вернуться мыслями в далекое прошлое.

Исповедь. Портфель дипломата.

В недолгие промежутки между отсидками, вопреки всем запретам, я приезжал в Москву. А там, по старой памяти, словно магнитом, тянуло на Курский вокзал. Очень уж много было с ним связано в моей беспокойной жизни.

Здесь теперь почти все выглядит по другому. На месте старого вокзала – огромное современное здание с эскалаторами и тоннелями (хотя внутри та же давка и теснота – воров на радость).

Но приезжал я на Курский вокзал не за тем, чтоб здесь «поработать», как в былые годы. Выходишь из вестибюля кольцевого метро, что рядом с вокзальным зданием. Несколько шагов направо, за угол. Вот и отдел транспортной милиции, бывший линейный – там же, где был в памятном сорок пятом. Почти ничего не изменилось в этом уголке площади. Вот и знакомое мне окно, как и тогда, зарешеченное. И невольно улыбнешься, припомнив в подробностях тот курьезный случай.

Я уже рассказывал, что после похорон Артиста мы с Костей уехали в Электросталь. Жили там почти месяц. Самоубийство этого человека, к которому успели привязаться, и особенно предсмертная его записка сильно нас потрясли. Несколько ночей я почти не спал. И с Костей творилось что то неладное – стал нервозным, срывался по пустякам.

Но были мы тогда еще в том возрасте, когда потрясения, душевные травмы ранят сильно, но отпускают куда быстрее, чем взрослого.

В феврале, вернувшись в Москву, мы обосновались у преданной и не чаявшей в нас души тети Сони. К трусливому инвалиду, на другую «блатхату», очень уж не хотелось идти. Договорились с другом, что будем «работать» на Курском вокзале. Но в тот день, когда случилась эта история, Валентин, наш наставник, послал его «держать трассу» на «марке». При этом добавил, что «майданнику» (вокзальному вору) без подельника обойтись проще, чем карманнику.

Кража была, в общем то, рядовая. Ночью в зале для пассажиров я за приметил сидевшего на скамье солидного, элегантно одетого мужчину в шикарной велюровой шляпе и при галстуке. Впрочем, мое внимание привлек не столько он, сколько новенький, туго набитый его портфель. Мужчина, как и все, дремал, место возле него оказалось свободным. Я подсел, несколько минут послушал его тихий храп, потом спокойно взял в руку стоявший рядом с ним на скамейке портфель, будто он мой. Пассажиры почти все спали. Да если б кто и проснулся, пока я пробирался к выходу, портфель в руках «мальчика из интеллигентной семьи» вряд ли вызвал бы подозрение.

Не успела захлопнуться за мной массивная вокзальная дверь, как я уже сиганул с перрона на шпалы и что есть силы побежал к тупикам, где в ожидании ремонта стояли разбитые составы. Забрался в какой то плацкартный вагон с пробитой крышей и покореженными окнами (видно, в него угодил снаряд) и, сгорая от нетерпения, стал «разбивать» портфель. Открыл – и плюнул с досады. Оказалось, что весь он набит какими то бумагами. Кроме них было несколько бутербродов да немного денег – совсем гроши.

И вот из за этого самого портфеля на вокзале поднялся вдруг такой кипиш, что и представить трудно. Сотрудники милиции сновали по всем закоулкам – и вокзальным, и станционным, облазили все составы в отстойниках, где частенько ютилась шпана. Забирали всех, кто попадался под руку, и отводили в отдел милиции – тот самый, что рядом с кольцевым метро. Кто то из взрослых мне объяснил: ищут портфель какого то дипломата, в нем – очень ценные бумаги.

Поняв, что для меня дело может кончиться плохо, решил лечь на дно – два три денька отсидеться у Сони. Прихожу, а там – полная хата воров, тоже попрятались от того вокзального шмона.

Было это пятого или шестого мая. А в ночь на 9 мая, когда Левитан читал по радио сообщение о победе над фашистской Германией, раздался стук в дверь: «Откройте, милиция!» Всех нас вывели во двор, и тут я понял, что сели прочно: хату плотным кольцом окружили милиционеры с пистолетами наготове.

А в доме в это время шел обыск. Нашли оружие, какие то ценные краденые вещи. Это был достаточный повод, чтобы всех под конвоем отправить в милицию.

Где то за Лефортовой слободой вставало солнце – майское, ласковое. Наступало утро Победы. А нас в это время под конвоем по железнодорожному пути вели к Курскому вокзалу.

Линейный отдел милиции уже до отказа набит был ворами всех мастей. И все, как оказалось, из за украденного мной злополучного портфеля.

– Малышка, привет. Не иначе, твоя работа? – шепотом спросил меня кто то из знакомых «пацанов».

– Угадал, – не стал я темнить, – моя.

Шпанята, услышав, что портфель «вертанул» я, стали упрашивать: «Отдай, и всех нас отпустят». Говорили, конечно, тихо, чтоб «опера» не услышали.

Однако я хорошо помнил, чему нас с Костей учил Король: хочешь дольше гулять на свободе, «ментам» и следователям ни в коем случае не признавайся, тем более, когда нет доказательств. Впоследствии это правило часто меня выручало. На этот раз все вышло иначе.

Из камеры на допрос вызывали поодиночке. Никто, однако, сюда не возвращался. Мы думали, отпускают. Но не тут то было – всех уводили в другую камеру.

Наконец подошла моя очередь. В кабинете, куда меня привели, допрашивали двое, оба в штатском. Здесь, на вокзале, я на них уже нарывался. Даже фамилии запомнил – Максимченко и Колганов.

– Признавайся, Малыш, – портфель ты украл? – подойдя вплотную ко мне и пытаясь взять на испуг, грубо, с металлом в голосе спросил Максимченко. Как видно, ему уже надоело «выбивать» показания с помощью тонких тактических приемов – до меня ведь прошло человек двадцать.

– Что вы, гражданин начальник, – ответил я, энергично мотая головой. – Ни о каком портфеле не знаю.

– Зря ломаешься, парень. – На этот раз заговорил Колганов. В отличие от высокого, с каланчу, и немного грубоватого Максимченко этот был небольшого роста, мягкий в движениях, вкрадчивый в разговоре, но зато неприятно, как бы испытующе смотрел вам в глаза.

– Пойми, милиции нужен не сам портфель, а бумаги, которые в нем находились, документы...

От его наигранно ласкового голоса и сверлящего взгляда мне стало как то не по себе.

– Покажи нам, где ты «разбил» портфель, – продолжал Колганов, – где бросил бумаги. Покажешь – тебя и всех остальных сразу выпустим.

Я промолчал. Неприятно резанула мысль, что кто то из шпаны, а скорее всего, из подосланных «ментами» в камеру, меня заложил.

У Колганова красноречие, видно, иссякло, тогда как его напарник, долго и сосредоточенно молчавший, вдруг произнес решительно:

– Слушай, Малышка. Тебя мы можем освободить и сейчас. Пойдешь в камеру и скажешь ворами, что отпускают за портфелем. Хочешь, возьми с собой еще одного – сам выбирай.

– А если потом вы опять заберете? – ответил я, заколебавшись, не веря пока что в предложенную «операми» «честную игру».

– Ну что ж, давай тогда так договоримся. Сюда портфель можешь не приносить. Подойдешь к окну, положишь его на тротуар – и тикай во все четыре стороны. Согласен?

– Я кивнул.

– Только смотри, – обманешь, будем держать всех до тех пор, пока тебя не поймаем.

– Понял. Только сперва в камере посоветуюсь.

«Воров в законе» среди нас не было, только «фраера» и «пацаны», но совет или сходку провели по всем воровским правилам. «Пусть идет и приносит порт, – решила камера. – Если и схватят, судить не будут, он еще малолетка. Отправят в бессрочную колонию, оттуда все равно убежит».

Проголосовали за это все как один. Потом стали решать, кто пойдет со мной. Выбрали глухонемого «пацана», который «работал» в поездах и на вокзалах, был очень ловким и дерзким.

После этого я постучал в дверь, и нас с Немым выпустили из камеры. Идем по коридору, Максимченко провожает.

И вдруг – не верю своим глазам. У стены на скамейке – Маша, родная сестричка. Кидаюсь к ней, протягиваю руки.

А она смотрит, будто чужая, и произносит, не моргнув глазом:

– Ошибся ты, мальчик. Я не Маша, а Нина.

– Как же так...

– Проходи, не задерживайся, – торопит Максимченко, которого на этот раз, кроме портфеля, как видно, ничего не интересовало. – С этим потом разберемся.

Когда мы с Немым вышли на улицу, я аж заплакал от обиды: как же так, не признать брата. Он стал показывать мимикой; расслюнявился, мол, как баба. «Это же родная сестра», – пытался я ему объяснить. Но Немой только рукой махнул.

Оказавшись на воле, мы наскоро перекусили в вокзальном буфете и, не мешкая, отправились по путям в тупик – искать пассажирский вагон, в котором я «разбивал» портфель.

Вот, кажется, и он. Как помню, портфель я забросил на третью багажную полку. Лезу вверх. Пылища – задохнуться можно. Вот он, слава Богу, на месте. И бумаги целы. Немой рад, улыбается.

Хочу идти назад, к милиции. Но он резко дергает меня за рукав и что то настойчиво объясняет жестами. Наконец, понимаю. Вот хитрован, вот голова! Он хочет, чтобы мы шли пешком до Комсомольской площади, а оттуда до Курского доехали на метро (это одна остановка).

Так и сделали. Выходим из метро. Народу полно, нам это на руку. Подбегаю к зарешеченному окну, бросаю возле него портфель с бумагами, успевая при этом заметить удивленное лицо Колганова. Несколько секунд – и мы опять в вестибюле метро. Бежим, перепрыгивая через ступеньки, потом – по эскалатору, но уже не на кольцевую станцию, а на ту, откуда напрямую можно ехать до «Киевской». За «Смоленской» поезд выскакивает из под земли и как бы плывет над Москвой рекой. Видим многоэтажный дом в развалинах – в него угодила бомба. Но войны уже нет, с сегодняшнего дня наступил мир.

Приезжаем вместе с Немым к тете Соне. «У нас теперь, после того как Король и Шанхай ушли, шпаны собирается много», – говорит она. Вижу здесь и тех, кто сидел со мной в камере на вокзале. Их уже выпустили. Все меня благодарят, но советуют из Москвы уехать куданибудь на Украину, опасно, мол, здесь оставаться. А мне уезжать не хочется. Я все думаю о сестре, почему она не хотела меня признать.

Проходит два или три дня. На «хате» пока все спокойно. Костя не появляется, а у меня идти к инвалиду нет никакого желания. Немой, которому я чем то понравился, уговаривает пойти на одно выгодное дельце, которое хотят обделать воры «краснушники» (те, кто взламывает товарные вагоны и похищает оттуда вещи).

...Тут я должен буду объяснить Ивану Александровичу, что и «пацаном», и став взрослым, «вором в законе», всегда считал себя чистым карманником. Все остальное – и «рывок» на Рогожском рынке, и кража портфеля – для меня редкое исключение. Таких случаев за всю жизнь наберется пять или шесть, не более.

Иногда я слышу, что среди воров, говоря ученым языком, нет и не было узкой специализации. Дескать, сегодня они занимаются тем, завтра другим. Уверяю, что это не так. Своя «специальность», как и своя манера «работать», были у каждого профессионала, тем более у «вора в законе». Да оно и сейчас так... Хотя появляется все больше универсалов – эти, конечно, на все руки мастера.

Дело, на которое подбил меня Немой, для него было вполне привычным. Хотя вообще то кражи из товарных вагонов в то время не приняли еще такого размаха, как сегодня, – поезда хорошо охранялись.

Об этом постыдном эпизоде своей биографии я и сейчас не могу вспоминать без содрогания и горечи.

Вагон, который облюбовали «краснушники», стоял на путях все того же Курского вокзала. Прокрались мы к нему ночью, часа в два. Опытные в этих делах воры быстро «фомичом» взломали дверь. Вместе со всеми залез в вагон и я. Было темно, и кто то зажег свечу (опытный «краснушник» всегда имел ее при себе). Увидели, что здесь почти доверху все забито посылками. «Разбили» одну, другую, третью. Почти в каждой – золотые кольца, браслеты, часы. И еще – меха, дорогие отрезы. Набивая свои мешки, мы брали только самое ценное. Осторожно, чтоб не нарваться на охрану, вылезли из вагона и по шпалам пошли в сторону заставы Ильича. На Яузском мосту кто то оглянулся:

– Гляди, братва!..

В том месте, откуда мы только что ушли, полыхало зарево. Поняли сразу – горит тот самый вагон, в котором оставили непотушенную свечу.

Вспоминаю – и мурашки по коже... А вообще, если вдуматься, то, что мы тогда похитили, и то, что спалили по неосторожности, – разве честным путем было добыто. Немцы грабили нас, потом мы, победители, мстили им. Но ведь и то, и другое – мародерство, даже если оно официально именовалось конфискацией, контрибуцией или еще как. Впрочем, и настоящих мародеров на фронте, говорят, хватало.

В те минуты мне, конечно, было не до размышлений. Главное – быстрее укрыться от «ментов», которые этого «факела» не простят. К тете Соне, понятно, идти нельзя. «Краснушники» решают всем сразу податься к «барыге», что живет где то неподалеку.

«Барыгой» оказался не кто иной, как Боря Букаха – тот самый, что однажды загнал нам с Костей консервы, в которых вместо американской тушенки были тряпки с песком.

Стучим, выходит Букаха и, уяснив ситуацию, командует:

– Быстрее все в сарай.

Приносит самогон, закуску. Выпиваем, потом разбираем «трофеи». Сколько же здесь всякого добра...

Букаха берет у меня два отреза шерсти, десятка три колец и брошей. Деньги отдает сразу – несколько пачек «красненьких» – тридцаток, пачку сотенных. Ухожу от него с оттопыренными карманами.

Пожалуй, надо заглянуть к тете Соне. Знаю, что рискованно, но иду. Вручаю ей пачку денег, дарю, на выбор два перстенька. Она довольна, благодарит от души.

– Да, совсем забыла. Была твоя сестра Мария, очень хочет тебя увидеть. Сегодня вечером опять придет. День ты где нибудь скоротай – небезопасно здесь...

Я ее уже не слышал. Сердце часто часто забилося. Наконец то увижу Машу.

О тех несчастьях, что обрушились на нашу семью, сестра, как оказалось, знала. И меня повсюду разыскивала. А в милиции открестилась от меня потому, что «сухарилась», жила под чужой фамилией, документы были краденые. Сестра, как и я, стала воровкой, и успела уже отбыть срок в лагере.

В тот же вечер Маша увезла меня на свою «хату» – в Малаховку. Там она жила у подруги, тоже воровки. Этой женщине было лет тридцать пять, звали ее Лена. С ней жил сын – Володя, о котором стоит немного рассказать.

Володе тогда только исполнилось четырнадцать. Как и я, был он карманником. И уже в ту пору проявились у этого паренька качества, которые впоследствии позволили ему стать одним из самых известных в Москве «воров в законе».

Совершенно неграмотный, ставивший вместо подписи крестик, он был, однако, умен и изворотлив, умел выходить сухим из воды. Пил очень мало, не ругался матом, любил, как и Валька Король, хорошо одеваться. И, что было в то время редкостью, тем более среди воров, – искренне верил в Бога. Кстати, учиться он не пошел

потому, чтобы не служить в армии. Не случайно, став «вором в законе», Володя получил кличку «Хитрый Попик».

Воровал Хитрый много лет, и только на тридцать пятом году своей жизни впервые сел на скамью подсудимых – случай редкостный. Впоследствии судьба сводила нас с ним не один раз, «работали» иногда напару.

... Из Малаховки вернулся в Москву, и «менты», все таки меня изловили. Опять отправили в Даниловский приемник, а оттуда попал я в детскую трудовую воспитательную колонию (ДТВК) под Звенигородом. Не пробыв там и месяца, убежал.

На этот раз немало был удивлен, встретив у тети Сони Куцего – живого и невредимого, разве что сильно исхудавшего. И все такого же шустрого, не способного и дня усидеть без «дела».

Вскоре пришел и новый его поделщик – мужчина лет тридцати. Они стали обдумывать план квартирной кражи.

Потом, как обычно, выпили.

– Не дрейфь, Малыш, – похлопывал меня по плечу Куцый. – Ловкость рук – это сила. А если при тебе вдобавок и «фигура» надежная – ни один «мент» нам не страшен. Видел?.. – приподняв свой шерстяной свитер, он ловким движением выдернул из за пояса новенький трофейный «парабеллум».

– Король подарил – умеет он слово держать... А от того, одноногого, мы смотали. Нудный он и к тому же трусливый.

Валентин и Шанхай пришли поздно вечером. О Косте они ничего не слышали.

– Вымахал парень, в силу вошел – вот и от рук отбился. Подружка, видать, появилась, не до тебя ему, – пошутил Шанхай. И добавил:

– Не «замели» его, это главное.

На допросах и между допросами. «Ломом подпоясанные».

– У нас с вами, Валентин Петрович, прямо как в «Тысяче и одной ночи». «И настало утро, и Шехерезада прекратила дозволенные речи». До утра, правда, еще далековато, но полночь близится. А рассказывали вы сегодня об очень интересных вещах. Особенно этот эпизод с портфелем... Умела же работать милиция – позавидуешь. Можно сказать, классический пример гибкости, изобретательности в сочетании с индивидуальным подходом, учетом психологии вора.

– Ну, это вам виднее, как оценивать. Одно скажу – были и тогда в милиции всякие, вроде того же Прошина, выпивохи и взяточники, но – как исключение. Большинство свое дело знали и делали его честно. «Ментов» мы тогда боялись.

Иван Александрович, как и в прошлый раз, предложил мне чай – правда, не с бутербродами, а с вкусными холодными гренками («жена поджарила»). Прошелся по кабинету, решив, как видно, немного расслабиться.

– А у вас отличная память, Валентин Петрович, – сказал вдруг он, чему то еле заметно улыбнувшись, – хотя у каждого нормального человека, как считают психологи, в памяти есть изъян: обычно в ней оседает приятное, доброе, а плохое и злое, если и остается, то где то в «запасниках», о нем чаще всего и вспоминать нет охоты. И чем дальше по времени отстают события, тем больше человек их как бы идеализирует. И своих прежних друзей, знакомых окружает неким розовым ореолом. Не случайно в народе говорят: кто старое помянет, тому глаз вон. Под старым, конечно, имеют в виду плохое...

– Вот и у вас, – продолжал он, – не обижайтесь, но есть в рассказе налет некой сентиментальности, ностальгии – тоски о прошлом и, я бы сказал, некоторой идеализации воровского мира.

Я не сразу ответил, поскольку такой поворот в разговоре был несколько неожиданным. Но, подумав, признал, что следовательно во многом прав.

– Но ведь и люди, Иван Александрович, встречались на моем пути больше хорошие, – продолжал я, – хотя и были ворами. Тот же Король, Лида или тетя Соня. Не рвачи, не скряги. Жизнь у них, ясно, была поломанная, но чуткости к нам, мальчишкам, проявляли они куда больше, чем в зоне или детской колонии. И еще мы, хочу я сказать, «братвой» были не только по названию, как нынче у «беспредела». Никаких атаманов или, как вы их называете, лидеров, не знали. Это потом появилось, сперва в зоне и куда позднее – на воле. Как же тут не идеализировать.

– Верно, ваше воровское «братство» зарождалось стихийно. Десятками лет формировало свои правила – неписанные законы, свой жаргон – «феню». Все это передавалось от одного поколения воров следующему еще со времен волжских разбойников, а может и раньше, то есть по форме было сродни устному народному творчеству. «Новые», Валентин Петрович, далеко не те. У них четкая структура, подчиненность старшему, непререкаемый авторитет лидера. И даже инструкции – «писанные», а то и тиснутые в типографии, хоть и надежно упрятанные от посторонних глаз. Их, как и обращения к сообществу, «эmissары» доводят до каждого. С тем, чтобы в случае надобности весь этот сложный преступный организм – иной раз две три сотни людей – действовал четко и слаженно. Равенство и братство у них разве что на словах, не как в ваше время. А фактически их неписанные правила – жестокость, бессердечность, подкуп. Ничего удивительного – таким стало и само общество. Не случайно взываем мы к милосердию.

– И все таки непонятно мне, Иван Александрович. – Раньше, при культе, демократия только провозглашалась, за «политику» преследовали и сажали – об этом теперь открыто пишут. Почему же тогда у нас, «босяков», было равенство – и не на словах. Теперь почему то все наоборот. В обществе – демократия, а у «новых», «беспредела» то есть, почти что сталинский режим. Чем это, по вашему, объяснить?

– Непростой вопрос, – Иван Александрович затянулся сигаретой. – Думаю, дело в том, что даже при четкой структуре, системе подчиненности «беспределу» трудненько было бы обойтись без железной дисциплины. Это они хорошо усвоили, взяв пример с итальянской мафии. Растворяться в обществе им никак нельзя. Любая тайная организация, в том числе и преступная, в нынешних условиях только так и способна выжить. Это ее козырь, ее спасение. И – причина непотопляемости ее «корабля». К тому же бизнес и подкуп должностных лиц, без которых не было бы и самой мафии, требуют и иной организации. Одним словом, изменилась сама преступность, а отсюда – и остальное.

– Вы, Валентин Петрович, говорите, что у вас в воровской среде были демократия, равенство, а устанавливать справедливость вы считали чуть ли не своим предназначением, это был для «братвы» закон законов. Так ведь?

– Я кивнул, соглашаясь с ним.

– Но если вдуматься, какие то элементы, зародыши будущей мафии можно было подметить и у вас. «Вором в законе» мог стать только судимый. Исключения тут были, но очень редкие. Прежде чем стать «законником», ты обязан был пройти испытательный срок. «Пацаны», если не ошибаюсь, числились в кандидатах. На сходке – а только она имела право присвоить воровское звание – за кандидата должны были поручиться рекомендующие, иногда (есть такие свидетельства) требовались даже письменные рекомендации. И те, кто их давал, нес за вступивших в «братство» ответственность. Более того, была ведь и сходка – орган управления, было и «воровское благо» – нечто вроде общей денежной кассы, правда, последнее характерно для мест лишения свободы, было и многое иное. Вот они где, истоки...

Но вернусь к сегодняшнему дню. Дисциплина у этих «мафиози» железная. И тем не менее многие, поступаясь своим «я», личной свободой, соглашаются быть «шестерками», исполняющими чужую волю, «громоотводами» – теми, кто берет на себя чью то вину, а то и наемными убийцами – их называют «солдатами» или «быками». И все ради единственной цели – какое то время, пока ты на свободе, – пожить безбедно, занять свой «жигуль», дачу с мансардой, шикарных девочек, покутить в ресторанах... Это все «присяжные», «мелюзга». «Ворами в законе» в таких сообществах считаются лидеры, да и то не все. Запросы у них куда как солиднее. Им уже подавай не только наши деньги, но и валюту. И цель у многих из них четко прослеживается: «отмыть» чужими руками побольше денег, перевести их на Запад и положить на счет в какой нибудь банк. Такие случаи уже есть. Это, так сказать, первый этап. А второй – при удобном случае самим махнуть за границу.

Да и само воровское братство «идейных» теперь далеко не то. Вот вы, Валентин Петрович, – вы теперь «нэпманский вор», то есть вор «старой масти», и потому при случае вас могут спокойно «опустить», унижить, если не пойдете на сделку с «новыми» – так называемой «пиковой мастью». Тех, кто не поддерживает «новых», а их зовут еще «kozyрными», выражаясь словами одного из проходивших по делу мафиози, Нарика из Ташкента, выбивают, как мамонтов. Кстати, самого Нарика по решению сходки убили вместе с телохранителем из ружья прямо возле ресторана.

– Да кто же его то? – вырвалось у меня.

– Наемные убийцы. Есть теперь, Валентин Петрович, и такая специальность: наши тоже не лыком шиты, не хуже сицилийских. А если серьезно, то сходку купили дельцы, которым Нарик не давал покоя, грабя их беспардонно, невзирая на выплачиваемую по договору дань. Нарик был заядлым картежником, играл (и проигрывал) с размахом, на это в основном и тратил. Но и дельцы умели считать свои деньги. Так что, видите, какое переплетение интересов.

От таких его откровений я аж поперхнулся дымом от сигареты.

– Об этом, честное слово, в первый раз слышу, да и где в «полосатой зоне» узнаешь. Надо же, до чего дошли. Они же как волки, мы по сравнению с ними ягнятами были.

– Ну уж, не скажите, – усмехнулся Иван Александрович. – Вреда людям и вы нанесли немало. Но если говорить о масштабах, суммах, запросах – сопоставление верное.

– Иван Александрович, а может, вы мне не откажете в одной просьбе – как знаток всех этих дел. Очень уж хочется знать поподробней, откуда они пошли, эти «новые», «беспредел» этот. Кое что, конечно, я слышал и был свидетелем, но так ли понял, не знаю. Видно, много сидеть – не значит много знать. Тут действительно без науки не разобраться.

– Если хотите, попытаюсь, как смогу, удовлетворить ваш интерес. Но только, скорее всего, с вашей же помощью... Кстати, пейте свой чай – стынет.

– Вспомните, Валентин Петрович, – продолжал он, – когда начали активно распадаться такие группировки, как ваша?

– Если считать за группировку нашу «босоту» – к примеру, московскую, то где то в пятидесятые годы. Тогда милиция со страшной силой за нас взялась.

– Милиция – да, но полагаю, не в ней одной дело. Помните, разве не в это время появились «польские воры»?

– Точно, я тогда отбывал срок. С «польскими» стычки были у нас те еще. Отъявленные бандиты. Их мы еще «суками» и «отошедшими» называли.

– Ну, а о таких, как «красная шапочка», «ломом подпоясанные», «дери бери», слышали? – спросил Иван Александрович.

– Приходилось, хотя между ними особой разницы не улавливал.

– Да ее практически и не было. Эти названия группировки «отошедших» присваивали себе с целью маскировки, чтобы поглубже упрятать свое бандитское обличье. С них то и начинается, как я думаю, родословная «новых», хотя и есть здесь небольшая натяжка. Не случайно название одной из тогдашних группировок – «беспредел» – с чьей то легкой руки стало одним из синонимов нынешних «воров в законе». Очень меткое словечко, прямо в «яблочко» попадает. Вашего же брата, воров старой школы, сами они, как я уже говорил, называют «нэпманскими», а, по существу, видят в вас не более чем «шестерок».

– Вот стервецы, – не удержался я, чтобы не выругаться. – Это уж скорей к ним относится. С торгашами да кооператорами мы сроду не путались.

– Да, тут есть доля правды, – задумчиво произнес Иван Александрович. – Добавлю еще – и с акулами от экономики, а нередко и с крупными чинами. Так что выше берите.

Вы, очевидно, не жалуете, по старой привычке, прессу, а то бы узнали из «Учительской газеты» нечто другое. Там, например, говорилось, что современные «воры в законе» являются чуть ли не эталоном поведения. Они же и самые справедливые, и самые гуманные, и законы их не то, что законы общества. Вот, оказывается, с кого нам брать пример предлагают. И все на полном серьезе. Однако это уже эмоции...

Теперь представьте себе, Валентин Петрович, где то в роскошном особняке с бассейном живет, не работая, не воруя и не совершая никаких преступлений, очень богатый, уважаемый всеми человек. Умный, внешне культурный и даже образованный. Впрочем, он может и работать – к примеру, возглавлять какойнибудь кооператив, ставить подпись, прикладывать печать. Все остальное за него сделают. Он – хозяин и «благодетель» не одной, быть может, сотни людей. Хотя большинство из них не знает даже его подлинного имени. Он разрабатывает идеи, стратегию, тактику. Осуществляют его «предначертания» другие – те самые «шестерки», «солдаты» и прочие, о которых мы уже говорили. Приближенных к нему лиц немного, если не считать охраны. Это «авторитеты». Есть и обслуга – «свои» врачи, парикмахеры, юристы, консультанты разного профиля. Эти в организации могут и не состоять, а привлекаться по мере надобности. Сходку он формально признает, воровские законы тоже. Но, если надо, всегда диктует свои условия. Потому что в его руках – сотни тысяч, а может, и миллионы, вся общаковая касса. Каждый из пристяжи и даже другие уголовники обязаны платить ему «дань»... И очень немногие знают, что звание «вора в законе», а точнее право лидерства, он тоже купил за большие деньги, не будучи даже судимым. Тот самый Нарик, о котором я упомянул, вообще был «гладиатором», то есть хулиганом. На сходках, между прочим, «kozyрной», когда требуется, купит голос и такого, как вы, «нэпманского» вора. Да что там голос. В одном регионе купили чуть ли не всех старых воров, и теперь они, получая постоянную «пенсию», сидят на сходках без права решающего голоса.

Я слушал Ивана Александровича, заговорившего вдруг с жаром и так красноречиво, и в душе все заметнее назревал какойто разлад. От этого даже мурашки по спине забегали. Может, рассказывая о своем «мафиози», он имел в виду Сизого – многое ведь сходилось. Неужели вышли на него? Впрочем, лучше пока не спрашивать...

– Такие, как вы, карманники, у них нынче не в почете. Вы только под ногами мешаетесь. Иное дело, скажем, «отмывание» кооператоров, наркобизнес, проституция. А если кража, то стоящая, – скажем, икон. Нужен, конечно, канал, по которому их можно переправлять за границу – тогда потечет валюта... Ну, об этом потом, а то опять подумаете, что склоняю вас к даче новых показаний.

– Уже подумал.

– Что ж, ваше право. На досуге можете, Валентин Петрович, подумать и о другом – все ли вы сделали, чтобы помочь следствию, свою совесть до конца очистили? Тот человек, которому вы должны были передать иконы, отбыл в неизвестном направлении. «Шестерка» не колетса.

И упорно называет организатором преступления вас...

– Прошу об очной ставке, – перебил я.

– Торопиться не будем, Валентин Петрович. Она вам сейчас ничего не даст. Свидетелей нет... В общем, подумайте. Время уже против вас работает.

– Понял. Только не знаю, что надумаю.

– Ладно, оставим пока все это. А то ведь обидитесь, в следующий раз и «исповедоваться» мне не станете. Лучше я вам покажу один интересный документ – как раз в подтверждение того, что говорил сегодня о «новых».

Он достал из ящика стола лист плотной бумаги с отпечатанным на машинке текстом и стал читать.

Это было обращение к «авторитетам». И что меня действительно удивило: обращение принято было не какойнибудь воровской сходкой, а на заседании конференции заслуженных членов общества. Кто они, эти заслуженные? Да и какое это обращение, если все состояло из конкретных пунктов и напоминало скорее инструкцию по организации крупной шайки, преступного сообщества.

Особенно запомнились пункты, где шла речь о конспирации, о создании сети своих людей в «зонах» и на воле, об установлении условий контактов с должностными лицами (денег из общака не жалеть – подчеркивалось

там), о мерах противодействия администрации ИТУ. Даже о бойкоте статьи 188 УК не забыли. Это, пожалуй, верно. Вроде опасное состояние личности отменили, а рецидивиста наказывают строже, и за что? За то, что не захотел исправиться и нарушает режим отбывания наказания.

Да, по большому работают. В наше время только за намек на такую организацию пришили бы умысел на свержение власти. Если этот документ не туфта, то действительно все обстоит серьезно. Наши воровские сходки в Казани, Краснодаре, на которых тогда судили «авторитетов» и приговаривали их к смертной казни, были не больше как воровским делом, и только, хотя, конечно, несправедливым. А тут...

В камеру я вернулся далеко за полночь. Все уже спали. Леха сладко посапывал – опять снились, видать, какие то амурные дела. Обо мне он проявил трогательную заботу, оставив на койке миску с ужином.

Мои же мысли витали все еще там, в кабинете Ивана Александровича. Как много он все таки знает, этот ученый следователь. И что поразило – будто прочитал я о чем, думаю... Нет, пожалуй, как ни крути, расклад тут ясный: выводить их на Сизого надо.

Утром я попросился к следователю.

Исповедь. В бегах.

Прошло месяца три после нашумевшей истории с портфелем, и мне пришлось пожалеть о том, что не послушал доброго совета – уехать из Москвы. Нет, из-за портфеля «менты» не стали бы уже меня трогать. И кражу из вагона они так и не раскрутили. «Замели» меня по карманке, и опять на том же Курском вокзале. Что поделаешь, вор, как и любой человек, привыкает порой к одним и тем же местам, будто смазаны они медом. В свое время Король обругал нас с Костей за то, что без конца мозолим глаза Михалькову на Рогожском рынке, и справедливо. Но, видать, разговор этот не пошел мне впрок.

Вот так я и оказался в Нижнем Ломове, в ДТВК – бессрочной детской колонии закрытого типа. Последнее означало, что убежать отсюда почти невозможно. Вначале я в это не верил. Рассчитывал на свою ловкость и смекалку. Когда, преодолев «полосу препятствий», вырвался из зоны и побежал, думалось, все, вот она, свобода. Успел отбежать километра два, но тут меня все же схватили.

В колониях ввели в то время систему зачетов. За хорошее поведение и учебу осужденному начисляли баллы с плюсами, если же нарушал режим, совершал какой то проступок – с минусами. Эти баллы влияли на сроки отсидки. Если плюсов было больше, тебя могли раньше освободить, и наоборот. За минусы, кроме того, наказывали – давали наряды вне очереди, заставляли делать грязную работу. При этом и весь отряд лишался каких то льгот – ответственность была коллективной.

Сколько зачесть плюсов или минусов, решал актив колонии. А он был здесь очень сильный. Активистов не любили, называли промеж собой «козлами», но боялись – они, как и во все времена, были прихвостнями начальства.

За мой неудавшийся побег наш отряд оштрафовали на 500 минусов. Меня же заставляли после отбоя мыть полы, подметать двор, выносить парашу. Я наотрез отказывался. Активисты издевались, били, но сломать меня было трудно.

Потом стали уговаривать войти в актив, но воровские законы этого не допускали, даже если тебя избьют до смерти.

Мы учились в школе, а после учебы по четыре часа осваивали какую нибудь рабочую профессию. Я учился на слесаря, и это мне давалось неплохо.

Но мысли по прежнему были заняты тем, как отсюда сбежать. Свобода даже во сне снилась.

Подружился с мальчишкой лет четырнадцати по кличке «Куруз». Стали вместе готовиться к побегу. Из напильников сделали ножи – резать колючую проволоку. Выбрав удобный момент, подобрались к полосе

ограждения, преодолели ее по пластунски... Кутузу повезло – удалось сбежать, а меня поймали опять. Жестоко избили и отправили в изолятор.

Мечусь, как волчонок в клетке. От нарядов после отбоя на этот раз никак было не уйти, иначе могли бы неизвестно сколько продержат в изоляторе. А в школу и на работу все равно должен был ходить. Уставал так, что засыпал на уроках.

Терплю, о побеге теперь нечего и думать: за мной следят и днем, и ночью. Даже в уборную одного не пускают – только в сопровождении дневального.

Так проходят сорок шестой, сорок седьмой годы... А в начале 1948 го нас, человек сто пятьдесят, начинают готовить к отправке. Поговаривают, поедем на какой то большой завод. Отбирают ребят, которым по семнадцать восемнадцать лет. Мне еще нет шестнадцати, но начальство, как видно, решило, что от такого настырного лучше избавиться.

В день отправки получаю паспорт. Читаю: год рождения – 1930 й (хотя на самом деле – тридцать третий).

Привозят в Пензу, там подписываем какие то договоры, получаем подъемные. Нас сажают в «телячий» вагон с нарами и отправляют на Урал, в город Верхний Уфалей. В других, плацкартных вагонах едут и вольные, которые завербовались на тот же завод. С нами отправили и кое кого из активистов – Королева Кольку и других. Вот когда, думаем, мы им все припомним...

Привозят в Верхний Уфалей. Поселяют в общежитие. И уже с первых дней дирекции завода пришлось хлебнуть с нами горя. Ведем себя развязно, на работу почти не ходим. Деньги, что у нас были, пропили, и теперь требуем аванс. Начальство не дает. Тогда начинаем продавать одеяла и подушки. Нас вызывают в отдел кадров: не хотите нормально себя вести – увольняйтесь, расчет дадим. Кое кто взял расчет сразу, другие, и я с ними, решили немного повременить.

Если не считать политики, которую вдалбливали в наши преступные головы каждый божий день, никакой воспитательной работы не было – ни в цехе, ни в общежитии. Начальство думало лишь о том, как бы поскорее избавиться от «колонистов».

Вообще жили мы как вольные казаки – хочу иду на работу, хочу нет. Не жизнь – малина. По городу обычно ходили целой компанией. Отправлялись то на базар, то в кино или на вокзал, ища приключений либо приглядываясь, где и что «плохо лежит».

Нам с новым моим дружкой Ваней такая нескладная жизнь в конце концов надоела. Уволились, взяли документы и сели на первый попавшийся поезд в сторону Москвы. Привез он нас в Куйбышев. Деньги кончились (их, естественно, и было то – кот наплакал). Красть в незнакомом городе страшновато. Да тут еще услышали, что вышел Указ от 4 июня 1947 г. За кражу теперь могут дать лет шесть, а то и десять. До поры решили завязать.

Ходим по городу, читаем объявления. Одно из них нас заинтересовало: приглашались рабочие всех специальностей на стройку в город Воронеж. Приходим на вербовочный пункт. Там смотрят наши документы. «Вроде все в порядке, – говорит вербовщик. – Да уж малы вы больно для восемнадцати лет». – «Маленькая собачка – век щенков», – шутит его напарник. «Убедил, берем», – решает первый. Заключаем договор, у нас отбирают паспорта, дают подъемные, и мы едем в Воронеж.

Город весь в руинах. С трудом находим свое предприятие – кажется, Мостозавод. Нас поселяют в бараке. В комнатах здесь по двенадцать пятнадцать человек, но ничего, жить можно – тепло и как то даже уютно.

Работу дают нетяжелую: поливаем водой из шланга бетонные плиты или еще что то делаем в этом роде.

На стройке знакомлюсь с молодым человеком лет двадцати пяти. Звать его Леша. Женат, живут они с Ниной в соседнем с моим бараке, где им дали небольшую комнатку. По воскресным дням Леша надевает военную гимнастерку, и они идут на танцы или в кино. На груди у него гордо поблескивают два ордена Славы.

Подружившись с Лешей, я стал часто бывать у них дома. Весельчак и балагур, свои остроты он то и дело замешивал на «фене». Как то я не удержался, спросил, откуда он знает «блатную музыку». Алексей рассказал такое, во что сразу трудно было поверить.

До войны был он вором «медвежатником». Его рукам любой сейф поддавался. Однажды залетел по крупному – десять лет дали. Когда началась война, из лагеря отправили в штрафную роту. Напросился в разведку, не раз добывал ценные сведения, брал «языка». Был трижды ранен и опять возвращался на фронт. Судимость с него сняли. А за храбрость и смекалку солдатскую получил две почетные награды, не говоря уже о медалях.

Родных у него после войны никого не осталось. Потому, наверное, и был ко мне добрым, старался чем то помочь, накормить домашним обедом. Нина тоже встречала меня, как своего.

С Лешей говорили мы много и обо всем. Но что показалось мне странным: не раз и не два, порой без всякого повода, возвращался он к одному и тому же: «Завязал я – понял? И точка. Жена добрая и красивая, скоро мне сына родит. Жить хочу, как люди... Понял, братуха»? Я ему верил, но удивлялся: зачем он все это повторяет...

Вскоре я познакомился с девочкой. Звали ее Надей, приехала на стройку с родителями. Она мне очень нравилась. Мы ходили в кино, я часто бывал у нее дома. Но больше всего запомнилось, как летними вечерами сидели мы на скамейке возле крыльца и, разговаривая о разных пустяках, будто случайно прикасались друг к другу. Потом она уходила спать, а я долго стоял у заветного окна... Это была еще не любовь, а мальчишеская влюбленность, восторг перед девичьей красотой, ожидание чего то неизведанного.

Потом Надя заболела тифом. Я навещал ее в больнице, приносил гостинцы. Когда заходил в палату, она тут же надевала косынку – очень стеснялась, что подстрижена наголо.

У Алексея я стал теперь бывать реже, иной раз неделю к нему не заглядывал. Однажды в начале смены на стройке поднялся шум: ночью кто то проник к контору и почистил сейф – взял зарплату, которую сегодня нам должны были выдавать.

В обеденный перерыв прибегаю к Леше, но его нет. Жена в слезах: «Забрали моего голубка...» Так мне было за него обидно. Сходил в милицию, отнес передачу. Тут прошел слух, что это он с каким то своим дружкой «взял» сейф. И я вспомнил, как Леша без конца мне твердил: «Завязал я, понял?...» Выходит, убеждал он в этом себя, не надеялся на силу воли...

Впрочем, у меня самого тоже ненадолго ее хватило. Деньги, что зарабатывал, уходили все на питание. Одежда пообтерлась, а мне так хотелось пофорсить перед Надей.

Все получилось вроде случайно, но этого случая, не скрою, я и сам уже ждал. Подхожу как то к магазину, народу полно – завезли продукты. В такой давке вытащить деньги ничего не стоит.

Вспоминаю, как учил Король: прежде, чем залезть в карман, надо маленько осмотреться, сперва прощупать его, убедиться, есть ли там что. «Лапотник» (кошелек) или деньги всегда почувствуешь.

Однако боязно, не воровал давно. Если поймают – суд, тюрьма. И Надя мне не простит. Раздумывал долго, но решился. Захожу в магазин, в левой руке на виду у всех держу деньги и сквозь толчею пробираюсь к прилавку. Рядом со мной средних лет женщина в жакете. Как и я, пытается пролезть без очереди. Прижимаюсь вплотную к ней и осторожно нащупываю верхний карман. Что то там захрустело – деньги. Волнуюсь, сердце запрыгало, а рука вопреки всему лезет в чужой карман. Нащупал какой то узелок и стал осторожно его вытягивать. И вот уже он в моем кармане. Постепенно отхожу назад, пропуская тех, кто рвется к прилавку. Оказавшись на улице, никуда не бегу. Захожу в туалет – он за магазином, развязываю платочек. Денег немного: рублей триста четыреста. Но все лучше, чем ничего, буду тратить их экономно. А главное – достались почти что без труда.

Купил себе брюки, Наде – недорогую, но красивую брошку. Сказал, что на премию.

Когда деньги кончились, решил повторить свою удачную «покупку» (так называли кражу). И так было несколько раз. Действовал осторожно, набивал руку в одиночку, а это нелегко делать. Однако ни разу никто меня даже не заподозрил. Стали появляться уверенность, приходил особый опыт карманника.

Но скоро в моей жизни опять произошла крутая перемена. Нескольких молодых рабочих, в том числе и меня, отправили из Воронежа в какое то захолустье, где строился филиал завода. Там мне все не понравилось. Голое место, барак холодный, питание не налажено. Карманку не «залепить» – толкучек нет, кругом бедность. И мы с одним парнем уже на третьи сутки оттуда сбежали.

Но куда податься? Документов при мне никаких, паспорт отобрали еще на вербовочном пункте.

Решил прокатиться с «гастролями» по Украине. После Харькова отправился в Киев, побывал в Фастове, Белой Церкви, Лозовой. Практику как карманник получил, конечно, большую. И всюду здесь мне везло. Но уж очень сильно тянуло в Москву и к себе на родину. Вот сейчас много спорят о нужности ограничения прописки судимых. Оторвать бы чинушу от дома, от жены, от друзей, тогда бы он лучше понял. Ведь человека тянет как магнитом на родину, и тут всякие правила – это неизбежное их нарушение. Вот и мне так захотелось увидеть старых друзей.

В один из морозных ноябрьских вечеров сорок восьмого года я постучал в знакомую до боли дверь тетисониной хаты. Открыла она сама и страшно обрадовалась.

– Ой, Малышка, да ты ли это, – обнимая меня, как мать, улыбалась она повлажневшими от слез глазами. – Совсем взрослый стал, да какой красавец.

Накрывая стол, она еле успевала отвечать на бесчисленные мои вопросы о друзьях и знакомых. Главной новостью было, конечно, то, что Костя теперь постоянно живет в Электростали, работает на заводе. Его маму освободили по амнистии. Они часто приезжают к тете Соне в гости. И девушка у него есть, мать говорит, что очень хорошенькая. «Вот бы дожить до свадьбы – и его, и твоей тоже»

За ужином мы немного выпили, и она стала рассказывать об остальных наших общих знакомых. Больше всего меня волновало, что не видно Вальки Короля, первого моего наставника.

– В психичке он, в сумасшедшем доме. В последнее время частенько там гостит. Как поймают – вмиг притворится – хитрован, что и говорить... Ну ничего, сбежит, как всегда... Шанхай, спрашиваешь? Недавно заходил... Блюмка его, видать, и сама воровкой стала, ходит вся в золоте. А он меня беспокоит – много пить стал... Шанхая ты, Валя, увидишь. И других тоже. Но добрый тебе совет – не ищи никого. Хватит, было время, а сейчас лучше «завяжи». Не то одна дорога – в тюрьму. Сломаешь себе жизнь, а чего ради...

– Поздно мне, тетя Соня, милая. Теперь я не просто вор, но еще и бродяга, беглый. Куда мне податься без паспорта?

От выпитого развезло, проснулась вдруг жалость к самому себе, и я расплакался.

Тетя Соня, как могла, меня успокаивала:

– погоди, ты еще совсем молодой. Сходи, покайся, – выдадут тебе паспорт, не зверюги же там они, чтоб губить молодого парня... Женишься – твоих детей буду нянчить.

И действительно, так хотелось жить по людски. Ведь сумел же Костя порвать с этой грязью.

Недели две пожил я у друга в Электростали. Он рассказывал о заводе, где был учеником шлифовщика, о том, как к нему там хорошо относятся. Его мама, тетя Маруся, все еще не могла забыть о лагере – сколько она там перетерпела и увидела, не дай Бог никому. Видно, под впечатлением ее рассказов Костя и решил «завязать» раз и навсегда.

Да, ему можно было позавидовать. При деле, живет в своем доме с матерью. И уже невесту себе подыскал.

От Кости я узнал о своем брате Викторе. Он тоже был при деле – работал на заводе в Подольске.

А кто я?.. Хлопотать документы, как советовали мне тетя Соня и Костя, – значит наверняка отправить себя на скамью подсудимых: тех кто сбежал со стройки или с работы, наказывали в то время очень строго. Конечно, я мог бы сказать, что в детской колонии мне приписали годы. Ко кто поверит? Скорее обвинят в клевете на администрацию колонии. У них ведь все шито крыто... Это теперь я понимаю, как бы надо было сделать, ведь у матери остались метрики, бумаги какие то. Наконец, есть суд, он установит. Но тогда и время было другое, да и суд тоже.

Делать нечего, путь к честной жизни я себе обрезал. Пора в Москву – опять браться за привычную воровскую «работу».

На допросах и между допросами. «Продаю» Сизого.

Конвоир вводит меня в небольшой скромный кабинет. За эти несколько дней я успел здесь освоиться, пожалуй, не хуже, чем в камере.

В кабинете, кроме Ивана Александровича, еще один человек, тоже в штатском. Расположился на стуле сбоку от небольшого столика для пишущей машинки. Скорее всего, «опер» из угрозыска. Значит, допрашивать будут вдвоем, хотя, как я хорошо знаю, перекрестные допросы запрещены, это не застойные годы.

Здоровуюсь. Иван Александрович отвечает на приветствие, жестом приглашая сесть. «Опер» молчит, делая, как бы нехотя, еле заметный кивок.

Внешне он чем то напоминает мне Максимченко с Курского вокзала – такой же здоровяк с версту ростом, густой шевелюрой, на вид лет тридцати пяти.

– Что скажете новенького, Валентин Петрович? – спрашивает меня следователь в привычной для себя благожелательной и потому так располагающей к нему манере. – Хотите что то добавить к своим показаниям или внести изменения в протокол?

– И то и другое, гражданин следователь, – отвечаю решительно, боясь что в последний момент вдруг передумаю. Хотя... колебаться уже не резон – отступить некуда.

«Опер» по прежнему молчит (точно так, как тогда Максимченко!), и я обращаюсь опять к одному Ивану Александровичу.

– Помните, гражданин следователь, прошлый раз я сказал, что, вернувшись из зоны, ну, после того как с пропиской не вышло, разыскал Сергунчика. Дали, дескать, в колонии мне его адрес.

– Да, так и зафиксировано в протоколе. И подпись ваша стоит.

– Дальше там все правильно, а тут я малость соврал. Короче, в зоне мне дали адрес на Сергунчика, а Дрозда, здешнего «козырного фраера». Или, по старому, «мастера». И уже Дрозд связал меня с человеком, о котором до сей минуты я вам вообще не говорил, считая, что не имею права продавать «законника». Но потом поразмыслил, взвесил то, что от вас услышал, и понял – другого способа отомстить за подставку у меня не будет. Потому что...

«Опер», будто бы вовсе меня не слушая, что то записывал в блокнот. Покосившись на него, я замялся и замолчал: а вдруг скажу лишнее, «выдам» постороннему наши «ночи Шехерезады».

– Продолжайте, продолжайте, Валентин Петрович. Не стесняйтесь, здесь все свои, – успокоил следователь. – Я вам не представил: это Петр Михайлович Комлев – сотрудник уголовного розыска.

«Мог бы, конечно и сам представиться», – подумалось мне при этом.

– Ну хорошо. Должен я, говорю, этому «бесприделу» отомстить сейчас, потому что от сходки он, как пить дать, откупится. И потом – какой же он к черту «вор в законе», если это звание за деньги купил, ни разу тюрьмы не нюхал. В зоне мне о нем говорили. Не верил, что есть такие. Теперь вот убедился. За кого другого – я бы еще подумал, как поступить. А за этого – в «громоотводы» к нему не нанимался...

Иван Александрович, видно, привыкший за время наших долгих бесед к моим развесистым словам, слушал меня если и без особого интереса – сейчас ему было не до разглагольствований, то, по крайней мере, не перебивал. Понимая, что мне, прежде чем решиться на этот шаг, надо убедить самого себя. А значит – высказать все, что думаю.

«Опер» же то и дело ерзал на стуле, терпение у него начинало лопаться. Наконец, не выдержал:

– Подследственный, – перебил он меня. – Не забывайте, вы здесь на допросе, а не у попа на исповеди. Говорите много, а все вокруг да около. В конце концов, назовете вы фамилию, адрес этого, как вы называете, «беспридела»? Или, может, опять отложите до другого раза?

Я готов был понять его нетерпение, признать, что сам излишне многословен. Но раздраженный тон, которым этот упрек был высказан, вряд ли кому бы понравился. Хотелось ответить дерзостью, однако многолетний опыт подсказывал: с такими лучше не рисковать.

Разрядил обстановку опять же Иван Александрович.

– Я думаю, Валентин Петрович затем сюда и пришел, чтобы сказать нам, кто этот человек, – поддержал он меня. – Давайте же, товарищ капитан, наберемся терпения.

– Согласен, товарищ следователь. Я ведь, сами знаете, сейчас как на иголках.

Испытывать дольше их терпение (и свое тоже) было ни к чему, и я, наконец, назвал им этого самозванца – его кличку, имя, отчество и все то небольшое, что успел узнать во время короткой встречи с Сизым.

Комлев, в котором, судя по выражению его лица и внешнему виду, для эмоций места не оставалось, неожиданно привскочил со стула.

– Значит, Борзов – вот он кто, Сизый! Сколько же, черт подери, ломал я голову, кругами ходил вокруг да около... Теперь все ясно. Будем действовать, – так, Иван Александрович?

– А помните, Петр Михайлович, я советовал обратить внимание на то, что из взятых вами на «мушку» почти одна треть работает в одном кооперативе – «Фото на память», кажется. И между прочим, Сергунчик тоже числится у них в штате, хотя и водителем.

– Как же, этой версией мы пытались заняться. Но данных практически никаких, словно в стену уперлись.

Я сидел молча, не зная, радоваться или, напротив, огорчаться тому, что своим признанием привел их в телячий восторг. Наблюдать за людьми, которые в официальной обстановке допроса слова лишнего не проронят, настолько все у них рассчитано, и которые вдруг восторженно, по мальчишески, выплескивают свои чувства наружу, честно признаюсь, мне еще не приходилось.

Наконец, обретя привычное состояние, они вспомнили обо мне. Первым, разумеется, Иван Александрович.

– Валентин Петрович, хотим вас поблагодарить за ценную информацию.

– Да, да, – поддержал его суровый «опер», заметно смягчивший тон. – Спасибо. Будем надеяться, суд примет это во внимание... Повторите ка мне адресок того «фраера», который связал вас с Сизым Борзовым.

Я выполнил его просьбу.

– Что ж, побегу с вашего позволения, – обратился он к следователю. – Надо прикинуть, что к чему.

– Сейчас без пяти одиннадцать, – посмотрел на часы Иван Александрович. – К часу я вас жду с предложениями по плану операции. Потом доложим полковнику.

– Все понял... Но ведь санкцию на арест мы не можем получить. Для таких, как Сизый, закон пока не писан. Сами знаете, как сейчас с арестами. А он к тому же еще и «под крышей» – кооперативом заправляет.

– Что ж, придется прокурору в ножки кланяться, а говоря серьезно, нужны серьезные улики. Надо обязательно связаться с ОБХСС. У них наверняка по этому кооперативу что то есть. Найдем зацепку, неправда.

– Надо найти, – ответил оперработник, сделав особый упор на слове «надо». – Иначе упустим Сизого. И дело зайдет в тупик.

«Опер» ушел, опять кивнув мне головой, но на этот раз доброжелательно и даже слегка улыбнувшись. И опять напомнил он мне Максимченко – впрочем, уже не только своим высоким ростом и грубоватыми манерами.

Иван Александрович предложил мне сигарету, закурил сам. Потом встал и по привычке стал ходить из угла в угол. Мы оба молчали, думая каждый о своем. Он, конечно, видел, что сомнения продолжают меня терзать. Подошел, тронул за плечо.

– Не раскаивайтесь, Валентин Петрович. Другого выхода у вас просто не было. Зато как помогли следствию. Да и себе тоже... А чтобы вас угрызения совести не слишком мучили, открою небольшой секрет. Почти все члены

преступной группировки – по крайней мере, кто действовал в нашем городе, уже здесь, в СИЗО. Остался Сизый, на которого рано или поздно мы бы все равно вышли. Вы лишь помогли ускорить ход событий. Но помогли вовремя... Кстати, наши беседы, надеюсь, мы продолжим. Только, скорее всего, когда возьму выходной, сейчас в запарке.

...В камеру я возвращался, по прежнему терзаясь сомнениями. Не хотелось ни разговаривать, ни даже глядеть на эту «шушера». Как ни старался убедить меня следователь, такому, как я, с детства впитавшему воровскую «идею», что продавать своего – самый тяжкий грех, «ломаться» не просто трудно – мучительно. Нервы у меня напряглись до предела.

К тому же предвидел я и такой поворот, что «шушера», кем нибудь подогретая, задумает вдруг учинить допрос. Со стороны частые мои отлучки в самом деле могли показаться подозрительными. Особенно тем, кто знает, что ночные допросы разрешаются лишь в исключительных, неотложных случаях (хотя нарушается это сплошь и рядом).

А чем объясню сегодняшний добровольный «визит» к следователю? Обычно так поступают те, кто решился на явку с повинной. А этой явкой ты почти всегда вызываешь к себе неприязнь. Каждый понимает, что раскаяние или, как говорит закон, чистосердечное признание – это и «продажа» кого то из «подельников»... Мои опасения подтвердились – будто в воду глядел.

Подошел к своим нарам, вижу – рядом с Лехой сидит усатый хмырь со шрамом во всю щеку и, брызгая слюной, что то ему доказывает. Усатого я заметил еще вчера, и сразу он мне не понравился. Когда познакомились, все глаза отводил в сторону.

Заметив меня, хмырь замолчал, осекся на полуслове.

– Ты, Серый, не финти. – Леха, по пояс голый, поиграл бицепсами. – Начал – до конца выкладывай. И при нем, – показал он кивком в мою сторону, – при бате.

Усатый вдруг весь съежился, испугавшись и моего появления, и грозных кулаков Лехи, который успел уже привести их в боевую готовность. Но говорить не решался.

– Молчишь, падло. Ну тогда я за тебя скажу. Слышь, Валентин, Серый мне тут стал намекать, будто ты лягавым проданся. На допросах, говорит, держат его до ночи и все такое. Я ему: значит, дело запутанное, измором берут, жерди выкручивают. А как понять, говорит, что утром он сам попросился к следователю... Мог бы ему и на это ответить, – Леха поиграл кулаками. – Да тут ты подошел, и он – сам видишь – в рот воды набрал.

К нашему разговору, как я заметил, прислушивался и кое кто из блатных, лежавших на соседних нарах. Еще бы – запахло жареным.

– Ответить, конечно, могу, – сказал я, стараясь не терять спокойствия и на ходу придумывая, как лучше выкрутиться. – Шьют кражу по 89 й, в крупных размерах. За это, если Кодекс читал, большой срок могут дать. А улики нет. Но ты им пойдешь, докажи, что «замели» незаконно. Вот и решил накатать «ксиву» прокурору...

Серый осторожно меня перебил, изобразив на своем гладко выбритом худосочном лице интеллигента подобие улыбки:

– Да ты на меня не обижайся, Валентин. Объяснил бы сразу, разговора бы не было. А то ведь не я один так подумал.

– А насчет объяснить я тебе вот что скажу. Ты кто – вор?

Усатый помялся:

– Да нет, пока хожу в «фраерах».

– Подтвердить можешь?

– Могу. Есть тут два «мужика», в соседней камере. Покажу на прогулке.

– Ну ладно, верю. А о Лихом, ответь мне, слышал?

– Приходилось, как же.

– Его перед собой и видишь.

– Понял. Беру все назад. Не врубился я...

– Ладно, извиняться не надо. Но воровские правила ты, видать, подзабыл. Одно я тебе напомним: тот, кто «в законе», отчет держит перед ровней. И то – на сходке.

– Слыхал ты, Серый, что батей сказано?! – Леха потряс кулаком перед самым его носом. – Ладно, не дрейфь, сегодня бить не буду. Для начала мы тебя ущемим морально. Видишь, в том углу, где параша, пустая койка. Сматывай одеяло – и туда. Может, освежишь свои мозги дезодорантом. А мы доливать будем.

– Зря ты, так, Леха, – вступился я за Серого. – Он все же «фраер». После вора – второй человек. А ошибку, я уверен, учтет.

– Спасибо, Лихой. Исполню все, что скажешь, не будь я «фраером».

И все же чем то он мне не понравился. Не верил я в его искренность.

Пока мы выясняли отношения с Серым, в другом углу камеры шпана резалась в карты. А через койку от нас кто то из блатных показывал молодым ребятам, как играют в наперсток. Вернее, как надувают дураков.

– Обставить «клиента» проще пареной репы, не то что, к примеру, в «три листика», – поучал он их, заметно шепелявя, у него, видно, кто то из надутых повыбивал половину зубов.

К шулерам и прежде не было у меня особой симпатии – повлияла «школа» Короля. А наперсточников, выплывших из забвения в последние два три года, считаю вообще скудоумными жуликами.

Леха, как видно, тоже был «по другой части».

Мы с ним немного посидели молча. Потом он достал из под койки два больших апельсина – презент с воли от какой то своей поклонницы, один протянул мне.

– А знаешь, Лихой, за что меня взяли, – сказал он неожиданно. – Чувиха одна знакомая, Ирка, еще когда в школе учились, прохода мне не давала, все целоваться лезла. А мне не нравилась – другую любил, и притом взаимно. Ирку же от себя гнал, один раз аж врезал, чтоб не лезла больше. Ну, потом... Загремел я на два года за хулиганку – обшманили одного прохиндея по пьяному делу. Этим летом вернулся из зоны. Светка – ну, та, с которой встречался, – замуж вышла, уехала. А Ирка тут как тут. Зовет к подруге в гости. Ставит бутылку, наливает целый стакан: «Пей, посмотрю, какой ты мужик». Сама тожехватила малость. А после, закусить не дала, – хватается за джинсы и на диван тащит. Ну, сам понимаешь, пришел то голодный. Подруга, та тихонько на кухню вышла. Потом уж я понял, что все у них было так задумано. Только вошел во вкус, Ирка подо мной как завопит: «Насилуют!..» Подружка врывается, тоже что то кричит. Ну, я свое дело сделал – стесняться не стал... Думал, они так подшутили. Для нас, молодых, на бабу залезть – это сейчас, что плюнуть. Проблемы нет. А Ирка мне потом: «Мотай отсюда, Лешенька. Если же будет что не так – не обессудь. Хотела тебе отомстить за прошлое»... Ну, и опять же не думал я, что способна она на такую подлость. Через два дня вызывают в милицию. Подала заявление, что я, мол, ее изнасиловал. И есть свидетель... Да если бы знал – удушил бы на том же диване. А теперь – кто поверит судимому. Родители, и те сомневаются...

– Тяжелый случай, Леха. Тебе хороший адвокат нужен, а то загремишь лет на шесть. И вот что, напирай на отсутствие ссадин, синяков, рваной одежды – тоже помогает.

– А у тебя, Валентин, было чтонибудь такое, – ну, похожее.

– Такого не было. Про первую свою любовь рассказать могу.

– Ну что ж, трави. Интересно, какая она раньше была, любовь то.

Исповедь. Воровская любовь.

Валентин Король, мой первый наставник, по прежнему «отдыхал» в психбольнице. Я же в это время «трудился» по карманке в «бригаде» – с Шанхаем и его женой Блюмкой. У Шанхая я постигал искусство «писать» – резать карманы и сумки «мытьем» – специально приспособленным для этой цели лезвием к безопасной бритве. Одну его половинку обматывали пластырем или изолентой, чтобы удобней было «писать» и чтобы во время «работы» случайно не поранить пальцы. Такое лезвие называли «заряженным».

Шанхай достиг в этом деле совершенства. Я многое у него перенял, и потому считаю его после Короля вторым своим учителем. Впрочем, и Блюмка «писала» так, что многие из профессиональных воров могли бы позавидовать.

Шанхай и Блюмка чаще всего работали «мытьем», а я принимал от них «пропуль» – украденные деньги. Иногда менялись.

В тот день мы втроем «держали трассу» на трамваях 2 го, 38 и 46 го маршрутов, «обслуживая» те перегоны, что с разных сторон вели к Перовскому рынку. Этот район и эти три «марки» выбрали не случайно – людей здесь и утром, и днем всегда было полно... И продавцов, и покупателей, нередко с большими деньгами.

«Выкуп» оказался приличным, зашли в кафе перекусить, здесь же поделили деньги. Каждому члену «бригады» выдавалась равная доля, независимо от того, сколько он «выкупил» (украл). У карманников это был закон, он и по сей день существует.

Потом мы с Шанхаем доехали до Курского, чтобы там пересесть на электричку. Наша «блатхата» была в Люблино. Блюмка осталась в Москве – решила зайти к родителям.

Стоим на платформе в ожидании поезда. Время вечернее, люди едут с работы, пассажиров много.

Тут я замечаю (глаз то уже наметан!), как молоденькая, очень красивая девушка расстегивает у прилично одетой дамы сумку, ловко вытягивает оттуда деньги и незаметно передает «пропуль» подельнице. И обе спокойно, не торопясь, отходят – будто прогуливаются по платформе.

Молодцы, ничего не скажешь. Я незаметно толкаю Шанхая в бок. – «А та, чернявенькая, что «дрожжи снимала», хороша, правда?...» «Да, маруха цветочек, – отвечает Шанхай. – Не будь на свете моей Блюмаши, я б ее взял». – «Брось шутить, Шанхай». – «Какие шутки! Скажи уж, заиграл у мальчика. Коли так – давай познакомлю». – «Не опошляй, я и сам могу. Понравилась она мне, но по другому». – «Втюрился, значит».

Подошла электричка, и мы сели в тот же вагон, что и эти две девушки. Но со знакомством пришлось повременить. Девушки, как мы сразу поняли, решили и здесь «поработать».

Они протискиваются в середину вагона, и мы за ними, стараемся не показать вида, что наблюдаем.

После Москвы второй пассажиров стало еще больше. Вот тогда то и начали они «работать». Но та, белолицая, с большими темными косами, нас все же усекла. Едва заметно подмигнула подруге, и они стали по тихому уходить, оказавшись вскоре в разных концах вагона. Я побоялся, что упущу девушку с косами, и пошел за ней.

Настиг уже в тамбуре. Дверь в соседний вагон наглухо перекрыта чьими то мешками, и убегать ей некуда.

Подхожу и – что это? Чувствую, как от волнения дрожат коленки и во рту какая то сухость. Но отступать поздно. Пересилив себя, говорю первое, что приходит в голову:

– Девушка, вы с работы едете?

Она смущенно улыбается, поправляет косы, которые двумя темными струями стекают куда то вниз.

На ней красивый цветной сарафан, поверх которого сиреневая воздушная кофточка. В руке – сумка из крокодиловой кожи, последний крик моды.

– А вы, молодой человек, со всеми так знакомитесь?

– Нет, только с вами, – отвечаю ей, постепенно приходя в себя. – Да вы не бойтесь. Мы с другом в том же цехе трудимся, что и вы со своей подружкой. Может, в кино пойдем?

Спросил, и опять оробел. А вдруг откажется?

– Какой вы приткий. – Она опустила глаза, видно тоже смутившись. – Ну что ж... пойдемте. Только подружку мою возьмем.

– А у меня друг. Можно узнать, как вас зовут?

– Отчего же... Роза!

Шанхай и подружка Розы успели уже протиснуться в наш тамбур и стояли рядышком, делая, однако, вид, что не слышат, о чем мы говорим. И только после того, как услышали, что мы с Розой договорились пойти в кино, подошли к нам. Я познакомил Розу с Шанхаем, а ее подружка – тоже скромная, симпатичная, хотя и не в моем вкусе девушка, сама протянула руку сначала Шанхаю, потом мне:

– Аня.

... Мы попали на фильм «Трансвааль в огне». Пока шла картина, я не столько смотрел на экран, сколько на Розу, любуясь ею и чувствуя, что с каждой минутой все сильнее влюбляюсь. Она, конечно, это заметила, и время от времени я тоже ловил глазами ее мимолетный застенчивый взгляд.

После кино все вместе зашли в кафе. Поужинали. От вина Роза с Аней наотрез отказались.

Вот так я познакомился с Розой Татаркой – первой своей любовью. Была она на два года моложе меня, жила с матерью на Комсомолке, возле трех вокзалов. После седьмого класса учиться не стала и вместе с подружкой занялась карманкой. Внешне обе походили на школьниц и, увидев этих милых подружек, вряд ли ктонибудь мог подумать, что они воровки.

Впрочем, Розе было с кого взять пример. Ее сестра, двумя годами постарше, уже сидела за воровство в тюрьме, мать, если мне не изменяет память, работала в торговле. Правда, как потом узнал, карманное дело Роза постигала сама, начав с «верхушек» – хозяйственных сумок.

Я был без ума от этой девушки. Она тоже меня полюбила и тоже первой любовью.

Поняв, что без нее и дня не могу прожить, от Шанхая и Блюмки я переехал на «блатхату», которую снимали Роза и Аня. Здесь оказалось «тихо» – у милиции хозяйка была вне подозрений и как то смогла убедить участкового, что пускает к себе на квартиру только людей «порядочных».

Таких чувств, такой радости и такого душевного взлета, как за эти несколько недель, пролетевших в одно мгновение, я еще не испытывал. По вечерам мы с Розой ходили на танцы, гуляли по темным аллеям парка, объяснялись в любви, говорили, что будем до гроба верны друг другу, я осыпал ее страстными поцелуями. Спали вместе, и хотя для меня это было мукой, лишиться чести любимую девушку я не посмел. В то время мораль была другая – не то, что нынче. Тронешь девушку, пока ты на ней не женился, значит, опозоришь ее перед людьми. И хотя мы были ворами, нравственных устоев и в этих делах держались твердо. Я не смогу согласиться с теми писателями, которые, не нюхав тюремной баланды, утверждают, будто нас сводили с рупесницами – воровскими проститутками – и мы уже в четырнадцать лет были развращены. Может, сейчас так, а тогда этого не было.

Сильная, настоящая была у нас с Розой любовь. Хотя успевали мы не только обниматься да миловаться, но и «работать». И вот что интересно, работали отдельно, как то стыдно было друг перед другом.

По утрам я, как и прежде, с Шанхаем и Блюмкой держал «трассу» возле Перовского рынка или «обслуживал» электрички. А Роза с Аней отправлялись на Домниковку, на Сретенку, где магазины были заполнены приезжими, либо «трудились» в крупных универмагах – Петровском пассаже, ЦУМе, Щербаковском. Не обходили вниманием и Столешников переулок.

Но у воровского счастья век недолог, на каждом шагу подстерегает тебя опасность, каждую минуту надо быть начеку. Расслабишься – конец всему...

Однажды, когда мы с Розой лежали, нежно обнявшись, кто то постучал в окно. Вначале подумали: свои – Шанхай или Костя Галоша, приятель Ани. Но оказалось – милиция. Хозяйка очень не хотела открывать, говорила, что у нее здесь все свои. Но что могла она сделать. Нас троих – Розу, Аню и меня посадили в машину и отвезли в райотдел. Я назвался было Володькой Типошиным (Хитрым) из Малаховки – была у нас с ним такая договоренность. Но пришел начальник угрозыска, который Хитрого знал как облупленного, и моя легенда провалилась. Тогда ведь «опера» больше ногами топала и знали своих «подопечных» в лицо. А некоторые опытные профессионалы, как, например, воскресенский Венгеровер, могли запросто прийти в милицию и поговорить за жизнь.

«Пришить» конкретное дело они мне в этот раз не смогли. Обошлось тем, что взяли подписку о выезде из Москвы в течение двух часов. И еще – сняли отпечатки пальцев.

Что же касается Розы и Ани, милиция, не имея к ним никаких других претензий, решила припугнуть девочек за «безнравственность». Не дожидаясь утра, послали машину за их матерями (отцов у обеих не было). Тогда я впервые увидел Розину маму – дородную, с красивым волевым лицом, смуглую женщину лет пятидесяти.

Когда выходили из милиции, Роза сказала ей по татарски, что мы любим друг друга и хотим пожениться.

– Любите себе на здоровье, – резко ответила ее мать по русски, чтобы понял и я. – Но замуж пойдешь по закону, когда восемнадцать исполнится.

Ответила она так, скорее всего, под впечатлением взбучки, полученной в милиции. Ее, как и мать Ани, отругали за то, что дочь ночует в сомнительной компании, и предупредили об ответственности, которую несут родители за своих несовершеннолетних детей.

В то время слово «профилактика» не склонялось еще на все лады, как сегодня. Но результатов умели добиваться. Потому что милицию, как я уже говорил, боялись. И еще потому, что в своем большинстве в ней работали люди добросовестные, да и спрос с них был, видимо, строже. Во всяком случае, такое впечатление сложилось у меня – человека, который и в ту пору и много позже частенько имел дело с работниками милиции и вправе сравнивать.

...Лето кончалось, а вместе с ним – волнующие свидания с Розой, о которых и сегодня вспоминаю, как о самых светлых минутах своей непутевой жизни. В августе Розу с Аней задержали за карманную кражу в ЦУМе и отправили в «Матросскую тишину». Несколько раз я заезжал к ее матери, чтобы дать деньги на передачу. Потом был суд. На него я тоже пришел, хотя это было и рискованно. Но так хотелось увидеть свою любимую перед неминуемой разлукой.

Девушкам, учтя их возраст и то, что попались впервые, дали немного – по полтора года лишения свободы.

Через три месяца на Каланчевке во время «работы» поймали с поличным и меня. Никакие уловки не помогли, тем более, что я уже дважды давал подписку о выезде, продолжая жить в Москве.

Меня, как и Розу, приговорили к полутора годам. Из Таганской следственной тюрьмы отправили в «пересылку» на Красной Пресне, а уже оттуда – в поселок Мумра под Астраханью – одно из бесчисленных учреждений ГУЛАГа.

На этапе, в промерзшем «телячьем» вагоне, стуча зубами от холода, я снова и снова вспоминал о Розе. Подсчитывал, что, когда выйду на свободу, мне уже будет девятнадцатый год, а ей почти семнадцать. Может быть, ее мама и разрешит сыграть свадьбу.

Но этим моим мечтам так и не суждено было сбыться. И хотя роман с Розой имел продолжение, до свадьбы дело так и не дошло. Были короткие, между отсидками, встречи – пылкие, сладостные. Однако превратности воровской судьбы так и не позволили нам, любившим друг друга сильно и нежно, создать семью.

На допросах и между допросами. «Если ты наш – докажи».

Целых три дня меня никуда не вызывали. Иван Александрович видно крутился, как белка в колесе, разматывая вместе с «операми» кражу из церкви.

С Лехой, несмотря на разницу в возрасте, мы стали почти друзьями. Я рассказывал ему кое что из своих приключений, о законах, о «новых» ворах.

Внешне он был грубоватым, но, как я убедился, уважал справедливость. И этим мне нравился.

Камеру мы с Лехой надежно держали в своих руках. Фраер тоже старался быть «своим человеком», иной раз даже с излишним усердием. Я хотел одного – чтобы в этой душной, прокуренной, изолированной от внешнего мира клетке все решалось по справедливости. Так, как было заведено у нас, старых воров.

Я понимал, что в СИЗО, где собрана всякая «шушера», а на смену одним то и дело приходят новенькие, поддерживать этот порядок трудно. Не то, что в зоне – там монолит, стена, там «вторая жизнь» – и эта жизнь наша. Но все же нам с Лехой кое что удавалось – выручали его «люберецкие» бицепсы.

Если, к примеру, кому то из «мелюзги» пришлют передачу, мы – начеку, следим, чтобы шпана повзрослее и понахрапистее, не обижала этого паренька.

Когда же подследственного усиленно начинали «подкармливать» родственнички либо подельники с воли, – заставляли, чтоб он делился с теми, кто сосал лапу, пробавляясь одной лишь тюремной пайкой на 37 копеек. В таких случаях многие перед нами заискивали, стараясь сунуть кусок пожирнее и тем заткнуть рот. Но своим положением ни я, ни Леха не пользовались – брали, как все.

Однажды, было это в конце недели, в камеру водворили здоровенного рыжего бугая лет двадцати восьми. Не успев оклематься, он нагло согнал одного тщедушного паренька на верхний ярус и расположился на его койке. Тот пытался протестовать. Тогда бугай, схватив паренька за грудки, рявкнул, чтоб слышала камера:

– Самородок я, понял? «Вор в законе».

Наша с Лехой власть было поколебалась. Серый, конечно, заерзал, не зная, чью сторону ему принять. Сразу же, как по команде, заершились блатные из тех, кого прижимали мы за передачи. Назревал раскол.

Узнав, кто я, Самородок было опомнился. Но наглость, жажда власти взяли свое, и он решил положить меня на лопатки. Подсел, и будто невзначай завел разговор:

– Наслышан я о тебе, Лихой. В зоне ты – легендарная личность. Как Чапаев. Только ведь все это – наша, так сказать, история. Время твое ушло, понял?

От его слов меня покорило, но смолчал. Грубостью отвечать не хотелось: слово за слово, и дойдет до мордобоя. Леха полезет в драку. Нет, его подставлять не стану. Лучше чтонибудь сам придумаю. Между прочим, кого то мне этот Самородок из дерьма напоминает. Вернее, его слова о том, что время мое ушло, о легендах. Да, конечно же, Сизого! Только тот говорил про байки, которые недосуг ему слушать.

Прет «беспредел», прет нахально. Скоро спасу от него не будет. То, что было когда то плохим – становится хорошим, то, что почиталось воровской несправедливостью – теперь возводится в ранг «закона», да еще выдается за нашу традицию. И вспомнилось мне одно обращение, подписанное кличкой «Карел». И хотя я его не знаю, но писал он правильно, с болью и запальчивостью.

Жаль, что не передал по кругу тогда эту «ксиву», считая ее очередной уткой. А были там и такие слова:

«Мужики, братва! Что получается? К чему Вы идете и до чего доходите? Где закон, честь, гордость нашего общества. Во что превратилась зона? В пионерский лагерь?..

Где Ваша солидарность, Ваша гордость? Стыдно, срамно смотреть, как курвится зона. Все травят друг на друга, а вы улыбаетесь улыбкой придурка, и небось каждый думает – «мое дело сторона».

Где наше Я? Надо кончать с этим. Забыты традиции и законы нашего общества, страх, трусость, равнодушие в наших сердцах. А ведь зона эта была на хорошем счету и воровском положении. Или вывелись все не чуждые закону правила и нашего общества люди. Думается, нет. Так поднимите голову, братва. Осмотритесь, к чему ведет ваше равнодушие. Встряхнитесь, да и начнем борьбу за наши права, за наши старые и добрые традиции. За силу нашего закона.

К солидарности, братва, к усилению нашей общественной организации!

И да вернем честь нашей зоне».

Далее шли лозунги, примерно такие, как перед первомайской демонстрацией. Нет, эмоции – это дело не блатных, вот почему я не стал переписывать «ксиву». Но правда в ней все же была...

– Слышь, сосунки, – Самородок гудел уже на всю камеру. – Предупреждаю: если кто поперек пойдет – глотку перекрою.

Леха, которого я за проведенные вместе дни приучил быть посдержаннее, на этот раз все же не стерпел, сжал кулаки:

– Ты вот что, поосторожней на поворотах. А то ведь такого «вора» и «опустить» можно.

Самородок не ожидал отпора. Он зло посмотрел на Леху, хотел сказать какую то пакость. Но в этот самый момент Леха скинул с себя рубаху, готовясь принять бой, и Самородок тут же взял на полтона ниже. Вид у моего дружка был и впрямь устрашающий.

– Брось, парень, – тихо выдавил он из себя, чтоб меньше людей услышало. – Кулаками свои права не мне отстаивать. Так же, как не Лихому... Они, права эти, если хочешь знать, кровью завоеваны. – Он повысил голос. – В зоне ты, вижу, был, поймешь. Ну вот, и я оттуда. Только не стал, как вы, ждать «звонка», сам решил «переменку» себе устроить. Бежал, то есть. А солдатик заметил, автомат наставил. Ну, у меня с собой тоже «пушка». Вот я в него и пальнул. Потом перебежками – к лесочку ближнему, а там – узкоколейка. Торфушки, они, как телега, тащатся, а тут вдобавок подъем. Заскочил на ходу в вагон, обложился брикетами. И – пронесло, чудом на волю вырвался. С полгода гулял. И влип то опять по пьянке, из за баб...

Леха слушал его насупившись, но с интересом. Остальные тоже молчали. Ждали, видно, чем я отвечу.

– Твои сказки, Самородок, только юнцам и рассказывай. Что то не слыхал я, чтоб в зоне пистолеты держали. Нынче такой «шмон» устраивают, аж доски в полу трещат, не говоря о матрацах. А если при побеге кровь солдатскую пролил – весь округ поднимут на ноги, в торфяных брикетах не спрячешься.

– Ты что, не веришь, Лихой? Мне, «законнику»? – взбеленился Самородок.

– Имею право не верить. Пока подтверждение не придет – оттуда, из зоны. К слову, у меня один вопрос: когда и где принимали тебя в «закон»?

– А вот это, Лихой, ты зря. Оскорбляешь. Один на один останемся – назову тебе тот «сходняк». При всех нельзя, сам понимаешь.

– Я к тому, Самородок, что зеленый ты, не созрел для настоящего вора. Сидел всего раз – я правильно понял?

Самородок на это ничего не ответил.

– Ну, а наколку показать можешь?

– Собирался, но не успел, – насупился он. – К побегу готовился...

– Скажи уж, – решил я окончательно его добить, – что звание наше за деньги купил. У «беспредела», что «сходняком» нынче заправляет. Так оно честнее будет. Чего под вора то рядиться.

Самородок, мрачнее тучи, резко встал с койки и направился в дальний угол камеры. Серый остался с нами – он, как всегда, держал нос по ветру.

Наш с Лехой пошатнувшийся было авторитет стал прочнее, чем прежде. А с этим восстановилась и справедливость. Не потребовались даже Лехины кулаки.

...Стычка с Самородком случилась в субботу утром. Днем же, во время прогулки, я встретил Сизого. Он тоже меня узнал и подмигнул, разведя руками. Дескать, такова жизнь наша. Отсюда я заключил, что нахожусь вне подозрений.

«Интересно все же, как его брали», – почему то подумал я. И в воскресенье утром, когда следователь, как и обещал, пригласил меня на «индийский чай», я первым делом задал ему этот вопрос.

– Такие, как Сизый, легко в руки не даются, Валентин Петрович. Да вы об этом прекрасно знаете. У них и система связи отлажена, чтоб в нужный момент удрать, и транспорт получше милицейского. И конечно, охрана – те самые «солдаты», о которых я вам говорил... Ну, а если о Сизом... Могу сказать только то, что брали его дома, когда, приехав откуда то, отпустил охранников, а сам вышел из квартиры – достать газеты из почтового ящика. Так что операция обошлась без жертв.

– Понятно. А я, Иван Александрович, тоже имел вчера стычку с одним «беспределом». На обе лопатки его положил.

– Любопытно.

– Расскажу... Иван Александрович, очень волнует меня вопрос: есть ли у Сизого подозрения, что я их выдал?

Иван Александрович забарабанил пальцами по столу.

– Этого я вам не скажу. Ведется следствие, и разглашать содержание допросов я не имею права...

– Я потому спросил, что для меня это, как говорится, вопрос жизни или смерти. Воры «законники» уже знают, что Лихой «завязал». Об этом я в зоне предупредил. А правило у нас такое: отошел от воровской жизни – никто тебя не тронет. И мстить не будет. Но при одном условии, чтобы вора не пакостил, не продавал никакой милиции... Иначе зарежут, как собаку.

– Знаю я об этом правиле, Валентин Петрович. Но вот что давно меня смущает: почему такой знаток жизни, как Шукшин, в фильме «Калина красная» показал все совсем иначе. Там, вы помните, Егора Прокудина, главного героя, воры убивают только за то, что он решил жить честно.

– Как же, помню, подсылают к нему Губу... Уважаю я Шукшина, но только здесь все неправда. Убить бывшего вора только за то, что он завязал – такого в воровской жизни не было. Ни один «вор в законе» не посмел бы так поступить. Или его самого за беспредельный поступок зарезали бы сами воры. Такого мы не прощали.

А вообще то, Иван Александрович, у нас в зоне большие споры велись по отношению к нам «писак». Почему пишут не так, как в жизни бывает, а так, как «писака» захочет. Вот помню вышла книга «Записки Серого волка». Вроде писал наш брат – рецидивист. Конечно, судьба у него не простая, много горя принял, но когда дошел до наших законов, то опять неправда. Обидно даже было, ведь наш. Потом то ребята выяснили, что «вором в законе» он не был, и послали ему «кодекс воровской чести». Дескать, знай то, о чем пишешь. Вот и Шукшин тоже. А фильм нам очень понравился, некоторые даже слезу пустили.

– Вот видите, Валентин Петрович, опять вы мне дали очень ценную информацию. Обязательно воспользуюсь.

– А теперь, – Иван Александрович открыл тумбочку, доставая стаканы и заварку, – давайте вскипятим чаек, и вы продолжите свой рассказ. Если можно, расскажите о какойнибудь воровской сходке – вы мне обещали...

Я согласился, понимая, что даже ученым не так уж часто доводится слышать о «сходняке» из уст очевидца.

Исповедь. Кровавая сходка.

Чтобы рассказать о первой в моей воровской жизни сходке, придется забежать немного вперед.

Было это в пятьдесят первом, после того как вышел я на свободу из лагеря под Астраханью. Просил, чтобы выдали направление в Электросталь, на свою родину. Думал, пропишусь там у Кости, получу паспорт. Но начальник спец части грубо меня оборвал: «Заруби себе на носу: в Московскую область, а тем паче в Москву, тебе путь навсегда заказан. Скажи спасибо, что в Калужскую направляют».

Ехать до Калуги надо было через Москву с пересадкой. А мог ли я, оказавшись в Белокаменной, не увидеть друзей карманников и главное – милую красавицу мою Розу. Они вместе с Аней должны уже гулять на свободе.

Хитрый, вор из Малаховки, под его фамилией я когда-то «сухарился», подсказал, что Розу скорее всего можно отыскать на квартире у Ани в Люберцах.

Та первая после нашей разлуки встреча, когда я впервые почувствовал себя мужчиной, а Роза сказала, что она счастлива, тоже навсегда запомнилась. И еще по-женски трогательная ее забота о том, чтобы я отдохнул подольше, пришел в себя, да поскорее забыл о «хозяйской» (лагерной) похлебке.

Но моей зазнобе до совершеннолетия было еще полтора года, и ее мать, хотя и закрывала глаза на наши отношения, по-прежнему не давала согласия на свадьбу. Если б она могла знать, что очень скоро ее дочь уже не на полтора года – на целых десять лет лишится земных радостей и человека, которого полюбила, то, наверное, не была бы к ней так строга.

От Розы, кстати, узнал я о том, что еще в пересыльной тюрьме они с Аней встретили мою сестру Машу, которую, тоже за карманную кражу, осудили на шесть лет.

Вот они, превратности воровской жизни. Что будет завтра – никому не дано предсказать, поэтому – лови момент. Гуляй, люби, наслаждайся, бери у судьбы все, что в твоих силах. Но бери честно, не обделяй таких же, как ты, воров. И не дай тебе Бог, если из «заработанных» денег захочешь взять больше, чем твой поделщик, утаишь хотя бы малую часть.

Подтверждение тому – трагическая судьба ленинградского «вора в законе» по кличке Хмурый. Было ему тогда лет двадцать пять. На «гастроль» в Москву приехал с молодым поделщиком Колей Длинным, которому едва шестнадцать исполнилось. Обосновались в Малаховке, где я с ними и познакомился.

«Работали» питерцы на местном рынке. Летом поселок был наводнен дачниками, и по утрам, едва успев протереть ото сна глаза, со всех сторон они стекались на рынок купить что нибудь посвежее да повкуснее. Многие из «дачных мужей» отправлялись туда в пижамах, а то и в халатах. А кошелек – в кармане. Есть где разгуляться карманному вору. Этим и пользовались питерцы, с большим искусством «выкупая» у сытых, вальяжных дачников туго набитые кошельки.

Вначале все у них шло как надо. Но вот однажды встречаю Колю и узнаю, что с Хмурым он решил порвать. «Шпарит» деньги, подонок, не первый раз замечаю». И хотя я знал, что на блатном жаргоне означало слово «шпарить», на всякий случай все же решил переспросить. «Неужто у Хмурого – «законника» – хватает совести облапошивать таких «пацанов», как ты, – присваивать то, что вместе заработали?» – «А ты, Валентин, мне не веришь? Да за такую напраслину меня на первом суку повесят, гадом буду».

...Хмурого, прежде чем собрать сходку, проверяли не раз. Слишком серьезным было обвинение, и потому ошибка здесь исключалась. По воровским законам любому вору, уличенному в этом гнусном деле, выносили смертный приговор.

О том, что в один из июньских дней состоится воровская сходка, сообщил мне Шанхай. Назвал и место, где соберутся вору, – неподалеку от станции Железнодорожная, в лесу. К одиннадцати часам утра мы с Хитрым должны быть там.

На станции нас встретил Шанхай и показал направление, куда идти.

В небольшом лесу близ «знаменитой» своими воровскими традициями бывшей Обираловки собралось на сходку человек тридцать самых известных в Москве воров. О том, что будут судить Хмурого, всех оповестили заранее. Воры, которым поручили «проверку», вот вот должны были доставить сюда его самого.

На этот раз, как и всегда в таких случаях, операция по «проверке» была тщательно продумана. Хмурого, ни о чем не подозревавшего, взяли «поработать» в «бригаду». Ту, что обычно «трудилась» здесь же, в поселке Железнодорожном. «Провели» по магазинам и в каком то продмаге, где было много народу, передали кошелек с деньгами. Якобы украденный, хотя на самом деле его приготовили заранее и записали номера серий каждой купюры.

Приняв этот кошелек, Хмурый вышел из магазина. В условленном месте «подельники» встретились и, как водится, спросили у него, велик ли «выкуп». Он ответил, назвав сумму значительно меньшую, чем была в кошельке. «Ну что же, – сказал один из воров. – Деньги неплохие. Давайте возьмем водочки, чтонибудь закусить и отдохнем малость вон в том лесочке».

Пока они не пришли в лес, Хмурый был в полном неведении. И только, когда увидел собравшихся воров, начал догадываться. Тут уже время тянуть не стали, и ему без обиняков предъявили это страшное обвинение: «А ты ведь и вправду «шпаришь», Хмурый!» Зная, что обыскивать по подозрению у воров не принято, он стал все отрицать.

– Не кипятись, – сказали ему те, кто проверял. – Вот кошелек, который ты нам дал. А теперь выкладывай из карманов всю свою наличность...

Хмурый вдруг побледнел, руки затряслись.

– Не губите, братва...

И стал, ползая на коленях, просить, чтобы ему сохранили жизнь.

Воровские «законы» Хмурый хорошо знал. Даже если бы мы этого хотели, простить столь тяжкий грех не имели права. С нас бы потом тоже спросили, и по всей строгости.

Решили единогласно: смерть. Для «пацанов», а их здесь было несколько, наблюдать всю эту картину было особенно тяжело. Но их пригласили, чтобы с первых шагов своей воровской жизни неповадно было нарушать неписанные «законы».

Пятнадцатилетний вор по кличке «Дядя Федя» достал сигареты и дал приговоренному к смерти закурить.

– Налейте водки, братва, – попросил Хмурый дрожащим голосом.

– Пей, сколько пожелаешь, – ответил ему кто то из «законников». – В этой последней просьбе не откажем.

Хмурый выпил один за другим три стакана водки, и даже не захмелел.

Стали решать, какой будет казнь. Пришли к соглашению: лучше не резать, чтоб было потом меньше шухера. Пусть сам застрелится.

Приносить на сходняк оружие, не только «фигуры», но и ножи, не полагалось. Видя, что из за этого произошла заминка, Хмурый, все еще надеясь на чудо, стал вновь молить о прощении.

– Братва, пощадите, – кричал он истошно, сделавшись как сумасшедший. – «Мужиком» буду жить, отмою свой грех...

Ответом было гробовое молчание.

Через полчаса вернулся Дядя Федя, которого посылали в поселок за «фигурой». Шанхай взял у него пистолет – помню, точно такой же «парабеллум», что был у Куцего, – ловко вынул обойму и стал один за другим высыпать на ладонь «маслята». Последний, седьмой, патрон он оставил в обойме и снова загнал ее в рукоятку.

Хмурый попросил еще стакан водки, выпил залпом. Все молча на него смотрели. На глазах у многих я увидел слезы. И мне вдруг стало его жалко. Но судьба Хмурого была уже предreshена.

– Братуха, Шанхай – почти шепотом попросил он в последний раз, – а может все таки простите.

– Нет, дорогой, – ответил тот, подходя к нему с пистолетом в руке. – Не имеем права. Если такое я совершу – тоже никто не пощадит.

Он вынул платок, обтер им пистолет, чтобы не оставить отпечатков пальцев.

– Держи, Хмурый. Умри, как мужчина.

Хмурый взял у Шанхая «парабеллум», сел на траву, в последний раз взглянул на голубое небо и, быстро приставив дуло к виску, нажал спусковой крючок. Раздался выстрел. Испуганные вороны стайей взлетели с сосен и, натужно каркая, стали кружить над поляной.

Воры расходились молча, не глядя в глаза друг другу. Мы шли вдвоем – Коля Длинный и я. Следом – Шанхай с Хитрым. Коля плакал.

– Вы далеко сегодня? – нагнал нас Шанхай.

– Поедем пить, – вытирая глаза, ответил Длинный. – Не могу я, Витя... Понимаешь, у него дома остались жена и ребенок маленький. Очень бедно живут... И не узнают даже, где его могила.

На душе было мутно. Мы доехали до Заставы Ильича, зашли в кафе и сидели там часа три... Столько я в жизни еще не пил. Но и водка не помогала.

Потом взяли такси и поехали в Малаховку на «блат хату». По дороге Длинный попросил остановить машину. «Сбегаю за сигаретами», – сказал он таксисту. Сам же зашел на почту и отбил телеграмму жене Хмурого. Обратный адрес решил почему то написать наш, малаховский. По заведенному ворами правилу сообщать кому либо адрес «блатхаты» было нельзя. Длинный хорошо знал, что рискует. Но жена Хмурого должна была известить нас о своем выезде, а другого надежного адреса не было.

Теперь нас спокойно могли накрыть. Наш воровской «закон» обязывал взять «попечительство» над семьей жертвы, павшей от наших рук, помочь ей не только в эту тягостную минуту, но и после не забывать.

Какое нелепое, лишенное всякой логики сочетание жестокости и милосердия. И кто только это придумал... А еще говорят, что неписанные «законы» сродни благородству дворян, берут начало чуть ли не от их «белой кости» и что в нас – «голубая кровь». Чушь все это.

...Никто из непосвященных так и не узнал о том, как Хмурый ушел из жизни. В том числе и его жена Лена, которой мы сказали, что он застрелился.

Лена пошла в милицию. Мы этому не препятствовали. Ее долго допрашивали, интересовались, кто прислал телеграмму. Она ответила, что не знает.

Лена, горячо любившая мужа, была убита горем. И ей очень хотелось похоронить его в Ленинграде. Мы помогли, заказали цинковый гроб и все оплатили. Но человека было уже не вернуть.

На душе у меня долго еще оставалась горечь.

Отход с размышлениями из сегодняшнего дня. «Воры в законе» и «политические».

Вор, нарушивший те из неписанных «законов», которые обязывали соблюдать «идею» равенства, быть справедливым по отношению друг к другу, не носить оружия, не утаивать хотя бы малую часть «выкупа», совершал, как считала «братва», беспредельный поступок.

Точный смысл, что вкладывали мы в это слово, передать трудно, но приблизительно его можно истолковать как поступок, не знающий меры, наглый, бессовестный. Потом, когда среди «законников» начался раскол, часть «отошедших» – воров бандитского толка – назвали себя «беспределом». Это было уже где-то в середине пятидесятых годов, и я, прошедший к тому времени через огни и воды, стал не просто свидетелем, но и участником ожесточенных баталий, которые «старые» воры вели с «беспределом».

Иван Александрович во время наших бесед «за индийским чаем» смотрел на все как бы сверху, обобщая известные ему факты как ученый. Я же, взявшись ему помочь, должен прежде всего излагать события, очевидцем которых мне довелось быть, не отступая от истины. Пусть сам решает, что пригодится.

Перебирая в памяти давно ушедшее, я вспомнил и о своей дружбе с «политическими» – заключенными, которые были осуждены по 58-й статье прежнего Уголовного Кодекса как «враги народа». Преданность «делу социализма», а вернее, тому, что Сталин и его подручные считали социализмом, вдалбливалась одурманенному народу необычайно искусно. Даже мы, воры, как порождение этого общества, были, хотя бы немного, но патриотами. И не случайно промеж собой «политических» называли «фашистами».

В лагерь под Астраханью пригнали меня по этапу из пересыльной тюрьмы на Красной Пресне, когда в первый раз судьба разлучила нас с Розой. Это и был первый в моей жизни лагерь.

Бараки стояли неподалеку от берега одного из рукавов Волжского устья. Этим и объяснялось, что труд заключенных использовали в основном для ловли и обработки рыбы. А может быть, так задумано было при строительстве лагеря.

Весной на сейнерах заключенные вместе с конвоем уходили в Каспийское море и не возвращались уже до конца путины; часть улова перерабатывалась прямо в море на плавучем рыбозаводе, остальную доставляли на рефрижераторах сюда, в поселок, и женщины заключенные засаливали ее в больших чанах или в бочках. Рыба была главным образом ценных пород: севрюга, осетрина. Обработывали здесь и паюсную икру. Работа тяжелая, многие надрывались, болели. А для государства труд был выгодный, дармовой – заключенным тогда ничего не платили.

Зимой «моряки» занимались ремонтом судов, чинили невода, заготавливали лед, покрывая его толстым слоем камыша.

Для «заблатненных» и «воров в законе», как и в других лагерях, был отведен отдельный барак, отгороженный от остальной территории забором. Я тоже попал в этот барак.

На ночь нас запирали, и заключенные были предоставлены самим себе. Первым, да и, пожалуй, единственным занятием была здесь игра в карты. Нас, молодых, настойчиво этому обучали. И еще – прививали воровские «идеи». Но когда начинался «сходняк», из барака выгоняли всех, кто не был еще «в законе». Даже проходившие «кандидатский стаж», и я в их числе, не имели права присутствовать на «сходняке». Не только из за того, чтобы соблюсти конспирацию. «Кандидат», находившийся в зоне, не должен был чем то себя скомпрометировать.

Во время картежных игр нередко возникали ссоры. Ставили по крупному, проигравший рисковал многим, напряжение у игроков было на пределе, и они теряли над собой контроль. А по воровским «законам» даже словесное оскорбление не могло оставаться безнаказанным.

Однажды во время игры вор по кличке «Косой» сказал что то оскорбительное своему партнеру Васе Косолапому, который, «убив карту», взял солидный куш. Обоим им было за тридцать, оба – в «законе». Косолапый предупредил Косого: «Брось хулиганить». Но тот, подогретый водкой, ударил его ногой в грудь.

Воры решили, не откладывая, провести сходку. Меня вместе с «кандидатами» («пацанами») отправили на улицу: «Если появится надзиратель – постучите». Мы знали: сейчас будут «резать» Косого.

Кончал его, по решению сходки, сам Косолапый. Когда мы вошли, Косой лежал на полу в луже крови.

Косолапому воры собрали деньги, дали курева. Он попрощался с нами и пошел на вахту – признаваться.

За убийство Васе дали десять лет лишения свободы – смертной казни в то время не было. Наш барак после этого разогнали. Молодых, кому не исполнилось еще восемнадцати, поселили к «политическим». Я тоже попал туда.

У «политических» в бараке было чисто. Сами они держались с достоинством, относились друг к другу уважительно. Казалось, что здесь совсем другой мир. Они много читали, играли в шахматы, шашки. На какое то время я тоже увлекся шахматами. Играть научил меня «политический», которого звали Дмитрий. Фамилия его была, если не ошибаюсь, Крицкий. Он работал электросварщиком и взял меня к себе учеником.

Крицкому было лет сорок, посадили его еще в конце войны на восемь лет. Когда он рассказал, за что – я вначале просто не поверил. В воинской части Дмитрий – опытный сварщик – работал на ремонте боевой техники. Однажды, разговорившись с сослуживцем, с похвалой отозвался о немецких сварочных агрегатах: у них, мол, они получше наших. Разговор услышал кто то из «трех людей» (а может, и сослуживец донес). Так и загремел Крицкий по 58 й статье.

Другие рассказывали, что погорели на анекдотах, чему мы тоже никак не могли поверить. Это сейчас многое стало ясно. А тогда не верилось, что за анекдот человека могут объявить «врагом народа».

С «политическими» «воры в законе» жили мирно. И не потому, что сочувствовали «врагам». Воры их боялись. Знали по опыту, что обижать их нельзя. А причина заключалась в том, что «политических» было много и держались они сплоченно, стояли друг за друга горой. Если поднимутся – разнесут в пух и прах любую нашу группировку.

Бывало, приходил в «заблатненный» барак кто то из «политических» с жалобой, что обидели их товарища. В таких случаях обидчику было не сдобровать, пусть даже он «вор в законе». «Блатные» спрашивали с него по всей строгости. Потому что случалось, когда после нанесенного оскорбления «политические» давали вору настоящий бой, выгоняли их за пределы зоны и больше в нее не пускали. Зона переставала быть «воровской» и даже «мужицкой».

И если потом «законник», которого изгнали из зоны, появлялся в другом лагере, воры учиняли ему допрос: как дошел ты до такой жизни, что «фашисты» выгнали? Тут же, как было заведено, собирали «сходняк» и определяли меру наказания. Одних резали, другим «давали по ушам» (лишали воровского звания), после чего вор мог жить только «мужиком». Вот почему с такой осторожностью относились мы к «политическим». Сейчас некоторые спецы, тоже якобы из «политических», пишут о том, будто администрация лагерей специально руками блатных терроризировала осужденных по 58 й статье. Не знаю, может, где и было, но я посидел в разных зонах и нигде такого не видел.

Эпилог. День рождения Лихого.

И снова я возвращаюсь в пятьдесят первый год. Самый, пожалуй, памятный в моей юности. В год, когда вышел из астраханского лагеря, первого в моей жизни, и, несмотря на запрет, оказался в Москве. Когда вместе с давними верными друзьями отметил свое совершеннолетие. Когда после вынужденной разлуки встретился с Розой Татаркой – первой своей любовью, чтобы вскоре вновь с ней расстаться, уже надолго. И, наконец, когда из «пацана», «кандидата» был официально произведен в «вора в законе», получив вместо пацанской клички «Малышка» вполне взрослую, выбранную мною самим.

Это были волнующие для меня минуты, ведь решалась моя дальнейшая судьба, которую я определил сам. В восемнадцать лет быть «крещеным» вором – случай редкий, а потому ожидал я возможных неприятностей, особенно со стороны старых, прошедших лагеря 30-х и 40-х годов, «паханов». Но все обошлось хорошо. Выступавшие воры сказали обо мне много хороших слов. У блатных ценились преданность, ловкость и простота. Все это, по словам «правивших речь», у меня отмечалось. Я даже и не подозревал, как меня изучали все эти годы.

После того, как рекомендовавшие дали за меня поручительство, мне предоставили слово, и я произнес с нескрываемой дрожью в голосе воровскую клятву: «Я как «пацан», вступая на воровской путь, клянусь»... Заканчивалась клятва перечислением кар, которые должны меня постигнуть в случае, если ее нарушу. Были там и такие слова: «век свободы не видать», «лягавым буду». Так я стал Лихим – кличку тоже утвердила воровская сходка. И частью этого воровского ритуала была гульба, устроенная «братвой» в Малаховке. Чтобы скрыть истинный повод торжества, его приурочили к моему восемнадцатилетию.

Гуляли с размахом. На «блатхате» у Ани собрались человек двадцать. В основном жулики, цвет воровской Москвы. Были здесь и Шанхай с Блюмкой, и Хитрый Попик со своей мамой, и балагур Володя Огород с улицы Осипенко, и Минька из Раменского. Был давний мой приятель Сеня, который находился в бегах – где-то в Кемеровской области оставил пятилетний «хвост» и сейчас жил по липовым документам. Приехала тетя Соня,

которую я считал своей второй матерью. И даже Костя, закадычный друг детства, давно «завязавший», откликнулся на телеграмму. Поздравить меня он приехал вместе с мамой.

Хозяйками гулянья были Роза и Аня. Девушки постарались, чтобы оно запомнилось. На праздничном столе – все, чего душа пожелает, даже свежие помидоры и огурчики, хотя на дворе май.

Все было отлично. Меня любили, окружали вниманием, обо мне трогательно заботилась самая красивая на свете девушка. Но мне вдруг стало немного грустно. Все здесь, конечно, свои люди, и многих из них я люблю и уважаю. Но нет никого из моих родных – ни родителей, которых сгноила война, ни сестры, ни братьев. А у меня самого пожалуй, единственного из тех, кто здесь собрался, – нет даже своего угла, ночью все время у чужих людей, хорошо еще, что не отказывают... Может, зря не послушался тогда Костю, не остался у них. Вижу по его грустным глазам, что он не только не завидует, а, скорее всего, меня жалеет.

Когда почти все приготовления были закончены и женщины стали накрывать на стол, Роза поехала за своей матерью. Через час к дому подрулило такси «Победа». В машине, кроме моей подруги, ее мамы и сестры Марии, оказался еще парнишка лет пятнадцати, которого я прежде не видел. Симпатичный, со вкусом одетый. Костюмчик кофейного цвета сидел на нем очень ладно – по всей видимости, был сшит на заказ.

– Не вздумай ревновать, – шепнула мне Роза. – Он еще мальчик. Но «трудяга» сильный, месяца три как со мной и с Аней «работает». Зовут его Гена. Поговори с Попиком – тот его хорошо знает.

Мы познакомились, и Гена – стеснительный, скромный парень – мне как-то сразу понравился. Он рассказал, что живет возле ЦДКА. Отец работает в милиции. («Не пугайся, он служит в ГАИ и про меня все знает».)

Заходим в дом. Здесь нас заждались. Кое кто был уже навеселе, Сеня с Минькой перекидывались в картишки.

– А вот и виновник торжества с невестой пожаловал! – Шанхай широким жестом руки пригласил нас к столу. – Может, заодно и свадьбу сыграем?

Но Розина мама по прежнему была непреклонна:

– Ну что ты, Витя, маленькая она еще. Вот через годик – так уж и быть, дам согласие на брак.

Обидно было, но что поделаешь: послушаться маму Роза не могла – татарские обычаи в их семье соблюдались строго. Целый год ожидания. Дождемся ли? Наша блатная жизнь так переменчива: неизвестно, что будет завтра.

На этот раз первый тост Шанхай предложил за меня, объявив, что с этого самого часа я уже не Малыш, а Валька Лихой. Меня обнимали и целовали, вручали подарки. Их было много. Сам Шанхай подарил мне красивый фужер из хрусталя, наполнив его вином.

– Пусть твоя жизнь будет такой же полной, а ваша с Розой любовь – столь же крепкой и сладостной, как это вино, – сказал он в своем духе: красиво и витиевато. И тут же, с улыбкой взглянув на свою жену, добавил:

– Как у нас с Блюмкой.

Все засмеялись, его тост прошел на ура.

Вторым заходом пили за тех, кто «там». Потом Шанхай попросил принести чистый бокал, налил в него водки и поставил рядом со своим.

– Помянем теперь человека, которого нет, но который всегда будет с нами. Федю Артиста. Душевный он был «босьяк», хотя смерть у него дурацкая.

И снова все молча выпили. Многие из нас знали, что Шанхай по прежнему навещал мать Артиста, помогал ей, чем мог, давал деньги. Такие, как он, свято блюли воровские обычаи.

Шесть с лишним лет прошло с того дня, когда он покончил с собой. Не хотелось бы сравнивать вещи, разные по сути, но раз уж такое сравнение еще тогда пришло мне на ум, приведу его и здесь. Вдумайтесь: со дня окончания войны с фашистами прошло примерно столько же времени, но если об инвалидах, участниках войны, не говоря уже об их семьях, общество постепенно стало забывать (льготы ввели намного позднее), то

об Артисте, как и обо всех, кто ушел от нас преждевременно, «братва» всегда помнила. И помогать их родственникам считала своим долгом.

Вечером, отправив Розину маму домой, мы пошли в Люберецкий парк, на танцверанду. Роза учила меня танцевать танго. Время от времени я уступал девушку своему новому другу. Гена оказался партнером куда более искусным.

Вышли на круг и Шанхай с Блюмкой. Но на площадке, как обычно, собралось много молодых воров, а Витю знали чуть ли не все. И как ни серчала его любимая женушка, потанцевать им шпанята не дали – каждому хотелось хотя бы словечком перекинуться со знаменитым вором, а то и получить от него совет.

Танцуя в Розой, я обратил внимание на мужчину лет тридцати двух, сидевшего на скамейке. Он ненавязчиво, но постоянно за нами наблюдал. Его лицо показалось мне знакомым «Что за фрукт нас пасет?» – тихонько спрашиваю у Шанхая. – «Опер» из Люберец. Да ты его должен знать». – «Корчагин, что ли?» – «Он самый. Тот, что когда то накрыл вас с Розой на «хате».

Когда, вдоволь натанцевавшись, мы присели на лавочку отдышаться, «опер» сразу же подошел к нам.

– Здорово, Малышка, – приветствовал он меня, усаживаясь рядом с нами.

– Чего тебе надо? – резко оборвала его моя подруга.

– А ты помолчи, Роза. У нас мужской разговор будет.

– Откуда ты меня знаешь? – взорвалась девушка.

– Я вас всех знаю, – отпарировал «опер».

И только тогда до нее дошло, что это «контора».

– Давненько из зоны «откинулся»? – спросил он меня.

– Да нет, недавно, – ответил я, нарочито растягивая слова.

– А теперь что – с Татаркой «тудишься»?

– Да нет, я сам по себе.

– Смотрите, чтоб на девяносто третьем автобусе я вас не видел. И вообще, вздумаете «кататься» по Люберцам – пеняйте потом на себя. Всех выловлю.

– Между прочим, могли бы и сегодня пощекотать вам нервы, – продолжал он. – Вы почему то забыли пригласить нас на день рождения. А зря, с милицией надо жить дружно.

Откуда они могли знать, что мы сегодня гуляем, – подумал я. Впрочем, что удивительного, люди ведь тоже работают, каждый из нас делает свое дело. Но двусмысленные намеки Корчагина пришлись мне не по душе.

– А этот птенец тоже с вами? – спросил «опер», указывая на Гену.

Но тут к нам на подмогу подошел Шанхай.

– Слышь, Корчагин, не порть людям сегодня настроение. Ведь ты и сам знаешь, что в вашем районе мы не «трудимся».

– Пошли, братва, – обратился он к нам.

Мы поднялись со скамейки.

– Ну, что ж, бывайте, – произнес Корчагин снисходительным тоном, как будто, отпуская нас, делал одолжение. – Надеюсь, скоро увидимся.

Мы вышли из парка. Настроение, конечно, было испорчено. День, который я мог считать самым счастливым в своей непутевой воровской жизни, начавшись так радостно, вдруг потускнел. Ну и везет мне – не успел «откинуться», и опять на хвосте уголовный розыск.

Видя, что все приуныли, Шанхай решил поднять настроение:

– Вы что, Корчагина испугались? И зря, без «дела» он ничего не сможет. А мы с вами – тертые калачи, один Лихой чего стоит.

Шанхай улыбнулся, похлопал меня по плечу. На душе стало немного полегче. Хитрый Попик тоже решил нас приободрить.

– Молитесь Богу, братья и сестры, и ни одна корчага вас не достанет, – пошутил он. – Но люди вы все неверующие, а потому, родненькие мои, призываю хотя бы отмыть грехи в купели. Прости меня, Господи, что кощунствую. – Он истово перекрестился. – Махнем ка завтра в Электропоселок на озеро. Воздух там сосновый, целительный. Ну как, идет?

– А что, неплохая идея, – откликнулась Роза. – Валентин, Гена, – вы согласны?

Предложение Хитрого приняли, хотя и без особого энтузиазма.

Ночевать отправились к Ане. Мы с Розой устроились в садике на стареньком топчане. Ночь была теплая, пахла буйно цветущая сирень. А у меня на душе, несмотря на близость любимой девушки, кошки скребли. Будто чувствовал, что недолго нам с Розой осталось гулять на свободе.

...А может быть, хватит вспоминать о печальном? Так много его осело в моей памяти, что в три четыре присеста не расскажешь. То, что припомнил я, беседуя с Иваном Александровичем, – лишь малая доля.

Но о чем же еще рассказывать, – светлые, радостные минуты в моей непутевой воровской жизни выдавались так редко, что можно пересчитать их по пальцам. Вокруг нас была другая, нормальная жизнь. Люди учились, работали, воспитывали детей... Но все это проходило мимо меня и таких, как я, связавших свою судьбу с преступным миром. Теперь уже поздно, годы ушли... Но и за то надо быть благодарным судьбе, что нашел в себе силы отречься от позорного прошлого и остаток дней своих проживу в покое.

* * *

Сизый и почти полсотни «живописцев» из его преступной группы – «фраера», «мужики», «солдаты» и прочие – скоро предстанут перед судом. Счет награбленному вели они не на десятки – на сотни тысяч, в том числе и на валюту. Иконы, церковная утварь, картины известных мастеров из музеев... Кстати, до разъяснения Ивана Александровича не знал я о том, что иконы и другое церковное имущество являются у нас достоянием государства, как было объявлено декретом еще в двадцатом году. А потому и судить воров будут по статье 89 УК РСФСР – за хищение государственного имущества.

Но вот что касается самого Сизого, по сей день у прокурора и судей есть сомнения – удастся ли вообще привлечь его к уголовной ответственности по этому делу за всю его организаторскую преступную работу. Ведь до сих пор, как уже говорил мне Иван Александрович, нет статьи закона, по которой можно было бы осудить мафиози лидера, стоящего над группой. Хотя именно он является и организатором, и разработчиком преступных идей, и вся «команда» находится фактически на его содержании. Собственно, статья то есть. Но ее можно применить только к тем, кто непосредственно участвовал в подготовке преступления. Сизый же – птица другого полета, это новое поколение деляг. Разве мы могли допустить такое безобразие и беспредел, чтобы кто то где то верховодил, выдвигал идеи, а ему за это отстегивали пиастры. Нет, у нас все было честно: работал, рисковал, – получи, нет – соси лапу. Конечно, как говорил Иван Александрович, Сизому можно поднатянуть и организацию хищений, но это несправедливо, ведь работа по управлению преступным сообществом и его сплочению куда опаснее.

Если удастся наказать Сизого, это, скорее всего, за махинации в кооперативе «Фото на память», в котором он был председателем.

Что же касается меня, Лихого, бывшего «вора в законе», то на этот раз мне повезло, причем совершенно неожиданно. Постарался все тот же Иван Александрович, который поставил перед прокурором вопрос о

прекращении в отношении меня уголовного дела в связи с отсутствием злого умысла. В своем представлении он написал, что при этом необходимо учесть, что подсудимый находился в крайне трудных условиях и, главное, не имел никакого представления не только о ценности, но и о характере предметов, которые ему предложили перевезти за вознаграждение. Представляю, каких усилий стоило Ивану Александровичу убедить прокурора, чтобы тот дал добро на мое освобождение из под ареста.

Ведь как там не крути – я рецидивист – личность уже сама по себе опасная. (Мы тоже читали учебники криминологии, знаем, что о нас пишут. Ох, много надумано, человека там не видно, одни цифры, на которых и пытаются строить умозаключения, далекие от жизни. А все потому, что сидят эти ученые безвылазно в своих кабинетах.) Конечно, к нашему брату снисхождения не жди, и суд традиционно запишет в приговоре: «После освобождения из мест лишения свободы на путь исправления не встал...» А что он знает об исправлении, если первый раз меня видит. Вон в Америке, читал я где то, – там при обсуждении тюремных вопросов присутствуют даже представители осужденных. А в одном из штатов судьи сами пошли на то, чтобы вместе с заключенными посидеть по два дня в камерах. Это уже что то да значит.

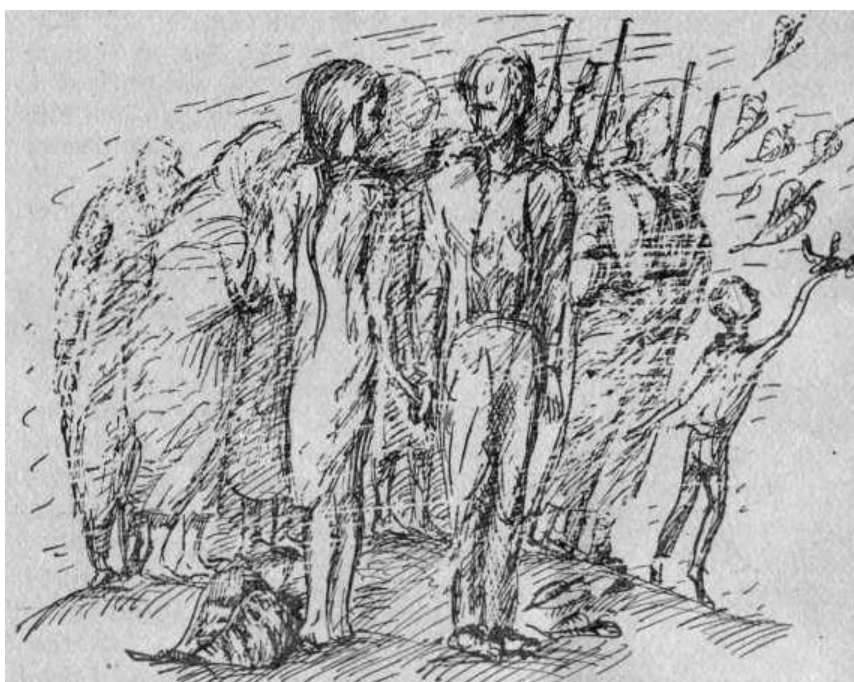
Ну, а если ты еще и особо опасный рецидивист (есть такое узаконенное звание, вроде как у Ломброзо – «врожденный преступник»), то только за одно это можешь получить чирик за простую кражу, даже если в кошельке лежала одна копейка. Вот тебе и прогресс в уголовном праве, о котором так много говорили в конце 50 х, имея в виду исключение из него понятия «опасное состояние личности». Сейчас мало кто знает, что это такое. А мы знали. Представьте, только по умозаключению какого нибудь работника юстиции (справедливости!) человека можно было отправить в лагерь или ссылку. Теперь по другому. Особо опасный рецидивист – это не просто человек, это еще и квалифицирующий признак: тот, кто совершил квартирную кражу со взломом, получит два года, а тот, кто особо опасный, и без взлома получит десять...

А ведь если по совести, я действительно не знал, что делал, хотя, конечно, должен был знать и в душе где то догадывался о нехорошем, тут у прокурора есть резон.

Одним словом, сочли, что в моих действиях состав преступления отсутствовал.

Иван Александрович обещал помочь мне с пропиской в общежитии и с работой. Он просил, чтобы свои рассказы я в дальнейшем записывал. Постараюсь по возможности это делать. Может быть, мои записи пригодятся ему, да и многим другим.

Историю преступности тоже надо знать – может, лучше разберутся в ее причинах и корнях. Ведь преступником никто не рождается.





Часть II. Записки Вальки Лихого.

Вместо пролога

Каким то чудом избежал я на сей раз отсидки. Если бы не Иван Александрович, «пришили» бы мне годов шесть, не меньше. А может Хитрый Попик за меня помолился, кто знает.

Освободившись из под стражи, при последнем нашем разговоре со следователем я пообещал ему подробно описать дальнейшую свою жизнь, рассказать о местах, где отбывал наказание, о других ворах, с которыми свела судьба на воле и в зоне. Если, конечно, все в жизни пойдет нормально.

Слово свое я сдержал. Ровно через год перед Иваном Александровичем, следователем и ученым, лежали четыре общие тетради, плотно исписанные моим корявым почерком.

Кафе на Сретенке.

Из Малаховки, где с весны пятьдесят первого дружная наша компания квартировала на Аниной хате, до Москвы ехали мы обычно в одной электричке. У Казанского вокзала наши пути расходились. Девушки – Роза и Аня – отправлялись «обслуживать» ГУМ, ЦУМ или Петровский пассаж. Ну, а мужская «бригада» – Хитрый Попик, Гена и я – «работали» чаще всего на оживленных торговых улицах или на общественном транспорте. Гена, которого мы шуточно называли Генычем, до недавних пор «трудился» с девушками. Но, заметив, что я приревновал его к Розе, своей Невесте, попросился к нам. Между прочим работать на пару с девушкой, к которой ты равнодушен, в нашей воровской среде было не принято: если кого то из нас брала «контора» (милиция), он ставил любимого человека под угрозу, а чувство своей вины всегда переживаешь болезненно.

Расставшись с девушками возле Казанского, мы условились, что пообедаем вместе в кафе на Сретенке. Было это после памятного в моей жизни дня, когда на «сходняке» меня, «пацана», объявили «вором в законе», присвоив кличку «Лихой». А после шумно отпраздновали мое второе «крещение», счастливо совпавшее с восемнадцатилетием. Гуляли четыре дня кряду, из них три – на берегу живописного озера в Электропоселке.

Опомнились, лишь когда карманы у всех оказались пустыми. Спели свою коронную: «Сливай воду, гаси свет – больше нет у нас монет». «Общака», как нынешние, не держали, и потому на другое утро надо было опять запрягаться.

Идем по Домниковке. Голова болит, нестерпимо тянет опохмелиться. Заходим в пивную, берем по бокалу пива, подсчитываем свои финансы: с грехом пополам наскребли рублей двадцать. Что ж, за «работу»! Направляемся к «Галантерее». Покупателей много, опыта нам не занимать. И в этот самый момент Хитрый замечает, что нас «пасут». Не иначе, бригада муровцев «села на хвост». Действуют осторожно. Двое держат наш «след» по ту сторону улицы, другие идут за нами, но на почтительном расстоянии. Надо что то решать.

Заходим опять в пивную, за кружкой пива, обмениваясь короткими фразами, намечаем план действий. Один из муровцев, повременив немного, открывает дверь, направляется к стойке, покупает пачку папирос. Нам становится немного не по себе, хотя и знаем, «без дела» они обычно не берут, но чем черт не шутит. Выходим из пивной. Первым – Хитрый, минуты две спустя – я с Генычем. Главное, мы их «выкупили» – узнали, а уйти – это уж дело техники.

Как и договорились, не торопясь направляемся к Щербаковскому универмагу. Здесь – стоянка такси. Хитрый Попик, который идет чуть впереди, вдруг ускоряет шаг, подбегает к «Победе» с зеленым огоньком, что то говорит шоферу и открывает для нас заднюю дверцу. Машина почти сразу срывается с места. Успеваем заметить, как засуетились, забежали муровцы. Доезжаем до Бауманской, пересеживаемся на метро и едем на Таганку. Там заходим в обувной магазин и, наконец, начинаем «работать».

Повезло нам, что называется, с ходу. В женском отделе заметили солидную, хорошо одетую гражданку. Сидит, примеряет туфли, а рядом с ней – ридикюль. Осмотрелись – «конторы» нет. И вот уже Геныч стоит возле той гражданки с сумочкой, а мы с Хитрым подходим, чтобы его «притырить» – прикрыть. Первым, прихватив ридикюль, уходит он, мы – следом. Все в ажуре, деньги у нас есть, и неплохие.

Бывает ли в такие минуты чувство страха? Иногда, очень редко, но бывает. Обычно в тот момент, когда «покупаешь» деньги. Или когда потерпевший «поведется» – заметит, что его хотят обокрасть. Тут на какое то мгновение сердце уходит в пятки. Главное, чтобы «жертва» не наделала шума. Тогда люди обратят внимание, тебя обступят, вызовут милицию.

В таких случаях главное – вовремя надавить «жертве» на психику. Намеками дать понять, что ты не один, а группы люди боятся. И в это время умело и тонко разыграть свое возмущение: «За кого вы меня принимаете, гражданка! Вам просто померещилось...»

Такой прием редко дает осечку. Но даже если все обошлось благополучно, мы сразу стараемся уйти, переехать в другой район. На всякий случай.

Хитрый Попик вообще очень осторожен, иной раз даже слишком. Но это всегда его спасает (наверно, и Бог вдобавок). Вот и сейчас, после удачи на Бауманской, по его настоянию, меняем район. Приехав на новое место, заходим опять в пивную, утолить жажду. Мы с Геной к кружке пива добавляем по сто граммов, Попик берет только пиво с бутербродом. Выпили, отдохнули малость. На улице огляделись – «конторы» вроде не видно. У опять за «работу».

В универмаге Хитрый примечает полную женщину с ридикюлем под мышкой, которая стоит в очереди возле прилавка.

«Мыло!» – тихо говорит он, обращаясь ко мне.

Я незаметно протягиваю ему безопасную бритву. Он пристраивается к женщине. На этот раз прикрываем мы с Геной.

Надо было видеть, как работает Хитрый! Лицо спокойное, деловое. «Пишет» осторожно, будто ювелирный мастер огранивает алмаз. Поднять глаза, тем более оглянуться, он просто не в состоянии – нужна полная сосредоточенность. Ясное дело, без заслона ему в таких случаях не обойтись. Но и мы знаем свое дело.

На этот раз ридикюль, который женщина прижимала рукой к себе, Хитрый начал «писать» с торца. Проходит несколько секунд, я, будто невзначай, протягиваю руку. И чувствую в своей ладони что то твердое. «Скорее всего, коробочка для драгоценностей», – мелькает мысль.

Благополучно выбираемся из магазина – конечно, порознь, сворачиваем за угол. Миновав несколько домов, заходим в подъезд. Сгорая от нетерпения, открываем коробочку. А в ней не часы и даже не брошь, – золотой крестик с изображением Иисуса Христа, выполненный из драгоценных камней. Воистину легкая рука у Хитрого Попика.

– Время обедать, – подсказывает Гена, взглянув на часы. – Скоро три.

Берем такси и, довольные своей удачей, едем в кафе на Сретенку.

В этом кафе нас знают все официантки. И встречают, как самых дорогих клиентов. Когда наступают часы обеда, в небольшие разгороженные на кабинеты залы открыт доступ только для воров и прочих жуликов. Здесь – воровской мир, где все друг друга знают и свободно можно говорить о своих делах. Роза, удобно устроившись за столиком в углу, меня уже поджидала. Рядом с ней была Аня. Закуску уже подали – столичный салат, возвышавшийся горкой над тарелкой, грибки маринованные. Рядом с моим прибором – отпотевший со льда графинчик водки.

– А мы уже здесь, дорогой, – улыбнулась Роза, словно обожгла бездонными, с поволокой, глазами.

– Извини, пришлось задержаться на «работе»...

– Нет, вы только посмотрите, как а я пара, – вперив в меня пронзительный взгляд, будто первый раз видит, громко прогоготала сидевшая за соседним столиком грудастая рыжеволосая деваха. Ну и дает, однако, Нина Вакула.

– Ты что, опять за свое, – стукнул по столу ребром ладони ее сосед. – Постыдилась бы глаза то пялить на молодых. Ну погоди, Нинка, дома я с тобой поговорю.

– Подумаешь, гроза да к ночи. Мое дело, на кого смотрю. Вот возьму и отобью у Розочки ее возлюбленного, что тогда скажешь?

Сидевшие рядом заулыбались Нинкиной шутке, однако сделали вид, что это их не касается. Все знали: карманник с Бауманской Женька Чох, сожитель Вакулы, с которым она вместе «работает», может приревновать ее аж к телеграфному столбу. Она же – что опять таки знали многие – его не любит и иной раз не прочь поиздеваться.

Еще за одним столиком сидят Дунай с Галой, соседкой и ровесницей Розы. Она, в отличие от большинства собравшихся, не ворует, а только сожительствует с вором. Дунай же «трудится» на «отвертке» – на вокзалах крадет чемоданы, сумочки, порты.

А вот появился в дверях Витя Шанхай, и не один. С ним – уважаемый всеми ворами «ветеран» Володя Золотой. Ему тридцать пять, хотя брюшко, на котором едва сходится ремень, и залысины, рассекающие черные, как смоль, кучерявые волосы, делают его гораздо старше и как бы солиднее. Еще одна характерная его примета – полный рот золотых зубов (отсюда и кличка).

Золотой – чистокровный еврей, и этого не скрывает. Очень любит свой национальный танец «семь сорок» и при случае всегда его заказывает.

Володьку московские воры хорошо знают. Его жена работает парикмахером в Столешниковом переулке. Большинство известных мне карманников предпочитают стричься у нее. И при этом немало дают «на чай». Но Золотого знают и уважают не только из за того, что его жена стрижет по моде и ловко моет голову. Его ум и находчивость, качества, которые даны далеко не каждому, не раз выручали из беды многих карманников, в том числе и меня.

С Золотым, как и с Шанхаем, все приветливо здороваются, молодые воры и «пацаны» почитают за честь пожать им руку. Золотой, едва заняв свое место за столом, встает и обращается ко всем, кто пришел на воровскую трапезу:

– Братва, если кого то обделили на «производстве» или оставили без «дрожжей», прошу не стесняться. Заказывайте, кто что пожелает.

Это не просто широкий жест щедрого дяди вора: мол, гуляйте, я угощаю. Так было в ту пору принято среди московской воровской «братвы». Если кто либо из карманников не смог ничего «заработать», он с подельником (или с «бригадой») все равно приходил обедать вместе со всеми. И заказывал из еды или напитков, что душа пожелает. В таких случаях платили за вас другие воры – те, у кого есть деньги. Не то, что нынче, – каждый за себя, в лучшем случае передадут на соседний столик бутылку «шампуни».

Такой был обычай. Однако чего тут греха таить: Золотой раскошеливался много чаще, чем остальные, хотя не думаю, что ему постоянно везло. Мне представляется, что шло это не столько от его натуры, сколько от желания поддерживать свой авторитет. Как сейчас бы сказали, из престижных соображений. Хотя в этом смысле опасаться Золотому было нечего. Умение постоять за «братву», найти выход из сложной ситуации, дать дельный совет постепенно, исподволь создало Володе в нашей среде вполне заслуженный авторитет. Стоило ему появиться среди воров, и он тут же оказывался в центре внимания. Его просили помочь и в тех случаях, когда плохо шли «дела», и в личном, семейном плане, устроить надежную «хату». В этом и было его лидерство.

Вот и сейчас мне, как и моим спутникам, стало приятно, когда Золотой и Шанхай предложили сдвинуть свой столик с нашим. Пользуясь случаем, я сел подальше от Нины Вакулы, между Розой и Шанхаем. Ни к чему было подливать масла в огонь – злить Женьку. В порыве ревности даже безобидную мою шутку он мог воспринять всерьез.

Принесли лимонад, пиво. Первую рюмку мы приняли под «Столичный» салат. И вот уже молоденькие проворные официантки подают горячее – кому солянку, кому харчо. Золотой, как обычно, с ними заигрывает: то подкинет соленую шутку, то обнимет за талию. Они в ответ лишь смеются – знают, на чаевых мы не экономим.

Потихоньку от всех показываю Розе крестик. «Ой, Валя, красота то какая, – восторженно шепчет девушка. – Подари мне, а?..» – «Не могу, Розочка, он общий, Геныч и Хитрый со мной сегодня «работали». – «Геныч согласится, а Попика уговорю», – настаивает Роза.

В это время Вакула, хотя и порядком захмелевшая, замечает, как мы разглядываем крестик, и тоже лезет посмотреть.

– Ох, что я вижу, братишки, – грохочет она на весь зал. – Глядите, как переливается...

Все дружно просят показать. Золотой, взяв крестик в руку, внимательно и со знанием дела его рассматривает.

– Ценная вещь, – немного подумав, говорит он. – Камни – чистый бриллиант... Если решите ее продать, занесите, пожалуйста, моей подруге. Она такие безделушки любит...

– Эх, Блюмка моя в роддоме, – вклинивается в разговор Шанхай. – Уж она бы уговорила вас, чтобы ей продали. Ну, раз уж ее нема, вопрос отпадает. Эта «троица» (он показал на нас) скорее всего подарит бриллиантовый крестик своей любимице Розе.

– Зачем так, Витя..., – девушка смутилась.

– А что? Ты, Шанхай, неплохой совет дал, – сказал вдруг доселе молчавший Хитрый Попик. – Конечно, этот крестик надо подарить Розе. Купим к нему атласную ленточку, и пусть носит на здоровье. А уж как он будет ей к лицу – слов нет. Вот скоро все пойдем в цирк и там увидите, насколько я прав.

Лиса притворно возмущается:

– Все молодые да красивые, а куда нам, старухам, деваться?

– Сиди, чучело, – грубовато одергивает ее Косолапый.

– Ну ты хорош, как я погляжу, – отвечает она сожителю. – Ночью, как спать ляжем, он меня и лисочкой, и лапонькой называет, а тут вдруг чучелом стала. Тьфу ты, черт плешивый...

Тут, протиснувшись между стульев, подлезает ко мне Вакула Нина и что то шепчет на ухо. Чох, ясное дело, заметил. «А ну пошли, выйдем», – кричит он ей. Все это видит Золотой.

– Ты, Женя, не вздумай хулиганить, – предупреждает он ревнивца. – Ударишь Нину, будем с тобой разбираться.

Чох, скрепя зубами, садится на свое место. Нина, чтоб не испытывать судьбу, идет к нему. Авторитет Золотого в таких делах непререкаем.

Едва Вакула от меня отошла, я беру Розину руку, а другой рукой кладу ей на ладонь драгоценный крестик. Она – в знак благодарности – при всех, неожиданно целует меня прямо в губы.

– Ах, бесстыдники, ночи им не хватает, – под общий хохот сидящих за столиками рокошет своим хрипловатым полубаском Лиса. – Дай волю, вы завтра и в трамвае, при всем честном народе миловаться станете.

– В трамвае не будем, а здесь все свои, можно, – храбро отвечает Роза.

Обед заканчивался. По просьбе Золотого официантки успели вкусно накормить пришедших к шапошному разбору «Пушкаря» – братьев Пушкиных. И даже принесли им по шоколадке. Девчата отлично знали, кого обслуживают, и на прощанье всегда говорили нам: «Ни пуха, ни пера». Отвечал им обычно Шанхай:

– Пух не нужен, перо тоже. Треба нам гроши да харчи хороши.

В 16.00 открывались после обеденного перерыва промтоварные магазины. Их в этом районе было полно. Рядом – обувной, два галантерейных. Чуть подальше – Щербаковский универмаг. Там «давали» в этот день телевизоры и была за ними большая очередь. Мы были немного навеселе, но, как всегда, выйдя из кафе, сразу настроились на «рабочий» лад и разошлись по «точкам». Начиналась вторая воровская смена.

Таких кафе, как наше, в Москве было в ту пору несколько – на Бауманской, на Заставе Ильича и в других местах. В каждом – своя клиентура, свои проблемы, но обстановка, отношения между ворами были примерно одинаковые. И в этом смысле кафе на Сретенке мало чем отличалось от остальных.

С нашим кафе, с «братвой», которая в обеденные часы спешила сюда из близлежащих районов, чтобы вкусно поесть и пообщаться в своем кругу, часок другой почувствовать себя свободными, раскованными, в моей судьбе связано многое. Как и с Золотым, чья мудрость, умение найти выход из любой ситуации и бескорыстная отеческая забота о своем «ближнем» меня, как и многих, выручала не один раз.

Если помните, я рассказывал Ивану Александровичу о том, как жестоко наказала нас с Розой судьба, когда по нелепой случайности ее взяли с поличным в ЦУМе. Их «замели» вместе с Аней, но Роза, как старшая, все взяла на себя. Таков был воровской закон, и она его не нарушила. Белолицую мою любовь суд приговорил к десяти годам лишения свободы.

После этого мне все стало безразлично. «Работал» как бы машинально, сделался злой, потерял чувство страха и всякую осторожность. Бывало, потерпевшая «шикатнется» – заметит, что подбираюсь к ее сумке или ридикюлю, а я ей: молчи, – и так посмотрю, что она слова сказать не может. «Не дури, сядешь», – замечая эти финты, одергивали меня и Шанхай, и Попик. – «Ну и что, – отвечал я им, – без Розы все равно жизни нет». – «Не горячись, поостынь малость, другую полюбишь». – «Не будет этого, никто мне Розочку не заменит»...

И очень скоро я чуть не стал жертвой своей неосторожности.

Как то мы с Генычем поехали на Домниковку. Оттуда, с Каланчевки, ровно в три отходил поезд на Серпухов. Народу на платформе много, можно «работать».

Замечаю трех железнодорожников в форменных гимнастерках. Вижу, как один из них, расстегнув нагрудный карман, достает пачку пятидесятирублевых. Незаметно толкаю локтем Гену: «Будем брать». Он вначале не соглашается: «Их трое, и все здоровые». – «Не дрейфь, «купим» за милую душу, – настойчиво убеждаю я. – Вставай рядом и держи «пропуль».

Начинается посадка. В вагон втискиваемся вместе с железнодорожниками и рядом с ними встаем в проходе. В руках у меня заранее купленный в киоске журнал. Не думая о последствиях, становлюсь сбоку от намеченной жертвы и приподнимаю журнал выше кармана с деньгами, будто собираюсь его читать. Расстегиваю пуговицу, двумя пальцами цепляюсь за пачку денег. Карман набит плотно, толстая пачка соскальзывает. И все же опыт берет свое: деньги у меня в руках.

Но положение у нас Генычем сложное. Дело в том, что мы находимся посередине вагона, а поезд все еще стоит на Каланчевке. Начнем отходить – железнодорожник может почуять неладное, проверит карман. И обнаружит, что пуговица расстегнута.

Однако надо действовать. Передаю деньги Генычу. Тот потихоньку начинает продвигаться к тамбуру, я за ним. До выхода остается совсем немного. И тут мы слышим крик:

– Задержите двух пацанов – они деньги вытащили.

Я протягиваю руку Гене, чтобы он опять передал деньги мне. Так не хочется, чтобы кореш погорел из-за моей беспечности. Решаю, что все возьму на себя. Купюры уже в моей руке, и мы оба добрались до тамбура. Но в это время чьи то цепкие руки хватают меня и Гену за шиворот. Оглядываюсь – здоровый мужчина в сером пиджаке, уйти от него не так просто. Гена весь побледнел и часто моргает глазами.

– Хам, отпусти ребенка, что ты его ухватил, – ору «серому пиджаку». Но тот крепко держит нас обоих.

Тогда я, развернувшись, со всего размаху бью его по лицу. От неожиданности он разжимает руки, но тут же дает мне сдачи.

– Ах, сволочь, ты еще и драться задумал... – и я с силой ударяю его по голени.

«Серый пиджак», корчась от боли, хватается за подбитую ногу. Окружающие, как водится, ни во что не вмешиваются. Гена же, ради которого я все это затеял, стоит на месте. Это меня бесит.

– Уходи! – кричу я ему не своим голосом.

Он на какое то мгновение заколебался, печально на меня посмотрел, словно прощаясь, и вышел из вагона (поезд все еще стоял).

Чувствую, что по лицу у меня течет кровь. Но мне сейчас не до этого: в тамбур уже успели протиснуться железнодорожники, все трое. Незаметно бросаю деньги на пол, подальше от себя. И начинаю выяснять отношения с «серым пиджаком». «За что, – спрашиваю, – ты мне разбил лицо? Вон, смотри, чьи то деньги валяются. А я тут при чем?»

В это время железнодорожники хватают меня за руки, кто то из них наносит удар «под дых» и я, корчась от боли, сгибаюсь в три погибели. Зовут милиционера.

– В чем дело, граждане?

– Избили, сволочи, – стараюсь я перекричать всех.

– Поделом избили, – поясняет «менту» моя жертва. – Этот пацан деньги у меня вытащил.

– Свидетели есть? – спрашивает милиционер.

Все молчат. Кроме, конечно, железнодорожников. Мужчина в сером пиджаке успел смотаться.

Меня ведут в линейный пункт милиции, который расположен здесь же, на платформе. Вместе со мной жертва и два свидетеля.

На Каланчевке вся милиция размещалась тогда в небольшой комнате, разгороженной надвое барьером. У входа – стол дежурного, за барьером – скамейки для задержанных. Камеры не было. Да и дежурили здесь всего два милиционера. Задержанных – об этом я уже знал – они держали в течение дня за перегородкой, а вечером, когда смена менялась, отвозили в отдел милиции на Курский вокзал.

Мне дали воды – смыть кровь, а после учинили допрос. «Черные гимнастерки» – жертва и два свидетеля – стали доказывать, что деньги вытащил я.

– Ничего я не вытаскивал, товарищ милиционер. Кто то у них украл, а меня ни за что избили, – пришлось заставить себя всхлипнуть и изобразить, в который уже раз, плаксивую мину.

– Не били мы его. Мужик ударил, которого мы и знать не знаем. И поделом – воровать не будет...

«Мент» составил протокол. «Черных гимнастеров» отпустили, а меня отправили за барьер. Видно, до вечера, пока не увезут на Курский. Вот и донахальничался. Теперь уж точно посадят.

Сам же на это нарвался. Слава Богу, хоть Гена слинял. У него в голове любовь, хорошую девку нашел. А вот у нас с Розой...

Сию раздумываю, опустив голову. И вдруг – знакомый голос, который сразу вывел меня из оцепенения.

– К Вам можно?

Поднимаю глаза. В дежурку, вежливо постучавшись, входит представительный мужчина в очках и с папкой подмышкой. Да это же Золотой. Я еле сдерживаюсь, чтобы не вскрикнуть.

– Да, да, заходите, – поднимается ему навстречу молоденький «мент» с рыжими усиками.

– Вы знаете, я потерял документы, – присев на предложенный ему стул, начал «повествовать» Золотой. – Скорей всего, оставил в поезде. Не знаю, что и делать. Решил зайти к вам, может быть, думаю, нашедший сюда их передал.

Говорил он этак растянуто, медленно подбирая слова. А сам за это время успел и со мной обменяться сочувственным, но по отцовски строгим взглядом и, как я понял, изучить обстановку.

– Нет, гражданин, документов нам никто не сдавал, – вежливо ответил Золотому дежурный. – Но вы не отчаивайтесь. Обратитесь в отдел милиции на Курском вокзале. Обычно сдают туда.

– Спасибо, очень вам признателен.

Золотой удалился, вежливо раскланявшись.

Это, конечно, была разведка. Проходит две три минуты, и в дежурку с шумом врывается Нина Вакула.

– Ради бога, помогите, – кричит она, задыхаясь (или делает вид?). – Там, на другом конце платформы, пьяный. Ко всем пристаёт и меня только что ударил.

– Не волнуйтесь, гражданка. – Тот, что постарше, бросает младшему: «Оставайся в дежурке», а сам неторопливо направляется, куда ему указала Вакула.

Едва он ушел, в дежурку вваливается целая ватага наших ребят – Шанхай, Чох, Валька Косолапый, Лиса, оба Пушкина. И прямо к столу, за которым сидит рыжий «мент». Все раскрасневшиеся, под градусом. Орут не разберешь что.

– В чем дело? – пытается урезонить их милиционер.

– Безобразие! – кричит Шанхай, разводя руками. – Средь бела дня...

– Тихо, граждане, рассказывайте по порядку, – пытается навести порядок милиционер, но его никто не хочет слушать.

Пользуясь суматохой, я перепрыгиваю через барьер, выбегаю из дежурки, но не бегу, а едва себя сдерживая, иду быстрым шагом к трамвайной остановке. И тут слышу, как кто то меня подзывает. Гена! Рядом с ним такси, дверца которого уже открыта.

– Скорей сюда, – машет он мне рукой.

Забираюсь на заднее сиденье. Геных садится со мной. «Победа» трогается. Тут замечаю, что впереди, рядом с водителем, командует парадом Хитрый Попик.

– Шеф, быстро на Сретенку. За скорость плачу вдвое.

Машина мчится во весь опор. На душе у меня приятно и радостно.

– Ну как, дружище? – оборачивается ко мне Попик.

– Нормально сработано, – улыбаясь, киваю я головой.

– Гене спасибо скажи. Если б не он... – Хитрый обрывает фразу, не желая раскрывать все карты при шефе.

Подъезжаем к «Щербакову» – так промеж собой называли мы Щербаковский универмаг. Попик останавливает машину, расплачивается с водителем.

– Ну, а теперь пошли в магазин.

– Зачем? – недоумеваю я.

– А ты, Валентин, на радостях, видно, забыл про свой фингал под глазом.

И вправду забыл. Теперь все понял – нужно подобрать для меня темные очки от солнца.

Примерил – все в норме. В очках я, кажется, очень даже симпатичный.

– Разглядывать себя, Валя, будешь потом. А сейчас – поспешим в кафе. Обед, наверно, уже остыл.

Я начинал догадываться, как было дело. А после, когда мы зашли в кафе и застали там всех, кто помог мне бежать из «ментовки», узнал о подробностях этой дерзкой операции. Когда Гене удалось смыться во время кипиша в серпуховском поезде, он случайно взглянул на часы. Было начало четвертого. Время, когда воры собирались в кафе на Сретенке. Кстати, если б у нас все закончилось удачно, мы тоже отправились бы туда обедать. Но он, конечно, думал сейчас не об обеде. Он смекнул: вора надо успеть рассказать, что с его корешем и подельником стряслась беда. Взял такси – и на Сретенку. Слушали его, сочувствуя, разводя руками. И только Золотой сразу же оценил ситуацию:

– Братва, не слезы лить надо, а действовать. Дежурка на этой Каланчевке левая, просто участочек. Думаю, Валентина мы выручим.

Он моментально разработал план, распределил роли. В кафе оставили «дежурить» Аню, а официанток попросили, чтобы они со столов ничего не убирали... Операция вместе с дорогой заняла каких то полчаса.

Встреча в кафе была бурной и радостной. Мне тут же налили «штрафного» – стакан водки. Осушил залпом, запив холодным лимонадом. Своих спасителей, всех до одного, хотелось обнять и расцеловать. Вот она, воровская наша солидарность. Но благодарить вора, даже спасшего тебе жизнь, было нельзя. Не допускал обычай. Считалось, что помочь в беде своему брату, если есть такая возможность, – это долг каждого. Так было примерно в те же годы записано в Моральном кодексе: один за всех, все за одного. Но если в обществе, к которому мы не принадлежали, все это оставалось словами, демагогией, то мы везде и всюду были ему верны.

А Золотому, за отеческую заботу, я, наверно, по гроб жизни буду обязан. Обнимая меня, он и в эту минуту оставался верен своему здравому рассудочному уму.

– Вот так то, брат Лихой, – журил он меня на правах старшего и спасителя, – говорил я тебе – не наглей, ты из за этой Розы совсем голову потерял. В тюрьму захотел? Успеешь еще – и «баланды» нахлебаешься, и «параши» нанюхаешься...

– Воры, – продолжал он, но уже держа речь перед всеми. – Если и дальше Лихой будет наглеть, обещаю вам, что набью ему морду по товарищески. Чтобы потом не было «Качалова»... Наши все дома, никого не повязали?

– Вроде все, – ответил Шанхай.

– Да разве ж такой «мусоренок» с нами справится, – восторженно запетушился младший из братьев Пушкиных. – Он, как увидел нашу братву, затрясся весь. Эх, и дурак я, надо было «фигурку» у него отстегнуть.

– А вот глупостей делать никогда не надо, – оборвал его Золотой. – И думать об этом тоже.

– Ты, Хитрый, – обратился он к Попику, – Лихого и Геныча вези сейчас же в Малаховку. Пусть отдохнут, отоспятся. И ни в коем разе Валентина на люди не выпускай, пока у него фингал не пройдет. Между прочим, загляни в аптеку. Говорят, бодяга помогает неплохо.

– Не беспокойся, Золотой, сделаю все как надо...

Тут в разговор вмешался Шанхай.

– Братва, – полушутливо, полувсерьез заметил он. – Отправляем «босняка» на бюллетень, а он ведь не член профсоюза.

И Виктор достал из бумажника сотенную.

– А ну, кто не жадный.

Такого еще не бывало, чтобы кто то не поучаствовал в складняке. Набрали в общей сложности тысячи полторы. С такими деньгами можно было не то что в Малаховку – на курорт ехать.

Теперь вы поняли, чем было для меня кафе на Сретенке. И кем был для нас Золотой.

Неделя, которую мы с Геной провели в Малаховке, вспоминается мне как сказка из детства. Мы купались в озере, загорали, вкусно ели в здешнем кафе, где отменно готовили окрошку. Казалось, чего еще желать?

Но вечером, когда мы вместе с его подругой Томой шли на танцверанду и когда я смотрел, как кружились они под звуки вальса, сердце опять начинало щемить: тоска по Розе не проходила. И я направлялся к буфетной стойке, чтобы хоть немного ее заглушить.

Фингал прошел. Мы с Геной снова начали «работать». И через несколько дней опять оказались на Каланчевке. При посадке на электричку я расстегнул у намеченной жертвы пиджак, потянулся за «выкупом». И в этот самый момент меня схватили за руку. Гена успел убежать. Как жалел я тогда, что мимо ушей пропустил мудрые наставления Золотого.

Недолго довелось мне на этот раз побыть на свободе. Потому, может быть, что рядом не стало Розы. А без нее и свобода не была для меня такой, как прежде.

На «сталинской» стройке.

Начальник лагеря – осанистый, с седыми висками, но державшийся молодцевато полковник – взял в руки кем-то услужливо переданный «матюгальник» и обратился к нам с такой, примерно, речью:

– Граждане заключенные! Вас привезли сюда не просто отбывать наказание. Вам, можно сказать, оказали честь трудиться на одной из крупнейших сталинскихстроек коммунизма – возводить новый промышленный город Салават. От нас с вами зависит досрочный пуск гиганта индустрии – нефтеперерабатывающего комбината и теплоэлектроцентрали, которая будет давать тепло и свет этому городу. Ударный труд у нас, как вы знаете, всегда в почете. И это не просто слова. Тем, кто будет хорошо трудиться и соблюдать требования режима, один день добросовестной работы приравнивается к трем дням назначенного судом наказания. Иными словами, срок своего заключения каждый из вас может сократить вдвое...

Плотно сомкнутые ряды зеков отозвались гулом, не скажу восторженным, но одобрительным. Для «мужиков», которых с нашим этапом прибыло большинство, возможность освободиться досрочно была реальной. Нам же, вору, все эти льготы были, как говорится, до фени. Разве кто-то сумеет прокатиться за счет тех же «мужиков», подкупить бригадира. В то время, однако, такое не очень практиковалось. Большинство из нас, «воров в законе», бравировало тем, что презирает любую работу.

Опустив «трубу», начальник сделал многозначительную паузу. А когда шум утих, продолжил:

– А теперь, взгляните вон на ту сопку. – Он показал рукой в ту сторону где на фоне голубого морозного неба, напоминая формой разрезанное пополам яйцо, выступала из под земли большая гора, безлесая, совершенно голая, одна посреди бескрайнего степного простора. Башкиры называют ее Шахан гора. Отсюда до этой сопки не так уж и далеко – километров тридцать. Но порядки там совсем другие, чем в нашей зоне. Это спецлагерь 0016. Добывают там известняк. Работают вручную, производство вредное. После работы – сразу в барак и под замок. Так вот я вас предупреждаю: кто будет пить, играть в карты, учинять рукоприкладство и прочие непотребные вещи – бензина на эти тридцать километров не пожалею.

– К ворам обращаюсь особо, – продолжал начальник. – Скрывать не буду: зона здесь воровская. Но если кто то вознамерится «мужиков» или еще кого обидеть – пеняйте на себя. Никаких денежных поборов, никаких «общаковых» касс. Наказание то же – на Шахан гору, в спецлагерь...

Башкирский морозец был крепким, сердитым, мы стояли на плацу, перед бараками, постукивая нога об ногу, чтобы окончательно не закоренеть. Но вот, слава Богу, начальник закончил свою напутственную речугу. Добавил лишь, что наш этап двадцать один день будет находиться в карантине и у каждого из нас есть время подумать, как здесь себя вести.

Из пересыльной тюрьмы на Красной Пресне на стройку привезли человек семьсот. Кроме нас, московских, карантин отбывали зеки из Уфы и Куйбышева – их было что то около тысячи. А в жилой зоне, где нас должны были поселить после отбытия карантина, проживало почти три тысячи человек.

«Воров в законе» в этой огромной массе заключенных было не так уж много. Даже после того как к здешним присоединились те, кто прибыл с нашим этапом, в том числе Полковник, с которым мы вместе сидели в камере и успели близко сойтись. Если учесть, что в зоне обосновалась многочисленная и сплоченная группировка «польских воров», а проще говоря – «сук», расклад был явно не в нашу пользу.

«Польские», о которых в разговорах с Иваном Александровичем мы упомянули вскользь, по случаю, в это время (напомню, что в Салават попал я зимой пятьдесят второго года) заявляли о себе все решительнее. Это были главным образом бывшие «воры в законе», исключенные на «сходняках» по причинам не столь уж существенным, а также примкнувшие к ним бандиты. А потому – считавшие себя обиженными зазря. Жить «мужиками» они не хотели и, объединившись, утвердили свою «идею», свои неписанные законы.

У них, как и у «воров в законе», основные дела решались на сходках, предательство каралось смертью. Так же по крупному играли в карты. Но были и существенные отклонения. Закон разрешал им работать бригадами, нарядчиками, поварами и подчиняться администрации лагеря. К тому же администрация их часто поддерживала, считая за положительное формирование.

С нашими у «польских» была постоянная и непримиримая вражда. Если «вор в законе» случайно – во время этапа или в зоне – попадал к ним, они под угрозой ножа заставляли его принимать их «веру» и в подтверждение этого целовать нож. Не подчинишься – зарежут. «Воры в законе» обходились с «польскими» еще суровее, не оставляли им никакого выбора – только смерть.

Когда я попал в Салават, во многих лагерях уже существовали так называемые «польские» зоны, которые мы презрительно называли «блядскими». К себе «поляки» никого не пускали. Были и «мужичьи» зоны, в которых все остальные жить не имели права. У мужиков в чести была «демократия» – все пользовались одинаковыми правами, никаких денежных сборов и «общаковых» касс. Хотя в «очко» играли и здесь.

Обо всем этом администрация знала и стремилась не допустить кровопролития. Когда прибывал очередной этап, начальник лагеря вместе с оперуполномоченным обычно объявляли вновь поступившим, что зона, к примеру, воровская и кто чувствует за собой «хвосты», пусть отойдет в сторону.

Так было и здесь. «Воры в законе» и им сочувствующие уже в карантине объединились и с первых же дней стали знакомиться с ворами из зоны. Те нас хорошо встретили. В кочегарке, где работал (точнее, числился, эксплуатируя «мужиков») вор Яша Одессит, устроили нам дружеский «прием» – с водкой и закуской.

Выпили, разговорились, пошли распросы об общих знакомых. Сам Яша, еврей лет сорока, отбывал десятилетний срок за карманку. Он нас сразу предупредил, чтобы, находясь в рабочей зоне, не связывались с монтажниками.

– Их здесь человек пятьсот. Вкалывают, что надо, и живут дружно, – объяснил Яша. – Так что с ними поосторожней. Очень не любят нашего брата.

– Пошли они к... матери, – сплюнул не в меру заядлый Полковник. – Зона наша, и точка.

– Ну, как знаешь, – спокойно ответил ему Яша. – Мое дело – предупредить.

Очень скоро нам пришлось убедиться, насколько он был прав. И причиной всему оказалась несдержанность того же Полковника. Впрочем, попади я или кто другой из воров в подобную заварушку, не даю гарантии, что все обошлось бы миром. Прощать обиды и терпеть унижения не в наших правилах.

Нефтекомбинат в Салавате – «сталинскую стройку» № 18 – возводили, что называется, всем зековским миром. (Как, впрочем, и Волго Дон, остальные «великие стройки коммунизма».) Размах был огромный. В смену выводилось из разных зон до пяти тысяч человек. В том числе и «фашисты» – политические, осужденные по 58 й статье УК, и даже женщины. Спецодежду не выдавали, работали, кто в чем приехал. Мы, воры, «пахать», естественно, не собирались, и щеголяли на стройплощадке в модных дорогих вещах. На мне, к примеру, было кожаное пальто и отороченная мехом шапка из той же натуральной кожи. Это не говоря уже о темно синем бостоновом костюме и хромовых сапогах. Один наш вид, как помню, у тех, кто «вкалывал», чтобы быстрее искупить вину и немного заработать на жизнь, вызывал отвращение. Хотя в то время мы принимали это за зависть, считая себя «белой костью». Одни лишь «сочувствующие» относились к нам с почтением и подобострастием, да и то скорее всего потому, что боялись.

Несмотря на нашу малочисленность, в карантинной зоне мы прочно держали власть в своих руках. Под контролем «законников» была и одна из жилых зон, в которую нас вскоре должны были перевести. Но стоило «вору в законе» выйти за пределы своих «владений», скажем, в рабочую зону, как все менялось. Особенно напряженные отношения сложились у воров с монтажниками.

В рабочей зоне была коммерческая столовая. Деньги на стройке выдавали на руки, и каждый мог пойти туда пообедать. Решили сходить в столовую и мы с Полковником. С нами отправились еще двое. На раздаче мы взяли полную кастрюлю котлет, чтобы отнести к себе в карантин, а после присели за столик похлебать щец. Полковник, сидевший у прохода, привстал, чтобы достать хлеб, и вдруг, замахав руками, грохнулся на пол. Это была работа монтажников: один из них, уловив момент, вырвал из под него стул. Монтажники загоготали. Полковник быстро поднялся с пола, лицо его, сделавшись пунцовым, перекопилось от гнева... «Кто это сделал?» – спросил он, заскрежетав зубами. – «А мы, папаша, народ не пужливый, – с ухмылкой ответил один из парней. (Как после узнали, «заводила» – старшой.) – Можешь считать, что я. Со смены идем, притомились – посидеть охота. Не то что вы, дерьмо...»

Не успел парень закончить свою витиеватую речь, как наш Полковник, схватив стоявшую на столе кастрюлю с котлетами, надел ее на голову своего обидчика. Тут же все мы поднялись и вышли на улицу. Монтажников было много, а нас всего четверо.

В тот же вечер к Яшке Одесситу пришла от них «делегация». Яшка сбегал за нами.

– Вот что, ворюги, разговор короткий. Будете заниматься «беспределом» – пеняйте на себя. Выкинем вас из зоны. Ша, точка...

Монтажники дружно поднялись и ушли. А у нас разгорелся спор. До сходимки в тот раз дело не дошло. И так было ясно, что если монтажники одержат верх, рабочую зону мы теряем. Узнают об этом в других зонах, где есть воры, нам не простят. К тому же для «общаковой кассы» был бы здесь неплохой привар. Агитировали «сочувствующих»: в случае чего, подниматься всем.

Несколько дней было тихо. Решили, что такая неопределенность не в нашу пользу. Достали несколько бутылок водки и отправились в рабочую зону «показать себя». Яша снова предупредил, что могут быть неприятности – монтажников много, и они дружные. Но для нас отстоять свою воровскую честь было важнее видимого благополучия. Отправились вшестером – кроме меня и Полковника, который так рвался в «бой», пошли татарин Абзай, Аркаша Москвич и еще двое, все – «воры в законе».

Стояли морозы, и в рабочей зоне монтажники наспех соорудили так называемую обогреваловку – легкую дощатую сараюшку. Посередине – железная печка, сваренная из бочки. Зашли в обогреваловку. Тепло: печь топится. И – никого. Достаем бутылку, другую. Выпили, согрелись малость. Вдруг – шум какой то. Приоткрыли дверь, видим – идет на нас ватага монтажников – с ломami да кирками. Ножи мы на всякий случай захватили. Но силы, ясное дело, неравные. Значит, будем держать оборону.

Легкий крючок, что был на двери, не выдержал даже первого натиска. Монтажники сорвали дверь, но в сарай мы их не пустили, став по краям с ножами наизготове. Тогда они, окружив обогреваловку со всех сторон,

стали проламывать ее ломами. Хлипкие доски поддавались легко, а сарайчик был настолько тесным, что нападавшие свободно могли нас достать ломами. Как ни увертывались, сопротивляться стало невмоготу. Абзаю пробили голову, мне поранили ногу. И уж совсем тяжело стало, когда кто то из монтажников ударом лома повалил печь. Горячие угли посыпались на пол, все окуталось дымом, начали загораться доски. Ломы ходили взад и вперед, и нам бы пришел конец, если б на вышке не заметили этот кипиш. Несколько коротких очередей из пулемета, и монтажников как рукой сняло. Побежали в свой карантин и мы. По быстрому начали переодеваться, ибо по пижонской одежде распознать нас было намного легче. Побросали дорогие пальто, шапки, нарядились во что похуже.

Когда начальство прибыло в зону, перво наперво приказали выйти из строя тем, кто хорошо одет. Расчет был верный: скорее найти зачинщиков и таким образом предотвратить в лагере резню. Умудренные опытом начальники хорошо усвоили, что воры обид не прощают. Но в лицо нас еще не знали и четверым из участников дерзкой вылазки, в том числе мне и Полковнику, удалось остаться в карантине. Едва начальство ушло, собрали сходку. Яша Одессит тоже пришел.

– Ну что я вам говорил. Не послушали...

– Погоди, не распускай нюни, – перебил Полковник. – Вору быть трусом не положено. Зона должна быть наша, и этим все сказано. Предлагаю заводилу монтажников порешить. И тогда они станут как миленькие.

– И тогда, – продолжал гнуть свое Яша, – всех нас тут же прирежут. Осторожность во всяком деле нужна.

– Не слышал я что то от воров о таком законе, – язвительно заметил Полковник.

Стали голосовать. У Яши нашлось несколько сторонников. Но большинство поддержало Полковника. Сам же Одессит воздержался.

Резать заводилу монтажников решили не мешкая, нынче вечером. С нами пошли на них «сочувствующие». Плотной стеной встаем у входа во «вражеский» барак, срываем дверь. Тут же монтажники гасят свет. А в противоположном конце длинного барака слышится звон разбитого окна: поняли, что ушел «заводила. Взыла сирена, и мы, не достигнув цели, начали отходить.

Едва вернулись к себе, вбегают офицеры и надзиратели, с ними для устрашения – взвод солдат. На этот раз меня застали врасплох – сидящим на нарах в бостоновом костюме, поверх которого было накинуто модное пальто. «Этого взять», – скомандовал офицер. Меня обыскали, но никакого оружия не нашли. И тем не менее – щелкнул замок наручников. «Вперед!» – Через вахтенное помещение меня выводят за пределы зоны. – «На колени!» – Опускаюсь на колени. Наручники так и не сняли, гады. Гляжу, следом за мной выводят Полковника, Аркашу Москвича, Кургузого.

С полчаса держат всех на снегу. Колени и голени заковенели, весь дрожу. Потом подъехал «воронок». Дорога одна – в ШЛП, штрафной лагерный пункт. Там сразу бросают в одиночку. Холодрыга такой, что зуб на зуб не попадает. Заснуть невозможно.

Утром приходят начальник режима и «опер». – «Выходи!» – Ведут нас всех в запретную зону, на самую полосу, что отделяет лагерь от внешнего мира. – «Держите лопаты! Копайте!» Полковник негодует: «Да ты что, начальник, с телеги свалился. Чтоб нам, ворам, копать запретную зону! Да за такое, если и не прирежут, то звания лишат, это точно. Нет уж, уволь, «мужиками» жить не желаем». – «В одиночку его, – коротко отрезает начальник. – На десять суток».

Вернулись в зону уже не карантинную, а жилую, и сразу нас окружили свои. Среди них – Валька Шипилов, тоже москвич. К его мнению здесь прислушивались. Выслушав во всех подробностях историю с монтажниками, он сделал вывод:

– Вы с Полковником правильно решили – «заводилу» давно пора зарезать. Он воду мутит. Где же это видано, чтоб в законной воровской зоне какие то там монтажники отказывались собирать деньги для нашего «общака».

– А с Яшки Жида, – продолжал Валька, за то, что лавирует и воздерживается на «сходняках», мы спросим... Не дай Бог нам упустить зону.

Умным оказался этот Шпилов, не случайно его здесь называли Дипломатом.

На другой день нас опять ожидала неприятность. Из управления приехали оперработники и следователи. И начали выяснять, как получился «шум» с монтажниками. Стали допрашивать нас поодиночке. Я все отрицал: ничего не знаю, в обогреваловке не был, в барак к монтажникам не ходил. Но на очной ставке один из монтажников показал, что меня он видел и что в рукаве пальто я, мол, держал нож.

Нас увезли в следственный изолятор, который был здесь же, за территорией стройки. Когда сажали в «воронок», заметил стоящие на путях товарные вагоны с прожекторами. В вагоны сажали людей. Говорили, что отправляют этап на Колыму – тех, у кого двадцать пять лет срока. Подумалось, что уж лучше сразу в этот эшелон, чем под следствие. Все равно кончится этим.

В следственном изоляторе нас рассадили по одиночкам. Деревянные нары, матрац, одеяло, подушка. Постель на день свертывалась – спать или отдыхать разрешалось только ночью. В соседней камере оказалась женщина. С ней мы перестукивались. Узнал, что она тоже воровка, в лагере топором зарубила нарядчицу.

Мне предъявили обвинение по 59 й статье УК с применением Указа 1947 года. Короче – двадцать пять лет за бандитизм.

В апреле состоялся суд. Когда стали зачитывать приговор – не поверил своим ушам: признаков бандитизма нет, статью 593 переqualифицировать на статью 74 УК РСФСР. Это значит – за хулиганство! Мне дали всего один год. Спасибо судье, хотя, как я теперь думаю, руководило им не только чувство гуманности и сострадания. Скорее всего – утвердившееся в то время в верхах и среди юристов мнение, что бандитизма у нас в стране социализма нет и не может быть.

Обрадованный, я перво наперво даже не обратил внимания на то, что из пяти лет, которые мне осталось провести в заключении, два года суд предписал отбывать в спецлагере. Не иначе, как предстоит знакомство с Шахан горой.

Под Шахан горой.

В каких только лагерях не пришлось мне отбывать срок. И в ШИЗО, в бетонные карцеры одиночки водворяли не счесть сколько раз. Но о таком, как здесь, знал разве что понаслышке. За крепким дощатым забором, доступ к которому преграждали три ряда колючей проволоки, за этими мрачными вышками, откуда зловеще поблескивали круглые диски нацеленных на тебя пулеметов Дегтярева, а чуть стемнеет – светили прожектора, ослепляя, делаая тебя еще более ничтожным и жалким, люди переставали ощущать время и пространство, опускались, зверели. Лишь немногим удавалось сохранить присутствие духа. И среди самых стойких были, как и в любой зоне, воры, которых поддерживала преданность «идее». Не скажу, что воровские законы во всем были справедливыми, с некоторыми из них многие из моих корешей, как и я, были несогласны, в душе считали их дикими, оскорбительными для нас самих. Но пока они существовали, каждый обязан был их соблюдать. Иной раз, правда, заставляли отступать обстоятельства...

На штрафном пункте нам приказали снять свои пижонские шмотки и переодели во все лагерное. Тут же появилась местная власть – начальник спецлагеря Давыденко – маленький шустрый мужичок в полушубке, державший свою форменную шапку под мышкой. Он был похож на Махно, каким показывают батьку в фильмах о гражданской войне. С начальником были два здоровенных «сагайдака» – надзирателя. Я перемигнулся с Полковником: к таким в лапы лучше не попадать.

«Махно» (как оказалось, в лагере еще раньше дали ему эту кличку) протянул нам какие то бланки:

– Подпишите.

– Погодь, начальник. Сперва почитаем, что там в твоей бумаге. Может смертный приговор состряпал.

– Ну, ну, погутарьте малость. Погляжу, как после запоете.

Бланки были стандартные, отпечатанные в типографии. В них говорилось, что в лагере 0016 запрещается ходить по зоне больше, чем по трое, за неподчинение – наказание и что в каких то еще случаях администрация вправе применить оружие, и прочее в том же духе.

Никто из нас не подписал эти бланки. Тут же по распоряжению Махно «сагайдаки» принялись за дело. Заломив каждому из нас руки за спину, они скрепили их наручниками. Мне сжали запястье с такой силой, что еле сдержался, чтоб не закричать.

– В карцер их всех, на десять суток, – процедил начальник.

Достав из под мышки шапку, он плотно насадил ее на свою большую не по росту голову и вышел.

В карцере – тесном бетонном склепе с голыми нарами, которые на день крепились замком к стене, – я почувствовал, как немеют руки, намертво схваченные за спиной. И что есть силы стал барабанить ногой в дверь. Наручники сняли. А вмятины от них остались надолго.

Отсидел свои десять суток. Ну вот, теперь можно и осмотреться какая она, спецзона. Столовая, санчасть – как обычно, в бараках. А где же жилье? «Сейчас увидишь», – ухмыляется надзиратель. Подводят к распластанному на земле длинному скату из побуревших от сырости досок. И только увидев перед собой каменные ступени, ведущие вниз, понял: дощатый скат – это крыша жилого барака, который сам весь в земле. Внизу картина еще более удручающая. За решеткой, которой отгорожен вход, – двухъярусные нары. Их три ряда, с боков и посередине, проходы узкие, не разойтись. В другом конце – единственное на весь барак окно, которое не дает света, поскольку упирается в земляной проем.

Таких бараков здесь несколько. Духота, смрад. Условия – почти как на царской каторге.

Днем, когда нас привели в барак, здесь не было ни души. Лишь после пяти вечера появились «жильцы» – злые, измученные. От рукомыльника, наскоро ополоснув лицо, покрытое едкой известковой пылью, – в столовую. Оттуда сразу – в барак, в подземелье. Щелкает на двери замок. До утра никому не выйти.

Знакомлюсь с соседом по нарам. Узнаю, что воров в спецзоне немало – сотни полторы. Он тоже «в законе».

– Неужто работаете, как «мужики?» – спрашиваю с нескрываемым удивлением.

– У Махно попробуй уклониться – жрать не даст.

– Так ведь «закон»...

– Обсуждали мы тут на «сходняке», – поняв меня с полуслова, отвечает парень. – Сам прикинь. Деньги с «мужиков» не возьмешь – за работу не платят. Да и ларька в зоне нет. Что же, по твоему, с голоду помирать. Вот и решили...

Я ничего ему не сказал, подумав, что обстоятельства и вправду бывают сильнее нас. Почему же тогда другие «неписанные законы», несправедливые по своей сути, а то и просто кровавые, несущие людям смерть, мы, вору, неукоснительно соблюдаем при любых обстоятельствах. Этот вопрос давно меня волновал. И ни разу, задавая его другим вору, самым авторитетным, не получал я вразумительного ответа. «Не нами заведено, не нам и отменять». Вот и весь сказ. В спецлагере тоже пришлось мне с этим столкнуться, когда людей резали так, между прочим, будто собак на мыло. Но – «по закону». Как тут возразишь. Проголосуешь против? Воздержись? Твое право. Но каким же ты будешь вором в глазах «братвы»? Раз тебе все простят, другой, а после сделают вывод и на сходке, но в твое отсутствие, примут решение. Вот вам и воровская наша демократия. Как говорится «Знай край, да не падай». С жестокостью наших обычаев я столкнулся и здесь, в спецлагере. Но об этом – когданибудь после.

А пока что впервые в воровской жизни пришлось отрабатывать свой хлеб, взяв в руки кувалду. После завтрака, в восемь утра – развод и вывод на объект. От лагеря до карьера рукой подать, всего метров двести. Хотя крутизна немалая. Проход огорожен колючей проволокой в несколько рядов, снаружи охраняют его солдаты с автоматами. Место голое, и убежать здесь просто невозможно.

Скалу заключенные «гложут» вручную. Лом, клин, кувалда, кайло – вот и вся техника. Добытые таким образом глыбы сбрасывают с горы, они катятся вниз, попадая на большую площадку. Там их разбивают на куски,

складывают в штабеля. А еще ниже этот бутовый камень обжигают и делают из него известь. Наша работа, естественно, самая тяжелая и самая пыльная. Нормы высокие, и мы чаще всего их не выполняем. Хотя иной раз воры вкалывают не хуже «мужиков». Не оттого, что хочется – знают, что надзиратели, хотя их рядом и нет, с территории лагеря буквально за каждым наблюдают в бинокли. Заметят, что отлыниваешь, и сразу – в карцер.

По утрам на разводе бывает обычно вся администрация во главе с Махно. В лагере остаются только больные, освобожденные врачом. Впрочем, медицине батька не всегда верит, и заболевших имеет привычку проверять сам. Прикажет выйти из строя, осмотрит со всех сторон, вперит в глаза человеку свои сверлящие зенки. И коротко, будто хлопок пистолета: «Симулянт. Шагай в Гору». Иной раз тут же, при нас, сделает замечание лагерному врачу: «Построже с ними, доктор, построже».

Самых авторитетных из нашей воровской братвы, ее, так сказать, цвет, Махно собрал во второй бригаде. Это те, кто осужден повторно за лагерные убийства и получил по двадцать пять лет. Больше всего среди них было доставленных сюда с другой «сталинской» стройки, которую именовали «великой», – Волго Донского канала. Помню москвича Саньку Карнаухова – балагура и плясуна, сочинявшего к тому же неплохие стихи, Васю Пентюха, Витьку по прозвищу «Маляр». Много их было. Сложись их судьба по другому, вышли бы из этих ребят неплохие люди. Многие были совсем молоды. Но обратный путь был им заказан. И это ожесточало, заставляя служить верой и правдой лишь воровской «идее». Для большинства из них, осужденных за убийство, ничего не стоило повторить свой «подвиг». Тем более, что расстрел в то время был отменен, а добавить срок могли опять же до двадцати пяти. Год больше, год меньше – какое это имело значение. Зато из кошмарного ада Шахан горы попадали они по меньшей мере лет на пять в тюрьму, где отбывать наказание куда легче. Вот почему за право убить иной раз возникала конкуренция. Нужен был только повод.

Однажды кто то из воров, прибывших с Чукотки, опознал в бараке двоих, которые, по его словам, работали там на администрацию: один был комендантом, другой – бригадиром. При этом немало насолили ворами. Нашелся еще свидетель.

Во время обеда состоялась сходка. Решили единогласно: зарезать этой же ночью. Как ни свирепствовали «махновцы», оружие для таких целей у воров было – из зубьев граблей, которыми сгребали щебенку, они изготавливали остро отточенные пики. Зубья закаляли, нагревая на костре, разведенном в пещере, отбивали кувалдой.

Охотников резать нашлось много. Выбрали двоих. Вечером им выдали из «общака» по тысяче – чтобы в тюремном ларьке могли отовариваться. Деньги собирали в лагере с «мужиков» и передавали на ШЛП с теми, кого сюда отправляли. Кстати, о том, какая сумма в «казне», каждому вору было известно, но, где эти деньги хранятся, знало человек пять, не больше.

Утром открывший дверь «сагайдак» увидел возле решетки два трупа.

– Опять убили, – с привычным хладнокровием констатировал он. – Давайте ножи.

Ему протянули через решетку два штыря.

Прибежали начальник лагеря и вся администрация.

– Сволочи, – стал кричать Махно, размахивая короткими ручками, – друг друга режете. Ну ничего, скоро пыл ваш поуасмирим. Вот вот закон выйдет: за убийство – расстрел.

Убийц забрали, трупы увезли. Настроение – гадкое. Опять, в который уже раз, задумываюсь о жестокости, несправедливости наших «неписанных законов». Пришла в голову и такая мысль. Вот мы порешили людей за то, что они работали на администрацию. А сами? Сами ведь тоже нарушаем воровской «закон», который запрещает трудиться. И нарушают его не кто нибудь, а самые авторитетные воры, зная, что в иных условиях их за это лишили бы воровского звания. Значит, если нас покрепче скрутить да прижать – полетят все «законы» к такой то матери? Если рассудить, так оно и есть.

... На работе устаешь. Норму выполнить почти невозможно. А не сделал – Махно сажает на пониженный паек. Ходим полуголодные, хлеба – и то не хватает. Воры настроились объявить голодовку. Сходку не созывали, все и так согласны. Надо лишь договориться между собой, когда начнем.

А тут – еще два события. Во первых, опять убийство. Из тех, что можно назвать картежными. (Сколько раз был я их свидетелем!) Во время игры Мишка Агами ударил пацана ногой в грудь. Тот промолчал. А наутро воры ему сказали, что если простит обиду, то нарушит обычай, и «вором в законе» ему никогда не стать. Агами в тот день положили в санчасть. Во время обеда молодой вор вошел в санитарный барак. В палате, где лежал его обидчик, никого больше не было. «Ты что?» – встревоженно спросил Агами. Вместо ответа пацан вытащил из за пояса штырь, что есть силы вонзил Мишке в сердце и выбежал из палаты. Агами с торчащим в груди штырем успел лишь дойти до двери и рухнул на пол. В жилом бараке пацан взял приготовленные для него деньги – тоже тысячу и пошел сдаваться. Он чувствовал себя героем – не посрамил воровской чести.

Другой случай, о котором я хочу рассказать, к счастью, обошелся без кровопролития. Как то летом нам привезли кино. Смотрели, как обычно, в столовой. Когда сеанс кончился и мы вышли на улицу, уже темнело. Вдруг на вышках загрохотали пулеметы, над зоной повисли осветительные ракеты. В чем дело? Побег? Да, точно. Парень лет двадцати, выйдя вместе со всеми из столовой, направился к умывальнику, который был расположен в нескольких шагах от запретной зоны, подбежал к колючей проволоке, накинул на нее заранее приготовленную телогрейку. Резкий рывок, и вот он уже под вышкой с пулеметчиком контролером. Осталось преодолеть высокий деревянный забор. А тут как раз было уязвимое для охраны место: поставив вышку, забыли протянуть поверх забора колючую проволоку. Парень, что есть силы прыгнул, ухватился за забор руками, подтянулся. И вот он уже на свободе! «Стой, стой!» – у пулеметчика, который над ним, в этом секторе мертвая зона. Соседняя вышка на горе. Пулеметчик, который находится там, стрелять боится, так как может попасть в солдата на первой вышке. А парень уже пробежал метров сто. И лишь тогда по нему открыли огонь – из двух пулеметов сразу.

За зону побежала вся администрация и врач в том числе. Думали, что парень уж лежит подкошенный. Как же все были удивлены, и мы в том числе, когда выяснилось, что он все таки убежал. Кругом степь, до реки Белой – километров пять, не меньше. Нашли лишь тапки – один неподалеку от зоны, второй возле речки.

Дерзкий оказался парняга. «Вором в законе» он не был, сидел за «хаты» – квартирные кражи. Рассказывали, что это второй его побег со стройки, первый совершил из общей зоны. Несколько месяцев гулял на свободе, а взяли опять за «хату». Когда парень находился с нами в спецзоне, многие, в том числе и надзиратели, считали, что он не в своей тарелке: еще бы, если с горы и на гору всякий раз бегал, как ошалелый. «Яйца у тебя, видать, чешутся», – подшучивали заключенные. Ответом он обычно не удостоивал, улыбнется лишь иногда. А сам между тем тренировался.

Этот побег, убийства, которых за короткий срок было совершено уже несколько... Авторитет у нашего «батьки» перед высоким начальством наверняка пошатнулся. И мы хорошо рассчитали, именно в этот момент решив начать голодовку. Промедление, как говорил вождь, смерти подобно.

Утро. Как обычно, команда: «Подъем!» Но на этот раз никто не поднимается. Не только в нашем бараке, но и во всем лагере. И все молчат. Администрация засуетилась, пытается нас «привести в чувство». Но на угрозы и уговоры мы не реагируем. В зоне мертвая тишина.

Часов в одиннадцать приходит Махно и начинает нас уговаривать (как же это на него не похоже!):

– Ребятки, давайте по хорошему. Так и быть, свой приказ я отменю – на пониженное питание сажать никого не буду. Всем, кто будет работать, дам большой паек. Давайте по хорошему.

И снова в ответ молчание. Отказываемся от еды и на второй день. А на третий приезжает большое начальство из Уфы. Начали по одному вызывать нас на беседу. Пригрозили, что применят статью за саботаж. Набили битком штрафной изолятор. И все таки кое чего своей голодовкой мы добились.

Баракы стали запирались только на ночь. В спецзоне открыли ларек, где можно было отовариваться. Да и наш труд стал полегче: на добыче камня начали применять взрывной способ. Но пострадать за все эти блага кое кому пришлось. Человек сто отделались, правда, легким испугом – годом тюремного – заключения (которому большинство только обрадовалось). А на восемнадцать заключенных, которых причислили к зачинщикам, завели уголовное дело – им предъявили обвинение сразу по двум статьям УК, за бандитизм и за массовые беспорядки. Полковнику повезло – ушел в «крытую» (тюрьму). Я же угодил в число этих восемнадцати.

На следствии, как обычно, все отрицал: ничего не знаю, никого за голодовку не агитировал.

Март пятьдесят третьего. Сiju в следственном изоляторе. Однажды выводят на прогулку. Что это? Надзиратели сами не свои, чуть не плачут. Сталин умер. У нас, зеков, ко всему своя мерка: значит, будет амнистия. Ждем Указа. Все верно: освобождаются те, кому был определен срок до пяти лет. Я мог бы выйти на волю. И Витька Маляр, и Карнаухий, и Трактир Юрка... Но как выпутаться из этого дела? А суд назначен аж на сентябрь. Адвокат твердит мне: раскайся во всем и пойдешь на свободу. Поплачься, скажи на суде, что ты сирота. Судья, мол, учтет.

Восемнадцать дней шел процесс. Я все сказал, как учил адвокат. Чувствую, что и воры, которые постарше, стали нас, молодых, выгораживать. Эти, мол, мелюзга, не «в законе», что старшие скажут, то и делали. Им подыграл адвокат. «А почему они должны были поступать именно так?» – спросил он кого то из старших. – «Потому что мы воры, и наше слово для них как приказ. Откажутся – им не сдобровать». – «Вы что, за непослушание и убить могли?» – «Знамо, могли. Если кто то из них пошел бы и заложил нас администрации – подстрекают, мол, к голодовке, мы бы тут же его порешили». – «Вот видите, товарищи судьи, в какую ситуацию попал мой подзащитный. Шел он на все под страхом смерти», – заключил адвокат.

Зачитывают приговор. Оставляют статью 592 – пять лет за массовые беспорядки. Опустили головы. Но... Судья продолжает читать, и наши лица светлеют. Чувствую, как на глазах от радости проступают слезы. В связи с Указом об амнистии нас, шестерых, суд освобождает от наказания.

Радость, правда, омрачена тем, что воры постарше, которые нас собой прикрыли, осуждены на двадцать пять лет лишения свободы, из которых первые десять лет будут находиться в тюрьме.

И все таки у нас, молодых, в подобных случаях своя рубашка всегда ближе к телу. Тут уж ничего не поделаешь. Свобода, и этим все сказано.

Конвой от нас отошел. Адвокат жмет мне руку. Умный седенький старичок, которого так и хочется расцеловать. Я прошу у него домашний адрес, мол, с меня причитается. «Ничего мне не надо. Я исполняю свой долг. Главное, чтобы это послужило тебе уроком на всю жизнь. Будь человеком, отойди от этих зверей».

Вот уже на руках и справка об освобождении – снимаются все судимости, никаких ограничений. Не верится, что это не сон. В Уфе сажусь на поезд. Скоротать ночь, и завтра – Москва!

Опять в Москве.

О встрече с Розой все эти годы мечтал, как о чем то несбыточном. Здесь ли она? Помнит ли? А может, нашла другого?

От Казанского вокзала, куда прибыл поезд, до ее дома – рукой подать. Нажимаю кнопку звонка. Сердце вот вот выскочит из груди. «Кто там?» – слышу знакомый голос. Дверь открывает сама Роза. Повзрослевшая, она стала еще краше. Несколько мгновений мы смотрим друг на друга молча. А потом – объятия и долгий поцелуй.

Ее мать стала совсем старенькая, старшая сестра почти не изменилась.

– Успеешь, Роза, с ним наласкаться. Дай нам то парня обнять, – ласково прижимает меня к себе Розина мама. – Ой, Валентин, какой же ты худой, кожа да кости.

– Хозяйское, видно, душа не принимает, – отшучиваюсь я.

– Что же, будем тебя откармливать. Своим, домашним.

Мы с Розой сидим, обнявшись, на кушетке. Мать и сестра суеются, накрывают на стол, ставят графин с водкой.

– Где задержался, дорогой мой? – глядя меня по волосам, спрашивает Роза. – Амнистия ведь давно вышла. Я тут с ног сбилась, лишь бы хоть что то о тебе узнать. И у Хитрого, и у Шанхая была, и даже у Золотого. Как в воду канул. Думала, убили где.

– Не обижайся, девочка. Не мог я раньше. И даже написать тебе не было никакой возможности.

– Так я уж и поверила, – обидчиво оттопырила Роза свои пухлые губы.

– Не веришь? На, посмотри справку. Я потом все тебе расскажу, как было.

– Верю, милый, верю, – прервала меня Роза. – Только уж больно истосковалась я...

И, не обращая ни на кого внимания, она крепко впилась в меня губами.

И все опять закрутилось, как в старом фильме, если не считать, что его герои с годами немного повзрослели и изменились.

Словно братья родные встретились мы с Геной – Генычем. У него дома на стене увеличенная фотография, где мы с ним сняты вдвоем, совсем еще мальчишки. «А разве, Валентин, мы с тобой уже старые. Тебе всего двадцать, у меня же, заметь, только усы пробились, – тараторил мой закадычный друг. – У нас все еще впереди». Знал бы он, какая трудная и колдобистая дорога ожидает и его, и меня в этой жизни, вряд ли вздумал бы так шутить.

Еще когда ехали к Гене, Роза сказала, что личная жизнь у моего друга не сложилась. Тома стала ему изменять. Не выдержав, Геныч с ней поругался, и их роман закончился. «Ничего, он парень видный, один не останется, – обняв меня, улыбнулась Роза. – Только ты постарайся при встрече с ним об этом не говорить. Томку он любил, а рана свежая».

Какая же ты у меня умница, Роза, и какая чуткая, тонкая. Трудно представить, что два года по зонам мыкалась.

Роза наклонилась за чем то ко мне, отчего рукав платья приподнялся, обнажив запястье, и только сейчас я заметил наколку на ее руке. Две фиолетовые буквы, между которыми знак сложения: P+V.

– Розочка, что это?

– Какой же ты, мой малыш, несообразительный. Ты да я, да мы с тобой. Вот и весь сказ.

– А это – наша общая память, – Роза достала из сумочки крестик на золотой цепочке – тот самый, что с общего согласия своих поделщиков, Хитрого и Гены, я подарил ей в кафе на Таганке. – Сберегла, как видите.

И она надела крестик на шею. «Сувенир» давнишний, а потому особой боязни его носить не было. Хотя в нашей практике всякое случалось.

– Ну, раз уж о талисманах заговорили, тебе, Геныч, я тоже мог бы показать вещь, которая все это время при мне была. Помнишь, рубашку свою ты мне прислал в Таганку?

И мы еще раз обнялись с ним крепко, по мужски.

Отметить мое возвращение решили у Ани в Малаховке. Аня была уже замужем. Муж ее – «вор в законе» Слава по кличке «Зверь», молчаливый, немного угрюмый – при первой встрече разглядывал меня с любопытством. Словно изучал. После я понял, почему. Он не был, как я, карманником, занимался кражами из квартир либо «по случаю» брал сейфы в небольших учреждениях. И вот, когда за рюмкой водки язык у Славы немного развязался, он решил высказаться по поводу своего и нашего ремесла.

– Не возьму в толк, за что только вас, «щипачей», в тюрьму сажают. Украдете несчастную тысячу, и пять лет за нее сидите. Стоит ли овчинка выделки!

– У каждого своя профессия, – ответил я ему. – Попробуй, к примеру, в автобусе вытащить у «клиента» бумажник. Не сможешь, здесь особый навык требуется. И даже талант.

– А я и не собираюсь по мелочам пачкаться. На десятки тысяч счет веду, – заносчиво твердил захмелевший Зверь.

– Каждому свое. – Я не стал с ним спорить. Не хотелось мне омрачать душевное, мирное застолье, о котором на Шахан горе столько мечталось. Хотя в одном был я со Славкой согласен. Кража краже, конечно, рознь. И к нам, карманникам, закон чересчур суров.

Сам он, между прочим, был не просто искусным «домушником», но и умел неплохо пристраивать краденое. Сбывал он его торгашам, которых в Малаховке обосновалось немало. Такса – половина государственной стоимости.

... Через неделю я получил паспорт. Прописался в Малаховке, у незамужней женщины с двумя детьми, по той же улице, где жил Хитрый Попик.

Его я, конечно, навестил.

– Ну как, Валентин, твои дела? – после теплых объятий спросила тетя Лена, мать Попика. – Похудел ты больно.

Вместо ответа я показал ей паспорт с пропиской.

– Это уже дело, обрадовалась за меня тетя Лена. – Вот если к тому же завязать надумаешь, совсем хорошо будет. Или опять придется мне посылки носить в тюрьму?

Хитрый, услышав ее слова, от души рассмеялся.

– Ну, заливает, прости Господи...

– Что ржешь, как сивый мерин, – отчитала его мамаша. – Дружок то твой уже насиделся, знает почем фунт лиха. А ты – погляди на себя, какую морду то наел. Смешно ему. Попадешь туда, волком взвоешь.

– Не пугай, маманя. Попадем – отсидим, не я первый. Так ведь, Валентин?

«До чего же везучий он, этот «божий человек», подумал я. – Аж завидки берут. Столько лет воровать и как с гуся вода. А тетя Лена в чем то все же права».

С Розой в эти дни мы почти не расставались. Как то вечером заглянули в Малаховский парк, с которым столько воспоминаний было связано. И, как нарочно, опять встречаем здесь Корчагина из угрозыска.

– Что задержался? – приветствовал он меня вопросом. – Дружки твои уже давно на свободе. А кое кого по новой посадить успели. Сам то ты как, завязал?

– Обижаешь, начальник. Как говорится, все в прошлом. Вот и Роза может подтвердить.

– Начальство словам не верит, – улыбнулась моя спутница. – Ты лучше покажи товарищу Корчагину паспорт с пропиской.

– Не надо, верю, – остановил он мою руку, потянувшуюся было за документами. – И жду, когда пригласите на свадьбу!

– А правда, Роза, не пора ли нам подать заявление в загс? – спросил я, когда отошел «опер».

Считал, обрадуется, кинется мне на шею. Ответ же любимой девушки меня ошарашил:

– Думала я об этом, Валя, – Роза дотронулась до моего плеча и немного помолчала. Не та у нас с тобой «профессия», чтобы друг друга связывать на всю жизнь какими то обязательствами. Сегодня мы вместе, а завтра – неизвестно что. Не обижайся, дорогой, о тебе же забочусь. В общем, ни к чему он нам, загс. И без него жить неплохо.

От грустных размышлений Роза почти незаметно перешла на кокетливо игривый тон, как это умеют женщины. Я сдался и игру принял.

– Ну, тогда пошли.

Мы начали жить отдельно, своей семьей. Но что это была за жизнь. Сегодня на одной квартире, завтра на другой. Старые связи, старые друзья. Нет, не вырваться из этого водоворота.

... Примерно в это время со мной произошел случай, который запомнился на всю жизнь. По утрам, когда народ ехал на работу, я обычно не терял времени даром. И не только я. В часы «пик» у большинства карманных воров была «напряженка». В этот раз мы с Пушкиным «держали трассу» на 93 м автобусе. Наше внимание привлек хорошо одетый элегантный средних лет мужчина. Стоял он в проходе ближе к передней двери, и,

поработав локтями, я оказался рядом с ним. Осторожно ощупываю карман: деньги, чувствую, небольшие, но решил «брать». Не помешают, а риска почти никакого.

«Покупаю», передаю напарнику. Мужчина на мои действия никак не отреагировал, даже не повернул головы. Осталось от него отойти и выйти на первой остановке. Подъезжаем, открываются двери. Мы с Пушкиным выходим. И надо же этому быть: мужчина, который по всем признакам выходить не собирался, в последний момент спрыгивает со ступеньки вслед за нами. И быстро подходит ко мне.

– Молодой человек, не уходите, мне нужно с вами поговорить.

Чувствую что то неладное. Сердце забилось часто часто. Неужели заметил? Но карман то он не прощупывал. И стоял молча. Тогда что же?

Останавливаюсь, поскольку бежать уже поздно. Мужчина неторопливо достает из кармана «ксиву». На корочке золотые буквы: КГБ (или МГБ, не помню).

– Отдай мне деньги, парень, – не повышая голоса, говорит он. – Их там немного, не разбогатеешь. А этим делом брось заниматься, очень советую. Иначе пропадешь.

От такого обращения я просто опешил. До того было непривычно. У человека вытащили деньги, а он не шумит, не ведет в милицию...

– Извините, – отвечаю ему, приходя в себя, – но ваших денег у меня уже нет. Вот, возьмите эти...

Достав из кармана бумажник, протягиваю ему несколько десятирублевых купюр.

– Не надо, – отстраняет он мою руку. – Подумай лучше о том, что я тебе сказал. Знаю, опуститься недолго, а вот стать опять человеком куда труднее. Но все же постарайся. Из тебя, я вижу, человек получиться может.

Подошел следующий автобус, комитетчик сел и уехал. А я продолжал стоять, переваривая необычную эту историю. Забыл даже о том, что где то поблизости поджидает Пушкин.

– Ты чего? – Его вопрос вывел меня, наконец, из оцепенения. – Думал, этот мужик тебя к «мусорам» потащит. Гляжу, отошел. И чем ты ему так понравился. Может, слово какое знаешь? Так научи.

– Нашел, когда шутить, Пушкаренко. Тут такой случай, что и во сне не приснится...

И я рассказал корешу о том, как поступил со мной этот человек и что настойчиво мне внушал.

– Благородно, ничего не скажешь, – заметил Пушкин и тоже задумался.

Настроение стало паршивое, «работать» в тот день больше не тянуло.

Во время обеда рассказал об этом необычном случае всем ворами.

Слушали внимательно. Долго молчали. Видно, не только у меня одного – у многих поступок и слова этого человека разбредили душу, затронули такие ее уголки, которые, казалось бы, надежно упрятаны даже от самих себя.

Но вот, докурив сигарету и сплюнув, нарушил молчание Витя Шанхай.

– Этот мужик со «ксивой» перед тобой, Валентин, разыграл благородство. Хотя, не исключено, что у него натура такая.

– Есть же и там порядочные, – вмешался Хитрый.

– Не исключаю, – повторил Шанхай. – Но только мы должны помнить, что житуха у нас по другому сложилась. И ни один из тех, кто называет себя Вором, совету его не последует. Хотя силой, вы знаете, никого не держим. Своя у нас жизнь, и песни тоже свои.

Шанхай налил мне стакан, поднял свой, недопитый.

– Вот за это, Валя, давай и выпьем.

И еще об одной встрече хочу рассказать – по тому же поводу.

Однажды вызвал меня прокурор Ухтомского района – приятная средних лет женщина, в которой было что то материнское, располагающее к себе. Фамилия ее была, если не ошибаюсь, Гаспарова.

– Говорят, Валентин, опять карманы чистишь? – спросила она, чуть улыбнувшись.

На этот раз совесть моя перед законом была чиста, и я имел полное право возмутиться.

– Пришить чужие грехи хотите, товарищ прокурор. Обижаете.

– Зря надулся. Шутка моя, быть может, и неудачная, но с намеком. Можешь ответить мне, как на духу: воровать тянет?

Ее откровенный приветливый тон меня подкупил. И ничего не оставалось делать, как ответить тем же.

– Если по честному – тянет.

– Ну, а как думаешь, пересилить себя сумеешь? Если сейчас, в молодые годы, не завяжешь, дальше так оно и пойдет. Погубишь свою жизнь – ни семьи, ни детей, ни пенсии.

– Не знаю, как получится. Попробую...

Долго тогда мы с ней беседовали. И после об этом разговоре вспоминал я часто. В то время уже чувствовалось наступление хрущевской оттепели. И отношение к нам, вчерашним заключенным, вообще к преступникам, сильно переменялось. Нас, наконец то, стали признавать за людей, пытались по хорошему убеждать, воспитывать. И прокурор Гаспарова была одной из немногих, кто делал это не по казенному, а с душой – натура, видно, была у нее такая. И не ее вина, что людей, подобных мне, замела, закружила воровская судьба. С такой силой, что вырваться из нее не мог. Выходя в очередной раз из зоны, ты попадал в прежнюю компанию, где были верные, преданные друзья, они же – воры. И все начиналось сначала.

Раменские бараки.

В который раз задаю себе один и тот же вопрос: хватит ли сил навсегда порвать с прошлым и начать честную трудовую жизнь? На одной чаше весов – пример друга моего детства Кости, который обзавелся семьей, стал уважаемым человеком, все то страшное, что было пережито в лагерях и следственных изоляторах. И возраст, достаточно зрелый, чтобы осознать беспросветность воровской судьбы. А на другой... Самые близкие мне люди, кореша, готовые поделиться последним, – воры. Сколько выпито с ними за одним столом, сколько связано в жизни. И первая моя любовь Роза, с которой после долгой разлуки нас опять соединила судьба, – тоже воровка. Смогу ли я с ними порвать? Здесь, среди «братвы», я человек, меня уважают, на «сходняках» я равный. А окупись в эту самую порядочную жизнь – и будешь тыкаться, как слепой котенок. Ты же совсем не знаешь ее, «нормальной» то жизни, ничему не обучен, кроме воровства.

Поделился своими сомнениями с Шанхаем.

– Не терзай себе душу, Лихой, – ответил он, обнимая меня за плечи. – Поверь мне, старику, – никто из нас в «нормальную» жизнь не воротится. Просто не сможет. В прежние годы, после войны, такие еще находились, и то единицы. А нынче я что то не припомню. Хотя – дело твое. Завязывай. Наши воровские законы этого не запрещают...

Я ответил кивком головы: знаю. Самому же захотелось еще раз все обдумать. И главное – если уже решаться, то вместе с Розой. Чтобы могли жить спокойно, лишены страха, что завтра ее или тебя «заметут».

Да, я не хуже Шанхая знал, что в те годы не было, пожалуй, ни одного случая, когда бы карманный вор, находясь на свободе, решил «завязать». Хотя и сроки стали давать большие. Желание красть засасывало, становилось потребностью, любимой «работой». Едешь в трамвае или в автобусе, и руки сами собой, против твоей воли, тянутся к стоящему рядом пассажиру, ощупывают его карманы.

И все таки как мне тогда хотелось все это бросить. Ради нас с Розой, ради нее. Она родила бы мне сына, который вырос бы порядочным человеком, выучился. Ее мать, и сестра тоже очень просили меня повлиять на Розу.

Я попытался. Еще раз предложил ей пойти расписаться в загсе. Напомнил, что тогда мы могли бы жить у ее матери.

– Ты «завяжешь» и пойдешь работать. Я тоже. Страшно за тебя. «Мусора» нынче знаешь как свирепствуют.

Но на Розу мои слова, как видно, не действовали. Лицо у нее вдруг сделалось кислое.

– Ты, мой милый, кажется, начинаешь сходить с ума.

Что мне оставалось делать? Без нее не мыслил я своей жизни. Бросить Розу было выше моих сил... И все же после этой размолвки, нет нет, да и пробегал между нами какой то холодок.

...Дурные предчувствия меня не обманули. Не прошло и двух месяцев, как Роза опять «засветилась». Сидела в следственном изоляторе. Мы носили ей передачи. Суда долго не было.

Опять я один, опять разлука.

Московские воры облюбовали в то время новое место – в Раменском. Там, возле станции Фабричная, были построены жилые дома для рабочих ткацкой фабрики «Красное знамя». Точнее, бараки, хотя и трехэтажные. Население – почти сплошь женское, много девчат ткачих. Этот поселок воры и «оккупировали». В бараках возникло несколько притонов, иначе «блатквартир». Перебрались сюда из Малаховки и мы с Геней.

Новое место мне понравилось. Старый парк с высокими соснами и прекрасным прудом, где можно покататься на лодке. Непременная для московских парков той поры танц веранда. И два буфета, в которых были и выпивка, и закуска. Зимой танцевать ходили в фабричный клуб имени Воровского, где буфет и вовсе был шикарный. Теплая «хата», водочка с селедочкой, девочки на любой вкус – что еще надо нашему брату. Неприхотливы мы были в то время. Впрочем, как и все остальные.

Облюбовали воры это место где то в самом начале пятидесятых, но особенно много поселилось их здесь после амнистии 1953 года. Кроме нас, карманников, жили на «блатквартирах» и «слесаря» – воры, которые «брали» магазины и имели дело со слесарным инструментом («фомичами», «гусиными лапками», отмычками).

Поселились мы у Гусихи – жены известного вора Коли Чахотки. Сам он был болен туберкулезом и по этой причине несколько раз его активировали – освобождали из тюрьмы. В это время Коля с трудом волочил ноги и без посторонней помощи не мог подняться в свою квартиру, которая была на втором этаже. Но продолжал воровать. Мы предлагали ему деньги, на которые можно было бы безбедно жить и лечиться у хороших врачей. На все он отвечал: «Нет, я вор, и пока волочу ноги, сам себя буду обеспечивать». Вот что значит сила привычки, которая перерастает в страсть. Сама Гусиха была профессиональной мошенницей, дважды судимой. Но болезнь мужа ее немного остепенила. Тем более, что притон, в который превратила она свою квартиру, стал давать куда больше дохода. Она была страшно жадная на деньги и любыми путями вымогала их у «квартирантов».

Местная милиция до поры смотрела на раменскую «малину» сквозь пальцы. Формально придраться к ворам было не за что. Все освободившиеся по амнистии где то прописаны. – «Что делаешь здесь?» – «Приехал в гости к невесте».

Между прочим, все, кто «квартировал» в бараках, строго держались правила: не воруй там, где живешь. Карманники «работали» в основном в Москве, а по воскресеньям, когда в электричках ехало много народу – «держали трассу» на «железке». Конечно, в Раменском и без нас хватало не только воров, но и грабителей, с которыми милиция не успевала справляться.

Приближался Новый год – 1954 й. В первом корпусе нарядили большую елку. Там мы собирались гулять. Почти все молодые воры обзавелись подружками, ходят на свидания, на танцы. Среди них я чувствую себя одиноким и каким то потерянным.

Однажды младший из братьев Пушкиных познакомил меня со своей девчонкой. Зовут Неля, красивая, чем то похожа на Розу. И тоже татарка. Ее сестра Рая дружит с Хитрым Попиком, который по этой причине зачастил к нам в Раменское. И вот перед Новым годом, видя, что я скучаю, они настойчиво стали звать меня на танцы. «Если и пойду с вами в клуб, то танцевать не зовите, посижу в буфете», – упирался я. Смотрю, Рая с Нелей заговорщицки перемигиваются и хохочут.

– Послушай, Валентин. Мы же тебя не просто так на танцы зовем, а со смыслом. Одна девушка очень просила тебя с ней познакомиться. Говорит, сильно ты ей понравился.

Любопытно мне стало, что это за девчонка обо мне сохнет страдает. Но Рая с Нелей, как ни просил, даже имени не назвали. Пришлось идти с ними в клуб.

И что же? В фойе Рая знакомит меня с этой самой девчонкой, а я, увидев ее, еле сдерживаю разочарование. Неказистая, из тех, что зовут коротышками, косички тоненькие. На личико, правда, ничего, но с Розой – никакого сравнения. Зовут ее Люся, живет с матерью в таком же, как наш, бараке. В общем, она мне не понравилась. Но танцевать пошел – неудобно отказывать «даме». Во время танцев разговорились. Оказалось, Люся знает, что я вор карманник. И все равно хочет со мной дружить. Ну что же, думаю, одному скучно, и если я ей нравлюсь, почему бы не погулять.

Сама, в общем, напросилась. А после – неприятностей от нашей дружбы имел я кучу. Откуда мне было знать, что у нее очень строгая мама. Дочке она разрешала гулять только до девяти, а потом дочке дозволялось еще часок посидеть в общем коридоре. Но это бы еще полбеды. Как только мать узнала, что Люся встречается со мной, она пришла к Гусихе и устроила там скандал. В это время в квартире было много воров, которые собрались по какому то поводу выпить. Приехал и Шанхай. С шумом ворвавшись в комнату, она сразу направилась ко мне:

– Если ты, ворюга несчастный, не оставишь в покое мою дочь, я на всех вас НКВД натравлю.

Шанхай поднялся, чтобы ее успокоить:

– Мамаша, ни к чему шум устраивать. Уладим все по хорошему. И парня оскорблять не стоит. Он у нас добрый, зазря никого не обидит.

– Вот и скажи ему, чтобы к дочке моей больше не подходил. Не то плохо вам будет.

И ушла, хлопнув дверью.

Я стоял как оплеванный. Шанхай подошел, похлопал меня по плечу.

– Слушай, Валентин, оставь ты эту чувырлу. Лучше, что ли, себе не найдешь.

Остальные его поддержали:

– Кончай ты с ней...

Я налил себе стакан водки, выпил залпом и вышел в коридор. Что делать? Смотрю, с лестничной площадки бежит Райка:

– Валентин, а я как раз до тебя. Ой, знаешь, что сейчас было. Фрося, Люсиная мать, так дубасила твою кралю, что перья летели. А она: «Хоть убей, а встречаться с ним буду. Люблю я его».

Что же все таки делать?..

Вечером Люся опять прибежала ко мне. Весь корпус об этом знал и смеялся: вот так любовь.

Воры, встревоженные поведением Фроси, стали меня уговаривать, чтобы порвал с этой «ненормальной». Многие не на шутку испугались, что Фрося «сдаст» нас всех милиции и мы потеряем «хаты». А тут еще приехала Розина сестра – кто то передал ей, что я потихоньку дружу с другой девушкой, стала при всех меня стыдить: и, мол, как же тебе, Валентин, не совестно, у вас с Розой такая любовь. Измену она не простит. И пошла, и пошла. Мало того, сама разыскала Люсю и устроила ей скандал. «Не бросишь его, в следующий раз приеду – косички твои паршивые с кожей выдеру».

Вот в такую попал я прожарку.

А Люся, как назло, начинала мне нравиться. Почему – сам не понимал. Может, ее верность и преданность сделали свое дело. Она ведь и маму свою уломать сумела. Видя, что после ее запрета Люся аж похудела, она все таки разрешила нам встречаться. Но опять только в коридоре и до девяти.

Постепенно к новой своей симпатии я привыкал все больше. И вспыхнувшее вдруг чувство переросло в любовь, заставившую на какое то время забыть о Розе.

Любовным утехам мы, воры, как всегда, отводили часы досуга. А днем, даже по воскресеньям, главным по прежнему была «работа». И если с Люсей все постепенно наладилось, то «блатные» наши будни неожиданно омрачились большой неприятностью.

В один из зимних вечеров возвращаемся мы с подельником из Москвы в Раменское к Гусихе. И застаем здесь младшего Пушкина, который плачет навзрыд.

– Что случилось?

Растирая кулаком слезы и всхлипывая, пацан сбивчиво начинает рассказывать.

– Да вот, этот самый... Ну, Шурка Питерский, который с неделю назад приехал... В общем, избил он меня, когда никого не было, потом все забрал – часы, деньги и еще пальто.

– Как так забрал? – не укладывается у меня в голове. – Ограбил, значит?

– Ну да, ограбил. А сам смылся. – Пушкин опять залился слезами.

– Да ты успокойся. Далеко не уйдет. Лучше скажи, давно он слинял то?

– Час, наверно, прошел, а то и больше.

Питерский, хотя и был в Москве «на гастроле», хорошо знал, что Пушкин такой же карманник, как и он сам. А раз так, его проступок простить не могут. Избить и ограбить вора – такое и представить трудно. Не иначе, как спятил. Знал же, что шел на верную смерть.

На другой день об этом ЧП знали уже все московские воры. Их решение было единогласным: где поймают Питерского, там и решите. Пушкина все уважали, он, как и я, воровать начал с раннего детства.

Объявился Питерский дней через двадцать. Вечером сидим мы в буфете клуба Воровского. Пушкин тоже с нами. Вдруг прибегает Нина Гусиха: «Идите быстрее, Шурка Питерский завалился ко мне в квартиру, пьяный вдрызг». Все быстро поднялись и за ней. Видим, за столом, обхватив руками стакан с недопитой водкой, сидит обалдевший Питерский. Володька Огород, который прибежал с нами, трясет его за плечи:

– Отвечай, ты взял у Пушкина часы и все остальное?

– Ну, я... – От встряски Питерский постепенно начинает приходить в себя. – Только не ищите вы их – пропил.

– На кой же хрен ты, Шура, все это затеял? – в сердцах вопрошает Хитрый Попик. – Ведь знаешь, что Пушкин свой человек, вор.

– Какой он вор! Комсомолец е...й.

– Ты что несешь, сволочь! – не выдерживаю я. – Видать, за Хмурого отомстить решил. Колись, ну?..

Питерский в ответ ни слова. Выходит, попал я в точку. О том, что с Хмурым были они корешами, слух до нас еще раньше дошел.

– Да чего с ним церемониться, – решительно обрывает Володя Огород. – Вставай, пошли.

– Вы что, резать меня задумали? – зло, без тени испуга спрашивает совсем уже отрезвевший Питерский.

– Неужто подумал, что награждать поведем, – отвечает кто то.

– Нечтяк. Режьте, но воры с вас спросят.

– Спросят, спросят, – повторяет Хитрый. – Ежели не зарежем. Пошли, подлюга!..

Питерский поднимается со стула, надевает пальто, шапку и, не сказав больше ни слова, послушно идет за нами в парк. Сопровождают его человек десять или двенадцать.

Зима. Снег глубокий. С аллеи сворачиваем туда, где потемней. Белесые стволы сосен похожи на гигантские распушенные книзу стрелы.

Останавливаемся.

– Ну, расскажи ворам, зачем ты все это сделал? – обращается к Питерскому Володька Огород.

– Сам не знаю... Больше ни о чем не спрашивайте.

Питерский расстегивает пальто и пиджак...

– Режьте быстрее. Надоело мне все.

Огород приставляет нож к его груди. Руки у него в перчатках. Питерский стоит спокойно, не двигаясь, не прося пощады.

Резкий удар по ручке ножа, прямо в сердце. Шурик неестественно медленно наклоняется вперед и падает. Движения такие, как при замедленной киносъемке.

Вытащив из груди у Питерского нож, Огород, для подстраховки, наносит еще несколько ударов.

Ногами отрываем в сугробе яму, сталкиваем туда труп и зарываем, стараясь поплотней притоптать снег.

Мне, первый раз в жизни, почему то не жалко убиенного. Да и остальные особой жалости не почувствовали.

– Негодяй он, – философски заметил Попик, – ближнего своего оклеветать пытался. А умирал, черт его подери, красиво.

Это, пожалуй, было общее мнение.

Мы отряхнулись от снега, покурили и опять направились в клуб. Все ж таки полагается помянуть покойника. О том, что зарезали Шурку Питерского, дошел слух и до ленинградских воров. Дней через десять к нам в Раменское приехала их «делегация». Обо всем подробно расспрашивали. И сказали: никаких претензий к нам нет, решено все по справедливости.

Между тем мой роман с Люсей продолжался. Ее мать постепенно сменила гнев на милость и даже стала пускать меня в квартиру. Я купил им приемник, патефон, Люсе – лакированные туфельки. Мы с ней заказали в ателье костюмы из одного материала, светло коричневые. Я провожал ее на фабрику, а вечером, если она возвращалась со второй смены, шел к проходной встречать.

И Люсе, и ее матери очень хотелось, чтобы я бросил воровать и устроился на работу. Но теперь уже меня самого перестало тянуть к нормальной жизни. Познакомившись ближе с обитателями раменских бараков, я увидел, что честные работяги, как бы ни старались вкалывать, живут очень бедно, а многие почти нищенствуют, сидят на картошке да хлебе. Нет, не привлекала меня такая жизнь. И от разговоров об устройстве на работу я всякий раз увертывался.

Как то в начале весны меня пригласил в гости на свою «блатквартиру» Володька Огород. Находилась она в нашем корпусе, только на другом этаже. Кроме меня и его подружки, у Огорода в тот вечер никого не было. И я остался там ночевать. Ночью вдруг просыпаюсь от сильного стука в дверь. Не иначе – милиция. Вскрываю с дивана, быстро сгребаю со стула одежду и – под кровать, на которой спали Огород с подругой. Под кроватью была корзина для белья, за нее и спрятался. Огород в это время тоже проснулся, пошел открывать дверь. Слышу – голоса знакомые. Кажется, Гришин и Кобзев, оба из уголовного розыска, хотя и из разных райотделов – Раменского и Ухтомского.

– В чем дело? – спрашивает Володька незваных гостей.

– Одевайся, Огород, потом узнаешь. – По голосу это Кобзев Михаил Дмитриевич, начальник Ухтомского угрозыска, который не раз проводил со мной профилактику, так сказать, перевоспитывал.

– Кстати, – спрашивает он вдруг у Огорода, – а где твой друг Валентин? Сказали, вечером к тебе пошел.

– Не знаю... – отвечает Володька, а сам усиленно продолжает шарить по комнате. – Брюки, черт их дери, куда то по пьянке положил и не могу найти.

Все ясно. Второпях, когда залезал под кровать, вместе со своей одеждой я прихватил его брюки. Стараясь действовать незаметно, пытаюсь высунуть из под кровати одну брючину. Думаю, Огород увидит и вытащит. Но на то они и «опера», чтобы иметь острый глаз.

– Что то, Дмитрич, подзор шевелится, – слышу голос Гришина. – А ну, посвети фонариком.

Пришлось мне выбираться из под кровати, изображая сонную физиономию – заснул, дескать, там по пьянке.

– А ты, однако, тот еще фраер, Валентин, – Кобзев аж рассмеялся от удовольствия, что меня изловил. – Под койкой, видно, удобней спать, не так жарко.

Нас с Огородом вывели на улицу, где стояли автобус и две милицейские машины. В автобусе, куда нас посадили, находилось уже человек пятнадцать, все – карманники. Забрали почти всех.

– Куда нас везут? – спрашиваем у сопровождающего милиционера, поняв, что машины направляются не к райотделу.

– В Питер, наверное, – отшучивается он со злой иронией. – Слыхали, может, о Шурике Питерском. Так вот к нему в гости и поедете.

Все молчат, словно в рот воды набрали.

А вышло все так. Весной, когда стало таять, одна женщина, проходя по аллее парка, заметила торчавшие из под снега сапоги. Подошла поближе, а там труп.

Милиция, впрочем, уже знала, что зарезали Питерского. Но улики не было. И вот теперь, когда труп обнаружили, решили устроить облаву. Всех нас пропустить, так сказать, через фильтр. И получилось у них это неплохо. Во время облавы вместе с карманниками в лапы «мусоров» попали и два «спеца» по хатам и магазинам, находившихся в розыске почти год. Преступлений за ними числилось много, и сроки, ясное дело, им дадут немалые. Из всех, кто ехал в автобусе, только им надели наручники, а это кое что значило.

Привезли нас, конечно, не в Питер, а в Областное управление внутренних дел. И посадили в одну большую камеру.

– Всех держать здесь долго не будем, – обратился к нам какой то важный начальник. – Сознайтесь, кто резал Питерского, и скоренько все закончим. За кем «хвостов» нет, сразу отпустим.

Огород решил было пойти с повинной, но Шура, один из тех, кого привезли в наручниках, сказал ему: «Не выдумывай, я беру Питерского на себя».

Он знал, что по кражам, которые на нем висят, в общей сложности получит не меньше двадцати пяти лет. Значит, терять ему нечего. Оставалось одно – рассказать «спецу» о подробностях, которые могут пригодиться ему во время следствия, – с поправкой на то, что к убийству Питерского остальные не причастны.

Шура «сознался», что порешил ленинградского тезку в одиночку. Нас отпустили, продержав трое суток, а его арестовали вместе с подельником.

Потом в клубе Воровского над ними устроили показательный суд. Воры хотели организовать после суда побег, но милиции было очень много.

...И снова настало лето. Зазеленел парк в Раменском, открылась лодочная станция. Впрочем, мы с Люсей проводили время не только здесь, но частенько выбирались и в Москву. Ходили в цирк, несколько раз были в театре, обедали в хороших ресторанах.

И все же о Розе я всегда помнил, даже полюбив другую. Не было у меня в жизни светлее воспоминаний, чем о днях, проведенных с ней в ранней юности. И горько мне стало, когда узнал, что осудили ее на целых восемь лет.

Все больше в последнее время сходилась я с Володькой Огородом – видать, много общего оказалось в характере и в подходе к жизни. Однажды мы с ним поехали погулять в Малаховку. Хитрого Попика дома не оказалось, и мы отправились на пруд. Зашли в буфет, посидели, изрядно выпили. Выходим на улицу, и тут к Огороду начали приставать какие то парни. Он ударил одного, ребята стали насесть. Мог ли я не вступить за кореша?.. Мы, карманники, драк старались всегда избегать. Но тут заставили обстоятельства. Да и особой драки то еще не было, а «мусора», как назло, увидели.

В общем, забрали нас с Огородом и предъявили обвинение за хулиганство – в прежнем Уголовном кодексе это была статья 74.

Надо ж такому случиться: мне, карманному вору, который и хулиганить то никогда не умел, предъявить такое обвинение. Однако факт свершился, прокурор дал санкцию на арест.

После ареста подвернулся случай, и мы с Огородом бежали. Меня поймали через несколько дней, его – через месяц.

И вот опять я в Таганской тюрьме, под следствием. Как опасного (совершил побег) меня водворяют в спецкамеру. Маленькую, всего на пять человек. Люся и тетя Лена, мать Хитрого, носят передачи. Узнал, что рядом, через две камеры от меня, сидит Гена. Мы с ним перестукиваемся. Выясняю, что «спалился» он за карман, проходит по делу с какой то девушкой из Ростова.

На суд меня везут в наручниках. В зале вижу Люсю, всю в слезах. Жалко ее больше самого себя.

Судья объявляет приговор: три года лишения свободы. Такой же срок дали и Огороду. Ну, это ничего, жить можно. За такой приговор остается только сказать спасибо.

Самый короткий срок.

После тесной спецкамеры следственного изолятора, оказавшись в пересыльной тюрьме на Красной Пресне, я вздохнул с облегчением. Здесь и камера была куда как просторней, и народу побольше. Между прочим, многолюдье я всегда любил. Оттого, видать, что привык «работать» в толпе. К тому же с детства не имел своего угла и его заменяли «блатхаты». Но не только в этом было дело. Главное – здесь оказалось много «своих» – известных мне «воров в законе». Два Коли – Туляк и Акробат, Глист (не помню его имени). Встретил я тут Яшу Жида, с которым мы вместе отбывали срок в Салавате. Вспомнить нам с ним есть о чем, да и другим интересно будет послушать о восемнадцатой стройке. Такую встречу, ясное дело, грех не обмыть.

– Коли «хрусты» имеете – организуем, – Яша и здесь успел войти в свою роль. При этом щегольнул новым словечком, обозначающим купюры.

Но, пожалуй, самым большим сюрпризом было для меня увидеть в этой камере Гену. Он тоже мне обрадовался. Однако был он какой то не такой, как всегда. Молчаливый и чем то удрученный. Казалось, надо радоваться: дали ему на год меньше «положенного», судья пожалел. А парень киснет.

– Что с тобой, братишка? – спрашиваю.

– Да, ничего хорошего, – отвечает он нехотя, выдавливая из себя каждое слово. – Живу я здесь «мужиком». Чему радоваться?

– Какой же ты «мужик», ты же самый что ни на есть вор, тебя же пол Москвы «щипачей» знают!..

– Ну, так вышло... Когда водворили в эту камеру, никого знакомых не оказалось, – развел руками Гену. – А сам я постеснялся сказать, что вор. Тут, видишь, какие «гладиаторы», а у меня и наколки толковой нет.

– Ну это, как говорится, дело наживное, – успокоил я. – В зоне тебе что угодно изобразят. Главное, все должны знать, что ты вор.

В этот же день в нашу камеру водворили и Огорода. О таком стечении обстоятельств можно было только мечтать.

Мы дали Яше деньги, он «подсуетился», и к вечеру нам доставили литра два водки.

Воры жили тут «кучками», или «семьями», по два три человека. Кучковались по принципу – кто кому нравился, подходил по характеру. Каждая семья «питалась» отдельно. Однако общее правило не нарушалось: если кому то присылали посылку или приносили передачу, он делился со всеми. Получив свою долю, вор нес ее в «семью».

Сперва, как обычно, состоялся у нас с ворами ознакомительный разговор: кто где сидел, с кем крал на свободе, кого из воров знаешь и т. д. и т. п. Видя, что Гена все еще отмалчивается, словно зверь затравленный, мы с Огородом объяснили всем, что он вор, что вместе «работали» и знаем его не первый год.

– Что же он как воды в рот набрал, – отозвался Глист. – Коли свой, не будь красной девицей, давай сюда кружку.

Выпили, культурно закусили – у нас с Огородом в котомках снеди достаточно. Всем стало хорошо и весело. Пришел в норму и мой Геныч. С этого дня он был на равных с ворами. С ним и Огородом мы жили одной «семьей».

Новый, пятьдесят пятый год, встречаем в камере. А после меня и Гену вызывают на этап. Огород остается в камере. Заключенных в нашей партии едет много, человек восемьсот. Меня, как совершившего побег, сажают в «зековский» спецвагон с отдельными «купе», в каждом человек восемь девять. В этом же вагоне едет группа «польских воров». С недавних пор их начали этапировать отдельно, боясь, как видно, нежелательных инцидентов.

Поинтересовался у конвоя, куда нас везут. Ответил, что в Кемеровскую область. Далековато.

Чем дальше от Москвы, тем холоднее, а за Новосибирском мороз стал уже пробирать по настоящему, за окнами вагона было за сорок. Выручали стеганные ватные брюки, валенки и бушлаты – их выдали нам еще в пересыльной тюрьме.

Вот уже и Кемеровская область. Приезжаем на станцию со странным названием Яя. А отсюда – пешком километров тридцать. Там лагерь, зона. К счастью, Гена тоже попал сюда.

Все бы неплохо, да только зона здесь какая то странная, не показалась мне сразу. В двухэтажном бараке живут одни «мужики». Еще в одном – «политические». «Воры в законе» тоже занимают отдельный барак, но их мало.

У «мужиков» сильный главарь по кличке «Кореец». Воров он не любит и обещает стереть с лица земли. Но и у нас есть поддержка. На нашей стороне бригадир по фамилии Ковтун, у которого срок десять лет. Говорят, сам он тоже из воров.

К этому времени в воровской жизни многое изменилось. Во всех лагерях прошли «сходняки», и в результате воры достигли общего согласия: в лагере можно теперь работать и даже становиться бригадирами. Это было вынужденное решение: поскольку везде началась сильная борьба с «законниками», другого не придумаешь.

Одни заключенные вкалывали на лесобирже, разделявали строевой лес, другие, а именно бригада Ковтуна, сооружали плотину. В эту бригаду попал и я.

Обстановка в зоне напряженная. Ковтун, как вскоре я убедился, терпеть не мог Корейца. Дошло до того, что наш бригадир сам стал подбивать воров «кончить» мужицкого главаря. Вроде бы все согласны, но добровольцев, как в прежнее время, не находится. Вышел новый Указ, по которому за убийство опять вводился расстрел. Воры осторожничают, умирать не хочет никто.

«Мужики», напротив, чувствуя за собой силу, все больше наглеют. Еще бы – возможность рассчитаться с ворами им выпадает нечасто. К тому же Кореец люто нас ненавидит, их постоянно подогревает. Поняв, что «мужики» готовы пойти на все, мы установили в своем бараке ночное дежурство. И вот в одну из темных ночей они пошли на нас, вооружившись ножами и палками. Спасибо, дежурные не проспали, и в последний момент мы прочно забаррикадировали дверь. Иначе была бы резня.

Через несколько дней после этого случая привезли в зону «польских воров» и поселили тоже в отдельном бараке. К этому времени «поляков» вообще стало больше, и в некоторых зонах их стали содержать вместе с «идейными», то есть «законниками», – но лишь там, где наших было немного.

«Польские воры» с первых дней повели себя осторожно. Ковтун ненавидел их так же, как и «мужиков». Повод для стычки нашли: во время обеда на кого то из наших «поляк» случайно опрокинул миску с баландой. Этого оказалось достаточно, чтобы «законники», разгорячившись спиртным и взяв в руки кто что мог, пошли на приступ – брать «вражеский» барак. Был ноябрьский вечер, темнело рано. И «поляки», почуяв опасность, потушили у себя свет. Но в барак мы все таки ворвались. Началась потасовка. Гвалт стоял невообразимый. Выбегаю из барака и только тут, при свете фонаря, вижу, что мой бушлат в крови. Скидываю его, забрасываю в выгребную яму.

На шум, как водится, прибежало руководство. «Польских воров» сильно тогда побили. Пострадал кое кто и из наших. Но убийства ни одного не было. Закончилось тем, что Ковтуна и еще одного из бригады забрали в СИЗО. Но «поляков» из зоны все же вывезли.

А некоторое время спустя человек десять «воров в законе», в том числе и меня, отправили из этого лагеря в Свердловскую область, в поселок Верхняя Тавда.

В отличие от прежней, зона здесь оказалась вполне приличная. Работал на лесобирже. Старался, поскольку действовала система зачетов, а у меня еще в том лагере набрался почти целый год. Это значит, совсем скоро могут освободить.

Деньги на руках хорошие. Хватает и на сытный обед в коммерческой столовой, и на водку – ее бери сколько хочешь. Даже в карты играют здесь на наличные.

Не перестаю удивляться резким переменам в поведении воров. Как понимаю, вынужденным. В нашей колонии они особенно бросаются в глаза. Драк нет, не говоря уже об убийствах. Почти прекратились и сборы для «общака» – воровской кассы. Останавливает страх перед тем, что за все это грозит суровое наказание – провинившегося отправляют в печально знаменитый спецлагерь два нуля шестнадцать.

Наконец, настал день освобождения. Это был в моей взрослой воровской жизни самый короткий срок заключения. Помогли зачеты рабочих дней, и вместо трех лет я пробыл в местах лишения свободы год и девять месяцев.

Шел май пятьдесят шестого года. Я опять в Москве и, конечно, первым делом отправляюсь в Раменское, к Люсе. Она мне часто писала, присылала посылочки. Даже от ее матери получил в лагере несколько писем. Как я надеялся, что у нас с Люсей все будет по прежнему. Но, увидав ее, понял: что то неладно. Вроде бы и обрадовалась она нашей встрече, но радость и объятия были какими то неискренними. Я сразу это почувствовал. А когда от Раи узнал, что Люся в мое отсутствие познакомилась с каким то парнем из Перова, на душе стало и совсем мутно. Вначале не поверил – ведь мы так любили друг друга. Но Нина Гусиха подтвердила, что несколько раз видела Люсю с тем, перовским.

Простить этого я не могу. Высказываю Люсе все, что о ней думаю. Она плачет, клянется, что с этим парнем у нее «ничего такого не было», уговаривает остаться. Но решение у меня твердое – уйти. Прежде не замечал я за собой такого пережитка, как ревность. Наверно, повода не было. И вот теперь понял, что значит страдать, когда изменяет любимый человек.

Наскоро собрал вещи и отправился к Хитрому в Малаховку. Встретили как своего, там и прописался.

Удивительно везучий все таки этот Попик. Ворует постоянно и всегда выходит сухим из воды. Может, и вправду Бог помогает. Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить.

Опять пришла мысль: а может все таки завязать. Всякий раз, когда выходишь на волю, она возникает. И насколько я знаю, у многих. Признавались мне в этом даже задубевшие рецидивисты. Но, за редчайшим исключением, дальше благих намерений дело не шло. На эту тему я уже размышлял, но повторю еще раз: основная причина – в том окружении, в которое попадешь после освобождения. Из него ты вышел, в него же и возвращаешься. А куда еще ты пойдешь, как не к своим друзьям, особенно если нет родственников. Перед кем изольешь душу, кто поделится с тобой всем, что имеет. Да от тебя всячески откредятся на любом

предприятии, и в общежитии не окажется мест, чтобы прописать. Да что говорить, «драйки» – тройка то есть, никто не даст. А вот «братва» законов своих никогда не нарушит. В нее, тогдашнюю, верил я безраздельно.

Скоро объявился и Огород Володька. Он тоже сидел недолго, а отбывал наказание в Коми АССР. Ну, понятно, опять «разливанное море» водяры. Гуляли в Раменском. По пьянке потянуло к Люсе. Забираю ее и едем ночевать в Москву, к Огороду. Что то в душе осталось, но прежнего чувства к ней уже нет.

Утром вместе с Огородом отвозим ее домой, в Раменское. Собираемся пойти в парк, взять лодку. В общем, тряхнуть стариной. Люся продолжает меня уговаривать вернуться к ней. Я говорю, что подумаю.

Приезжаем, заходим к Гусихе, а она – в слезах, умер Коля Чахотка, ее муж, тот самый, что продолжал воровать, несмотря на тяжкий недуг. Таких, как он, до гроба преданных «идее» и своему ремеслу, среди «воров в законе» надо было поискать.

Хоронили Колю Чахотку со всеми почестями, как когда то Артиста. Единственно, в чем была разница – бутылку водки, карты и нож, положив рядом с покойным, аккуратно прикрыли саваном. Не то время, чтобы афишировать воровские похороны.

Говорят, одна беда другой погоняет. Так вышло и на этот раз. Не успели помянуть Чахотку, как по новой крупно влип Огород. Свидетелем стал я – правда, случайно. Припозднился в Москве, и чтобы не беспокоить Нину Гусиху, решил заночевать в сарае. Гляжу, лежит там Огород – пьяный, лыка не вяжет. А рядом – куча добрых вещей: платья из панбархата, мужские костюмы, туфли. Что за черт, откуда все это? Растолкал Володьку, с трудом, но привел в чувство.

– Объясни, что за вещи.

– Да вот, Лихой, взяли с ребятами коммиссионку. Здесь на рынке. – Огород расплывается в улыбке, радуясь, видно, своей удаче.

– Дурень же ты, Володька. Нашел чем хвастать. Забыл, что за это двадцать пять лет «пришивают».

Моему возмущению нет предела. Как же только мог он додуматься.

– Да вот, подвернулись два новичка «слесаренка», молодые совсем. В буфете познакомился. Они то и подбили на это дело. А я, хрен моржовый, захмелел и поддался.

Огород, кажется, начал обретать рассудок.

– С кем же ты связался – с «салагами». Да они при первом допросе расколются, – продолжал я на него наступать, понимая, что от такой «профилактики» задним числом толку мало.

– Прав ты, Валентин, на все сто... И все таки – давай обмоем. – Огород взял в руки стоявшую рядом с ним бутылку водки.

– Погоди, – остановил я. – Брось ты это тряпье и бежим в Малаховку. По шпалам. До зари успеем.

– Бесплезняк, по связям найдут. Я приметный.

Огород наполнил до краев грязный стакан. Пил он со вкусом, крупными глотками.

Все получилось так, как я и предсказал. «Слесарята» раскололись, а свидетелем проходил связанный ими сторож.

Огород, Огород! Какую же ты сделал непоправимую глупость.

Как мы с Хитрым стали «летчиками».

Оглашается приговор: двадцать лет лишения свободы. Это – Огороду. За его глупость с коммиссионкой.

Я сижу здесь, в зале районного суда, и когда при наступившей вдруг тишине судья называет этот срок, мне вдруг становится страшно. Огород старше меня, и из сорока, ну пусть пятидесяти лет, что осталось ему прожить на свете, половину можно считать вычеркнутой. Если, конечно, не кончина очередного вождя либо другое великое событие, по причине которого объявят амнистию. «По причине» или используют как повод? Лагеря и тюрьмы, говорят, переполнены. Только и амнистия не всех коснется, тем более, если ты рецидивист и имеешь кучу судимостей.

Огорода уводят из зала. Сминая в руке модную кепку многоклинку, медленно поднимаюсь со стула и выхожу на улицу. Что то ожидает завтра меня в непутевой воровской жизни?

На судей воры вообще не обижались. Потому что судья – исполнитель закона, а в законе сказано, какой срок положен за совершенное тобой преступление: от и до. Он смотрит, что ты за человек, и решает. Если суд назначал наименьший срок по статье, мы считали, что он «хороший», и говорили: спасибо.

Вообще я думаю, что на судей, да и на милицию тоже, обижаться может только кретин, который не понимает, что любое государство обязано охранять свои устои, порядок и покой граждан. Воры в большинстве своем были не глупы и понимали, что вредят обществу. Хотя, конечно, и среди воров попадались люди, которые к органам правосудия и нашим порядкам испытывали неприязнь и озлобление. Правда, мало кто выражал свое неприятие открыто, понимая, что в таком случае вдобавок к основной могут приписать и 58 ю статью – за политику.

Много размышлял я о своей доле, о других ворах и пацанах, с которыми воровская судьба связывала меня нередко прочными узами. Пищу для горьких раздумий давала и окружающая нас жизнь, – ее «дно» карманные воры знали лучше, чем кто либо. Как получилось, что в такой богатой стране простые люди, честно работающие, живут в такой бедности, едва сводят концы с концами. «Государство рабочего класса и трудового крестьянства» платило своему «героическому» гегемону жалкие гроши (о колхозниках я судить в то время не мог, поскольку не знал их жизни, а она, оказывается, была еще хуже). Конечно, чаще крали мы не у самых бедных, чутье и опыт почти безошибочно выводили на «клиентов» с тугими кошельками. Но случалось, не гнушались и «мелочовкой» – трудно, а порой невозможно удержаться вору профессионалу, чтоб не «купить» деньги, которые плохо лежат. Тут уже не разбираешься, чьи они. И это, как я теперь понимаю, было особенно аморальным. Хотя и те, кто честно зарабатывал большие деньги, вряд ли заслуживали, чтобы их «обижали».

О другом, однако, хочу я сказать. Во первых, о том, что бедность и нищета сами по себе порождают преступность, и прежде всего они плодили воров. И, во вторых, что на фоне общей бедности наши воровские запросы были куда как скромными: иметь приличный костюм, модные штиблеты (сапоги уже вышли из моды), выпить да вкусно поесть. Вот, в сущности, и все. Даже в ресторан мы выбирались не часто, разве что для шику, по первости, водили туда девочек. А ночевали и коротали время на «блатхатах», то бишь в притонах, располагавшихся чаще всего в задрипанных коммунальных квартирах. В общем, среди нищеты и воры были такими же нищими.

Размышлял я об этом чаще всего в зоне, где свободного времени было куда больше, чем на воле. При этом с годами, в более зрелом возрасте, мои раздумья становились все более грустными, а душа – беспокойной.

Пытаясь разобраться в окружающем, я обращался даже к трудам Маркса и Ленина. Для человека, имеющего начальное образование, да и то неполное, постигать премудрости марксистской науки было занятием нелегким. Взглянул, к примеру, штудировать «Капитал», но ничего в нем не понял. Так же, как и в некоторых трудах В. И. Ленина, например в статье «Почему социал демократы должны объявить беспощадную войну социал революционерам». Конечно, тут надо знать историческую обстановку. Нам, «идейным», тоже объявили в середине пятидесятих годов беспощадную войну – и довольно точно определили момент, когда легче было с нами расправиться, учли раскол, назревавший среди воров.

В последних статьях Ленина разобраться проще, там он как бы давал советы на будущее. Особенно меня поразила мысль о том, что наказание обуславливается вовсе не его жестокостью, а его неотвратимостью. Очень верная мысль, только наши правоохранительные органы (да и законы тоже), по моему, до сих пор ее не усвоили. Ведь и поныне раздаются голоса об ужесточении режима. Куда ужа строже...

Володьку Огорода отправили по этапу. Тошно было до глубины души. Но тем, кто остался на «воле», надо было жить, добывать себе хлеб. И по мере возможности – получать от жизни минуты счастья, пусть призрачные и редкие. Не забывайте, что мне было всего двадцать с небольшим, а в таком возрасте при любых обстоятельствах не теряешь надежды на лучшее. И амурные дела тоже пока еще не на последнем плане.

С Люсей я порвал окончательно, о Розе остались одни воспоминания, неистребимые, но уже такие далекие.

К этому времени, после истории с Огородом, я сменил «блатхату», перебрался в Люберцы. И тут на танцах познакомился с двумя девушками – Зоей и Ниной. Манеры и внешний вид Зои говорили сами за себя. Даже неискушенному сосунку стало бы ясно, чем она зарабатывает свой «хлеб». На вид ей было лет девятнадцать. Другая, Нина, совсем еще девочка, выглядела куда скромнее. Потом я узнал, что ей не исполнилось шестнадцати. И хотя она не вполне еще сформировалась, красоты (по моим понятиям) была редкостной. Белокурая, маленькое личико с пухленькими губами, чуть вздернутым носиком и не тронутой пудрой кожей напоминало кукольное. Так и хотелось в эти губки ее поцеловать. Вот только одежда ее портила: платье, длинное не по росту, вылинявшее, стоптанные босоножки говорили о бедности.

Я пригласил Нину на танец, потом на следующий, да так и не смог потом от нее отойти. Влюбился с первого взгляда. Говорили о разных пустяках – какие кому из нас нравятся танцы, о новых кинокартинах. Нина мне рассказала, что живет с мамой, у нее еще маленькая сестра и все – в одной комнатке.

– А вы чем занимаетесь?

Этого вопроса я ждал. И мучительно думал еще во время первого танца, как на него отвечу. Если, не скрывая, скажу, что вор, девушка может сразу от меня отвернуться. Нет, в моем положении надо уметь изворачиваться. И я отвечаю, стараясь держаться непринужденно, но без развязности:

– А я летчик. Вернее, будущий. Курсант авиационного училища. Гражданского. В данное время нахожусь в отпуске.

Вспомнилась, видно, голубая мечта моего детства, потому и решил сыграть роль начинающего «аса».

Представляться пришлось мне не одной Нине, но и ее подруге Зое, которая появлялась рядом всякий раз, когда оканчивался очередной танец.

– Молодой человек, учтите, что мы с Ниночкой всегда вместе, – настырно вклинивалась она в наш разговор. – Между прочим, если пожелаете пригласить в ресторан, не откажемся.

И тут же добавила:

– Говорят, вам, курсантам, неплохо платят...

Нина попыталась было ее немного урезонить. Мне же не хотелось ударить лицом в грязь, и «неразлучных подруг» пришлось приглашать обеих.

... К нашему столику в ресторане подходит официант.

– Что будете пить, девчата? – спрашиваю у девчат.

– Побалуемся, пожалуй, «Шоколадным» ликерчиком, – за двоих отвечает Зоя.

Нина согласно кивает.

Сидим, Зоя то и дело подливает себе ликерчику и без стеснения «травит» похабные анекдоты. Слегка захмелевшая Нина краснеет и дергает ее за рукав: «Угомонись ты...» Но Зоя не слушает. Я пью водку, стараясь соблюдать меру (нельзя нам, летчикам, употреблять лишнее, даже во время отпуска). А эта курва, мало того, что хлещет ликер, опоражнивая рюмку за рюмкой, и позорит нашу компанию всякими непотребностями, но и, не стесняясь Нины, настойчиво зовет меня спать к себе в сарай. Жила она, между прочим, в одном доме с Ниной. Отказываюсь, сославшись на то, что обещал быть сегодня у друга. В то же время про себя думаю: надо бы от этой Зойки отделаться, на таких, как она, не наворуешься. Но как, если Нину она от себя не отпускает ни на шаг? – «Подружка у меня молоденькая, мало ли что может случиться».

Вот и пришлось на завтра снова приглашать их вдвоем. Сказал, правда, что постараюсь прийти с другом.

Утром пораньше поехал к Хитрому. Говорю, мол, понравилась одна девушка, с первого взгляда влюбился, тянет к ней, как магнитом.

Попик рассмеялся:

– Без Люськи ты тоже жить не мог, а чем все кончилось.

Стал его уговаривать съездить со мной к девчатам.

– Так и быть, – согласился он. – Проветрюсь, посмотрю, что за краля.

Тут же сочинили легенду: Хитрый – мой двоюродный брат и тоже – летчик.

Выглядел он солидно, поверят.

Вряд ли по виду и разговору кто то мог догадаться, что Попик расписаться толком не умеет – ставит крестик.

Встречаемся и, по настоянию Зои, опять идем в ресторан, Нина на этот раз оделась получше. На ней приличное платье, хотя сразу видно, что с чужого плеча. Сегодня девчата, помимо «Шоколадного», пожелали попробовать еще и «Пряного» ликера. Заказала, конечно, опять же Зоя. А мне весь вечер хотелось одного: избавиться хотя бы ненадолго от назойливой Зойки, остаться с Ниной вдвоем и объяснить ей свои чувства. Попик меня понял и, когда мы пошли прогуляться, постарался отвлечь старшую подругу, уведя ее в какую то темную аллею.

Времени у меня не так уж много. Хитрого, я уверен, первая встречная не заманит на ночь. И потому, собравшись с духом, начинаю «воздушную атаку».

– Знаешь, Нинок, ты мне с первого взгляда понравилась. В жизни не встречал такой красивой девушки. Если я хоть немного тебе нравлюсь, давай дружить.

Все это я выпалил одним махом. А сердце, хоть Нина и не была первой моей любовью, готово было выскочить из груди.

Нина вдруг посерьезнела, нагнувшись, сорвала с клумбы какой то цветок, поднесла его к губам.

– Ты мне тоже нравишься, Валентин. Только я думаю, – она немного помедлила, – что вряд ли у нас что получится. Не ровня я тебе. Ты без пяти минут летчик, а я кто... Живу с мамой, сестренка у меня, десять лет исполнилось, и все трое ютимся в тесной комнатухе. Живем бедно, порой переодеться не во что. Домой тебя и приглашать совестно. И еще... Брата Володю посадили недавно за грабеж, десять лет дали. Ну зачем, спрашивается, я тебе такая нужна. Ты же – будущий летчик, «сокол».

– Погоди, Нина, остановись, – осмелев, я ласково обнял ее за плечи. – Насчет моей биографии не беспокойся – это моя забота. А тряпки и все прочее – дело наживное. Постепенно купим. Мне ведь государство хорошо платит, а стану летчиком – еще больше получать буду.

Я продолжал врать напропалую, чтобы ничем не оттолкнуть эту чудесную девушку. А сам подумал: ничего, буду больше воровать – одену тебя с ног до головы, станешь ходить, как нарядная куколка. И квартиру обставлю как подобает.

Проводили девчат до их дома, а я поехал с Хитрым в Малаховку.

– Ну и как тебе Нина? – с нетерпением спрашиваю у Попика.

– Девчонка что надо. Вкус у тебя все же есть. – Хитрый, сощурившись, улыбнулся. – А то я, грешным делом, подумал, что после Люськи потянет опять на уродину.

От его глупой шутки меня аж покорибило.

– Не язви. Сердцу ведь не прикажешь.

– Ладно, это я так, не хотел обидеть. – Главное вот что: девчонку твою, пока не испортилась, изолировать надо от этой «прости господи». Не то станет такой же...

С этим я полностью был согласен. Но «изолировать» оказалось не так то просто. Зойка предъявляла на подругу свои права. Она, дескать, поила, кормила ее на «свои заработанные в поте лица», и теперь та пусть расплачивается. Или, точнее, ее «хахаль», я то есть. Ну уж, черта с два. Ради Нины готов на все, а эту погань кормить не собираюсь.

Сам я «работал» теперь «по карманной тяге» с раннего утра и до шести вечера. Нине говорил, что езжу на «секретный» аэродром, где нас готовят к полетам, а «летал» по магазинам и электричкам.

Дней за десять я смог «заработать» столько, что одел девушку с ног до головы. Купил ей несколько красивых платьев, юбку с плиссировкой (они тогда были в моде), туфли. Воры уже поговаривали о предстоящей свадьбе, да и сам я не отрицал, что имею такие намерения.

Хитрому как то «попались» золотые женские часики с браслетом. Попросил их у него, чтобы сделать подарок своей невесте.

– Бери, для Нинули не жалко, пусть носит.

Как же она обрадовалась! Зато Зойка, которая продолжала ее преследовать, обозлилась по страшному. И даже стала ее упрекать: я, мол, помогла тебе «снять» такого парня, а где благодарность. Пришлось, скрепя сердце, опять поить ее в ресторане. Мог бы, конечно, этого и не делать, если бы не чувствовал, что настырная Зойка стала догадываться, на какие «полеты» я езжу.

И все же нам с Ниной удавалось теперь вечерами и по воскресеньям чаще бывать вдвоем. Возил ее в театры, в цирк.

Однажды провожаю ее домой, начинаем прощаться, и вдруг она спрашивает:

– Валя, а ты не хочешь познакомить меня со своими родителями. Ведь если поженимся, придется, наверно, жить у них. У нас то, сам видел, негде.

Что ответить. Ведь я ей соврал, сказав, что у меня есть родители, которые живут недалеко, в Малаховке (это, чтобы удобнее было ездить к Хитрому), и что у них просторная квартира.

В ответ я промямлил что то вроде: «Успеем еще к ним съездить». И добавил для пущей убедительности: «Знаешь, характер у отца неуживчивый...»

Рано или поздно Нина, конечно же, все узнает. Какой же это будет для нее удар. И как отнесется она ко мне, узнав правду?

Мы тогда еще только дружили, целовались и дальше этого не зашло. Любовь к Нине меня как бы окрылила, я даже пить перестал. И, кстати, до сих пор еще не курил, помнил урок, который нам с Костей, еще несмышленишам, преподнесла Маша, сестренка.

И вот теперь в один прекрасный момент все раскроется. Эти мысли не давали мне спать по ночам, бередили душу.

Зато в «работе» везло мне теперь, как никогда, то и дело попадались хорошие деньги. Как то в электричке, битком набитой пассажирами, расстегнул «порт» у одной солидной еврейки. «Работали» на пару с Хитрым.

– Давненько не принимал я такого «пропуля», – в изумлении развел он руками, когда посчитали купюры.

– Не иначе, Боженька слышит мои молитвы.

В пачке оказалось восемь тысяч сотенными.

Первым делом вспомнили о своем воровском долге перед теми, кто «в зоне». Заехали к Розиной матери, дали ей рублей восьмьсот. Потом к сестре Огорода. Попросили, чтобы Розе и Володьке послали посылки и привет от нас.

Так не хотелось встречаться мне с Машей, Розиной сестрой, но она оказалась дома. И конечно, не удержалась, чтобы меня лишний раз попрекнуть.

– Роза о тебе чуть не в каждом письме спрашивает, а ты пропал совсем, в гости не приходишь.

– Да нет, – смутился я. – Просто редко в Москве бываю.

– Не хитри, Валентин, все я про тебя знаю, – она немного смягчила тон. – Ася сказала, что видела тебя с какой то красивой девушкой. Что поделаешь. Роза ведь тоже понимает, что, будь вы по прежнему вместе, никто бы вас не смог разлучить.

– Она права. – Я согласно кивнул головой.

– На, почитай на досуге. – Маша передала мне пачку писем от Розы. – Сам поймешь, каково ей там без тебя.

Под впечатлением этого разговора и Розиных писем я пошел на почту и отбил ей большую телеграмму. Написал, что о ней и о любви нашей буду помнить всегда.

Оставшиеся деньги мы с Хитрым поделили пополам. На них я купил хороший приемник с проигрывателем – для Нины. Прихожу к ним домой, а там, кроме Валюши, сестрички Нининой, никого.

– А взрослые где? – спрашиваю девочку.

– Мама на работе, а Нина за хлебом пошла, – отвечает она. – А вы присаживайтесь.

Валюша подставляет мне табурет.

В который уже раз с тяжелым сердцем оглядываю жалкую эту комнатку. Да тут, вообще говоря, нечего и оглядывать. Две старенькие железные кровати, крохотный столик на курьих ножках, за которым Валя делает уроки, да три табуретки.

Девочка только что пришла из школы и собиралась пообедать. Весь обед – постные щи да каша. Мать у них была верующая и требовала, чтобы дочери соблюдали посты. Хотя та пища, которую все они принимали в обычное время, была почти такой же постной и скудной.

Прибежала Нина. Увидев меня, обрадовалась. Подарок произвел впечатление.

– Ну, теперь будем с музыкой.

– Дай срок, купим и телевизор.

– Размечтался тоже, – ответила на мое бахвальство Нина. – Тут не знаешь, как концы с концами свести...

Я понял, что попал «не в точку». В самом деле, людям порой есть нечего, а «последними известиями» сыт не будешь. И постарался сменить пластинку.

– Слушай, Нинок. Убери ты эти кастрюли. Берем Валюшу и пошли в кафе. Накормим там ее досыта.

Девочка обрадовалась, захлопала в ладоши.

В кафе она с таким аппетитом уплетала обычный шницель, будто вкуснее ничего не ела. Пришлось заказывать ей вторую порцию. Боже, после войны прошло десять лет, а можно подумать, что мы живем в сорок пятом.

Накупил девчонке пирожных, шоколадных конфет. И тут ее радости не было предела. А после, прежде чем что то приобрести «для дома», стал советоваться с Нинулей. Привез им из мебельного магазина новые кровати, диван, этажерку, стулья. Все это, как и посуду, мы выбирали вместе с невестой.

«Покупал» много, а в этом тоже определенный риск, даже если «работаешь» осторожно. И вот однажды чуть не сорвался. В одном из магазинов, что возле платформы Новая, вытащил из дамской сумочки тысячи полторы. И тут меня схватили за руку. Не милиция – посторонние мужики. Деньги заставили вернуть женщине, меня же вывели на улицу и держат за руку, чтоб не убежал. «Жертва», к счастью, решила не связываться и быстро ушла, но собралось любопытных человек пять. Что они со мной сделают? Изобьют или поведут в милицию? Лучше пусть уж бьют. Вон тот, кудлатый, уже рукава засучивает. Я весь съежился, чтобы хоть как то смягчить удар. Вдруг слышу знакомый голос. Это же Севастополь. Поднимаю глаза – точно он. И не один. С ним Хитрый и еще четверо. Все свои, воры. Я знал, что здесь, на Новой, «работает» их «бригада»...

Меня и тех, кто пытался со мной расправиться, они обступили со всех сторон.

– В чем дело? Что здесь происходит? – Голос у Севастополя громовой, вид солидный.

– Да вот этот парень, – отвечает, показывая на меня, кудлатый детина, деньги у бабы вытащил.

– Ах, сволочь, – «возмущается» Севастополь и тут же дает мне всамделишный подзатыльник. Не волнуйтесь, граждане, разберемся.

Воры берут меня под руки и с силой тащат «в милицию». Я упираюсь, пытаюсь «вырваться».

Все разыгрывается, как по нотам. И вот мы все уже на платформе, садимся в электричку.

– Сколько раз тебе говорено, – с упреком втолковывает мне Хитрый. – Не работай в одиночку. Совсем обнаглел парень.

Я молчу – согласен. Понимаю, что ребята спасли меня от тюрьмы. И естественно, не могу остаться должником. Веду всех в ресторан.

Несколько дней отдыхал, гулял с Нинулей, хотя настроение было паршивое. Как будто предчувствовал еще одну неприятность. Так оно и случилось.

Захожу в обувной магазин в Люберцах (опять один, совет Хитрого не пошел впрок). Женщина примеряет туфли, рядом с ней на лавочке ридикюль. «Беру» на редкость удачно. В тихом скверике раскрываю сумочку. Денег немного и с ними вместе – сложенная вчетверо двухсотрублевая облигация. Неспроста, видно, она сюда положена. Заглянул в сберкассу, проверил. И вправду – выигрыш, да притом крупный, целых пять тысяч. Нет, здесь получать рискованно. В тот же день еду в Москву. Все в порядке, деньги у меня в кармане. В радостном настроении возвращаюсь в Люберцы и сразу – к Нине.

Вижу, лицо у нее заплаканное.

– Что случилось, Нинуля?

Она молчит. И вдруг – выпаливает одним махом:

– Знаю я теперь, Валентин, какой ты летчик.

Меня – словно обухом по голове ударили. Но сдержался: надо же выяснить, все ли ей известно.

– Объясни, что ты имеешь в виду? – спрашиваю ее, стараясь не показывать вида, что взволнован.

– Будто сам не догадываешься. – Нина часто часто заморгала глазками. – Зойка сказала мне, что ты... вор. Видела, говорит, как в обувном магазине украл сумку у женщины.

Стою перед ней, не зная, куда деться от стыда. Будто раздели меня донага. Ну все, думаю, окончен наш роман.

Но что это? Она подходит ко мне, обнимает и робко целует в щеку.

– Не переживай. Все равно я тебя люблю. Не хочу только, чтоб воровал.

– А если буду, бросишь? – робко спрашиваю ее.

– Нет, не брошу. Душа у тебя открытая, щедрая. А за это можно все простить. Только ни к чему он, этот вечный страх, ни тебе, ни мне. Пусть будем жить победнее, зато без боязни, что завтра заберут.

У меня после этого – будто камень сняли с груди. Неужели у нас с ней все будет по прежнему. Прижимаю Нину к себе, и мы долго стоим, ощущая теплоту друг друга.

Потом я долго рассказывал ей о своей жизни, о родителях и друзьях. Не стал скрывать даже то, как любил Розу. Мы стали бывать у Маши, Ани.

Однажды съездили к тете Соне. Она меня сразу не узнала – давно не виделись. А когда убедилась, что я «тот самый Валька», обрадовалась и даже всплакнула.

– Теперь то ты, чай, завязал? – спросила она.

– А разве не видишь. Вот, знакомьтесь, законная моя половина...

Опять пришлось врать, выкручиваться. Но на этот раз потому лишь, что не хотелось ее огорчать.

Жил я теперь у Нины, и большего счастья не хотелось.

... Вскоре приключилась со мной одна любопытная история, о которой нельзя не рассказать. Прямо таки казус. Ехал я поздно вечером в электричке слегка выпивши, вздремнул малость. Тут кто то меня толкает в бок. Да с такой силой, что сразу пробудился. Вижу – со всех сторон обступила кодла, с ножами. Звать кого то за помощью бесполезно, вагон был почти пустой. Может, попробовать убежать? Резко приподнявшись, пытаюсь пробиться к проходу. Но тут же правую мою ягодицу словно обожгло – кто то из подонков пырнул ножом, А вслед за этим – сильный удар по голове, чем то тяжелым. Тут я потерял сознание.

Когда очнулся, рядом никого уже не было. Пиджака на мне нет (прихватили заодно с деньгами), часов тоже.

Добрые люди помогли выйти из электрички, вызвали «скорую помощь». Она отвезла меня в Люберецкую больницу.

На следующий день приехал Кобзев Михаил Дмитриевич, начальник угрозыска, с которым мы были давно знакомы.

– Как же так, Валентин, – удивленно развел он руками. – Тебя ведь все воры знают, и надо же – так поступили. Наглецы, да и только.

– «Штопорилы» они, а не воры, – объяснил я ему. – Вы разве видели, чтобы наши пускали в ход нож.

– Ясно. Грабители, значит. Ну что ж, пиши заявление. Найдем твоих обидчиков.

Заявление писать я отказался: не в наших правилах.

– Как знаешь, – заключил Михаил Дмитриевич. – Но если кого то из этих «штопорил» увидишь, сообщи мне. Ведь и вы их не очень любите.

Это он точно подметил – грабителей мы терпеть не могли. И тем не менее наш воровской закон запрещал их «продавать». Кобзев, конечно, тоже об этом отлично знал... Сходки собирались все реже, воры поутихли, но законы по прежнему соблюдали.

Михаил Дмитриевич собрался было уходить, привстал со стула. Потом раздумал и снова присел, но на край кровати. И начал со мной говорить о другом – по простому, не официально.

– Слышал, девчонка у тебя хорошая, почти невеста. Любишь ее? – Я кивнул. – На свадьбу не напрашиваюсь, но очень хочу, чтобы опять не сорвалось. Мой совет – завязывай ты, дурак стоеросовый. Молчи, молчи, все я знаю... Как из больницы выпишут, приходи, работу тебе найдем.

... Попадались же на моем пути хорошие люди – и прокуроры, и судьи, и сотрудники милиции. Кто же, как не сам, виноват, что пренебрегал их советами.

Михаил Дмитриевич был одним из тех, кого я особенно уважал. На нас, воров, смотрел он прежде всего как на людей, старался разобраться с каждым по справедливости. И это в то время, когда еще не было никакой службы профилактики, а его задачей было ловить преступников.

Через каких нибудь полчаса после Кобзева заходит ко мне в палату Нина, взволнованная, но довольная. Оказывается, Михаил Дмитриевич заехал за ней домой и подвез к больнице на своей машине. Редкой души был человек.

... Несколько лет спустя, когда я снова оказался в Москве, с радостью узнал, что Кобзев уже полковник и назначен начальником Малаховской милиции. Так хотелось его тогда увидеть, но не зашел – находился в бегах...

В 1957 году Москва готовилась к Всемирному фестивалю молодежи. В Люберцах, в здании того самого ПТУ, где когда то учился первый космонавт Юрий Гагарин, разместили сотрудников милиции, приехавших из других городов. Они должны были поддерживать порядок, чтобы наша столица не ударила лицом в грязь перед иностранцами.

Сомнений не было, что перед фестивалем не оставят «без внимания» и нас, карманников. В «образцовом коммунистическом городе» нам, конечно, было не место (хотя до «образцового» в то время, как и теперь,

Москва так и не дотянула). Понимал, что при таком скоплении милиции нам, карманникам, «работать» вдвойне, даже втройне опасно. И подумывал было завязать, воспользоваться предложением Кобзева, хотя бы на время. Но, как на грех, слишком уж мне везло в «работе». Решил, что начнется фестиваль, вот тогда и брошу. А когда попался с поличным, оставалось уже кусать локти. Приписали на этот раз грабеж и дали двадцатник. Больше всего жалел не себя, а Нину, с которой расставался надолго, если не навсегда.

Не в коня корм.

Перебираю в памяти годы, проведенные в зоне, после того, как меня осудили в очередной раз. Три события особенно запомнились – в серую и беспросветную зековскую жизнь внесли они что то долгожданно радостное. Первое – когда мне за соблюдение режима и добросовестный труд скостили срок с двадцати до пятнадцати лет. Запомнилось и другое событие, когда часть заключенных, в том числе и меня, перевели в колонию поселение. Вот было радости. Нет теперь никакого конвоя, деньги, что заработал, выдают на руки – покупай в магазине, что хочешь. Можешь носить «вольную» одежду. Если хочешь, можешь обзавестись семьей. Хорошую все же придумали вещь – эти колонии поселения.

Но особенно памятным стал для меня один из октябрьских дней семидесятого года. Из поселения Дальнего, в котором я жил и валил лес, вызвал меня начальник спецчасти – в Тынду, где размещалась администрация. Чего только не передумаешь, когда поступает такой вызов и ты на попутке отправляешься колдыбачить пятнадцать верст по разбитой дороге.

Захожу в спецчасть. Начальник вручает мне распечатанный конверт:

– Пляши. Только не забудь расписаться в получении.

Дрожащими руками разворачиваю сложенный вдвое лист. Бумага вощеная, плотная. В левом углу – герб и надпись: Президиум Верховного Совета. Начинаю читать – и не верю своим глазам. Помиловали! Несколько месяцев ходило по каким то инстанциям мое письмо. И вот, наконец...

Радостный выбегаю от начальника. После долгих тринадцати лет заключения – свобода. Самое время теперь подумать, куда поеду.

На этот раз я сознательно не рассказываю подробно о годах, проведенных в зоне. Потому что к тому, о чем писал раньше, немного можно добавить. Упомяну разве лишь о том, что жить по своим «законам» ворами было намного трудней, чем прежде. Начальство следило за тем, чтобы они не скапливались в одном лагере (по новому – ИТУ, или колонии), за «общаки», карты и все прочее строго наказывали. Надзирателей, как и «оперов», стало больше, режим ужесточился, и нас, воров, крепко поприжали. Хотя нельзя сказать, что это ужесточение заставило тех, кто жил в зоне, отречься от воровской «идеи». Таких «отказников» насчитывались единицы. Остальные же притаились до поры до времени.

Рядом с поселком, где я жил, была зона особого режима. Зеков, одетых в полосатые робы, выводили на валку леса, где трудились и поселенцы, либо на строительство узкоколейки. Случайно узнал, что здесь, среди «особистов», находится и Хитрый Попик. Осудили его, между прочим, не за «карман», а за валюту – по 88 й статье УК. (Вот тебе, думаю, и неграмотный Володя: стал разбираться и в долларах, и в фунтах стерлингов, да плохо, видать «фарцу» усвоил.) Помогал я ему, чем мог: то чайку передашь, то чтонибудь из съестного. Обычно через одного из конвойных, которого тоже «угощал» чаем.

Были в особой зоне и еще два три вора, из москвичей, о них я на воле слышал. Одному из них по кличке «Нос» обещали скинуть срок с четвертака до пятнашки при условии, если он даст подписку, что отказывается от воровской «идеи». Но парень наотрез: вор я, и точка. Выходит, не так просто выбить из нас, воров, принципы, на которых воспитала «братва», – подумал я. – Не умерла «идея» и, видно, долго еще ей жить. Просто на какое то время ушла в подполье, заставив своих приверженцев приспособиться к суровым условиям. Но, ей Богу, она еще о себе заявит. Так что «лягавые» рано победу празднуют. Так, собственно, оно потом и случилось. «Воры в законе» в конце концов вернули свое, да с лихвой. Поработали тут в основном «новые», такие, как Сизый, – этого не могу отрицать, хотя не приемлю их и считаю отступниками.

Куда же мне все таки податься после освобождения? В Москву и Московскую область с моим «багажом» путь заказан, – это яснее ясного. А что если мотануть в Краснодарский край? Очень звал туда один кореш, Володя, с которым мы почти десять лет вместе «баланду» кушали. Освободился он год назад, но обо мне не забыл, добрые письма пишет. У его отца в станице просторный дом, сад с виноградником. Сам Володя работает в Сельхозтехнике. Успел жениться, недавно родилась у него дочка. Надумал: поеду к нему.

И вот уже я в поезде. Впервые еду нормально, как все люди. Выгляжу вполне солидно – кожаное пальто на меху, ондатровая шапка, модный чемодан с застежками. Успел прибарахлиться в Свердловске, где делал пересадку. С соседом по купе, молодым парнем, который едет с женой, мы потягиваем пиво из тонких стаканов, гутарим о том, о сем. За окнами вагона проплывают заснеженные леса, живописные сопки. Красиво все таки Предуралье. Но только сейчас, оказавшись на воле, увидел я эту красоту, хотя в таких же, как эти, сопках прожил долгих тринадцать лет.

Среди природы, которая мне открылась как бы заново, а тем более среди людей, чувствую я себя дикарем. Самым обычным вещам радуюсь, будто мальчишка. В нашем купе, кроме молодоженов, едет молоденькая девушка, студентка. Она расположилась на нижней полке. К вечеру в вагоне стало прохладно, и я укрыл ее своей теплой шубой. Она улыбнулась в знак благодарности, и так мне стало приятно.

Хорошо все таки жить на свете! Нет, больше воровать не буду. Лучше руку себе отрублю.

Приеду к Володьке, устроюсь на работу, а потом напишу Нине, чтоб приезжала. И будет у меня, наконец, семья. Ее сыночка усыновлю.

Да, я забыл сказать, что с Ниной мы переписывались долго, почти шесть лет. И в каждом письме были слова: возвращайся скорее, остаюсь твоей, жду. И вдруг получаю письмо, от которого долго не мог прийти в себя. Нина чуть ли не с радостью сообщает, что у нее родился сын. И это мне, человеку, который на нее молился. И хотя в том же письме она приписала, что замуж не вышла и по прежнему ждет меня, перенести эту измену я был не в силах. Отвечать ей не стал. После этого она прислала еще три или четыре письма, но я твердо решил, что между нами все кончено. Поняв это, прекратила писать и она.

И вот теперь, оказавшись на воле, понял, что Нинулю надо было простить. Стоит ли строго винить за то, что захотела стать матерью, если природный инстинкт этого требовал. Сейчас ей уже под тридцать, и если б она дождалась меня, неизвестно, смогла ли родить.

И вот я уже в Краснодаре. Володька, которому успел отбить телеграмму, встречает на вокзале. Приезжаем к нему домой. Возле увитой плющом калитки ждет нас его отец дядя Костя. Он инвалид войны, ходит на протезе. А на кухне во всю хлопочет Володина жена Галина.

– Располагайся, Валентин, будь как дома, – обращается ко мне дядя Костя. – Мы для тебя комнату приготовили.

Садимся за стол. Чего тут только нет – виноград, красивые крупные яблоки, салат из помидоров и огурцов. Даже графин своего домашнего вина, какого век не пробовал. И все это сохранилось с прошлого урожая – на дворе то был еще февраль.

Достаю бутылку коньяка, которую успел купить дорогой. Как же не хватало мне все эти годы домашнего уюта, «мирского» дружеского застолья, крова над головой. И какие вокруг меня хорошие, добрые люди.

– Край у нас благодатный, – улыбаясь, говорит Володин батя. – Воткни в землю былинку – яблоня вырастет, а от нее – сад. А рыбы в нашей речушке столько – и сазан, и таранка... Оставайся, Валентин. Пропишем, на работу устроим.

Да, места благодатные. Чего мне еще искать.

На другой день идем с корешем в милицию – оформлять прописку.

– Биография у вас не из важнецких, – познакомившись с моими документами, сказал начальник уголовного розыска. – Как сами то мыслите, не потянет на старое?

– С прошлым решил порвать, товарищ начальник.

– Ну, коли решили... Да я и сам думаю, после такого срока на старое не потянет. – Он посмотрел мне прямо в глаза, от чего стало как то не по себе. – Разрешение на прописку я дам. И с работой поможем. Только уж постарайтесь не подвести.

Первый в моей жизни рабочий день на воле. С этого дня я слесарь ремонтной бригады Сельхозтехники. Опасался, что не справлюсь – надо бы с ученика начать. Но такой должности здесь нет, ребята сказали, что подучат. Получилось, хотя не сразу.

Работа разъездная. Ездим в крытом грузовике – «походке», обслуживаем совхозные бригады.

Не поверите, но неожиданно обнаружил в себе талант «доставалы» (или «выбивалы» – не знаю, как точнее назвать). А заодно – юмориста наподобие Васи Теркина.

Вот как это случилось. У нас в объединении была «напряженка» с водопроводными кранами и трубами. Меня вместе с шофером отправили за ними на краевой склад.

Приезжаем, а там не меньше трех десятков машин – стоят и ждут своей очереди под погрузку. За день тут явно не управишься. А трубы нужны позарез, из за них бригады на простое.

«Пошли в магазин», – говорю Славе. Покупаю три шоколадки, беру у него папку с документами. – «А теперь – следуй за мной». – И, расталкивая плечами толпу, направляюсь к конторе.

– Куда ж вы лезете без очереди, – возмущаются те, кого мы оттеснили.

– Пардон, товарищи, пресса из Одессы. У нас с товарищем срочная командировка. Попрошу не возмущаться.

Пока люди разобрались, что это шутка, мы со Славой стояли уже перед красотками, которые выписывают бумаги на получение материала со склада.

– Минуточку, девочки, могу я видеть Тамару Васильевну? – задаю им с ходу вопрос.

– У нас такая не работает, – с удивлением отвечает одна из них.

– Тогда это вам.

Я кладу на стол шоколадки и продолжаю:

– Мой приятель прибыл из славного города Одессы. Если можно, уделите ему капельку внимания.

Девчата смеются. Я оставляю Славу оформлять накладные, а сам выхожу из конторы.

– Понимаете, нет Тамары Васильевны, – картинно развожу руками перед толпой, – главбуха из треста.

– Да куда ж она запропастилась? – спрашивает кто то с иронией, явно мне подыгрывая.

– А вы поговорку такую слышали: когда в НКВД говорят «садитесь», не принято как то стоять. А коли сесть постесняешься – все равно заставят.

– Ясно, – смеются мужики. – Ну дает одессит. Артист, да и только.

Выходит из конторы Слава, весь сияющий.

– Все в порядке, Василь Иванович? – спрашиваю его, продолжая разыгрывать роль одессита. – Тогда поспешим, не то Лаврентия Палыча не застанем на складе, в пивную уйдет, а там, глядишь, тоже сядет.

Опять мужики гогочут, – много ли им надо, клюют и на плоские шутки. И вот так смехом, погрузили машину труб и кранов.

Нет, в самом деле: видать, погубил я в себе талант толкача снабженца. А может и артиста, кто знает...

Возвращался в станицу в приподнятом настроении, оттого что сумел сделать что то полезное людям, которые трудятся с тобой рядом. Прежде такого чувства не доводилось испытывать.

Настроение испортил мне Слава. По дороге он остановился в каком то поселке, чтобы продать частникам дефицитные медные краны.

– Они у нас, что, лишние? – вырвалось у меня.

– Не бойся, по накладным все будет о'кэй.

– Как понять?

– Да очень просто. Пока трубы грузили, я прихватил лишний ящик краников.

Вот оно что. Оказывается, мой напарник нечист на руку. Ну, думаю, дела. Оказывается, и тут воруют. Правда, не из нагрудного или брючного кармана, а из широкого государственного. Но разве это меняет дело. После работы, гляжу, мои бригадники – кто пару досок «казенных» с собой прихватил, кто штакетинок для забора, кто мешок комбикорма – поросят кормить. Тащат все, что плохо лежит. У них даже поговорка такая: все вокруг колхозное, все вокруг мое. Сваливают это добро в «походку», а она развозит вечером по хатам.

– Валентин, а тебе что – для дома, для семьи ничего не надо? – спросили как то ребята, видя мое равнодушие ко всем этим вещам.

– Да нет у меня пока ни того, ни другого, – отвечаю.

– Ну, погоди, наступит лето, и тебе будет чем поживиться. Сады, бахчи, помидоры – все наше.

Вот так потихоньку да помаленьку растаскивают государственное добро. А если всю эту «мелочь», что они прикармливают, сложить вместе, ох и здоровая будет куча. И никто этих «несунов» не судит. В худшем случае, пожурят как нашкодивших школяров. Я же – вытащу кошелек из кармана: и пусть в нем окажется пятак, все равно, если поймают, самое малое дадут три года.

Не сегодня – тогда еще лезли мне эти мысли в голову, и от них становилось как то безрадостно. Несправедливо устроен мир.

А тут еще меня очень огорчило, что не смог разыскать Нину.

На мой запрос адресный стол ответил, что такая в Москве и области не проживает. Рухнула надежда создать семью. Настроение испортилось.

Володька пытался посватать меня к какой то женщине, но мне на нее и смотреть не хотелось.

Сам не знаю – то ли мысли о «несунах» повлияли, то ли вообще дурное настроение, но вдруг меня стало неудержимо тянуть воровать. Хоть умри, но тянет.

Удивительно, ведь всем я обеспечен, одет, обут, сыт, летом навалом дармовых фруктов и овощей, работа неплохая. Нет, скорей всего, действует многолетняя сила привычки. От нее руки чешутся. Не в коня корм, видно. Неужели заболел kleptomанией: по крайней мере так порой объясняют поведение карманного вора некоторые психиатры.

Пытался, правда, бороться с собой. Во время одной из наших дальних ездов с ремонтной бригадой встретил «своего» – москвича Юру по кличке «Китаец», которого судьба тоже забросила в эти края. Он хорошо знал Пушкиных, Нину Вакулу и Чоха, обо мне тоже слышал. Китаец рассказал мне «по секрету», что нашел «трассу», где можно неплохо «поработать». В пятнадцати километрах от их станицы, в городе Славянске, по выходным собирается большой «толчок», и автобусы идут туда переполненные. Китаец «трудился» на этой «трассе» один. Посетовал, что трудновато, и предложил мне пойти в подельники. Очень хотелось, и все же я нашел в себе силы отказаться.

Но «воздержание» мое длилось недолго. Сорвался на мелочи, сам того не ожидая.

Шел однажды с работы, вижу – дерутся двое изрядно подвыпивших мужиков. Сделал доброе дело – разнял их. А заодно... снял у обоих часы.

Наутро мужики очухались. Припомнили, кто их разнимал и – в милицию. «А вы уверены, что снял именно он?» – спросили там, имея в виду меня. – «Нет, – замялись пострадавшие. – Но может, он видел, кто снимал».

Начальник угрозыска Гришин приезжает в нашу бригаду, находит меня. «Ты, случаем, не прихватил часы, когда разнимал эту пьянь?» – «У соседки куры дохнут, а я виноват. Так что ли?» – стараясь не нервничать, отвечаю

ему с деланным юморком. – «Ну что же, они сами не знают, кого винить, – с облегчением заключает «опер». – Начали уже друг на друга капать. Пожалуй, оштрафую я их обоих, чтоб неповадно было напиваться до одури».

Так он и сделал. А те часы я надежно припрятал в сарае. Потом отдал их Володьке, который вместе с женой собирался ехать к родственникам в Орловскую область, – те пригласили на свадьбу. «Возьми, может подаришь кому эти «железки».

Когда провожал их на станцию, опять сорвался. Подошел поезд, я помог Володьке и Гале занести вещи в вагон. Пробираюсь по вагону к выходу, гляжу – дверь в купе для проводников открыта и на стенке висит форменный китель. Лезу в чужой карман, достаю туго набитый бумажник, прячу за пазуху и быстро выхожу из вагона. Поезд пока стоит, отправление через десять минут. За это время я успеваю пройти назад вдоль состава, раскрыть на ходу бумажник, оценить, что в нем не меньше четырех сотен четвертными. И, положив, содержимое в карман, выбросить «галюнок» в чей то огород, примыкавший к платформе. Больше того, вернувшись к вагону, успеваю вызвать Володьку под предлогом, что тот оставил у меня билет и, не считая, отдать ему добрую половину «купленных» купюр. Мне то большие деньги ни к чему, а им с Галей в дороге пригодятся. «Нечтяк, – подумал при этом. – «Черви» у проводников дармовые. Спекулянты те еще. Сажают безбилетников, фрукты везут в центральные области. Будь на моем месте любой другой, и его бы совесть не мучила».

На «вырученные» деньги щедро угостил я тогда ребят из бригады, гуляли в живописном месте на берегу оросительного канала.

В общем, руки опять зачесались. Разыскал Китайца, съездил с ним в Славянск на «толчок». Деньги «купили» неплохие. Обещал ему, что будем теперь «работать» на пару.

Одно плохо – почему то стал одолевать меня сильный страх, особенно по утрам. Милицию боюсь теперь до невозможности, возле райотдела стараюсь не появляться.

Как то выехали мы на своей «походке» в одну из соседних станиц. Перед обедом зашли в местный магазин. Там и продукты, и промтовары вместе. Бригадники покупают водку и курево, продавщица занята, а я в это время разглядываю прилавок, на котором разложены товары. Вижу – женские лакированные туфли, две пары. Беру их, быстро кладу себе в сумку и выхожу на улицу. И тут же думаю: «Зачем взял? Ведь сейчас продавщица заметит, и все закрутится. Местные, она знает, не возьмут. Вспомнит, что были ремонтники, и никуда мне не деться. Зачем же я это сделал? Не иначе – схожу с ума».

Едем с работы, нервы у меня на пределе. Прямо в машине открываю бутылку водки, выпиваю стакан. Вроде немного успокоился. Нет, надо уезжать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Завтра же срочно выпишусь, рассчитаюсь на работе. Только вот вопрос: куда бежать? Может в Москву, самому поискать Нинулю?

Прихожу домой, встречают Вовка с Галинкой – приехали только что. Рассказываю все корешу. Туфли, обе пары, даю его жене: одни в подарок, другие, чтобы кому нибудь продала. Володька ехать мне не советует, тем более в Москву. Не те, мол, теперь времена, поймают за милую душу.

Всю ночь не сплю, жду милицию. Лег в садике на топчане. Рядом собака. Если кто появится – залает, и я убегу огородами. Ночью все обошлось.

На другой день, чтобы не вызвать подозрений, вышел на работу. Смотрю, в обед приезжает на мотоцикле какой то парень. Направляется к бригадиру, о чем то его спрашивает. Тот показывает на меня. Ну все, думаю, это конец.

Парень подходит ко мне, представляется. Как я и думал, это сотрудник местного угрозыска. Потом приглашает отойти в сторонку побеседовать.

– Вы вчера заезжали в магазин на хуторе?

– Да, было дело.

– У нас есть данные, что именно вы взяли с прилавка две пары туфель, а деньги за них не уплатили. Если хотите, чтобы все обошлось по хорошему, верните эти туфли, либо отдайте деньги. Не думай, – он перешел вдруг на

«ты», – сажать я тебя не собираюсь. Пойми, женщина, у которой ты украл туфли, получает зарплату семьдесят рублей. Вдова, на руках трое детей. За эти туфли она должна всю зарплату отдать.

Говорил он спокойно, внушительно, несмотря на свою молодость. От его слов в голове у меня все перемешалось. Рассудок диктовал: отдай деньги. Но чувство страха оказалось сильнее. Оно подсказывало: отдашь – посадят.

Я не нашелся, что ответить, и продолжал молчать.

– Ну ладно, даю тебе время подумать. Иди посоветуйся с бригадиром, ребятами. Думаю, что поступишь разумно и по таким делам мы с тобой больше не будем встречаться.

Он сел на мотоцикл и уехал. Не верилось, что меня не задержали по подозрению.

Вечером посоветовался с Володькой. «Отнеси деньги, – сказал он. – Завтра же утром».

Продавщица, которой я хотел вручить эти деньги потихоньку, не привлекая внимания посторонних, узнав, в чем дело, подняла страшный хай. Я быстро вышел из магазина, чтобы ее не слышать. На душе было муторно. Надо уезжать немедленно.

В тот же день взял расчет в Сельхозтехнике, выписался и уже вечером сел в поезд, идущий на Москву. В дороге, едва пришел в себя, снова сорвался, надумал украсть деньги. Но в последний момент меня схватили за руку. Пришлось бросить все – чемодан, пиджак с документами и бежать. Выпрыгнул на ходу поезда.

Возвращаюсь на станцию, откуда выехал. Разыскиваю Юрку Китайца. Он с ходу предлагает надежное дело – «взять» сейф в какой то «конторе». Ночью вызываем Володьку, тот тоже соглашается. Сейф берем целиком, уносим подальше к бахчам и там «разбиваем». Денег две тысячи четыреста рублей. Делим их, и я опять сажусь в московский поезд. Не за свое взялся, пошел в разнос, теперь жди беды.

В Москве первым делом начинаю разыскивать Нину, но она – как в воду канула. Навестив кое кого из своих, решаю, что из столицы лучше уехать. Наверняка здесь меня уже ищут.

Начинаю мотаться по Союзу: из Харькова в Куйбышев, оттуда в Саранск, Курск. Потом потянуло опять в Краснодарский край. Ночью приезжаю в станицу к Володьке. Встречает Галина, его жена. От нее узнаю, что Володька и Китаец сидят в Краснодаре, в следственном изоляторе. Оставляю ей немного денег и той же ночью уезжаю в станицу Крымская. Забрался там в какую то временку, чтобы отоспаться. Утром открывается дверь. Кто знал, что хозяин этой временки – начальник здешней милиции. Влип по уши.

Как могу, тяну время. В Новороссийском приемнике распределителя, куда меня отправляют, называюсь Александровым из Одессы. Не успевает, однако, уйти запрос, как мне удается бежать.

Еду в Краснодар. «Работаю» по «карманке». Часто бываю в аэропорту: пассажиров с большими деньгами на юг прилетает много. С местным жульем не знаюсь. Боюсь, что «сдадут».

После очередной удачной «покупки» беру такси и еду на железнодорожный вокзал. Но сегодня праздник, 7 ноября, и здесь находится опасно.

Ближайшее кафе закрыто – еще рано. Знакомлюсь на вокзале с парнем лет двадцати семи, Виктором. «Пошли ко мне, вместе праздник отметим, – приглашает он. – Отсюда – пять минут». Он холостяк, живет один в небольшой комнате. Выпили, закусили, разговорились. Оказалось, что Виктор тоже вор (потому и меня приметил). «Вертит углы» – крадет на вокзале портфели и чемоданы. У него, я, наконец, отоспался.

Вечером вместе отправились в ресторан. Подсели к девушке блондинке, которая в одиночку потягивала коньяк с кофе. Оказалось, она из Прибалтики. Хорошо гуляем. И тут к нам подсаживается знакомый Виктора и начинает «прикалываться» к блондинке, Виктор ревнует, и между ними возникает ссора. Заканчивается она неожиданно: мой новый приятель для выяснения отношений зовет своего дружка на улицу, покурить. Я тоже иду с ними. Подходим к скамейке, и Виктор неожиданно вонзает сопернику в спину нож.

Я пытаюсь что то сказать, но от такого поворота событий язык немеет.

– Мотаем быстро, – моментально трезвеет Виктор.

Мы кладем истекающего кровью парня на скамейку и быстро уходим. Вездесущие старушки из подъезда нас все же заметили:

– Что же вы, молодые люди, товарища своего оставили?

– Ничего, проспится – сам до дому дойдет, – отвечаем им, прибавляя шаг.

«Выбрось нож, – успеваю напомнить Виктору, постепенно приходя в себя, – а я буду ловить такси. Едем на вокзал».

Мне нужно, не мешкая, бежать из Краснодара. Не то заберут вместе с Виктором.

На вокзале встал в очередь – взять билет до Ростова. Виктор куда то смылся. Смотрю, подходит с чужим чемоданом: «Быстрей на выход». На выходе нас берут оперработники...

И вот я снова в приемнике распределителя. Убежать практически невозможно. На мне казенная одежда. В туалете – овчарка, готовая на тебя кинуться в любую минуту.

Называюсь опять Александровым. Но проходит три дня, и уголовному розыску становится ясно, какой я одессит.

Меня ведут в следственный изолятор, пытаются «пришить» дело по сейфу. Я всячески выкручиваюсь. Следователь берет на пушку, говорит, что пока я «бегал», Володьку и Китайца уже осудили, и они назвали меня как соучастника. Я чувствую, что это «туфта» и что на суде подельники скорее всего откажутся от своих показаний.

Так оно и получилось. Во время судебного заседания Володька с Китайцем все берут на себя и показывают, что меня оговорили. Судья злится, адвокат требует меня освободить. Я нагло улыбаюсь.

Наконец, зачитывается приговор. Каждого из нас осуждают к шести годам лишения свободы. Но судья подкинул мне «бяку». В приговоре указано, что, испугавшись мести с моей стороны, Володька и Китаец изменили первоначальные показания и преступление, которое совершил я, взяли на себя.

Пишу кассационную жалобу. Долго нет ответа. Наконец, он приходит, но не в мою пользу. Вовку и Китайца освобождают из под стражи. Меня отправляют в колонию, что под Краснодаром.

На этот раз на воле пришлось мне гулять неполных десять месяцев.

В зоне работал, выучился на шлифовщика. Эта специальность пришлась по душе. Уже через полгода ходил в ударниках. Мой портрет помещали на Доску почета. Появились даже ученики. Примерным трудом заслужил досрочное освобождение.

Один из тех, кого я обучал на шлифовщика, молодой парень, познакомил меня на воле со своей теткой. Лидой ее звали. Приятная женщина, вдова, квартирка неплохая. Но связывать с ней свою судьбу не стал. После Нины, честно признаюсь, никого так и не смог полюбить.

Но вот чего уж не ожидал от себя – сильно привязался к восьмилетнему Сашке – сыну этой женщины. Шалун он был страшный, за уроки садился из под палки. А вот меня стал слушаться. Видно, не хватало ему отцовского воспитания. Я же впервые в жизни пожалел о том, что лишил себя радости отцовства.

Эта моя «семейная история» закончилась скоро, полгода не прошло. По той же причине, что и прежде. Не утерпел, потихоньку опять начал шарить по чужим карманам. «Засветили» на «трассе». Точнее, погорел не я, а мой подельник, карманник наркоман. Таких с недавних пор развелось много. А у «наркоши», ясное дело, и руки дрожат, и не та бдительность.

И опять – трехлетняя «командировка» в края, о которых с горечью могу сказать, что стали они моим вторым домом...

До следующей встречи, краснодарские «щипачи».

Всякое бывает.

Однажды со своим подельником едем в трамвае. Свое уже «отработали», спешим на «хату» – перекусить и поспать малость. Но так уж устроен наш брат карманник, что от его глаза ни одна мелочь не ускользает. Вроде уже подремываешь, а все замечаешь. Особенно, если много народу и при случае, отогнав дрему, можно рискнуть по новой.

А трамвай и вправду «играет». Вдруг замечаю, как одна симпатичная молодая женщина с черными, как смоль, волосами, воспользовавшись суетой у передней двери, ловким движением вытягивает у мужика портмоне. Ничего не подозревающая жертва едет дальше, а женщина выходит на первой остановке. «Сработано на все сто», – перемигиваемся мы с подельником и, не сговариваясь, выпрыгиваем вслед за ней из трамвая. А женщина между тем на ходу, не останавливаясь, выпотрошила портмоне и, переложив деньги к себе в карман, незаметно выбросила его в урну.

Подходим к ней.

– Такая хорошенькая, а «втыкаешь» – по карманам лазишь, – говорю я полушутливо.

– Всякое бывает, – улыбнулась она в ответ, одарив меня игривым взглядом.

Так я впервые познакомился со знаменитой краснодарской карманницей Зинкой Черкеской.

По ловкости рук и находчивости не уступала она многим ворах мужчинам. Ее совсем юная дочь тоже была воровкой.

Потом мы с Зинкой встречались не раз, хотя на пару и не «работали». А ее присказка «всякое бывает» мне почему то запомнилась, нет – так прилипла, что стала и моей. Ведь если вдуматься, в ней, присказке этой, свой, философский взгляд на жизнь, на окружающих тебя людей. И к тому же – готовность встретить как подобает любую неприятность или удар судьбы. А в этот раз поводов вспомнить мудрый житейский смысл Зинкиных слов у меня было предостаточно.

В Краснодар я приехал не после очередной отсидки. Срок, хотя и был невелик, еще не вышел. Но его «догуливал» я на «химии», – так окрестили в свое время стройки народного хозяйства, где трудились условно освобожденные. В общем, как это именуется в официальных итеушных бумагах, самовольно оставил стройку, а если проще – сбежал.

Во «взрослой» воровской жизни такое случилось со мной впервые. Нет, не черт попутал. Возможные последствия побега я знал. Как и то, что в Краснодар тут же придет ориентировка. Однако обстоятельства, о которых я здесь не пишу, заставили меня совершить побег.

Бежал я, если можно так сказать, в неподходящий момент. В Краснодаре оказалось тогда очень много карманных воров – гастролеров (а здесь и своих было больше чем надо). Почти в каждом трамвае, если он хоть немного «играл», «трудились» карманники. Участились и квартирные кражи, – занимались этим не «профессионалы», а в основном прибалтенная молодежь. Вдобавок к этому взяли несколько сейфов к ряду местные «медвежатники», причем суммы были очень крупные.

Краснодарской милиции пришлось работать в поте лица, чтобы хоть какой то порядок навести в городе.

Ясное дело, здешние «опера» из УВД и всех районных отделов меня хорошо знали. Знали и то, что я вор карманник. Но коли сбежал, могу пойти и на дерзкое преступление, к примеру, кражу из сейфа.

На их месте я бы, наверное, рассуждал так же. Тем более, что у разыскиваемого (у меня, то есть) была судимость за сейф.

Скоро я почувствовал, что началась «гонка». «Менты» прочесали все «хаты», где я спал. Но и я не шит лыком, научила жизнь то. Голыми руками меня не возьмешь.

Но надо было на что то жить, и я нет нет, да и притыкивал кошелек у трамвайного «лоха». «Работал» осторожно, обычно один и по утрам, когда «менты» еще досматривают сны.

Без встреч со старыми знакомыми, конечно, не обходилось, слишком многие из воров меня знали. Однако ни одному человеку я не сказал, что нахожусь в бегах. Кроме Лиды, у которой жил раньше. «Контора» предупредила ее, что я могу появиться, и просила сразу об этом сообщить.

Ее малолетний сын Саша, который полюбил меня как отца, уже все понимал. Как то под вечер захожу к ним, а он спрашивает:

– Дядя Валя, когда ты шел к нам, никого не видел?

– Нет, Сашок. А что?

– Тебя «менты» ищут, а я не хочу, чтобы ты опять в тюрьме сидел. – Сашок насупился, словно взрослый. – Говорят, вы преступника скрываете.

После этого разговора я стал бывать у Лиды очень редко и заходил, приняв меры предосторожности, всего на несколько минут – передать для Саши игрушку или что то вкусненькое.

Отправился на другую «хату» – к Валере Жиду, а у него Витя, мой прежний подельник. Обрадовался донельзя, что меня встретил. Втроем выпили, Витек мне сказал, что хочет «завязывать». – «Ну, и правильно», – ответил я.

Выпили еще по стакану, и тут ему пришла мысль тряхнуть стариной:

– Пошли, на марке «прокатимся».

Во время посадки в трамвай я культурно «купил» кошелек, передал Виктору, и он ушел. Но тут потерпевшая «шикатнулась» и прямо ко мне: «Отдай кошелек». – «Ты что, не в себе. Обыщи, если сомневаешься».

Все бы, я думаю, обошлось. Но вижу – Витя идет назад, к остановке. А потерпевшая его тоже заметила. И – цап за руку: «Давай мои деньги, стервец». (Бойкая оказалась бабенка.) Витек бросил кошелек – и бежать.

Ругал я его потом, на чем свет стоит. Окажись там «контора», объясняю, не миновать нам тюрьмы. Разучился, говорит, «работать». – «Скажи уж, что хватил лишнего, и в голове все попуталось».

Все же «купили» мы с ним тогда рублей семьдесят. А на другой день он поехал прописываться. Лишь после я узнал от других, что, пока меня не было в Краснодаре, Витек связался с наркоманами и стал покуривать анашу. Поэтому, видать, и повел он себя так странно с той женщиной на остановке. Как о них говорят, крыша съехала.

Между прочим, повязали его не за карманку, а... за два грамма анаши, которую нашли в кармане. И дали три года.

Всякое бывает... В том числе и очень странные вещи. Теперь, у кого бы я не заночевал, на второй или третий день хозяин «хаты» (свой человек) предупреждает: была «контора», спрашивали тебя.

То, что в мою честь устроены «большие гонки», я давно знаю. Но чтобы идти вот так, наступая беглецу на пятки, одного «ментовского» чутья (или интуиции, как любят они его называть) ни за что не хватит. Без «подсадки» здесь не обойтись.

Размышляя, сделал я и другой важный для себя вывод. Милиция берет под наблюдение лишь те «хаты», где я хоть раз побывал. Иначе говоря, все «хаты», которыми я могу воспользоваться, наводчику неизвестны. Сам же я заранее никому карты не раскрываю. А потому и идет он, что называется, по моему следу, без опережения. Поэтому с опозданием узнает о «хате» и милиция.

Короче, человек этот – не из «ментов». Уж что что, а от «хвоста» уйти я умею, конспирации обучен с младенчества. Скорее всего, он из моего окружения. И кажется, я начинаю догадываться, кто это. Но надо проверить – не возводить же напраслину.

А проверить не сложно, стоит лишь взять с собой этого человека хотя бы на одну две «хаты», о которых он пока что не знает. Одно плохо: любая палка, она ведь о двух концах. Улики то я собираю, а дорогу на эти «хаты» придется забыть. Надо хорошенько взвесить. Думай, Лихой... Решаю: черт с ними, с «хатами». Если б моя задумка могла навредить хозяевам, не стал бы рисковать. Но в том то и дело, что милиция об этих воровских притонах прекрасно осведомлена, как и о многих их обитателях. В данном случае искали именно меня. А коли так, попробую. Знать правду о человеке, которому верил и который мог оказаться предателем, куда важнее.

А человек этот, между тем, был моим давнишним корешем. Вместе когда то отбывали срок, питались «по семейному». Имя и кличку его здесь не называю, хотя раньше я о нем и упоминал. Встретились мы с ним примерно месяц назад на улице, обнялись по братски, вспомнили общих знакомых. Рассказал, что вышел недавно из колонии, «башли» на исходе, а воровать боится – как бы не «залететь» к ряду.

– «Хата» у меня надежная, «менты» не трогают, можешь когда и заночевать, – добавил он напоследок.

Тогда разным его «выкрутасам» («боюсь воровать» и прочее) я не придал значения. И только привычная осторожность уберегла от того, чтобы не остаться у него на ночь. Хотя днем на ту «хату» раза два заходил – выпивали вместе. И вот теперь, когда подозрения мои укрепились, решил вывести этого «корешка» на чистую воду.

До последней отсидки квартировал я какое то время у бабули – расторопной и доброй пожилой женщины. Получая грошовую пенсию, она подрабатывала – сдавала угол нашему брату. К ней в гости для начала и пригласил я своего давнего приятеля. Он не отказался. И даже остался заночевать. А утром от меня ушел, сославшись на то, что с кем то договорился о встрече.

Дня через два я вновь навестил бабулю. Днем, конечно. Встретила она, как обычно, ласково, накормила красным борщом. А когда я, причмокивая от удовольствия, доедал вторую тарелку, сказала вдруг, как отрезала:

– Ты вот что, Валентин, больше ко мне не ходи. Милиция была нынче ночью – тебя ищут.

В общем, все сходилось, как в детективном кино.

Для верности проверил его еще раз – повез на «хату» к Чубатому. Последствия те же самые: на следующую ночь меня искали и здесь.

Да, всякое случается в жизни...

Раскусив своего «дружка», я тем не менее решил продолжить опасную игру. Может кое кто сочтет мое поведение безрассудством, но для меня это была именно игра – азартная, как в «три листика» – кто кого?

Ясное дело, когда новый партнер раскрывает карты, вести себя нужно вдвойне осмотрительнее. Иначе – проигрыш. На встречи, которые назначал мне «кореш», я чаще всего не являлся, предпочитая видеться с ним в других местах и в дневное время. Говорил, что пойду ночевать к бабуле, Чубатому или Жиду, а сам отправлялся на «хату», о которой (к счастью) еще не успел ему рассказать.

А «подсадка», не подозревая, видимо, что я его раскусил, продолжал выкидывать фокусы. Выходим, к примеру, из забегаловки или пивной, нормально беседуем, шутим. Доходим до остановки. И вдруг ни с того ни сего он садится в трамвай с другой площадки. Думай, что хочешь, а скорее всего, «кореш» заметил кого то из милиции, чтобы вместе меня «попасти» и сдать с «делом». Не знает, что я в бегах? Видно, таким «опера» говорят не все. А если знает, то запросто «сдал» бы меня без «дела». Неужто хочет, чтоб дали мне больший срок – помимо побега с «химии», еще и за кражу? Или на эту подлость подбивает его «контора»? Не думаю, ей важно меня поймать, и только. Ну посмотрим, как ты, «корешок» мой милый, дальше себя проявишь. Мстить тебе не собираюсь. Пожалую, сделаю вид, что ни о чем не догадываюсь. Ты ведь знаешь, как по нашему воровскому «закону» карают за предательство. Бог с тобой, живи, если другие, те, с кем я успел поделиться, не состряпают «ксиву». Тогда уж слово за «сходняком». А нынче готов я и сам сдаться – холода наступают, бегать с «хаты» на «хату» уже надоело. Одного не хочу – сесть с «делом», и не подбивай ты меня на это, драная...

Этого «гуся», когда мы с ним только встретились, я познакомил с Жориком – парнем лет двадцати трех, который сидел за наркотики. В зоне он подцепил туберку и сейчас жил на иждивении у матери. Она, чтобы его хоть как то поднять, из сил выбивалась, вкалывала на двух работах. А парень законченный наркоман, и никакое усиленное питание тут не поможет.

Привел я к нему в гости своего «кореша». Жорику он, между прочим, еще тогда не понравился. До меня же лишь после дошло, что совершил двойную глупость: «спалил» надежную «хату» и парня под удар подставил. Задним числом все мы умные, а уже пора бы в такие то годы кое что наперед просчитывать.

А дальше события развивались так. Однажды встречается меня на улице «корешок» и говорит:

– Я только что от Жорика. Ты, Валентин, очень ему нужен по какому то делу. Сказал, что если его увидишь, передай – встречаемся завтра в десять утра на ТЭЦ, возле трамвайной остановки.

«Что то здесь не так, – подумал я. – Жорик, хотя и живет в пригороде, о встрече со мной не стал бы договариваться через этого типа». Но все эти хитросплетения, шитые белыми нитками, порядком мне надоели. Решил: будь что будет, пойду.

Когда прощались, «кореш», спросил как бы невзначай:

– Где нынче ночевать то будешь?

– Пока не знаю.

– Да ты езжай к Чубатому. Близко от центра, «хата» добрая. И парень он компанейский.

– А что, пожалуй, ты прав...

Мы выпили понемногу. И, само собой, к Чубатому я не поехал – заночевал у Лиды. А утром узнал от знакомого, что на чубатовской «хате» был шмон.

– И все же на встречу с Жорой решил пойти. Будь что будет!

Приезжаю на четверть часа пораньше. Гляжу, мой «кореш» стоит, будто каланча, за версту видно. Обычно мы, воры, поступали не так, старались быть неприметней. Если приходилось кого то ждать, обычно присядешь на лавочку.

Здороваемся.

– Что, Жорик не появлялся?

– Да рано еще, договорились на десять, – взглянув на часы, отвечает «кореш». – Отойдем немного, ни к чему маячить на остановке...

«Что ж, – подумал я, согласно кивнув, – и у него, видать, сохранились остатки совести. А может, дело в другом»...

И в этот самый момент кто то, подкравшись сзади, стискивает мои руки и выворачивает их за спину.

– Спокойно, уголовный розыск.

Успеваю заметить, что с «корешем» поступают так же.

Нас сажают в легковую машину, которая стояла тут же, чуть поодаль.

– Руки на сиденье!

И везут в УВД.

Наконец то они своего добились. Плохо, на мой взгляд, другое. Никто из них не подумал, что, действуя таким образом, запросто можно «спалить» своего наводчика. Хорошо, что с его подачи взяли меня, беглеца, который был к этому готов. А попадись кто другой, «корешу», не сдобровать. Не то что на воле, в зоне его достанут. Отдаю должное сотрудникам краснодарской милиции, которым в те годы пришлось попотеть немало, но – пусть простят меня, что не в свое дело лезу – работать нужно пограмотнее.

В угрозыске мне перво наперво стали «примерять» сейф, который я не брал. Они почему то были уверены, что это моя работа. А почему, я понял сразу. Однажды, когда «кореш» стал жаловаться на безденежье, я предложил ему в шутку:

«А что, если нам с тобой «колупнуть» сейф. Сразу разбогатеем». Он, как видно, эти мои слова преподнес иначе. Но улик не было никаких, да и не могло быть.

«Пришить» мне «дело» не удалось.

Вспоминаю об этом случае, «нетипичном» в моей богатой событиями воровской жизни, и горький осадок бережит душу. Может быть, «кореша», которого я назвал предателем, стать на этот путь вынудили обстоятельства. И, наверняка, терзали его сомнения, как и меня, когда продавал Сизого. В любом случае нелегко топить своего.

Понимаю, щекотливой и не очень приятной темы я здесь коснулся. Несколько лет назад на это бы не отважился. Да если б и написал, на моей тетрадке сразу поставили бы гриф «секретно». Хотя, что секретного в том, о чем все зеки отлично знают. И всегда знали. Да ни одна полиция мира не обходится без «подсадок», «стукачей», «источников» и им подобных. Другое дело – приемы и всякие там комбинации. О них, конечно, мы можем только догадываться, да и то когда результат уже налицо. Если «контора» кого то взяла с поличным, вполне вероятно, что «агент оо» вовремя «вышел на связь», а если операция у «ментов» сорвалась – не исключено, что причина в «ошибке резидента».

В последнее время об этой стороне работы милиции, как и КГБ, стали писать открыто. А кинофильмов таких еще больше, чем книг. И смотрят их тысячи людей. Все бы хорошо – давно пора было «открыть» то, о чем известно каждому. Но, имея за плечами многолетний преступный опыт, откровенно скажу, что «перебор» все таки есть. Иной фильм напичкан такими любопытными подробностями этой работы, что для молодых преступников служит наглядным уроком, как надо уклоняться от «происков» милиции. Всякое бывает, как говорила Зинка Черкеска. Проходят годы, и все больше я убеждаюсь, что далеко не каждый поступок вора подсуден воровскому «закону». И вправе ли мы осуждать его за это?

Отход от исповеди – второй и последний. Мафия начинает и..?

Поставив в конце предыдущей главы жирную точку, я отложил недописанную тетрадь в сторону. Все, продолжать не буду. Не потому, что надоело писать. Как раз напротив: за полгода я настолько привык проводить сумеречные осенние и зимние вечера, примостившись со своей рукописью на краешке стола в комнате общежития либо в Красном уголке, что без этого уже не представлял нынешнего своего бытия. И только ночные смены, когда возвращался с завода во втором часу ночи, выбивали меня из привычной колеи. Ребятня попыталась было втянуть меня в свою компанию. Но в конце концов поняли парни, что «пахана» тормозить «не след». И в самом деле: им, вчерашним пэтеушникам и солдатам, годился я уже не в отцы, а в деды.

Поселили меня, между прочим, к бывшим воинам афганцам Диме и Славе. Отличные корешки, правильные. Такие ворами не станут. И другим, по молодости, любого промаха не простят. Как я вскоре понял, у них свое «братство», свои законы. Пришлось им сказать, что сидел «за политику» и что теперь пишу мемуары. Иначе, уверен, перестали бы уважать, а то бы и просто вышвырнули. А так лишь подшучивали беззлобно.

– Ну дает наш Петрович, писателем заделался, – подмигивая входящему соседу, подтрунивал надо мной Дима (он был пошустрее – из десантников). – Эти самые, как их, мне – муары стряпает. ГУЛАГ решил под орех разделить. Так что ты, друг, с копыт на цыпочки – и шагом марш в Красный уголок. Не то собьешь батю с мудрой мысли.

Все трое гоготали, но через пять минут в комнате действительно никого не было, и я мог спокойно писать.

А в дни полочки или по праздникам, когда вместе с ребятами я позволял себе пропустить по стаканчику, Дима и Слава не забывали поднять тост за «жертву ГУЛАГа – шлифовщика и писателя».

Среди этих парней, правильных до прямолинейности, я казался себе таким же чудаком, как и среди «новых» законников: там, у Сизого. И все же втайне им завидовал. Они прошли испытание боем и, несмотря на невзгоды, потерю друзей, предпочли всему остальному правду и справедливость. Не то, что я, растративший свою жизнь впустую. Если б они узнали, что трудовой стаж на воле у меня чуть больше года. А мне вот вот пятьдесят пять стукнет. Не уверен еще, дадут ли пенсию.

Дай то Бог, чтоб мои ребятки не сорвались. В нынешнее смутное время немалую надо иметь силу воли, чтоб не свернуть с дороги. И в жизни сумятица, и в политике, магазины пустые. И нарастает эта неразбериха, как

девятый вал на картине у Айвазовского. Дельцы типа Сизого, подкупают власти, наживаются, бесятся с жиру. Для них «карманники», «медвежатники» и другие воры, будь они хоть трижды «в законе», – мелкая сошка, подручные. Но их труд «законники» самозванцы неплохо оплачивают. И многие из молодых соблазняются, идут в услужение...

Теперь, после долгих бесед с Иваном Александровичем, раздумий и наблюдений я начал во всем этом понемногу разбираться. Узнал, что и среди «афганцев» хватает парней с нечистой совестью, есть даже торговцы наркотиками. И тем более оценил своих «однокамерников». Не оступитесь, дорогие мои. Если вы вдруг прочтете эти записки, знайте, что, рассказывая о своей воровской жизни откровенно и без утайки, хотел, чтоб другие, и вы в том числе, не повторили моей ошибки.

Я мог бы пролистать в памяти еще не один десяток страниц своих воспоминаний. Но чем ближе события, о которых рассказываю, к сегодняшнему дню, тем труднее выставлять их на суд читателя. Хотя бы потому, что многие из людей, которых я должен назвать, либо достаточно молоды и у них все еще впереди, либо близки мне настолько, что не хочу лишний раз сыпать соль на их раны, начавшие, может быть, заживать. Вот почему о годах, прожитых после злополучной кражи сейфа, подробно не рассказываю.

А после – та самая встреча с Сизым, которая едва не кончилась для меня плачевно. Спасибо Ивану Александровичу, что все обошлось.

...И вот мы сидим у него дома, гоняем чай и ведем разговор о моих записках и других интересных вещах. Квартирка тесная, однокомнатная. Старая мебель с потускневшей от времени полировкой. Нет даже письменного стола – работает Иван Александрович на краешке большого обеденного, как и я в своем общежитии. Зато сколько у него книг – стеллажи и в прихожей, и в комнате заставлены сверху донизу.

Жена Ивана Александровича Оля подала к чаю кулебяку с рыбой – собственной выпечки, посидела с нами немного и ушла на кухню хлопотать по хозяйству. Иван Александрович участливо и подробно расспросил меня о жите бытее, о работе. И уж потом перешел к предмету разговора.

Не резон мне хвастаться, но скажу, что похвалы удостоился. Особый интерес вызвали у него те места записок, где я рассказываю о кафе, в котором воры обедали, и о Золотом.

– Понимаешь, Валентин Петрович, – Иван Александрович оседлал, как я уже догадался, своего любимого скакуна, – только закоренелый упрямец не разглядит в этом черты исподволь зарождавшейся организованной преступности. Ваши сборы в кафе на Сретенке, вообще говоря, напоминают сходки.

– Прошу прощения, Иван Александрович, но во время обедов мы никогда не обсуждали вопросы, по которым нужно было голосовать. Так, мелочовку разную: кому помочь материально, кого выручить из беды. Одних мирили, других приструнивали.

– Да я, дорогой Валентин Петрович, вовсе и не собираюсь ставить знак равенства между вашими обеденными застольями и «сходнямиками». Кафе было как бы рабочим органом, постоянно действующим между сходками. Да и вы сами, перечисляя вопросы, которые решались в часы обеда, в сущности, подтверждаете этот вывод. Сходки собирались, когда возникала необходимость принять какое то очень важное решение. Кто то нарушил воровской закон, ссучился, предал подельника. А вот житейские, бытовые и прочие повседневные дела вы обсуждали за обедом. Не так ли?

Подумав, я с ним согласился.

И еще одно место в ваших записках показалось мне в этом смысле важным, Валентин Петрович. Это рассказ о Володьке Золотом. Примечательная фигура. Мудрый, добрый, человечный. Почти как вождь. Я чувствую по воспоминаниям, что он для Вас остался легендарной личностью.

– Авторитет был непререкаемый, что верно, то верно, – подтвердил я. – Но вождь – это уж слишком громко, Иван Александрович.

– Не скажите. Именно из таких, как Золотой, и вырастали мафиози. Для этого были у них все предпосылки – и голова на плечах, и хватка, и большие деньги.

Мы допили успевший остыть «чифир» и вышли на лестничную площадку покурить. Оля сидела на кухне с вязаньем в руках.

Иван Александрович отстаивал свои позиции, как всегда, с жаром. Хотя, если честно, в этот раз не было у меня никакого желания с ним спорить. После долгих раздумий над тем, что говорил он тогда, год назад, я все больше убеждался в его правоте. И из оппонента фактически стал его сторонником.

Когда мы вернулись в комнату, я задал вопрос, который, так сказать, заготовил впрок, – давно уже не давал он мне покоя.

– Иван Александрович, вот мы с вами и прошлый раз, и сейчас все говорим о «ворах в законе», «старых», и «новых», сравниваем. Почитай, все косточки перемили и тем, и другим. Меня же, как и многих, в нынешнее смутное время волнует больше всего наша доморощенная мафия. Неужто организованная преступность настолько сильна и опасна для общества, как пишут в газетах и показывают по телевизору?

Иван Александрович, поднявшись со стула, по привычке ходил по комнате.

– Откровенно говоря, Валентин Петрович, этого вопроса я от вас ждал. И постараюсь без всякой утайки на него ответить. Да и что тут, собственно, скрывать, если наличие у нас организованной преступности признано уже на государственном уровне. Года два назад еще шли жаркие споры: есть ли она. А нынче об ее опасности говорят и в Верховном Совете, и в правительстве, принимают постановления, как с ней бороться. Что творят нынешние мафиози и какие используют хитроумные способы обогащения – вашим «ворам в законе» и не снилось.

– Кое что я читал, Иван Александрович. Хотя больше опять же пишут о рэкетирах.

– К сожалению, многие до сих пор сводят эту проблему к рэкетирству и ликвидации небольших по численности организованных групп. Не понимая, что все это лишь поверхность огромного айсберга.

– А может, побаиваются забираться поглубже. Особенно, если у самих рыльце в пушку.

– И это есть, Валентин Петрович. Тем более сейчас, когда делает первые, еще робкие шаги рыночная экономика. Большинство, как и мы с Вами, к ней пока что приглядывается, осмысливает, а мафиози уже подсустились. Основали, к примеру, совместное предприятие или кооператив, – это же всячески приветствуется и само по себе приносит неплохие доходы. Но ими надо делиться с государством. А зачем, если есть способ получить куда больше – и рублей, и валюты. Для этого какую то часть средств того же СП «запускают» в легальный бизнес, а львиную долю – в подпольный. Она то и дает колоссальные барыши, не облагаемые никакими налогами.

– Ну и хитрецы, эти мафиози! – не удержался я от «комментария». – Надежную крышу придумали. Попробуй, «достань» таких. Сочувствую, Иван Александрович, нелегко вам нынче приходится.

– Что делать, дорогой Валентин Петрович. Можно сказать, разгадываем головоломки, одну за другой. Тут мой коллега ведет одно дело на расхитителей. Представьте себе, эта организованная преступная группа, внедрившись на одном из солидных предприятий, похитила у государства 102 миллиона рублей. Для сравнения: материальный ущерб по стране от нападения на инкассаторов и ограбления банков составляет 4 миллиона рублей в год.

– Ну и дела...

– Скажу больше. Преступники сумели переправить все 102 миллиона за рубеж и обменять на доллары. А сами участники, пока мы решали, когда, где и с чем их брать, почти все ушли на Запад... Кстати, Валентин Петрович, в этом преступном мире появилась еще одна особенность: более крупные группировки стремятся поглотить те, что помельче, и не без успеха. А это, как сами понимаете, осложняет нашу работу. Пришлось мне недавно беседовать с итальянскими коллегами – специалистами, давно изучающими проблему борьбы с мафией. Так вот они, познакомясь с «опытом» наших мафиози, развели руками: мол, их мафия, хотя и имеет многолетнюю историю, уже сегодня выглядит, как пацан в коротких штанишках рядом с верзилкой мордоворотом. У нас и взятки то уже не берут, а требуют, причем валюта не устраивает – подавай им золото.

– Перебью вас, Иван Александрович. Вот вы, со слов итальянцев, привели сравнение их мафии с пацаном в коротких штанишках. Я же невольно подумал о наших «пацанах». «Воры в законе» их пестовали, как детей родных, уму разуму наставляли. О первом своем «учителе» Вальке Короле и по сей день вспоминаю уважительно. Он ведь не только учил, как воровать грамотно, но и был добрым, чутким. Король для меня – все равно, что второй отец. Вот и хотел я у вас спросить, как с этим делом в нынешних, выражаясь по вашему, преступных сообществах. Чему они обучают этих самых «пацанов»?

– Вопрос вы задали интересный, Валентин Петрович. Тут есть что сравнить. В ваше время из завербованного «пацана» воспитывали, так сказать, интеллигентного вора. Не только по своим манерам, умению общаться с людьми, – его учили даже тому, у кого не следует воровать, запрещали носить оружие, затевать драки. А что сейчас? Преступным сообществам нужны не такие подмастерья, а своего рода гангстеры. Они и создают из молодежи подобные группировки. Либо берут под опеку те, что сформировались сами по себе, и «воспитывают» молодежь в гангстерском духе. С таким расчетом, чтобы с помощью этих парней в определенный момент где то нарушить нормальную обстановку, отвлечь внимание милиции. Для любого преступного сообщества это очень важно, потому и руководит ими так называемая «высшая лига» – сами мафиози.

Мы собрались было опять выйти за дверь «подымить», но на этот раз Оля не пустила: «Что с вами делать, курите на кухне – ради гостя, так и быть, разрешу». Она ушла в комнату – смотреть телевизор, а мы продолжали свою беседу.

Иван Александрович с жаром говорил об особой опасности сегодняшней организованной преступности. Как ржа, разъедает она государственный аппарат, подрывает экономику. К сожалению, многие руководители, даже крупные, этого не понимают (либо не желают понять). К активному наступлению на организованную преступность необходимо переходить уже сегодня, сейчас, иначе время будет упущено. И тогда, как образно выразился в разговоре с Иваном Александровичем один из сотрудников КГБ, не нынешние руководители, а мафиози будут стоять на трибуне.

Слушая эти его размышления, я невольно вспомнил пятьдесят шестой год. Тогда вышло постановление о борьбе с преступностью, которое, в отличие от многих других, не осталось пустой бумажкой. «Ворам в законе» это постановление и этот год памятны. Практически всех их согнали в один спецлагерь, под Свердловском. И заставили работать, как положено. Не желаешь – получаешь питание по девятой норме, то есть садишься на хлеб и воду. Нашлись среди «законников» и такие, кто согласился (за кусок мяса) составить обращение ко всем ворам. Поначалу пошли на это девять человек, а подписались семеро. Вот с этого и началось разложение тогдашней «братвы». Надо признать, успех у администрации зоны был полный.

А что сейчас? Говорят о борьбе с преступностью на всех уровнях, включая Верховный Совет страны. Но дальше разглагольствований дело не идет.

Вспомнил, и поделился этими своими мыслями с Иваном Александровичем. Он был вполне согласен, однако заметил, что нельзя винить здесь одних депутатов.

– Насколько мне известно «из компетентных источников», еще в восемьдесят восьмом году депутаты приняли такое решение: создать для борьбы с организованной преступностью специальные подразделения – на местах, в каждом крупном регионе. Но у Совмина не оказалось на это денег. Потом, как рассказывают, деньги все таки нашли, но помешало то, что республики, одна за другой, стали заявлять о своем суверенитете. Мы, мол, сами с усами, без Союза справимся со «своими» преступниками. Не знаю, может, я и не прав, но, по моему, всему должен быть предел. Разойдемся все по своим углам, отгородимся частоколом. И ведь есть же наивные простачки, которые думают, что мафию частокол этот остановит, заставит «осесть» в своей национальной квартире. Возьмите цивилизованные страны, – они всё используют, чтобы сообща бороться с преступностью. И Интерпол, и авторитет ООН, включая ЮНЕСКО... Это, Валентин Петрович, не просто мои размышления на досуге, а проблема, с которой я и мои коллеги уже сейчас сталкиваемся. Как, например, мне быть, если группировка, которой я сейчас занимаюсь, пустила корни в восьми регионах, включая разные республики? Верно, есть теперь на местах специальные группы, в задачу которых входит борьба с организованной преступностью – так называемые шестые подразделения. Но, во первых, созданы они пока не везде и, во вторых, не все подчиняются центру. Вот в таких условиях и войей с мафией. И что еще характерно:

сами мафиози, из тех, кто близок к руководящим верхам, уже поговаривают о возможном упразднении «шестерок». А любой слух, как известно, имеет под собой основание.

Кстати, однажды, когда сотрудников этих подразделений созвали на курсы повышения квалификации, они вдруг «взбунтовались». И потребовали, чтобы им, наконец, развязали руки – дали возможность вести борьбу именно с мафией, не расходовать силы на «мелкоту». Но кому то этого как раз и не хочется.

– Но разве в те же шестидесятые годы, при хрущевской «оттепели», прав у милиции было больше?.. А теперь – и народ вас поддерживает, даже из «старых» воров многие.

– Прав то не меньше, уважаемый Валентин Петрович. Вся беда в том, как и на что тратим мы свои силы и время. Слишком много приходится писать бумаг, по любому поводу. Дело, скажем, еще не реализовано, нам и оперработникам надо, засучив рукава, «копать». А нас заставляют писать бумаги, докладывать, в каком оно состоянии. Да погодите вы, доложим, когда закончим. Нет, не тут то было.

Честно скажу, Валентин Петрович, иногда хочется бросить все и уйти на пенсию, в огороде копать или сидеть где нибудь у реки с удочкой. Но когда, что ни день, видишь перед собой трупы людей, ставших жертвами шантажа и насилия, убитую горем плачущую мать или же честного работягу, которого без зазрения совести обворовывают, – забываешь о своем, личном. Надо работать. И верить в то, что правда когда нибудь свое возьмет.

– Я, конечно, в числе вам сочувствующих, Иван Александрович. Хотя ваш оптимизм не очень то разделяю. Меня, как и каждого обывателя (а к тому же, бывшего вора), мафиози и борьба с ними больше интересуют с практической стороны. О том, из кого состоят нынешние преступные сообщества, как в них распределяются роли, вы мне раньше уже рассказывали. А вот сколько в такую группировку входит людей, не говорили. И сам я тогда не спросил.

– Валентин Петрович, – мой собеседник лукаво улыбнулся. – Вы, я уверен, спросили об этом без всякого подвоха. Между тем тот же самый вопрос и следователи, и работники милиции, в том числе руководящие, нередко задают мне, преследуя определенную цель.

– Какую же? – удивился я.

– Да все ту же. Услышать в ответ, что в состав очередной раскрытой группировки входило сто пятьдесят, от силы двести участников. И опять, в который уже раз съехидничать: мол, какая же это мафия, обычная преступная группа, и не больше. Вот если бы, как в Италии, было в ней тысячи полторы... Но при этом напрочь забывают о нашей специфике. Организация типа «Коza ностры» в наших условиях существовать просто не сможет по той причине, что там привыкли считать деньги. У нас же за любую услугу надо давать взятку, и «суперсообщество», вынужденное на каждом шагу раскошеляться, прогорит в два счета. Вот почему у нас гораздо рентабельнее создавать сравнительно небольшие группы. По своему составу и особенностям такие группы близки к японской «Якудзе». С этим согласны, в частности, и американские специалисты из ФБР, назвавшие нашу мафию азиатской.

Между прочим, Валентин Петрович, в США тоже десять лет спорили, есть у них организованная преступность или ее нет. Бывший шеф ФБР Гувер, например, отрицал ее существование. Однако перед смертью признался, что кривил душой: говорил так, чтобы не распылять силы, нацеленные на борьбу с большевизмом. А недавно довелось мне услышать от тех же американцев заявление, для нас тоже, я бы сказал, непривычное: дескать, «Коza ностра» их мало волнует, поскольку эту преступную организацию полиция держит под контролем. Почему – это я тоже понял. Их мафия использует главным образом традиционные формы незаконного обогащения, которые можно по пальцам перечислить: наркобизнес, азартные игры, проституцию, рэкет. У наших же мафиози таких способов – сотни, поэтому мы и не в состоянии контролировать ситуацию. Кстати, я уверен, в самое ближайшее время мы столкнемся и с новыми способами обогащения – подделкой ценных бумаг, хитроумными банковскими операциями. На Западе раскрывать валютные преступления куда проще: там все заложено в компьютеры. У нас же – попробуй, разберись в толстых «гроссбухах».

То, что организованная преступность есть во многих европейских странах, хотя везде представлена по разному, официально признано Интерполом. В этой международной полицейской организации, как вы, наверное, слышали, теперь состоим и мы.

Думаю, очень важно, что при Интерполе недавно создали специальную секцию по борьбе с организованной преступностью. Особенно для нас, чтобы по возможности выявлять международные связи доморощенной мафии еще в зародыше.

– Иван Александрович, вот на Западе, в Италии и Америке, действует «Коза ностра». Это название у нас почти все знают – из книг, из фильмов. Но спросите меня, как называется хотя бы одна из групп, даже разоблаченных, в нашей стране, не отвечу. Почему то не принято об этом писать.

– Как всегда, дорогой Валентин Петрович, вы попадаете в точку. Я как раз собирался об этом сказать. Дело вот в чем. Название «Коза ностра» дали этой преступной организации полицейские, тогда как наши мафиози ритуал «крещения» обычно совершают сами. Есть среди наших преступных сообществ такие, например, как «Общак», «Третья смена», «Союз истинных арестантов»... Согласитесь, не очень удачные. Хотя, конечно, не в названии дело... Вспомните, в пятьдесят седьмом году у вас, «старых» воров, была сходка в Краснодаре. О ней вы в своих записках не рассказываете – ну, да это ваше право. Тогда по приговору «братвы», за который голосовало большинство, вы порешили двух «изменников». Даже для вас, воров, их убийство было событием неординарным, о нем тогда много говорили в вашей среде, и мнения высказывались разные. А вот для нынешней мафии «кокнуть» человека – что раз плюнуть. На днях, к примеру, «боевики» одной из преступных группировок напали на кооператив и сразу троих порешили. Да, преступность вооружается, становится все циничнее. У вас были финка да наган, и то при себе карманники их не держали. А у нынешних мафиози – и пулеметы, и огнеметы, и даже танки. И тени святого не осталось в их душах.

Перед преступниками западного образца, которые там, «за кордоном», – я готов снять шляпу и низко им поклониться хотя бы за то, что никто из них до сих пор не додумался уничтожить всех крокодилов. Хотя дельце было бы куда как выгодное. А наши, доморощенные... Додумались до того, что перебили в Средней Азии десятки тысяч сайгаков, и их рога (сотни тонн рогов) вывозят теперь за рубеж, продают за доллары. Чингиз Айтматов, кстати, предвидел возможность подобной ситуации, когда в одном из своих романов описал сцену жестокого истребления этих несчастных антилоп...

– Эх, если б я чем то еще мог вам помочь, кроме своих записок, – невольно вырвалось у меня. – Они же сами звери, эти мафиози, хуже волков.

– Зря вы думаете, Валентин Петрович, что не способны ничем помочь. Очень даже способны, – тут же отреагировал Иван Александрович. – Вы могли бы, к примеру, поработать в одной из колоний. Выступить перед молодежью. Да и газеты охотно возьмут вашу статью. Однажды звонил мне из Ленинграда бывший вор – кличка у него была «Питерский»...

– Как? – удивился я. – Ведь наши его тогда зарезали, я сам был свидетель.

– Воров с такой кличкой было несколько, Валентин Петрович. И все – ленинградцы, выезжающие на длительную «гастроль» в Москву. Так вот этот самый Питерский под старость стал воинствующим борцом с преступностью. Где только не приходилось ему выступать. И слушали, раскрыв рот, задавали массу вопросов.

– Что тут скажешь, Иван Александрович. Видно, к старости мы многое начинаем переосмысливать... Рассказать то можно, и слушать будут. Да только сомневаюсь, пойдет ли все это впрок. Нынче в жизни все по другому. По мелочам лишь дураки воруют. А мафия, она другими масштабами мыслит. Обогатиться любыми путями, пусть даже этот капитал будет на крови замешан.

– В этом вы правы, Валентин Петрович. Такие люди идут «на все тяжкие», рассчитывая, в то же время, что их дети будут жить безбедно, вырастут честными и порядочными. К слову сказать, многие западные бизнесмены тоже с этого начинали...

Вошла Ольга, и по ее настоянию мы с Иваном Александровичем сделали маленькую передышку – выпили вместе с ней по чашке крепкого кофе. Потом, по привычке, опять достали по сигарете. И продолжили свой разговор.

– Слушаю вас, Иван Александрович, и все больше склоняюсь к мысли: а не напрасны ли все те усилия, что вы предпринимаете, чтобы, как говорится, сбить волну преступности, которая нас буквально захлестнула. Я, конечно, имею в виду не вас лично, и не только следователей, но и милицию, и госбезопасность.

Выслушав меня, Иван Александрович на минуту задумался.

– Понимаю, Валентин Петрович, что общие слова вас не устраивают. Постараюсь быть конкретнее. Как ни трудно сегодня нам, но просвет, я считаю, все таки появился. Заметьте, к примеру, насколько трезвее в своих суждениях и выводах становятся наши депутаты – и союзного, и республиканских парламентов. Левые и правые, красные и зеленые начинают все яснее осознавать, что преступность, и прежде всего организованная, способна задушить общество, и, пока не поздно, надо перекрыть ей кислород. Готовятся новые законы, создаются общественные фонды для укрепления милиции. Это важно, поскольку долгие годы она работала на одном энтузиазме, на ее нужды никто не обращал внимания.

К сожалению, насколько я знаю, там, наверху, явно не хватает профессионалов. Могу судить хотя бы по тем бумагам, что к нам поступают. В свое время набрали людей из партийной номенклатуры, вот теперь и расхлебываются. Говорят, больше половины руководящих кресел такими занято.

– Ну, о верхах я судить не берусь, Иван Александрович. Далеко от этого. А вот внизу многое меня просто бесит. Со времен ГУЛАГа прошло столько лет, у нас же в колониях, как и раньше, постылая зековская форма. И также, по моему, заставляют чуть ли не силой петь, когда идешь в строю.

– И все тот же, добавлю, рабский труд по разнарядкам Госплана. Вы правы, Валентин Петрович. Много нужно срочно менять. Помните вышки вокруг зон, на которых стоят конвойные. Кто эти солдаты? Призывники восемнадцати лет отроду. Ученые давно пришли к выводу, что психика формируется у человека к двадцати одному году. А мы заставляем стоять на вышках мальчишек, у которых в любой момент нервы могут сдать. И сколько уже было таких случаев... Или возьмите эти бессмысленные этапы из конца в конец нашей отчизны матушки. Взяли вас в том же Краснодаре, а отбывать срок везут аж на Колыму. Зачем, спрашивается. Здесь у тебя родные, близкие, работать есть где.

... Когда я, попрощавшись с хозяевами, сел на трамвай, и он кружным путем повез меня к заводской окраине, уже смеркалось. Это была та самая шестая «марка», на которой в давние времена несчетное число раз доводилось мне «держат трассу». Много воды с тех пор утекло, и вспоминать о прошлом не было сейчас никакого желания. Весь я находился еще под впечатлением нашего разговора с Иваном Александровичем, размышлял над его суждениями, обдумывал, какую пользу мог бы принести юнцам, стоящим на распутье. Народу в вагоне было немного, в оконное стекло каплей стучал тихий осенний дождик. И так хорошо под него думалось.

Первое, что я решил сделать – рассказать своим «однокамерникам» всю правду о себе. Пусть знают, какие я писал «мемуары». И пусть решают, нужен ли им такой сожитель. Сегодня же, сядем ужинать – и расскажу.

Загромыхав по стрелке, трамвай свернул на боковую улицу. Вот и моя остановка. Выхожу из вагона и знакомой дорогой направляюсь к общежитию. Идти полквартиры. Улица освещена плохо, и только кафе «стекляшка», как всегда, привлекает молодежь своими огнями. С недавних пор в нем обосновались кооператоры, дали ему название – «Аистенок». Намек на то, что кафе молодежное. Обслуживают культурно, можно выпить сухого винца, потанцевать. И цены, по нынешним временам, божеские.

Но что это? У входа в кафе – толпа, стекло выбито, девушки жмутся к парням, вытирают слезы. Чуть поодаль – милицкий уазик с мигалкой, за ним зеленый фургон. Пробираюсь поближе ко входу. В это время, надрывно оглушая сиреной улицу, подъезжает «скорая». А из дверей кафе, не дожидаясь, пока притащат носилки, милиционер и двое в штатском несут пострадавшего. Молодой, здоровый. Глаза закатились. Половина лица в крови, на джинсовой курточке тоже кровь. Погодите, да это же... Дима «афганец» из моей комнаты, наш Димарь. Корешок ты мой... Все верно – его лицо, его русые волосы, темные брови вразлет. Его выдавшая виды курточка.

Но как же так, он же десантник, ловкий и сильный.

– Что там стряслось, друг? – дрожащим голосом спрашиваю у стоящего рядом паренька – тоже из нашей общаги. Зовут его, если не ошибаюсь, Виктором.

– Говорят, рэкетеры... «Салун» обчистили, пощипали кооператоров.

– А Диму кто?

– Димаря то? Сам виноват. Когда те ворвались, все смирно сидели. А чего ты хотел – их целая кодла, да двое из обрезов целятся. Ну вот. Все сидят, а Димарь полез торгашей защищать. Одному, с обрезом, руки успел скрутить, повалил – приемчики то он знает. А другой – с черной бородавкой, рыжий, в него выстрелил. И уже после, в лежащего, всадил нож... Зря он ввязался...

Кооператоры – одно жулье, я бы и сам не прочь им нервы пощекотать, только мышцу не накачал – слабо... А рэкетеры ушли. И еще говорят, заложницу у торгашей взяли.

– Постой, – перебил я словоохотливого паренька, который, судя по всему, находился во время налета в кафе. – Ты говоришь, стрелял рыжий с бородавкой.

– Ну да, он приметный такой. И тоже высокий – с Димку ростом.

– А где бородавка то?

– Кажись, под правым ухом. Здоровая, с пятак. Точно, под правым, он же, когда поднял обрез, этим боком ко мне стоял.

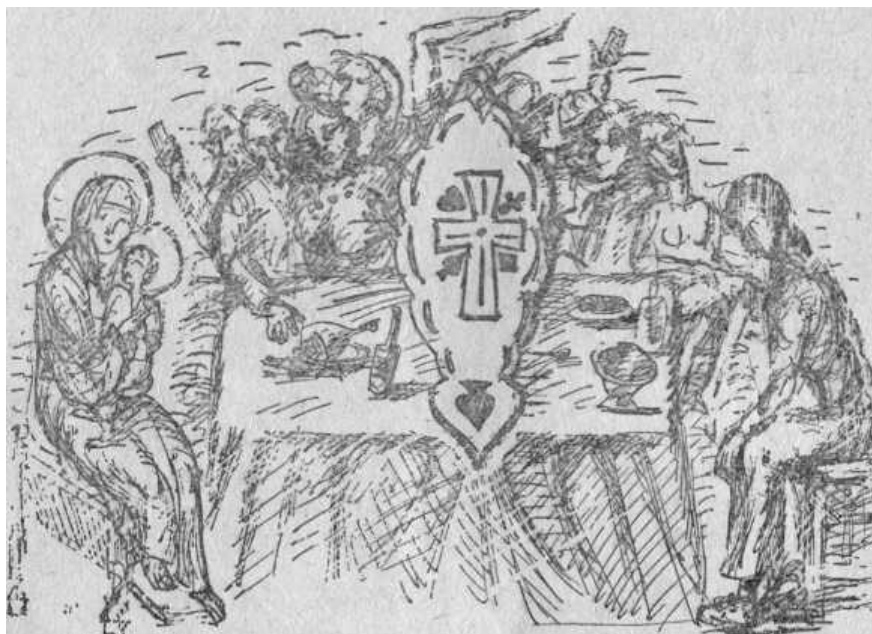
Парень продолжал еще что-то говорить. Но я уже не воспринимал его слова. Ошибки быть не может. Этот рыжий холуй с бородавкой под правым ухом – Сашка Дергач. С ним мы когда-то в спецлагере, под Свердловском, лес валили. А после встречались здесь, на блатхате. Адресок я помню.

Какой-то миг я поколебался: может, не ввязываться... Но тут передо мной, будто повтор на телеэкране, всплыло окровавленное лицо Димы.

Не раздумывая больше, я взял парня за руку, крепко, чтоб не вырвался.

– Пошли, Витек, свидетелем будешь.

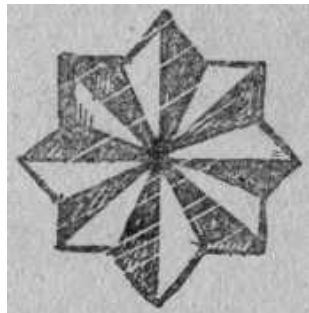
И направился вместе с ним к милицейской машине.



Татуировки уголовного мира



«Вор в законе»



«Вор в законе» (наносится на предплечье)



Король воровской масти



Вор-рецидивист



Ни перед кем не стану на колени (наносится на колени)



Вор (оленю страшен загон, а вору – закон)



Отбыл свой срок от звонка до звонка



Стремлюсь к свободе



Привет ворам (обычно наносится на запястье)



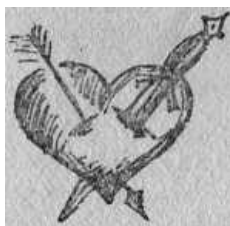
Оторван от жизни (популярна в колониях для несовершеннолетних)



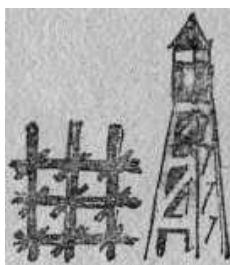
Находился в местах заключения не менее 5 лет (на двух руках – не менее 10 лет)



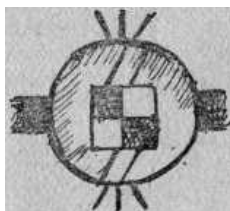
Вор-карманник



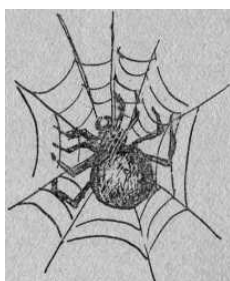
Готов пойти на убийство (наносится опасными преступниками)



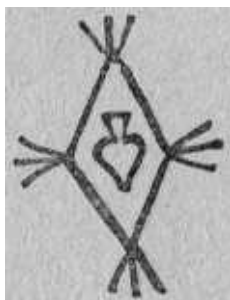
Содержался в тюрьме, колонии



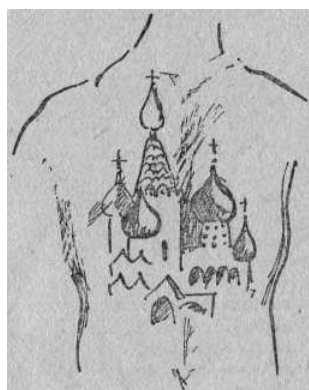
Авторитет среди осужденных, отказывающихся выполнять требования режима



Провел большую часть жизни в тюрьме



Судимость за хулиганство



Количество куполов на изображении церкви означает число судимостей

Вниманию читателей!

Ношение «незаслуженных» татуировок опасно для вашей жизни! Оно жестоко наказывается уголовной средой.

Словарь встречающихся в книге жаргонных слов и выражений

Авторитет: 1. Преступник, имеющий известность, уважаемый в своей среде. 2. Один из наиболее высоких рангов в иерархии «воров в законе».

Амбразура – здесь: окошко в двери камеры, через которое подается пища.

Барыга – скупщик, занимающийся сбытом похищенного; спекулянт.

Башли – деньги.

Блатха́та – дом, квартира или другое помещение, где проводят досуг (живут) преступники.

Босота (устар.) – сообщество воров карманников.

Босяк – карманный вор.

Брать (сейф и т. п.) – воровать.

Брать про́пуль – передавать похищенное.

Бригада – воровская группа в составе трех человек и более, совершающая карманные кражи.

Вертануть – украсть.

Выкупить – вытащить из кармана у жертвы кошелек, деньги и т. п.

Галюнок – кошелек.

Гладиатор – хулиган, драчун, совершающий расправу по заданию воров.

«**Держать марку**» – воровать в трамвае.

«**Держать трассу**» – воровать в трамвае, автобусе заранее определенного маршрута.

«**Завязать**» – порвать с преступной средой.

«**Залепить скачок**» – совершить кражу.

«**Залететь**» – быть пойманным милицией.

«**Замели**» («**замела контора**») – арестовали (задержала с поличным милиция).

Идея воровская – неписанные воровские законы.

«**Игрушка**» – пистолет.

«**Контора**» – милиция.

«**Краснушник**» – вор, совершающий кражу из товарных составов.

«**Крытая**» – тюрьма.

«**Ксива**» – записка, письмо; фальшивый документ, удостоверяющий личность.

«**Купить**» (**покупать**) – совершить карманную кражу (воровать).

Лягавый – милиционер, оперработник.

Малышка – вор подросток, несовершеннолетний.

«**Марка**» – трамвай.

«**Маруха**» – любовница; жертва карманного вора.

«**Маслята**» – патроны.

«**Махновец**» – человек из преступной среды, побывавший как среди «воров в законе», так и у «отошедших», ни с кем не ужившийся и переставший соблюдать воровские «законы».

«**Медвежатник**» – вор, крадущий деньги из сейфов.

«**Мент**» – милиционер.

«**Мужик**» – низшее сословие осужденных, к которому «воры в законе» относятся с презрением.

«**Мусор**» – милиционер.

«**Мыло**» (**мытьё**) – приспособление для разрезания карманов у жертвы вора, изготовленное из безопасной бритвы.

«**На отвёртке (трудиться)**» – совершать карманные кражи на вокзалах.

Наркоша – наркоман.

«**Общак**» – воровская касса (в ИТУ).

«**Опустить**» (**опущенный**): 1. Выгнать с позором из группировки. 2. Совершить насильственный акт мужеложства.

«**Писать**» – резать (карман, сумку) при совершении кражи.

«**Правилка**» – жилет.

«**Поведётся**» (жертва) – обернется в момент кражи и обнаружит вора.

Позаимствовать – украсть.

Проверить (карман, сумку) – вытащить деньги, ценности.

«**Пропуль**» («прополь») – См. **Брать пропуль**.

«**Работать**» (трудиться) – воровать.

«**Разбить**» (сейф и т. п.) – взломать.

«**Сагайдак**» – надзиратель в ИТУ.

«**Села на хвост (контора)**» – милиция заметила воров и ведет за ними наблюдение.

«**Скачок**» – см. **Залепить скачок**.

«**Скокарь**» – квартирный вор.

Ссучиться – изменить воровским традициям, перейти в группировку «отошедших».

«**Сухариться**» – жить под чужой фамилией.

Сходняк – воровская сходка.

Фомич – небольшой ломик, предназначенный для взлома запоров.

Форточник – квартирный вор, совершающий кражи путем проникновения в квартиру через окно.

Фраер : 1. Хорошо одетый, денежный человек – возможная жертва вора, 2. В ИТУ – осужденный, активно поддерживающий «воров в законе», принимающий (иногда вынужденно) их «идею» (козырной фраер).

«Хрусты» – денежные купюры, находящиеся в кармане без кошелька.

Чифир – крепкий настой чая (одна пачка заваривается на стакан кипятка).

«Ширмач» – вор, совершающий кражи под прикрытием «ширмы» (плаща, газеты).

«Щипач» – карманный вор.

Урка : 1. Блатной. 2. В тридцатые годы – крупный вор, блатной «авторитет».

ГУРОВ А. И. – известный учёный-криминолог. В 1988 г. защитил докторскую диссертацию по проблемам борьбы с профессиональной преступностью. В 1989 г. назначен начальником Главного управления МВД СССР, задачей которого является осуществление мер, способствующих искоренению преступных формирований. Генерал-майор милиции.

Рябинин В. Н. – член Союза журналистов СССР, очеркист, полковник милиции. Работал в газете «Гудок», спецкором журнала «Советы народных депутатов», где опубликовал ряд очерков и статей острой социальной направленности. В последние годы – главный редактор редакционно-издательского отдела ВНИИ МВД СССР. Специализируется на милицеейской тематике.